

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1992

3

1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3 (803)

Март, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ТАТЬЯНА БЕК — Предварительные итоги, стихи	3
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Вечерние раздумья. Заключительная глава книги «Последний поклон». Окончание	6
ВЛАДИМИР ДОМОГАЦКИЙ — Кладовка. Попытка консервации. Публикация и предисловие С. Домогацкой	31
МИХАИЛ ЛАПТЕВ — Четыре стихотворения	102
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — В трезвом уме, короткий роман	104
АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЕС — С надеждой в сердце... Главы из книги. Окончание. Перевела с испанского Е. Богуш	133

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ — Пристанище ветхой свободы. Сти- хи, эссеистика. Публикация Татьяны Сопровской-Полетаевой. Предисловие Бахыта Кенжеева. Послесловие Якова Кротова	182
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ О РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ И ХОРЕ ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО. Публикация и предисловие Л. Лебе- динского	208
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Предварительные итоги XX века

В. ПЕРЦОВСКИЙ — Сквозь революцию как состояние души. Замет- ки о советской литературной истории	216
ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — Левоу! Левоу! Левоу!.. Метаморфозы революционной культуры	228

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Сергей Костырко. На полпути к «частному лицу». Марина Новикова. При свете совести.	241
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
ВИКТОР ЖИВОВ — Как вращается «Красное Колесо»	246
В. ПРОСКУРИНА — Темный лик В. В. Розанова	250
КОРОТКО О КНИГАХ:	
К. Постоутенко. — I. С. Н. Дурылин. В своем углу (из старых тетрадей). II. Н. О. Лосский. История русской философии. III. Максимилиан Волошин. Автобиографическая проза. Дневники	252
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	255

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ. Дневник 20—30-х годов. Неопубликованные страницы.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Как-нибудь. Рассказ.

БОРИС ЗУБАКИН. Стихи и письма. Публикация А. Немировского.

ЮРИЙ КРАСАВИН. Валенки. Послевоенная повесть.

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ. «Как бы резвяся и играя...». Заметки о Пастернаке.

ВИЙВИ ЛУЙК. Красота истории. Роман. Перевела с эстонского Е. Каллонен.

ИВАН ОГАНОВ. Опустел наш сад. Народный балаган.

НАТАЛИ САРРОТ. Дар речи. Перевела с французского И. Кузнецова.

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КРУЖКА «ВОСКРЕСЕНИЕ» (20-е годы: М. Бахтин, Л. Пумпянский, А. Меер).

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Наши плюралисты.

ПИТИРИМ СОРОКИН. Современное состояние России. Вступительное слово В. Шубкина. Подготовка текста, послесловие и примечания В. Сапова.

СЕРГЕЙ ТОЛСТОЙ. Отец. Главы из автобиографической книги «Осужденный жить».

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН. Пещера. Роман. Перевела с английского И. Сумарокова.

АФАНАСИЙ ФЕТ. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. Вступительное слово С. Залыгина. Подготовка текста и послесловие Г. Аслановой.

ДОРА ШТУРМАН. Они — ведали.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки на журнал во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме «A. NEIMANIS». По всем вопросам, связанным с подпиской и распространением журнала за рубежом, следует обращаться по адресу:

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5, Germany. Tel. 089/26 30 76, fax 26 30 77.

ТАТЬЯНА БЕК

*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

* *
*

Разрушенья, обвалы, пробоины
И трофейная горсточка пепла...
«Одинокие — в поле не воины».
Ну, а я в одиночестве — крепла.

Непокорная — дома и во поле
Я жила широко и упрямо
...Вот сойду у театра на Соколе
И пойду в направлении храма.

Да, повержена. Но не задушена.
Вдоль помойки цветут незабудки.
У меня сопечальников — дюжина!
Я могу дозвониться из будки.

Я скажу: «Настроенье отличное.
Нас не гонят еще по этапу».
...Небо низкое, небо столичное
Нахлобучу, как личную шляпу,

И гляжу на трамвайное зарево...
Хорошо, когда плохо — весной.
Опыт — это не дар,
разбазарь его,
Как спасеньем, дыша новизною!

* *
*

Он на ясную душу нацелен —
Вымогатель, вампир, златоуст..
Подчиняющий — неполноценен.
Посягающий — болен и пуст.

Властолюбие — темная ересь,
Превращенная похоть и месть...
Лучше пить. Лучше спать изуверясь,
Чем чужую свободу изъесть.

Раболепства алкал — подавись им!
Для меня ж,
при погоде любой,
Ты уродлив,
поскольку зависи м
От того, кто подавлен тобой.

Отрываясь от важного дела,
 Попадая в лихой переплет,
 Я вас всех, как ни странно, жалела:
 Вы же мрете без рабих щедрот!

Я и слушала вас, и вздыхала,
 Сострадая натуре крутой.
 Только вам понимания мало —
 Обожанием вас удостой.

Нет уж, дудки! Прильнув и отпрянув
 (Ты прости меня, бедный злодей), —
 Я бежала бегом от тиранов
 В равнодействие добрых людей.

...А на старости лет (или раньше),
 Уснащая деталью рассказ, —
 О тираны мои, о тиранши,
 Я сложила бы Сагу о вас.

* *
 *

И в минуты последние вспомню наверно
 Наигоршие ревность, и блажь, и обиду —
 Этот город чужой, этот холод модерна,
 Эту мертвую воду, невинную с виду.

Было страшно стоять над тяжелой рекою
 И хлебать неприветливый воздух осенний...
 Я теперь у себя. Я разглажу рукою
 Домотканые складки своих наваждений.

Перечту твои письма, дрожа и волнуясь:
 Там пылают ночные огни оговорок!
 Мы не стали родными. Мы переглянулись —
 И зима опустилась как матовый полог.

* *
 *

И поздно молодеть, и расставаться рано...
 Наперерез толпе, неистой с утра,
 По Риму шла карга в чалме из целлофана,
 Безумна и страшна. (А я — ее сестра.)

Развалины ко мне величественно глухи,
 Но я им посвящу любительскую песнь...
 В Италии живут могучие старухи,
 Которым нипочем душевная болезнь!

...Я, следуя за ней, дойду до Колизея,
 А потеряв, скажу: «Спаси и окрыли».
 Здесь ангел пролетел, так и е зерна сея,
 Что до сих пор растет волнение земли.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

ВЕЧЕРНИЕ РАЗДУМЬЯ

Заключительная глава книги «Последний поклон»

Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший, — есть уже система.

Александр Солженицын.

Прошло одиннадцать лет как я возвратился на родину, купил избу в Овсянке, в родном переулке, против бабушкиного и дедушкиного дома, и стал ждать, чего ждут и не могут дожждаться многие люди, — возвращения прошлого, прежде всего детства. Но когда-то я ставил к первому изданию «Последнего поклона» эпиграф из стихов замечательного поэта Кайсына Кулиева: «Мир детства, с ним навечно расставанье, назад ни тропок нету, ни следа, тот мир далек, и лишь воспоминанья все чаще возвращают нас туда...»

Однако и воспоминания иссякают. Так, какие-то вспышки далеких зарниц, отголоски прошлого, печаль о прожитом и пережитом еще достигнут в этом дерганом, шумном и суетном пути, по ним, по этим озвученным памятью дальним звукам, всколыхнется, воскреснет что-то, и «недаром мне вздыхалось сладко в Сибири, в чистой стороне, где доверительно и слабо растенья никнули ко мне». Да, верно, еще вздыхалось, еще никнули растенья, люди, песни, воспоминания, и написал я здесь, уже в родной деревне, несколько глав, вроде бы не утратив звука и строя повести, но почувствовал тогда же: книгу пора заканчивать, надо жить дальше или доживать и перелистывать другие страницы, в этой же книге настало время ставить точку.

А жизнь в последнюю главу, словно в угасающий костер, все подбрасывает и подбрасывает хворосту. Таково свойство ее, жизни, и материалу — только в записях, письмах, документах, воспоминаниях моих читателей — накопилось, пожалуй, на целую книгу, но, вероятно и скорей всего, — на книгу совсем другую.

В первые годы, когда в селе моем жило и было еще много гробовозов и оно не превратилось в придаток пригородных дачных поселков, я любил поздним вечером, «после телевизору», пройти по спящим улицам, сделать круг, посмотреть, вспоминать, подумать, подвести итоги жизни вот этого вот села, в котором от былого скоро останется лишь название.

Из Овсянки вышли академик, два майора и один полковник, несколько приличных учителей и врачей, два-три инженера, много шоферов, трактористов, мотористов, механиков, три-четыре пары мастеровых людей и много-много солдат, полегших на дальней стороне. Но сколько же оно породило за мой только век убийц, шпаны, хулиганья, воров, стяжателей, клязуников, сплетников и просто людей недобрых, кроме зла ничего на земле не сделавших и не оставивших... Много, слишком много, чтобы говорить о разумном смысле человеческой жизни. Люди в моем селе не столько жили, сколько мучались и мучали. Тропа народная с котомками в город и из города так до сих пор и не заросла, потому как камениста она да и полита солеными горькими слезами, на которых даже трава не растет.

Какую же память оставляет за собой мое родное село? Чего и кого оно помнит?

Никого и ничего, кроме близкого горя, оно не ведает.

В поссовете нет ни летописи, ни документов, ни метрик, ни бумаг о том, откуда село взялось, кто и как основал его, почему так назвал. Оставшиеся еще в живых гробовозы помнят дедушку и бабушку, редко — прадеда и прабабушку. Новожители не помнят, не знают и знать не хотят никого и ничего. Рожденные тюремной моралью «умри ты сегодня, а я завтра», они живут сегодняшним днем, с растренированной памятью, угасающим сознанием, и только жажда наживы и поживы еще руководит их инстинктами, движет к близкой цели. Даже собаки повыводились, вместо благородной труженицы лайки бродят по улицам и переулкам трусливые, грязные чудища, в которых смешались все собачьи породы и земные эпохи. За сахар, за кусок послаще служат, голос дают. Во дворах гремят цепями, на звук шагов бросаются псы, стерегущие добро, повиснув подбородком на заплоте, храпят, слюною брызжут, сжирая тебя кровью налитыми глазами. Иногда им удается сбежать. С обрывком цепи на шее, будто каторжник, рванувший из руд, пес лезет в кусты, в крапиву, чего-то там нюхает, фыркает, скалится на встречных собачонок, готовый в любую секунду перекусать их, затрепать до смерти.

Пока не вымерли мои погодки — инвалиды Отечественной войны, повествовали они об одной яркой странице жизни села.

Было это еще до перекрытия Енисея, в пятидесятых годах. Шел из города в село грузовик с бормотухой, шел уже весной, в распары, чтобы помочь народу перед праздником Пасхи и Первомаю взбодриться, магазину выполнить квартальный финансовый план. Шел, значит, шел грузовик с бормотухой, миновал уже собакинский совхоз, который, полностью перейдя на изготовление и производство продукции «без химии» для руководящей элиты, обрел наконец надлежащее название «Удачный». На самом подходе к цели опрокинулась машина в водомоину, и почти весь ее груз вывалился на лед. Шофер на машине был овсянский, он донес до родного села печальную весть о погублении ценной продукции, принялся звонить в город, чтобы помогли ему выручить хотя бы машинку.

В ночь гулкую, все еще студеную, на верхней стрелке по другую сторону Енисея к острову Собакинскому, по-собачьи позорно поджав лапы и оголив промежность с задним мостом посередке, напоминающим собачьи же мужские принадлежности, пьяно лежала на боку орсовская машиненка, не раз чиненая-перечиненая как поверху, так и понизу.

Начался пир на весь здешний мир! К машине — кто бегом, кто пешком, кто на санках, кто на костылях, кто на инвалидной коляске — спешил народ со всей округи, прежде всего из Овсянки, затем из двух слизневских рабочих поселков, с известкового завода, из совхоза, тогда еще собакинского. Когда весть докатилась до подсобного хозяйства и манского сплавного поселка — толпы народа уже не просто пили и лежали вокруг машины, они уже жили здесь, жгли костры из ящиков, тащили крашенные заборы от ближних дач, катили вытаявшие сплавные деревья. Где-то вблизи, не иначе как с совхозной фермы, гуляки смарали, приволокли на место пиршества предсмертно кричащего подвинка, почти живьем его опалили и пустили на закуску.

Поначалу в ящиках, вывалившихся из машины, старатели находили целые бутылки, и оглашал тогда окрестности победный крик, затем пили вино из битого стекла, резались об него, и весь лед вокруг поверженной машины был красный, где от бормотухи, где от крови — не различишь. Наконец дело дошло до того, что лопатами, ломами и всяким другим железом выдалбливали лед, таяли его в сподручной посуде, не умеющие терпеть и ждать крошили зубами сладкие комки. Машину, чтобы не хлопотать насчет костра, ослабевшие гуляки подожгли. Хорошо им было, даже жарко возле такого пекла, но шибко закоптились да и от пьянства почернели мужики. Когда дети пришли за папами, жены с палками за мужьями, чтобы побить их и увести иль унести под родимый кров, то где чей папа и муж — узнать они уже не могли.

«Но-но-о, парень, дали мы тогда! Во погуляли дак погуляли!..» — и годы спустя с восторгом вещал мне мой одноклассник по школе и детским играм. «Что ж, кто-то замерз и помер?» — «А как жа! Как жа! Поспи-ка пьяный на леде, да этъ и сосали его, лед-то, в брюхе холодно, трясет всего, но голова проясняцца, дух бодрее! Дядя Егор помер сразу, даже не успел опохмелиться, бедолага. Ишшо на том конце деревни, за речкой, два мужика, слышно, концы отдали. Совхозные тожа, говорят, и слизневские, которые не поднялись, на известковом двое моих корешей-инвалидишек скосопузились... Да и сам я едва обыгался. собак ел, барсучье сало горячее пил, медвежье тожа, месяца четыре подряд кажин

день в баню гонял, до-ол-гонько-о животом и лехкими маялся... Но ниче-о, ниче-о, снова в строю, поставишь — опохмелюсь...»

Внимаю товарищу детства моего, обрюзгшему от пьянства и безделья, а из проигрывателя с подаренной мне записи современный монах плаксиво ведет: «Мир тебе, одиноко бредущий, и тому, кто тебя приютит...»

Вот у этого мужика иль старика была тетка. Про нее говорили жуткое: родив двоих детей, остальных она при родах давила в ногах. Везде хотела быть эта женщина первой, азартна была до того, что когда брала ягоды, сикала в штаны, чтоб не терять времени, не отвлекаться по пустякам. Никого и ничего не боялась, мужика своего лупила, но когда делали первый раз прививку от оспы в селе, упала без сознания на пол. Оспу ставили в сельсовете. Несколько ламп сразу горело. Народу — толпа. По деревне смятение, рев, кто храбрится, кто причитает, кто молится, кто на сеновале прячется. Колдунья Тришиха вместе с ненаглядным сыном спрятались в печку, едва вытащили их оттуда. Орлы дяди Левонтия и те чуть в леса не сбежали, но Санька — опять же Санька! — обреченно ступил следом за отцом в сельсовет, будто на шаткую палубу корабля. Вышел бледный, держа рукав выше локтя закатанным, прошептал: «Ништяк...» — и скрылся. Как ни наказывали людям после прививки не чесаться, во сне и наяву, не выдюжив зуда, грязными ногами царапали красно набухшие пятнышки. Заболели несколько человек, затемпературили, руки у них покраснели, распухли, затем по селу слух: «Мор напустили!» Сейчас вон хилым детям в башку уколы ставят, из вен кровичу высасывают, и ничего

Сестра моего сотоварища, непобедимая ягодница, как подкулачница угодила в ссылку аж на Таймыр, потеряла там детей, мужа да и осталась при женской пересыльной тюрьме надзирательницей. Пила, обирала зэчек, поставляла их начальству и забивала насмерть, если которая смеяла в чем-то ослушаться. Она еще жива, извела двух городских мужей, насорила на себя похожих внуков, реденько появляется в родном селе. Не согнутая годами, вся золотом обвешанная, накрашенная без нормы, что современная девка, курящая, матерится громко с блатными вывертами и обязательно в людных местах, напившись с племянником, громко плачет она, лицо ее линяет, и обращается тогда в страшную, беззубую старуху, тряся облезлой головой, жалуется: «Горемычная, горемычная я...» — и тихо, незаметно исчезает куда-то из села.

И у меня была тетка. По отцу. Звали ее Авдотей, но на селе знали как Дуню, потому что до взрослого бабьего звания она здесь не дотянула. Когда начались гонения на крестьян, и в первую голову на мельника, главного мироеда на селе, стало быть, на моего прадеда Якова Максимовича Мазова, и на деда — Павла Яковлевича, тетке Дуне, девахе видной, нравом, как и вся отцовская родова, звонкой, шел восемнадцатый год и она встречалась с сидоровским Федором, жившим тоже на нижнем конце села. Федор состоял в колхозе кладовщиком, входил в правление колхоза имени сибирского героя-партизана Щегинкина, невеста же у него — подкулачница. Когда всю ораву мазовских выгнали на улицу, партийцы начали растаскивать добро из дома, пилить и колоть дворовые крепкие столбы, отыскивать в них золото, тетка Дуня прислонилась к сидоровским, стала невенчаной женой Федора, так как церковь на селе закрыли, все в ней побили, колокола сбросили и камнями покололи. Семейство сидоровских, среди которых был Леня, мой одноклассник и дружок по играм, человек смиренный и добрый, как и остальные его братья, отличала могучесть женской половины. Все сидоровские девки и бабы, ныне уже старухи, — боевые, работающие, с могучими голосами, не утраченными и по сию пору.

Коллективизация в нашем селе, как и всюду по Руси, смешала добро и зло, перепутала меж собой людей, оголодила. Стали ко кладовщику ходить-похаживать один по одному сельчане, просили помочь хоть горстью мучки, хоть совком зерна, хоть крупкой иль картошкой на варю. Федор на беду и просьбу был отзывчив, отказать никому не мог, и в кладовой у него получилась растрата.

Надвигалась гроза, скорый суд и расправа. Подбросив ключи от кладовой в окно правления колхоза, Федор ушел, скорее уплыл из села ночной порою вместе с беременной невенчаной женой — моей теткой Дуней. Доходили слухи, что осели они в новопостроенном шахтерском поселке Черемхово, сменив фамилию, имена, купив иль достав себе документы и право на труд. Слухи оказались верными: тетка Дуня и Федор дожили в Черемхове до смерти, оставили после себя двух дочерей, одну из которых в прошлом году мне пособил Господь увидеть и от нее узнать историю папиной сестры.

Федор работал в шахте, тетка Дуня поварихой в рабочей столовой. Однажды струей пара или железной пробкой ей выжгло глаз, с тех пор она стала сильно болеть и умерла в знаменательный, трагический для страны нашей день — 22 июня 1941 года. Федор женился вторично, прожил еще сколько-то, но потом заболел и, чуя надвигающуюся смерть, решил навестить родное село, повидаться и проститься с родней. И опять ночью, тайком пробрался в село. Собралась родня, не узнают сестры родного брата, а он все плачет и просит: «Попойте, сестрицы, попойте, тетушки!..» Сидоровские бабы как грянули, Федор и со стула скатился. «Что вы! Что вы! — замахал руками. — Шепотом, шепотом попойте!..» Пели шепотом, за закрытыми ставнями. Большой, до костей изработанный мужик тряс седою головой и заливался слезами. Потом тихонько уехал и вскоре тихо помер в шахтерском городе Черемхове.

Было это на исходе семидесятых годов, и тогда же, приехав из Вологды погостить в Сибирь, узнал я адрес двоюродной сестры и послал ей письмо на Сахалин, где она живет и работает. Почерк мой таков, что я его порой и сам не разбираю, попросил я жену отпечатать письмо на машинке, чтобы легче читать было людям. И никакого ответа на письмо свое не получил. Сперва решил, что письмо затерялось, потом задумался и понял — я просто-напросто напугал еще в животе напуганного человека письмом, отпечатанным на машинке. Так оно и вышло: «Я думала, из органов каких или из конторы высокой, потом мне кто-то сказал, что это в самом деле мой брат. А я думала, че уж теперь писать-то? Об чем? Поплакала, заплакала да и успокоилась». Сестра эта, Лиза, уже пожилая женщина, у нее есть дети, — неужели и внукам ее перейдет по наследству страх наш, униженность наша?

Ведь вот передался же от меня мой змеиный страх детям

Я не раз упоминал в своей книге о том, как прежде было много змей по-за селом, на пашнях, да и в самом селе. Играешь, бывало, в лапту, закатился мячик в жалицу или бурьян деревенский, топчутся пареваны возле межи, заглядывают в гущу зарослей, но идти туда боятся.

Деревенские рассказы, предания — кто их не слышивал, тот и страху не знал. О том, как в рот спящему человеку залезает змея и живет в его утробе, сосет кровь и человек чахнет, знали все поголовно деревенские люди. О том, как ее, тварь гремучую, выжить из человека, тоже знали все. Для этого требовалось натопить жарко баню, завалить на полок болезного, парить его венником, пока дышать он способен, при этом поить холодным квасом. Какой змей выдержит? Или как в люльку к младенцу залезал змей и он, младенец, мерз и мерз от гадюки, пока вовсе не замерз. Иль вот из одной коровы молоко теплое течет, а из другой холодное. Что тому причиной? Догадались? Смешно? Да не очень. К рассказам и легендам немножко яви и фактов, чтобы на всю жизнь обуял тебя страх. Я вот полон, полон гряды с морковкой — она уже густенькая, морковка-то, — и что-то вроде бы шипит и шипит рядом. Я подумал — в ухе у меня, в брюхе или еще где шипит, и никакого значения тому явлению не придал. Тружусь. Хвать травинку, другую, морковку-то раздвинул, а на гряде серая змейка, свившись, лежит, нежится на солнышке в густой морковной ботве и за палец норовит меня сцапать. Я так хватил с огорода, что и сапожишко с меня спал. Пришли пареваны левонтьевские, сапог принесли, говорят, что змея-то заползла в сапог, дожидалась там, тварина хитрая, когда я ногу в обутку суну. С тех пор я — хоть в огороде, хоть в селе, хоть в России, хоть за рубежом, хоть летом, хоть зимой — обутку-то хорошо потрясу, прежде чем обуться.

И дети мои при одном слове «змея» дрожмя дрожат, но внуки уж, слава Богу, ничего не боятся. Правда, они и змей, кроме как в телевизоре, нигде не видели, и я последний раз змею зрел лет двадцать назад в змеином распадке, что спускался на Усть-Ману. Глупая такая пестренькая змейка в траве ползала. Дети дачные клубнику щиплют, она тут же возле ягодниц шевелится, с интересом глазееет на них. Ныне в том распадке ни клубники, ни змей, ни бурундука, ни цветочка — все выпластано, скопано, дачами застроено.

А что ж ты это, друг сердечный, начал за здравие, а кончаешь за упокой? Эвон о каком вселюдном страхе разговор повел и к шуточкам съехал?! Нет, никуда не съехал. Просто до смерти надоело слышать, говорить и писать о бедах наших, хоть маленько хочется раздыху.

Наступила пора рассказать, как и за что были посажены в тюрьму мой отец, дед и дядя Вася. Да, да, тот самый, который Сорока. Я уже упоминал, что, на его беду, в год высылки дедовой семьи ему исполнилось шестнадцать лет. Большую видать, он стал угрозу для бдительного государства представлять, вот

его на всякий случай и изолировали да до осени и продержали в тюрьме без суда, следствия и выяснения причин. Затем сослали с отцом его, моим дедом Павлом, в Игарку. А дед Павел и отец мой привлечены были к ответственности «за создание вооруженной контрреволюционной организации в селе Овсянка», и с ними вместе еще четырнадцать человек — организация ж, сила!

Спустя годы и годы я смотрел следственное и судебное дело, читал протоколы допросов и еще и еще поражался тому оглушительному бесправию, той оголтелой среде, в которую попали и от которой тысячами, затем и миллионами гибли ни в чем не повинные русские крестьяне и рабочие мужики.

Но тогда, в 1931 году, еще велось дело, снимались допросы, делались записи, дознания, тогда еще персонаж, вершащий правосудие, обязан был представить законный вид и толк, перед тем как съест ягненка. Позднее мужиков просто скоростепно уничтожали и задним числом чохом составляли списки подсудимых. Пьяные от крови и вина тройки подмахивали те списки. Трупы, вымытые из реки Кан в пятидесятом году, так в спецовках и тлели, железнодорожники в мазутной одежде сохранились лучше других.

В тридцать первом в красноярской тюрьме еще фотографировали подсудимых. Анфас и в профиль. Тогда еще выдавалась казенная одежда, тюремные рубахи, шитые на косой ворот, и какое-то подобие курток или пиджаков.

Я смотрю и смотрю не отрываясь на хорошо сохранившиеся фотографии. Отец в реденькой, чуть выющейся бороденке похож на русского разночинца или на недоучившегося студента. Глаза его полны слез, на красивом лице щенячья преданность. Одетый в непривычную грубую одежду, без усиков-бабочек, без форсистой прически с пробором он особенно жалок. Ему двадцать девять лет, тюремная рубаха его не старит, но давит грубыми швами, сминает личность его нервную, развеселую, бесшабашную.

Другое дело — дед Павел! Наголо стриженный, в щетинистой бороде, спекшиеся губы непримиримо сжаты, голова вознесена, зрячий глаз смотрит прямо, с вызовом — пуля литая, не глаз! Яростную его скорбь не унижает даже незрячий глаз, эта инвалидно смеженная, раздетая, беспомощная глазница. Он, именно он и есть организатор «вооруженной контрреволюционной...».

Сын его, слабый, безвольный человек, оговорил отца и своих товарищей-односельчан. Что стоило его сломать? Ничего не стоило. Ломали не таких. Среди множества услышанных и вычитанных историй мне более других запомнился хвастливый рассказ одного костолома о том, как они терзали железной воли человека, еще дореволюционного подпольщика, и ничего с ним сделать не могли. Тогда в разнузданной ярости один мордovorот свалил допрашиваемого на пол, другой помочился ему на лицо, норовя угодить струею в рот. И человек сдался, подписал все, что велели...

Почти всех овсянских злоумышленников отпустили из тюрьмы. Но не такова советская власть, чтобы взять да так вот запросто признаться в своей ошибке или в заблуждении. На всякий случай, «на сберкнижку», другим во страх и назидание, троих подсудимых приговаривают к пяти годам: деда моего Павла Яковлевича, отца Петра Павловича и Фокина Дмитрия Петровича. Деду заменяют пять лет тюрьмы высылкой в Игарку к бедующей семье, отца посылают на великую стройку Беломорканала. Дмитрий Петрович Фокин еще в тюрьме затемнился рассудком и, будучи отпущен по болезни домой, со страха, не иначе, стал скрываться в тайге и где-то там загинал.

Даже простым невооруженным взглядом видно, какое это липовое дело, о контрреволюционной-то вооруженной-то овсянской-то организации, которая не могла быть и тем паче иметь оружие. Да и организатор ее, мой дед, сидел уже в тюрьме, осужденный на два года за неуплату налогов.

Платить ему было не из чего и нечем. Семья мазовских пащни не имела, жила мельницей, огородом и скотом, который я имел удовольствие описать в книге. Мельницу отобрали, скот угнали в колхоз и уморили, семью из дома выгнали, и она шаталась по чужим углам, но когда нарастала революционная бдительность, надлежало карать не только мироедов-кулаков, но и их покровителей, значит, родственников и товарищов, проявляющих милосердие. Тогда жили раскулаченные по баням, сараям, стайкам, почти всю зиму и половину лета до выселения в Игарку неприкаянно шлялись семьями по селу, ютились по чужим углам. Почти все мужики-лишенцы, главы семейств, оказались за это воемя в тюрьме — не выплатили налогов ни по первому, ни по второму твердому обложению. Говорят, нечем. Но кто поверит? Вон домнинские, соколовские, платоновские чем-то ж нашли платить, раскопали кубышки, в огородах да на заимках спрятанные.

Все от мала до велика в селе знали-ведали, что родственники разоренных семей, еще способные кормиться самостоятельно, дышать и работать, извращались как могли, жили из себя вытягивали, чтобы помочь бедующим собратьям, иногда и родителям перезимовать, не погибнуть, платили за лишенцев налоги, всякие займы и подати, неумолимой рукой налагаемые на села новой властью. Крепкие крестьяне многолюдного села впадали во все больший разор, в бедствия, последствия которых не можем мы исправить и по сию пору, потому как один русский дурак может наделать столько дел и бед, что тысяче умных немцев не исправить. Для мудрого, говорилось еще в древности, достаточно одной человеческой жизни, глупый же не знает, что делать ему и с вечностью. А если этот глупый еще и с ухватками бандюги, оголтелый пьяница, да еще и вооружен передовыми идеями всеобщего коммунизма, братства и равенства?

Не хочется пятнать эту мою заветную книгу дерьмом, — для того она затеивалась. Но все же об одном самом яростном коммунисте — осквернителе нашей жизни — поведаю, чтобы не думали его собратья и последователи из тех, кто живет по заветам отцов и дедов своих, что все забыто. тлену предано, быльем заросло.

Главным заправилой новой жизни в нашем селе был Ганя Болтухин. Не всегда, но все же Бог шельму метит Мужичонка пришлый, самоход, пробавлявшийся случайными заработками, женившийся на случайно подвернувшейся бабенке из нашего села, стуча в грудь свою кулаком, называл себя почтительно Ганька — красный партизан. Какой уж он был партизан, никому не известно, но что человек пакостный, явствовало и по морде, битой оспой, узкорылой, бесцветной, немойтой. Если бы портрет этого большевика придумывать нарочно, то лучше бы и точнее оригинала ничего не измыслить.

Разорение села Болтухин и его помощники начали с нашего, нижнего конца, где жило в основном пролетарское отродье, нахлебники, и совсем немного крестьян, кормившихся пашней. Дядя Левонтий, кстати, как его ни склоняли к борьбе за лучшее будущее, за дармовой корм, за добро разоренных крестьян, не шел в коммунистический колхоз, упорно держался за работу на «известке» и ничем себя в смутные годы не запятнал, даже пить воздерживался, не бушевал более, семейство не гонял. Бабушка и тетка Васеня говорили о нем с уважением, но отчего-то шепотом. Самой крепкой семьей на нижнем конце села, конечно же, считалась семья мельника, а какова она, какие ее богатства — я уже рассказывал. Село большое и потребности его разнообразны, много чего для житья крестьянину нужно, вот и обрелись на селе, кормились от дворов долбильщики лодок, столяры, бондари, кровельщики, печники, сапожники, строители, жестянщики, стекольщики, собачники (это те, кто давил собак петлей и выделывал их шкуры), самогонщики, знахари, колдуны, охотники, рыбаки, бобыли, даже поп — все-все они зимогорили в нижнем конце села, и лишь кузнец дядя Иннокентий Астахов, друг и сапожничник моего отца, какими-то судьбами оказался на верхнем конце села, где, заверяла бабушка Катерина Петровна, жили только «самостоятельные люди».

Советская власть плюс поспешание — так бы я определил крутость того достославного времени. В бесшабашной, даже удалой пока еще спешке активисты решали зорить село с домов и дворов, что поближе, чтоб неумотительно было ходить далеко.

Здесь же, в нижнем конце села, в освобожденных от «вредного элемента» избах обосновался сельсовет, правление колхоза имени товарища Щетинкина, клуб, потребилровка, почта и другие общественные организации, которые, кстати, и по сию пору не изменили своего географического месторасположения.

Возле нашего села, раз оно расположено недалеко от города, на берегу проезжей и проплавной реки, всегда обреталось много всякого прибудного народа, кто с «известки», стало быть, с заречной известковой артели, громко именуемой заводом, кто тес пилить пришел, кто что-то кому-то строить и застрял здесь, пропивши заработки, кто от обоза отстал, кто коня потерял, кто приплыл на плоту сам не зная откуда и зачем, кто шел на заработки в город и на последнем рубеже, в виду уже города, приостановился отдохнуть, чаю напиток, но увлекся овсянской девахой и подбортнулся к ней да и увеличил население села, иногда и в изрядном количестве. Но больше насकोком жили самоходы. Пошумев, поозорничав, утащат чего-нибудь и испарятся навсегда, оставив молодую бабу с ребенком, и когда от неумелости в тайге, когда на лесозаготовках иль на охоте погинут, когда просто утераются в миру, — и какое-то время спустя села и бабы достигали слухи: «Твое на базаре видели», «на пристане», «на сплаву», — но чаще всего вести докатывались с тюремного этапа.

Нежданно-негаданно, вроде дяди Терентия, являлся ко двору мятый, цингой порченный, беззубый человек и долго у ворот шамкал, объясняя взрослым детям и жене, что это он и есть истинный муж, хозяин, стало быть, и отец детей. Гнали бродягу от ворот, и случалось, второй, уже настоящий, давно в сельсовете расписанный муж еще и накладет по заливке бедолаге. Чаще же со вздохом говорили: «Заходи». Второй, когда и третий муж затоплял баню, посылал за бутылочкой, и выслушивало тогда семейство такую историю человека, такой его ход по жизни, что и в три романа не уместить.

Случалось, оставался прилюдный человек при дворе и семье в качестве кого и сказать не знаешь. Что-то посильное делал в хозяйстве, пилил, подметал, помогал на сенокосе, на пашне и так вот проживал свой век или, оправившись от странствий, заводил себе бабенку, кулемал избушку и начинал жить «своим двором». Все эти прилюдные людишки были потом расписаны по кулацким дворам батраками. В уголовном деле деда Павла увидел фамилию первого мужа тетки Августы, которая сейчас вот, когда я заканчиваю эту книгу, умирает мучительно и тяжко.

Мало еще намучал ее Господь! Фамилия теткинго мужа была Девяткин, имя Александр. Как уж он улепил и охмурил молоденькую, голосистую, курносенькую Гуску, узнать нам не дано, однако про жизнь его непутевую я знаю и от бабушки и от самой тетушки. Работал Александр куда позовут, гулял всюду, где вином пахнет, и однажды собутыльник со зловещей фамилией Убиенных взял и прикончил его. Вышли гулеваны во двор отлить, пристроились к ограде. Убиенных облегчительную процедуру закончил раньше Девяткина, взял палку, ударил его сзади по голове и попал в «шишку», как говорит тетка. Мужик охнуть не успел, свалился замертво, оставив молодую бабенку с сосунком, да еще, оказалось, и глухонемым. Убили Девяткина в двадцать восьмом году, в батраки деду записали в тридцать первом.

Все страшное на Руси великой происходит совсем как бы и не страшно, обыденно, даже и шутливо, и никакой русский человек со своими пороками по доброй воле не расстанется. Разорение села, угробление людей началось с шутками, с прибаутками. Как бы понарошке, как бы спектакль играя, во главе с Митрохой, Болтухиным, колдуньей Тришихой или неутомимой нашей коммунисткой теткой Татьяной в избу вваливалась компания человек из пяти — власть, понятые. «Здорово живем! («Кум, кума», или «дорогой соседушко», или «хресный и хресная», или «золушка», или «шуряк».) Мы вот по делам пришли...» — «Кто нонче без делов ходит? Проходите, садитесь, в ногах правды нет...» Конечно же, все давно знают, кто и зачем пожаловал, хозяева предупреждены, что поценнее спрятано. «Описыватели» же испытывали неловкое смущение — ведь век бок о бок прожили, и если бы не «хозяева», дети прилипал и сами пролетарьи давно бы с голоду и холоду околели иль в других местах ошивались. Христосовались в святцы по праздникам, в Прощеный день прощения просили, боли травой лечили, детей крестили, в тайге и на реке друг друга спасали, взаимы хлеб и деньги брали, женились, рождались, дрались и мирились — это ж жизнь, и каждый двор — государство в государстве, население ж его — народ. Братья во Христе.

Словом, начиналось недоброе дело в нашем пестром селе совестливо-туго, с раскачкой, редко кто решался на отпор, редко кто гнал со двора потешную банду, чаще, переморгнувшись с хозяином, сама шась в подпол или в погреб за грибочками, за огурчиками, сам цап за дверку буфета или шкапа, а в шкапу-то она, родимая, томится, череду своего ждет, к застолью сзывает. Опись после возлияния и бесед соответственная: что хозяин с хозяйкой назовут, то и опишут. Все думали, может, обойдется, может, прокатит туча над головой: «Власть совещка пострашат-пострацет да и отпу-устит — она ж народная, власть-то, мы за ее боролись, себя не жалеючи...» И частенько, бывало, активисты-коммунисты и в подозрение впавшие соседи иль другие какие элементы, братски обнявшись, провожали по улице до полуночи друг друга, единым дружным хором исполняя: «Рив-валю-ущия огнин-ным пламенем пронесла-аая над мир-ром гра-а-азо-ой, з-за слабуду нарр-роднаю, во-ооо-олю ала кроф про-ооо-ли-ла-ся рр-ико-ооой...»

Погуляли, потешились, пообнимались, с активом поцеловались, в любви и братстве поклялись, но вот пришла пора и кончать спектакль, закрывать занавес.

Осенью, уже поздней, навсегда увезли попа. Ребятишки лезли на колокольню, куда им прежде ходу не было, балуясь, звенели в колокола. Чтоб звон не мешал спать, кто-то обрезал веревки, и колокола упали в прицерковный садик,

в котором росли большие березы, пихта и еще что-то. Я бывал в этой церкви уже разоренной, поднимался по скрипучим, местами исхрипанным ступеням. Помню хлам, ломь, ласточкины гнезда и голубей на страшной высоте, с которой довелось мне впервые обозреть окрестный мир и родное угодье. Не умеющий держать даже «теплого молочка в заднице», по заверению бабушки, я ей рассказал о церкви, о том, что в ней отчего-то все желто, все в пыли, сор на полу, на стенах углем написана матерщина. Я думал, бабушка надерет мне уши, но она положила мне тяжелую ладонь на голову и, глядя за окошко, за таежную даль, тяжело-тяжело вздохнула: «Как жить-то без Бога будете?..»

Но вот ныне преспокойно живет на месте церкви бывший руководитель районного масштаба, мелкий пакостник, ашаульник, ворюга. Конечно, как и все руководящие деятели этого уровня, осквернитель слова и дела Божьего, он прячется за плотным крашеным забором. Машина в гараже у него дорогая, на месте церковного садика и прицерковных могил теплица сооружена, кусты ягодные насажены, цветки поливает, телевизор с разодетыми внуками и детьми смотрит, губы кривит на современную политику, уверенный, что при нем она была правильной и качественной. Внуки, в иностранное одетые, собаку колли нежат, по селу прогуливают, жвачку пузырем надувают. Бог все терпит, ни пожара, ни мора, ни глаза, никакого утеснения в житье и в совести в сей передовой семье не происходит...

Накатила вторая разорная волна на село — не совсем еще губительна, но все же крута: забирали имущество, выселяли из домов всех «меченных звездой» — часто на воротах и дверях рядом с крестом ставилась звездочка. И звезду и крест люди стирать страшилось.

Пряча добро, отдавая родичам деньжонки и что поценней, при первой описи люди и не таились особо, иногда даже показывали ямы, погреба, амбары, таежные избышки и заимки с тайниками. Эк торжествовали, эк ликовали прозорливые большевики, найдя упрятанное добро. «Да ты ж, курвенский твой рот, сам велел суда прятать!» — «Разговорчики! Поболтай у меня! Быстро пулю слопочешь!..» У Митрохи, Шимки Вершкова, Гани Болтухина появились наганы, и они, грозно хмурясь, совали руку в карман. Даже тетка Татьяна кричала на дворе, чтобы все мы, прежде всех бабушка Катерина Петровна, слышали: «Вот выдадут мне наган, дак тады узнаете!..» И ребятишки ее и левонтьевские орлы тоже чуть чего — и загремят: «Вот выдадут мне наган...»

В те года как-то незаметно рассеивался, исчезал куда-то сельский народ, частые случались похороны, торопливые, даже украдчивые, без отпевания, без поминок, без лишнего шума и слез. Долго лежала в неубранной постели, в недостроенном доме Акулина Вершкова: сама себе что-то кипятила, пила, шатаясь ходила до ветру за избу, потому как ни стаяк, ни отхожего места на голом, рано опустевшем огороде не было. Как, когда умерла Акулина, где ее похоронили, кто хоронил? Исчезла женщина, и все. Осталось трое ребятишек и муж-гуляка с наганом, балагур, скабрзник, часто он и не ночевал дома, наган терял.

Дом этот, без заборков, со свисающим из пазов мхом, с небеленой печью посредине, с недорубленными, наспех горбылем забранными сенями, с едва сколоченной оградой, но зато с парадно высящимися воротами, с резными ставнями, конечно же, сделался пристанищем левонтьевской и всякой другой братвы. Тут, в этом доме с выбитыми стеклами, твори Бог волю — можно было рубить, пилить, топить дымящую печку и варить чего Бог послал, матерщинничать, но главное, можно позабавляться настоящим наганом, который у пьяного Вершкова из кармана выуживали ребята, да он и сам давал «поиграть курком». Здесь, в пролетарском приюте, парнишки показывали девочкам, а девочки парнишкам стыдные места, и здесь же мы впервые попробовали жареных грибов — шпеёнов. Росло их, этих шпеёнов-шампиньонов, за околицей, в логу, куда вывозили со дворов навоз, видимо-невидимо, и китайцы, приезжавшие из города за назьмом, показывали большой палец, чмокали губами, мол, съедобно и вкусно, учили, как грибы надо собирать и готовить, крошить, жарить с луком.

Когда первый раз мы нажарили этих грибов и наелись от пуза, то долго-с напряжением ждали, кто первый помрет. Бабушка в ответ на мое сообщение о невиданных грибах оцупала мое брюхо, лоб и, как было часто в последнее время, загорюнилась: «Ой, робятишка, робятишки, совецка власть токо-токо накатила, а вы уж всякого сраму наймались и наелись. Дале-то че будет? Чем жить, чем питаться станете? Ведь спагубите землю-то, изведете все живое, траву стопчете, лес срубите и утопите. Ты погляди, погляди, уж по селу да по берегу голый ногой не ступишь...»

Но не больно-то я вслушивался тогда в бабушкины слова, кликушество оно и есть кликушество, старушья ворожба, старушья причуды — мели, Емеля, твоя неделя. Мы еще поживем, мы еще тряхнем все вокруг, и эту тайгу, и реку эту, и богатства проклятушие прокутим, и попа сивого за бороду с колокольни стащим. Э-эх, подрасти бы скорее да мотануть куда-нибудь, где шумно, где весело, где наганы выдают и бабушка не пилит с утра до вечера...

Мы и на выселения ходили гурьбой, норовили под шумок упереть что-нибудь, били покорных, не сопротивляющихся куркулят, не принимали их в игру, и дело кончилось тем, что совершенно трезвый дядя Левонтий собрал собрание в своем доме и сказал, что, если он узнает, что его орлы матросы или Витька дразнить будут и без того обиженных ребятишек иль принесут чего краденое в дом, он в кровь испорет всех и Витьку тоже, несмотря что сирота, и бабушка ему еще за это спасибо скажет.

Выселенные из домов богатеи всю зиму мыкались по селу. За это время в пустых избах были побиты окна, растаскана нехитрая крестьянская мебелишка, порублены на дрова заплоты, где и ворота свалены. Крушили, озоруя, все — лампы, фонари, топтали деревянные ложки и поварешки, били горшки и чугуны, вспарывали перины и подушки, кое-где даже печи своротили неистовые борцы за правое дело. По дворам валялись колеса, ступы и пестики, опрокинутые точила, шестерни от молотилок, крупорушки, старые шкуры, веревки, сыромятина, какое-то железо, подобранные хозяевами на всякий случай. В пустых избах блудничали парни с девками, на стыд и срам как-то сразу понизилась цена, в потемках, в глуши сиротских изб, невзирая на классовую принадлежность, сыны пролетарьев мяли юбки кулачек, кулацкое отродье лезло лапой под подолы к бесстрашной бедноте. Работа у бабушки шла ударно, дни и ночи она по слезной просьбе полюбовниц, чаще их родителей, «терла живот» молодежи. Шатаясь, заткнув от боли рот платком, удалялись блудницы из нашего дома под звук сурового бабушкиного напутствия: «Дорасшаперивася! Изблудничася! Семя из тебя кровью вымоет...»

Под окнами и на мосту под пляс и перестук каблуков с вызовом, охальством пелось возжигающее, на подвиг и последний срам взывающее: «Девочки, капут, капут, как засунут во хомут, засупонят и е..., ноги кверху, ж... внис, штоб родился комунис!»

«Весело было нам, все делили пополам!» — пелось тогда же. Отобрали, разделили добро и худобу, пропили, прокутили все. Ближе к весне малость унялась карающая сила. Плануя бросок за фокинскую речку, где затаился и помалкивал самый коварный враг — наиболее крепкий и справный крестьянин, овсянские большевики собирались с новыми силами. В пустые избы, в разоренные подворья тем временем пробно, ночами, стали возвращаться хозяева. И как же выли, выдирали на себе волосы бабы, обнаружив открытые и разоренные погреба, подполья с замороженной овощью, пустые сеновалы, стайки с засохшим пометом и мокрым пером, порушенную в доме рухлядишку!.. Казалось, никогда ничего не прибрать, не наладить в разоренном гнезде. Но эта ж контра-то, элемент-то живучий, несводимый, он же трудом своим чего угодно достигнет!

Я слышал рассказ о вологодском крестьянине, которого разоряли несколько раз принципиальные, непримиримые строители новой жизни. Когда упрямого, загнанного в самое болото мужика пришли кулачить в пятый раз — он повесился.

Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону ретивых властей — и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с наседающим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками. Кинь по крошке кирпича — и Кремль наш древний со вшивотой, в нем засевавшей, задавило бы, захоронило бы вместе со зверующей бандой по самые звезды. Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли в валенки.

И дождались!

Окрепла кремлевская клика, подкормилась пробной кровью красная шпана и начала расправу над безропотным народом размашисто, вольно и безнаказанно.

Ганька Болтухин ходил дни и ночи пьян, нарочно, как заключала бабушка, не застегивал ширинку, чтобы показать, что наш брат демократ сраму никакого не имеет. Тетке Татьяне нагана так и не выдали, поскольку она обладала оружием более сильным — ораторским словом. День и ночь звала она на борьбу, приветствовала, обещала зажиточную, свободную жизнь и все неистовее кричала

заключительные слова речей: «Сольем свой трудовой энтузиазм с волнующим окияном мирового пролетариата!» — сорвала голос, однако признаться в этом не хотела, уверяла всех, что напилась холодной воды, но горло у нее пролетарское и скоро восстановится, тогда она во всю мощь, как велит родная партия, будет обличать и проклинать врагов социализма и коммунизма.

Подошла, подкатила весна тридцать первого года, первая весна коллективного хозяйствования, когда надлежало на деле показать «трудовой энтузиазм», на деле, а не на слове. За зиму много чего было порушено, пропито, пала большая часть обобществленного скота, растасканы семена, поморожены, погноены и стравлены скоту овощи — вечная и главная опора жизни нашего деревенского населения.

Конечно же, во всем виноваты оказались о н и, враги, которых, правда, заметно поубавилось. За зиму, поразобрав избы, умыкнулись наиболее крепкие семьи, уже не надеющиеся на справедливость властей, на законное решение вопроса с обложением, с коллективизацией. Да и какая может быть справедливость от непросыхающего одичавшего Болтухина с его шайкой? А таких болтухиных, как опять же глаголела моя боевая бабушка, было «до Москвы раком не переставить».

Из той поры на дно памяти тяжким балластом огрузло многое. Детская память, конечно же, колодец, и колодец со светлой водой, в которой отражается не только небо, не только все самое яркое, но прежде всего поразившее воображение.

А и было чему сотрясти воображение!

Праздники в годы коллективизации были особенно какие-то пряные, дикие, с драками, с резней, с бегством по улицам, стрельбой, хрипением, треском ломаемых жердей, звоном стекол, криками, плачем.

В Пасху или в Первомай после раннего ледохода метет народ по берегу, несет толпою малого и старого, все чего-то орут, на реку показывают. И вот из-за Манского мыса, от займища среди кипящего ледяного крошева, суетящихся, друг друга обгоняющих, друг друга толкающих, крушащих, скрежещущих льдин выносит льдину белую, широкую, что пашенная полоса. На льдине сани с привязанным к головке конем, конь спокойнешенько сено ест, на санях, кинув ногу на ногу, мужик лежит и табак курит, вокруг саней и хозяина спокойно живет почти весь двор — собака, да еще и две (одна собака сидит зевает, вторая, рыжая, все бегаёт, бегаёт по краю льдины), на головке саней как на насесте куры сидят, иные чего-то в санях же поклеивают, цветочек там в горшке, фикус вроде бы, чугульки, ведра, кринки, ухваты; коровенки же с теленком, поросят, но, главное, бабы и детей нету.

По всем правилам здешней природы льдину эту должно было сразу же от мыса попереть стремниной в реку, на простор, и ладно затрет ее там, а если вынесет к Караульному быку? Енисей эту льдину как окурок выплюнет, сунет в каменную пасть унырка, тот хрусткой каменной пастью схрумкает, раздавит, искрошит...

Но все тогда шло нарастатур с природой, с Божьими правилами и велениями. Льдину притормозило на ходу, повертело, пощупало, малость пообкусало, закружило, закружило — да и вытолкнуло со стремнины в затишье, понесло к овсянскому берегу.

Народ заахал, закрестился, катится толпа по берегу, кто визжит, кто хохочет, кто советы мужику подает, кто велит в колокол ударить, забыв, что они сняты и побиты, кто-то икону принес, бегаёт с ней по берегу, реку закрещивает, силы небесные призывает. Мужик же, лежавший в санях нога на ногу, с лагухой в головах, покосился на приближающийся берег, нехотя поднялся, подтянул штаны, прямо из лагухи, обливая заросшее лицо, попил браги иль пива, бережно определил посудину в головки саней, утерся и начал выступать. Грохотал, неистовствовал тот самый страшный ледоход, который случался по малой воде, по матерому льду, сорванному волной хакаса — ранней южной весны, — а с реки доносило патристические слова: «Народ... смычка... как один... прозренье революционно... ход... вперед... пощады нету...»

— Вперед, токо вперед! — как Ленин, выкинув руку, показывал мужик вниз по течению, а там, ниже-то села, на слизневской косе, затор, лед ломает, громоздит гороку.

Народу, вою, крику все прибавлялось и прибавлялось, но помочь мужику никто и ничем не мог. Никто, кроме Бога. Он следил, видать, за льдиной и за мужиком, подсунул льдину к берегу, тут в нее сразу десятки багров всадились, мужики и парнишки на льдину посигали, сани, лошадь, мужика волокут. Но

еще раньше, пока еще льдина не сунулась в берег, кроша окрайки и трескаясь вдоль и поперек, прыгнула с нее рыжая, почти красная собака, доплыла до берега и хватилась к лесу.

— Волк! Хакассский волк! — шатнулась в ужасе толпа.

Пес же домашний, лопухий, мирно сосуществовавший рядом с диким зверем на льдине, прошел, лап не замочив, и начал крутить облезтым хвостом, знакомиться с народом. Тем временем, не выдержав напряженного момента, поднялись на крыло и, кудахтая, полетели на берег курицы, одна из них, дернув отвислым задом, выронила яйцо, и народ снова заахал и закрестился: «Не к добру это! Не к добру!» Под шум, крик, аханье, оханье свели мужика и лошадь на берег, даже сани с рухлядишкой за оглобли стащили. Сойдя на сушу с совсем искрошившейся, в лоскуты белые изорвавшейся льдины, мужик как ни в чем не бывало продолжил пьяную речь:

— Пролетарят в смычке с коммунистами даст невиданный лизурьтат...

— Тошно мне, тошнехонько! — взвыли бабы. — Повернулся мужик умом! Жана-то, дети-то твои где?

— Движение, токо передово движение и мысля передова...

Мужики уже добрались до лагухи, в ней еще много было питья, лакали из посудыны, в ковши и кринки наливали, пили сами и мужика не забывали. Он тут, на берегу, и свалился на клок сена, брошенный из саней, сверху его накрыли лоскутным, в середке пропревшим одеялом. Потом коня запрягли в сани, и по грязи он уволок воз с худобой в сельсоветский двор.

К этой поре долетела уже до Овсянки весть — да, смыло со льда под Ошаровом семью и избенку разобранную и приготовленную к бегству, но избенка — Бог с ней, дело нужное, но вот женщина, дети, корова...

— А может, оно и к лучшему. Может, избавил Господь от мук и от горя ту бабу горемычную, тех детей...

Конечно же, этот злобный, контрреволюционный разговор вели выгнанные из своих домов, назначенные к выселению из села кулацкие элементы.

После ледохода начали стремительно разбегаться и наши мужики и подкулачники. Кто как, кто на чем, кто с чем — чаще всего за одну ночь наши боевые мужики разбирали дома, амбары, стайки, вязали плоты, сколачивать боялись: явятся на стук «эти», освободители-то. К восходу солнца плоты уже были у речки Гремячей, выше городского железнодорожного моста. Оттуда они свозились за Качу или в Покровку и сикось-накось, без всякого плана и разрешения располагались на горе и под горою. Скоро не осталось за Качей места, начали вдалбливаться и в сам Красный яр.

Когда власти хватились, за речкой уже оказалось целое поселение с кривою глинисто-красной улицей, которую новые моралисты нарекли именем великого философа Лассалья, спутав его с революционером мадьярского происхождения или со здешним героем-партизаном. Беженцы не выговаривали закордонного имени и называли улицу — Вассалья, так и на конвертах и на посылках писали. Ныне эта улица именуется Брянской, там развернули свое хозяйство красноярская линейная милиция, городской базар, кожно-венерический диспансер, еще какие-то конторы и конторишки. Домов крестьян, бежавших из сел, прижукнутых к горе, почти не осталось, да и сама Красная гора от зимних испарений с Енисея и Качи и всяких других городских помойных выделений начала покрываться ядовитой зеленью иль сине-зеленой плесенью, смахивающей на купорос...

Второе выселение из домов в Овсянке было совсем тяжелым, случилась даже трагедия на этот раз. Я уже в одной из глав писал, как глухонемой Кирилла платоновский, заступаясь за мать, зарубил городского уполномоченного. Все остальные мужики наши, такие боевые в драках, неистовые при лупцовке баб своих, лошадей и всякой другой беззащитной скотины, при крушении стекол в собственном доме, при стрельбе по маралу, забывшемуся в любовном гоне и на солонцах, по зайцу, по птице в тайге, слиняли, как ныне говорят, в защиту свою не только пальцем не шевелили, но и пикнуть боялись.

Ныне известно, каким покорным многочисленным стадом брели русские крестьяне в гибельные места на мучение и смерть. Они позволяли с собой делать все, что хотела делать с ними куражливая, от крови осатаневшая власть. По дури, по норову она иной раз превосходила свое хотение, устраивала такие дикие расправы над своим народом, что даже фашисты завидовали ей.

Овсянские семьи поместили на плоты. Густой коровий рев отплывающих и провожающих оглашал гористую местность. Пришла кара Божия. В Красноярске кулачье загнали на горы. Марья Егоровна, дедушкина жена и моя бабушка,

угодил с мазовским выводком — детьми и дремучим дедом Мазовым, уже тронувшимся умом, — за поселок Николаевку, на скотный выгон. Прабабка моя Анна умерла на Усть-Мане в клопном бараке сплавщиков, где проживал мой папа с мачехой. Папа той порой был в тайге, добывал для лесозаготовительного рабочего класса дичь. Прабабку в неструганой домовине сволокли на новый пролетарский погост, свалили в неглубокую мерзлую яму, да тут же ту могилу и забыли.

В Николаевке загон был огорожен колючей проволокой. Ни столовой, ни уборной, ни воды, ни света, и никого никуда не выпускали, суля скорую отправку. Какое-то время к загону никого не подпускали. В загоне была вытоптана трава, и люди лежали вповалку, ходили по колена в грязи, в моче, в размешанном дерьме. Тучи мух, осатанелые стремительные крысы, кашель, понос, вши, кожные болезни начали косить этот никем еще не виданный лагерь, за который вроде бы никто не отвечал. Лишь выбирали, выдергивали мужиков, парней и уводили куда-то. Скорей всего загоняли сюда людей на короткое время, на несколько дней, но где-то что-то не согласовалось, может, в низовьях Енисея ледоход еще не прошел, может, у пароходства судов не хватало, может, и справку-бумагу какую-нибудь окончательную не подписали. Таких вот загонов тогда по стране были тысячи, и чем больше мерло люду за проволокой, тем большая победная радость торжествовала в народе, еще не угодившем за колючку. Однако люд крестьянского роду был еще крепок, не так просто было уморить, задавить его. Те же родичи с улицы Вассалья да из деревень, придя или приплывши, не бросали своих в беде, пронюхивали, где они бедуют, толпами валили туда с передачками, проявляя изворотливость, подмасливали, подпайвали охрану, делились хлебом, табаком, тайком уносили и захоранивали на николаевском кладбище замученных младенцев.

Прошлой весной военные люди на этом кладбище благоустроили травяной пустырь, где захоронены японцы, пленные прошлой войны. Японцы посулили нашему великому государству какие-то подачки, вот и пристигла пора проявлять, пусть и шибко запоздаую, гуманность; но когда же самая гуманная в мире власть, когда борцы за правое дело вспомнят о замученных русских младенцах? Хотя бы о младенцах! На всех загубленных и замученных русских людей не хватит никаких сил, никаких средств, уворованных у народа же, «обслужить» и обиходить убиенных.

За младенцев Бог первый заступник, не гневите его!

Лишь за серединой лета вывезли из спецпереселенческих лагерей семьи раскулаченных на Север, где они частью повымирали, частью были еще раз репрессированы и постреляны за создание все тех же контрреволюционных вооруженных организаций.

Один ретивый работник Красноярского НКВД отмечал погашенные, испепеленные гнезда повстанцев черными флажками, действующие же, подлежащие ликвидации — красными. И когда другой молодой сибирский парень, посланный работать в органы, увидел эту карту, то зачесал затылок: «Н-н-на-а-а, ничего себе дружественная республика рабочих и крестьян!»

Возле Ашхабада велась раскопки древнего городища, столицы Фирюзанского государства. Здесь жил большой, трудолюбивый народ, превративший свою землю в сад, жизнь — в сытое, мирное довольство, в то самое благоденствие, ради которого российские комиссары не жалели пуль и крови. На это государство нахлынуло монгольское войско. На долю каждого воина-завоевателя вырубить пришлось человек пятьсот—шестьсот. Уставши рубить, воин отдыхал, ел, пил, забавлялся женщинами и снова рубил, рубил. Фирюзанский народ покорно шел к своему палачу, выстраивался в очередь, подставлял головы.

В 1941 году попавшие в окружение советские воины, сложив оружие в указанном месте, бесконечной серой вереницей шли по дорогам. К вечеру движение замирало, немцы обносили толпу заранее приготовленной ниткой колючей проволоки, прикрепленной к стандартному колышкам, строго наказывали, что ежели кто шагнет за ограду, того будут стрелять, и спокойно шли пить свой кофе, шнапс, ночевать без забот, заранее зная — редко кто решится на побег. Поскольку пленные были сплошь почти рядовые, а рядовых от века поставляла деревня, то вот она, на колени поставленная советской властью, забитая, запуганная, тупая масса крестьян, и оказалась так хорошо подготовленной для тяжелой доли пленного, нисколько, впрочем, не горше доли тех, кто томился и умирал той же порой в советских концлагерях.

Деревня наша рассеялась. Колхоз развалился. Вчерашние крестьяне стали ничем, потеряли основу жизни, свое хозяйство и сделались междомками. Где-то в Заполярном круге мыкались, умирали, приспосабливались к новой, неслыханной жизни сибирские крестьяне, и, что самое поразительное, часть из них, пройдя все муки ада, заломала эту самую жизнь, приспособилась к ней и приспособила ее к себе.

Жила в нашем деревенском переулке семья самоходов федотовских. Семья совершенно бедная, рабочая и по этой причине не желавшая вступать в колхоз. Федотовские выселялись из домишка, не имевшего даже заборки внутри дома, не подведенного под крышу, и, как я уже упоминал в одном из рассказов, один федотовский парень в путешествии отправлялся босиком, и якобы активист по прозвищу Федоран снял на берегу бахилы, бросил их парню на плот, заплакал и пошел домой.

Как в деревне, так и в ссылке деревенские люди держались союзно, продолжали родниться, куму звать кумой, кума кумом, откликались на беды, помогали делом, советом и копейкой друг другу. Выжившие семьи, которым разрешено было в Игарке строиться, обзаводились хозяйством, не только освоились на Севере и освоили его, но и зажили гораздо лучше, чем в далеком селе, из которого были выброшены. Заработки в карскую путину на лесозаводе и на рейде по тем временам были хорошие, товаров и продуктов изобилие, рядом река, кишевшая тогда рыбой, лесотундра, захлестнутая ягодой, грибами. В порту и на лесозаводе спецпереселенцев обучали на всевозможных курсах нужным профессиям, и цепкий крестьянский ум быстро схватывал суть нехитрого лесопильного и лесопогрузочного дела. Так и шла жизнь по новой модели: одних стреляя, других учили жить по новому закону, о котором мой папа пел, приплясывая: «Как у нашего царя новые законы — начинают пропивать старые иконы...» Окрепла в Игарке и федотовская семья: построила дом, обзавелась двумя коровами, кормила свиней, держала свору собак, лодку, рыболовные снасти.

После войны, приехав за бабушкой Марией Егоровной, иду я по Игарке и вижу — у бывшего здания второй школы, в котором расположился какой-то склад, сидит с батошкой крупный седой старец. Я замедлил шаги, приостановился.

— Дядя Митрофан? Федотовский? Из Овсянки?

А он мне:

— Кажись, Витька? Мазовский?

Обнялись мы с ним. Старик провел по моему лицу шершавой рукой.

— Эх оне тебя разукрасили!.. И моих ребят... Трех тама положили... двоих енвалидами возвернули... — Старик говорил, глядя поверх моей головы за Енисей, отстраненно и о чужеземных и о своих начальниках «оне», но безо всякого зла, с каким-то нашему народу только свойственным усталым, как бы уже обуглившимся горем.

Климатическое и географическое положение Игарки располагало к союзному житью, действию и вынужденной сплоченности. Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло — в глухую зиму, когда всему замереть бы и остановиться, под крышами школ, контор, бараков, возле жарко натопленных печек шли не только картежные игры, которыми так истово увлекался дед Павел, но и велись занятия по музыке, готовились постановки, показывали кино, которое многие переселенцы тут впервые и увидели. Все игарчане, способные к столярному, слесарному, пилоправному делу, учили детей, при лесокомбинате действовали курсы лесовозных машин, шоферов, медсестер, кочегаров, мотористов, рулевых. По улицам города, звонко брякая черпаком по обледенелым бочкам, катили полупьяные водовозы и золотари, на столбах кричало радио, в ресторане и в клубах играл баян, дети много читали, маршировали в военных кружках, изучали винтовку, кидали учебные гранаты и не зря учились — воевали потом, после первого провального периода, на фронтах как надо.

Даже наша самая мудрая партия, также не менее мудрое правительство оценили по достоинству игарчан и от удивления, не иначе, особым указом еще в 1945 году реабилитировали игарских спецпереселенцев, велели выдать им паспорта и отправляться кому куда захочется в пределах родной страны.

Очень и очень мало уехало. Остались в Игарке и федотовские, распавшиеся уже на несколько семей.

— Ну сам посуди, — говорил мне федотовский старик, — куды мы и к чему поедем? К избе без крыши? Да и ту, поди-ко, растаскали на дрова? Растаскали, вот вишь. И деревню всю порастаскали, и не только нашу Овсянку... Да-а вот. Тутюка ж мы укрепились, робятишки грамоте какой-никакой научились. Узнали

еду, даже сладку, лапотешку нову поносили, лисапед в семье, радива на стене говорит, патехвон на угловике играет, енвентарь для жисти необходимой накопился, могил наших с десятков в болотной тундре потонуло — словом перемолвиться, выпить есть с кем. Благодарить бы за это власти-то...— Дядя Митрофан вздохнул, поискал глазами батожок с заложенной поперечиной, оперся на него руками и, снова глядя вдаль за Енисей, с коротким вздохом молвил: — Да че-то не хочетца.

Вернувшись «на магистраль», бывшие спецпереселенцы обустроивались, обживались капитально, везде умели добыть свой хлеб и копейку. За Качей на улице Лассалья одно время свалка была выдающаяся даже среди знаменитых красноярских свалок. Приезжаю однажды с Урала в гости — свалки нету. Дома стоят на ее месте, подсолнухи цветут, дети бегают.

Что за чудо на неприкаянной земле?

— А, кулаки, б...— со свойственной, как всегда, непосредственностью сообщила тетка Таля, закачинский «прокурор».— Приехали, навалились, разгребли городское дерьмо, обиходили землю — на те, советска власть, ишшо один подарок трудового народа: вы нас морить, мы вас — кормить.

Тогда же от тети Тали узнал я, что не всякий элемент недобитый являлся с деньжонками и добром к родным берегам, кто и с одной святой надеждой. Какая-то свояченица под названием Капитолина Васильевна прибыла из Игарки на берега Качи и Христом Богом молит «пристроить ее на Вассалья, поближе к родным людям», узелок развязывает, в узелке чуть больше тыщи старыми мятыми-перематыми деньгами, зато большие мечты простерлись вдаль. дожить жизнь в своем углу и быть на погост унесенной из него же.

— Што на тышшу-то сделаешь? Место в горе выкопать токо и хватит, других площадей нам не припасено, вон даже свалка освоена вашим братом.

Но не отступать же! Препятствия и тяга к вспомоществованию ближним своим всегда утраивали силу и энергию тети Талину питали. Посообразала-посообразала она и перво-наперво купила на рынке у базарных джигитов дешевого вина. Аж бочку! Дядя Коля привез с пивзавода несколько ящиков пива. Неблагоустроенные закачинские шаромыжники, вчерашние зэки, люди без паспорта и определенных занятий — все эти Мишки, Гришки, Цигари, Ухваты, Малюски и просто заходяие мужичонки, — копали резво, пили резвей того, где-то узрели плохо лежащие материалы, привезли плахи, гвозди, кирпичи, цемент, да еще старых шпал вперемешку с новыми сбондили трудяги целую машину, проникшись сочувствием к одинокой женщине. Воссочувствовали они ей оттого, что сами были когда-то крестьянами, да потеряли семьи, жизненную основу и надеялись когда в новопостроенной избенке и ткнутся на ночь в непогоду. Большая мастерица выпить и поплакать, тетя Таля, поддерживая трудовой энтузиазм, выкатила еще один бочонок кислухи, и мигом была собрана, скулемана в глиняной норке халупа с банной крышей. Окно халупы, что было с рамою, радостно пялилось за Качу, на бурно кипящую жизнь краевого центра, борющегося за прогресс и высокую культуру. Одностекольное окошко, вмазанное прямо в глину, настороженным оком моргало вдоль улицы Лассалья, будто ждало чего-то из-за устья Качи, из забедованных северных далей.

И дождалось!

Власти нагрянули! Пальцем грозят — незаконное строение, незаконное строение! Все в стране Советов всегда делается по закону по строгому, а тут прямое нарушение. Генеральный план градостроительства пренебрежен — р-раз! Строение не вписывается в общую атмосферу краевого центра и в конфигурацию улицы Лассалья — дв-ва! Строение не может быть охвачено благоустройством ввиду отсутствия к нему подъезда — тр-ри! Строение не обладает противопожарными средствами защиты — ч-четыре! Строение не застраховано, не согласовано, в горсхему не внесено, в реестры не записано, в бэ-тэ-тэи не зарегистрировано...

Как про бэ-тэ-тэи вымолвили, баба Капитолина и слегла, думая, что так нынче именуется энкавэдэ. Но битых баб во главе с закачинским «прокурором» — теткой Талей голой рукой не возьмешь, всё они видели, всех побудили вплоть до собственных мужей. В наступ бабы пошли, представительную комиссию отбросили за Качу, в руины старого базара.

Через шаткий мостик из-за Качи комиссия грозила прислать бульдозер и снести под корень не только строение бабы Капитолины, но и все это осиное гнездо, под шумок свитое, властями пропущенное оттого, что они, власти, не перевода дыхания боролись за справедливость на земле. Закачинские бабы все это не раз уже слышали, бабу Капитолину успокоили: покуль, мол, постановле-

ние о сносе вынесут, покуль бульдозер вырешат, покуль трезвого бульдозериста сыщут, хозяйка и век свой в избушке изживет.

Ан не далее как осенью гул по улице Лассалья раздался, железо загрохотало, мотор зарычал: от устья Качи, со стороны улицы Игарской — надо же и улицу-то с таким родным и проклятым названием для наступления избрать! — двигался бульдозер. Медленно, неустрашимо, как и полагается большевистской силе наступать, пер бульдозер и в прах крошил гусеницами мерзлые глыбы, сминая рыжий кювет, выворачивая каменья из земли. Дребезжали стекла в избах отсталого деревенского отброса, избежавшего в тридцатых годах справедливого возмездия грозной карающей руки, свившего паразитическое гнездо вопреки недреманному надзору властей. Недорезанный этот, недобитый, недотравленный, недовоспитанный, ушлый, увертливый людской хлам попер уже барахлишко в ямы и погребам, гнал скот в гору. Началась спешная эвакуация жен, детей и стариков за Качу к своякам, к знакомым горожанам. Лишь тетя Таля, хозяйка незаконного строения баба Капитолина да еще несколько недораскулаченных кулачек стояли скрестя руки среди дороги, преградив путь наступающей могучей машине. У «прокурора», как и положено прокурору, блуждала на лице надменная улыбка.

Бульдозер шел! Что ему эти бабы, эта улыбка, он каменные стены сносил, церковные стены рушил, в заповедных столбах гранит греб, братские могилы с костями и ошметками недогнвших расстрелянных людей загребал, клумбы с цветами сметал, подводы и автомашины с добром и ребятишками в кюветы сваливал, когда готовилось ложе Красноярского рукотворного моря, он...

Но лассалевские бабы с пути его победоносного не сходили. Бульдозерист сперва сбавил газ, потом выключил скорость, но все равно рычал мотором, из кабины понужая народ гигантским матом. Бабы не отступали, мужики, покуривая, из подворотен лыбились. Изнемогший в словесной борьбе бульдозерист спустился на землю и, поигрывая ломиком, пошел на баб. Начиналась дискуссия, однако еще не было такой дискуссии, чтоб закачинские труженицы не одержали в ней верха. Как и все бурные российские дискуссии, эта закончилась тем, что бульдозерист напился, плакал и говорил, что ему тоже народ жалко, что ни в чем он не виноват, а все этот гад Нечипоренко, прораб, взял вот его, всякого горя навидавшегося, и послал на такое антиобщественное дело, и он этому Нечипоренке непременно когда-нибудь набьет морду... Поздним уж вечером дядя Коля на телеге доставил бесчувственное тело труженика советской индустрии домой, в поселок энэргостроителей.

Бульдозер стоял средь дороги, мешая автодвижению, парнишки играли на нем в войну, изображая, что находятся на полях сражения в непобедимом красном танке.

Через неделю бульдозерист появился снова. Пеший, морду воротит. В дискуссии более не вступает. Разогрел костром машину, завел ее и решительно двинулся вперед, на избушку бабы Капитолины. Но только из-за поворота вышел — и отворился у бульдозериста рот, промаргиваться он начал, черным кулаком глаз тереть, от напряжения и страха даже вспотел, несмотря на холодную ветреную погоду.

На незаконном строении бабы Капитолины алел красный пролетарский флаг! Подле сволочного, антизаконного, скандального строения, скрестив руки на груди, стояли все те же бабы, все так же неуязвимо и победоносно улыбаясь. Бульдозерист еще яростней нажал на газ, еще грозней взревела машина, еще крепче зазвучало рабочее слово:

— Мне хоть флаг, хоть че!..

— Давай-давай! — призывали его. — Жми-дави! Надругивайся над красным знаменем, обогранным кровью рабочих и крестьян. А мы тя тут же сдадим куда надо, и поплывешь ты в те места, откуль Капитолина прибыла, на десять лет без права переписки, по статье пиисят восьмая...

Кто ж выдержит разговор про пятьдесят восьмую статью — народ в Сибири насчет этих статей шибко просвещенный. Бульдозерист воздел руки в небо, поматерился-поматерился, плюнул на мерзлую землю в сторону митинга и, люто гремя железом, уехал.

С тех пор на улице Брянской, бывшей Лассалья, никаких комиссий больше не появлялось, бульдозеры тоже не приходили. Вокруг избенки и рядом с избенкой Капитолины Васильевны, превращенной со временем в стайку для свиней и кур, образовался выводок строений, по-за домом выбит был в рыжей горе даже огородишко. Ныне все почти строения на исторической улице снесены, все застроено солидными законными помещениями, выводок бабы

Капитолины пугливо вжался в гору, живет себе, вечерами телевизорной голубой полоской беспечно в щели ставен светится.

Всякий раз проходя или проезжая по Брянской улице, я думаю, что так, видно, никуда не внесли, в бэтэи не зарегистрировали это поселение; но, может, и по причине, самих нас удивляющей — нашей неистребимости,— живо еще оно, да и мы вместе с ним живы.

После разорения села и крушения колхоза имени товарища Щетинкина его организаторы и разорители никуда не делись. Лишь отъехала Татьяна-активистка в город, работала на нефтебазе неподалеку от железнодорожного моста, там и век свой кончила. Дети ее разбрелись по земле, многих уже и на свете нет. Посланцы партии на выручку колхоза имени товарища Щетинкина тоже слиняли куда-то, а наши деревенские деятели, посетившиеся на руководящих постах уполномоченными, десятниками, бригадирами, милиционерами, заготовителями, завхозами, кладовщиками, затем сторожами в магазине, истопниками в школе или на сплавном пикетном посту наблюдателями, постепенно старели, опускались и уходили в мир иной, оставив круги в грязной луже, которую сами и налили всевозможной нечистью.

Самой запоминающейся фигурой оказался и здесь Ганька Болтухин. Скулемав избушку из леса-жердника на месте вражеского мазовского гнезда, он спяну произвел выводок больных и агрессивных детей. Пили и бунили они с самого детства. Старшой из парнишек уже в шестнадцатилетнем возрасте изнасиловал на Достоваловском острове пионервожатую, произведя это боевое действие прямо на глазах у советских пионеров. Тогда еще не было у нас видео, новой волны отечественного кино, дискотек, интеллектуальных встреч, зажигающего нижние чувства танца ламбады, и оттого пионеры не проявили здорового освежающего любопытства, не пришли в восторг от сцены изнасилования, они с воплями бросились врассыпную, созвали гуляющий по острову народ, который и повязал овсянского сладострастника. И пошел он по тюрьмам, появляясь на короткое время в селе, чтобы совершить новое преступление и отправиться «домой». В один из кратких отпусков под крышу отчего дома братья Болтухины совместно с родным племянником хором изнасиловали малолетнюю сестру, и она помешалась. Потом старший сын зарубил своего дядю. Самого старшого, уже при моем житье в Овсянке, зарубил сын дяди, значит, его племянник. Самого же племянника не то зарубили, не то зарезали уже «на химии», где-то в таежных даях.

Между тем сам большевик Болтухин и его жена Екатерина, Катькой все привычно ее кликали, жили как ни в чем не бывало. Главная их задача была добыть выпивку. Иногда Катька и ее дочь наряжались белить и мыть избы, копать картошку, нанимались куда-либо уборщицами на время и заработанное тут же пропивали. Но чаще всего они все-таки выпрашивали, сшибали на выпивку, ничем уже не брезгуя, никаких преград не зная.

После войны на окраине нашего села были построены столярные мастерские. Инвалидкой звали это заведение, оттого что работали там сплошь инвалиды войны. Делали они оконные рамы, косяки и двери, кое-какую нехитрую мебельку, но чаще гробы и кресты строгахи. Об инвалидах была проявлена единственная осязательная забота: чтобы не ходить им далеко пропивать получку на костылях, не катить на тележках, не утруждать поврежденные кости, рядом со столяркой построили пивнушку. Ребяшня углем написала на ее стене «Ромашишка». Кинокомедию тогда отечественного производства показывали, и в ней влюбленный в русскую девушку героический летчик-союзник эдак вот называл полевой наш цветок, даря его юной участнице войны. В этой «Ромашишке» инвалиды сплошь и поспивались, дойдя до клеев, химических препаратов, употребляемых в деревообработке.

Вся нечисть деревенская и ближних рабочих поселков толкалась в «Ромашишке» с утра и до вечера. Впереди, конечно же, как всегда, коммунист Болтухин. Он допивал из кружек. Случалось, кто-нибудь из недорезанных и недобитых куркулей, чаще их родичи или дети, брали коммуниста Болтухина за грудки, крошили на его замызганной телогрейке последние пуговицы: «Ты, кур-рва, помнишь, как зорил наших, голодил их, обирал, теперь у меня же допить просишь?» «Помню, помню. Как не помнить. Дурак был...» Ему плевали в кружку, и он, не брезгуя ничем, пил, валялся, обнявшись с инвалидами, возле пивнушки. На партучете он с началом строительства ГЭС состоял на деревообрабатывающем заводике, что пилил и еще пилил брус для нужд социалистического хозяйства. На этом заводике работала моя двоюродная сестра и по

поручению парторганизации собирала партийные взносы. Болтухин никогда никому ничего не платил, он только брал, взимал, отымал. Вызовут его на завод, он партбилетишко черный, затасканный, с отклеившейся карточкой шлеп на стол. «Ну что же делать? — рассказывала сестра, все детство росшая на картошке, чаще на мерзлой, и к пенсионному возрасту ставшая воистину инвалидом, полным. — Старый большевик, почитать полагается, их в школе в пример ученикам ставили. Начну собирать в конторе по двадцать копеек, чтобы заплатить взносы за Болтухина, кто дает, кто ругается, клянет его...»

Приехал я как-то в деревню. Иду по берегу, смотрю: сидят Ганька с Катькой на бережку на камешке, где и в молодости сиживать любили, вдаль за Енисей смотрят. Он, как в старые годы, несмотря на летнюю пору, в подшитых валенках, в шапке с распущенными ушами, в шубенке с оторванным карманом и лопнувшими рукавами. Она в телогрейке, в полушалке.

— Да что это Витька мазовский, ли че ли? — жизнерадостно приветствует меня Болтухин, Катька тоже заулыбалась ущербным, почти беззубым ртом. — Пётра-то живой ли ишшо? Поклон ему сказывай

Как возможно сердиться на таких людей? Господь и без того наказал их жестоко — запившись до потери облика, Болтухин уже мочился под себя, пах псиной и однажды свалился под окнами своей избенки да и замерз. Катерину парализовало. Она валялась в избушке совсем заброшенная, догнивала во вшах и грязи, лишь наши, опять же наши деревенские бабы, не помнящие зла, выскребут ее, бывало, из грязного угла, из тлевого тряпья, снесут в баню, оберут с нее гнус, вымоют, покормят. Она им про Господа напомнит, поблагодарит, поплачет вместе с ними.

Однажды, уже после смерти обоих супругов Болтухиных, постучал ко мне незнакомый человек. Маленький, с круглым морщинистым личиком — кожа на нем не вызрела и напоминала пленку куриного яйца, на котором из-за недостатка корма не образовалась скорлупа.

— Внук красного партизана Болтухина, — беспрестанно подергивая кругленьким маленьким носиком, представился он.

— Откуда ж вы приехали? И что вас привело ко мне?

— Из Крас-рска. Раб-таю на хмырь-зводе, — скороговоркой сыпал он, сглатывая середину слов. — Ударником работаю. Хочу, шб написали книгу о дешке Героичску книгу Дешка мой — герой-партизан.

— Это хорошо, что вы ударник труда и дедушка ваш — герой.

— Я не ударник, я работаю ударником...

Долго мы толковали с внуком Болтухина, пока я наконец уяснил, что он работает ударником, то есть бьет в барабаны в джаз-оркестре в Доме культуры одного из красноярских, как он произнес, хмырь-заводов.

Дочь Болтухина и внучка его, поврежденная умом, долго жившие в избушке на месте нашего родового гнезда, все же завершили путь к своему и нашему полному исчезновению. Недавно они поднялись наверх, в рабочий поселок, отдав избушку свою, но, главное, приусадебный участок, за комнатенку в полусгнившем бараке и какие-то деньжонки, которые тут же и пропили вместе с мужичонкой, прибывшим из мест, от Сибири совсем не отдаленных, и прилипшим к изнахраченной девчонке, которая неожиданно для болтухинской породы вымахала в крупную и красивую бабу.

По безалаберности жизни земля возле болтухинской избенки одичала, здесь появился осот и, как полагается заразе, расплозся по всему селу. Но в палисаднике росли старые яблоньки, и дивно цвели они летами, зимою питали яблочками птах, на приусадебном участке выросла криво саженная и оттого криво сидящая ель, и, что кустодиевская купчиха, раскинула она подол по земле, вольная, пышнотелая. И еще в палисаднике росла редкостная саранка, одна себе, в тени, но на жирной почве раздобрела. В талину толщиной, шерстью по стеблю, словно изморозью охваченная, восходила она уже за серединой лета и такие ли ясные сережки развешивала! «Это душа всех мазовских погубленных младенцев единым цветком взошла», — сказала мне уже древняя наша соседка. И я подумал, что две мои маленькие сестры, умершие в доме деда и прадеда, тоже двумя сережками на пышном стебле отцвели.

Хваткий мужик из современных новопровозглашенных хозяев жизни и радетелей перестройки пришел с бензопилой и бульдозером, сгреб все под яр, свалил ель, испилил ее на дрова, везде посадил картошку, слепил тепличку, привез пиломатериал для нового, основательного дома, вырыл глубокий котлован. собираясь жить и строить с размахом. Хватит баловать! Хватит в коммунизм.

играть! Хватит кустики да цветочки садить — никакой от них пользы нету, никакого плода!

Исчез еще один род на русской земле, род по прозвищу мазовский, даже место его стерто с лица земли. Но какие-то мои однофамильцы из разных концов России, тоже разбитые, рассеянные, нет-нет и пришлют мне письмо с рассказом о своей семье и с вопросом — не родня ли мы? Да, да, все мы, русские люди, родня, и однофамильцы мои — достойные доброй памяти и доброго слова родственники.

Николай Игнатьевич Астафьев из волжской саратовской стороны поведал о своем боевом пути на войне и о том, что его предок некогда выехал на новые земли за реку Енисей, из хутора под названием Астафьев из Баландинского района, попутно еще и сообщил, что фамилия в переводе с греческого *Astafii* значит устойчивый; что в центре Парижа есть однофамильный собор, что астафьевские морозы на Руси незлобны и добры, бывают они на исходе зимы и заканчиваются теплом.

Смотрю в окошко через переулочек. В огороде ковыряется глухая баба Ульяна, из-под серенького платочка сигарка торчит. Нездешняя она. Из зоны затопления Красноярского водохранилища с мужем прибыли и соседнюю избу приобрели да и копошились на земле, вели домишко как умели. Баба Уля человек не только курящий, но и много читающий. Деда Дима не курящий был и не читающий. Болел он тяжело, операцию почти смертельную перенес, работой и землей отдалял свой конец. В сорок втором году на фронте вступил он в партию и на учете состоял все на том же богоспасаемом дозе, то есть на овсянском деревообрабатывающем заводе, туда и партвзносы с пенсии платил. Ему говорили: «Выплатите за полгода взносы, чего вам в такую даль тащиться». Нет, он каждый месяц плелся на завод. Поговорить деду Диме охота, с людьми пообщаться. Нацепит он медали на пиджак, привинтит орден Отечественной войны, за просто так всем нам выданный Брежневым, — нам орден, себе Золотую Звезду Героя, чтоб «незаметно» было. Стоит деда Дима час, два у ворот, иногда меня изловит, иногда соседку, в магазин за хлебом сходит, с бабами покалякает — и все тут его общение заканчивается, людям некогда.

Зимней порою отправился деда Дима на завод, взносы партийные заплатил, поговорил не поговорил, развлекся не развлекся, теперь уж не узнаешь. На обратном пути его прихватило, упал на мостике через фокинскую речку. Какой-то добрый человек еще нашелся в наших сознательных рядах, подобрал старика, домой привез. Тут он и скончался ввечеру. Бросилась баба Уля к соседям стучать, голосом кричать, никто ворота не отпирает, никто на голос не отзывается, кроме собак. Лишь вечный тюремщик-громило, на старости лет покончивший с позорным прошлым, откликнулся на зов страждущей, заругался: «Да што мы, хрещшоные или не хрещшоные?» — и пошел помогать бабе Уле.

Хоронили деда Диму скудно, никто с парторганизации, часто посещавшейся аккратным коммунистом, не пришел на его похороны, ни веночка, ни цветочка братья коммунисты на могилу его не положили, с завода ни машины, ни автобуса не дали. Билась баба Уля одна-одинешенька, да какие-то дальние родственники хлопотали.

Всем нам в укор и в назидание жизнь и кончина деда Димы, да и его ли только. А баба Уля теперь одна за оградой копошится, серый дым из-под серого платка валит — папирос нету в продаже, на махорку старушка перешла. Нынче многие гробовозы, как и в старину, табак в огороде посадили. Еще и скот заводить будут, и детей труду учить, и хлеб выращивать, и печи класть, и валенки катать, и рубахи починять, и...

Изнежила нас советская власть, но она же обратно и уму-разуму научит, самим кормиться и обстравываться придется. Тогда и жалобы некуда и не на кого будет писать, митинговать не об чем, разве что, как встарь, дома на печке поорешь, окна разобьешь, бабе фингал поставишь, так сам потом и окна стеклить будешь, с бабой мириться и самого себя казнить — погодь-погодь, российский человек, докличешься свободы, сам с нею и управляться станешь, а она — ох кобыла норовистая. того и гляди до смерти залягает.

«Еще одно, последнее сказанье» — рассказ тетушки Августы о том, как умирала и умерла моя беззаветная бабушка Екатерина Петровна.

Лежа в избушке по-над фокинской речкой, слепая и до того худушая, что комары ее не кусают, боясь хобот сломать, как шутил покойный дядя Кольча-младший, часто одинокая — у всех дела и заботы свои, все заняты хлопотами о пропитанье, как раз наступила огородная пора (еще в прошлом году пыталась

тетка брать на ощупь малину с огородных кустов, нашупывала и срывала огурцы, самые хрушкие, уже перезрелые только ей давались, теперь вот смерти молит, а та не торопится, терзает человека), — запавшим, беззубым ртом, с обнажившимся, как у всех наших к старости, скулами, с совершенно отлично, как опять же у всех наших, сохранившейся памятью, бабушкиным голосом тетушка вещала:

— Вот и мама так же. Вырастила дюжину нас, дураков, а голову приклонить не к кому. Апронька за стеной, в другой половине дома, жила, так у нее свои дела: надо в огород, надо на базар лучишко, огурчишки продать, пензии у нее на погибшего на войне Пашку пошто-то не было, осударство нам еще тогда пензий за старость не давало. Вот я отволохала на лесозаготовках, на сплаву, на базайском деревянном заводе, дак мне пензия сперва вышла сорок восемь рублей, потом набавка, и я пятьдесят четыре долго получала. Потом, при Брежнев, ишло набавка — и восемьдесят четыре стала получать, нонче аж сто семисят рублей! Я и деньги не знаю куда девать. Куда оно мне? Зачем? В гроб положить? — Силы на весь рассказ не хватало, Августа закрывала глаза, и делались видны круглые, на темные очки похожие глазницы. Я подавал ей питье. — Ты ишло не уходишь? Посиди. Успеешь к людям.

Надо заметить, что при других людях, даже при своих детях, она почти ничего не рассказывала о себе, пошутит через силу, поговорит о сегодняшнем, поругает внуков, забывших ее, — и никаких воспоминаний. Может, я действительно внимательный, достойный слушатель? Да нет, как и все мы, нынешние граждане, вечно куда-то спешащий тоже. Скорей всего тетка пыталась удержать хоть на время подле себя живого человека.

— Апронька ж заполошная. С вечера соберет на продажу котомку с огородиной, чтоб на ране в город учесать, и от волнения у нее понос. Всю ночь и бегат, почту носит. Утром в путь-дорогу — не ближний свет: двадцать верст туда и двадцать обратно, в городе ишло милиция гонит, лучишко не дает продавать. Что как расейская баба богатой сделается, в капиталиски выйдет? Мама ей стучит, стучит в стенку — не достучится. Я жила тогда — вот опять ругаться будешь, что простодыра, что из дому ушла, из большого и хорошего, в дяди Лукашину избушонку. А я те скажу весь секрет, чичас вот токо и скажу: семенную картошку мы съели. Вот что было-то. Девчонки плачут, ись просят, я с работы прибегу и в подпольишко, кажну картошонку в руках подержу пощупаю, поглажу, ко груди прижму, покуль в чугунок-то положить, картошинка по картошинке — незаметно и съели семена. И все уж променяли и проели. Садить в огороде надо, а нечего. И тут оне благодетели, миня и скараулили, шкандыбают два начальника, Митроха и Федор Трофимович Бетехтин, пятьсот рублей мне да куль картошки за переселение, место уборщицы в этом же доме где магазин наладились открыть...

Тетка забылась, скрестила руки на груди, исхудалые, с широкими плоскими кистями, с так и не сошедшим до локтей загаром. Пальцы у нее все в узлах и узелках, с провалившейся меж косточками плоть, с истраченно выступившими жилами цвета спитого молока. Забылась? Спит? Померла? Лицо отстраненно и врое бы как сердито. Но нет, не спит, не померла.

— Отсадились. Едовая трава пошла, шавель, черемша, жалица, медуница, петушки, саранки потом и пучки. Девчонки черемши в чашку крошат, водой зальют, посялят, хлебают и черемшой же прикусывают — хлеб, говорят... О Господи! Господи-и! Ягоденки пошли. Менять земляницу на хлеб начали в совхозе и на дачах у баров у совцких. Мама хоть и близко, но выдаемса вечером, всегда на бегу да на скаку. — Тетка не отвернулась, а, глядя мимо меня в пустоту, пошарила по халату на груди, совсем иссохшейся, собрала его и вдруг спросила: — Счас че, ночь или день? А число како? А-а, как Ильин день придет, тятю-то помяни. Он завсегда в этот день посылал нас картошек накопать. Перьвых. Ах каки же картошки с новины вкусны были! И тятя у нас хороший был, смиренный. Никого из нас никогда пальцем не трогал, а мы ево боя-аались! Мама раздавала шлепки направо и налево, и ничего, ровно так и надо, получил, отряхнулся и живи дальше... А знашь, мама-то кака в старости приспособлена стала. Прихожу один раз, у нее в сенях картошки на полу ровно маслом намазаны. Я не сразу догадалась, что она уже обессилела, воду с Енисея таскать не может, а ведь по тридцать пять коромысел натаскивала, бывало, за вечер — на вареве, питье скотине, когда поливка в огороде, баня, даже и не пересчитать тех коромысел. И вот она овощь рано наутре в траву высыплет да граблями ее граблями катает, эдак вот в былках намоет.. Господи! Да прости ты всех нас непутевых ее детей и внуков!

Тетка закашлялась в плаче, прилегла, подышала, утерла платком незрячие глаза и снова повела буднично, ровно свой рассказ:

— С теплого места, из уборщиц, меня скоро выжили, и опять я на сплав подалась. Девчонки по дому управляют, варят чего Бог пошлет. Апронька бегает, дрищет да копейку зашибат. Кольча и Марeya на баканах, Иван Ильич и сам уж старый. Ты где-то далеко, на Урале застрял. Никому нет дела до мамы. Катанки у нее были, мало еще ношены. Вот она придет в нашу избушку, покомандует девчонками — боле-то уж некем командовать. Рассеялось войско! Покомандует-покомандует и говорит: «Гуска, однако я катанки продам. К зиме ближе продам, чичас кака имя цена?» Назавтре явится: «Нет, Гуска, всю я ночь думала и решила: катанки продавать не буду — что как зима люта придет, я в ботиках стеганых и начну лапки поджимать, как воробей. Не-э, пусть уж катанки при мне будут. Я их в изгололье положу — вдруг какой лихой человек...» Посидит, посидит, на девок покуркает — уходить-то неохота. «Гуска, тебе тот катаржанец-то письма присылат?» — это она про тебя спрашивает. Реденько, говорю, но пишет, всегда поклон тебе передает, приехать сулитса, как с женой обживутся и деньжонок подкопят... «Жена-то у него хоть не пьюшша?» Не пьюшша, не пьюшша, говорю. «И не курит?» И не курит, говорю. Из рабочей семьи она, и починиться умеет, и состряпать, и сварить. «Ну ладно, ковды так. Пушшай ему Бог пособлят. А то я думала: как в прежнее время голову-то завернет, запоет, залется, про все на свете забудет, и кака-нибудь Тришиха подхватит песню-то, и споются, чего доброго. Без бабушкиного благословенья женился, мошенник! Ну ладно, пошла я. Спице с Богом, ночуйте со Христом да дверь-то на крючок запирайте!..» Да че, говорю, у нас воровать-то? Ребятишек? «Воровать не воровать, а завернет какой охальник вроде Девяткина, и не отобьешься. А у тебя эвон какой выводок настряпан...» Постоялицу она на квартиру пустила. Хороша, молода девушка, в сплавной конторе работала. Серединой лета свалилась наша Катерина Петровна — совсем ногами ослабела, и сердце у ней шибко-шибко стало болеть, никаки уж капли не помогали. Ухо ко груди приложишь — совсем ниче не слышать, потом как под гору на телеге — тук-тук-тук...

Тетка говорила про бабушку и не знала, что ее изработанное сердце каталось так же срывисто, как и у бабушки когда-то, ударит раз-другой да и закатится куда-то вглубь, и долго-долго ничего, никакого эха не возвращается назад.

— Приступ у мамы вечером начался. Трясло ее шибко, мы отваживались как могли, она кричала: «Илья! Илюшенька! Возьми меня к себе.. Измучилась я. Возьми!..» Утром перед сменой я забежала к маме, она слабая, завялая вся. «Причеши меня, говорит, умой да водички поставь на табуретку» Я говорю. может, мне отгул взять, штоб с тобой посидеть? «Какой те отгул? Кто за него платить станет? У тебя робятишки... да и постоялица сулилась из конторы прибежать, меня попроведать...» Работаю я на рейде, багром орудую, мама из ума не идет. Смотрю, постоялица по боне чешет — у меня и сердце оборвалось. «Тетя Гутя, тетя Гутя, бабушка, кажется, умерла...» Прибежали мы. Лежит мама на правом боку причесанная, прибранная — как я ее оставила в таком положении, так она скоро после меня и преставилась, без причастия и соборования, молиться, правда, старушки-подружки молились за нее, че-то шептали. Похоронили маму рядом с тятьей, как она того и хотела, поминки справили, все чесь по чести, хоть и время тяжелое было, тебя на похороны ждали, да вишь вот, не живи, как душа просит, а живи, как судьба велит...

Мать моих внуков, моя дочь, родилась в тот год, когда умерла бабушка, — природа восполнила потерю, но кто когда восполнит наши потери, утишит боль и тоску в нашем сердце?

Я поднимаюсь и ухожу к себе. Дела. А тетка смотрит вослед шагов.

Еще когда Кольча-младший, дядя мой, живой был, сходит вечером до ветру и посмеивается, вернувшись: «За речкой собака лает, видно, Гуску опять медведь дерет!» Отшутился дядя, отгулял, отволохал, отдыхает среди деревенского народа, вот и сестра его туда же собралась.

Сижу посреде родного села, куда всю жизнь стремился в неосознанной надежде найти здесь маму, бабушку с дедушкой, детство свое и все, все прошлое. Нынче весной уехал в Вологду мой внук, туда, где он родился и жил, рвался со внутренней дрожью, с горящими глазами и все с той же, что и у деду, надеждой: найти дом, в котором он рос, на том же месте, в нем — живую мать, подросших друзей, деревья чуть выше головы и город все такой же добрый, белый, тихий.

Какие горькие разочарования ждут его!

Разве вернешь то томительное, сладкое ощущение приближающейся весны, не знаемое, кстати, в благоденственных полуденных странах. В этом ожидании тепла и солнца, радости их пришествия кроется то чувство, что рождало нашу русскую складную поэзию, вызванивало голоса наших российских певцов!

Для меня весна в детстве начиналась с первого яичка. Еще на дворе едва отпотело, на сугробах выступил мусор, опилки, деревянная кора, былки сена, по двору шляются куры с бледными гребнями, копошатся, крыльями обмахиваются, выбивая застоялую пыль из перьев, петух, взнявшись на цыпочки, пробный голос подает, и однажды на всю округу вдруг закудахчет курица. Гнездá, где несутся курицы и в котором непременно оставляется одно яичко для положительного примера и указания рабочего места, еще нету. Первое яйцо курица кладет где попало, и вот его всем домом ищут, ищут, ищут, ищут и найти не могут, а я только на сеновал взойду — и вот на тебе, тут же его и найду! Яйцо-то в уголочке, на теплой трухе прошлогоднего сена, — и с воплем радости к бабушке, держа в ладошках как награду за все зимнее долгое бдение это живое творение природы, греющее детские ладошки нежным теплом. «Ой, робята, какой у нас Витька-то глазастый! Какой молодец! Все мы полоротые ходим, ходим и яичка не видим, он вот и нашел! Ну-у, ковды так, значит, перьво яичко добытчику первому и исти...»

Дядя Кольча-младший, колхозный бригадир, еще и добавит: «Я эту хохлатку на доску почета занесу как ударницу!..»

Нынче новое поветрие — куриц на селе почитай что и нету, коли у кого есть, со двора не выпускают, потому как шоферня и мотоциклисты норовят во что бы то ни стало свободно гуляющую птицу задавить, на аварию ради этого пойдут и, пока не задавят, не успокоятся. Вот какая ретивость, вот какое развлечение у нас на селе нынче.

Леса вокруг села, на горах и даже на скалах выжжены, оподолья обрублены под жалкие дачные участки. Река обмелела, вода в ней холодная и безжизненная, по дну стелется зеленая слизь водяной чумы. Выродились ягоды и нежные цветы — от зимних туманов, наплывающих с реки, от кислотных дождей, опадающих с неба, сорок самых распространенных и нежных растений исчезло из лесу и с полян только вокруг села. Исчезли и наши чудные деревенские и лесные поляны, под корень срубаются пригородные леса — буйствует дачная стихия. Человек, российский человек, не вынесет города и его промышленного ада, зигзагами, в судорогах, в панической спешности возвращается к земле, осваивает пятачок свой, лепит избушку из ворованного стройматериала с претензией на какой-то терем или заграничную аристократическую виллу. Вчерашний крестьянин, отравленный городом, играет в землю, в пресыщенного богатством и благами высбкомерного богача, но получается пока из него ничтожный собственник ма-а-ахонького царства, готовый урвать хоть шерсти клок с паршивой овцы, то есть с государства нашего захудалого, нажить жалкую копейку своим одиноким, первобытным трудом.

Село Овсянка населено каким-то праздным, вялым людом. Здесь триста душ пенсионеров, столько же шатучих, ни к какому берегу не прибывшихся людей. Какое-то непривычное, скудное, потаенное население обретается в Овсянке, оно где-то работает, куда-то ездит, бьется как рыба об лед, ни прибыли от него, ни надежды. пашен нет, заимок тоже нет, на все село несколько десятков голов скота, но и тот пасти некому и негде — вся земля поделена и разгорожена на дачные клочки. На фокинском улусе, откуда давным-давно ушел в леса и не вернулся маленький мальчик в белой рубашке, престижные люди строят престижные дачи. Зябко ежась, вечером лениво пробредет по селу стайка неприкажных, нарядно одетых девчонок, окончивших школу и никуда не пристроившихся. Промчатся по улице молодые мотоциклисты, ряженные под иностранных киногероев, вспугнут собак, и те погавкают по дворам да и уснут. Ни гармошки за селом, ни пляса на деревенском мосту, ни гуляний, ни песен почти до рассвета, когда остается до выезда на пашню час-другой поспать.

«Милый мой, а я твоя, укрой полой, замерзла я...» Неужели здесь, на этой земле, на улице этого угрюмо настороженного села, я слышал такие складные слова и был поражен нежностью, в них выпеваемой? Какие же залежи тепла, любви, добра, светлости таились под грубой крестьянской кожей, под той самой полой полушубка своедельной выделки и пошива. Неужели пелись эти чудные слова одной из злых старух одному из этих ко всему и к себе тоже безразличных стариков?

Боже, Боже! Что есть жизнь? И что с нами произошло? Куда мы делись? В какие пределы улетучились, не вознеслись, не уехали, не уплыли, а именно улетучились? Куда делась наша добрая душа? Где она запропастилась-то?

На похоронах тетки Апрони я вдруг увидел тетки Авдотьиных девок, все таких же мордастых, востроносых и молодых. «Свят-свят!» — хотел уж я занести руку для крестного знамения, но тут ко мне подошла еще крепенькая, опрятно одетая пожилая женщина и, подавая большую рабочую руку, представилась:

— Я есть Аганька, тетки Авдотьяна дочь. Маму-то помнишь? Давно уж отмаялась, царство ей небесное. А папуля наш где-то на Севере так и загинул. — Отвела взгляд, вздохнула. — И Костинтин тоже. Помаялась я с ним, ох помаялась, мама избатовала его, пил он шибко, по пожаркам да по шарашкам разным ошивался. Из тюрем. почитай, не вылезал. А я, — Аганька усмехнулась, пообнажив вставные зубы из золота, — удалась в маму. Четверо ишло девок у меня. От первого мужа две и от второго. Две первые девки при деле, при мужьях, а эти вот стрикулиски, — показала она на одинаковых ростом девах, затянутых в джинсы и в кофточки со словом «Аидас» на взбитых грудях. — Эти вот погодки замуж не идут, али их, дур, не берут. В огороде полить или там садить не загоношь, корову подоить не умеют, чашку-ложку за собой не уберут, полы не вымоют, все иня брик да брик, вот те и сплавшышкие дети.

— Мама! Ну сколько тебе можно говорить, не брик, а брэйк.

Мать на это им заметила, что добрыкаются они, допрыгаются, но девицы, дальние мои родственницы, не слушали мать, подхватив меня под руку, гладкотелье, духами дорогами пахнушие, с дорогами перстнями на пальцах и с сережками в ушах, старомодно жеманясь, поводя глазами в сторону молодых парней, присутствующих во дворе, говорили, что давно со мной познакомиться желали, но стеснялись, они книжку мою читали, правда, название забыли, и горячо уверяли, что брэйк на Усть-Мане гораздо лучше идет, чем в Дивногорске да и в Красноярске самом, в клубах и домах культуры не всегда удается, разве что в железнодорожном дэка да в танцевальном зале иногда, но танцевальный же зал все время используется не по назначению, то под художественные выставки, то под встречи «Кому за тридцать». Зачем, скажите вы, встречаться, если уже за тридцать и тем более за пятьдесят? Никакого же смысла нет!

Я смотрю на Аганьку, тасканую-перетасканую за волосы бедолагой матерью, и едва нахожу в ней сходство с нею, разве что усталость в глазах, обвислое тело и душа одинаковы. И хоть скорбная минута, вся родня с постными лицами, встретившись, целуются, едва узнают, а то и не узнают друг друга, говорят же шепотом, пока на поминках не выпили. Жалко мне Аганьку. Я пытаюсь вспомнить что-нибудь веселое, и она напоминает мне, как обшаренный матерью с головы до ног папуля их Терентий нашел-таки ухоронку, свернул в дудочку и запихал тридцатку в ружье. Мать и подозревает неладное, но ружья боится. Позвала старшего братца, бобыля Ксенофонта, тот ружье переломил, поглядел, понюхал даже и деверя не выдал.

— Дак тятенька-то наш, — сбиваясь на смех, повествовала Аганька, — всю-то зимушку ко Ксенофонту ходил, наскребет из кадки мороженой холодной соленой капусты в карман, косушку самогонки у матери сопрет — и через дорогу в хибарку к бобылю, целует его, братом называет. Как-то мать его прихватила, из дому не выпускает, а у папули капуста тает, по штанам течет, все предметы морозит и шшипет. Дюжил-дюжил папуля, давай мокрую капусту горстями выгружать: «Ишшо икзэма получится на причинном месте!»

Мы оба с Аганькой зажали рты ладонями, девицы глаза закатили критически — чего смешного?

Недавно Алеша мне сказал на доступном ему языке, показывая два пальца: «Мама умрет, мы останемся двое. — Глаза его наполнились слезами, и он добавил: — Мне будет жалко, когда умрет Витя». И я сказал брату: «Мне будет больно, когда умрет Алеша».

Встретимся ли мы на том высоком берегу, безбожники, утратившие веру не только в высшую силу, но и в свой народ, в его дальнейшее существование? Кто-то мудро сказал: «Надежда исчезает последней». Но на что нам надеяться? Где отыскивать ее, эту надежду? Успеем ли воскреснуть? Хватит ли сил и мужества? Крут он и труден, путь к надежде.

В огороде своем я насадил лес и дикие лесные цветы, пытаюсь, как все современные люди, приладить природу к себе. Ныне ребятишки уже не пропадают в лесу, не копают саранки, не жуют медуницу, петушки, пучку, черемшу,

не скоблят сосновый сок. Как-то, идя из лесу, нес я в руке подснежники, и катающийся на велосипедах с подвешенными на шею транзисторами подростки, с фигурами уже взрослых мужиков, удивленно воскликнули: «Ой, уже весна!» А когда-то в деревне о весне, о первых цветах жители села узнавали от нас, ребятишек, и о ледоходе, и о первом пароходе, и об ягодах первых и грибах, — счастлив бывал тот, кто первым находил не только яичко на сеновале, но и первую зрелую земляничинку, первый масленик.

Неохотно приживаются дикие лесные цветы в городе.

Садил, садил орхидеи — венерины башмачки, — прижились они в одном месте, возле стены избушки, растут вяло, цветут уныло. Стародубы под березой в тени забора прижились. Нынче сыро и холодно весной было — цвели таежные цветы густо, сочно. Я склонился над пышной зеленью стародубов, надеясь уловить тот таинственный запах дремучей тайги, который в детстве вбивал меня в пугливое чувство, что бывает от соприкосновения с тайной. От цветка все еще веяло древностью. Из древности той вышли все мы, ведь получились мы все из того, что было до нас. И не весточка ли из прошлого встревожила сердце тем горьким вздохом древности? Не в онемелом ли цветке озарилось тысячелетие, не ему ли дано нежным рупором сообщить с нами, поведать о вечности? Не остановившийся ли звук прошлой, неведомой нам и все же близкой сердцу жизни тревожит нас, донося щемящую тоску о чем-то безвозвратно утраченном нашей ленивой, полусонной памятью?

Музыка и цветы — это оттуда, из недостижимых далей, из окаменелых напластований времени, только им оказалось доступно пробиться к нам. И мы плачем, слушая музыку, умиляемся, глядя на цветы, плачем о самих себе, свято задуманных природой и утраченных нами же, горюем о существовании, самого себя заморочившем, обобравшем, изолгавшемся и норовящем на четвереньках, с лаем, рычанием, мыком вернуться в каменные пещеры, чтобы через миллионы и миллионы лет возвратиться оттуда на свет, обрести разум и снова умилиться цветку, плакать от той музыки, которую слушал кто-то до нас...

В лесу, в первой Россохе, где росли раньше нам, детям, доступные, самые близкие ягоды брусники и черники, черничник исчез вовсе, бруснику ровно кто-то обкусил, и она каждое лето пытается ожить, выбрасывая на глиста похожий бледный побег со щепоточкой вялых тычек, похожих на чахоточные палочки.

Но не кончился совсем пока мир-то этот, не кончился. Для меня он и по сию пору делится на два мира — на маленький и на большой, устрашающе манящий в запределье, кои видел я недавно и содрогнулся...

Подлетая к Нью-Йорку, самолет лег на крыло, и вместо неба стеной стала кипящая, расплавленная магма, которую наискось, вдоль, поперек прошивали ручейки огней, беспрерывно текущие куда-то в бесконечность. Жуткая, цепенящая красота огромного вечернего города. Будто фантастический сон наяву.

Но мне родней и ближе тот малый, привычный мир. Я даже речки люблю малые, особенно нашу фокинскую. По ней можно бродить, брать воду на чай, умываться, плескаться, ловить пищуженца под камнем, зреть, как сбиваются в стайку пестрые харюзки — настороженно пошевеливая нарядными лепестками хвостов и плавников, вдруг рыбки рассыпью бросаются вверх по течению и где-то исчезают. Если совсем мелко в перекате, брызги взовьют, серебром кусты наклоненные осыплют, брюхатого жука в воду сшибут, и он, шевеля лапами, плывет, кружится, короткий всплеск, и его не стало — леночек или харюз покрупней поживился. Куличок бегаёт по камешкам, засунув длинный клюв в глинистую морщинку, подернутую голубыми мошками незабудок, достал еду птенцам; шустрая трясогузка из коряжек и корней выклеивает тлю и личинок, приветливо всем кивая хвостом. Булькнула ягодка смородины в воду, пикнул бурундучок, мышка травой прошуршала, и чутко дрогнул крылом заложивший круг над речкой зоркий ястреб.

Этот мир можно потрогать ладошкой, к нему хочется прильнуть, быть в нем, он казался в детстве бесконечным.

И как прежде, на той еще не вспоротой бульдозером речке, возле не раздавленных гусеницами ключей трудятся двое — он и она. Мальчик и девочка. «Мальчики играют в легкой мгле, сотни тысяч лет они играют: умирали царства на земле, детство никогда не умирает». Он складывает дом, она месит глину, носит в ладошках воду, и, когда вода проливается меж пальцев, он ворчит на нее, и она снова и снова спешит к речке, терпеливо доставляя воду на замес. Построив дом, он, хозяин, идет за дровами, может, и рыбу добывать, она стряпает пироги из глины, укладывает под лопушок сделанных из сучков деточек

— спать. Накрыли хозяйева стол, ягодок черемухи и смородины на него насыпали, хозяйка желтенький цветочек недотрогу в серединку поставила — огонек в доме затеплила, ромашек, называемых лебяжья шейка, на постель детей набросала. Спешите, гости и все люди добрые, на огонек во вновь построенный дом — вам тут всегда рады.

Над домом и над детьми солнце светит, лес шумит, речка плещется, неугомонная бессмертная речка детства, устьем ластящаяся к Енисею, который тысячи лет уже течет и течет в вечность, и над ним нависают рыжие скалы. Караульный бык, в ночи похожий на речное каменное веко, все так же спокойно кладет свою недвижимую тень до середины реки, и лес, на нем выросший, видится ресницами. По-за Енисеем, над речкой Караульной в середине июня все так же отстаивается свет прошлого дня, сливаясь со днем сегодняшним.

Еще не все покорил, не все уничтожил самоед человек, еще цветут цветы на склонах гор, растет целительная черемша в тайге, рыщут редкие, смертельно испуганные, не добытые нами звери, птицы, нами недоотравленные, пусть и поределым хором славят восход солнца, трудно и негусто рожаемые дети шуряют на белом свету, улыбаются ему и жизни ртом, похожим на алый цветочек.

И снова и снова вижу я столь давнюю, столь мне с детства близкую картину бытия. Снова и снова испытываю вину перед жившими до нас, как испытывали ее миллионы лет миллиарды людей. Вина тем более на нас тяжкая, тем более горькая, что вижу я на овсянском кладбище умерших своей смертью только стариков, молодые ушли к праотцам от современных неизлечимых болезней, от пьянства, перебили друг дружку, передавили автомобилями, перестрелялись, утонули, отравились, повесились, заблудились в жизни...

О жизни же нашей повседневной лучше всех, по-моему, сказала соседка, давно живущая в бабушкином доме: «Как была, б..., инархия, так инархия, б..., и осталась!»

Прошлой зимой, ознакомившись с делом на деда, отца и односельчан, я написал довольно пространное и резкое письмо в краевую прокуратуру и вот, опять же во время работы над заключительной главой, получил ответы на официальных бланках — привожу их дословно с соблюдением всех параграфов и форм.

Сверху под гербом крупно и четко напечатано:

«Прокуратура СССР. Прокуратура Красноярского края 18-06-91 № 13/229-91
г. Красноярск

Уважаемый Виктор Петрович!

Ваше заявление о необоснованном привлечении в 1931 году к уголовной ответственности Астафьева П. Я. и др. рассмотрено в прокуратуре края и УКГБ СССР по Красноярскому краю.

С учетом ваших доводов следственным отделением УКГБ по делу проведено дополнительное расследование, в результате которого установлено, что постановление тройки при ПП ОГПУ Восточно-Сибирского края от 1 апреля 1932 года в отношении Астафьева Павла Яковлевича, Астафьева Петра Павловича и Фокина Дмитрия Петровича и признания их виновными в совершении контрреволюционных преступлений является необоснованным и незаконным.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16-01-1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-х, 40-х и начала 50-х годов» Астафьев П. Я., Астафьев П. П. и Фокин Д. П. реабилитированы.

Справки о реабилитации прилагаются.

Верно — прокурор края, государственный советник юстиции 3 класса
А. П. Москалец»

И в заключение довольно решительная подпись человека, честно и принципиально исполнившего свой долг. Мне бы благодарить от имени деда, отца и односельчанина моего партию и правительство, краевое управление КГБ, действительно приложившего немало труда для восстановления справедливости прокурора Москальца — «да че-то не хочетца», как сказал мне когда-то в Игарке еще один законопаченный в Заполярье односельчанин, Митрофан Федотовский. Не хватит моего старого, уже не гибкого хребта кланяться за всех погубленных, убиенных, а ныне прощенных русских людей. На каком-нибудь многомиллион-

ном поклоне хребет этот не разогнется, хрустнет, не выдержав непосильной работы.

Ездят по сибирской земле литовцы, латыши, эстонцы, выкапывают из могил родных, погубленных в чудовищных ссылках, и увозят их останки на родину. А куда свозить нам, россиянам, прах наших мучеников, коли вся Россия — кладбище?

Много лет назад меня мучал один и тот же сон — родной деревенский переулочек и в конце его дряхлый, дряхлый дом с закрытыми ставнями, с обвалившейся гнилой крышей, рассыпавшийся трухой, со двором, заросшим бурьяном, в который опали балки, заплотины, створки ворот. Я знаю, там, в этом глухом и темном доме, лежит одиноко в холодном тлеющем тряпье моя бабушка и ждет меня. И я хочу дойти до нее, приласкать и непременно лечь рядом, но что-то все время мешает мне дойти до этого обиталища, войти в него, какие-то встречные люди и дела отвлекают. Так ни разу я и не дошел до бабушки, так еще и не дождалась и не дозвалась она меня, и землю не пахнет в моем рту, да и сон этот по прибытии в родное село погас, будто экран беззвучного кино.

Я гляжу в окно. За Енисеем рыжеют хребты — это следы страшных пожаров. Горит тайга каждый почти год, достигая окраин города. Заречный пожар возле речки Боровой разгорался несколько дней. За рекой тысячи дач имущих, зажиточных людей, десятки тысяч пенсионеров, возделывающих грядки, глядящих в телевизор на перестройку, ругающих устно и письменно власти за то, что медленно налаживается или совсем разлаживается жизнь.

Оторвись от телевизора и своих грядок пара пенсионеров, возьми пару лопат, прикопай огонь, оставленный молодыми беспечными гуляками-разгильдяями, и не было бы этого страшного, все с хребтов сметающего огня, который взрывался в скалистых распадах от скопившегося там сущья и мелкого хвойнолесья, будто склад боеприпасов от прямого попадания бомбы на фронте.

Там, за рекою, бывший ученый муж цепью от лодки перебил позвоночник маленькому мальчишке за то, что тот сорвал без спроса на его грядке спелую земляничинку, и папа этого навеки изувеченного ребенка переплыл ко мне с просьбой писать жалобу в Верховный Совет. В ту сухую весну от страшных пожаров сгорело немало деревень, горела и наша, и мои нынешние односельчане воровали с пожара все, вплоть до навоза и саженцев. Назовите мне «такую обитель», где бы это было возможно!

Но... но во всем находится еще какое-то утешение, какая-то отдушина. Деревенские старухи уверяли меня, что пожар удалось потушить только благодаря «четверговым яйцам». Горело вскоре после святого четверга, на который по стародавней привычке и поверью красили яйца, и вот эти-то яйца начали бросать в огонь старые люди. «И что ты думаешь? Ветер тише, тише, огонь-то эдак вот к Анисею отгибает, отгибает, и... утихло, унялось».

О том, что с реки и с железной дороги по пожару хлестанули могучие противопожарные средства, батареями их нынче называют, старухи не поминали, да и не верили они той силе, в коей чудодействия не было.

Вот на вере в чудо, способное затушить пожар, успокоить мертвых во гробе и обнадеежить живых, я и закончу эту книгу, сказав в заключение от имени своего и вашего

Боже праведный, подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!

*Поздравляем
Виктора Петровича Астафьева
с присуждением ему
Государственной премии СССР
по литературе
за 1991 год.*

НОВОМИРЦЫ.

ВЛАДИМИР ДОМОГАЦКИЙ

✱

КЛАДОВКА

Попытка консервации

Владимир Владимирович Домогацкий (1909—1986) принадлежал несомненно к тому типу художника, для которого, как и для его отца — скульптора Вл. Н. Домогацкого (1876—1939), искусство составляло квинтэссенцию жизни. И не только потому, что в искусстве отражена его душа, физическая природа, все связи с миром, а еще и потому, что все, что бы ни окружало его, вся среда, в которой был он, — не только когда рисовал, писал, резал гравюру, а просто думал, курил, читал, пил кофе, разговаривал, хоть с философом, хоть с водопроводчиком, — все волшебным образом преображалось, неожиданно становилось «совсем из другой оперы». Это было очевидно для каждого, кто с ним хоть немного общался или был знаком. Один из его любимейших писателей, М. Пруст, считал, что «талант художника действует так же, как сверхвысокие температуры, обладающие способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в абсолютно противоположном порядке, создавать из них другую разновидность». Рядом с В.В. Домогацким все превращалось в «другую разновидность».

Каждый, кто переступал порог его дома, по доброй воле, конечно, одновременно переступал и порог своей собственной каждодневной обыденности, обретая ту превосходную степень, на которую только был способен от природы. Каждому передавался, видимо, его необъяснимый внутренний свет, обладавший драгоценным свойством высвечивать в собеседнике все самое лучшее. Это был замечательный дар. В природе он страшно редок.

Его способность рассказывать была тоже, конечно, из области искусства, потому что рассказом своим он умел создать реальность иного плана, реальность настолько подлинную, что собеседник начинал чувствовать себя в ней так же уверенно и естественно, как и сам рассказчик, даже как бы начинал дышать воздухом этой вновь воссозданной перед ним реальности. Чудо собственного перевоплощения было настолько неотразимо просто, что всегда был соблазн даже и не признавать его чудом: конечно же ты был соучастником, это было с тобой, твое и теперь от тебя так же неотделимо, как от него самого.

Видение его было ярким, вобравшим в себя столько красок, запахов, света и воздуха его России, а рассказ столь образным, что давал средство проникнуть в то, чего иной был лишен в своем прошлом. Своими рассказами он как бы перетекал в собеседника своей существенной частью, и тот всегда уходил с ощущением куда более емкой, чем прожитая в действительности, жизни.

Потому-то уход Домогацкого был столь ощутимой утратой для всех, кто его знал. Для них и, наверное, для многих других, кому не выпало его знать, воспоминания, его «Кладовка», — это возможность вместе с ним проследовать в реальность его мира, увидеть в ней, будто озаренными, разные линии и планы своей собственной жизни и души, планы, которые без его помощи, может быть, так бы и остались навсегда неугаданными.

«Кладовка» писалась в конце 60-х — начале 80-х годов и была она много, много больше. Его близким не раз приходилось сражаться за сжигаемые им куски. Он был неумолим: «Чем меньше останется, тем лучше». Наверное, он был прав. То, что он оставил, это не мемуары в привычном смысле слова, это уже литература, искусство. В этом убеждают те огромные световые колодцы, вобравшие в себя все его мироощущение, которыми полны сохраненные страницы. То, что тяготеет к «мемуарности» (и не было времени из-за повседневной работы для соответствующей отделки), подлежало уничтожению. С этими кусками ушло много фактических подробностей, которые удерживала его блестящая память. Но не это он считал главным и не ради них решился он писать.

Происхождение «Кладовки», ее истоки надо искать и можно найти только там, откуда вышли «Другие берега» Набокова (эта вещь, хочу заметить, была прочитана Домогацким в ксерокопии года за полтора до смерти, когда «Кладовка» была уже написана, перепечатана на машинке в единственном экземпляре, а черновики сожжены), — в той же тоске и мечтах по России, хотя Домогацкий никогда из нее не уезжал и даже не ездил никуда дальше средней полосы. Его тоска по Адамполлю не менее, а может быть, еще более трагична, чем тоска Набокова по Выре и Рождествену. Более — потому что он твердо знал, что этого места просто нет больше на земле и в него нельзя вернуться даже на миг, даже «с подложным паспортом».

Но «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда», — говорит Набоков. Действительно, память и искусство способны заставить жить вечно все, поддающееся физическому разрушению.

Выра, Адамполь, Рождественно завещаны нам как крошечные островки, сохраняющие «кладовки» с чистой водой.

С. ДОМОГАЦКАЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

В кладовых нашей памяти заложено неисчислимое количество впечатлений. Под понятием «память» принято понимать способность получать впечатления, складывать их в наши кладовые, сохранять их и уметь по мере надобности извлекать на свет Божий.

У меня хорошая память, я помню себя и окружающий меня мир с очень ранних детских лет. Помню все это очень ярко, и с годами эта яркость ничуть не тускнеет. Однако, сравнивая впечатления, сохранившиеся от очень раннего детства, с несколько более поздними, я обнаруживаю некоторое качественное различие. С какого-то возраста воспоминания последовательно идут одно за другим, их, как узлами, связывают события, люди и обстоятельства. Словом, все то, что позволяет соединить их в единую цепь.

Цепь эта и есть именно то, что в моей памяти сохранилось как понятие «моя жизнь». Моя последовательная память, память-«цепь», началась примерно с четырехлетнего возраста. Последовательность ее, конечно, тоже относительна. Она зияет пробелами, однако ее нетрудно увязать и со временем и с обстоятельствами. Этой более или менее непрерывной памяти предшествуют некие иные всполохи воспоминаний. Уловив их, вытащив, раскопав, мы становимся подобны археологу, перед которым лежат звенья несомненно одной цепи, но место их угадывается лишь приблизительно. Таким образом, перед нами лежит все же цепочка, но в ней больше пустот, чем связанных между собой звеньев.

Между тем пустоты эти лишь мнимые. В действительности на дне нашей памяти лежат ярчайшие впечатления, которые мы вправе считать нашими «краеугольными камнями». Но материализовать их как некую реальность мы не в состоянии. Наши кладовые не имеют ограничительных стен, лишены света, а для того, чтобы что-то добыть из них, нужно знать, за какую именно ниточку можно выдернуть искомое. Обычно эту работу производит наше подсознание, производит совсем незаметно для нас, но когда мы хотим добыть наши неоформленные впечатления, ни сознание, ни подсознание не помогут нам вытащить их на свет Божий. Только капризный и благодетельный случай может, используя самые непредвиденные пути, помочь нам. С кем этого не случалось?

Первый раз я был в Малороссии, когда мне было полтора года. Об этом лете я ничего не помню. Знаю о нем лишь по рассказам взрослых. Однако в этом загмении почти полного беспомыслия для меня просвечивают какие-то неясные пятна. Они расплывчатые, беспредметные, и у меня нет возможности превратить их в осмысленный образ.

Вторично я был там уже семилетним. Для меня в этом возрасте память уже давно сплелась в непрерывную цепь, такую же, как у взрослых людей, то есть с естественными выпадениями чего-то второстепенного. Разница со вполне взрослой памятью была в том, что все впечатления были более яркими, более отобранными и отличались соответственной возрасту ракурсностью.

Эта вторая поездка протекала почти так же, как и первая, с пересадкой в Киеве. Няня незадолго до города вывела меня в коридор к окну и велела встать на приступочку повыше. Там я увидел то, что в абсолютно бесформенном состоянии,

не поддающееся никакому понятию, никакому образу, совершенно ни с чем не связанное, существовало уже давно во мне самом.

Моя жизнь до того, как няня подвела меня к этому поезвному окну, постоянно сталкивалась с тем, что было следствием совершенно неведомой мне причины.

Увиденное в этом окне было подобно встрече с чем-то подспудно знакомым, с чем-то, что удалось наконец материализовать как некое связанное с миром явление.

Няня рассказала мне, что в первую нашу поездку она точно так же поднесла меня к окошку и показала разворачивающуюся там панораму Киева.

Я семилетним воспринял этот увиденный мной город как счастье, которое вернулось ко мне. То, что я увидел, было так до боли знакомо, так наотмашь прекрасно, что я просто не мог понять, как я жил эти годы, зримо не вспоминая этого счастья. Теперь-то я знаю, что в действительности я продолжал помнить о нем, но только той, другой, неоформленной памятью. Я не только помнил о нем, но и жил им, оно присутствовало, все время находясь во мне самом, и окрасило со времен моего полуторагодового детства мою жизнь. Но теперь благодаря случаю я знал не только его название, но и то, как оно выглядит. Некая туманность, жившая во мне, окрасившая мою жизнь, ставшая частью меня самого, стала теперь реальностью мира, к тому же лежащей вне меня.

Мы живем набитые сверх всяких возможных мер впечатлениями, о которых прямо мы ничего не можем рассказать. Это относится не только к нашим ранним детским бесформенным впечатлениям, но и ко всем прочим, которые прошли через нашу жизнь «не представившись». Если что-то совсем непредвиденное извлечет впечатление, давно уже ставшее нашей неотъемлемой частью, нас больше всего поразит то, что мы каким-то колдовским образом не знали его по имени.

Каждый человек чувствует, знает, что он одновременно живет неисчислимым количеством жизней. Та же, которая носит название нашей реальной жизни, всего лишь следствие стечений более или менее случайных обстоятельств. Эта наша реальная жизнь — всего лишь крохотный приживальщик при нас самих. Она смехотворно мала и нелепа. Считаться с этой «реальностью», хочешь не хочешь, приходится, но принимать ее всерьез могут только очень наивные люди.

Все, что есть подлинного в искусстве, все, что является «откровением», черпается из бесчисленных наших жизней, а наш приживальщик выступает лишь в роли соучастника.

То, что я тогда увидел в окне поезда, был растянувшийся по горизонту и поднимающийся вверх уступами зеленых, тонущих в синеве садов на фоне щедрого украинского неба златоглавый город. Сады громоздились так торжественно, бесчисленные золотые купола так полыхали солнцем, небо так расточительно сияло, что создавалось впечатление непрерывного звона. Звон шел от света, от воздуха, от золота куполов, от всего несущегося мне навстречу мира, мира лета девятьсот шестнадцатого года, и это было счастьем. Счастьем все это осталось для меня и по сей день. Я пронес это впечатление через всю жизнь. В моей кладовой оно лежит нетронутым, и любое обманчиво похожее впечатление дает мне заново возможность вдохнуть в себя счастье.

Я никогда более не был в Киеве и, вероятно, не буду. Возможно, что панорама эта теперь выглядит как-то иначе, а той, старой, уже нет, как нет и того гусарского офицера, который стоял тогда в проходе, прислонясь к косяку двери, и безмятежно смотрел на приближающийся к нам великий и древний город.

Кладовые моей памяти наполнены содержимым, для меня драгоценнейшим. Ведь в основе их лежат мои впечатления, а они по первоисточкам своим «высоких кровей». Им предшествует неведомый и, к счастью, никогда не доступный для нас процесс восприятия и еще более недоступный нам акт отбора. Ведь воспринимаем мы лишь ничтожную часть того, что лежит на нашем пути. Мы ничего не знаем о том, какую часть составляет воспринятое нами и превращенное в зримо или мысленно осязаемый образ и какую часть составляет то, что, не оставив ничего в нашей памяти, само собой как бы всосалось в нас.

Когда какой-то магический луч осветит нам «нечто», окажется, что мы совершенно не знаем, что мы, собственно-то, увидели. По своему разумению или по чужой подсказке мы дадим этому увиденному имя, и с этим именем оно будет жить в нас.

То, что мы увидели, было освещено лучом и причудливо разукрашено светотенью, только так мы его и знаем, не в нашей власти передвигать луч. Нам также неведомы и другие проекции увиденного, мы можем лишь гадательно думать о них. Свет упавшего на что-то луча настолько слепит нас, что мы не видим уже ничего лежащего рядом. Более того, мы даже не знаем, что это увиденное — отдельный ли предмет или деталь чего-то, скажем, клочок волос на голове огромной, лежащей во тьме статуи Зевса.

К нашему великому счастью, явление в целом нам неведомо, потому-то и неисчерпаем источник наших впечатлений.

Поразительными свойствами обладает самый процесс получения нами впечатлений. Любое впечатление томит нас страхом о его скоротечности, между тем мы изо всех сил стремимся изжить его поскорее во времени. Любая задержка, любая пауза заставляет нас торопиться, и если мы этого не сделаем, то явление само поторопится за нас. Оно искорежится, настолько изменится, что станет собственной противоположностью.

Разве это не похоже на жизнь, ведь это же ее модель.

Не только наши неоформленные и неузнанные впечатления всегда сохраняют свою силу и свежесть. Не менее их все, что мы так бездумно хранили в ячейках нашей памяти, также крепнет от времени, очищается, становится животворнее.

Ведь величайший смысл заключен именно в том, что впечатление должно перейти в иной порядок, и то, что мы называем явлением жизни, должно переродиться в явление памяти. Только преобразовавшись так, оно будет поить живой водой бессмертно цветущую жизнь.

Неужели даже в этом не видна та непрерывная, от сотворения мира идущая необходимость трансформации сущего, без которой невозможны ни жизнь, ни бессмертие?

Я сознательно избегаю расширения этой темы. В данном случае я претендую на частное, на совсем малое, на признание за впечатлением, восприятием, памятью их высокого царственного происхождения.

В том или ином виде они наполняют драгоценными залежами мои кладовые. Однако когда я ставлю себя на место совсем постороннего наблюдателя, то мне несложно догадаться, что для него это всего лишь старый сарай, набитый никому не нужным хламом. Понять это очень легко, а вот соглашаться с этим мне совсем не хочется. Но неисчислимо количество наших одновременных жизней нашептывает мне: «Брось, это ведь действительно черепки, осколки неведомого тебе целого, которые ты подобрал и хранишь. Песчинки того огромного, которое есть величайший из понятных тебе даров. Дар этот ты получил. Чего же тебе еще надо? Разве того, чтобы и другие радовались ему вместе с тобой. Зачем? Ведь все они получат столько же, а использовать полученное сумеют не хуже тебя, и уж во всяком случае по своему вкусу и разумению. Радоваться вместе с тобой некому».

В этом рассуждении так много правды, что, пойми я это на двадцать лет раньше, я, пожалуй, не стал бы писать вообще.

Глава II

Столь скромное занятие, как увеличение фотографий, дало мне возможность увидеть многое из той немыслимой дали, которая не только предшествовала моей памяти, но и моему появлению в этом мире.

В конце двадцатых годов в бессонные ночи, при полном безденежье папа выклеил из картона, марли и гипсовых плиток горизонтальный увеличитель. Был он очень громоздок и малоудобен, но зато увеличивать при его помощи можно было с негативов любой величины. Так началась для нас эра увеличения нашего огромного фотографического архива. Архив этот был начат папой в середине девяностых годов, а продолжен и продолжается мной, а теперь уже и мои сыновья включились в его пополнение.

Любительская фотография — дело действительно скромное, но для меня оно было и есть всегда «упоительное» занятие. Все процессы, начиная от выбора объекта, кадровки, проявления, увеличения и так далее, пропитаны ощущением удивительного фотографического колдовства. К сожалению, на путях развития любительской фотографии выросли неожиданные и труднопреодолимые препятствия.

Фотографический снимок каким-то роковым образом стал сопрягаться с произведением изобразительного искусства. Несущественно, как именно это сопрягается, как тождество или как противопоставление, важно лишь то, что они несопряжимы. Они лишены даже отдаленных родственных связей. Это с очевидностью видно, когда фотография хочет претендовать на художественность, а искусство на фотографию. Такое смешение ощутимо противостоит естественности.

Гибельную роль для любительской фотографии сыграло также развитие современной великолепной фотоаппаратуры. Оно привело к бессмысленному щелканью кадров и столь же бессмысленному увеличению отпечатков. Процесс фотографирования, механизированный, обезличенный, полностью лишенный одухотворения, ныне доступен любому болвану. Впрочем, характер нынешнего фотографического процесса способен сам по себе оболванить кого угодно. Почти вся современная фотолюбительщина безлична, однообразна, безвоздушна и хорошо, если хоть грамматна.

Фотография — далеко не единственное дело, которое в двадцатом веке умудрилось потерять само себя, даже не заметив этого.

Однако это отвлечение в сторону. Я говорю о временах двадцатых и начала тридцатых годов, когда папа длинными зимними вечерами и ночами занимался увеличением.

В отдаленном от окна углу мастерской — небольшой закуток, он отгорожен как забором поставленными друг на друга ящиками, ящики снаружи задрапированы. В закутке за этим забором — водопроводная раковина и застеленный, как кровать, диван. Вскоре после революции этот закуток стал папиной спальней. Вот там-то и происходило таинство проявления. В противоположном углу мастерской стоял длиннейший увеличитель.

Огромная мастерская абсолютно темна, мы вдвоем в закутке, сидим, примостясь на ящике, перед нами, тоже на ящике, около красного света — кюветы. Фонарь, допотопный колченогий калека, тлеет магическим светом, круг его светоносности ничтожен, а далее красное переходит в полную тьму, но физически измеримое и действительно существующее — понятия не совпадающие. Мир закутка был безграничен, таковым его делало напряжение, с которым мы вглядывались в кювету, где, постепенно наполняясь градациями светотени, появлялось изображение.

Подбор негативов, подлежащих увеличению, делался заранее и к хронологическому порядку отношения не имел. Из почти сорокалетия в один удачливый вечер для нас оживали весьма разнообразные периоды.

В свете красного фонарика возникали пейзажи, постройки, интерьеры, жанровые сцены, предметы, люди, которых я никогда не видел. Одновременно возникали также и изображения мест, зданий, интерьеров, которые я видел и помню, но уже в сильно измененном виде. Воскресали изображения людей, коих я не видал, а знал лишь понаслышке, и таких, которых знал очень хорошо, но в волшебстве фотографии они молодели иногда лет на тридцать.

Роль моя во время этого фотографического «чудотворства» была пассивной, я был зрителем и редко подмастерьем. К слову сказать, это лучший, как мне кажется, метод обучения. Самостоятельная моя фотодеятельность началась по-настоящему лишь после папиной смерти, и, к моему крайнему удивлению, оказалось, что необходимые навыки у меня уже имеются.

Во время этих вечеров шли самые различные разговоры, либо относящиеся к предмету нашей деятельности, либо совсем посторонние. Говорил в основном папа, в привычной для него манере, то есть бросал в воздух, в сторону отдельные отрывочные фразы, часто даже не обращенные к слушателю. Все время занятый делом, обрывал фразы на полуслове, а когда дело не ладилось, дергался мускулом щеки, чертыхался, но к содержанию разговора такое сопровождение отношения не имело.

То, что папа говорил, рассказами в прямом смысле не назовешь, очень уж это было фрагментарно, однако весьма запомнилось вплоть до интонации.

Он терпеть не мог длиннот и «лирических отступлений», отсюда была сжатость. Боялся неточности и особенно фальши и потому предпочитал фрагменты, считая, что «тут уж очень-то не наврешь». Я не слышал от него последовательно конструктивного рассказа, думаю, что он считал, что конструкция как бы предопределяет существо, а тут уж и до «вранья» совсем недалеко. Терпеть не мог туманных рассуждений.

Слышанные от него фрагменты мне нетрудно соединить в одно целое, и оно, это целое, то есть он и его жизнь, словно лежит зримо на моей ладони.

Его «целомудрие к слову», отвращение к пустой фразе, не точной, не образной, проистекало из великого уважения к слову. Он явно видел в слове материал, которым должен пользоваться лишь тот, кто умеет с ним обращаться, себя же считал к этому делу вполне неспособным.

Это придавало особый колорит его разговору. Если учесть среду и время, когда протекала его жизнь, его манера говорить приобретает особый интерес.

Он вырос в семье сестры, среди мучительно говорливой либеральной интеллигенции, помешанной на «общих вопросах», а позднее провел всю жизнь среди людей, замороженных непрерывным словоговорением. Все культурное общество говорило, и подчас говорило очень «цветасто». Создается впечатление, что исключительная болтливость этой эпохи заложена в страхе не успеть выговориться до наступления неминуемо грядущего молчания. К концу жизни моего отца человеческая речь стала превращаться в бессмысленную трескотню.

Думаю, что в своем отношении к материалу человеческой речи отец мой был не одинок. Понятие «целомудрие к слову» я заимствовал у Бунина, применившего его в отношении Чехова. По тому, что мы знаем о Серове, подобное было и ему присуще, вероятно, это же было и у еще ряда других. На фоне времени эти люди были немногочисленными «протестантами».

Детство моего отца прошло в Швейцарии, в местах, расположенных на берегу Женевского озера.

Как-то у тлеющей красным светом кюветы он сказал, усмехнувшись: «Помню, стою на берегу озера и отчаянно реву. Мать вытряхивает из моих карманов камешки». И, глядя в сторону, недоуменно добавил: «Вот, значит, с каких времен я камни люблю».

Ее мать умерла от скоротечной чахотки там же, папе тогда было десять лет. Ее смерть, помимо всего прочего, надолго изменила и исковеркала его жизнь. Рассказал же мне об этом так: «Ночью, когда началась агония, меня повели проститься, а потом отвели обратно в мою комнату, велели лечь спать и потушили свет. Я темноты потом еще долго боялся».

При жизни его матери они два летних месяца проводили в столь ими любимой Малороссии, которую папа до конца своей жизни так и не научился называть Украиной. Жили они там в папином полтавском имении, расположенном на берегу Псла, имение называлось Запселье. После же смерти матери папу перевезли в семью его родственников Григоренко, чье имение тоже было на Псле, в тридцати верстах от Запселья. Видимо, он любил навещать свой родной угол и часто ездил туда верхом на своей белой, в яблоках лошадке по имени Кролик. Лошадка эта была единственным живым существом, оставшимся в ту пору от его семьи. У него над столом всегда до конца его жизни висела швейцарская фотография: он, восьмилетний, в костюме для верховой езды, верхом на взнузданном по всем правилам, с мундштуком, Кролике.

В те годы от запсельской усадьбы налицо были лишь отдельные строения хозяйственного типа; один из флигелей моя бабушка приспособила для жилья. Усадьба эта больше смахивала на богатый хутор, чем на помещичье гнездо, выручал лишь старый дубовый парк. Приусадебные постройки уже давно служили как бы контейнером, куда было постепенно свалено содержимое других имений нашей семьи, либо проданных, либо пришедших в полную ветхость. Там, в этих сараях, до начала девяностых годов, если судить по аукционной описи, было свалено то, что составляло красоту быта пудренных екатерининских вельмож и романтических героев александровского царствования. Но просвещенный и принципиальный век в вопросах красоты не разбирался. В этих вопросах понимала моя бабушка, более европейски образованная и менее позитивно настроенная, но ее уже не было на свете. Кое-что из запсельских завалов все же, чисто случайно, сохранилось даже до сего дня, и, глядя на эти случайные остатки, страшно становится за беззащитный мир вещей.

И опять мы в чахлом свете красного фонарика. Папа говорит:

«Под тем, знаешь, большим дубом в Запселье, ну тем, около которого гранитный валун лежал, там я своих зверьков хоронил. Копчик у нас одно лето жил при усадьбе, с крылом у него беда какая-то была, ему ежедневно мясо из ледника приносили, брал прямо из рук. Тушканчик у меня жил, тоже, очевидно, больной, потом погиб. Жили и разные другие. Так что кладбище, сам понимаешь, совершенно было необходимо. Ведь и ты тоже в Адамполе, помнится, аиста и чего-то еще хоронил».

Потом, через большой промежуток, проявляя уже что-то другое, затягиваясь папиросой и пропуская дым в свет фонаря, говорил:

«В Запселье, в сарае, до самого конца оставался большой кожаный альбом с рисунками, и туда много чего было вложено просто так на отдельных листах, вот материнскую акварель я вынул, а остальное не удосужился. Там, между прочим, были еще какие-то большие пейзажные акварели, весьма профессиональные. Иностранца какого-то, судя по подписи. Зря я их не взял, теперь жалею, возможно, оказались бы любопытными».

«А что же все-таки на них было изображено?»

Поворачиваясь ко мне лицом, насмешливо пояснял:

«Пейзажи какие-то «очинно» отвлеченные, ну, словом, такое».

«Папа, а еще что там, в альбоме, было?»

«Ну, черт его знает, не помню я. Разобрать собирался, но, как видишь, не пришлось. Помню, что были чьи-то портреты. Впрочем, один, кажется, был впечатляющий, весьма губошлепистый, на нас с тобой смахивающий, в халате и с чубуком. Но едва ли там было что-то толковое».

И опять, вглядываясь то ли в изображение, лежащее в красном свете кюветы, то ли в неведомую мне глубь времен, говорил:

«У Кролика система была неожиданно на ходу вдруг останавливаться как вкопанный».

«Почему он так?»

«Ну, не знаю, возможно, жабу увидит или что другое. Любознательный был».

«А как же ты?»

«Я? Детел, понятно, кубарем. Ободранные колени и один-другой синяк. Атрибуты обязательные для мальцов моего тогдашнего возраста».

А потом без всякого перехода, вдруг выпрямившись, мог спросить такое:

«Слушай, а где у нас меч этот кривой?»

Я с удивлением:

«Какой?»

«Ну, этот, с золотым орехом в рукоятке. Ты им лопухи рубил».

«Я понятия не имею об этом мече».

«Ну как же так, он в Запселье в моей детской висел, потом перекочевал к тебе. История у него какая-то легендарная была, типично помещичья. Тогда это все смешным казалось да и ни к чему. Но все-таки куда мы его дели?»

«Папа, ты, вероятно, спутал. Это ты рубил им лопухи, а не я. Я его просто не видел».

«Спутал, все может быть. Но почему я так ясно помню твою смешную детскую фигурку, отчаянно и нелепо размахивающую этим самым мечом в борьбе с лопухами?»

«Конечно ты спутал, и спутал оттого, что, как все говорят, мы очень с тобой похожи».

«Вот это, к сожалению, верно. Не свезло, брат, ну что тут поделаешь. Нет того чтобы в мать пойти, попер весь в меня. Ну ничего, как-нибудь обойдется».

Историю с аистенком я хорошо помню, а меча не помню. Образ этого меча мне теперь видится как сквозь туман, но действительно ли видится или я его присочинил с папиных слов — это мне неизвестно. Застрял этот по-настоящему древний меч в паутине моей памяти, а благотворный внешний толчок не встретился на моем пути, и не извлечь мне его из этой паутины.

А история с аистенком случилась в Адамполе. Там жило несколько семейств аистов, я помню из них два. Одна семья жила около самого дома, другая чуть дальше, на аллее, ведущей к пруду. Их огромные гнезда были устроены между разветвленными стволами старых корявых лип. Эти чудные птицы, и их жилище, и стволы, к которым они прикрепились, как силуэты рисовались на фоне переменчивого неба. Жизнь этих аистов, их ежечасные будничные заботы были постоянно у нас на виду. Аисты и их жизнь были частью нашей адампольской жизни, для меня же частью весьма весомой.

Не только я, все мы очень любили наших аистов, однако никаких прямых контактов у нас с ними не было. Аисты относились к нам как к соседям, с присутствием которых надо мириться. При случайных встречах где-нибудь на поляне или около пруда аист слегка поворачивал и наклонял голову, делал заметное движение крылом и отставлял ногу, все это с большой натяжкой можно было принять за церемонный поклон. Мы были для них иноплеменики, которым следовало держать дистанцию во всех смыслах этого понятия.

Однажды по каким-то своим глубокомысленным аистовым соображениям они вышвырнули из гнезда больного аистенка. Возможно, что деловитые птицы знали, что он неизлечим, а своим присутствием умирающий мешал здоровым, возможно, что ими руководили познания в антисептике. Поначалу мы все думали, что аистенок просто вывалился из гнезда, и ждали, что родители ему как-то помогут. Это было вполне вероятно, так как аистята уже как-то летали. Однако помощи аистенку никто не оказывал. Его просто игнорировали. Папа боялся, что наше вмешательство может ухудшить положение аистенка, и запретил мне подходить к нему ближе.

Шло время, а положение не менялось. Мы видели, как заботливый папаша аист непрерывно курсирует между близлежащими болотами и гнездом, приносит своим подопечным пищу, а важная аистиха словно играет в светскую даму, поглядывая высокомерно по сторонам, как птенцы со скрипучим криком открывают длинные клювы, поглощая очередную порцию, а бедный больной аистенок валяется в траве под самым гнездом. Он сидел на лапах, ссутулившийся, нахохленный, привалившись к прутьям кустов, и безропотно ждал неминуемого, лишь изредка конвульсивно вздрагивал.

Прошел час, другой, и все стало ясно. Кто-то из прислуги видел процедуру выбрасывания аистенка, а поскольку эта «кто-то» была местная, она сообщила нам, что такова обычная повадка у аистов.

Я хорошо помню, что тогда был ясный летний день, я также хорошо знаю, что наши аисты были белыми, с черными маховыми перьями. Но в этот день я этого ничего не видел, как не видел золотого света солнца на листьях, ни цвета несчастного аистенка. Я видел только черную расщелину между травой и в ней пятно с зигзагообразным трагическим контуром, всматриваться туда было выше моих тогдашних возможностей.

Послали закладывать лошадей, чтобы везти аистенка к ветеринару.

Папа, в пиджаке, в высоком крахмальном воротничке, в белой шляпе, в ботфортах, стоял, расставив ноги, над аистенком, а он все ниже и ниже клонил туловище, распластался на земле.

В полном смятении я убежал в парк и оттуда, издали, услышал папин голос и понял, что он велит распрягать лошадей. Черный, разлапистый, уходящий в корневище ствол старой липы, черная сырая земля, поросшая жидким бурьяном, все это место стало для меня проклятым символом грязного преступления.

Я похоронил аистенка на откосе верхней террасы парка.

Папа, как всегда, пошел гулять и на этот раз прихватил и меня. Я с собаками плелся у него в хвосте, даже удалым адампольским псам передалось мое самочувствие, они не шастали, как всегда, по сторонам, держались поближе ко мне.

В лесу, сидя на пеньке, папа сказал:

«Я тоже в твои годы хоронил зверюшек. Паскудно, но ничего не поделаешь. А аисты, конечно, сволочи. Но подобное и у людей бывает, да еще куда погаже».

Я помню, как его передернуло и как, затапывая окурок, он добавил:

«Пакости всяческой в жизни вполне достаточно, рекомендую на дальнейшее собственные бока от нее побережь».

Всякая жизнь, понятно, проходит на фоне смерти, любое жизненное явление таит в себе свою противоположность. Все это можно знать и не видеть этого, это можно видеть, но отворачиваться от этого. По складу своего характера папа не умел ни от чего отворачиваться. Его жизнь буквально протекала на фоне мыслей о смерти, причем фон этот был очень активным, а временами мучительным. Все это сочеталось с его огромным жизнелюбием, с умением радоваться самым ничтожным дарам жизни. Он как никто другой умел доставлять радость другим и радоваться их радостью.

Теперь можно лишь гадать о том, что помогло так пышно развиваться непрерывным мыслям о смерти и так тяжело окрасить его жизнь. Думаю, что решительным толчком для этого было его детство. Жизнь за границей, смерть отца, брата, страх за жизнь умиравшей от чахотки матери, наконец, ее смерть. Переезд в Россию десятилетнего мальчика, даже не умевшего говорить по-русски. За долгую заграничную жизнь дела семьи запутались и уменьшилось ее благосостояние, порвались дружеские и родственные связи. Запсельский родной дом был сдан внаймы, и началась для него пора скитаний по чужим людям, смена опекунов и прочие прелести. Только замужество сестры как-то стабилизировало его жизнь. Далее, с юности он много и часто болел: легочными болезнями, желудочными и до сего дня не изученными спазмами сосудов, выражавшимися в «потрясающих» многочасовых ознобах. Жить ему приходилось, преодолевая свои болезни, и он научился этому.

Чем дальше шло время, болезни его умерялись. На моей памяти он, конечно, часто болел, но болезни уже не доминировали в его жизни. Болел он очень толково, относился к болезни как к некоему мероприятию, которое надо провести как можно разумнее. К самим болезням относился иронически, и в процессе их страха смерти у него как не бывало. По-настоящему боялся он лишь холода и ознобов. О своих болезнях говорил так:

«Чудно получается, с возрастом все меньше болею, к смерти, вероятно, совсем выздоровлю»

Он всячески боролся с мучившими его мыслями о смерти. Одной из форм борьбы было его постоянное стремление лишить это понятие его «исключительности», придать ему некую будничность, так сказать, «придрессировать» и, если так можно выразиться, сделать обиходно-домашним. Что из этого получилось, — думаю, что ничего хорошего получиться не могло. Шопенгауэровские чудища, которые сторожат выход из жизни, едва ли поддавались дрессировке, выходит, что дрессировал он самого себя, и мысли о смерти все неотступнее, хотя и обыденнее, стояли рядом с ним.

Он завидовал людям религиозным, но сам мало надеялся, что «Вера» придет к нему. Формально говоря, он был неверующий, но так было лишь в грубом приближении, он стремился к вере, но препятствием было интеллигентское воспитание, окружающий позитивизм и все, сопряженное с духом эпохи. На компромиссы он ни в чем не шел, он был открытым и искренним перед самим собой и другими. В вопросе о религии он разделял участь людей своего поколения.

Чехов в письме Дягилеву пишет: «С недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».

Вокруг нашей семьи, особенно в моем детстве, чисто случайно было много религиозных философов. Эти люди были в общежитейском плане близкими друзьями моих родителей, но в вопросах религии дать папе ничего не могли. Я думаю, что их религиозность была для него подточена элементами профессионализма и публичности, а их философия была ему мало нужна.

Сталкиваясь вообще с верующими людьми, он всегда стремился извлечь из их мыслей что-то полезное, нужное для себя, но чаще всего наталкивался на стенку или малярное проповедничество.

Революция и большевизм швырнули русскую интеллигенцию в церковь, но с папой этого не получилось.

Мои жалкие попытки говорить с ним на эту тему успеха не имели, он спокойно до конца выслушивал все мои «за». Выслушав, говорил:

«Любопытно. Но для меня не годится».

И было ясно, что ему моя болтовня даже «не любопытна».

У Бунина есть рассказ «В море», там приводится разговор двух людей, близких по возрасту и кругу к моему отцу. Один из героев говорит:

«Какая у таких, как мы с вами, может быть вера».

Очевидно, это вполне автобиографично, но едва ли тогда, в двадцатые годы, Бунин понимал, как страшна эта фраза. В ней слышится такая безнадежность неверия, какой у папы и в помине-то не было.

Папа все-таки надеялся обрести со временем веру и очень чувствовал, что без Бога голо и пусто и как-то уж очень нелепо на земле.

Вероятно, здесь уместна мысль столь чуждого папе Достоевского, что желание верить и не менее сильные сомнения в вере вполне могут ужиться вместе и что это уже и есть ВЕРА.

Умирал он от опухоли в головном мозгу, по происхождению раковой, умирал в течение трех месяцев, диагноз мы скрыли не только от него, но и от мамы. За время этого трехмесячного лежания у него постепенно отнялись рука, нога, затем и язык. Но душевные силы его не оставляли, он верил в жизнь, верил, что поправится и снова примется за свое дело. Рак, разрушивший его тело, до души добраться не смог. Мне, управляющему тогда всем этим медицинско-дипломатическим оркестром, приходилось изворачиваться и врать почти всем. И мне было и стыдно и страшно.

За месяц до смерти как-то ночью сказал мне:

«Ладно, верю, что это конечно не смерть, но года через три, максимум семь, помирать все же придется, а как я не готов к этому».

И опять я мысленно переношусь к красному тлеющему свету колченогого фонарика. Это было где-то в середине тридцатых годов; мы проявляем, какая-то затянувшаяся пауза, и, покуривая, пуская дым в красные лучи, папа, не глядя на меня, говорит. Говорит просто, как всегда, отрывочно, только кусочками, временами поднимает брови, покусывает усы. Фабула весьма нехитрая — его последние дни и часы на земле, поведение окружающих, его смерть, последнее пребывание его тела в гробу до выноса в условиях коммунальной квартиры и так далее. Тема рассказа огромна: грандиозность самого события, называемого смертью, и жалкая, ничтожная, но всепоглощающая пошлость всего, что сопровождает этот акт.

Этот глубоко выстраданный в бессонные ночи рассказ произвел на меня оглушающее впечатление, и вовсе не потому, что сам потенциальный покойник его столь просто, спокойно, разумно и делово рассказывает. Рассказ раздавил меня своей художественностью, простотой, точностью, — в нем и запятой лишней не было. Потому я и не взялся его пересказать, мне такое не по плечу. Все-таки если бы меня спросили, каков должен быть по-настоящему хороший рассказ, я бы не задумываясь назвал именно этот, но написать такое никто никогда не мог и не сможет. Этот рассказ открыл передо мной основную истину, правда, настолько затасканную, что ее уже не видно и не слышно. Истина в том, что искусство определяется количеством выстраданного в нем материала и простотой изложения.

За сорокалетие, прошедшее с папиной смерти, он не только остался для меня живым, а, пожалуй, стал и более живым, и уж конечно более близким и понятным.

Он никогда меня ничему не учил и ни на что не наталкивал, но, если по совести, для себя я должен бы был кого-то назвать своим учителем, мне пришлось бы назвать именно его. Все остальные, кто старался активно меня учить, были досадными препятствиями на моем пути, их надо было лишь преодолевать или бежать от них, и то и другое мне трудно давалось.

Когда мне стало более или менее ясно, чем я буду заниматься после средней школы, я довел до сведения родителей, что буду подвизаться на поприще изоискусства. Вскоре началась моя учеба у Павлинова, затем Вхутеин, потом халтура, потом у Фаворского в ИЗОинституте.

Поначалу папа к моему выбору отнесся с явным безразличием и даже, пожалуй, можно сказать, что занял в этом вопросе позицию выжидательную. Он думал, что я пошел по искусству, желая избежать кабалы нашей действительности, и, конечно, сочувствовал мне, желая, чтобы я хоть как-то избежал «рабства». Но при такой постановке вопроса меня как будущего художника он едва ли мог всерьез рассматривать.

Однако чем дальше продвигалась моя учеба, тем хуже становились мои успехи, скорее можно сказать, что успехов вообще не было. Было нудное, тяжкое, иногда нестерпимое «отбывание срока» в чуждой для меня школе. Папа, конечно, очень и очень мне сочувствовал, но сочувствие это было с «соблюдением дистанции». В мои

учебные дела он не вникал, тем более что Фаворский и все его присные были для него еще дальше, чем для меня.

Когда же он понял, что искусство стало единственной формой моей жизни, что закрыло собой все окружающее, словом, что «нет мне без него любви», здесь папа очень и очень насторожился. Смutilo и обеспокоило его не то, что он просчитался, это в нашем деле сплошь и рядом случается. Испугался он просто за меня, за мое настойчивое стремление разбить о стенку собственную голову.

Искусство, ставшее столь исключительно делом моей жизни, выдвинуло на первый план для папы вопрос, а художник ли я и есть ли мне что сказать свое. Такой же мучительный вопрос, только по отношению к самому себе, стоял и перед ним когда-то в течение около двух десятилетий, и чем это пахнет, он понимал. Вот это его и пугало, ведь он прекрасно знал, что заниматься искусством и быть художником — это отнюдь не одно и то же. Может казаться, что грань эта не очень отчетливая, но это неверно, можно ошибиться, можно сразу не увидеть, но рано или поздно грань эта проступает, и роль ее решающая. Вопрос об этой грани стоит во многих видах искусства и литературы, резче всего она видна в поэзии. Изоискусство в этом смысле стоит следом за ней, здесь также нет ничего извиняющего и ничего объясняющего. Здесь есть или «да», или «нет». При этом масштаб этого «да» может быть весьма различен, от крохотного ручейка до огромной реки.

В этом «да» заключено нечто до того первостепенное, что все остальное, включая судьбу и удачу, по сравнению с этим мелочь, даже величина масштаба, даже это — дело вполне третьестепенное.

Вопрос о наличии у меня этого «да» его, конечно, тревожил. Об этом он никогда прямо не говорил, только внимательно, искоса, исподлобья поглядывал на мои работы, поглядывал и молчал. Общеупотребимых измерений он не признавал, у него были свои мерки, мерки, выверенные его тяжелым рабочим путем.

Наконец, кажется, это было в тридцать пятом году, он взял пейзаж, который я безуспешно писал все это дождливое лето. Отнес его к себе в мастерскую, обрамил и там повесил. Я с удивлением спросил:

«Зачем это?»

И получил ответ:

«Нужно».

«Да зачем нужно?»

Папа формовал из гипса какую-то дощечку. Оторвавшись от работы, взглянул на меня исподлобья невидящим рассеянным взглядом, сказал:

«Это нужно мне, для себя. Теперь я уже знаю, что художником ты будешь во всяком случае. Каким — не знаю. Это как Бог даст, но настоящим. Так-то вот, брат».

Он вздохнул, передернул плечами и, снова принявшись формовать, не глядя на меня, добавил:

«Так что если случится помирать, то теперь хоть в этом пункте мне не так страшно будет».

Глава III

Во всех направлениях по арбатским тротуарам движутся люди, они текут по Арбату и растворяются в бесконечных кривых переулках и улицах приарбатского царства. Арбат — столица этого царства.

На Арбате и в его провинциях — чтимые москвичами церкви, и служат в храмах этой страны священники, осмотрительно, с великим тщанием подобранные. Здесь надо соблюдать осторожность, это тебе не Замоскворечье и тем более не Таганка, тут одним благолепием не обойдешься. Здесь искони русская интеллигенция густо загнездилась. Простой народ, он везде на Руси одинаков, особых хлопот с ним нет, а с этими — держи ухо востро. Церковь в большинстве из вежливости раз, много два, в году посещают, к служителям церкви с дворянским ироническим высокомерием относятся. Кто бы ни были они по своему социальному происхождению, но по воспитанию, по духу деда их наверняка лягушек резали, отцы в интеллигентской «разумности» потонули, а сами они уже ни в чох, ни во вздох не верят. Народ этот все образованный, по переулочкам профессуры московской не сочтешь сколько понапихано. Еретического разномыслия здесь не оберешься, а равнодушия, даже без подковырки, без насмешки, полнейшего равнодушия к церкви здесь больше, чем где-либо.

Ну как обыкновенному, заурядному батюшке с таким народом управиться, здесь нужен выдающийся, такой, который как человеческая личность уважение вызывает, и уж конечно образованный и дипломатичный. Такой, который на толстовские темы поговорить бы мог, и Ренана читал, и о Владимире Соловьеве слышал, и хоть знает, кто был такой Ницше.

Трудно, конечно, такого батюшку, подходящего по всем параметрам к приарбатью, найти, подбирали все же хоть приблизительно годного. И были среди них такие, кто плотно встал в это разнородное разномастье и становился своим, дружественным, даже уважаемым и чтимым.

Я помню Арбат, когда его двухэтажные нарушилось возникшими в разных местах высокими многоквартирными домами. При теперешнем однообразии улиц архитектура этих громил кажется искусством.

На Поварской, на Пречистенке и Остоженке почти нет магазинов, а Арбат, от Смоленского до самых Арбатских ворот, закован в броню магазинных вывесок. На Арбате движение: по улице два трамвая идут — четвертый, связывающий Дорогомилово с центром и уходящий к самой Каланчевке, и семнадцатый, делающий вначале тот же путь, только от Брянского, а в центре поворачивающий на Лубянку и уходящий вдалеку, за Сухаревку, до самого Виндавского.

Трамваи визжат и звенят пронзительно громко, так громко, что бесцеремонно слышны в тишайших садах при особняках-развалюшках в глубине арбатских переулков.

Трусят по Арбату извозчики на клячонках с обреченною мордой, изредка среди них проносятся собственные выезды, отчаянно гремят огромные ломовики. Зимой заснеженная мостовая покрывается сетью разьеженных полозьями арабесок, чернобурых, отороченных серой пеной.

Против самого Спасоесковского стоит неизменно городской в мундире с медалями, борода лопатой, сверхсрочный гвардейский солдат, нянин знакомый. Ему по великим праздникам на кухне на серебряном подносе серебряную чарку водки да пироги прислуга подносит. Он знает здесь всех и все, и его благодушная монументальность здесь не случайна, он оплот порядка этой местности.

По Арбату много разного люда проходит, разнообразие такое, что с позиции сегодняшнего дня кажется невероятным. Среди мешанины этой есть и нищие, есть такие, что всегда на одном облюбованном месте стоят, а есть и дрейфующие: идет-идет и вдруг у кого-то попросит. Это все, конечно, профессионалы, толк знают, просят у кого надо. У среднего сословья просить не будут, тут на отповедь нарвешься, дескать, «на всех не настачишься». Простая баба, та, может, на Божье дело и от единственного рубля копейку отделит. Можно просить у настоящих господ, эти, если заметят, дадут. Вот идет красавец генерал, хорошо знакомый приарбатью. У него проси смело — не только даст, но еще и руку пожмет участливо: дескать, ты человек и, значит, мне брат, и даю я не от пренебрежения, всякий в беду попасть может.

По Арбату много прислуги ходит в платках, с сумками, плетеными из соломы, приказчики из магазинов и лавок, мальчишки служающие — те бегом, ремесленники всяческие, их в приарбатье тьма-тьмушая, девчонки-белошвейки, модистки, у этих свои повадки. Разносчики всех родов, такие, что лоток на голове носят, и такие, что перед собой на привязи, на ремнях от шеи к поясу.

Татары с маниакальным «шурум бурум» («старье берем»). Китайцы, с длиннейшими, чуть не до пят, косами, в шароварах, на голове — круглая шапочка, проскальзывают с быстротой удивительной. У них в мешках нежнейшая чесуча и дурацкие пестрые картонажи.

Много здесь разного люда, всех не перечтешь.

Улица к ним обращается по стандарту, но с градациями точнейшими: «куда прешь, скотина», «эй, тетка», «эй ты, любезнейший» или «полпоштенный», далее «мамзель» и даже «мадама» и так далее. Словечки эти исконные, точные, изобразительные.

Между этими всеми и теми, кто в господском платье, пропасть такая же, как у допетровской Руси с послепетровской. Этих на Арбате не меньше, чем простонародья. Но улица точно знает, что это не настоящие господа, а так, «ни то ни се», вроде как средний класс приарбатья.

Все эти мигом определяются улицей, и соответственно этому звучат обращения, начиная с «па-азвольте, уважаемый» и далее «сударь», «сударыня», «мусье», «милостивый государь», «вашеородие», а далее — стоп, никаких обращений. Это уже другой мир, мир настоящих господ, и по неписаным законам, и даже не по изустным, а просто так, по инстинкту, к ним никто, кроме нищих, не обратится. Как ни гляди «ровней», как ни прячь свою принадлежность к этому миру настоящих господ, ничего тебе не поможет, никого не введешь в заблуждение. Улица распознает сразу, впрочем, ей и распознавать ни к чему, только взглянет — и изоляция тебе, ко всеобщему благу, обеспечена.

По старым описям распределения «по приходам» явствует, что еще с восемнадцатого столетия московские культурные семьи начали тяготеть к Арбату и его близлежащим переулкам и улицам. Разночинной интеллигенцией их не назовешь, скорее разнородной и разноимущественной. Здесь жили прямые потомки Рюрика и Гедимины или исконных бояр московских, помещики самых разных губерний,

разорившиеся или кое-что сохранившие, потомки вышедших в люди «по кресту», чаще всего иноплеменников, но давно обрусевшие, потомки купечества русского, потерявшие связь с этим сословием, люди «колокольного» происхождения, иными словами, вышедшие из семинаристов, люди, незапомненно давно выкрестившиеся из татар или евреев, выкресты недавние и просто некрещеные, потомки людей, чьи имена числятся в святцах русской интеллигенции, и просто старые профессорские семьи, люди, во втором, а иногда и в первом поколении вышедшие из народа, но плотно об этом забывшие. Были среди них люди, обладавшие солиднейшей материальной базой, люди, обладавшие только еле-еле достаточной, наряду с ними — люди, не имевшие никакой базы, кроме своего ума или таланта, и такие, что ничем, кроме познаний, похвастаться не могли. Все это вместе и составляло пеструю семью московской интеллигенции. По традиции, большинство этой публики совсем бескорыстно интересовалось народом, его нуждами, стремилось елико возможно служить ему и в служении этом видело свое призвание. Народом этим и была та самая улица, которая от них китайской стеной весьма разумно отгораживалась. Доигрались, добаловались русские интеллигенты до того, что пришлось этой самой улице царствовать, и пошла она крушить что ни попадя, и от культуры российской ни рожек ни ножек уже нет. Улице от этого никакого проку не получилось, какой была, такой и осталась, только к чести ее следует сказать, что подобный результат она-то инстинктом предвидела.

А самой «соли земли» обижаться совсем невозможно, ведь улица предупреждала незадачливых интеллигентов издавна.

Но вернемся опять в те баснословные времена.

Этому приарбатскому муравейнику много чего было нужно, потому-то чуть не все первые этажи домов были на Арбате заняты магазинами, лавками и лавчонками, потому-то как в сбрую одели они Арбат поясом кованых вывесок. Несмотря на близость Смоленского рынка, торговали здесь самыми различными съестными припасами, торговали добротные и знаменитые фирмы, торговали и одеждой, и материями, и аптекарскими товарами, и писчебумажными, и игрушками, и посудой, и книгами, и многим другим. В чудесном старинном доме строжайших пропорций поместилась изуродовавшая его «Прага», как говорили, самый приличный и респектабельный ресторан Москвы.

На Арбате едва ли не лучшие кондитерские магазины, и не в том дело, что они очень хорошие, а в том, что к потребностям приарбатя они идеально приспособлены. Например, Абрикосов не откроет же здесь своего магазина, потому что он знает, что коренные местные ничего, кроме пастилы, у него покупать не будут, не откроют ни Каде. ни Трамбле тут своих магазинов, но уже по совсем иной причине. «Каде» и «Трамбле», вероятно, лучшие кондитерские того предреволюционного времени, там все ультраизысканное, там все новинки, а элегантность и добротность подачи лучше не выдумаешь, но Арбат ведь не место для фланирующей публики. Арбат — чрево приарбатя, его кладовка.

Не станет абориген покупать на Арбате ни вин, ни духов, ни белья, ни фарфора, ни цветов или вообще чего-то сверхособенного, для этого существуют другие места, как Петровка, Столешников и Кузнецкий, а здесь, на Арбате, — лишь ежедневно необходимое.

Такова основная артерия этой местности, а в переулках здесь тихо, сады и закоулки глушили здесь рокот города. Приглушенно долетают сюда визги и звоночки трамваев, редко процокает извозчик или залазгают по булыжнику мостовой железные ободья на колесах ломовиков, тишину нарушают здесь лишь заученные как заклинание, лишённые выражения, однако памятные на всю жизнь крики разносчиков, лай собак и редкое переругивание прислуги — вот и весь шум этих мест. Птицы своим разноголосьем наполняли сады и вносили в переулки совсем особую нотку, не городскую и не деревенскую.

Хотя пятиэтажные громы залезли и в приарбатские переулки, потеснили особнячки, поприжали сады и дворы, но окончательно вытеснить их не сумели, и приарбатя так и осталось в основном особняковым. Громы были весьма различными, с квартирами на всякие цены, и были среди них очень хорошие, а всякой «сервисной» цивилизации было в них весьма много. Заселялись они в основном все тем же интеллигентско-арбатским контингентом, так что экспансия громил мало меняла дух приарбатя. Особнячки еще в восьмидесятых годах прошлого столетия пооблезли, потеряли былую красоту и выглядели коробочками «без особых примет». Только дворовые постройки, основательные, громоздкие, многочисленные, говорили о прошлой широкой и лучшей их жизни. Зато внутри этих домиков было вполне неожиданно хорошо, комнаты были большими, просторными, светлыми, голландские печи были обложены белым сверкающим кафелем, паркет на полах наборные, иногда даже роскошные, на потолках лепнина, двери дубовые, с медными, вернее, бронзовыми ручками. Часто в таких домах бывал антресольный этаж с маленькими

уютными комнатками и часто такой же мезонин. Обитатели этих маленьких, а иногда и больших особняков семьи имели весьма малочисленные, но почему-то всегда считали, что комнат у них недостаточно.

Между тем эти прекрасные комнаты производили впечатление пустоты, удивляли случайным подбором обстановки, а сама эта мебель, как и все внутри в подобных домах, была из рук вон плоха. Интеллигентское равнодушие к быту, а иногда и презрение к нему, делало красоту этих комнат вполне никчемной. Очень редко среди этого сброда и хлама можно было совсем неожиданно увидеть какое-нибудь старинное бюро красного дерева и над ним портрет в позолоченной раме. Это дань прошлому, реверанс в сторону покойной прапрабабушки. Сохранилась она чисто случайно, агитация «дягилевых и ко» глухо докатилась до арбатских провинций, но все же в результате ее старушка сподобилась висеть у потомков не на задворках, а вполне прилично. В изустных семейных преданиях запомнился лишь, что писана она знаменитым художником, а как ее звали, никто не помнил, как не помнили имя художника, называя наобум единственно популярное — Боровиковский. «Дедушки и бабушки» встречались здесь как исключения, пустыня комнат компенсировалась их идеальной чистотой и надраенностью.

В огромной комнате, очевидно, когда-то это был зал, — несколько стульев, купленных на Сухаревке, и обязательный рояль, хорошо еще, если там стоят мягкие кресла, крытые немудрым кретоном. В кабинете — клеенчатый диван, книжные шкафы, безликий письменный стол, и всюду пустынные стены. Только где-то совсем нелепо, сбоку и ни к чему — какая-нибудь репродукция вроде репинского Толстого на молитве, или увеличенная фотография Чернышевского, или еще черт знает что.

Между тем жили в этих особняках, говоря относительно, на широкую ногу, большой штат прислуги имели, держали повара, принимали у себя широко и радушно, да и сами бывали повсюду. Знакомых, самых различных, тьма-тьмуца была, и уж обязательно бывали на премьерах в Художественном, не забывали и «Летучей мыши» и новаторов, бывали на вернисажах, на лекциях, чем-либо исключительных. В литературно-художественном кружке и много где еще, а некоторые — даже на заседаниях Религиозно-философского общества у Маргариты Кирилловны Морозовой.

При этих особнячках были большие дворы и самые разнообразные сады. Были они и совсем маленькие — так, одно корявое дерево одиноко торчит, и сады побольше — с кустами сирени, жасмина; были такие, при которых и огорожок был, и даже на нем клубнику выращивали, и уж обязательная грядка с пестрыми головками мака; но были и совсем большие — с аллеями лип, старых, густых, с шапкой тенистой листвы. Сады эти упирались в заборы других садов, при которых довеском существовал такой же задрипанный особнячок, выходящий фасадом уже в другой, соседний переулок.

С начала двадцатого века финансовые магнаты России стали облюбовывать приарбатые, и то там, то сям появились их роскошные особняки, часто очень хорошей архитектуры. Внутри отделаны они были очень шикарно, а иногда и по-настоящему, на редкость красиво. Внутренняя отделка домов постепенно возводилась в ранг искусства, и рождались уже по этой части специалисты-художники.

Особняки эти заняли положение дворцов екатерининских и александровских вельмож, доживавших свою жизнь в Москве. Дворцы вельмож, принадлежавшие художордным потомкам, перешли в большинстве своем в казну, а те, что остались у своих настоящих владельцев, так изуродовались, так обветшали, так пострадали от судьбы, и от времени, и от безграмотных перестроек, что дворцами их на смех не назовешь.

Вот и выросли новые дворцы новых людей, ну куда же было с ними тягаться прелестной, правда, огромной усадьбе наших соседей Лобановых-Ростовских с нелепым, изуродованным домом, скособоченным, падающим, с большим садом, украшенным заржавленными чугунными статуями флор и цирцей и еще неизвестно кого. По сомнительным преданиям, именно там жила Ирина из «Дыма». Ну а новым дворцам предание, пожалуй, уже ничего не припишет. Тем не менее и новые, и старые, и даже громилы — все очень дружно сжились в приарбатые.

В переулках этих много собак, хозяйских, чистокровных, в ошейниках с номерами и даже медалями, дворничьих, упитанных, сильных, но весьма ограниченных, однако больше всего было там бездомных, бродячих. Где они ночевали, это их секрет. И чего только среди них не было, сбор всех частей и мастей — результаты переулочных собачьих романов. Я очень хотел бы о них написать, но вспомнил, что Бодлер сделал это задолго до меня.

Милое племя бездомных псов, моих старых друзей, тебя уже нет, как нет уже ничего из того, о чем я пишу.

Таково было мое приарбатье, мое детство прошло в его переулках, церквах, в прицерковных скверах, в его особняках, дворах, садах, квартирах многоэтажных домов.

Именно там, еще задолго до моего появления на свет и до полного духовного вырождения этой местности, жила наша семья. Именно там над нами прогремели и отгремели грозы, бушевавшие до середины пятидесятых годов, до времени, когда нас оттуда выперли, именно там нам довелось почувствовать себя чужаками. Теперь, когда я изредка, раз-два в году, попадаю туда, я встречаю лишь географическую точку, лежащую как раздавленный червяк у изножья совсем непонятной мне жизни.

Мои родители поженились в девятьсот первом году, и тогда, очевидно, сложилась та форма жизни семьи, которой она продолжала жить органически в различных условиях и наперекор всему. Темп и характер разбега, взятого еще на рубеже века, продолжал ощущаться в условиях катастрофических катаклизмов, в условиях невыносимого быта. Время, в которое протекала наша жизнь, стремилось согнуть в дугу, изуродовать, растоптать нас. Между тем что-то сильное, упругое, что было стержнем нашей жизни, опять распрямляло ее.

Скульптор Марина Давыдовна Рындзюнская говорила, что для нее наша семья всегда ассоциировалась со впечатлением от тех книг, которые ей дарили еще в детстве на праздники. Книг в тисненых нарядных переплетках, книг с золотым обрезом, с хорошими иллюстрациями, книг интересных и праздничных. Об этих словах Марины Давыдовны мне рассказывали люди даже мало знакомые. Сам характер подобного сравнения типично художнический; в иной форме, но по существу такое же, мне доводилось слышать и от совсем других по типу людей.

Сам я не могу увидеть нашу семью, ибо я часть ее, думаю, что в основе характера этой жизни лежала ее полнокровность, праздничность жизненного обихода, приветливость, терпимость и то, что к нам всегда и надолго приживались самые различные люди, становясь со временем неотъемлемой частью жизни нашей семьи.

По-видимому, этот организм был крепко запаян и ладно сконструирован, ведь ему почти без передышек пришлось стоять всегда против шквала. Революция, голодовка, беспросветное безденежье, чуждость доминанте окружающего мира, защита от его волчьих зубов, смерть моего отца в тридцать девятом, потом опять война, опять голодовка, еще худшее безденежье, смерть мамы в пятьдесят восьмом году, а затем тут же разыгравшийся страшный недуг Оли, страдавшей им подспудно с юности, болезнь, искалечившая ее жизнь и уродующая нашу, и ко всему этому — маленький довесок в виде непонятного проклятия, тяготевшего годами над моей художественной репутацией, перешедшего ныне в почти полное забвение меня как художника, но это уже совсем мелочь. И все-таки, несмотря ни на что, что-то осталось от разбега тех далеких времен. Осталось, понятно, очень уж мало, я единственный стародавний, еще вполне действующий персонаж этого организма, естественно, что я морозные узоры на окне готов принять за подлинные предметы. Но если я прав и что-то осталось, то малая эта частица старого стиля жизни, живущая теперь в уже совсем другом мире, еще более чужеродном, нуждается в таком бережении, которое ей и обеспечить-то невозможно.

Стиль и характер жизни столь малого коллектива, каким является семья, никакой сознательной консервации не подлежит. Если вспомнить историю семей прошлого столетия, семей близкого мне по «роду и племени» помещицкого сословия, то видишь, как время меняло, разматывало, коверкало этот стиль, уничтожало даже всякую преемственность поколений. Уничтожало когда по воле, а когда и против воли заинтересованных лиц. Попытка остановить разрушение даже чего-то несомненно хорошего превращалась неминуемо в уродство.

Если так было в сравнительно тихом девятнадцатом веке, то что же ждать от нашего века, века столь бурных катастроф. Можно смело сказать, что если хоть микронная доля сохранилась от той ушедшей навсегда жизни, можешь причислять это к разряду чудес.

Глава IV

Сердцевиной жизни нашей семьи был папа и его работа, светом жизни семьи — мама, а я — довесок. Я жил на отлете, в своей детской с няней и в своем собственном мире. Для того чтобы приблизиться к миру взрослых, одного волевого акта было недостаточно. Нужно было еще понять хоть как-то этот мир. Моя духовная инициативность обязана этому положению «дovesка».

Все веселое, нарядное, красивое сосредоточено было в маме. Боже, сколько в ней было жизни, сколько жизненной радости. Она была очень красива, говорят, что была одной из красивейших женщин своего времени. Мне самому трудно судить, а тем более говорить о ее красоте, ведь красота эта была постоянной, привычной частью того мира, в котором я жил. В детстве и юности я принимал ее как нечто

должное и потому не очень-то видел эту красоту. Теперь же могу сказать твердо, что ее красота была редкостная, светлая, радостная, все вокруг озаряющая.

Ее внешность была так связана с ее человеческой сущностью, с ее характером и даже со сравнительно второстепенными чертами, как с движениями, звуком голоса, таким ясным, что даже разрушительная сила времени основательно искорежить его не могла.

При всей многогранности ее натуры она была на редкость цельным человеком.

Папа говорил:

«Мать — кремень».

Мама была очень умным человеком, точнее сказать, мудрым. Ее мудрость была во всем, в умении подойти к любому вопросу просто, в умении отделить главное от второстепенного и во многом другом. Мудрость была в ее легкомысленном отношении к денежным практическим вопросам, ежедневная тяжесть которых лежала на ее плечах. Не будь этого легкомыслия, едва ли бы мы могли существовать. У нее напрочь отсутствовало честолюбие в любой его форме. Понятие «табели о рангах» было ей абсолютно чуждо. Люди прилеплялись к ней, хотели видеть в ней друга, видели в ней друга только на основании того, что общение с ней им много давало, она же ни в чьей дружбе сама не нуждалась. Только терпеливо сносила чужую.

Жизненные невзгоды, безденежье, голодовку, уплотнения, выселение и прочее она принимала по-деловому, как новые беды, с которыми надо бороться.

В трудные времена она шла на заказ, преподавала иностранные языки, особенно английский, которым владела едва ли не лучше, чем русским.

Энергии у нее было хоть отбавляй, и вся она была направлена на создание радости ежедневного бытия.

Она была из тех, кто по природе своей не ведает страха. Даже смертоносные страхи большевикова не сумели отравить ее.

Боялась она лишь болезней своих близких, вот тут она пасовала, пугалась когда нужно и когда не нужно, даже сердилась от отчаяния. Сама же никогда ничем серьезным не болела.

Ее дурного настроения никто не видел. Придут тяжелые мысли — тряхнет головой и словно впрямь их стряхнула.

Красоту предметного мира она понимала, а в некоторых ее областях разбиралась весьма толково. Вещи явно любили ее, но любовь эта была неразделенной, ее отношение к ним было чисто утилитарным. Она привыкла жить в окружении красивых, дорогих, а подчас и редкостных вещей. Окружение это было настольно для нее привычным, что едва ли она над ним задумывалась. Все, что было вокруг нее, пришло к ней само собой, ее роль заключалась лишь в отборе и распределении. Каким-то, казалось, колдовским способом она совсем без усилий создавала из этого предметного мира такие сочетания, что быт, ежедневный быт, наполнялся легкой веселой радостью.

Однако нетрудно было заметить, что любимых вещей для нее не существовало, она расставалась с любым предметом без всякой жалости. В этом сказывалось не ее равнодушие к вещам, а открытая нелюбовь к ним. Впрочем, она этого и не скрывала, говоря:

«Терпеть их не могу, отвратительно то, что они переживают людей».

Мама совершенно инстинктивно верила лишь во все хорошее, светлое, радостное в жизни и скорее всего полагала, что все другое хотя и существует, но «не про нее писано». Ее непоколебимой вере в жизнь противоречила сама наша жизнь, и все свои силы она направляла на борьбу с этим столь отвратительным для нее противоречием.

Мы все, ее близкие, с завидным упорством подтачивали ее оптимизм — дерево, на котором сидели, — но вряд ли нам удалось сделать это основательно.

Любопытно, что она искренне считала себя человеком бесталанным, и действительно, в тех областях, в которых проявляли себя окружающие ее люди: художники, писатели, философы, ученые и так далее, — у нее особых ресурсов не было. Между тем на практике оказалось, что умела она делать буквально все, что жизнь от нее требовала, а она, эта самая жизнь, ставила словно нарочно почти немислимые задачи. Маме же и в голову не приходило, что столь бесстрашная готовность решать эти задачи — это тоже особая форма таланта.

Папа как-то сказал мне:

«Знаешь, есть очень редкий тип людей, у которых все качества пропорционально сгармонизированы. Вершина этого типа — Пушкин. Вот в характере матери есть это поразительное равновесие всего. Без понимания этого ее не раскусишь».

Мама интересовалась всеми видами духовной деятельности, находившейся в поле зрения того круга, в котором она жила. Круг же этот, во всяком случае до революции, чем только не увлекался, каких влияний не перенес, но таково уж было ее устройство, что свою независимость она полностью сохранила. Ведь молодость ее совпала с

расцветом символизма, модерна, с нарождением всяческих новых «измов», она же всему этому оставалась абсолютно чужда.

Умение слушать собеседника, слушать с подлинным интересом, дано не всякому, это дар. На моем пути лучшего слушателя не было, и это же я слышал и от других людей. Естественно, что ей любили рассказывать, делиться с ней мыслями. Ее собеседниками часто были знаменитые соловьи своего времени, глашатаи или создатели нового, результатом же разговоров с ними для мамы было не вполне удовлетворенное любопытство и легкое разочарование, никогда, впрочем, не переносившееся на собеседника как человека.

Мама всю жизнь до самой смерти очень много читала, знание языков давало большой простор для этого дела.

Весьма сложным было ее отношение к изобразительному искусству. Все прямые, «чистые», бескомпромиссные проявления изоискусства ее абсолютно не интересовали, а по воле судьбы ей пришлось прожить всю жизнь среди людей, для которых именно это составляло единственный смысл в жизни. Ей пришлось быть активным помощником, а следовательно, и соучастником в деле, ей абсолютно чуждом. Неудачами, сомнениями, трудностями была наполнена жизнь не только горячо ею любимых близких, то есть нас, но и тех художников, с которыми наша семья была связана. Удивительно, что, несмотря на ее безразличие к этому несчастному искусству, именно она как никто умела поддержать его «служителя», вселить в него бодрость простым, самым ничтожным разговором. Слишком уж много в ней было заложено энергии и веры в жизнь.

Равнодушная к самому предмету искусства, она принуждена была всю жизнь видеть его изнанку. Изнанку тяжелую, трудную, составляющую почти непосильное бремя. Что же удивительного в том, что с годами мама стала смотреть на искусство как на некую опасную стихию, калечившую жизнь ее близких.

Своего безразличия к искусству она не афишировала, но на прямо в лоб поставленный вопрос отвечала правдиво.

Папа, посмеиваясь, говорил:

«Ну, искусство и отомстило матери. Ничего не скажешь, круто с ней обошлось. Уж таково это дело, неуважительного отношения не терпит».

Я знаю, что не сумел описать маму, трудна она для изображения. Недаром же ни у кого не получался ее портрет, ни в живописи, ни в скульптуре.

Двадцать четвертого ноября старого стиля, а по новому седьмого декабря, Екатеринбург день, мамыны именины. С утра звонят входные звонки, это рассылные из магазинов. Пакеты, завязанные красивыми лентами и шпагатом, холодные с мороза, чего в них только нет, и в каждом обязательно — визитная карточка дарителя. В пакетах — коробки редкостных конфет в еще более дорогих коробках, кожаных, лакированных или обтянутых кустарной набойкой. Торты, сделанные по специальному заказу в совсем неведомых местах. Ни подобных тортов; ни подобных конфет в больших магазинах не найдешь. Такое бывает лишь в какой-либо лавчонке-«дыре», в переулках арбатских, да и то лишь для постоянных покупателей.

А вот огромные многоэтажные корзины с фруктами, увенчанные ананасом, а из-за гроздей винограда, из-за огромных груш, апельсинов, как жерла орудий, вылезают бутылки редких вин. Все это сооружение перекручено шелковыми лентами всевозможных цветов. Это, конечно, не редкость, такое можно заказать и у Елисеева. А вот совсем простенькая плетеная коробка, а в ней свежая земляника, это московской-то зимой, в декабре, это, конечно, уже редкость.

Наконец, цветы, это самое замечательное. Корзины сирени, деревца, усыпанные гроздьями белых и лиловых цветов. Огромные, с детскую голову, шары хризантем. Корзины роз, белых, темно-красных, а под ними нежнейшие цикламены. Далее низкие, сплетенные из прутьев, темные, наподобие скошенных пирамид корзины, и в них — заросли ландышей, их запах зимой пробирал меня до лопаток.

В столовой стол раскрыт на все доски, сверкает убранством. С часу начинают приходить визитеры. Это те, кто дома своих именинниц имеет, или те, кто в этот вечер занят, или те, кто пока еще мало знаком или знаком чисто официально с нашей семьей.

Мама, как всегда, весело, оживленно принимает гостей. Папа в сюртуке отправляется поздравлять других Екатеринбург, он должен вернуться к обеду и переодеться опять в пиджак.

К вечеру гости. Я собрался было перечислить имена тех ушедших в вечность людей, которых помню, но понял, что это бессмысленно. Многих я вообще не помню, кого-то, вероятно, позабыл. Я помню эти именинные сборища только вначале, потом меня уводили спать, и приход поздних гостей был уже не в поле моего зрения.

После революционного вакуума восемнадцатого—двадцатого годов даже и полновины привычных гостей досчитаться было нельзя, растаяли они во времени и

обстоятельствах. Однако на их месте появились новые, и общее количество скорее увеличилось, так тянулось годами и десятилетиями.

Но возвращаясь к тем «баснословным годам», вспоминаю, что лучшими днями для меня были послеименинные, когда царствовали в столовой цветы, предвещаая завтрашнее счастье.

В художественной среде предреволюционной Москвы эти два зимних месяца, декабрь и январь, были радостными и напряженными, именно на протяжении их открывались основные выставки. На них как бы подводились итоги годовой деятельности, отсюда радостная напряженность этих дней. Вернисажи как бы окружали Рождество, праздник по своему характеру совсем особенный. Праздник, в котором из-за ветвей украшенной елки проглядывает само счастье. «Елка», как много хорошего дала она мне, и не только в детстве. Мама не меньше меня любила «елку».

Я больше всего любил не само торжество праздника, а подготовку к нему. Мама с увлечением выискивала хорошие, редкие украшения, мне, к сожалению, мало пришлось сопутствовать ей в этих поисках. Все же кое-что мне довелось увидеть: то, что показал нам в закрытых для публики помещениях «Кустарного музея» Николай Дмитриевич Барtram, об этом и рассказать невозможно. Это был мир русской лубочной, ремесленной фантазии, пусть даже эта фантазия теперь сильно отдает «модерном», все равно тогда это была сказка.

Не менее прекрасным был и нижний зал «Мюра», весь отданный под елочные украшения; сложенные на длинных столах, на прилавках, развешанные по стенам, они ошеломляли своим праздничным сверкающим великолепием. В отличие от кустарного здесь было все заграничное. Возможно, что здесь было меньше художественной изысканности, но зато здесь было больше западного бездумного веселья и радости. Больше разнообразной выдумки и фантазии, направленной на ощущение счастья и легкости.

Наряженная елка существует лишь для тех, кто может упиваться чужой фантазией, и стоит ли описывать все сопряженное с ней. Кто любит среди холода зимы, среди города, занесенного снежными шапками, огоньки свечей, и разноцветный блеск украшений, и мерцание канители, тому это и без слов понятно. Как понятны и мы с мамой, нагруженные коробками, когда, застегнув полость саней, мы едем домой на попавшемся ваньке по зимней, снежной, вечерующей, предпраздничной Москве.

В детстве зима избывалась удивительно быстро, глядишь, и уже Вербная суббота. Зима как-то сама собой уходит из-под ног, уходит, как кораблики из бумаги, бегущие по ручьям вдоль московских тротуаров. Далее — ни с чем для меня не сравнимая трогательность церковных служб на Страстной неделе и наконец Пасха, величайший из православных праздников. За спиной его горного кряжа — лето, зеленое счастливое лето.

Первый день праздника стол опять открыт на все доски, заставлен пасхами всех сортов, куличами, кренделями, адампольский окорок лежит на блюде, в горшках стоят гиацинты. В воздухе запахи очень сложные, если их разложить, это пряности, запахи гиацинтов, очень тонких духов и хорошего табака.

Мама оживленно что-то говорит, перед ней, откинувшись в кресле, с рукой, заложенной за жилет, с откинутой назад головой, — Сергей Михайлович Волнухин. Он в элегантнейшем сером волохатом костюме, поза картинная, но для него естественная. Красив — загляденье. Именно таким я хочу, чтобы он жил в моей памяти, пепельно-серый красавец.

В разные времена дома я слышал совсем для меня неинтересные разговоры про «чехарду министров», про слабость правительства, про корыстолюбие чиновников, наконец — радость по поводу убийства Распутина. Потом в иллюстрированном журнале увидел фотографии всех членов Совета министров, и стало все это уже интересней, еще позже увидел там же портреты министров Временного правительства во главе с красивым князем Львовым.

Сколько помню, еще в зиму шестнадцатого года случались забастовки, потом, при Временном, они участились. Тогда на улицах можно было встретить демонстрации с лозунгами. Иногда звонили по телефону и сообщали абонентам, что завтра с такого-то по такое-то не будет электричества — забастовка. К этому быстро привыкли.

Однажды мы с мамой направлялись в Столовый переулок, месили весеннюю слякоть на Мерзляковском. Навстречу нам шла разношерстная толпа, шла нестройно, заполняя собой мостовую и тротуары. На них были красные банты, несли они красные флаги и лозунги и пели ставшие уже привычными песни. Толпа состояла в большинстве из молодежи в технической темно-синей форме и в форме полувоенной, то есть на что-то сугубо штатское была надета военная шинель. Они были молоды, впереди была календарная весна и, возможно, та некалендарная, о которой им пророчили уже столетие интеллигентские витии, «сеятели доброго, вечного». Их

молодость совпала с небывалыми историческими событиями, и потому они были веселы, радостны и возбуждены.

Я спросил:

«Что это, опять забастовка?»

Мама ответила кратко:

«Ну нет, это уже революция».

И по ее сдвинутому бровям и твердому взгляду в пространство понял, что в революции ничего хорошего нет.

На Пречистенском бульваре студенты-агитаторы раздавали красные бантики с бумажным портретом Керенского, нацепили и мне. С таким украшением я пришел домой. Мама мигом его сорвала, сказав:

«Чтобы этой мрази в доме нашем больше не было».

В столовой на красном кожаном «капитоне», диване, сидит очень милая гостья. Она говорит:

«Он ехал в открытой машине, его буквально засыпали цветами, пришлось остановиться, и он с машины произнес речь. Он был великолепен».

Мама слушает и молчит. За обедом передает разговор папе и добавляет:

«Ведь она же не дура, и вдруг такое. Что со всеми случилось?»

В расцвете весны мы уже опять в Адамполе. Там за парком был небольшой овражек, заросший рябиной, в глубине его еле-еле пробивался ручеек. Мы — мама, я и Леля, двоюродная сестра, — поднимаемся по тропинке овражка и выходим из его тени на простор полей, идем по меже среди хлебов. Я иду последним, со мной две здоровых собаки, ну как им упустить случай пошляться. Небо светлое, легкие облачка, усатые колосья треплются ветерком, синие васильки лезут на межу. Боже, как это хорошо. Как хорошо этот мир.

Дома оказывается, что нас ждет гость, сосед-помещик, отставной артиллерист, и его сын, студент-математик. Сосед приехал по делу, но это всего лишь повод, настоящая причина — одиночество, неизвестность, жажда поговорить. Брусиловское неудачное наступление лучшую часть культурной молодежи погубило на поле брани. Фронт постепенно разваливается. Разговор, как почти всегда в эти дни, переходит на политику. О Временном говорится, что это просто «адвокатишки», говорится, что буржуазия пытается справиться с революцией за счет помещиков, и так далее.

Студент, посмеиваясь, говорит:

«Кроме всех известных партий, существуют еще две огромные, это И.И. и П.П.».

Расшифровка такая: испуганный интеллигент и перепуганный помещик.

Полковника явно коробит:

«Да-с, конечно, забавно, но вот смешно ли?»

Потом в Москве бесконечное скандирование: «кадеты», «эсеры», «эсдеки», «анархисты», «монархисты», «трудовики», «меньшевики» — и наконец выплывает понятие «большевики». Сначала о них говорят мимоходом, потом все чаще и чаще.

Осень напряженная, томительная, долгая. Неожиданный перерыв в школьных занятиях, на улицах перестрелка. Потом с Воробьевых гор большевики стали палить крупнокалиберными по Кремлю. Моя детская разнесена в щепки шрапнельным снарядом.

В последний вечер городских боев пришел из юнкерского Александровского училища нечеловечески усталый дядя Коля. Сказал:

«Дальнейшее сопротивление признано начальством бессмысленным. Капитуляция вступит в силу в эту ночь. Это конец».

Потом в совсем осенний, почти уже зимний день в церкви Благовещения у Никитских ворот отпевали тех, кого называли юнкерами.

Родители вернулись с похорон скучные. Мама, сидя в столовой, раскладывала пасьянс, что-то про себя думала, морщила лоб.

Между тем жизнь в приарбатье шла по-прежнему. Политика политикой, власть там такая или другая — это одно, а жизнь жизнью, и неохотно в течение этой зимы умирала старая жизнь Арбата.

Бывшие собственники огромных компаний, заводов, фабрик, магазинов и даже лавчонок стали теперь директорами, ограниченными рабочим контролем.

И опять в столовой на красном диване сидит какая-то гостья и говорит:

«Вы понимаете, эта новая власть не может сама справиться. Сергей Сергеевич по-прежнему ведет все дела. Ну конечно, не совсем по-прежнему. Но мы им нужны, они не могут обойтись без нас».

Мама молчит, внимательно слушает.

Теперь изредка стали появляться уже бывшие помещики, такие, которые и зиму и лето жили в деревне в своем гнезде. Новые обстоятельства сделали их пребывание там нежелательным, пришлось уехать кто куда, и вот многие из них — в Москве. Выбывшие из привычного уклада жизни, чувствуют они себя неуверенно и конфузливо.

«Что делать собираетесь, Егор Егорович?»

«Видимо, преподавать буду, в университет зовут. — И с улыбкой добавляет: — Свою филологию вспомнить придется, благо я и учебник когда-то написал, из своей же диссертации переделал».

Мама участливо спрашивает:

«А Хомутовка-то ваша, что там?»

И ответ:

«Понятия не имею. Что прошло, то прошло. Буду жизнь начинать наново», — говорит и поглаживает поседевшую голову.

В последовавшие годы немало хороших книг написал этот человек.

Потерю Адамполя и прочего родители мои приняли с таким абсолютным равнодушием, словно этого Адамполя никогда и не было.

Только меня тревожила судьба собак, аистов и лошадей.

Мама сказала так:

«Что же, Адамполя мне жаль, я его любила, но проживем мы и без него. Теперь на уме должно быть другое».

Папа сказал иначе:

«Ну чего вам с матерью этот Адамполь дался. Болото паршивое. На свете есть места куда лучше. А собаки, собак жаль и мне. Ну, авось устроятся как-нибудь».

Словно на смех через неделю после октябрьских событий из Адамполя с оказией привезли посылку: окорок, битая птица, пастила и прочее.

Мама смеется:

«Адамполь-то даже реквизированный, а все же помог. Зря ты его ругаешь».

Потом, видимо, был Брестский мир, отделение Малороссии, которую стали именовать Украиной, самоопределение Польши, а в Денежном переулке в особняке Берга водворился всесильный граф Мирбах, имя которого было у всех на устах и даже пережило самого графа. С документом, подписанным им, считались даже большевики.

За годы войны в Москве собралась маленькая колония польской аристократии, теперь по случаю самоопределения к моим родителям стали приходиться с прощальным визитом люди с историческими фамилиями прямо из Сенкевича. Эти решительно советовали родителям поскорее уносить ноги, если же это предложение неприемлемо, то желали хоть пережить наступающее лихолетье.

Потом опять вспоминаю гостью на том же красном диване, может быть, ту же, а может, и другую, это не важно, она говорит:

«Сергей Сергеевич отстранился от дел, с ними работать абсолютно невозможно. Вы даже не представляете, какой кавардак в делах происходит, но ничего, скоро этому конец. Сергей Сергеевич ведь связан с очень значительными людьми, он сказал, что ровно через три месяца наступит крах и все это само собой рассыплется. Это математически точный расчет».

Через месяц-два эта же дама вместе со своим Сергеем Сергеевичем пришли попрощаться:

«Существовать в этом сумасшедшем доме немислимо. Поживем в Берлине, а когда здесь все это лопнет, вернемся».

Я эту даму и ее Сергея Сергеевича не выдумал, я только их замаскировал. Таких было много, были и некоторые разновидности.

Вот пара, это очень богатые люди, они с собой увозят много, и там, на Западе, у них есть средства. Она молода, красива, великолепно одета, он — инженер-химик очень редкой специальности. Здесь теперь он, так же как и прежде, работает на своих же, но теперь уже бывших своих заводах и там, на Западе, тоже будет работать. Его редкая специальность полностью обеспечивает его повсюду, но здесь он дома, и ехать ему явно не хочется, но об этом он молчит. Говорит она:

«Нет, нет, пусть Яша как хочет, а я уезжаю. Здесь, конечно, все это долго так не продержится, но, как и все в этой стране, кончится грандиозным еврейским погромом».

Мама явно ошарашена, но, не выдержав, смеется:

«Ну что вы! С чего бы это могло быть, сейчас как будто все наоборот». Мама недоговаривает.

«Вот именно потому, что «наоборот», — темпераментно говорит гостя. — Вам хорошо смеяться. А я знаю, что это такое. И так будет обязательно, и я боюсь».

В эту солнечную весну и еще более солнечное лето события шли навалом, содержание их — в разрушении. Восстановить последовательность возможно, но это совсем ни к чему.

Уехала на гетманскую Украину бабушка, уезжая, понимала, что никогда не увидимся.

Застрелился дядя Коля, трагические летние дни после его смерти, отпевание у Федора Студита. Мама на людях не плачет, выходит с сухими глазами, а что делает у себя в комнате — неизвестно. Чаще обычного приходят Бердяевы, Лидия Иуди-

фовна чуть не каждый день ведет с мамой душеспасительные беседы, но «не в коня корм».

Затем на ту же Украину уезжает тетя Оля и вся семья моей мамы. Ее средний брат, путеец, он уже там, служит у гетмана, затем последовательно у всех украинских властей вплоть до Врангеля.

Пуста квартира в Столовом, но пустота эта относительная, ее уже начинают заселять всяким приезжим сбродом. Я бегаю туда часто навестить прислугу и собаку Урсика. Когда ухожу, прислуга сует мне большие свертки:

«Забери домой, а то вселят еще этих «теперешних», ведь все раскрадут».

Действительно, крали нещадно.

Москва, приарбатые совсем опустело, но мутные волны революции с отливом наносят уже всякую мразь. Она, эта самая мразь, энергична, цепуча, жадна, честолюбива, глупа, хитра, бессовестна, она где-то уже около власти, и не успеешь оглянуться, как оказывается, что она уже власть. В ее руках уже возможность причинять зло.

Мама распродает все, что попадает на глаза, начиная от драгоценностей и кончая одеждой. Удивляется:

«Боже, сколько всего этого и зачем оно нужно».

Жизнь труднеет, черствеет, страшнеет.

«Вы явно хотите что-то сказать, ну так говорите же. В чем дело?»

Это известие пришло с оказией из Петрограда — о том, что в числе «заложников буржуазии» расстрелян старший брат мамы, а дети его отправлены в колонию для малолетних преступников.

Мама опять не плачет, вернее, этого никто не видит.

Жизнь требует ежедневной борьбы, и она борется на свой лад, расточительно, неумело, но как-то с легкой душой.

Близкие, друзья и знакомые убиты, расстреляны, умерли, рассеялись по свету, кто где — неизвестно, но пустоты нет, на их месте появляются новые.

До революции моими товарищами были дети из интеллигентских семей, а летом — дети крестьян. Как теперь я понимаю, в ту пору в крестьянстве еще что-то оставалось от настоящей культуры. От моих крестьянских товарищей я не обогатился познаниями в области различной похабщины. Возможно, что сами они знали «матерщину», но их родители понимали, сколь омерзительно звучат эти ругательства в детских устах, и дети не сквернословили. О различных «естественных потребностях» они не говорили, а если и случалось, то в парламентской форме.

Теперь интеллигентные сотоварищи мои в большинстве рассеялись по всему свету, а крестьянские стали мне недоступны, и получилось временно как-то так, что моими товарищами стали дети крупнейшей буржуазии.

Это та часть буржуазии, которая в ту пору еще не уехала из России, а пыталась как-то пристроиться к новой власти. Основания для этого у них были, ведь когда-то раньше они воротили делами, и возможно, что знали в них толк. Теперь они числились где-то служащими, конечно, подальше от тех предприятий, акции которых лежали у них в кармане. Кое-кто из этой публики даже был в фаворе у большевиков. Насколько я понимаю теперь, они, рискуя своей шкурой, пытались ловить «рыбешку» в революционном теплоте. Иными словами, более или менее удачно занимались спекуляцией. Это и многое другое позволяло им жить в своих бывших огромных квартирах, а иногда в своих же роскошных особняках. Держали они большой штат прислуги и очень цепко и неохотно сдавали позиции.

Странные впечатления остались у меня от знакомства с этими семьями. Несмотря на несомненную принадлежность их к ультрабуржуазии, что-то роднило их с городским мещанством.

Эти новые знакомства начались во время игр на соседних дворах, и одно знакомство естественно влекло за собой другое, так что в конце концов я оказался в совершенно чуждой мне среде. Вот эти-то мои сотоварищи и просветили меня в области российской матерщины и похабщины. Их познания в области элементарной культуры были нулевыми, их любимая тематика была «ватерклотетная». Для меня по сей день непонятно, откуда они сами все это почерпнули, и особенно непонятно мне то, что моими основными просветителями были девочки. Это обстоятельство кажется мне просто невероятным. Ведь они-то были отгорожены от мира кордоном из двух-трех гувернанток, говоривших не на русском языке.

Родители этих детей пожелали познакомиться с моими родителями и стали бывать у нас.

Мама говорила:

«Володька свинья, наградил нас знакомством».

В особенности допекала ее одна из этих дам. Была она весьма богата по мужу, происходила же из семьи богатейших заводчиков, имя которых было настолько

популярным, что сохранилось в обезличенной форме и по сей день. Дама эта прилипла к маме, и спасения от нее не было. Мама так говорила:

«Господи, что за напасть такая. Я от нее прямо сатанею. Говорить с ней — все равно что на четвереньки становиться».

Как-то спросила у пришедшего к нам Андреева:

«Николай Андреевич, вы всяких людей знаете, что она такое, объясните».

«Тут и объяснять нечего. Знаю, конечно. Из тех, что, как прислуга выйдет, жрет с тарелки руками».

Объяснил точно, в своем стиле, в своем ключе и даже не улыбнулся. А я с тех пор не мог сесть за стол в этом доме, боялся. Бриллианты в ушах с грецкий орех величиной, а вдруг и вправду руками.

В один весенний день мертвый Арбат улыбнулся нам нэпом. Нэп — поганейшая пора нашей жизни. Нэп вообще большая эпоха в жизни страны. Двадцатые годы израсходовали, растратили духовные силы, накопленные предреволюционной Россией.

Жизнь, казалось, бурлила вокруг нас, изобилие продуктов было невероятно, продавалось буквально все, денег же на покупку ежедневно необходимого не было. Так было у нас дома, так или почти так было и у многих других.

Искусство, а в особенности скульптура, было никому не нужно.

Папа болезненно переживал отсутствие заработка, безденежье мучило его морально.

Мама шила на заказ платья, преподавала языки, распродала имущество, и все это ее не смущало.

«Володя, возьми из стола какую-нибудь брошку, сбегай и продай в скупку, а то обедать нечего».

«Что же именно взять? Скажи, что».

«Некогда мне. Сообрази сам. Или возьми лучше серебра из буфета и купи, да только чтобы папа не знал, а то он опять работать не сможет».

И я относил мамино, бабушкино и прабабушкино серебро на Арбат, продавал, платили по весу.

«Мама, нам скоро есть будет нечем, серебро же когда-нибудь кончится».

«Брось, чепуха. Когда придут времена, что оно станет нужным, появится».

И опять времена: уплотнение, угроза выселения, безденежье, процессы, посадки, обыски, доносы, классовая чуждость и прочее.

А мама опять:

«Это все чепуха. Ну, трудно, да. Ну, поборемся, потерпим, и все будет в порядке. Только вот папино здоровье меня смущает».

Опять, как всегда, у нас много народу, и самого разного, и опять на диване или за столом какой-нибудь гость, вполне пристойный русский интеллигент, изрекает уже иначе:

«Нет, нет, Екатерина Львовна, зря без повода сажать не станут, ведь это бессмыслица».

«Господи, что вы говорите. Посмотрите, что делается с самого начала этой милой революции. В лагерях миллионы гниют».

«Ну что вы, какие там миллионы, а потом ведь это в основном уголовники. Подумайте сами, ведь вы же умная женщина, кто же станет специалистов, ценнейшую часть населения, так бессмысленно уничтожать. Чистое золото швырять на помойку. Это же нелогично. Это абсурд».

Но мама уже молчит, молчит упорно, только внимательно-равнодушно смотрит на говорящего. Оратору явно неловко, он смолкает, а мама переводит разговор.

Папина смерть была ее катастрофой, от которой она уже не оправилась до конца. С папой ушла главная часть ее души, смысл ее жизни.

Она пережила его на девятнадцать лет. Жила нами, которых очень любила. Была по-прежнему весела, ровна, энергична, освещала все вокруг себя радостью. Интересовалась всем, знала все, что мы делаем, знала до мельчайших подробностей, помогала всем чем могла.

При всем этом чего-то самого главного у нее уже не было. Ежедневность заставила ее признать, что папы нет, но примириться с этим она не могла до конца своих дней.

Она по-прежнему ярко откликалась на все происходящее. Война, бомбежки, голод — все это ее мало пугало.

«Немцы или большевики — один черт».

Когда пришло сообщение о смерти Сталина, она мелко-мелко перекрестилась, в глазах у нее были слезы, сказала:

«Благодарю тебя, Господи, что дал мне возможность пережить эту гадину».

Недуги, болезни, старость отскакивали от ее деятельной жизнерадостности.

Как-то, после каких-то многолюдных именин пятидесятих годов, где большинство гостей было в возрасте (Кузнецовы, Бехтеевы), сказала:

«Ну их к черту, от старичья совсем осатанеешь. Разбавь их на следующих именинах кем-нибудь помоложе».

О смерти говорила так:

«Умирать — это нестрашно, жаль только расставаться с теми, кого любишь».

А за месяц до смерти вдруг неожиданно очень требовательно спросила меня:

«А там я встречу с теми, кого люблю?»

В день смерти была очень деятельна, ходила по жаре за покупками, пешком поднялась на восьмой этаж. Лифт испортился.

Умерла вечером почти мгновенно.

Ноля Митлянский сказал мне этой ночью:

«Жила легко, умерла легко».

Вот действительно ли легко жила? Этого я не знаю.

Глава V

Мы все живем, окруженные теми или иными вещами, это как бы наша скорлупа, наша раковина.

В моей жизни получилось как-то так, что моя скорлупа создана не мной. Она явилась следствием напластования предметов, бытовавших в нашей семье за срок более чем в два столетия. Понятно, что это надо понимать с оговорками, исключаяющими то или иное. Все остальное — это то, что почти случайно уцелело от самых различных эпох прошлого. Словом, это в полном смысле «осколки разбитого вдребезги».

Мне известно происхождение большинства из окружающих меня вещей, мне известны мои предшественники, которые употребляли их, которые любовались ими или служили их моделями и были даже иногда их создателями.

У меня есть ощущение кровной связи с окружающими меня предметами. Но это не единственная связь, есть и иная. Обстоятельства, а может быть, и природная склонность толкают меня добывать драгоценную руду впечатлений из этого предметного мира.

Способность проникать в душу предметного мира, мира материальной культуры, — качество, требующее специфического зрения. Простой физиологический акт зрения ровным счетом ничего не дает. Не много дадут и общие «познания». Для того чтобы соприкоснуться с душой предмета, впитать в себя его художественность, требуется иное, нужно обладать тем, что можно условно назвать духовным видением. Собственно, это способность видеть красоту предмета, проникать в сущность этой красоты, питаться ею.

Такое видение обладает мощными ограничителями. Прежде всего ограничителем автономным, каковым в данном случае будет личная восприимчивость, или, иначе сказать, одаренность, в области чувства предмета. Другим ограничителем будет эпоха, в которой мы живем, культура, которой мы пропитаны. — это уже ограничители гетерономные.

Я прекрасно понимаю, что, ограничивая вопрос лишь предметами материальной культуры, я совершаю некоторую теоретическую ошибку, режу ножницами по живому мясу. Собственно говоря, все, что нас окружает, будь то деревенский или городской пейзаж, интерьер и так далее, подвержено той же закономерности. Восприятие их также зависит от духовного видения. Но тема этой главы не о видении вообще, а о судьбе предмета материальной культуры.

Духовное зрение не является всеобщим достоянием, это дар, и, как всякий дар, он может быть или не быть. Социальная, имущественная, сословная или традиционна семейная принадлежность не дает здесь никаких привилегий. Мало дает и культурная атмосфера, она в лучшем случае поможет этому дару проявиться, но научить любить никакая атмосфера не может.

Я далек от мысли, что во все эпохи с этим духовным зрением все обстояло благополучно. Нет, далеко не всегда этим даром обладали все эти многие, в обозримых историях культур больше найдешь вандализма, чем любви.

Как раз на жизни моего поколения можно было наблюдать умирание духовного зрения и наконец его смерть.

Теперь уже можно смело сказать, что люди ослепли. Процесс этой слепоты постепенен, у нас он тянется около полутора столетий, последнее шестидесятилетие его только ускорило и обострило.

Предметный мир есть неотъемлемая часть быта. Быт же сам по себе не существует, он внешнее проявление культуры, одна из ее форм. Здесь мы встречаемся с обратной зависимостью; гетерономность выступает не только как ограничитель, но и как формирующее начало.

Только традиционные слои общества могут обладать бытом, имеющим свое лицо: таковым в дореволюционной России было крестьянство, его культура и ее форма — крестьянский быт. По укоренившейся привычке к традиционным слоям общества относят помещиков, но для двадцатого века это неверно. В этом веке дворянско-помещичьей культуры как чего-то самостоятельного, цельного, единого просто уже не существовало. Все это растворилось, смешалось и почти что обезличилось.

Лицо купеческого быта больше смахивает на отражение в кривом зеркале, его прельстительная пряность придумана художниками. В понятии «мещанский быт» заложено неизгладимое противоречие, собственно, понятие это чисто негативное. Чиновничий, бюрократический быт в принципе не может иметь лица, он говорит лишь об иерархическом положении его обитателей.

У нас в России в ее культурных слоях быт во всех смыслах стал рушиться одновременно с кристаллизацией понятия «русская интеллигенция» в специфическом значении этого слова. Это произошло еще задолго до шестидесятников.

Стиль быта русского интеллигента — это принципиальная бесформенность, бестолковое заполнение пространства более или менее безобразными и случайными предметами. Презрительное отношение интеллигента ко всем формам быта и к материальной культуре — это уже приближение к слепоте. Достаточно сравнить рабочую комнату Пушкина и Льва Толстого, чтобы увидеть величину разразившейся катастрофы.

Приблизительно с сороковых годов русская культура стала жить в основном жизнью идей, стала бредить понятиями «прогресс», «гуманизм», «просветительство». Позитивизм стал кровеносной системой эпохи, без понятия «прогресс» никакое мышление было невозможно.

Вера превратилась в нечто, нуждающееся в оговорках. Даже люди, оглядывающиеся на Евангелие, смущались «чудесами», искали им чуть ли не медицинское объяснение.

Научные, философские или политические идеи совсем другой породы, чем то, что можно назвать «идеями» предметного мира. Отсюда слепота к этому миру. Предмет стал как бы низменной категорией, чем-то вроде «суета сует».

Я помню кое-как быт дореволюционной России. В мою плоть и кровь вошли бревенчатые, прокопченные, оливково-коричневые стены крестьянских изб. Иконы, образки, блестящие олеографии, мерцание красных, или зеленых, или синих зажженных лампад. Немыслимый мастодонт мудрейшей русской печи. Печи, в которую залезали внутрь и там мылись девки и бабы. Печи, наверху которой, завернувшись в вонючий тупуп, додремывал свои нехитрые и считанные уже дни старый дед. Помню кислый запах этих изб. Помню квадратные маленькие окна, а за ними — режущая глаза зелень трав.

Более смутно встает в моей памяти прелесть «хохлацких» мазанок. Их поражающая чистота, выбеленные стены, толстейшим слоем окрашенный красно-сиенный пол, занавески с кружевами, вышитые цветами полотенца, обливные крынки, макитры, на окнах — горшки с цветами, в палисаднике мальвы, расписные ставни на фасаде, словом, мир, созданный тучной украинской землей и жизнелюбием какой-нибудь Оксаны.

Но, конечно, гораздо лучше я знаю и хорошо помню совсем уже умирающую, углую обстановку помещичьих усадеб, домов, уже зараженных «интеллигентщиной». Многие из этих усадеб стоят перед моим взором так, словно вижу их сейчас.

Образ комнаты в помещичьем доме, воспетый мирискусниками и их последователями, — это импровизация на тему о том, что умерло задолго до моего рождения. Хорошо, если одна-единственная комната хранила разрозненные воспоминания о прошлом. Красота была неценная, не нашедшая своего места в идейном веке, позабытая, сохранилась чисто случайно в виде отдельных вещей. Вещей чисто утилитарных, которых не успели перебить, исковеркать, отправить на свалку, на чердак. То, что пришло, вкрапилось в старый быт помещичьего гнезда, вытеснило его, обесценило, обезобразило его своим соседством, было столь близкое, бедняцкое, бездушное, что говорить о нем невозможно.

И все же подчас отдельные уцелевшие вещи жили как вкрапления в этом бессмысленном быту, причем жили с какой-то удвоенной силой. Они-то и были здесь по праву, как бы ровнями, братьями-близнецами этих усадеб.

Старый, поломанный амбирный подсвечник с египтянкой, держащей на голове капитель с традиционным лотосом, — импровизация эпохи, восхищенной бессмысленным походом толстопузого коротышки. Свеча в подсвечнике освещает шестиугольный стол, покрытый старинной, гобеленной, еще запесельской скатертью. Огромная эта комната еле видна, темно, все контуры стерты. За окном вечер и мелкий дождь. Мама пишет по-английски письмо своей бывшей гувернантке. Передо мной — Пушкин, остатки запесельской библиотеки. Это «Дубровский», я не столько читаю, сколько проглядываю, и мне почему-то грустно. Чувством, а отнюдь не сознанием, мне просвечивает сквозь эту повесть маленький толстый капрал, и, пожалуй, не он

сам, а воздух, окружающий его имя, герой, еще не успевший тогда выветриться из моей крови. Герой, ставший символом для наших романтических предков, пропитавший отблеском своей немислимой славы, и сомнительной славы, даже российское помещичье захолустье. Эта немудрящая сценка и я, склоненный над старым, потрепанным Пушкиным, — это еще «оттуда». При неярком свете свечи это еще одухотворенный быт.

Совсем другое я видел в роскошных апартаментах крупных капиталистов, с детьми которых дружил в городе. Там быт должен был лишь соответствовать количеству миллионов их владельцев. Отношение к предметам материальной культуры определялось лишь их стоимостью. Внутренней взаимосвязи между предметами и их владельцами в принципе быть не могло. Даже подлинность любви к своим коллекциям прославленных московских меценатов кажется мне сомнительной, подточенной снобизмом.

Большую часть моей жизни мне пришлось ощущать быт отнюдь не как форму культуры, а всего лишь как синоним существования. В условиях коммунальных переуплотненных квартир быту как форме культуры просто не было места. Это в корне меняло положение предметного мира.

Перманентное безденежье людей, находившихся в поле моего зрения, принуждало их смотреть на вещи как на некий эквивалент, способный заткнуть очередной продажей финансовую дыру, а подчас попросту чтобы не сдохнуть с голоду. Отдельные предметы, несущие на себе печать искусства, могли, конечно, сохраниться где-нибудь в пыльных углах, затиснутые туда шкафами и необходимостью. Наличие их в подобных условиях было для этих вещей оскорбительно, а далее уже губительно. Гибель культуры, потеря соединительных звеньев отдавала предметы материальной культуры на произвол одичалых потомков.

Можно утверждать, что предметный мир, созданный за это шестидесятилетие, ничтожен во всех смыслах этого понятия и, довольно точно отражает духовный вакуум эпохи, в которой мне довелось жить.

Конечно, в условиях небывалых по глубине и размаху катастроф предметная культура и не могла иметь места, не до нее тут было. Такое объяснение, конечно, возможно, но явно недостаточно. Здесь напрашивается иная мысль: ведь есть некая неуклонность судьбы, ей нечего противопоставить. Судьба величественна, спор с ней немислим. Попытки понять ее глупы, по существу, так как нам непонятна ее цель.

Идеи, мысли, организации, действия, войны, революции, как бы грандиозны они сами по себе ни были, — все это мелочь, это все лишь рядовые солдаты, которых судьба использует в своих непостижимых устремлениях. Любой самый «великий идеолог», чего бы он ни желал, все равно в результате выполнит совсем не то, что хотел, а то, что надо Судьбе.

Подумать только, что этот «идейный» девятнадцатый век породил слепоту. Что этот же «идейный», ужасно болтливый век породил глухоту. Что этот же век, век-«мыслитель», породил углое, убогое, калечное мышление.

В результате его вдохновенной деятельности мы живем в слепом, глухом и духовно одичалом мире.

Что делать, как существовать бедной и хрупкой вещи предметного мира? Она создана для людей, а они слепы, рассказать им о ней, но они глухи.

Мой отец любил самые различные предметы, все, начиная с рабочих инструментов. Словом, все, что таило в себе мудрую целесообразность, красоту в любом понимании этого слова. Многое из того, что его окружало, он буквально фетишизировал, в особенности инструменты. Он не только любил мир вещей, но и умел с ним жить, вещи сами собой как бы врисовывались в его жизнь, соучаствовали в ней, соавторствовали в его работе. Он был отродясь с ними на «ты». Ему, как и всем другим, случалось испортить ту или иную вещь, сломать ее, потерять и так далее, но это никак не влияло на их отношения, все было по формуле «чего не бывает между своими». Вещи, которые он употреблял, делались чем-то лучше от этого. Притирались к руке.

Словом, между моим отцом и той частью предметного мира, которую он любил, была как бы полная гармония, то есть то, что и должно быть.

У меня же эти отношения сложились иначе, и смысл этого заложен во времени.

Я не менее, чем папа, люблю этот вещный, предметный мир, для меня он не менее, чем для него, живой и одушевленный.

Однако именно гармоничности мои отношения с этим миром как раз лишены. Между мной и отдельными любимыми вещами встало чувство боли и страха за их судьбу, я вижу их обращенными ко мне душой нараспашку, а сам гляжу на них с чувством страха за собственную несостоятельность.

Меня давит сознание невозможности обеспечить их дальнейшее бытие. Я не могу слепым и глухим объяснить мудрую красоту предметного мира, я не умею рассказать об исходящем от них тепле. Меня пугает хрупкость и разрушимость вещей.

За жизнь я сравнительно мало погрешил перед ними. И в то же время я не могу отделаться от чувства какой-то вины перед ними, от страха заплатить за великодушные черной монетой неблагодарности.

Предметный мир, отмеченный печатью любви и красоты, звучит для нас уже трагически.

Единственное, что в наших силах, это отправить его в места обезличенной резервации. Нам, хорошо знакомым с подобными местами, это очень слабое утешение. Во-первых, там, в этих резервациях, это никому не нужно и не интересно, во-вторых, подобные учреждения никакой гарантии сохранности вещей не могут дать.

Да и куда и зачем? Ни сохранности, ни «жизни» предметам ты таким способом не обеспечишь. В лучшем случае отдельные вещи могут удостоиться чести, чтобы за ними «толпы зевак ходили».

В резервациях их встретит то же равнодушие хранителей и равнодушие зевак. И те и другие по-своему правы. Для хранителей это лишняя докуча, а зевакам совершенно законно наплевать, на что глазеть в этом слепом, глухом и скудоумном мире.

Так что и эта форма, столь апробированная, стала в конечном счете надругательством над несчастным миром вещей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

В девятьсот девятом году появился на свет я. Собственно, это событие весьма мало повлияло на жизнь моих родителей, да и в дальнейшем мое присутствие особого значения не имело. В рамках же этой писанины, повествующей от первого лица, все, о чем здесь говорится, носит печать тех ракурсных искажений, причина которых таится во мне.

Родители мои, в силу противоположности своих характеров как бы дополнявшие один другого, являлись неким почти идеальным целым. Для их жизни и счастья мое существование было необязательно. Поскольку я затесался в их содружество, я постепенно стал его членом и, пожалуй, был не лишним. Мое детство было исключительно счастливым. Я не был центром, вокруг которого вращалась бы жизнь семьи; я был чем-то явно периферийным. Отношение ко мне было скорее всего добродушно-юмористическое. Очень всерьез меня не принимали. Подобное отношение бывает к симпатичным и любимым щенятам. Любопытно, что что-то от этого осталось до конца нашей совместной жизни, то есть до того времени, когда я был уже вполне взрослым человеком.

Если я почему-либо оказывался в смешном положении, меня утешали столь любимой моими родителями хохлацкой поговоркой: «Ничего, из-под смиха люди бывают».

Я и приблизительно не могу перечислить того, от чего в моей жизни, дальнейшей жизни, спас меня добродушный юмор, царивший в нашей семье.

Но более всего я благодарен им за то, что с самого начала жизни мне дали полную «отпускную», дав мне право быть тем, чем я захочу, абсолютным нулем или чем-либо еще. Словом, радоваться жизни на свой лад.

В мои дела особенно не вникали, а от меня требовалось лишь быть воспитанным человеком. Я мог дружить с кем угодно, учиться или лоботрясничать по своему усмотрению. Теперь я понимаю, что в этом был некий элемент доверия ко мне.

Все это сделало мое детство исключительно счастливым, и ощущение этого счастья прошло через всю мою жизнь.

Теперь, соображая по памяти, я все-таки думаю, что был чем-то нужен своим родителям, причем отцу больше, чем маме.

Папа несколько раз объяснял мне, зачем именно я был ему нужен и то, чем я ему невольно помог, но для меня это так и осталось неясно.

Что-то во мне его несомненно устраивало, кое-что ему не особенно нравилось, о многом он говорил в глаза резко и ясно, но, как теперь я догадываюсь, об очень многом просто молчал, надеясь, что со временем все само собой утрясется. И все-таки, если бы отец в силу каких-либо причин получил бы возможность меня перелепить заново, он, конечно, кое-что во мне изменил бы, но изменение это касалось бы относительных околичностей, существо же мое осталось бы нетронутым.

С мамой было иначе. Несмотря на то, что она меня очень любила, слишком многое во мне ее совсем не устраивало. Об этом она почти никогда не говорила, она

мирилась с тем, что я таков, каков я есть, но если бы ей досталась возможность меня пересоздать, от меня камня на камне бы не осталось.

В нашем доме всякие громкие слова не пользовались правами гражданства. О чувствах же принято было говорить лишь в ироническом плане. Я бы, вероятно, очень удивился тогда, если бы мог предвидеть, что впоследствии, на старости лет, назову чувства, нас троих соединявшие, любовью.

В моем детстве родители возились со мной лишь тогда, когда им этого хотелось. Все остальное время я жил на попечении няни, которой и было передоверено мое физическое и духовное воспитание.

В жизни родителей моя няня была туманностью, к которой вряд ли приглядывались. Для меня же в детстве она была всем. Как и большинство людей этой профессии, она была неудачницей, ее жизненные катастрофы трагичны своей обыденностью. Звалась она Улитой и была крестьянкой Сопожковского уезда Рязанской губернии. Замуж вышла за московского извозчика. Знаю, что муж ее пил, а сына Ивана она отдала в люди, сама же пошла служить. Муж как-то своевременно сошел со сцены — умер, а сын вырос пьяницей-мастеровым. Когда он отбыл воинскую повинность и вернулся в Москву, няня пыталась организовать совместную жизнь, но кончилось это плохо. С проломанной головой она оказалась в больнице. После излечения, снабженная солидными рекомендациями, она поступила к нам. Затем вскоре сын умер где-то от туберкулеза. Няня купила в самом конце Ваганьковского кладбища место и похоронила там своего Ивана. С тех пор ежегодно в конце пасхальной недели отправлялась туда, к путешествию этому готовилась озабоченно. Вернувшись, казалась чужой, даже запах приобретала какой-то незнакомый, кислый.

Со смертью Ивана нянины семейные заботы не окончились. У нее был племянник, о судьбе которого она очень печалась. Теперь я догадываюсь, что он был ей отнюдь не племянник, вернее всего, он был последствием какого-то няниного увлечения. Звали его Прошка. Пока он рос, няня платила кому-то за его содержание, а потом безуспешно пыталась наладить Прошкину трудовую жизнь. Невысокий, широкоплечий, узкотазый, горбоносый, с круглыми сливинами вороватых глаз, чернокудрый Прошка рано догадался, что обладает магической властью над сердцами девиц, украшающих собой под вечер московские бульвары. Блестящая деятельность альфонса, или kota, хоть и была по вкусу Прошке, но как-то у него не ладилась, скандальные истории непрерывно преследовали его и отражались на рентабельности самого предприятия. Вряд ли няня в душе порицала Прошкину деятельность; скорее ее смущали перепады в судьбе воспитанника и необходимость скрепя сердце время от времени снабжать Прошку из ее нищенского кошелька рублями, скопленными за долгу трудовую жизнь. Жизнь моей няни была безрадостна. Перед ней как бы планомерно закрывались все жизненные возможности, оставляя ей узкое и предопределенное русло.

Внешне она была чем-то похожа на бесхитростные псковские церквушки, вылепленные, словно кулички из песка, как придется, без претензии, без полета фантазии, маленькие, приземистые, белокаменные, одухотворяющие волнисто-зеленые просторы. Росту была она невысокого, ни худая, ни толста. Лицо ее было такое обыденно-простонародное, что описать его трудно. Так же под стать всему этому было и неопределенное выражение ее маленьких и каких-то уж чересчур ясных глаз.

Впоследствии я узнал, что няня моя потаенно выпивала, но делала это столь ловко, что ни я, ни мои родители ничего не подозревали. Знала об этом Катерина, но, понятно, молчала. Няню она презирала до такой степени, что едва ли видела в ней человека.

Родители не хотели разрушать моих иллюзий, и о том, что няня не чуждалась Бахуса, я узнал уже взрослым человеком, а сами родители узнали об этом совсем случайно. Как-то поздней осенью отец взял меня в подмосковные именьеце Малевич-Малевских — Хорошевку. За нами прислали лошадей. Катерина вполне справедливо нашла, что в данном случае молчать уже нельзя, и, чуть не плача от смеха, сказала маме о нянькином состоянии. Мама, пораженная этим открытием, сказала отцу. Папа воспринял это равнодушно, пожал плечами, деловито осмотрел няньку и сказал: «За дорогу все выветрится».

Эту поездку я помню. Няня весь двадцатикилометровый путь молчала в коляске как памятник. Помню остановку, кучер поит лошадей, нянька в коляске, а мы с папой стоим около придорожного кювета. По-осеннему обглоданные репейники цепляются за мои чулки, папа перламутровым маленьким ножичком чистит мне персики, режет их на дольки и, надев на кончик ножа, кладет их прямо мне в рот.

Няня была не только спутницей моего детства, была она частью его, и, может быть, главной. Отец объяснял нашу тесную дружбу тем, что умственные наши возможности тогда не слишком разнились, но верно это лишь отчасти. Я ей обязан многим. Все ли, что я от нее получил, действительно хорошо, этого я не знаю, но полученное пронес буквально через всю жизнь.

Подлинность няниной любви к сыну мне внушает сомнение, по отношению к Прошке уже были лишь обязанности и страх. До нас няня где-то служила. Там тоже,

были ее выходы, но ни она о них, ни они о ней не вспоминали. Насколько я понимаю, я был ее единственной, но едва ли глубокой привязанностью. Она знала, что я ее очень люблю. В детстве я любил ее, вероятно, сильнее, чем своих родителей, но думаю, что большого значения моей любви она не придавала, может быть, по опыту знала, что все на свете проходит как дым.

Мы часто ходили в церковь вместе, но, переступая ее порог, существовали уже раздельно. Я любил стоять в левом приделе около Ахтырской Богородицы, иконы, особо чтимой в нашем приходе. Написана она была в сороковых годах прошлого столетия. Ее пышная риза была украшена драгоценными камушками, а в корону была вделана великолепная брошка — большой изумруд, звездообразно отороченный бриллиантами. Брошка досталась этой иконе по завещанию старушки-прихожанки, жившей поблизости от нас.

Кроме больших праздников, придел этот тонул во мгле. Я любил смотреть, как лучи дневного света врываются в окна и, бултыхнувшись во мглистый воздух церкви, постепенно смирляли свое буйство и в конце концов всего лишь парили и трепетали вокруг теплого и ласкового света свечей, окружавших Царицу Небесную.

Няня стояла всегда против центрального алтаря, там золотая светозарность вместе с клубами ладана и серафическими голосами хора поднималась в синющую подкупольную высь. И мне казалось, я видел, как в этот извечный свет поднималась и нянькина душа, уходя от земного несовершенства.

Ходили мы с няней и в музей, но в этом пункте няня уже просто шла навстречу моим интересам, ей самой едва ли что там нравилось, кроме васнецовского эскиза к серафическому поясу Владимирского собора. Теперь мне кажется, что наше высокомерие к этой живописи неоправданно, что-то есть в ней такое, что говорит душе простого человека.

На улице няня любила вступать в разговоры с нищими, не с калеками и юродями, а с такими, для которых это был естественный и необременительный вид заработка. Что-то в характере и неведомых мне закоулках няниной биографии было такое, что тянуло ее к ним. Возможно, тут играло роль нянино отвращение ко всякой работе и романтическая мечта о свободе птицы небесной.

Наше утро начиналось питьем чая. Происходило это в детской. Затем мы погружались в книгу, популярно излагавшую Старый и Новый завет. Книга эта была буквально испещрена иллюстрациями. Иллюстраций этих хватило бы на объемистую историю искусств. Няня читать почти не умела. С трудом разобрав заглавие, она весьма толково объясняла мне смысл данного эпизода. Основа моих познаний, не только фабулы священной истории, но и ее осмысление, лежит в нянином истолковании.

Именно от няни я впервые узнал идею о коллективной взаимовинности людей, об ответственности всех за одного и одного за всех, о великой высоте смирения, об относительности дурного и хорошего, о безграничной свободе души и о бренности нашего тела.

Поражает меня, откуда она, выморочная сопожковская крестьянка, промаявша-я всю жизнь в качестве служащего, почти безграмотная и едва ли умная, откуда она почерпнула все это. Поневоле напрашивается мысль, как мало, как низко ценили культуру народную и как высока она была.

Няня часто говорила о своей близкой смерти, мысль, что она может умереть, повергала меня в отчаяние, но она к смерти относилась не столь мрачно. На мои неоднократные вопросы о том, что ее ждет там, пыталась дать мне ответ в образной форме, и всякий раз получалось одно и то же — состояние, выраженное в васнецовском поясе.

Заветной мечтой няни было окончить свою жизнь в богадельне. Богадельня ей представлялась некоей промежуточной инстанцией между жизненной тяготой и васнецовским поясом.

Надвигающийся голод испугал мою няню, и она ушла от нас. К этому времени Прошка как-то устроился, по няниным представлениям, даже роскошно. Его очередная дама служила на папиросной фабрике и зарабатывала не только своей красотой, но и товаром куда более в те времена стоящим — продажей ворованного табака. Теперь Прошка зажил по-настоящему. У него появилась возможность завести себе служащего и одновременно отблагодарить старуху за ее прошлые о нем заботы. Бедная моя няня попала на эту удочку. Живя у Прошки, няня, когда могла, забегала навещать меня и неоднократно настойчиво звала к себе, по крайней наивности я не догадался, что няня просто хотела подкормить меня. Этот визит остался мне памятен на всю жизнь. В том возрасте я, конечно, не мог понять смысла ситуации, в которой очутился, и эта неразгаданность делала меня беспомощным. Ощущение внутренней нечистоплотности воздуха этой большой комнаты буквально раздавило меня. Там все было под стать: и фикусы, и герани, и огромная кровать, убранная, как невеста, кружевами и вышивками, и фотографии, веером висевшие на стене, и величаво покачивающаяся в качалке здоровенная, затянутая в корсет

блондинка, и черноусый, подмигивающий мне Прошка, как бы говорящий: «Ничего, не робей».

Бедная моя няня суетливо накрыла на столе завтрак, а мне словно спазмом сдавило горло, и я не смог до него даже дотронуться. Наврав что-то про свой желудок, я, к великому расстройству няни, сбежал.

Дома, как я ни старался рассказать родителям о своем визите, у меня ничего толкового не получилось, одни междометия, но папа все понял и, потрепав меня по голове, сказал: «Очень пользительные впечатления, такие познания в университете не получишь».

Скоро в семействе Прошки произошла пьяная баталия, и моя няня, искалеченная и избитая, была выгнана из дому. Отлежавшись у соседей, она пришла к нам и попросила устроить ее в богадельню. Как ни странно, маме удалось сделать это очень быстро. И заветная мечта няни была, казалось, осуществлена, но «мечта, как всякая мечта»¹, надула мою няню...

Глава II

В жизни моих родителей была довольно длительная полоса «материальных передрыг». Началась она задолго до моего рождения и более или менее пришла в норму около тринадцатого года.

Мне хорошо известна их фабула и та тяжелая атмосфера, в которой они проходили. Материальные средства моего отца состояли из небольшого, но достаточного капитала, помещенного в ценные бумаги и земли. На доходы с этого капитала и жили мои родители. Доход с земли был очень в те времена мал, особенно при заглазном хозяйствовании. Семья папиной сестры разорилась, ее муж, чтобы спасти положение, пустился в спекуляции, к которым он, русский интеллигент, был совсем не приспособлен. Понадобились деньги для того, чтобы как-то выкрутиться, и папа дал ему свое состояние. Естественно, что выкрутиться он не смог, и естественно, что состояние нашей семьи погибло. Оценить величину катастрофы можно было лишь во времени, а пока оставались в наличности только надежды. Жить же как-то было нужно: сесть на землю и заняться сельским хозяйством, но тогда — прощай скульптура, папа пойти на это не мог. Осталась возможность продажи земли. И началась постепенная продажа полтавской земли. Благо Запселье было не заложено и благо земля в тех местах стоила дорого, и не меньшим благом было то, что запсельская земля была разбросана по разным местам. К концу первого десятилетия нашего века Запселье было почти прожито. Что делать дальше, было неясно, с заработком по скульптуре у папы в те годы было совсем плохо. К этому времени у моих родителей единственным, и то не вполне реальным, имуществом было довольно большое имение в Полоцком уезде Витебской губернии под названием Адамполь. Неполная реальность этого имущества была в том, что формально оно принадлежало папиной сестре, а ее кредиторы могли на это имение наброситься. Нужно было как-то юридически грамотно и безопасно переводить Адамполь на имя его настоящего владельца, то есть моего отца. Это было сделано около тринадцатого года. Папа не заплатил проценты по банковской закладной, и Адамполь был пущен с торгов банком, где папа его и купил по цене закладной, сделанной для обеспечения заблаговременно на его имя. Нереальность была и в том, что сам Адамполь был совсем «не подарок», имение было основательно заложено, земля там скудная, леса смешанные, болота и озера.

Эти материальные передрыги были пережиты папой исключительно тяжело, настолько, что во времена самого лютого послереволюционного безденежья он при одном только воспоминании об этих давно уже бывших передрыгах дергался. Потеря после Октябрьской революции всякой имущественной базы, и Адамполя в частности, была воспринята им с полнейшим безразличием. Со словами: «Туда и дорога, давно пора». К слову сказать, в папином отношении к этому вопросу нет ничего оригинального. Я хорошо знал самых различных представителей этого сословья, как тех, для которых их земля была лишь источником материальных благ, так и тех, для которых этот источник был родным домом, знал я и таких, кто всю свою жизнь ухлопал на хозяйственные заботы. Все они потерю земли восприняли пассивно и как-то равнодушно, исключение составляли лишь редкие «зубры»-помещики, вышедшие из крестьян. Остальные же были людьми интеллигентными и к потере своих «бывших привилегий» относились как к чему-то давно предрешенному. Литературный советский миф об озлобленности на власть людей исконно помещичьего происхождения за то, что у них что-то отняли, — это классовая ограниченность, просто авторы этого мифа судили по себе. Нелюбовь к новой власти могла быть, но совсем по другим мотивам.

¹ А. Блок.

Возвращаясь ко времени, когда папа остался лицом к лицу с Адамполем, добавлю, что папа утешался лишь временным компромиссным решением. Жить мы будем там лишь летом. В хозяйственных делах папа не будет участвовать. Это целиком ложилось на плечи мамы и нашего управляющего. Часть адампольского дома приспособят под мастерскую, где папа будет лепить. Папа Адамполь не любил. Он давно уже соединил мысли о нем с мыслями о своем материальном разорении. Теперь же он согласился, живя в Адамполе, исполнять роль официального представителя. Он говорил: «В каждой уважаемой помещичьей семье есть всегда старший родственник на ролях официального главы. В действительности это «идиот в колясочке», при всяких официальных церемониях его вывозят, ему оказывают знаки уважения, а он должен всего лишь присутствовать и увозиться обратно. В хозяйственных делах Адамполя роль такого идиотика мне подходящая».

Земля в тех местах плоская. Огромные массивы почти нехоженых лесов прорезаны озерами. Поля, луга, много болот, бедные деревни, разоренные имения. Небо в тех местах кажется огромным, рисунок облаков — хрупким, постоянно изменчивым, чем-то похожим на перламутр. Глушь там в те времена была страшная, тишина мертвая; казалось, что ты на краю света или на дне морском. ■

К этим краям очень шли песни местных девушек, похожие на завывания, и вполне натуральный вой волков, под осень подходящих к самой усадьбе.

Отец, всей душой привязанный к горячо им любимой Малороссии, так никогда и не смог полюбить печальной и скудной природы Адамполя.

В большинстве нечерноземных губерний России земля давала мало дохода, на заведение какой-либо промышленности у большинства помещиков не было оборотного капитала. Они бились как рыба об лед, выкручивались как могли и наконец прогорали. Имения одно за другим продавались с аукциона за неуплату процентов по закладной. Отсюда частая в тех местах смена владельцев, отсюда и постепенное разорение имений. И отсюда же тот пестрый состав помещиков, совсем не похожий на культурную среду Полтавской губернии, среди которой вырос отец и которую считал своей родиной.

Большинство наших соседей по Адамполю были людьми неинтересными, скучными, а подчас и просто неинтеллигентными, погрязшими в тине жизни, озабоченными мелочными нуждами. Помню одного из таких, с пышной, видимо, местного происхождения, фамилией — Гедройц-Юрага, суетливого искательного поляка, с гонором и дурно воспитанного, настолько дурно, что это замечал даже я, маленький мальчик. Смутно помню и его поэтическую усадьбу, и дом с гнездом аиста на крыше.

Единственная семья, с которой мои родители поддерживали постоянные отношения, были наши соседи Глебовы. Глебов был типичным русским интеллигентом, служил в Витебске инспектором гимназии и только лето проводил с семьей в Домниках. Внешность Глебова была соответствующая, он был неизменно серьезен, на мясистом носу — пенсне с обязательным шнурком за ухо; костюм сидел мешком, а брюки напоминали гармошку.

Я хорошо помню домниковскую усадьбу, совершенно разваливающийся дом, окруженный остатками хозяйственных построек, и большой запущенный сад, сбегавший к реке. В самом доме было пустынно и по-интеллигентски безбытно. Хозяйева казались постояльцами, притулившимися как пришлось. Помню и обязательный в таких усадьбах зал с полусгнившими полами, и кучи яблок, наваленные по углам, а в окнах — красивый сумрачный сад. Была в этой усадьбе какая-то щемящая грусть, подобная той, что чувствуется в Кистеневке Дубровского. Трагедия, разыгравшаяся там, всегда ощущается мной как знакомая. Это неудивительно, так как подобных усадеб Пушкин видел немало, тем более что от описываемых мной мест до Михайловского не так далеко.

Не понимаю, как папа, такой чуткий и восприимчивый, не поддался редкому очарованию адампольской усадьбы. Думаю, что он просто боялся ее полюбить, твердо уверенный, что рано или поздно Адамполь постигнет участь Запселья, Морозовки, Таловой и других гнезд нашей семьи.

Построенная в самом начале девятнадцатого века, адампольская усадьба почти не подвергалась модернизации, только деревья поднялись выше, а постройки почернели от времени и глубже ушли в землю. Незатейливая и скромная, совсем небогатая, она, как случайный остаток другой эпохи, другой культуры, лежала забытая среди лесов и болот, на самом краю мира. Звучом онегинских строф, этого евангелия помещичьей культуры, был пропитан каждый ее уголок. Там было все, что дорого сердцу деревенского анахорета. Тенистый парк и широкие лужайки, маленький копанный прудик, густо заросший по краям, задумчивый и романтический, и яблоневый сад с корявыми, падающими от старости деревьями, с патриархальной полуразрушенной банькой, и гнезда аистов на вершинах огромных лип.

Раскинутая на сравнительно небольшой территории, она вся была обнесена тастоколом, может быть, единственным, сохранившимся до двадцатого века. Он

состоял из толстых кольев высотой не более семидесяти сантиметров и заостренных наверху. Были они вплотную пригнаны друг к другу и соединены врезанными в них шипами. В мои времена частокол этот почти весь сгнил и иструхлявился, накренился во все стороны, местами зиял пробоинами, серый до черноты, он покрыт был как корой пронзительно зеленым мхом и тонул в зарослях бурьяна. Удивительно вязался этот частокол со всем пейзажем усадьбы. Но особенно хорош он был в сочетании с липовым парком; его причудливые от времени, кривые, прерывистые зубчатые линии органически сливались с липовыми стволами деревьев и ослепительным золотом освещенной солнцем травы.

Парк в Адамполе был небольшой, разбитый по французской системе, то есть квадратами с лужайками посередине, его особенность была в том, что он разбит был двумя террасами на разных уровнях, террасы эти были соединены широкими замшелыми земляными ступенями.

Со стороны двора усадьба была окружена хозяйственными постройками, столь же старыми, как и все остальное, но еще крепкими и прочными. Далее шли избы «вспашиков» и колодец журавлем. Кончалась усадьба большим проточным прудом — сажилкой, заросшей корявым и заржавленным ольшаником, а еще дальше была низина и начинались заболоченные луга. Там по осени, когда начинался отлет, садились аисты и бросали последний взгляд на усадьбу, где провели лето, чтобы унести это воспоминание к подножиям пирамид.

Теперь, по прошествии стольких лет, я догадался, почему мои родители постоянно ругали адампольский дом. Просто этот дом был создан для совсем другой жизни. Для жизни людей другой эпохи, совсем непонятного нам уклада, и этой жизни дом вполне соответствовал. К тому же адампольский дом умудрился также не претерпеть почти никаких изменений за всю свою долгую жизнь. Устраивающий людей своей эпохи, он был немислимо неудобен, даже нелеп для людей двадцатого века.

Внешне адампольский дом был полностью лишен каких-либо элементов архитектуры как искусства. Фасадом он выходил на двор и был обсажен старыми березами, крыльцо поддерживали прямоугольные столбики-колонки, и если не считать, что окна были со ставнями и очень простыми наличниками, — вот, пожалуй, и вся его архитектура. Со стороны парка не было даже и этого, только окна там были гораздо больше да к дому была пристроена безобразившая его крытая веранда, впрочем, совсем простая. Веранда эта — единственная модернизация, которой подвергся адампольский дом в шестидесятые годы.

Комнат в доме было мало, и в то же время они были непомерно велики, все, кроме одной, проходные. Причем дом был так хитро спланирован, что изменить что-либо было нельзя, не перестраивая всего дома. Очевидно, что функции комнат в начале прошлого века были совсем иными. В нашем смысле в адампольском доме просто негде было жить. Удивляли и названия комнат, в особенности при их малом количестве. Так, единственная не проходная называлась девичья, далее следовали людская, зал, садовая гостиная, комната с аркой и так далее, все в таком же отвлеченном роде.

Обстановка и вещи, наполнявшие дом, были сбором всех частей и всех мастей, геологическим напластованием быта за срок более чем в столетие. Здесь так или иначе присутствовали все стили, бытовавшие за этот период, и надо признаться, что не лучшими представителями. К тому же все это были инвалиды, по их травмам можно было догадываться об их прошлом и косвенно о жизни людей, чьими спутниками они были. Из всего этого барахла резко выделялись лишь вещи из запсельского дома, попавшие сложным путем и в разное время в Адамполь. На них лежала печать иной, более высокой культуры. В целом стиль адампольской обстановки отражал безразличие к художественной стороне быта — характерную черту конца девятнадцатого века.

Адампольская усадьба была создана любовью и культурой, то есть извечными создателями всякого искусства. Если в наше время спланировать и разбить красивый парк могут лишь исключительно одаренные люди, единицы-профессионалы, которых мы пышно называем художниками, то уж такова была особенность начала прошлого века, что это было доступно обыкновенным людям, даже не догадывавшимся о том, что их деятельностью руководит Аполлон.

Мне не чуждо стремление моих современников бежать от тяготы жизни за подкреплением «домой». Родной дом мы все находим в нашем прошлом. Говоря словами Б. Пастернака, это ангар, в который мы залетаем за бензином. Мой родной дом — в воспоминаниях об адампольской усадьбе, о дорожках парка, о солнечной мгле московской мастерской отца.

Наши родные дома существуют лишь в нашем воображении. Не приведи Бог кого-нибудь посетить эти места в действительности. Собственно, это лучшее средство потерять их окончательно и навсегда. Они живут в нашем воображении как зачарованные замки, в которых входы заросли крапивой и лопухами, а внутри все так же

неизменно дремлет в ожидании нас. В действительности все будет иначе: ни лопухов, ни крапивы нет и нет вообще ничего. Мы увидим, что этот пустынный мир не имеет к нам никакого отношения, одухотворить его заново мы не в силах. Наше собственное равнодушие поразит нас неизмеримо больше, чем то, что мы увидим. На счастье, жизнь застраховала меня от этой возможности: теперь, более чем через полвека, я случайно узнал, что на территории адампольской усадьбы выросло местечко в полторы тысячи дворов, что на месте старого дома стоит кирпичный двухэтажный клуб, что парка нет; вместо него там раскинулись больничные корпуса, и среди них одиноко доживают жизнь несколько никому не нужных старых корявых лип.

Глава III

Время отъезда в Адамполь возвещали мне голоса кур, которые вдруг, когда солнце все ярче и бесшабашнее начинало заливать огромные окна нашей столовой, начинали слышаться с-улицы. Неслись эти голоса из Кривоникольского переуллка, из дворика при доме отца Алексея или из соседней с ним совсем крохотной лачуги просвирни, неслись они навстречу солнцу и лету. И в моем воображении сразу вставали березы со свежими ярко-зелеными листьями, разбросанными по голубому небу, и черные поезда, уходящие в синюю даль. То, что время неуклонно движется к отъезду, можно было заметить и раньше по участившейся переписке мамы прежде всего с нашим управляющим Индриком Индриковичем Сальменом. В письмах давались распоряжения по подготовке к нашему приезду. Также необходимо было узнать, нет ли в окрестных деревнях или в самом Адамполе заразных болезней или эпидемий, грозящих моей особе. А так как ближайший доктор был лишь в Полоцке, то есть за двадцать пять верст, приходилось беспокоить местного священника, единственную, так сказать, культурную единицу в округе, могущую быть в курсе этих дел. Но мамина эпистолярная деятельность возбудила лишь рациональную сторону моего сознания, а слышавшийся в городском шуме куриный гомон действовал непосредственно через воображение; уловив его звуки, я знал, что отъезд уже начался, что я уже не совсем здесь и еще не совсем в Адамполе.

Покидая какую-либо местность ради другой, мы живем в этой другой в воображении, практически же мы теперь нигде не живем. Мир для нас теперь становится зыбким, а мы сами невесомыми. Нет никакой возможности сосредоточить внимание на окружающем, так как мы здесь сталкиваемся с тем, что оно теперь неуловимо и не до конца реально. Таким образом, уезжая, унести его мы можем лишь отчасти, и то в абстрагированном виде. Эта невозможность наглядеться на мир, который мы покидаем, запечатлеть его и оставить этим способом при себе делает его вдруг единственным и неповторимым. Слишком поздно мы узнаем, что расстались мы навсегда, меняются обстоятельства, меняемся мы, меняется то, с чем мы расстались. Если нам суждено опять встретиться, окажется, что мы встретились лишь со старым названием, которое надо заново обжить.

С каждым днем предотъездные признаки учащались. Мама делала закупки. Покупались подарки разным лицам: управляющему и его семье, прислуге и даже тем работникам, с которыми более часто соприкасались. Дальше покупались новые предметы обихода: скатерти, занавески, столовая посуда, которой в Адамполе и без того некуда было девать. Словом, многое чего покупалось. Кофе поручали покупать нам с няней. Покупать его полагалось на Арбате, в магазине Ретере. Магазин был совсем маленький, плоскость дома, им занятая, была закована как в броню черными зеркальными вывесками, на которых округлым росчерком было золотом написано удивительное слово «Ретере». Из этой черной оправы глядели витрина и дверь, на их стекле тоже была надпись и тоже золотом, только сверкавшая не на черном фоне, а как бы парившая над таинственным сумраком недр самого магазина. Войдя в двери, вы оказывались в этом сумраке, и был этот сумрак темно-коричневым, а в глубине глухо поблескивал тем же червонным золотом. В магазине была тишина; покупателей я там не помню, тишина была наполнена тончайшими ароматами, пряными и бодрящими, ароматами сказочных стран.

Мы должны были попросить, чтобы нам сделали смесь, которую всегда для нас делают, и назвать свою фамилию. Мне казалось очень странным, что эти люди, с таким достоинством бесшумно скользящие в своем благоухающем сумраке, встречавшие нас столь любезно, люди, которые могут жить в этом удивительном мире, занятые таким значительным делом, знали не только нашу фамилию, но знали даже, какой кофе пьют по утрам мои родители. Они не только знали это, но по первой нашей просьбе бесшумно и снисходительно делали мудреное дело — готовили смесь сортов, названия которых состояли из слов удивительных. Мокко, менадо, бурбон и ливанский — я запомнил их на всю жизнь, как строчку гексаметра.

Фирма «Ретере» была старинная и очень солидная. То, что там продавалось, было всегда самого высшего качества. Ретере не гонялся за модой, он был верен торговому

идеалам своей молодости, идеалам времени дилижансов, времен мистера Пиквика, и знал, что на Арбате единомышленники найдутся и придут к нему. В магазине Ретере не было ничего от легкомыслия Каде, от улыбочивости Сиу, от довольства и радости магазина Эйнама, его элегантность была старомодна, строга и корректна. Магазин Ретере был подобен экс-королю, проживающему на модном курорте; его благосклонная полуулыбка была чем-то надежнее демонстративной любезности президента республики.

Едва ли кофе у Форштрема был хуже, но природные москвичи, жившие в приарбатских переулках и знавшие толк в жизни, шли к Ретере, проявляя, таким образом, не только консерватизм, но и свою любовь к основательности. Совершенно невозможно было думать, что кофе, который мы там покупали, привозили в Москву каким-либо обычным и будничным способом. Нет, его добывали черные рабы на плантациях, его тащили на себе в караванах по пустыне слоны и верблюды, его везли в трюмах парусных бригов и корветов, бороздивших воды всех океанов под командой отчаянных негодяев, на судах, зафрахтованных отнюдь не купцом, а негодяином господином Ретере для того, чтобы мы могли унести это благоуханное чудо домой в солидном свертке, обернутом в плотную коричневую бумагу и перевязанном накрест золотой шнуровкой.

Мама долгих сборов не любила: укладывалась в один день, и к вечеру прислуга сдавала все это в багаж. Таким образом, мы ехали уже налегке. В день отъезда распорядок жизни почти не менялся. Мама уходила проститься со своими в Столовый переулок и возвращалась незадолго до обеда. Еще до обеда мама извлекала из гардероба свой дорожный несессер, без которого мы никуда не ездили, и проверяла его боевую готовность. Боковая стенка у него откидывалась, и на ее внутренней поверхности, обитой красным бархатом, затянутые кожаными поясами, лежали хрустальные, в серебре флаконы. Мама наполняла флаконы, распечатывала мыло и прочее и затем открывала среднее отделение. Подобное висящему в воздухе бархатному мешку, обычно оно было пусто; если опустить туда руку, казалось, что погружаешься в бархатную пену. Туда мама отправляла носовой платок, полотенце и дежурный том английского романа.

В бездомье пути несессер был как бы представителем дома, миниатюрным домашним очагом, взятым с собой в дорогу. Он дарил нас радостями, которые по первому взгляду кажутся слишком обыкновенными и незатейливыми, однако в условиях дороги эти радости выглядят совсем иначе. Оторванный от привычных условий, совершая полет в неизвестное, пролетая под грохот вагонов мимо новых и новых миров, я испытывал острое чувство счастья, когда мама, открыв несессер, сияющий бархатом, хрусталем, серебром, и смочив одеколоном платок, вытирала мое запыхавшееся лицо.

Мамин несессер хранил память о чудных странах, в которых ему довелось побывать и которых я никогда не видел и никогда уже не увижу.

Этот несессер так сжился с нашими поездками, что зависимость казалась обратной, казалось, что надо только взяться за его ручку — и чудо случится. И не раз в жизни в хмурые и нудные дни, будучи уже почти взрослым человеком, я просил у мамы разрешения потрогать ручку несессера, делал это со страхом и надеждой. С годами я стал умнее, опытнее, иными словами, бездарнее.

Экипаж, поезд, самолет сменяют друг друга, появляются новые скорости, вместе с этим эволюционирует понятие красоты наших дорожных спутников. Теперь, пожалуй, и я начинаю понимать, что он нескладен, этот несессер, а все же, разматывая седьмой десяток, я нет-нет и провожу рукой по его коже. И моим сыновьям не понять, что вижу я в нем. Для них он лишь старая каракатица, предмет давнишней sentimentalной привязанности беззубого старика.

В день нашего отъезда обед проходил почти незаметно, чай подавали раньше обычного. В этот час наша столовая была вся в пятнах закатного солнца. Пятна горели и искрились на накрытом столе, на синем озорном трактирном храпуновском сервизе. Золото на чашках полыхало, темным огнем горел налитый в них чай. Этому световому спектаклю вторила приподнятость последнего перед отъездом московского чаепития и мамино оживление. Время отъезда наступало мгновенно; няня в детской надевала на меня пальто и на голову полосатый чулок с кисточкой, застегивала у горла пуговицу, и мы выходили в переднюю. Там, сложив руки на животе под фартуком, стояла идолицем Катерина в окружении такс. Выходила мама с несессером, в пальто, в голубой соломенной широкополой шляпе, отделанной искусственными цветами, с лицом, закрытым густой белой вуалью, повязанной на шляпке так, что кружевные концы ее, свисавшие вниз, ежесекундно меняли положение и как бы трепетали. И так же трепетали камушки на наконечнике булавки, закалывавшей мамину шляпу. Голубой, неправильной формы сапфир, из-под которого выступали два листика из мелких бриллиантов. Камушки эти, приспособившись к обстоятельствам света, вдруг вспыхивали и тогда становились похожи на стрекозу, засверкавшую

на солнце. Мама давала Катерине последние наставления. Наконец появлялся папа, он тоже очень элегантен, высокий крахмальный воротничок подпирает лицо, усы закручены вверх, он в шляпе, в руках — чемодан и трость. Мама целуется с Катериной, и мы отбываем. Отбываем под полнейшую безучастность Катерины и такс, остающихся в Москве.

По улице мы шествуем так. Впереди, значительно обогнав нас, шел большими шагами папа, далее мы с мамой, шестые замыкала поджавшая губы няня с крохотным узелком в руках. Вспомнив о нашем существовании, папа внезапно останавливался, упирался тростью в тротуар и со смехом смотрел на поспешающее за ним семейство. Остановка трамвая была на противоположной стороне Арбата. Семнадцатый номер вылетал из сумерек с грохотом, огнями и звоном и как вкопанный останавливался перед нами. Мы — в сверкающем, праздничном, почти полупустом вагоне. Я сижу впереди у окна, на коленях у меня несессер, я держу его волшебную ручку, и все, как всегда, сбывается. Мы со звоном и скрежетом летим по Арбату. Освещенные огнями витрины знакомых магазинов бегут нам навстречу и вот уже остаются позади. В свете витрин, в огнях фонарей, в светлых весенних сумерках движутся прохожие. Мы летим навстречу одним и с тыла догоняем других, но и те и другие, едва показавшись, остаются позади. Мы грохочем по Арбатской площади. Вот дом с колоннами и фигурами эскулапов, запирающий площадь, это Келлер, но мы поворачиваем налево, к церкви Бориса и Глеба, и, взвизгнув на завороте, со звоном устремляемся на Воздвиженку.

Этот призрачный весенний вечер, в котором все того и гляди растает и растворится, выманил эти многоликие толпы прохожих. Но они заняты отнюдь не им; он лишь река, по которой они текут. Каждый из них в отдельности несет свой единственный и неповторимый мир; в нем-то и заложен секрет, определяющий не только направление, но и цель движения его обладателя. Эти миры непроницаемы и таинственны, и лишь когда из сгущающихся сумерек выплеснется отдельный жест, фраза или выкрик, тогда на мгновение образуется как бы брешь, лазейка, которой пользуется моя бесперомонная любознательность.

Городские чахлые липы еще не успели по-летнему пропылиться. Их зелень в искусственном свете вечерней улицы лишь угадывается. Виден трепет их листьев, утопающих в уже черном, как деготь, воздухе. Значит, мы проезжаем уже Мещанскую, видны силуэты казенных громад Крестовских башен, но мы заворачиваем налево вокруг жидкого скверика и останавливаемся у вокзала Виндаво-Рыбинской железной дороги.

Наконец мы в поезде, в купе международного вагона первого класса, самого совершенного, самого гениального создания музыки дальних странствий. Я не берусь о нем говорить, в нем все поэзия, начиная от него самого, нарядного, удобного, горящего яркими огнями, и кончая его ритмическим полетом через мохнатые леса, прозрачные березняки, солнечные луга, реки, пашни и через непроглядную ночь.

Я лежу под одеялом, голова моя на подушке, за подушкой у наружной стены — несессер, поезд летит и поет свою песню. Сейчас вся задача в том, чтобы как можно дольше не заснуть. Но я успеваю только отметить, как черная ночь за окном, через которую мы пролетаем, внезапно вспыхивает огнями освещенной словно для бала станции и как снова за окном наступает черная тьма. Слышу мамин веселый голос и немедленно и неотвратно засыпаю.

Проснувшись утром, мы оказываемся уже в другом мире. Спокойнее и величавее разворачивались бегущие за окном леса и просторы, спокойнее и величавее стояли в небе застывшие облака. Субстанция извечная и безгрешная вставала перед нами. Суета мира оставалась позади.

В городе Великие Луки мы должны были пересаживаться на другой поезд, идущий по линии Бологое Седлицкой железной дороги. Здесь на дощатой платформе мы окунались в лоскутно-тряпичную бестолковую сутолоку и находили защиту от нее лишь в привокзальном буфете. В разные годы долготы нашего пребывания на великолукском вокзале была различна, но так или иначе она была лишь эпизодом, и скоро мы снова были в поезде. Мы опять покоряли пространства, но в смысле вагона это было уже как случится: международных на этом направлении не было, было, конечно, неплохо, но обычно. Ехать оставалось уже недолго, сколько помню, пять-шесть часов.

Поезд трусил, отклоняясь все дальше и дальше на северо-запад. Паровоз победоносно гудел над мирной землей, временами зачем-то восторженно фыркал, колеса стучали по рельсам, но так же неотвратно бежало и время. Наконец появлялись названия станций, от звука которых учащалось биение сердца. Они врублены в меня топором, я помню их тоже как строчку: Невель, Опухлики, Дретунь и Полота. И где-то здесь вдруг, среди этих названий, среди самых обыкновенных лесов и полей, без всяких причин, просто так, ни с чего, без предупреждений лежало как брошенное

великаном белое полотенце — красавец озеро. Появление его на нашем пути означало, что мы въезжаем в озерный край и что скоро мы будем дома.

После станции Дретунь мы были уже наизготовке. Беспокойство овладевало нами. Мама опускала вуаль, брала несессер, протягивала мне руку, и мы выходили в тамбур.

По-видимому, мы часто ездили в последнем вагоне, так как заднее окно тамбура я помню перед собой. Именно в нем я видел, как среди влажной травы лугов вдаль убегали рельсы, как, соблюдая равные интервалы, лежали среди зелени сложенные на лето, как картонные домики, лиловые железнодорожные заградительные щиты, как дрожали, растворяясь в синей влажной вуали, леса, луга и бесконечные дали и как среди них сверкали огромные озера. В них лежало опрокинутое навзничь небо, в их лишь слегка подсиненной глади клубились розовые облака. Небесная благодать зримо сходила на землю, и от этого, как бы перекувырнувшись, небо и земля менялись местами. А среди этого не то неба, не то земли бурно и весело несся наш поезд и от избытка счастья беспричинно гудел.

Наконец, устыдившись собственной резвости, важно и зло фыркая, еще громче и протяжнее выл, осаживал скорость, чтобы затем торжественно и точно остановиться у платформы станции Полота.

Нас встречает управляющий Индрик в пиджаке и при галстукке, по жилету — цепочка часов, на нерусском бритом лице — пики усов, он, как всегда, сдержан. Вижу знакомые лица адампольских мужиков, колдующих в багажном цейхгаузе. С той стороны станции — площадь, такая же, как и все в России, и почти такими же они остались до сих пор. Там у коновязи стоят наши лошади. Рыжий Колька, наш любимец, косится своим гениальным агатовым глазом, пристыжая, серая в яблоках, изогнув шею, осторожно и нетерпеливо роет копытом землю. Роль экипажа выполняла у нас бричка конструкции допотопной. Разболтанная и нелепая, она честно выполняла свои несложные функции, а большего нам и не нужно было. До дому было всего лишь восемь верст. Застоявшиеся лошади бежали дружно, Индрик сидел за кучера, подбадривал их, бричка лягала и позванивала на ухабах.

Как зачарованный я глядел на бегущую из-под копыт лошадей дорогу, на огромное перламутровое небо и вдыхал сладостный запах лошадиного пота, кожи и дегтя, растворенный в воздухе деревенских просторов. Бежали дороги, речонки, переброшенные через них полусгнившие бревенчатые мостики, перелески, овраги, луга и поля; мы все глубже и глубже въезжали в глушь российского захолустья.

Мама расспрашивала Индрика, хорошо ли у нас взойшли яровые, как овес и что со скотом.

Папа сидел отчужденно, положив руки и подбородок на трость, покусывая ус, внимательно и неотрывно смотрел вдаль.

Постепенно дорога становилась ровнее и сквозь жидкий ольшаник уходила в большой казенный лес. Здесь не слышно цокота лошадиных копыт, не скрипит и не лязгает бричка, мы едем как по ковру. Мхи и старая хвоя мягко застлали здесь землю. Лес пронизан прозрачным полусветом. Мачтовые великаны, дико заломив красные лапы, легко несут в небо свои равнодушные кроны.

Соборный полусвет кончается внезапно, и мы снова в безжалостном свете дня. Бричка, миновав поле, въезжает в деревню. В этот час она безлюдна, как вымершая, только где-нибудь на задах в огороде мелькнет выцветшая баба кофта. Зато собаки, давясь и хрюпя остервенелым лаем, кидаются на бричку из всех подворотен. Осатанело захлебываясь от злости, они сопровождают нас, но стоит только выехать из деревни, они, мгновенно замолчав, как ни в чем не бывало бегут домой.

Дорога поднимается и заворачивает, мы на песчаном бугре. Это уже Адамполь. Пахота, справа очерченная узенькой ленточкой леса, спускается к заболоченным лугам, за которыми ярусами поднимаются амфитеатры далеких лесов; они громоздятся друг на друга, синеют и сливаются с небом, а левее встают зеленые кроны лип и серебрятся крыши строений: это усадьба.

На дороге — разномастная, разношерстная стайка адампольских псов. Как узнали они о нашем приезде? Они уже давно заняли этот форпост на дороге и глядят на песчаный бугор, из-за которого мы должны показаться. Наконец узнаны лошади, узнан Индрик, узнаны мы. И удалая ватага с восторженным визгом и лаем летит нам навстречу. Папа помогает какому-нибудь счастливцу впрыгнуть на ходу в бричку. И здоровенный псина в объятиях отца. Его восторг безграничен; он вылизывает физиономию и мне и папе, защищающему лишь шляпу. Мама, хорошо зная, что ее вмешательство впечатления не произведет, все же говорит для порядка: «Да перестаньте же, а то эти мерзавцы совсем обнаглеют».

Тем временем мы заворачиваем во двор и останавливаемся перед покосившимися колонками облупленного крыльца. Пока происходит церемония встречи с прислугой, собаки берут меня в оборот. Те, что поменьше ростом, стараются допрыгнуть до моего носа, а кто покрупнее, кладет передние лапы на плечи и старательно и властно

вылизывает мне уши и глаза. Наконец нянька уводит меня от собак в дом, куда им вход нерушимо заказан, — это уступка маме. Няня переодевает меня во все чистое, чтобы ни единой дорожной пылинки на мне не осталось. Тем временем привозят багаж, в дом втаскивают чемоданы и сундуки, идет обычная суета приезда, меня она не касается, я пробегаю насквозь весь дом, за зиму мы отвыкли друг от друга. Он кажется нежилым и холодным. Через гостиную, через террасу, пересекая палисадник, я бегу в парк, спускаюсь по замшелым его земляным ступенькам, чтобы одуреть от запаха ландышей, в изобилии растущих подле черных стволов, ощутить его вечернюю синеву, его сырую прохладу и оглохнуть от абсолютной его тишины. Дома в столовой из-под белого колпака висячей керосиновой лампы льется свет на накрытый для ужина стол. Я сразу слепну от его белизны. Мы ужинаем, на столе самовар, окна настежь открыты, за ними темно. Вдруг папа настораживается: «Тише», — мы замолкаем и прислушиваемся. В парке поют соловьи.

Я погружаюсь в кисею сна, кисея растет и ширится, из нее начинает что-то лепиться, но что — не понять. Потом она вдруг обрывается, я в своей детской, в кровати. У окна на столе горит свечка и тепло освещает няню в синей кофточке, в белом кружевном переднике, такую нарядную. Она шьет за столом, а за ней на черном окне тюлевая в белых точках занавеска. Мерцают зажженные лампы, мерцают ризы икон.

Кисея опять обволакивает меня; окончательно же я просыпаюсь, когда солнечный свет уже водопадами льется сквозь мелкие листья старых берез, растущих за моим окном.

Глава IV

Вскоре после моего появления на свет семья наша переселилась в маленький домик в Большом Толстовском переулке, против того же круглого спасо-песковского скверика.

Собственно, это была целая усадьба, в которой стояли два крохотных деревянных дома: в одном жила их хозяйка Варвара Михайловна Базилович-Коробкевич, а в другом поселились мы. Усадьба была типично старомосковская, с маленьким садиком, необходимыми когда-то дворовыми постройками, конюшней, каретным сараем, дровяным, просто сараем, просто погребом и специальным винным погребом. Словом, там была масса совершенно уже не нужного «сервиса», не было только электричества, водопровода и ватерклозета. Электричество заменялось керосиновыми лампами, водопровод — водовозом, каждое утро привозившим бочку воды, что касается клозета, то был он примитивным, как во всех старых московских особняках. Внутри дом был прелестный, с анфиладой комнат, голландскими кафельными печами и тем уютом, который бывает лишь в основательно, на века построенных деревянных домах. Моя память сохранила на редкость ранние воспоминания. Отрывочно я помню себя с двух лет. Хорошо помню и милый особнячок, тем более что уехали мы оттуда, когда мне было уже четыре года. Отсутствие комфорта меня не касалось, зато я, часами сидя у окна, любовался уличной жизнью, ломовыми извозчиками, их величественными звероподобными першеронами в кожаной сбруе, украшенной блестящими медными бляшками, и слушал, как гремели железные ободья колес о булыжную мостовую. Зато я пил чай с вареньем, сидя на коленях Варвары Михайловны, за круглым деревянным столом в тенистом саду, в нескольких шагах от Арбата, того самого Арбата, который в девятьсот десятом году показался Льву Толстому Вавилоном.

Строительная горячка начала века меняла облик приарбатя. Гибли одна за другой без разбору старые и старинные усадьбы, усадьбы с облупленными домишками и с импозантными ампириными особняками, а на их месте выросли многоэтажные доходные дома с разномастными и разностильными фасадами. Капиталы, помещенные в домостроительство, давали очень высокий процент. От этого земля в центральных районах города поднялась в цене. Теперь Варваре Михайловне не было никакого смысла держаться за свои домики. Осенью она предупредила об этом моих родителей. Хотя торопиться было некуда, продажа могла состояться не раньше чем через год или два, однако родители воспользовались подвернувшейся возможностью, и мы в конце тринадцатого года переехали на новую квартиру в Серебряном переулке.

В Москве специальных мастерских для художников, а особенно для скульпторов, было очень мало. Мастерская отца до сих пор помещалась в доме Малевич-Малевских, отдельно от нашего жилья, это создавало целый ряд неудобств. Теперь представилась возможность не только иметь очень большую мастерскую, но еще и объединенную с квартирой. Сосватал все это моим родителям М. С. Шибаев.

В расставании трех кварталов от нашего особняка была частная больница хирурга Сергея Михайловича Руднева. Рядом с больницей Руднев выстроил очень шикарный доходный дом. Столь буржуазно великолепных домов в Москве было

совсем немного. Сверкающий зеркальными стеклами ресторанный типа подъезд. Далее шло огромное антре, в котором стоял торжественный швейцар в зеленой с золотыми галунами ливрее. Пологая широченная и тишайшая лестница на каждом марше освещалась большими венецианскими модернистскими окнами. Квартиры там были огромные, площадью около четырехсот метров. В них жили люди настолько богатые, что могли бы иметь собственные хорошие особняки, но почему-то предпочитали их не иметь. Все это были известности московского финансового мира. Доктор-ларинголог А. А. Лосев среди обитателей нашего дома был единственным интеллигентным человеком.

Последний, пятый этаж этого дома представлял из себя странную картину. Огромная четырехсотметровая площадь его была ничем не разгорожена и опоясана по всем сторонам дома сплошным рядом окон. Окна не имели простенков и начинались на высоте двух метров от пола, сами же они были около трех метров в высоту. Руднев рассказывал, что этаж этот явился следствием внезапного психического заболевания архитектора Кекушева, создавшего эту нелепицу. Достоверно ли это, не знаю. Из этого помещения Руднев своим разумением с помощью подрядчика выкроил мастерскую и подсобные при ней помещения для Шibaева. Из него же была выкроена шестидесятиметровая мастерская для моего отца и при ней пятикомнатная квартира. Была она очень странная, с огромными коридорами, закоулками, разными темными помещениями неопределенного назначения. Выходила она на восток, юг и запад и всегда была залита светом и солнцем, а ночью по ней разбегались лунные дорожки. Но из комнат ничего, кроме неба да бегущих по нему облаков, нельзя было увидеть. Для того, чтобы убедиться, что ты не совсем оторван от земли и не плывешь непрерывно в неведомое, взрослым надо было просто подняться на какое-нибудь возвышение, например на стул, а детям вроде меня залезть на стремянку.

В этой квартире мой отец прожил до самой смерти, здесь прошли двадцать шесть лет, пожалуй, самых значительных в его жизни. Я прожил в ней более сорока лет, и немалый образ, который принимала по временам жизнь, прошел для меня больше всего именно в декорации тех мест. Но жизнь местности не бесконечна. Содержание, лишенное преемственности, гибнет, душа улетучивается, а оболочка от времени портится, разрушается и наконец вытесняется. Местность умирает, став чем-то совсем иным. Более двадцати лет отделяет меня от жизни в тех местах. Как мне сейчас назвать свое чувство по отношению к ним? Не знаю. Но сожалением это назвать нельзя. Лично для меня эти места изжиты, и с излишком. Смерть древнего парализованного старика — это только наведение элементарного порядка в мире, юридическая констатация давно свершившегося факта. Несмотря на кажущуюся нереальность времени, его убойная сила превосходит все наши представления и сравнима лишь с тем, что является следствием, то есть с Божественной мудростью.

Возвращаясь к описанию нашей квартиры, следует сказать, что, поднявшись на возвышение и взглянув в окно, можно было увидеть немалые конфигурации бесконечных крыш, заваленных снегом, провалы запущенных дворов, церкви, бесчисленные дома и домишки приарбатя и над всем как знамена — фиолетовые дымки из труб.

Когда же наступало тепло, папа открывал огромную воротину одного из окон мастерской и на железный метровый по ширине карниз за окном выносил ящик. Там он сидел после работы иногда часами, курил, покусывал ус и смотрел по сторонам. Из пропасти вставало приарбатяе. Среди горных кражей железных крыш, среди отвесных обвалов многоэтажных зданий за особняками, как вода в низинах, широко разливалась зеленая листва садов. Там и сям сияли маковки церквей, в небо тянулись островерхие колокольни, а из низкого густого рокота города, из бесчисленных дворов вырывались как всплески тонкие пронзительные мальчишеские голоса.

Это и было приарбатяе, и отсюда оно было как на ладони. С севера его ограничивали карнизы и крыши Никитской. С запада — скрытые за домами бульвары Садовой. Несколько южнее — синяя дымка заречных далей, самую реку на юге заслоняли высокие дома близ Остоженки, а сзади на востоке местность ограничивал Кремль.

По самому Арбату от Смоленского стояли чтимые москвичами церкви: Святой Троицы, Николы Плотника, Спаса на Песках, Николы на Песках, Николы Явленого. На Арбатской площади — преподобного Тихона и церковь Бориса и Глеба. А дальше по переулкам церкви шли в глубь приарбатяе. На Молчановке — Никола на курьих ножках, Бориса и Глеба на Поварской, дальше Ржевской Божьей Матери, у Никитских ворот церковь Федора Студита, и местность замыкалась здесь Большим Вознесением. К востоку находился Никитский монастырь, далее церкви Воздвижения, Знамения, Антипия, церковь бывшего Алексеевского монастыря, на гранитных террасах-садах стоял грандиозный, на всю Москву сверкавший золотым куполом храм Христа Спасителя и вдали — церковь Ильи Пророка, Пречистенский, Зачатьевский монастыри, церковь Успения на могильцах, Иоанна Предтечи в Староко-

нюшенном, церковь Власия и много, много других, не только уничтоженных и разрушенных, но даже и мной, очевидно, позабытых.

Красавица колокольня шестнадцатого века церкви Николая Явленного выходила прямо на Арбат. Между пузатых ее полуколонок был большой образ Николая Угодника — Спасителя на водах. Неугасимая лампада горела перед ним. Там, прислонившись к каменной стене постоянно стоял нищий, бывший солдат с какой-то медалью на шее. По-античному правильная русоволосая, русобородая голова его поражала своей красотой. Зеленые русалочки пьяные глаза смотрели ласково и внимательно. В первые годы революции солдата не стало но вдохновенный лик святого Николая не оставлял своей молитвой глохнущую жизнь Арбата. И не раз одичавшие, загнанные ополоумевшие люди обращались теперь к нему за заступничеством. И очень часто это были именно те люди которые всего несколько лет назад и перекреститься на улице считали чем-то ненужным. Что-то пророческое было и в этом образе, и в том, что находился он в самой середине Арбата. Глубоко символично что в начале тридцатых годов не стало ни этого образа ни самой красавицы колокольни.

В России не найти больше города с местностью так многогранно связанной с культурной жизнью страны за последние два столетия. Бессмысленно повторять знаменитые и замечательные имена тех, кто жил там или тяготел к приарбатью, это все равно что переписывать телефонную книгу. Вдобавок к этому русская литература увеличила народонаселение милого ее сердцу приарбатья, заселив его своими вымыслами.

На Арбате тени наслоились на тени так, что он стал общежитием теней общежитием в котором во времена моего детства и юности жили духовные потомки этих теней вполне реальные люди ныне ставшие тоже невесомыми тенями. Но тенями стали не только люди тенью стала и жизнь старого Арбата его улиц и переулков, дворов садов церковей квартир особняков, магазинов, лавчонок. Тенью стал даже грудной сердечный голос его островерхих колоколен.

Арбат тех лет встает передо мной в пестряди вывесок, с разьеженными колеями заснеженной мостовой, когда великаны першероны везут гигантские полозья с поклажей, и их возница в черноовчинном тулупе возвышается над ними подобно своему античному прототипу. Этот огромный черный монумент стоит в скользящих санях, он больше домов, больше улицы. И пурпурно-оранжевый диск холодного зимнего солнца, закатываясь в низину Дорогомиллова, кажется котомкой, заброшенной за спину угольно-черного героя.

Когда наступают ранние зимние сумерки, в маленьком церковном саду у Спаса на Песках тени на огромных сутробах синеют, а на снегу появляется темно-розовый отсвет. Уходящие в небо стволы лип становятся черно-красными их бесчисленные тонкие ветви чернеют, а небо по которому они разбросаны становится дном огромной раковины. В окнах домов уже зажигаются огни. Вечерняя грусть уже спустилась на землю. В зарешеченном церковном окне угадывается теплая коричневая глубина и в ней — золотой огонек неугасимой лампады.

Глава V

Утром летнего дня четырнадцатого года за окном одной из комнат адампольского дома возникла клокастая голова одного из наших лесников. Свежих газет в доме не было, и призывная повестка в руках пришедшего попрощаться лесника заменила моим родителям газетные сообщения. Голова лесника рисовалась на кружевном фоне березовых листьев, утреннее солнце продираясь сквозь них, окружило его волосатую голову ореолом. Таким образом, первая в моей жизни историческая дата имела весьма выразительное обличье.

Как я теперь понимаю война четырнадцатого года прошла не только мимо нашей семьи но и мимо того круга людей, в котором мы жили. Правда знакомые молодые люди, вчерашние студенты, наряженные в военную форму и украшенные погонами подпрапорщиков, уходили на фронт, но убитых среди них было не так много.

В том круге людей, с которым я как-то соприкасался к исходу войны относился индифферентно, никаких патриотических разговоров я не помню. Вероятно сказанное относится к большинству представителей верхушечного слоя русской интеллигенции. Словом, будущему историку будет над чем посмеяться.

Где-то уже в конце войны в Адамполь приехал в отпуск нянькин Прошка. Он был обуглен войной, словно приехал из адаво пекла. Ночевал в бане а днями воровато кружил по округе. Нянька пыталась узнать у него как ему там живется он только руюко отмахнулся — отвяжись, дескать.

Няня войну переживала по-своему. В ее понимании была для меня большая глубинность. Она переживала ее как общенародное страдание. Было в этом что-то древнее, инстинктивное и для нашей земли справедливое.

В Адамполе мы с няней, если погода позволяла, ежедневно под вечер совершали ритуальную прогулку в сторону войны. Няня точно определила, что война находится на западе, и мы шли в направлении песчаного бугра, скрывавшего ближнюю деревню, четко рисовавшегося на фоне закатного неба. Шли по утоптанной дороге с глубоко прорезанными колеями, очерченными кипами подорожников. По краям дороги среди зарослей мяты поднимались кружевные лепестки полевых рябинок, точнее говоря, пижмы, с добротной желтизной своих плюшек-цветов. И я твердо знал, что там, в небе, за всем этим, — война, там то пекло, которое обугливает людей. Доказательством этому была светящаяся сукровица на небе, на которой застыла раздрызганная серебристая пена облаков.

В Москве каждый год в конце декабря мы с няней отправлялись на Арбат покупать новый отрывной календарь. Покупался не только сам календарь, но и картинка, на которую он прикреплялся. Нянин выбор картинки в декабре шестнадцатого года пал на портрет государя. Картинка была очень шикарная, на атласной подкладке и, по-видимому, стоила дороже обычного. Николай Второй с голубой лентой через плечо, в эполетах и аксельбантах выглядел очень красиво, окруженный овалом из гербов, царств и княжеств, входящих в его тигул. Гербы были тисненые, рельефные, окрашенные в цвета, им положенные, и по ним вилась Георгиевская лента. Словом, картинка была замечательная. Это был первый и единственный портрет царя в нашем доме, появился он перед самой Февральской революцией, а пережить ему довелось и Октябрьскую.

Отречение царя прошло у нас дома как-то незаметно. Папа с интересом читал газеты и наиболее значительные прятал, говоря мне: «Будешь старым, с интересом прочтешь». Но в этом он как раз и ошибся: не только литература эпохи «отречения», но и весь наш большой газетно-журнальный архив вызывает у меня не «интерес», а чувство гнетущего отчаяния.

По поводу этого отречения на кухне получил я совсем странную информацию. Катерина сообщила: «Николашка простак был, пьяница, потому и турнули». Няня, глядя на наш календарь, как всегда, не забыла всплакнуть, объяснив мне: «Царь-то он всегда царь, а как теперь народу будет жить? Кто палку возьмет, тот и будет командовать. Когда много начальников, народу хуже».

Весной семнадцатого года мы, как всегда, уехали в Адамполь. Там все было неизменно, события, волновавшие жизнь больших городов, казалось, совсем не интересовали деревню. Там по-прежнему над полями, лесами и топами этого скудного края стояло все то же огромное небо.

По-прежнему велись длительные переговоры между мамой и Индриком о том, как организовать покос, кого послать туда-то, и прочее. Потом огромные, как слоны, возы с сухим душистым сеном под вечер пересекали адампольский двор.

Жатва, самая напряженная из деревенских страд, была для меня самой праздничной. Атавистическое сознание ее исключительной важности владело мной. Я и сейчас не могу отрешиться от какого-то почти ритуального отношения к процессу уборки хлебов. Почтительное отношение к куску хлеба привито мне няней и веско подкреплено последующими голодовками.

Еще вчера на тихих и безлюдных полях легкий ветерок шевелил и укачивал усатые головы колосьев. Солнце благодушно изливало на них потоки своих лучей, белые облака медленно двигались по небу, ромашки и васильки гурьбой выбегали из золотистых зарослей на зеленую ленту межи. Весь этот мир и даже я, его нескромный свидетель, составляли единое существо. Но это было вчера, а сегодня поля ожили, в них суетятся люди, на обритой щетине земли, как знаки, поставленные с определенными интервалами, ложатся совершеннейшие формы снопов. Мир преобразается. Проходит несколько дней, в полях прекращается мелькание людей, хлеб уже в скирдах, завтра его начнут увозить. В вечер, когда хлеб убран, — праздник. Он идет издревле. Девушки и парни с песнями подносят помещику венок из ржи. Во времена родителей Татьяны Лариной все это было, вероятно, к месту или хоть как-то терпимо, но мои родители с трудом отбывали эту повинность, и отец стремился поскорее насыпать золотых в передник запевале на организацию традиционной праздничной пирушки. Весь этот церемониал происходил у крыльца адампольского дома и его покосившимся колонкам был все же сродни. Потом начиналась пора обмолота. На гумне рабочие лошади двигали допотопную крестовину, приводя в движение молотилки и веялки. В огромных сараях, во мгле, поднимающейся от серо-золотистых отбросов, разобратся было нельзя, только слышался ритмичный стук машин да по временам из мглы выступали фигуры гигантов, поднимавших на вилы солому.

Потом была пауза, а дальше начинался сбор яблок, но это уже элегическая пора. Легкая сырость лежит неизбежно в саду, и желтые пряди старости вспыхивают то там, то сям. Я в теплом пальто, аисты улетели, скоро Москва.

В Адамполе вопреки здравому смыслу было двадцать коров, продавать их продукцию было некому, а употребить самим невозможно. Как и почему сложилась

эта цифра, сказать не могу, по-видимому, это сделалось само собой и во времени. Целые дни они паслись на выгонах, и лишь в полдень и на закате их пригоняли домой. В этом чередовании была торжественная размеренность, была она и в том, как медленно и величественно они входили в хлев. Вечный полумрак хлева казался древнее мира, он дышал, и жевал, и вздыхал, в приглушенности его звуков была подспудная сила. Подобно подводному миру, здесь был иной порядок реальности, предметы здесь, словно рыбы, выплывали из глубины и снова таяли в ней, контуры их лишь угадывались. Порой голова какой-нибудь рогатой животины попадала в скудный луч света и тогда возникала в такой невероятной реальности, что казалась невиданной и чудовишно правдивой.

Мир смешанных запахов: прелой соломы, навоза, сена и молока, — начинался за черными косяками хлева. Попав в этот мир и прижавшись к стенке, я мог находиться там до бесконечности. Оторваться нельзя было не от действий и дел, там происходящих, а от покоя и мира, который, как волны, покачивался там. За раскрытой дверью бушевала озорная зелень травы, нестройно звенел легкомысленный мир, но сюда ходу ему не было. Ведь именно здесь два тысячелетия назад вторично родилось человечество.

Цветы в старых усадьбах всегда были приживальщиками. При разбивке парка о них, очевидно, не думали, а потому они теперь ютились где ни попадя. Цветы были плодом деятельности одинокого энтузиаста. С его смертью о них забывали. Цветы вырождались и десятки лет тянули жалкое свое существование. Новый энтузиаст пристраивал своих любимцев иначе, в других местах, но и их постигала в конце концов та же участь. В Адамполе я не раз наткнулся на удивительные, ни на что не похожие кусты, кто они были — Бог весть. Но иногда на таком кусте появлялся непонятный и жалкий цветок, сообщавший о своем прародителе сведения весьма недостаточные. Встреча с подобным цветком была туманной, но единственноым напоминанием о человеке, когда-то жившем, что-то любившем. Человеке, контуры которого стерлись не только для меня, но и буквально для всех. Только в старом парке среди травы и бурьяна вспыхивал розовым цветом маленький странный цветок, напоминавший потомкам о чьих-то пристрастиях. Сам воздух старых парков пропитан любовью, растраченной бескорыстно и нерасчетливо.

Но чаще всего в усадьбах сохранялись летники, цветы, не оставлявшие потомства, их названия и посейчас знакомы. Это все тот же набор, начиная с настурции и анютиных глазок до ни с чем не сравнимых маттиол. Но если названия цветов известны и поныне, то сами экземпляры были куда скромнее теперешних. Современный дачник, наверное, с презрением отвернулся бы от них.

Сейчас, когда я сижу и пишу, против меня в вазе стоит огромный букет гладиолусов. Черно-красные, белые, темно-лиловые, огненные чудовища разворачивают свои невероятные, непостижимые лепестки. Время от времени я отрываюсь от писания, чтобы взглянуть на это великолепие, по сравнению с ними мои старые знакомые были совсем замарашками, но между тем мое сердце и благодарная память принадлежат именно им.

Весну мы ждем томительно долго, и как бы неожиданно рано ни настал ее приход, это никогда не бывает достаточно рано. С осенью дело обстоит иначе. Когда же мы наконец замечаем золотую проседь, то оказывается, что уже давно были видимы явные признаки, что осень наступает. Заметив наконец это, мы оказываемся уже в самой сердцевине осени, ее бег с каждым днем убыстряется, и нет никакой возможности наглядеться на ее несказанную красоту.

Мир как бы светится изнутри, осязаемость его берется под сомнение. Этот мир неустойчив, его нежность хрупка и капризна, прикасаться к нему невозможно. С осенним миром надо обращаться с великой бережливостью. Он может сгинуть, пропасть, как видение, исчезнуть от одной лишь нашей нескромности.

Парк погружен в легкую синеву сырости, воздух пуст и прозрачен, там и сям среди оливковой зелени сияют золотящиеся кружева сухих листьев.

По заведенному обычаю в день отъезда я бегу попрощаться со всем, что мне особенно дорого. Прежде всего на сажилку — большой проточный хозяйственный пруд. Один берег его гол, на другом растет группа небольшого ольшаника. Один из стволов согнут дугой и в нижней своей части, около корней, как бы повисает над водой. Если на него встать и обхватить дерево руками, можно ничего не видеть, кроме воды. Теряются масштабы, и уже кажется, что ты в безбрежном океане, наплывы воды превращаются в волны и ты плывешь по ним. Если быстро поднять голову вверх, то можно увидеть, как ржавые листья ольшаника и его застывшие в судороге ветви понесутся по просторам небес. Если бы этого не было в моей жизни, я был бы чем-то и как-то иным.

Встреча кончается в то мгновение, когда она произошла. Прощание конца не имеет, проститься ни с чем вообще нельзя. Но внешние обстоятельства идут нам навстречу и прерывают томительный процесс прощания.

Лошади стоят у крыльца, мама, одетая по-дорожному, прощается с прислугой, остались считанные минуты — я бегу в парк. Кроме мухоморов и аляповатых поганок, я не умел находить никаких грибов. Мама, великий специалист и любитель этого дела, была в отчаянии от моей бездарности. Меня самого также удручала собственная неполноценность. И вот первый белый гриб был найден мной в последнее мгновение моего пребывания в Адамполе. Он рос, упористо наставив на дорожку центральной аллеи свою толстую белую ногу. На коричневой его шляпке лихо прилепился сухой золотистый листок. Я так ошалел от этой встречи, что стал на колени и прижался губами к прохладной его шляпке. Сорвать этот прощальный дар земли я не решился.

Из-за стволов мелькали сверкающие голенища папиных ботфортов: он срезал в дорогу цветы. Бричка тронулась, собаки проводили нас до песчаного бугра и там остановились как вкопанные. Мы въехали в деревню, собаки пропали из виду, а с ними и адампольская усадьба — и, как оказалось в дальнейшем, навсегда.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

В восемнадцатом году у маминых друзей Эвертов сохранился как-то довольно приличный выезд, они взяли меня однажды с собой покататься в Петровский парк. Только что прошел легкий весенний дождь, зашедшее за тучку солнце клонилось к закату, его розовая кисея светилась меж лиловых стволов, купола липовых аллей были еще ажурны. В бездонности пьяного воздуха была разлита грусть, та грусть, которая неизвестно почему находит на нас в светлые весенние вечера. Гравий сырых дорожек поскрипывал под колесами медленно двигавшегося экипажа. Гуляющих было мало, но все-таки они еще были. Одно время в ряду с нами ехала коляска куда элегантнее нашей; добротнейший кучер сидел на козлах, а в самой коляске на сиденье, как сфинкс, находился ее единственный пассажир — белый с рыжими пятнами английский бульдог. Он сидел раскорякой, изредка мигая умнейшими глазами, уверенно выставив вперед свой кирпачный нос.

В агонии отходил мир, в котором было естественно прогулять в коляске под вечер бульдога. Пройдет еще два года, и английский бульдог станет достоянием учебников не меньше, чем мамонт. Его послали проветриться, подышать воздухом, придет время, он вытянет лапы, положит на них свою круглую голову и не мудрствуя отдаст душу туда, откуда ее получил. Но его хозяева, наделенные способностью к отвлеченному мышлению, уже много месяцев как твердили вопрос: когда же этот сумасшедший дом кончится? Чем культурнее они были, чем логичнее рассуждали, тем дальше от истины был их ответ. Ни остановок, ни обратимости исторические процессы не знают...

Скоро теплая весна вступила в свои права, и папа настезь открыл воротину окна в мастерской. Я стоял в ее проеме не один. Кроме отца, там были Ольга Адольфовна Лори и скульптор Имханицкий. Ярчайшая зелень весенней листвы заволакивала белые стены и железные крыши ближайших особняков, за ними поднималась краснокирпичная стена многоквартирного дома. На одном из балконов стояла девочка, не знаю почему, я помахал ей платком, она деловито сунула руку за корсаж плиссированной юбки, вынула оттуда платок и стала махать мне в ответ. Ольга Адольфовна подбодрила меня: «Действуй всегда в этом же духе. Смотри, никогда не зевай». Вскоре на этом же балконе появилась еще другая девочка, несколько постарше, и, поняв, в чем дело, тоже включилась в это занятие.

Прошли года, и поредевшая зелень не так уже ослепляла, потускнела и штукатурка домов, заржавели заплатаанные крыши. Балкон стал складом домашнего хлама, непотребного вида тетки изредка сутились на нем. Прошли десятилетия, и я как-то увидел на этом балконе человека в белой майке. Он стоял, положив огромные колбасины своих рук на перила, курил и, изредка опуская голову, деловито сплевывал.

Беззаботная легкомысленность приветливой улыбки ушла из мира. То ли осатавший от злости мир не допускал приветливости, то ли недоверчивая подозрительность низов, с зоологической непреклонностью веривших, что человек человеку волк, родила злостью и страх.

Бегство из Москвы началось, очевидно, вскоре после октябрьских событий и на этом этапе было не слишком заметно, так как бежали в основном военные. Настоящий отлет начался вместе с появлением весеннего солнышка. Проходил он с соблюдением всех формальностей и более или менее в формах, принятых в цивилизованном мире. Отъезжающие имели не только проездной билет, но и документы, подписанные советской властью, а если вопрос отъезда выходил за пределы компетенции этой власти, то и документы, выправленные в Денежном переулке и подписанные всесильным тогда графом Мирбахом. Москвичи уезжали в Берлин, в

«географическую туманность» Польши, в политическую туманность гетманской Украины, но уезжали и в пределы советской России, в провинцию, поближе к хлебу. Бежали одиночки, бежали целые семьи, иногда бежали почти что кланами.

Бежали те, у кого были средства там, куда они направлялись, бежали те, кто мог увезти с собой какие-то ценности, бежали те, кто увозил лишь свои таланты или хотя бы возможность заработать на хлеб, но бежали и те, у кого нечего было увезти с собой и кто ничего нигде не мог заработать.

Бежали те, кто рассчитывал где-то там беспечно существовать, бежали те, кто спасал свою голову, бежали те, чьей голове ничего не грозило, и, наконец, бежали те, кому отъезд из Москвы и бегство в неизвестное грозили неминуемой катастрофой.

Исходя из обчной логики, найти единый критерий для определения причины бегства нельзя. Много позже совсем при других обстоятельствах я догадался, размышляя по аналогии, в чем тут дело.

Есть две резко противоположные породы людей. Одни на опасность реагируют действием, в данном случае действием было бегство, другие предпочитают встретить опасность в своей конуре, как бы говоря ей: «Ну что, пришла — жри и подавись». Здесь дело не в трусости и храбрости, здесь дело в характере и темпераменте да еще в «Чарльзе Дарвине».

Сначала уезжающие загодя предупреждали, что собираются удирать: рассказывали о бесконечных перипетиях, связанных со сложной и даже не всегда доброкачественной организацией этого мероприятия. Затем перед самым отъездом приходили проситься. Но чем дальше шло время, тем люди становились менее воспитанны и более скрытны. А еще позже без всяких предупреждений люди провалились куда-то в небытие, и лишь много позднее узнавалось, что они уехали на юг или на запад.

Придешь, бывало, к знакомому мальчику, живущему поблизости, войдешь во двор, изумрудом блестит трава, подозрительно не приметая, около дворничкой на веревке бесцеремонно проветривается лоскутное одеяло, парадный ход давно безответен, идешь через кухню, изменившаяся от бездействия доверенная прислуга, улыбаясь нехорошей улыбкой, сообщает, что господа уехали куда-то на юг.

Приарбатье в течение этого лета пустело буквально на глазах. Повальное бегство продолжалось почти до Рождества. Потом темпы снизились, а постепенно, с годами, бежать стало и вовсе некуда. Но и тут находились люди, которые при явной, казалось, невозможности все же куда-то бежали.

В начале весны восемнадцатого года вернулся с Дона младший брат мамы — дядя Коля. Студент-математик, он ушел добровольцем на войну с последнего курса и государственные экзамены сдавал уже, приезжая с войны на побывку домой. В октябрьские дни он, боевой офицер, был с юнкерами в Александровском, а в ночь подписания капитуляции ушел на Дон. Теперь он вернулся. Жил в Москве в квартире своей матери, уехавшей на Украину. Жил в семье сестры, тоже готовившейся к отъезду.

Однажды в тихом переулке близ Сивцева Вржка мы с мамой встретили оборванца, черты лица и походка показались знакомыми. Поравнявшись с ним, мама, вскрикнув от неожиданности, со словами: «Колюша, что за маскарад?» — принялась его целовать. Наша овация пришлась оборванцу явно не по душе, и, кое-как отшутившись, он постарался от нас отделаться.

Обеспокоенная этой встречей мама на другой же день отправилась к ним. Застала дядю Колю сидящим за обеденным столом, перед ним лежала стопка книг, он делал на них дарственные надписи. Такое занятие ввиду его предполагаемого отъезда было вполне естественно. Мама так зачиталась одной из книг, что почти не заметила, как дядя Коля вышел из комнаты и прошел к себе. Через несколько минут оттуда грохнул выстрел, вбежавшие увидели его расprostертым навзничь поперек кровати.

Менее чем через час Алексей Васильевич Мартынов и сопровождавшие его врачи констатировали: пуля прошла мимо сердца, рана сквозная навыллет, если не задета брюшина, то скорей всего обойдется и так, если же пуля задела брюшину, операция не поможет, — так эти дела понимали тогда.

Признак перитонита — кровавая рвота, она началась через двенадцать часов, а еще через сутки он в страшных мучениях умер.

Он принадлежал к «потерянному поколению», то есть к людям, родившимся в девяностые годы. Правда, Гертруда Стайн не произнесла тогда этих роковых слов, правда и то, что судьба этого поколения у нас в России сложилась куда посложнее. Их юность совпала с исключительным напряжением в жизни страны, эпса наградила их жизнелюбием. Опасность, игра со смертью позволяет ощущать жизнь с удвоенной силой. Стремление к риску есть одна из форм жизнелюбия. Всего этого дядя Коля хлебнул в короткий срок слишком много, слишком даже для людей его поколения. Удивляться, что в двадцать четыре года он надломился, пожалуй, и не приходится.

Похоронили дядю Колю на кладбище Скорбященского монастыря, с тех пор повелись наши с мамой постоянные путешествия туда. Ездили на трамвае. Потом,

через год, трамваи вышли из строя, ходили пешком, шестнадцать километров в оба конца, да еще на голодный живот. Потом опять ездили на трамвае, а еще позже ездил уже я один.

Зеленая лужайка перед монастырем. Уже здесь воздух был совсем не городской, а пройдя за краснокирпичную казенщину монастырских строений, я попадал в прекрасный липовый парк. Народу там ни души. Под сводами лип тишина, зажата сумраком, говорит о другом порядке бытия, города как не бывало. За парком начиналось кладбище, в дубовый крест над могилой дяди Коли папа врезал старинный бронзовый образок.

Только отчасти я ходил навещать трагедию, в гораздо большей степени я навещал энергичное, волевое освобождение от всяческой шелухи. С годами парк поредел, стал проходным, дубовый крест подгнил и обрушился, восстановить его не было средств. В начале тридцатых годов мания перестройки уничтожила кладбище, и мне довелось в единственном лице присутствовать при эксгумации, а после сожжения того, что осталось, похоронить урну в Новодевичьем.

С тех далеких пор зародилось во мне недоверие к героике.

Грядущей зимы обыватели ждали со страхом, умные люди пророчили всякие ужасы. Холод, голод, репрессии стояли действительно на повестке дня.

Пыльные окна покинутых особняков тупо смотрели на улицу. В больших, многоквартирных домах наглухо забивали парадные подъезды. Теперь вход был через подворотню, и тогда открывалось уныние городских колодцев-дворов, безнадёжность кирпичных брандмауэров, вонь помоек и обшарпанность черных ходов.

Еще весной, повинусь поветрию, я со своим товарищем Сережей Р. и его сестренкой вскопал во дворе их особняка три грядки, дома нашлись огородные семена. Но в конце лета семья Р. уехала поближе к хлебу, особняк опустел. Осенью я пришел за своим урожаем. Две грядки были совсем пустые, а на моей росла чахая ботва. Вышедший из избышки дворник мгновенно вытащил всю эту дрянь из земли, деловито отряхнул ее, завернул в газету и вручил мне, говоря: «Получай и питайся». При таких обстоятельствах я впервые включился в добывание хлеба насущного.

В это время с вопросом, как и на что пропитаться, дело обстояло сложно. У нас с деньгами было совсем туго, заработки отца с весны почти прекратились. В условиях растущих цен все равно любые заработки становились эфемерными. Мама не раздумывая продавала свои драгоценности, и мы как-то сравнительно нормально жили.

Если продажа имущества до некоторой степени отвечала на вопрос, как добыть деньги, то на другой вопрос — как и где достать продукты питания, отчасти отвечали спекулянты.

Спекуляция восемнадцатого—двадцатого годов явление совершенно исключительное. Боюсь, что потомство будет знать о ее деятелях лишь по плакатным штампам, и приблизительно не отражающим эти неповторимые персонажи. Никакая гипербола, никакая фантастика недостаточно крепки для изображения людей этого настоя.

Судя по внешности, насколько я вспоминаю, все они были ублюдками, но владели огромными познаниями в области элементарной психологии. Жизнь обожгла и закалила их, сделав идеальными инструментами для определенных надобностей.

Вы беспokoились за подорванные силы своих близких. Жизнь, как во время артиллерийского обстрела, держала про запас ежeminутные сюрпризы катастроф. При таком положении в ваших глазах ценность любого «эквивалента» становилась вопросом третьестепенным. «Оставляй на столе то, что ты принес, бери в обмен то, что тебе нужно, а главное, поскорее уходи». Одно дыхание этих людей отравляло воздух.

Моя мама поражала своей расточительной сговорчивостью даже выдавших виды спекулянтов, они любовались ею. Ей было абсолютно ничего не жалко, лишь бы сохранить улыбку жизни.

Глава V

Обвалом пришла на нас зима девятнадцатого года. Страшна была и сама зима и время, оно глядело на нас с безобразной по своей откровенности ухмылкой.

Словно замыслив недоброе, сообразило, что теперь церемониться уже нечего, что можно не лицемерить, и, заржав, показало клыки на глумливой своей харе. Правда, оно спохватилось, выдавать свои замыслы в расчеты его не входило, свершать же задуманное можно было и с другим выражением лица.

За мою жизнь были времена куда хуже, и каждое показывало разный лик. Было, когда оно откровенно в огромных масштабах пожирало все вокруг себя, люди хрустели под его зубами, время чавкало, но тогда оно было занято делом, дорвавшись, нажиралось до отвала, и морда у него была тупо-серьезная, как у свиньи.

Голод наступил в эту зиму сразу, тоже обвалом. Без карточек уже ничего не продавалось, а по карточкам почти ничего не давали. То, что иногда, простояв несколько часов в очереди, получал, было почти несъедобно.

Спекулянты стали теперь редкостью, их с великим бережением передавали из рук в руки. Теперь, кроме спекулянтов и деревни, в Москве орудовали еще и мародеры особого рода. Это были служащие таких учреждений и в таком ранге, которым по штату полагалось получать особо большие пайки.

По своему составу народ это был разноперый, начиная от людей совсем темных и кончая хоть что-то относительно знающими. В основном это были приезжие. Войдя в доверие к власти, они получали большие квартиры, брошенные или реквизируемые, устраивались с комфортом и вертели делами. Те из них, кто был поосведомленнее, устроившись, пускали в оборот свои продуктовые излишки и обзаводились павловской или ампирной мебелью, портретами чужих прадедушек, старым фарфором, серебром с гербами и пр. Словом, это был признанный законом «нубориш» времен военного коммунизма. Среди его представителей была весьма ощутима прослойка, несущая на себе печать недавней черты оседлости.

Все мы трое по-разному переносили голод. Я был мал, вероятно, мне требовалось немного. Ел я всегда и впоследствии очень сравнительно мало и легко мог прожить день или два без пищи вообще. Таким образом, я этот голод и последующий, сорок первого года, перенес совсем легко. В этом смысле я оказался похож на маму. Она страдала лишь от отсутствия сладкого, сама же голодовка не влияла даже на ее всегда хорошее настроение. На отца голод действовал очень тяжело, но, как это ни странно, этот голод излечил его от многих болезней, портивших ранее ему жизнь.

Помимо физической, в голоде есть и другая сторона: он чудовище, и особенно всматриваться ему в глаза не стоит. Тем, кто не знает, что это такое, мне не объяснить, а те, кто голодал, поймут меня сразу.

С началом зимы пришел и топливный кризис. Теперь обитатели приарбатя облюбовывали для жилья самую маленькую каморку. Предметом мечты стала ванная с колонкой, но так как такая благодать была не у многих, обзаводились железными печурками, носившими название буржук и пчелок.

~ Коленчатые черные змеи труб поползли по квартирам, ядовитая черная жижа закапала из змеиного тела, портя вещи и отравляя воздух. Воскрес древнерусский призрак угара, и стали уже поговаривать, что смерть от угара не так плоха, что посещают тогда человека чудные сновидения.

В буржуйках и пчелках сжигали мебель и вообще все, что подворачивалось под руку, настоящие дрова были редкостью, доставать их было сложно, к тому же стоили они баснословно.

В насквозь замороженных домах была реальна угроза, что выйдет из строя водопровод и канализация, и действительно около трети домов приарбатя лишились этих даров цивилизации.

Зимовать мы перебрались в детскую. Эта небольшая комната выходила в переднюю, ту и другую по возможности утеплили коврами. В детскую поставили мамину кровать, тахту для отца и мне маленький будуарный диван. В передней сделали что-то вроде столовой или приемной. Все стены сплошь завесили картинами, получилось даже красиво. В маленькой комнате поставили железную печку, ставшую на всю зиму центром нашей жизни. Печка была на ножках, толста, тупорыла и смахивала на черную свинью. Ее хвост питоном поднялся под потолок и полез, тараня стену, в направлении дымохода. Зев печки папа выложил кирпичами, а ее верхняя плоскость раскалялась подчас докрасна. Золотое пламя полыхало в печке, весело потрескивало, сжигаемое блаженное тепло разливалось в пространстве, маленькая черная свинка энергично сопротивлялась лютой стихии. Она стала четвертым членом нашей семьи. Одушевленность ее для меня была несомненна.

А снаружи за окном бушевала не только стихия зимы, но и стихия власти. Она на всех ступенях иерархической лестницы сыпала как из пулемета декретами, указами, приказами, постановлениями. Там было все: начиная от конкретных нужд сегодняшнего дня до попыток тут же путем указа построить совершенно новый мир. Только бессилие власти осуществить эти постановления еще как-то спасало население от полного истребления.

Если вообразить невообразимое, то есть собрать воедино все приказы, в правовых рамках которых должна была жить Москва этой зимы, то очевидно оказалось бы, что гражданин вообще не имел права что-либо делать кроме как околевать от голода и холода.

Эти приказы родила стихия, а стихию мерзило от вида живого человека. Человек же хотел во что бы то ни стало жить и делал все, что ему было необходимо, махнув рукой на всяческие приказы и на последствия, проистекающие от их нарушения. Неуважение к закону родилось из его противоречивости и невыполнимости.

Помимо непосредственной опасности, которая проистекала из этих указов, было и нечто другое: они родили как бы ощущение неполной законности самого факта твоего существования. Обстоятельство крайне существенное, значение которого осознать довелось лишь значительно позже.

То, о чем я говорил выше, имело все-таки форму вполне определенных документов, но кроме этого еще существовало весьма ощутимо и нечто расплывчатое, неопределенное, я имею в виду то, что называлось революционным большевистским самосознанием. Это нечто зависело от умственных, культурных или моральных качеств его носителей. При соответствующем стечении случайных и неблагоприятных обстоятельств вы могли попасть в зависимость от вдохновенного произвола дикаря.

В соответствии с остальным действовали в ту зиму и эпидемии, среди них наибольшим престижем пользовались испанка и тиф. Чуть не ежедневно приходили известия, что что-то с кем-то случилось, то с близким знакомым, то с человеком, которого вы знали, или с кем-то, о ком знали лишь понаслышке.

С кого-то сняли на улице шубу, кого-то выселили из квартиры, кто-то тяжело болен, кто-то умер, у кого-то был обыск, кто-то посажен в чрезвычайку, кто-то расстрелян; кто-то, просто не выдержав, как Стахович, покончил с собой.

В такой обстановке жили более или менее все люди близкого нам круга, одним было по каким-то причинам полегче, другим потруднее.

И образовался в ту зиму некий вакуум, не помню, сколько времени он продолжался, вероятно, недолго, недели две, может, месяц, и понятия не имею, с чем он был связан. Вдруг как-то оборвалась ниточка, связывающая тебя с другими тебе подобными. Наступило разобщение, и пустота начала покрываться льдом. Люди, живущие за два переулка от нас, оказались за тридевять земель, вне пределов досягаемости. Когда вакуум лопнул, распался, появлялись словно после кораблекрушения, исхудалые, изменившиеся. В их глазах читался вопрос: живы ли все? Как-то в конце этого вакуума в дверях появилась волосатая и бородатая голова философа Николая Александровича Бердяева, родителей дома не было. Тогда я уже начал болеть болезнью, портившей мне жизнь на протяжении двух десятилетий, болезнь эту Булгаков приписал Понтию Пилату и назвал ее гемикранией. Но запах роз тут был неповинен. В эти времена цветы вообще были забыты, а их запахи и тем более. Мою болезнь называли тогда малярией, но от этого мне было не лучше. Я принимал Николая Александровича за ломберным столом в передней, голова моя раскалялась надвое, гость временами плавал в тумане. Глядя на меня и предавшись ходу собственных невеселых мыслей, философ заплакал. Он задирает голову, отворачивался, но поняв, что привести себя в порядок он уже не может, встал, вмонтировался в свою шубенку, нахлобучил меховую шапку, погладил меня по плечу и молча ушел.

Под стать всему была и улица, замеченная снегом, в огромных сугробах, пустынная. Отступившие за сугробы дома смотрели пыльными мертвыми глазницами. Было тихо, трамваи со своими звонками ушли в небытие, лошадей почти не было, лишь изредка безобразно гремел спешно ковыляющий грузовик.

Бесцеремонно обнажились для всеобщего обозрения потерявшие свои заборы сады приарбатя. Зима еще кое-как защищала их целомудрие, но, занесенные снегом, они все же избороздились пешеходными тропами, внесенными исправления в коммуникации проходных дворов. Знакомые улицы и переулки стали иными, словно то, да не то. Только по-прежнему из глубины садов с вершин лип с гомоном поднимались тучи ворон и галок. Когда к концу дня небо, подмазанное клюквенным соком, светило сквозь черные ветви деревьев, становилось совсем неприятно.

По-прежнему нерушимо стояли лишь разбросанные по приарбатю церкви, по-прежнему сияли их купола, по-прежнему плелась их полувосточная архитектурная вязь. Стояли они заметные сугробами, покрытые шапками снега, под охраной лип прицерковных дворов. По-прежнему с первым ударом колокола с колоколен слетали птицы, по-прежнему гудели или весело перезванивали колокола. Молчал лишь Кремль, самые чтимые храмы России стали теперь недоступны для москвичей.

Мерцали огоньки свечей и лампад, сверкали на ризах, дробясь, переливаясь, бежали вверх по резьбе алтарной преграды туда, где все растворялось в синих струях света.

Церковь молилась почти так же, как два тысячелетия назад, и произносились там все те же слова, огромные и неизносные. В дни небывалой дешевизны слов, в ожидании времен, когда слова вообще потеряют смысл, церковь говорила понятиями точными и огромными.

Слова, идущие от истоков христианства, произносились в церквях Москвы и в четырнадцатом веке, и в страшном шестнадцатом, и во время последней московской чумы в восемнадцатом веке, произносились в тех же церквях и часто в том же окружении. Теперь, в эту зиму, знакомое вчера, слишком знакомое, приобретало характер почти откровения.

Дьякон во время литургии, подняв оварь, воздвигает моления:

«О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся»,
 «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью».

И звенят голоса хора:

«Господи, помилуй»,

«Дне всего свершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим».

И в синюю высь уходят голоса хора:

«Подай, Господи»,

«Христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на Страшном Судищи Христове просим»,

«Подай, Господи».

Вот именно «непостыдной кончины мирной». Боже мой, какой реально понятный, насущно важный смысл приобретали слова эти для вчера еще легкомысленного и равнодушного слуха. И опять дьякон, подняв перстами орарь наподобие крыла серафима, возглашал:

«Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим».

Старая жизнь улицы постепенно совсем умерла. Улицы стали большими дорогами, необходимыми коммуникациями. Мертвые лавчонки с ободранными вывесками напоминали о прошлом, ставшем далеким и малоправдоподобным. На улицах не было гуляющих и зевак, все куда-то спешили с рюкзаками, сумками, салазками. И внешне публика посередела, одежонка старая, дооктябрьская, чуть-чуть нелепая, и уже стало казаться, что одежда простонародья как-то добротнее, оправданнее, уместнее и потому, пожалуй, даже красивее.

Именно в эту зиму увиделось, что в жизни случилось что-то радикальное, что-то сошло с нарезки, и приарбатские улицы и переулки, запутавшись в собственной сети, пошли блуждать влепую. Сослепу они натыкались на каменные стены домов, поворачивали в сторону и машинально описывали петли. Скособочившаяся жизнь двигалась, ковыляя, по одной оси, а улицы блуждали по другой. С этого началось разобщение с местностью.

Обитатели муравейника вдруг в силу каких-то причин превратились в другой вид насекомых, обладающий другими особенностями и потребностями, старый муравейник они могли лишь использовать, в целом он уже совершенно не соответствовал характеру жизни этих новых насекомых.

Моя школьная жизнь продолжалась, но обрела она в эту зиму те формы, в которых и пребывала до конца моего среднего образования. Ходил я в школу, когда мне вздумается, часто по неделям сидел дома или выполнял какие-то функции, к науке отношения не имеющие. Сколько я ни пытался сосредоточить свое внимание на том, что говорилось в классе, ничего из этого не получалось. Как ни страшна была жизнь, но все в ней было так глубоко, так значительно, а то, что говорилось в школе, было так плоскодонно, так ни к селу ни к городу.

Я был маленьким мальчиком, меня посадили за парту, заставили слушать, слышанное запомнить и затем повторить, но именно слышать-то я и не мог. Как только начинался разговор про какого-то идиота, вышедшего из точки А, я мигом выключался и оказывался во власти своей фантазии.

Я видел, что мои школьные дела запутываются, что учителей моя деятельность просто пугает, и честно старался как-то вслушаться, вникнуть в то, о чем говорилось, но чем больше я старался, тем меньше у меня это получалось. И все же бывали часы, когда совсем помимо моей воли что-то в моих ушах прочищалось, тогда я слышал урок и так же помимо воли запоминал его от первого до последнего слова. Учителя издавна остерегались меня вызывать, но все же это случалось. Иногда случайность падала на счастливо запомненный мною урок. Отсюда пошла репутация способного, но лентяя — и то и другое неверно. Из школы я не вынес никаких познаний и нисколько об этом не жалею, единственно что меня сильно стесняет и по сей день, это моя феноменальная орфографическая безграмотность.

Окончил же я среднюю школу лишь благодаря тому, что на моем пути попадались учителя, почему-то подозревавшие у меня наличие каких-то скрытых достоинств.

В эту зиму мои выходы во внешний мир носили самый разнообразный характер. Не раз случалось мне бегать по отцовским поручениям в Румянцевский, в Третьяковку, к кому-нибудь из скульпторов, преимущественно живущих неподалеку. Приходилось выстаивать в бесконечных очередях за хлебом, за постным маслом, а к весне, когда отцу стали давать академический паек, то и за ним. Знаменитый этот паек — понятие не стабильное. Он варьировался во времени и имел разные категории. То, что мы получали, было хорошо, но абсолютно недостаточно. В эту зиму я припоминаю себя, везущего на дровяных санках какую-либо поклажу. По разьеженному снегу санки идут хорошо, но там, где проступала поверхность булыжной мостовой, их уже не протаскишь, идешь, приглядываясь к особенностям поверхности, и варьируешь дорогу. Что-то носить на себе или возить на санках было в те годы как

бы функцией обывателя, мне это занятие даже нравилось: цель его ясна, а польза для всех несомненна.

Довелось мне в ту зиму получать как-то разовый паек даже в реввоенсовете. В этом помещении совсем недавно была, очевидно, самая обыкновенная обывательская квартира. Теперь в заставленных столами комнатухах галдели и суетились служащие, угарно дымила кирпичная развалюха печка. Из-за стрекочущей пишущей машинки стриженная девица кричала по-попугайному: «Веня, откройте форточку, мы здесь задохнемся!»

Хлопали двери, кто-то надрывался у телефона. Достоевский, без которого на Руси ничто не обходится, сработал и здесь. Оказалось, для того, чтобы вынести паек с территории этих зданий, нужно иметь пропуск, а для пропуска нужно иметь документы, коих у одиннадцатилетнего мальчика быть не могло. Сразу возник принципиальный содом, дискуссия звенела на все голоса, и я явственно уловил слова «удостоверение личности». Почему-то меня это слово сильно задело, и не раздумывая я вмешался в спор, заявив, что «личность моя присутствует собственной персоной, и никакие бумажки не могут сделать факт моего существования более действительным». Выступление мое было беспомощно глупо и вообще не нужно, но произвело оно буквально сенсацию. Кто-то протяжно засвистел, кто-то даже схватился за голову, а кто-то по-мефистофельски захохотал. Из соседней комнаты выскочило начальство специально на меня посмотреть, узрев, изрек: «Ну и ну!» — и, тряхнув косматой головой, включилось в дискуссионный галдеж.

Все это были относительно молодые люди, вероятно, и без моего содействия они понимали, что что-то не совсем так, ведь мир спятил с ума сравнительно еще недавно.

Темп в работе отца, взятый в предреволюционные годы, продолжался и после революции, но в эту зиму он заметно спал, сил уже явно не хватало. Все же папа поставил в мастерской крохотную чугунную печку в форме цилиндра, отопить шестидесятиметровую мастерскую она не могла, около нее можно было греться как у костра. В сфере ее теплоносности он вырубил из мрамора и алебаstra несколько вещей по старым этюдам обнаженного тела. Рубка из «камушка» позволяла ему хоть на время выключиться и почувствовать, что он все же живет на свете.

Как все тяжело, зима эта тянулась долго, но так же, как все, прошла наконец и она, солнце опять водопадами полилось в огромные окна нашей квартиры, ее ледовые просторы постепенно оттаяли, затворничество наше окончилось. Кажется, никогда в моей жизни приход весны не был столь животворен, с уходом зимы началось некое подобие жизни.

.....

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

В эпоху так называемого нэпа жизнь подавляющего большинства интеллигенции как-то наладилась, вошла в берега. Не говоря о столь ценимых в те годы инженерах, даже обыкновенные служащие зарабатывали достаточно. Люди свободных профессий тоже приспособились к новым условиям, а некоторые из них существовали почти роскошно.

Что касается самого существа деятельности интеллигенции, то на первых порах в первые годы нэпа здесь все обстояло вроде как благополучно. Многие преграды, которые существовали благодаря рутине старого режима, рухнули вместе с революцией, а новые еще не успели укорениться или еще только нарождались. Так что большинство интеллигентов тогда с успехом могли заниматься своим делом. Вся эта публика во многих поколениях была воспитана на вражде к старому политическому строю России, напичкана идеями «свободы, равенства и братства», помешана на уверенности в собственной ценности, на том, что она «соль земли», что ее дело учить, просвещать народные массы и даже давать советы самой верховной власти.

Что же, описываемый период устраивал более или менее большинство интеллигенции. Тогда у верхов власти, да, пожалуй, и не только у самых верхов, стояли не ненавистные самоуверенные тупые царские бюрократы, а люди более или менее интеллигентные, с которыми створиться всегда было возможно. Учить, просвещать было не только возможно, но за это даже платили, равенства и всяческой справедливости было, пожалуй, даже с излишком, во всяком случае на словах. Кошмары военного коммунизма кончились, и большинство было уверено, что это уже навсегда. Так что живи, работай и жди еще лучших времен. Правда, со свободой творилось нечто нелепое, но это стремились не замечать, к тому же людям хоть сколько-то образованным было известно, что само-то понятие это до того странное, что даже философия в лоб к нему подходить не решается. Правда, и советов по серьезным

вопросам верховная власть у интеллигентов не спрашивала, но с этим уж, хочешь не хочешь, приходилось мириться.

Так что в те годы приятие советской действительности было, пожалуй, доминирующим настроением среди русской интеллигенции. Уже сплошь да рядом раздавались фразы, что все случившееся надо принять не только как исторический факт, но елико возможно к этому случившемуся приспособиться, внутренне сжиться с ним, что надо идти в ногу со временем, что надо мыслить более крупными категориями. Даже в начале тридцатых годов многих интеллигентов буквально корежило, как только они сталкивались с критическим отношением к существующему.

Подобное отношение к жизни в те годы имело бесчисленное количество оттенков, перечислить даже те полутона, которые мне были хорошо видимы, я, естественно, не могу.

Все ли русские интеллигенты были таковы? Конечно, нет. Среди них были и люди совсем другого плана, их было в двадцатые годы не так много, но они все же были. Это были люди, которые ни себе, ни другим не замазывали глаза на происходящее, люди, которые стремились, насколько это было возможно, трезво оценивать окружающее. Сказать, что они предвидели то, что нас ожидало в дальнейшем, я не могу, но люди эти понимали, что разрушительная стихия не исчерпана, а механически загнана вглубь. Понимали они и то, что если вчера злоба и ненависть могли свободно развиваться на поверхности, то сегодня они должны были все-таки считаться с новыми обстоятельствами и по возможности не выходить за грани оставленных им властью русел, что от этого человеконенавистничество не только не ослабло, а скорее наоборот: настой его становился все гуще. Перед этими людьми стоял все время вопрос, сумеет ли власть обуздать эту стихию и хочет ли она действительно серьезно ее обуздывать.

Люди эти смотрели на все виды мимикрии, приспособленчества, с омерзением и видели выход лишь в том, чтобы елико возможно оградить себя и свое дело от воздействий извне. Собственно, отсюда и пошли истоки того явления, которое впоследствии получило название внутренней эмиграции.

Настоящая эмиграция, отъезд на Запад, в двадцатых годах была в том кругу, в котором я жил, явлением сравнительно единичным. Большинство окружавших нас людей предпочитали встречать лихолетье у себя дома. Помню возмущение Бердяевых, когда их и целый ряд лиц правительство высылало в административном порядке за границу.

Как ни единична была тогда эмиграция, все же она смыла с горизонта нашей семьи многих близких людей, и, как оказалось, смыла их для нас навсегда. С ходом времени утрата многих из них оказалась весьма ощутимой.

Тема жизни людей в действительной внешней эмиграции мне неведома, зато я могу рассказать о явлении, кажущемся мне не менее любопытным, — о реэмиграции.

С началом нэпа стали появляться многие старые знакомые, о которых давно уже ничего не было слышно и которые стали как-то позабываться. В свое время бежали они из Москвы от страха надвигающегося голода, в чаянии где-то спокойно отсидеться. Теперь одиссея их окончилась, возвращались они из бывших когда-то хлебных губерний, в которых теперь добывать хлеб было весьма затруднительно, из Крыма и с Кавказа, до которых докатились они с лавинами отступающих белых армий, и даже с Принцевых островов, на которые я уж и не понимаю, как их занесло. В большинстве случаев их бывшие обиталища оказались занятыми, а имущество, пусть нехитрое, но все же необходимое, оставленное на попечение доверенных лиц, оказалось расхищенным. В условиях кочевой жизни в захолустье им пришлось так перефасонить свои специальности, что стали они хлебодобывающими. Теперь, очутившись опять в Москве, они с места в карьер должны были обивать пороги в каких-то заплеванных учреждениях с надеждой добыть хоть некое подобие домашнего очага и хвататься за первую представившуюся возможность как-то рентабельно применить свою специальность или за неимением таковой хотя бы свою интеллигентность.

Москва, в которую они теперь вернулись, была не той, из которой они бежали: коченеющая, умирающая, насмерть напуганная большевистскими декретами, — совсем не той знакомой, родной дореволюционной Москвой, в которой им так легко когда-то жилось. Теперь это был совсем другой город — нэповский, в котором намешано было всякого. И вот здесь-то им предстояло начать жизнь чуть ли не заново, не имея опоры в потерянных первоначальных позициях. Но со временем все это как-то утряслось, и жизнь вошла хоть и в новые, но все же в какие-то берега.

Внешне публика эта выглядела полинялой, облезшей, вроде как опростившейся, и, глядя на них, думалось: «Неужто они такими тусклыми, будничными были и раньше?» Но и это со временем, в годах как-то сгладилось. Но кое-что, отличающее их от тех, кто сидел все время на месте, осталось в них навсегда. Это кое-что было чем-то глубоко внутренним, я не умею это назвать иначе как образованием души. В

этом-то образовании у них навсегда остался некий пробел. Многие можно понять уразуметь с чужих слов и даже при помощи книг — это не пережить. Вот этого пережитого, что входит как компонент в образование души, у них как раз и не хватало. Странное дело. Ведь, казалось, пустяк. Человек всего-навсего два-три года отсутствовал, к тому же годы эти здесь, в Москве, были трудные и страшные, ведь казалось, что слава Богу, что кому-то удалось отойти на время в сторону и там переждать, но на самом же деле оказывается, что совсем это не так. Оказывается, что есть такие эпохи — такие года — такие события — которые, как бы страшны и трудны они ни были, исключительно важны именно для души человека. Именно в такие времена что-то совсем безотчетно нами понимается, что-то в нас складывается, спрессовывается. Правда, в подобные времена надо суметь выжить — что трудно. Не оступеть и не сдаться, что, понятно, еще труднее.

Есть тут одна странность, но если вдуматься — она сама по себе способна объяснить многое. Ведь в тех местах, куда эти люди бежали в погоне за хлебом и спокойствием, они ни того ни другого за редким исключением, не нашли. Чаще нашли даже нечто прямо противоположное. По-видимому здесь в центре, коллизии катастроф, нас окружавших, были в масштабах мировой трагедии. Трагедии подобной шекспировским значением коих общечеловеческое

А мы, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя

Помимо слов Достоевского что «в страдании есть идея» здесь у Ахматовой есть нечто и другое, нечто помимо страдания, некая активность в отстаивании своего права, своей обязанности сохранить «душу живую»

Можно добавить что подобная же нехватка не раз замечалась у людей, проживших на протяжении большевизма лет пять даже в таком центре мировых идей как Париж. Хотя это и звучит дико — однако даже у этих людей всегда заметен некий оттенок провинциализма.

По-видимому именно здесь «в глухом чаду пожара» в разные времена незримо возникли мировые столицы

Более всего в поле моего зрения находились люди — так или иначе связанные с искусством. Изобразительное искусство естественно может развиваться, жить, расти лишь внутри культуры, культура же умирает по мере приближения к тридцатым годам. Несомненно что в те годы искусство в России было — но было это искусство одиночек, разобщенных между собой, забаррикадовавших свою жизнь и работу от времени. Единич этих было мало, работать и развиваться могли лишь наиболее в художественном смысле живучие. В большинстве это были уже люди, более или менее крепко стоявшие на «художественных ногах». Несмотря на то, что общее число художников росло год от году, количество действительно стоящего пополнения с годами уменьшалось. В том и особенность безвоздушности, что зарождалась в ее среде чему-то новому затруднительно

По первому впечатлению кажется что искусство тех лет обладало большой амплитудой и яркостью. Действительно — разноразной в искусстве тех лет был отчаянный: кто во что горазд. Но крайне правый фланг был попросту малограмотный натурализм или в лучшем случае академизм, а предельные границы крайне левого были уже налицо. Так что направленные бури были скорее всего бурями в стакане воды. И тот и другой фланг страдал и малой оригинальностью и провинциализмом.

Крайне правые втискивали сегодняшнюю действительность в изжитые мертвые формы; новаторское левое искусство изображало столь же искусственную атмосферу — атмосферу вымысленную — следы которой авторы уловили в парижском искусстве. В немецком экспрессионизме и так далее. Словом, только не в том воздухе, в котором жили они сами в те годы. Для большей ясности повторюсь и скажу, что самое ценное, что создано в искусстве за этот период, это работы абсолютно разобщенных одиночек, в основном сложившихся как художники, работавших елико возможно под прикрытием всяческих баррикад и протавивших свое искусство вопреки всему окружающему почти что контрабандой.

Мне хочется сказать и еще кое-что, хоть я и не исключаю, что мой отдаленный потомок не согласится со мной. Невозможно предугадать, как те или иные явления будут звучать в перспективе времени. Мне хочется сказать, что у этого времени в искусстве была некая доминанта — некая глубоко скрытая цель — цель конечно, неосознанная. И все художественные разночтения времени работали волей-неволей на эту цель. Цель эта — внутреннее, а как следствие и внешнее обезличивание искусства.

В молодости я был склонен думать, что все ингредиенты, работающие на обезличивание человека — начиная с коллективного обучения, мимикрии, рабской подчиненности условиям, власти моды, всеобщности тех или иных чувств (наприм. мер страха) — все это исторически предопределено. Все это необходимо для создания

некоего единообразия, необходимого как плацдарм для нового возрождения человеческой индивидуальности. Я думал, что культура время от времени нуждается в такой нивелировке для того, чтобы подровнять ряды, подвести общий знаменатель и затем возрождаться заново. Так я думал еще в сороковые годы, а теперь я в этом совсем не уверен. Теперь мне кажется, что рационального смысла в этом нет никакого.

Между эпохой нэпа и целями и задачами искусства не только не было ничего общего, но эпоха эта была прямо враждебна этим целям и задачам. Даже в кошмарах военного коммунизма не было такого вопиющего противоречия между временем и искусством.

Искусство по самой сути своей аристократично (если не придавать, понятно, аристократизму социального смысла). Эпоха нэпа, двадцатые годы, была не только большая эпоха, но и самая плебейская из всех, что были на моей памяти, если опять-таки не придавать слову «плебейство» социального значения.

Материальная жизнь художников в те времена складывалась по-разному. Те, кто мог работать в театре, в книге, в журналах, те, кто мог делать плакаты, кто сумел пристроиться в какой-либо промышленности, — те беды не знали. Сводили концы с концами и те, кто уцепился за педагогику. Остальным было трудно. Продавать свои работы частному покупателю могли лишь те художники, чья подпись имела рыночную стоимость. Государственная власть, пытавшаяся хоть как-то материально поддержать изобразительное искусство, была крайне стеснена в деньгах и все же стремилась приобрести для музеев все самое значительное, что тогда делалось в этой области. Особенно плохо было скульпторам: частному покупателю они были не нужны, промышленности тех лет и подавно. Эфемерные массовые госзаказы эпохи военного коммунизма ушли в область предания. Специальные помещения для работы, мастерские были у немногих скульпторов, большинство их вовсе не имело.

Сама скульптура в этот период, особенно в начале нэпа, воспринималась как анахронизм, как нечто совсем ни за чем не нужное. Если скульптура как вид искусства за этот период не уничтожилась совсем, то этим она обязана не только живучести и стойкости ее авторов, но и тем представителям власти, которые время от времени приходили ей на помощь.

У нас дома с деньгами почти во весь этот период было плохо. Папино гахновское жалование соответствовало нашей квартплате. Питались же на случайный заработок от продажи скульптуры, на нерегулярный заработок, который давало мамин шитье, и на продажу имущества, оставшегося от старых времен. Всего этого, вместе взятого, понятно, было недостаточно. Стесненность в деньгах и недостача самого насущно необходимого ощущались на каждом шагу, но жить стремились так, чтобы не слишком замечать это.

Дома у нас все же чаще всего царило приподнятое, веселое настроение. По вечерам постоянно, как раньше, кто-нибудь приходил в гости, так что муругая материально жизнь проходила как-то сносно. Этим мы обязаны, конечно, маме, ее непоколебимой оптимистической вере в жизнь.

Безденежье прямо сказывалось на работе отца невозможностью затрачивать достаточные средства на производство. Невозможностью нанять модель, затруднительностью работы из камня, которая, как ни вертись, требует хоть некоей, но все же затраты денег, и, наконец, полной невозможностью перевода своих вещей в бронзу. Но главное, пожалуй, было в том, что в погоне за каким-либо худосочным, грошовым заработком он принужден был браться за работы, лежащие вне его интересов и вне его возможностей. С работами этими он очень мучился. Помимо того что они отрывали его от настоящей работы, после них всегда оставался неизменно противный осадок. Неладно было и с искусствоведением: с его литературными занятиями в области теории и истории искусства. Он занялся ими для заработка, заработок они давали ерундовый. В свое время их как-то ценили, и надо сказать, что и на сей день они не утратили своей значимости. Но сам папа очень тяготился этим занятием, он не любил типа теоретизирующего художника, считал, что искусствоведение несовместимо с практической художественной деятельностью, что оно забивает голову и отнимает у настоящей работы что-то существенное. Позанимавшись несколько вечеров подряд этим делом, он терял рабочую форму и должен был делать перерывы в работе по скульптуре.

В этот период я был сначала мальчиком, потом юношей. Мои интересы не требовали никакой затраты средств, лишения, которые меня лично затрагивали, казались мне делом вполне естественным и привычным. Я ведь как-никак вырос в обстановке этих лишений. Я активно помогал маме в организаторской стороне жизни, бегал постоянно по ее поручениям, но это меня не затрудняло и не смущало. Мучило меня безденежье лишь за отца тем, что мешало ему работать, создавало бессмысленные и оскорбительные препятствия, мучило настолько, что чувствую это живо и по сей день.

Впоследствии, почти через двадцать лет, мне пришлось перенести столь же длительное, но куда более лютое безденежье. Причем безденежье безнадежно бесперспективное и ничем не скрашенное. По каким-то причинам, мне мало понятным, я сейчас вспоминаю его спокойнее. По-видимому, именно так часто бывает в жизни, ведь собственные трудности, пусть очень тяжелые, можно как-то заволакивать, рассеивать мелочными необходимостями будней. А беды и горе близких людей давят тебя, не давая покоя и роздыха. В связи с этим напрашивается и совсем другая мысль: ведь самое материально невыносимое для меня время было с конца сороковых годов до середины пятидесятых, время вообще это было страшное, и гнет его был ужасен, и все-таки воздух, тогда нас окружавший, был чем-то чище воздуха пресловутых двадцатых годов. В чем тут дело, почему это так? Неужели же все же дело в «искупительной массовой жертве»? Теперь все чаще думается, что в этом и дело. За что же искупление, неужели за глубокомысленное резонерство девятнадцатого столетия?

Безденежье было далеко не единственной тяготой, висевшей на нашей семье, нас тогда буквально обстреливало со всех сторон. Мучила именно эта массивность обстрела и отсутствие защищенных мест. Непрерывный обстрел рождал чувство страха даже в людях, для подобного чувства мало приспособленных. Но тогда, в те годы, страх принимал формы вполне осязаемые, отчего субъективно он воспринимался скорее локально, и только в тридцатые годы страх, потеряв свою осязательность, загнезвился буквально во всем.

Вот почему так трудно писать о двадцатых годах: ведь взятые в отдельности, все это мелочи вполне осязаемые и будничные, в единстве же времени и места, навалившиеся скопом на человека, они уродовали его жизнь.

Таким образом, можно довольно точно сказать, что почти ни одно из обстоятельств, засорявших жизнь людей в двадцатые годы, само по себе не было определяющим для времени. Действительно могут они нарисовать жизнь того времени лишь совместно с другими и именно в том сочетании, в котором они наваливались на жизнь той или иной семьи. В дальнейшем, с середины тридцатых годов, уже четко наматился процесс стандартизации этих сочетаний, и количество полутонов, отличающих жизнь одной семьи от жизни другой, уменьшилось.

Тогда же, в двадцатые годы, только одно обстоятельство было всеобщим для интеллигенции. Я имею в виду коммунальность жилья и зависимость от домоуправлений и управдомов. Большинство людей, находившихся в поле моего зрения, жили в условиях коммунальных квартир, чаще всего своих же бывших дореволюционных и постепенно заселяемых чуждыми и даже враждебными контингентами. Законы, которые регламентировали изъятие у вас комнат и их заселение, были настолько резиновыми, что больше смахивали на незаконные. К этому еще всегда примешивался так называемый классовый вопрос, то есть вопрос о прошлом: имущественном, общественном, сословном положении и даже о родственных связях тех, у кого что-то изымалось. Общине по жилищным вопросам с домоуправлением носило всегда характер судилища над недобитыми остатками прошлого. Как-то уж очень быстро большинство квартир не только в приарбатье, но почти во всей Москве превратилось в осиные гнезда, а жизнь в них стала кошмаром. Старые владельцы этих квартир, загнанные в одну, много две комнатеки, жили, стараясь не замечать ужаса этой жизни. Но между тем, чтобы стараться не замечать, и тем, чтобы действительно не замечать, разница очень существенная.

У большинства коммунальная квартира была фоном жизни. У одних этот фон был совсем нестерпим, у других терпимее.

Коммунальность жилья, если исключить доносы и их последствия, непосредственно не грозила жизни людей, она только лишала людей своего дома, своей собственной жизни или, в лучшем случае, ее неповторимой сокровенности. Берлога была пропитана чуждыми запахами и насквозь проглядывалась.

Интересно, что при встречах даже с друзьями этого круга о прелестях своего коммунального житья не распространялись. Конечно, тема эта противная, но было здесь и другое, гораздо более существенное, — это то, что русскому интеллигенту уж очень неловко было не только говорить, но и думать о столь малой и непринципиальной категории. Нелепые и, в общем, смешные, они никак не могли до конца отказаться от светлых идей своего прошлого, даже в условиях тех лет все еще стремились становиться на цыпочки и смотреть на жизнь сквозь призму больших проблем. Понадобилось еще два десятилетия, чтобы те из них, кто выжил, хоть сколько-то разобрались в вопросах о масштабности категорий. — да и все ли они разобрались в этом?

Отсюда и в литературе коммунальная квартира фигурирует лишь в юмористическом плане, плане анекдота, что в корне искажает смысл этого явления.

Тема эта — в истинном смысле этого понятия — трагическая. Только трагедия эта нового, еще не созданного характера. Бытовой характер носит лишь ее поверх-

ность, внешность, а смысл ее гораздо глубже. К истории она привязана лишь по конструкции, а суть ее вообще общечеловеческая.

Тема эта должна быть изображена максимально просто, даже малейший нажим ее ослабит, ее персонажи должны быть по-будничному обыденны, ситуации просты и естественны, а мотивы, которые движут там людьми, должны быть скрупулезно прослежены.

Тогда в этой теме соберется как в фокусе жизнь людей того времени, характер государственности страны, ее политика. Прочтя эту удивительную книгу, которая скорее всего никогда не будет написана, мы поняли бы не только скрытые пружины того времени, но и то, что процессы, происходившие в коммунальных квартирах, тождественны по своему смыслу многим процессам, которые происходят и еще долго будут происходить на нашей земле.

Я даже приблизительно не возьмусь рассказывать о коммунальности того времени, дело это мне не по плечу. Я расскажу лишь совсем схематично, как это явление затрагивало нашу семью.

По мнению многих наших знакомых, мы жили просто в роскошных квартирных условиях. Действительно, если говорить сравнительно с другими, то дело обстояло именно так.

Мы были, конечно, уплотнены посторонними людьми, но наши уплотнители очень скоро стали нашими ближайшими и нежнейшими друзьями. И так продолжалось до конца нашего совместного житья. Теперь все они уже умерли, и отсутствие кое-кого из них в моей жизни я воспринимаю как невозполнимую брешь. Только один человек, собственно, уже старая женщина, был человеком, враждебным нам, но присутствие других ее как-то нейтрализовывало. Особа эта имела пристрастие к самой различной форме доносивства, но ее глупость и неполная психическая полноценность делали этот вид ее творчества малоэффективным. В непосредственно нашем распоряжении оставалось к тому времени три комнаты. Одна из них, довольно большая, была нашей бывшей столовой, там в закутке, отгороженном шкафами, помещался я. Далее шла небольшая комната — папин бывший кабинет, там теперь жила мама, а еще дальше — мастерская, огромная, шестидесятиметровая комната. Вот она-то и дразнила аппетиты тех, чьи аппетиты дразнить ни тогда и вообще никогда не нужно.

С начала революции и в первые годы нэпа в нашем домкоме заправляли делами несколько бывших крупных капиталистов-промышленников и два-три пришлых по ордеру уплотнителя. Бывшие капиталисты мигом вспомнили, что отцы их были неграмотными мужиками, а сами они учились на медные копейки и что, следовательно, они-то и есть этот самый народ-гегемон. Благодаря этой сугубо идейной подоснове они стали разрешать проблему уплотнения не за счет своих квартир, а за счет мансардного этажа, заселенного классово чуждыми элементами: моим отцом — бывшим помещиком, дворянином и скульптором, Марией Михайловной Сраховской — дочерью умершего еще в том веке чиновника, бывшего одно время олонецким губернатором. Осуществить тогда свои замыслы им удалось лишь сравнительно незначительно, государственная власть пришла нам на помощь, в это время уже существовало ЦКУБУ.

Скоро количество пришлого элемента более чем в десять раз увеличило ассортимент основных жильцов нашего дома. Теперь бывшие капиталисты были оттеснены от руководства делами дома и сами попали в разряд классово чуждого элемента. С тех пор в домоуправлении заправляли люди, стоящие на самых разных ступенях советской иерархической лестницы, начиная от дворника и кончая судебным деятелем и даже красным профессором, но объединенные навыками уже установившейся демагогии и страстью отнимать, изымать, захватывать, разоблачать и так далее.

Отцовская шестидесятиметровая мастерская стояла у них поперек глотки. Демагогия, которая в таких случаях пускалась в ход, была примитивнейшая, однако действовала безотказно: простые, действительно советские люди страдают от отсутствия жилья, а тут люди с социально подозрительным прошлым — и такое огромное помещение, в котором вдобавок делается нечто, никому ни за чем не нужное. «Так за что же боролись?»

Действительно, в те годы Москва скоро стала уже переполнена сверх всякой меры и продолжала еще наполняться, открылся новый вид деятельности — «быть классово близким»: заниматься этим делом можно было, ни бельмеса ни в чем не понимая, дело же само по себе интересное — дави всех, кого можно, и больше ничего не требуется. Люди, желавшие заниматься подобным делом, могли тогда найти применение по всей Руси, но именно в Москве перед ними открывались широчайшие возможности и потрясающие перспективы. Понятно, что наиболее энергичных потянуло сюда, и тучи воронья нахлынули на Москву. Наше домоуправление состояло по большей части из подобных элементов, отнятие у нас жилплощади и устройство быта себе подобных пришлых элементов волновало их очень мало. Дело

было куда сложнее и тоньше. Если срывалось дело с очередным изъятием жилплощади, то они начинали стремиться объединить нашу квартиру с соседней и тем увеличить ее коммунальность, пытались заменить дружески к нам расположенных соседей пьяным дворником и кучей орущих ребятишек. Словом, они стремились как-то ужать нас, как-то изуродовать нашу жизнь. Это было почти единственное, что они могли и умели действительно делать, и делали это дело давления, душения, ущемления людей всегда и во всех условиях, прикрытые громкими лозунгами и красивыми фразами. То, что власть, правительство, законы как-то защищали нас, это только подливало масла в огонь. Словом, это была стихия слепая, угарная, не проснувшаяся, похожая на преступление, сделанное во сне. На сопротивление этой стихии тратились огромные силы и надолго выбивали отца из работы. Так началась для нас эра судебных преследований и газетной травли.

В этих условиях были мы отнюдь не одиноки, квартирная травля довела профессора Н. до самоубийства. Это произвело впечатление на верхах, и отсюда прикрикнули, полегчало нам ненадолго. Скоро опять началось все заново. Никакое вмешательство прокурорского надзора не могло унять эту разбушевавшуюся стихию.

Существует мнение, что политика верховной власти в те годы была направлена на заселение коммунальных квартир антагонистическими элементами. Так это было или не так, мне неизвестно. Уверен же я лишь в том, что, как бы власть на этот вопрос ни смотрела, все бы вышло само собой и именно так, как оно получилось в действительности.

Возникает вопрос, кто же были, персонально, те люди, которые преследовали нас, но здесь я уже затрудняюсь, здесь начинается какая-то странность: дело в том, что они были «никто». Эту фразу мне хочется произнести шепотом, потому что самое страшное в этом и заключалось, но именно это тогда было непонятно, понятным это стало только потом.

Рассказать о них невозможно именно потому, что они никто, некая аморфность. То, что один из них был дворник, другой портной, третий красный профессор, читавший лекции по такой философии, которая ни с какой философией ничего общего не имела, — все это ровным счетом о них не говорит. Ничего о них не скажут и их действия, ибо их действия есть лишь следствие функционального устройства этой амебы, а к личности ее не могут иметь никакого отношения по той простой причине, что личности у амебы нет и быть не может.

Непосредственным исполнителем этих изуверств был наш управдом — бледный холуй с лицом крысы, но и о нем я сказать ничего не могу. Он тоже был никто. Эти люди возникли как пузыри; вдруг в их руках оказалась возможность делать зло, в этом смысле они стали чем-то, и, как это ни странно, поэтому мы стали искать в них хоть что-то, присущее человеческой личности. Потом, с середины тридцатых годов, их коммунальная разновидность потеряла возможность делать зло, во всяком случае в пределах моей видимости, и тут очень скоро они превратились в выброшенных из жизни попрошайек, во что-то жалкое, пустое, умирающее, в желеобразную массу, которая когда-то была амебой. Словом, пузыри лопнули, и на их месте ничего не осталось, были они или не были — неясно. И все-таки они были, и были они нашими палачами. Не я награждаю их этим титулом, для амебы он слишком уж романтичен, им наградила их время и обстоятельства. Деятельность палача был высший взлет их судьбы, вершина доступного им вдохновения, а дальше они превратились в ничто. Все виды палачей дальнейшего времени той же конструкции, и чем дальше будет идти время, тем более туманными будут казаться и они сами и их происхождение.

Глава II

В начале двадцатых годов я постепенно совсем перестал посещать школу, и это нудное и столь неприятное заведение начало даже забываться. Однако такая жизнь не могла долго продолжаться, и я после двухлетнего перерыва поступил снова, но уже в другую школу. Не постигаю, как я выдержал приемные испытания.

Школа, в которой я до тех пор учился, по составу учеников была интеллигентская, но мои слишком эпизодические появления на уроках сделали то, что я почти ни с кем не успел там подружиться. Круг моих детских товарищей не был тогда связан со школой.

Теперь, после двухлетнего перерыва, я поступил в бывшую гимназию Ломоносовой. Она помещалась на Сивцевом Вражке в особняке, когда-то принадлежавшем отцу Герцена и описанном в «Былом и думах». При этой усадьбе был очень хороший липовый сад, большой и тенистый.

Эта школа была совсем другого типа, и поступил я туда, по-видимому, по недоразумению, в коем повинен был кто-то в отделе народного образования. Школа эта обслуживала в основном детей типографских рабочих и служащих пожарного

депо, другие слои общества были здесь случайным вкраплением. Новый состав товарищей очень меня заинтересовал. Все они, начиная с нас четырнадцатилетних, и кончая старшеклассниками, твердо знали, что они и есть победивший класс класс-гегемон, и что в самое ближайшее время они победят весь мир. К боям, в результате которых должна обязательно прийти эта победа, они готовились: почти что серьезно стремясь привести себя в боевую готовность, занимались вопросами приведения тылов в состояние революционного порядка.

Ученики старших классов а за ними и мои одноклассники шумели на общих собраниях, в учкоме, на классных собраниях, в кружках — словом, всюду, где было возможно. Они митинговали, решали постановляли, требовали, выкрикивали лозунги, с чем-то и за что-то боролись и твердо, непоколебимо были уверены, что всем этим они делают великое дело.

Мне стоит сейчас зажмурить глаза, как передо мной встает фигура оратора, собственно, еще мальчика, но тогда казавшегося мне взрослым. Тип мастерового еще прошлых времен, но в отличие от тех одетого в военную поношенную гимнастерку или в изъеденную до белых проплешин распахнутую кожанку. И я почти что вижу решительные черты его упрямо сосредоточенного лица, вижу, как он взмахом руки откидывает назад светлые пряди своих красиво вьющихся волос, а ладонью другой руки рассекает в процессе говорения воздух.

Просто непостижимо было, как они не захлебывались своими словами, где набирали бензин для своего говорильного темперамента. Тем более что конкретный повод для всей этой болтовни был весьма от них отдаленным: вроде выборов в английский парламент или предательской политики желтого Интернационала.

Вся эта публика абсолютно верила своему, как она считала, правительству, благоговела перед мудростью его постановлений и почти молитвенно пела революционные песни. В чистых заливытых звуках ребяческих голосов, наполнявших воздух больших, когда-то барских комнат, чудилась даль и ширь, и свет и просторы и моментами казалось что за этим и впрямь что-то есть

Все это было очень далеко от меня, они, мои сотоварищи, на словах создавали новый мир, но даже в туманных проектах этот мир казался мне голым и скучным, обо всем этом я, понятно, молчал гробом. В то же время я немного знал мир, который они или их родители разрушили на деле и продолжали ломать то, что еще осталось, и как раз этот мир был мне близок, но об этом я молчал еще плотнее

Тем не менее мои новые сотоварищи и их шумная деятельность казались мне весьма интересными и благодаря своей полной для меня биологической непонятности вызывали нечто вроде уважения. Однако мне очень быстро стало ясно, что уважение и интерес возможны лишь при соблюдении известного расстояния, что при приближении и они сами и их деятельность проигрывают, теряют для меня свою прелесть.

Впрочем, справедливости ради надо добавить, что они и не стремились приблизить меня к святой святых своего муравейника, скорее всего им было приятно видеть во мне «недостойного».

Я поступил в эту школу весной, а в следующем учебном году умер Ленин. После того как событие это с трагически-траурным видом было сообщено нам, нас распустили на неопределенное время обаяв, впрочем, ежедневно являться в школу. После этого сообщения разошлись далеко не все — так бывает в семьях, где умер кто-то. Около тела покойного остаются самые близкие, или те, кто считает себя близким, или наконец, те, кто хочет, чтобы его считали за такового.

В больших высоких комнатах и коридорах школьного дома стало траурно, панихидно, настороженно и неприятно. Все это напоминало казарму накануне больших событий, где лишь дежурные и начальники сидят кое-где в отдаленных помещениях, ожидая боевой тревоги. В комнатах учкома и бюро комсомола бесшумно находились на страже наши вожаки. Там кто-то плакал, отвернувшись к стене кто-то просто, скрестив на груди руки, строго смотрел в пространство, кто-то с озабоченным видом водил карандашом по бумаге.

Я выскочил отсюда с тем же чувством, с каким бегут от сраженных потерей близких родных покойника, испытывая неловкость, что не только их переживаний, но даже их траура ты разделить не в состоянии.

Даже в нашем опустевшем классе на предпоследней парте кто-то сидел, этот кто-то был самый популярный человек в школе — председатель учкома Морик Лагун. Старшеклассник с хрящеватым лошадиным лицом, он сидел, закрыв лицо руками, его сотрясали рыдания, из глотки его выскакивали хриплые, отчетливо теноральные звуки. Мой приятель Володя К., сын типографской уборщицы, мальчик сердобольный и sentimentalный, сам со слезами на глазах пытался его утешить, говоря: «Морик, не плачь, Морик, не надо», но смущавшие меня рыдания не прекращались.

По какому-то отсчету в силе звука, по какой-то уж слишком теноральной ноте, по какой-то лишней спазме я заподозрил, что здесь что-то не вполне так. По сей

день не понимаю, что означала вся эта петрушка, скорее всего здесь было то, что бьется во время игры. Заигравшись, может наступить мгновение, когда игра станет почти правдой. Так что едва ли это от начала и до конца был чистый спектакль.

Любезнейший Морик, маленький вождь эпохи моего отрочества! Где вы теперь? Может быть, вы погибли вместе с волной троцкистов, может быть, вас убрали в тридцать пятом, может быть, вам посчастливилось кричать ура великому Сталину и умереть, защищая его державу, а может быть, вы здравствуете и по сей день, но теперь денно и нощно мечтаете о том, чтобы вам и вашим детям удалось поскорее унести ноги отсюда и «воссоединиться со своей исторической родиной»?

На другой же день начались непрерывные собрания. Мы с утра и до вечера митинговали. Единственное разнообразие заключалось в том, что меня время от времени вызывали что-либо рисовать, но все, что я делал, явно не соответствовало трагизму темы. В основном же приходилось сидеть в зале, где все время кто-нибудь поднимался на эстраду и говорил, говорил, говорил. То это был директор школы, то ученики старших классов — комсомольские вожди, являвшиеся его воспитанниками, его соратниками, его гордостью и его боевым отрядом. Все они что-то проклинали, чему-то клялись, чему-то свирепо угрожали и при этом непрерывно резали ладонями воздух. Потом в паузах все стоя пели «Вы жертвою пали» или нечто подобное, потом снова кто-то резал воздух ладонями и сотрясал его выкриками.

От всего этого рябило в глазах и звенело в ушах, а в голове делалась полная неразбериха, и казалось, что и сам ты вот-вот забьешься в таком же ораторском припадке.

Наканец в один страшно морозный день, настолько морозный, что я понял, что такое «красный мороз», нас повели по Москве с траурными знаменами и лозунгами, и там где-то в Охотном ряду мы попали в затор. Несметные толпы людей змеевидно вились вокруг Дома союзов, местами горели костры. Вечерело, мороз усиливался. Кто-то, увидев наши замерзшие рожки, сжалился над нами, и нас отпустили по домам.

Возможно, что при моей органической неспособности к мимикрии мне давно следовало уйти из этой школы, но мне здесь было хоть худо и чудно, но интересно. К тому же в четырнадцать лет я не очень умел взвешивать практические перспективы своего будущего. Тем не менее многое здесь меня прямо ставило в тупик. Один пустяковый разговор заставил меня не на шутку призадуматься.

Бывшая заведующая нашей школой Ломоносова, отстраненная от должности, продолжала проживать на территории школы. Заведующим стал молодой провинциальный педагог (кажется, из поповичей), некто Резчик. Этот очень энергичный партиец, заряженный выше ушей самыми крайними идеями, быстро и блестяще повел школу в духе создания атмосферы непрерывной революции. Ломоносовой же, в уважение к научным заслугам и крестьянскому происхождению ее великого предка, разрешили временно прожить в комнате при школе. Этой очень приятной, уже старой женщине, теперь отстраненной от ее детища, приходилось постоянно для сообщения с внешним миром проходить через наш рекреационный зал. Я был немного знаком с ней и поэтому при встречах, естественно, здоровался. Увидевший это все тот же Володя К. с удивлением спросил меня: «Разве ты не знаешь, что она уже не директор, зачем же ты перед ней унижаешься?» Я обалдел от такой постановки вопроса, начал было ему объяснять и вдруг спохватился, догадавшись, что если он, на несчастие, помет мой объяснения, то будет смертельно обижен, и я замолчал. А ведь он искренне, от души предупреждал меня, чтобы я зря не тратил пороха. Я понял тогда, что где-то между нами есть стенка и пытаться переступить через нее бессмысленно, но мне казалось, что жить и общаться с ними в человеческом плане все же возможно.

В действительности жить с ними мне было трудно и становилось все трудней. В любом разговоре, естественно, можно задеть случайно неизвестные собеседнику темы, это бывает буквально со всеми, и нормальные люди едва ли обращают на это внимание. Случалось и мне в разговорах со сверстниками задевать нечаянно подобные темы, но мои пролетарские сотоварищи воспринимали мои слова в подобных случаях как мое желание похвастать своими познаниями. Сначала я ничего не понимал, такая подоночность была мне непостижима, когда же я стал понимать, получилось еще хуже, так как в разговорах я стал осторожничать и вообще изворачиваться, а это не могло не влиять на искренность отношений.

Я был мальчишкой из культурной среды, и потому те или иные интересы у меня смогли проявиться и легче и раньше, а те или иные сведения доходили до меня не только из книг, но и понаслышке от окружающих меня людей. Во всем этом моей заслуги почти не было, исключая, может быть, присущее мне любопытство, хорошую память и мою впечатлительность. Я очень хорошо понимаю, что сведения, которыми я обладал, совсем чепуховые, что в действительности я малообразован, — так понимал это все я, так или еще суровее оценивали это мои родители и так оно и было в действительности. Но мои пролетарские сотоварищи относились к этому иначе. В

этих слоях в те годы было даже преувеличенное почтение к культуре при полном непонимании, что это за зверь и как с ним обращаться.

Мою же культурность, мои познания и даже мои способности они до смешного преувеличивали, создавая образ, мало похожий на действительный. Созданный ими образ, по-видимому, был весьма малосимпатичен, обладал, надо думать, разными сомнительными качествами, но главное было в том, что я в их представлении был неким почти патологическим существом, обладающим исключительными возможностями в таинственном царстве культуры.

Разобрался я в этой бредовой нелепости с большим трудом и, понятно, не сразу. Возможно, что по дороге, не понимая, сделал даже какие-то ляпсусы, но корень зла был отнюдь не во мне, а в них; молчал я или говорил, они все равно любое мое проявление воспринимали по-своему.

Я не думаю, что все они относились ко мне плохо, едва ли это было так, просто я их чем-то смущал, а некоторым из них, может быть, было трудно примириться с таким положением вещей.

Вероятно, со временем все это как-то сгладилось бы, утряслось, тем более что благодаря своей общительности я даже подружился с некоторыми из них, но, к сожалению, педагоги сильно испортили и усложнили мое положение.

Педагогический состав в этой школе по гуманитарным дисциплинам был новый, только что испеченный, весьма элементарный, а по настроениям своим глубоко советский, благодаря чему публика эта не понимала, что происходит в реальной действительности того времени. Эти полуобразованные, наивные до глупости, идеально умонастроенные люди умилялись на мою культурность, на мои познания, то и другое приписывали моим способностям и излишне болтали на эту тему.

В результате надо мной разразилась совсем неожиданная катастрофа.

Аттестацию успехов за предпоследнюю четверть Резчик провел способом, необычным даже для тех времен: вынес этот вопрос на всешкольный референдум. Называлась фамилия очередного ученика, затем педагоги давали оценку его познаний и способностей. Далее старосты классов, члены учкома и, если это оказывалось нужным, члены бюро комсомола давали характеристику политической и гражданской сознательности подсудимого. Далее начинались прения, и любой из присутствующих в зале имел право высказать свою точку зрения или добавить известные ему подробности из частной или школьной жизни разбираемого персонажа. К чести этой публики следует сказать, что добровольцев из зала находилось не так уж много. Однако мы кое-что все-таки узнали. Например, что одна девочка написала свое сочинение не самостоятельно, а в ходе прений мы обогатились сведениями, что списывание есть часть того наследия, которое нам досталось от прошлого и которое будет в дальнейшем искоренено.

Далее директор резюмировал все, что было сказано, и предлагал резолюцию, которая и ставилась на голосование всего зала. Словом, все преимущества демократии при гегемонии рабочего класса здесь были налицо.

Зал был набит до отказа. Там были ученики всех классов, начиная от нашего шестого и до выпускного. Все сидели на длинных скамьях, поставленных, как в любительском театре. На эстраде за длинным столом сидели активисты, учкомовцы и директор. Там же находились и учителя. Весь этот римский цирк начался с утра и затянулся до позднего вечера.

Опять с этой эстрады пытались любой вопрос поднять до должной политической высоты, заострить и профильтровать в свете мировой революции. Опять ораторы вскакивали, кричали, возмущались, угрожали и резали, как положено, ладонями воздух.

Чувствовалось, что будничная обыденность разбираемых прегрешений и подвигов, а главное, однообразие характеров подсудимых было совсем никудышным сырьем. Все это связывало ораторов, не давало проявить себя в полном блеске. Но здесь приходил на помощь более опытный Резчик. Ожидавшие очереди предстать пред всенародным разбирательством, естественно, волновались, волнение передавалось от человека к человеку. Выкрики ораторов наполняли зал, воздух ощутимо густел, и тут очередь дошла до моей персоны. Я оказался не только подходящей для них пищей, но и лакомым блюдом.

Преподаватели сносно оценили мои успехи, а учительница по литературе, похвалив мою учебу, не придумала ничего лучшего как сказать, что по развитию я на голову возвышаюсь над классом.

Это было как раз то, что нужно, то, чего как раз не хватало, это был уже настоящий товар, и на него набросились.

Последней была опрошена преподавательница обществоведения, дисциплины, которая тогда представляла из себя изуродованную историю. Это была рыхлая немолодая особа с низким голосом, с ухватками нигилистки, почти непрерывно курившая. Она в общих чертах, но более сдержанно подтвердила оценку литератор-

ши. С ней как с партийной, как со своим братом церемониться уже не стали, на нее прямо набросились.

Что именно говорилось на эстраде, за общим шумом разобрать было невозможно. Я видел, что ее обступили, что все говорят одновременно, что в воздухе мелькают руки и что она сама кричит истошным голосом и тычет в физиономии оппонентов горячей сигаркой. Потом в наступившей паузе я увидел, что она окончательно струсила и уже только оправдывается и ссылается на меня же, говоря, что не раз-де указывала мне, что я «недооцениваю роль классовой борьбы в истории крестовых походов». Потом взял слово один из вождей — высокий юноша с открытым лбом и светлыми волосами. Одернув гимнастерку и кашлянув, он сказал, что комсомол и общественность считают, что я стремлюсь занять некое внеклассовое положение, что это есть буржуазный анархизм, что я самый настоящий представитель буржуазии, разбитой, но не добитой, что я и есть тот самый внутренний классовый враг, с которым надо не только бороться, но которого надо уничтожить.

Потом возник другой оратор, чернявый, плотный и темпераментный, он оказался ко мне еще более строгим, но не соглашался с предыдущим по вопросу буржуазного анархизма, и все опять пришли в такой азарт, что руки с растопыренными пальцами лезли им прямо в морды. Между прочим, этот оратор клятвенно заверил собрание, что рабочий класс не потерпит, чтобы кто-то вообще выделялся.

И пошло, и пошло. Ораторы-старшеклассники сменяли друг друга, и ни один из них не сказал обо мне ни единого доброго слова. Потом вдруг все неожиданно оборвалось, выдохлось, и в наступившей паузе мне предложили что-либо сказать.

Положение было трудное, в накаленной атмосфере этого собрания говорить по существу было бессмысленно, да и что я мог сказать этой публике, но молчать тоже было нельзя, и я решил парировать самое мне противное и сказал: «В определении моей классовой принадлежности допущена ошибка, к буржуазии я не принадлежу и не принадлежал, отец мой всю жизнь работал, по профессии он художник-скульптор».

Боже, какой свист, хохот и улюлюканье покрыли мои слова. До сих пор Резчик только дирижировал этим побоищем, но тут уже вышел на авансцену и, запустив пятерню в копну своих черных волос, поправил прическу, расставил широко ноги и, глядя сосредоточенно в пол, обдуманно и веско резюмировал: «Все ясно, товарищи, чья голова выше, ту мы и будем сечь» — и так свистнул ладонью по воздуху, что я ощутил, как моя голова оказалась «в ящике, скользком на самом дне».

Он сказал, что, учитывая мою неподходящую идеологию, ставит на голосование предложение о моем исключении из школы без права поступления куда бы то ни было в дальнейшем. «Мы не хотим, чтобы такие учились в наших школах, мы не можем себе позволить роскошь оснащать познаниями чуждую нам, враждебную буржуазную идеологию, с которой нам предстоит в недалеком будущем последняя и решительная схватка».

За это предложение поднялось море рук, их и считать-то было бессмысленно. Мне было очень неловко, я старался не смотреть по сторонам, боясь встретиться взглядом с кем-либо из знакомых, но это была совсем излишняя щепетильность. Сидевший со мной рядом сердобольный Володя К. не только изо всех сил тянул вверх свою ручонку, но еще и опирался на мое плечо. Он хотел, чтобы все видели, что он со всеми, что вопросы дружбы ничто по сравнению с интересами класса.

Даже сидящая на эстраде учительница литературы, заварившая отчасти эту кашу, теперь покрасневшая пятнами, затюканная и перепуганная, вытирая платочком слезы, отвернувшись, подняла руку за мое уничтожение.

На улице лежал мартовский снег, мои шаги оставляли черные следы на тротуаре Калошина переулка. Я знал, что дома отнесутся ко мне с большим сочувствием, что все случившееся как-то уладится, но все-таки на душе у меня было неважно.

Весь путь по Калошину, а затем по Арбату мимо лавок и магазинов, людей и трамваев был мне тяжел, давило воспоминание об этом зале. Его густой воздух соткался из чего-то поначалу вполне пустякового, вроде игры, и лишь потом перерос в накаленную одержимость. В нем кишели бактерии возведенной на трон злобы, в нем было какое-то иступленное умопомешательство, бездомное, серое, липкое, душное. Воздух этот, густея, превратился в тело огромной амебы. Ее слизь заполнила все пространство, она уперлась в наши глаза, залезла в ноздри, в уши, облепила все наше тело, мы задыхались в ее испарениях. Амеба эта была невидимым, но реальным чудовищем, пожалуй, в смысле реальности с ней ничто не могло конкурировать, в жизни она ощущалась постоянно где-то здесь, рядом с тобой, но именно тогда, на этом собрании, в этом зале, я впервые был так весь целиком в ее власти, и это было страшно.

Сам же казус с моим исключением ликвидировался довольно легко — папа, сообразив всю эту историю, переждал день и пошел объясниться. Для этого он оделся демонстративно по-старорежимному. Надел крахмальный стоячий воротничок, не забыл и изумруда на пальце.

За день обстоятельства сильно изменились, случилось что-то, что испугало Резчика. Он, видимо, понял, что несколько поспешил, что общество еще не вполне созрело для римского цирка, в особенности если в роли жертвы фигурирует четырнадцатилетний мальчик.

Разговор был совсем коротким. Резчик просил папу не настаивать, чтобы я продолжал обучаться в этой школе, откровенно сознавшись, что это «поставит его в неудобное положение». Постановление же общего собрания как мираж растворилось в пространстве, и я формально по собственному желанию ушел из этой школы и перешел после каникул в другую.

Через день или два после этого собрания я встретил на улице священника, которого помнил столь же давно, как себя самого. Если я чего-то не путаю, именно он и крестил меня. При встречах со мной он всегда задавал мне несколько стереотипных вопросов, а выслушав равнодушно мои ответы, сурово от меня отворачивался.

На улице он казался чем-то совсем независимым и ни с чем окружающим не связанным, он казался таким абсолютно одиноким, словно был единственным гражданином неведомого гражданства. Был он высок ростом, болезненно худ, стар, сед и сердито, неприязненно мрачен. Морщины на лице у него были глубокие, резкие, нос клювом и маленькие колчужие глаза.

Столь же равнодушно встретились мы и на этот раз на углу Трубниковского, батюшка, как всегда, спросил:

«Ну, как живешь?»

И я сам не знаю, что на меня нашло, хорошо понимая, что случившееся со мной никак рекламировать не следует, вдруг бухнул этому столь мало располагавшему к себе человеку:

«Из школы меня исключили».

Батюшкины брови нахмурились.

«За какие же это художества, позвольте узнать?»

Я, поперхнувшись, ответил:

«За неподходящую идеологию».

Батюшка еще помрачнел.

«Это как же понимать, ляпнул что-нибудь лишнее?»

«Да нет, я молчал».

Наступила пауза, и батюшка, смотря на меня сверху вниз, сверля колючими глазами, сказал:

«Что же, так и сказали, что идеология не такая, как нужно по ихним правилам?»

«Да, так и сказали».

«По-русски они говорить не умеют. Обрадовались непонятному слову и суют его куда ни попадя». А после паузы, вздохнув, добавил: «Что же выходит: молчишь — худо, говоришь — и того хуже. Что же такое у нас с тобой получается? Видимо, брат, как на нас ни смотри, не подходим мы к ним, и баста».

Я взглянул на него и увидел, что никакой неприязненности в нем нет, был он сурово, мужественно прост, и мрачность его обычную сейчас как бы рассек, как бы свел на нет острый, сверкающий и просветленный взгляд.

«Только ты вот что — не унывай, не расстраивайся. Это им надо расстраиваться, что звероподобие свое идеологией называют. Да и у зверей, пожалуй, не так подло, как у них, получается. Мне уже это все ни к чему. Я, видишь ли, совсем умирать собрался, а тебе жить и жить еще, и унывать не нужно. Радоваться нужно, что на них не похож. Плюнь, брат, проживешь и без них». И, приподняв за подбородок мою голову ледяными тонкими пальцами, батюшка перекрестил меня и добавил: «Не вечно же муть эта будет. Доживешь еще до других времен, тогда и меня вспомнишь. Ну, Христос с тобой».

Глава III

Жизнью в подлинном смысле для моего отца была лишь его жизнь в мастерской, все остальное было подспорьем, аккомпанементом. Он говорил:

«Надо, чтобы в мастерской было все в порядке, остальное рано или поздно приложится».

Порядком в мастерской для него была удачно двигающаяся работа.

Мастерская была не только помещением для работы, но и соучастницей в ней. Соучастие принимал тот особый и неповторимый творческий воздух, та рабочая красота, которая делает мастерские некоторых художников столь незабываемо прекрасными.

В подлинном творчестве всегда есть элемент чуда, и потому места, где столь определенно свершается чудотворство, есть всегда места особые, места заповедные.

Папина мастерская была для всех нас центром нашей жизни.

Для мамы так было потому, что она любила отца и, несмотря на ее нескрываемое безразличие к изобразительному искусству, понимала, какое значение искусство, а следовательно, и мастерская имели для него. Она с большим вниманием и любовью относилась к жизни мастерской, была в курсе всего, что там происходило, всегда готова была в чем могла оказать посильную помощь, но «творчество и чудотворство» затрагивали ее не непосредственно, а лишь в той форме, в какой это отражалось на состоянии папы.

Для меня мастерская была центром потому, что то, что там происходило, было мне важнее всего в жизни. При папиной жизни я бывал в мастерской лишь в качестве гостя, и, несмотря на это, она была для меня тем родным домом, о котором говорилось ранее. Ее воздух, ее запахи были атмосферой моего детства, моей юности, моей молодости. Любая другая атмосфера казалась мне менее благоприятствующей.

Мастерская была хороша всегда, в разные времена года и в разные часы дня и ночи, и всегда она была хороша по-разному.

Зимой в теплом, нагретом калориферами воздухе сильней ощущались ее запахи, такие умиротворяющие, такие родные, так сросшиеся с представлением о жизни и счастии. Собственно, это была мудренейшая смесь запахов скипидарных лаков, мокрой глины, масляных красок, разогретого воска, мастики и парафина. Запахи эти наполняли мирную рабочую тишину мастерской. За восьмиметровыми по длине окнами лежали навалы снега, а за ними — серо-лиловые облака с затерявшимся в них багровым угольком заходящего солнца.

Летом закатное солнце полыхало по огромной этой комнате тлеющими квадратными лоскутами. Квадраты вытягивались, становились ромбами, ромбы превращались в ни на что не похожие пятна, они заляпывали подставки, скульптуру, переползали по полкам и стенам, забирались на потолок. В этот час хорошо было, забравшись на высокое окно, выйти за его растворенную воротину на метровый по ширине карниз и сидеть там на опрокинутом ящике вместе с папой, глядя на замирающий над приарбатьем день. День, в котором было много хорошего и плохого, день, который, как всякий день в жизни человека, должен быть благословенным. Из этого дня, как бы там ни было, но уже прожитого, уходило солнце, и взамен ему земля начинала нас завораживать темнеющей зеленью своих садов, прохладой и их долетающим до нас ароматом. Глядя на дали приарбатских крыш, мечталось о дальних дорогах, о путешествиях, о свободе.

Солнечный диск, отказываясь от своего благожелательного расточительства, без особого сожаления отступал от мира, и к его прощальному жесту примешивалась уже нотка безразличия. Диск этот спускался за сине-зеленую дымку Дорогомиллова, и наступали те кратчайшие мгновения, когда город светлел, выцветал, терял контрасты.

Между тем вечерело, свежело, откосы домов слегка лиловели, и то тут, то там над зеленью садов зажигались в окнах огни, прозрачные, слабые, нематериальные. Кто расскажет о них и как о них рассказать?

На нереальных, дымчатых, растворяющихся стенах появляются, возникают по чьей-то воле и словно повисают над миром эти еще более нереальные удивительные светлячки. Свет этих окон неопределим и неуподобляем, он слишком прозрачен, в нем подозрительно много счастья, он почти незапоминаем и совсем не живуч. С ходом вечера от мгновения к мгновению он материализуется, золотеет, густеет, и чем темнее и неопределеннее становится мир, тем ярче над ним, тем сильнее сверкают торжествующие теперь веселые, победоносные окна. Но это уже не те удивительные нежнейшие светлячки. Теперь из погустевшего золотого света до меня начинает доходить свет чужих жизней.

Только теперь я начинаю понимать, что в окружавших меня каменных и деревянных разновеликих кубах под сложными конфигурациями железных крыш, за каждой еще недавно темной дырой окна была недоступная для меня жизнь. О, как тянуло меня к этим жизням, как верил я в их неисчерпаемую глубину, как стремился всмотреться в них. Но что там можно было увидеть, лишь движения, лишённые фабульной осмысленности, кадрированные рамой окна. Силуэты людей, беспощадно обкромсанные этой кадрировкой. Индивидуальное угадывалось там только через специфические ритмы движения людей, но с меня хватало и этого, толчок для фантазии был дан, и обрывок реальности, одухотворенный почти наобум, ничего не теряя, погружался в неизвестность — в тайну.

В этих окнах мужчины все что-то куда-то складывали, а женщины все что-то перетряхивали и что-то перестилали. Их движения казались бормотанием в бреду, а осмысленность была подобна толчению воды в ступе.

Если бы у меня была возможность достаточно ясно разглядеть содержимое хоть одного окна, все получилось бы иначе, но я видел тысячи освещенных окон, обрывки движений, дышал прелестью этих жизней так же, как дышал прохладой этого вечера.

• Когда мы спускались из своего закоулка в четко ограниченное обжитое пространство мастерской, оно оказывалось не таким уж четким, его границы скорее угадывались, оно было затянуто сумраком, в котором чернели провалы.

Через раскрытые двери маминой спальни из столовой лился яркий электрический свет. Мама устраивала чай, и оттуда слышалось веселое позванивание чайной посуды.

После путешествия над городом, над его крышами, над жизнями, под ними заключенными, процесс чаепития как бы продолжал путешествие, подобно тому как чаепитие в кают-компании океанского корабля продолжает твое продвижение по водам.

Звонок случайно забредшего гостя мог быть тоже продолжением путешествия при условии, что этот гость обладал особым миром и умел принести его с собой.

Любил я мастерскую и в поздние вечерние часы, точнее говоря, в ночные, когда замолкали коммунальные звуки, когда весь дом уже спал. Папа, кутаясь в рваное домотканое, еще адампольское, пальто, сидит в кресле за письменным столом, я — у торца стола, на стуле для посетителей. Мастерская погружена во мрак, только свет из-под зеленого абажура настольной лампы освещает идеальный порядок этого стола. Тянется долгий, нудный, собственно, неизвестно когда начатый разговор; ныне эти разговоры от меня неотделимы, где они кончаются, где начинаюсь я — мне неизвестно. Тогда же это было иначе, тогда эти разговоры были неотделимы от светового круга из-под зеленого абажура, от слабо и мягко освещенной фигуры, кутающейся в рваное пальто, от тонущих во мраке скульптур. Точнее говоря, тогда эти разговоры были лишь частью атмосферы этой мастерской, даром невысказанной ее щедрости, жили в волшебном свете из-под зеленого абажура, в мерцающих полутьмах и в черных провалах ее отдаленных углов.

Кроме огромного количества скульптур, заполнявших собой мастерскую и в подавляющем большинстве запрятанных или прикрытых, мастерская хранила свидетельства разнообразных папиных пристрастий.

Подставки и вообще все оборудование было там самого разного происхождения. Многие служило раньше другим скульпторам и даже скульпторам совсем другого поколения. Многие были привезены из Парижа и приобретены там на распродаже чьих-то мастерских.

К некоторым инструментам и даже к подставкам у папы было особое отношение. Для него они были как-то одушевлены и имели вполне индивидуальный характер. Подобное отношение к инструменту бывает у очень хороших мастеров-ремесленников, действительно любящих свое дело. Совершенно особое отношение у папы было к двум любимым пальмовым стеклам, которыми он пользовался. Я думаю, что он ценил их не только за их мудрую красоту и пластичность, но и за то, что они как соратники прошли с ним вместе его рабочую жизнь. Он почти ритуально, с любовью тщательно мыл и протирал их после работы и ставил в майоликовую вазу над своим столом. Этим жестом заканчивался его рабочий день. Ему была неприятна мысль, что после его смерти может так случиться, что стеки эти попадут в руки человека, который будет с ними обращаться «по-свински», и они «запаршивеют» от налипшей на них глины. Но его любимый молоток и эти стеки от подобного гарантированы, они похоронены вместе с ним.

Ранее я писал, что мастерская отца и «сень тригорских лип», иными словами, адампольских, являются частями того целого, которое следует именовать моим родным домом. Так было и есть, но по поводу мастерской я должен оговориться. Речь идет лишь о мастерской того времени, когда там жил и работал папа. После его смерти в результате различных жилищных ужатий в эту мастерскую въехал я.

Если подходить чисто внешне, то от этого в мастерской мало что изменилось, я просто втиснулся туда; при большой величине этой комнаты мое присутствие и мои рабочие приспособления не могли повлиять на просторность мастерской. Ее простор каким был, таким и остался, а вот что-то другое ее изменило. Подходя опять-таки чисто внешне, можно говорить о том, что если живописная мастерская плохо сживается со скульптурой, то графическая и тем более. В занятии графикой есть некая мельтешня, для этого дела и куска стола достаточно, и в то же время захлестить ею можно целую комнату.

Но такой внешний подход — это отговорка, никак не раскрывающая смысла явления, понимал я это и тогда, понимаю еще четче теперь.

Дело было в том, что мастерская была создана моим отцом и была выражением характера его дарования, его вкусов, привычек, образа жизни, его рабочего ритма. Именно в этом и заключалась ее особая прелесть, делавшая ее самое почти что художественным произведением.

Теперь обстоятельства сложились так, что туда въехал сын, сын, внешне очень похожий на отца, да во многом, пожалуй, и внутренне, к тому же этот сын ничего в этой мастерской радикально менять и не собирался, казалось бы, что для мастерской

вариант получился наиболее удачный. Однако очень скоро этот сын, то есть я, стал ощущать, что своим присутствием он чем-то непоправимо испортил эту мастерскую. Ни я, ни моя работа не вписывались туда, мы находились в противоречии со всем, что было в этой мастерской, а она в свою очередь как бы хотела все время выплюнуть меня вместе с моим бараклом. Я сознавал, что правота лежит на ее стороне, но в то же время выплунуться мне было некуда. Отсюда мое пассивное упорство и постоянное чувство своей виновности. Примирилась она со мной ненадолго во время войны, на короткий период воздушных бомбежек.

Ничто внешнее не заставляло меня высиживать эти ночи там, на последнем этаже одного из самых высоких домов приарбатя. Слушать, а иногда и видеть, как то там, то сям совсем недалеко рвутся фугасные снаряды, как тарыхтят пулеметные очереди по железной крыше над моей головой, любоваться фейерверком трассирующих пуль, огнем пожаров и при всем том чувствовать себя если и не вполне спокойно, то, во всяком случае, очень и очень неплохо.

Я воспользовался возможностью хоть как-то сквитать наши счета, и с души у меня словно камень упал. Мои тогдашние чувства, если бы их выразить словами, были бы примерно такими:

«Видишь, я не просто в тебе поселился, воспользовавшись случайностью права, наша связь старинная, исконная, естественная. Пришло страшное время, тебе угрожает опасность, и я тут, с тобой, если будет возможность помочь — помогу, а если тебе суждено погибнуть, то погибнем мы вместе».

И я сидел в глубине мастерской, привалившись к спинке дивана, покуривал, смотрел и слушал, как небо за огромным окном рычало, грохотало и вспыхивало, а временами и сотрясало дом. Понятно, что вышеприведенного дурацкого монолога я не произносил даже про себя, но чувствовал я примерно так.

Мастерская тоже молчала, к ожидавшей ее судьбе относилась с мудрейшим спокойствием. За ее молчанием можно было прочесть примерно такое: «Все правильно, иначе и быть не могло, твое место сейчас именно здесь».

Действительно, в эти ночи я чувствовал себя и на месте и при деле, но прошло время, и все стало по-старому. Опять основные обитатели мастерской продолжали враждовать со мной, их значимость, их целесообразная красота были несомненны. Любая подставка, любой инструмент, любая бутылка говорили об этом, однако они уже годами находились в бездействии, и то единственное, что составляло их жизнь, то есть использование их по назначению, делалось моей женой лишь в незначительной степени. Потому-то когда она там в это пятнадцатилетие хотя бы эпизодически, но все же работала, на душе моей становилось легче. Поэтому также я там с удовольствием занимался фотографией, с удовольствием формовал из гипса и грубо обованивал камни для жены. Но все это были лишь паллиативы, не способные ничего изменить по существу.

Моя жизнь в мастерской была сожительство по принуждению; тем, что я там все же жил, я был как бы фактическим победителем, в действительности же я был побежденным.

Когда через пятнадцать лет нас выселили из Серебряного, моей мастерской стала комната в два раза меньшая и несоизмеримо менее красивая, но жить мне стало куда легче.

День начинался в нашей семье не раньше девяти. За кофе папа мельком пробежал газету, с тем чтобы основательно ею заняться потом, после работы. Как многие люди его поколения, он дня не мог прожить без газеты. Гласность в России прочно распространилась в эпоху молодости их отцов и с тех пор пустила глубокие корни. До революции для чтения газеты никакого особого умения не требовалось, в газете все было написано черным по белому, пробежав две газеты разных направлений, ты более или менее был уже в курсе событий.

После революции газеты заболели агитационным психозом, а с середины двадцатых годов их содержимое стало смахивать на бредовую трескотню маньяка. Развиваясь в бесконкурентных условиях, они превратились в орудие одуривания, оглуления читателя, чтение же их — в подобие решения задач с ошибочными условиями. Папа довольно скоро сумел приобрести необходимые навыки, научился читать как бы сквозь то, что там было написано, и, таким образом, кое-что из газет выуживать. Ничего оригинального в подобном чтении не было, не он один читал газеты подобным образом, но делал он это очень квалифицированно и добросовестно.

Потребность ежедневно читать газеты осталась от прошлого. Наши отцы ощущали себя частью всего мира и хотели знать, что в этом мире делается. Они понимали, что им теперь запрещают всякую связь с миром, что газеты преследуют цель скрыть от них любую форму правды. Понимать это они, конечно, понимали, но смириться с этим не могли и потому упрямо сверлили газетные простыни.

А я почти с детства ощущал себя объектом, на который направлены недоброжелательные стихии, направление этих стихийных ветров я ощущал непосредственно своими боками, так что никаких других ориентиров для меня и не требовалось. Чувствовать себя частью целого мира я не мог, так как о мире этом знал лишь понаслышке.

Кроме газет и собственных набитых боков, был еще и другой источник информации — это слухи. Источник этот обычно пользуется весьма скверной репутацией, однако в условиях этого полувека в России он оказался надежным. Конечно, слухи бывают весьма разного качества и столь же разного происхождения, вплоть до слухов, пущенных самой властью. Кроме того, слухи очень зависят от умственных качеств тех, через кого они прошли. Однако разобраться в этом возможно. Жизнь в конце концов научила нас этому.

Получается нечто весьма любопытное. Гласность в России создана поколениями моих дедов, и уже они не мыслили жизни без ее услуг. В этом смысле я по сравнению с ними основательно деградировал и больше смахивал на тех безграмотных деревенских мужиков прошлого века, которым для ориентира в жизни хватало собственной «поротой задницы» и недоверчиво, тупо перемолотых слухов.

Существенным делом для папы был выбор книг для чтения на ночь. Лучшим видом литературы для этого были книги по геологии, по фотографии, по технике, венцом же желаемого были книги о кристаллах и драгоценных камнях. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. По этому случаю происходили такие разговоры:

«Не понимаю, что ты находишь в этих книгах?»

На это папа, глядя в сторону, отвечал:

«Что же я могу сделать, если ты — идиот. — И тут же добавлял: — Впрочем, не расстраивайся, многие художники устроены именно так».

«Как же именно: идиоты или не читают подобных книг?»

«И то и другое одновременно. А книги эти, к слову сказать, очень дельные. И на ночь ничего лучше придумать нельзя».

За книгами собственно литературными папа обращался ко мне. При выборе этих книг он был особенно осторожен. Прежде всего они должны были быть по-настоящему хороши, потом — быть такими, чтобы их настроение не испортило ему ночи и, следовательно, рабочего дня. Чтобы в них не было слишком занудистских длиннот и, наконец, желательно, чтобы они не слишком уж многократно им были перечитаны.

В конце двадцатых и начале тридцатых годов папа к моим литературным вкусам относился весьма критически. В эти годы в издательстве «Academia» вышло начало Марселя Пруста: «Имена местностей» и «В сторону Свана». Я упивался этими книгами, перечитывал их много раз вдоль и поперек. Папа видел у меня на столе эти книги, но тщательно их избегал, говоря:

«Ну нет, это читай сам».

Но как-то, забрав у меня том Лескова, неожиданно положил его обратно, сказав: «Невозможно, знаю уже наизусть. Давай твоего Пруста. Черт с ним, попробую одолеть».

Наутро, прихлебывая кофе и блестя глазами, говорил:

«В этих невероятно длинных фразах, в этих скобках, в том, как он подбирает слова и, кажется, не может их найти, а в то же время находит нечто большее, в этом есть смысл и оч-чень интересно. Поначалу я с трудом его читал, хотел уже плюнуть, а потом зачитался».

С тех пор акции Пруста росли в нашем доме день ото дня, имя его звучало постоянно из папиных уст. Он зачитывался им не хуже меня. С Пруста началась и некая частичная реабилитация моих пристрастий.

Достоевского папа с юности не перечитывал и даже по какой-то случайности «Бесов» вообще не читал. Я же в те годы как раз зачитывался «Бесами», поражаясь аналогиям и неожиданным освещением первоисточников. Все мои попытки всучить ему эту книгу он прерывал в корне с нескрываемым раздражением:

«Я беру книгу, чтобы хоть как-то себя привести в порядок, а ты мне что подсовываешь?»

Наконец за отсутствием сырья ему пришлось сдаться, эффект оказался вполне неожиданный: его привел в совершенный восторг Степан Трофимович, ко всему прочему в романе он остался равнодушен. Степана же Трофимовича принял как изумительно вылепленный портрет, вылепленный необычайно художественно, глубоко, легко, точно. Я даже не могу вспомнить, чтобы какой-либо другой портрет на моей памяти его так восхищал.

Ставрогина он нашел слишком «первым любовником», а моя чрезмерная агитация в пользу Кириллова ему надоела. Он говорил:

«Возможно, ты и прав, но не моего романа».

Конечно, в Степане Трофимовиче его привлекало художественное совершенство, с каким этот образ был подан, но потом я понял и другое: то, что мы с ним находились в разном положении по отношению к прототипам этого образа. Он в своей юности мог знать и знал живых Степанов Трофимовичей и восхищался великолепным портретом, модель коего была ему хорошо известна. Понял я еще и то, что к литературе он подходил с позиций, ему более близких, то есть искал в ней что-то близкое к скульптуре, к портрету, а все специфически литературное оставляло его равнодушным.

Засыпал папа не раньше трех часов ночи, и время с двенадцати до трех давалось ему мучительно. Это время сопровождалось плохим самочувствием, его познабливало, и вообще в эти часы его физическое состояние как-то развинчивалось, а недовольство собой, заглушенное шумом дня, звучало явственней и безнадежней. Вот, для этих-то часов и требовалась помощь литературы, он боялся бессонницы и на моей памяти уже не мог спать без снотворного, а в описываемую эпоху осенью и зимой принимал двойную дозу люминала.

То, о чем я рассказываю, описывает распорядок жизни в нашей семье, но таким он был лишь в относительно спокойные периоды нашей жизни. Между тем не проходило года, чтобы на нас не сваливались какие-либо экстраординарные неприятности. Тогда наступал период защитных действий, период борьбы, хлопот, обивания порогов в поисках защиты, добывание бумаг, снабженных печатями и подписями, на это уходила масса энергии, и была угроза, что папина нервная система, и без того не крепкая, того и гляди сдаст совсем. Такие тяжелые полосы тянулись долго — месяц, два; папина работа трещала, а он сам целиком переключался на эту бесперспективную самооборону.

По фабуле эти полосы были разнообразны, но содержание имели одно, заключавшееся в том, что мы оказывались против фронта очередного советского шквала.

В конце двадцатых — в начале тридцатых годов я не только был в курсе этих дел и принимал в них участие, но активная моя роль была относительно второстепенная. Основная тяжесть лежала на родителях.

Мама относилась к этим бедствиям трезво, с чисто деловой точки зрения: надо сделать все, чтобы выстоять этот очередной натиск, а дальше все будет хорошо. Папа активнейшим образом защищался от этих напастей но испытывал омерзение к самому процессу защиты и ни в какое хорошее будущее не верил.

Папа прекрасно понимал, что мамина вера в жизнь, ее оптимизм были временами единственным стержнем, за который мы все держались, но в то же время к этой вере в жизнь и к «обязательному хорошему завтра» он испытывал весьма основательное недоверие.

Мама была не только на редкость разумным человеком, но во многом, пожалуй, даже мудрым. Понятно, что папа неоднократно пытался выяснить, на чем именно основывает она свою несокрушимую уверенность на хорошее завтра, и, естественно, выяснить он мог лишь то, что корни этой уверенности лежат в ее человеческом устройстве. Такое объяснение делало для него мамину уверенность не вполне доказательной.

В такие тяжелые полосы бывали вечера и ночи, когда безысходность и безнадежность буквально придавливали его. В такие ночи сидеть за письменным столом в молчании мастерской было очень, конечно, трудно, и я тогда заходил к нему.

Его, пожалуй, мучила не столько очередная конкретная навалившаяся тяжесть, сколько то, что эта новая тяжесть прорывала как бы брешь в том тумане, которым мы сами себя окутываем, чтобы как-либо не догадаться о правде. В этой прорванной бреши, в ее черноте он чувствовал, что что-то большое и безобразное наваливается на нас, думать о том, что, возможно, это и есть наше будущее, было страшновато.

Я вырос в обстановке этих шквалов, для меня подобная болтанка была почти что нормой, в надежду на лучшее я верил меньше, чем он, но считал это как бы условием игры. Точнее говоря, мой возраст и сопряженное с ним легкомыслие позволяли мне думать, что и при таких условиях игры жить можно.

Едва ли его устраивала подобная концепция, но, во всяком случае, она была ему хоть понятна, поэтому разговаривать со мной на эти темы ему было легче.

Достигал ли я чего-либо во время этих ночных бдений, не думаю, разве только того, что он выговаривался с собеседником. Правда, не слишком квалифицированным, но все же. И наконец около трех-четырёх часов ночи мог принять свой люминал с надеждой, что он подействует.

Совсем особую роль в папиной жизни играли прогулки. Их отдаленно можно уподобить приобщению к тому прекрасному, что таит в себе жизнь.

Далеко не всякое время годилось для этих прогулок. Для них необходимо было хорошее теплое предвечернее время, нужно было, чтобы шквал очередных сложностей не находился близко к зениту, не менее важным было и то, чтобы папино физическое состояние было хоть более или менее сносно.

Гулять папа отправлялся или в одиночестве, или с каким-либо спутником, прихватывая зачастую и меня. От спутников тоже требовалось отвечать некоторым условиям, сводившимся в основном к тому, чтобы если они уж не могут своим присутствием украсить прогулку, то хоть умели бы не портить ее.

Прогулки никогда загодя не планировались, решение пойти гулять возникало почти внезапно. Папа тщательно одевался, повязывал свой самый красивый, еще парижский, галстук, надевал на палец любимое кольцо с изумрудом, набивал папиросами портсигар и, прихватив трость, отправлялся в путь. Сам ритуал одевания проходил без спешки, с толком и, пожалуй, даже с любовью к самому этому процессу, ритуал этот шел от времен для меня археологических, времен, когда папа славился своим умением одеваться очень строго и в то же время элегантно.

В нем как в человеке: и в его поведении, и в том, что он говорил и как он говорил, — не было ничего привнесенного извне, во всяком случае, заимствованного, напускного меньше, чем в ком-либо из виденных мной за жизнь людей. Между тем именно во время прогулки он раскрывался до конца и более чем когда-либо был самим собой.

Поэтому мне приятнее всего оживлять его в своей памяти именно в моменты прогулок.

В распахнутом пальто, в небрежно на затылок сдвинутой шляпе, с головою слегка приподнятой, с прядью влажных волос на лбу. Он идет большими стремительными шагами, слегка на ходу пошатываясь, размахивая тростью, стучит ее наконечником по камням. Глаза у него веселые и одновременно задумчивые, он идет, по привычке пожевывая кончики усов. Он идет, как бы впитывая в себя окружающее, и в то же время находится за тростью земля от него.

Места наших прогулок были весьма различны, часто по пути забредали мы на московские кладбища, в те годы заброшенные и пустынные, заросшие травой, лопухами, крапивой и всяческим сорняком, заваленные черными перепрелыми листьями. Среди этого заснувшего мира возвышались то там то сям элгии из камня и бронзы, сделанные замечательными художниками и безмянными мастерами-ремесленниками.

В описываемые годы москвичи как-то конфузились кладбищ, насчет смерти было не вполне ясно — можно это или нельзя. Во всяком случае, считать смерть делом вполне советским было затруднительно, в смерти чудилось что-то глубоко не марксистское, и потому такое прозрачное напоминание о ней, каким были кладбища, воспринималось населением как бестактность. Уже по одному этому стоило посещать московские кладбища.

Если наша прогулка начиналась с Новодевичьего, мы спускались к прудам, обсаженным огромными старыми ветлами, и, пройдя через бесконечные огороды, перебирались на тот берег реки. Здесь, на поросших липами отрогах Воробьевых гор, была уже не городская прохлада, и оттуда, сидя на бугорке, мы смотрели, как летний город тонул в сине-лиловых вечерних сумерках, как на фоне их вырастали отороченные нарядным кружевом каменные цитадели Новодевичьего.

Если наш путь начинался с Донского, то туда мы шли так, чтобы пройти мимо усадьбы, описанной в «Первой любви» Тургенева, воспоминание о которой мне удалось лишь недавно и довольно коряво изобразить в иллюстрациях к этому роману. И я рад, что трижды в них изобразил тот прелестный мраморный фонтанчик с крылатым толстеньким эльфом, держащим над головой чашу большой раковины, который стоял в саду перед домом. От всей этой усадьбы теперь и следа не осталось.

Потом мы шли через бывшие Ноевские оранжереи к Мамоновой даче и спускались к реке. Если в то время в карманах у нас был свободный рубль, мы могли нанять лодку и плыть в ней по густой темной реке в направлении Крымского моста среди темноты парков и маслянистых огней набережной.

Если же нашей исходной точкой был Даниловский монастырь, то оттуда мы тоже пробирались через задворки к реке. Там местность сразу менялась, увеличивались масштабы всего, большие бугры, буераки и плоскости — все было величественно, печально и голо. Закатное солнце било нам в спину, река была широка и медленно несла тяжелые желто-оранжевые воды. На противоположном берегу на высоких, поросших травой буграх стоял, опираясь в эти бугры своими слоновьими ногами, Симонов. Самый грандиозный и монументальный из монастырей Москвы. Тот, кто первым среди равнин встречал татар и прикрывал мощью своих башен и стен Москву.

Пока мы ждали перевозчика, река становилась аметистовой, когда мы переплывали ее, река бледнела, и все выше вздымались к небу колоссальные башни.

Уже на том берегу, взбираясь на кручи, мы все более и более понимали слово «твердыня» и слово «история». История там казалась не дном колодца, а только что промелькнувшими сутками. Казалось, что, взглядевшись в унылую равнину московского пригорода, равнину, навстречу которой гиганты башни выпятили свои граненые груди, ты увидишь на горизонте этой равнины пыль и в ней очертание лавины из коней и людей и услышишь те омерзительные звуки криков, гогота и присвиста.

звуки, которые так плотно вошли в наше существо, что при мысли о них до сих пор содрогается наше сердце.

Через несколько лет монастырь этот под лозунговые выкрики оголтелых энтузиастов тридцатых годов двадцатого века был взорван и срыт, а на месте его построено здание, наименованное Домом культуры, сооружение убогое, как стенгазета.

От Симонова мы долго добирались до конечной остановки трамвая, усаживались в нем у окон и, грохоча и скрежеща железом, ползли по окраинам к центру. Там пересаживались и теперь летели по освещенным электричеством, бурлящим людскими потоками улицам и вдоль совсем темных таинственных бульваров. Наконец мы выходили в районе Арбатских ворот и шли по извилистым темным переулкам приарбатя. Мы шли в окружении светящихся окон за каждым из которых была своя жизнь. Там любили, и делали зло и радовались, и плакали, так что вернее, что эти окна были светящимися глазами смотревшими в темноту улиц и переулков и ждавшими от них утешения.

Наконец мы попадали домой, в Серебряный.

Есть ли на свете что-либо прекраснее этой усталости после прогулки. Мы возвращались освобожденные, вытряхнув из душ весь мусор. Мусор набирается в нас во все возрасты, и также и в юности. Мусор этот приобретает вес лишь относительно индивидуума.

К тому же мы возвращались еще и наполненными ощущениями живой жизни ее трепетом, ощущениями многообразными и по сути своей невместимыми. Мы были переполнены ими и несли их в себе, боясь расплескаться.

Ты вытянешься под простыней на кровати, пристроишь получше к подушке голову, и тут наступит момент, когда ты уже не бодрствуешь и еще не спишь очень короткий момент, и тогда ты почувствуешь то, как ты устал и то что мир, который ты выпил, весь в тебе, навсегда.

И ты спокойно заснешь.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава II

Я, живший в художественной среде, стóлкнулся с искусством, когда едва-едва начал смутно что-то различать в окружающем меня мире. Таким образом, художественная атмосфера дана была мне как бы при самом рождении. Лично мне принадлежит лишь исключительная к ней восприимчивость и отбор. Очень рано, чуть не с восьми лет, живопись, поэзия, проза и их неизменная спутница история стали для меня единственными интересами. Все прочее отскакивало от меня. О чем говорит математика, я не понимал, остановить свое внимание на физике не мог слово «химия» вызывало подобие изжоги.

Уже говорилось, что родители к моим школьным делам были совершенно равнодушны. Однако не только родителей, но и многих близких знакомых смущало мое равнодушие к чтению вообще. Ведь, казалось бы, мальчик, не слишком отягощенный школой, имеющий явно свои интересы, назовем их литературно-художественными, должен в свободное от «лоботрясничанья» время много читать, а этого как раз и не было. Речь идет о времени, когда мне было одиннадцать—тринадцать лет. И вот эти близкие знакомые, желая скорректировать родительскую индифферентность, стали приносить мне уйму книг именно таких, которые должны бы были, по их понятиям, сильно заинтересовать всякого мальчика. Результат был самый плачевный, одолеть эти книги я не смог. Ни Жюль Вернов, ни Куперов, ни Вальтер Скоттов читать я не мог как тогда, так и впоследствии. Мне стоило прочесть несколько страниц, как меня охватывали несусветная тоска и скука. Но все это было еще полбеды, хуже было то что я стал бояться книги: откроешь ее — а там опять та же белиберда.

Так родился миф о неглупом мальчике который не способен читать книги. Конечно, я подал достаточно поводов для создания этого мифа. Однако в действительности дело обстояло иначе.

Я научился читать тогда же, когда все обычные дети научаются этому делу. Объектом моего чтения сразу стали Пушкин и Лермонтов. Я читал их запойно от корки до корки или выборочно какие-то куски, настоятельно требующие в данный момент возобновления. Хотя я больше всего хотел читать стихи, но у Пушкина и у Лермонтова предпочитал прозу. Мне просто было необходимо залезть внутрь повествования, соучаствовать в нем или хотя бы чувствовать авторский локоть. Естественно, при таком чтении я наизусть знал целые страницы или даже главы, но мне

все равно было этого мало. Я читал заново и находил такие интонации, такие новые для меня повороты, что всегда поражался, как же я этого не замечал раньше. Эта манера вечно перечитывать знакомое, стремиться ощутить «до лопаток» понравившуюся мне книгу сохранилась у меня и поднесь. Любопытно, что когда русская и мировая литература хлынула на меня потоком, а это было в четырнадцать лет, то оказалось, что я часто встречался с чем-то, что было перечувствовано и передумано в далеком детстве в пушкинско-лермонтовский период моего чтения.

В тот же период я столь же запойно и неотрывно читал Евангелие и отчасти Библию, и каждое новое чтение этих книг оказывалось таким новым, что казалось, что я читаю их впервые. Но это как раз понятно, ведь книги эти абсолютно бездонные, и, пожалуй, человечество ничего бездоннее их не написало и не напишет.

Взрослые, если натыкались на меня, читающего толстеннейший том Священного Писания, говорили, смеясь: «Ты что, наизусть это зазубриваешь?»

Наизусть Евангелие я даже фрагментарно не знаю и по сей день, книги эти не для «наизусть».

К вопросу о чтении следует прибавить и мое внимательное прислушивание к разговорам между взрослыми. Я старался отцедить из слышанного все, что касалось искусства, литературы, религии. Надо сказать, что литературные разговоры за нашим чайным столом были весьма редки, а вопросы, связанные с религией, могли упоминаться лишь вскользь. Однако с меня хватало и этого, что-то нужное я умел выжать для себя, несмотря даже на то, что никогда не решался задать сам вопрос или переспросить.

Ценнейшим подспорьем для моего образования было рассматривание. Здесь я говорю не о моем постоянном шлянье по музеям, которых в те годы в Москве было с большим избытком. Я говорю о рассматривании книг по искусству, журналов начала века: «Мир искусства», «Старые годы», иллюстрированное приложение к газете «Русское слово» — журнал «Искры», и, наконец, обожаемый мной «Сатирикон». Завалы этих журналов лежали в библиотечных шкафах и были всегда к моим услугам. Я же готов был целыми днями их переглядывать, без всякого труда вживаясь в тот мир, который они отображали. Даже в ряде последующих десятилетий я для многих был ходячим библиографическим справочником, мог без запинки сказать, в каком году, в каком толстом журнале и даже в каком номере напечатано то-то и то-то.

Настоящее чтение пришло ко мне поздно, в четырнадцать лет, и проложил мне дорогу туда Тургенев. Объяснить это я могу лишь сугубо субъективно, что-то нас роднит, недаром я около тридцати лет делал иллюстрации именно к его произведениям. Тургеневское мироощущение, та воздушная атмосфера, которая окутывает почти все им написанное, настолько мне близка, что кажется мне моей собственной. Да простится мне этот приступ мании величия. Со стихами было еще проще, тяга к ним была у меня всегда, но по-настоящему дорога в русскую поэзию открылась для меня в те же четырнадцать—пятнадцать лет после знакомства с поэзией Пастернака.

К мифу о нечитающем мальчике мой отец относился равнодушно, а вот мое невежество в области естественных и точных наук ему явно не нравилось. Пытаюсь что-то для себя выяснить, говорил:

«Послушай, братец, а ты, часом, не идиот?»

Я, естественно, протестовал, тогда папа говорил:

«Ну, если ты в этом твердо уверен, рад за тебя. Но ведь это же на самом деле все очень и очень интересно».

К невежеству, безграмотности в этих вопросах он был либерален, но отсутствие у меня всякой в этих делах пытливости его раздражало:

«Ну и однобокий же ты, просто черт знает что. Абсолютно не понимаю, что из тебя получится».

Для того чтобы это было понятнее, надо помнить, что мой отец родился, вырос и возмужал в девятнадцатом столетии, в самой сердцевине верхушечного слоя пресловутой русской интеллигенции. В этой среде нормально образованный человек не мыслился без того, чтобы он не был хоть как-то знаком с естественными и социальными науками. Человек, лишенный широкого научно-политического кругозора, воспринимался просто как неинтеллигентный. Люди девятнадцатого века еще твердо стояли на земле и ждали именно от науки феерических перспектив.

Верным это было не только для того века, но и для начала двадцатого. Естественно, что папе не очень приятно было видеть своего сына каким-то духовно однобоким калекой. Странно, что папа хорошо знал, что наиболее образованные слои интеллигенции ни черта не смыслят в искусстве, и, однако, легко им прощал это. А вот невежество художника терпел с трудом.

Теперь, когда я пишу эти строки, как-то все обстоит иначе. Среди моих близких знакомых немало людей, стоящих по праву на вершинах научно-иерархической лестницы, и никому из них не приходит в голову считать свою науку чем-то

общеобязательным. Скорее наоборот, нечто более значительное и общеобязательное они хотят видеть и в искусстве, и в литературе, и даже в элементарном богословии, которое им почти неизвестно.

Но сейчас на дворе стоят восьмидесятые годы двадцатого века, чудеса техники стали чем-то обычным, а глобальные научные открытия, значительно обогнав технику, решили временно отдохнуть. Но даже после заслуженного отдыха позитивные науки, если им удастся расправить крылья и породить новых Эйнштейнов, едва ли займут царственные престолы в жизни человечества.

Папа, как и многие в двадцатых годах, очень увлекался Шпенглером, противоречия в этом я не вижу. Ведь сила этой прекрасной книги именно в том, что Шпенглер рассуждает с тех же позиций конца девятнадцатого — начала двадцатого века.

Однажды, во времена, когда мне было двадцать два—двадцать четыре года, папа увидел меня, читающего «Апофеоз беспочвенности» Шестова. Серdito сверкнув глазами и усмехаясь, сказал:

«Только этого тебе не хватало. И так еле-еле на ногах держишься. Книга ка-ак раз по тебе. Благодарнейшего читателя Лев Исакович в тебе обрел».

Свое сожительство с теми интересами, коими живу и по сей день, я числю почти с рождения, календарные же даты — это нечто притянутое за уши. Такой датой можно считать окончание средней школы, которую я юридически даже не окончил, уехав за месяц до окончания на дачу к Кончаловским, где и застрял на все лето. С начала зимы надо было уже серьезно думать, куда себя пристраивать, хотя это не совсем верно, так все решилось раньше и само собой.

Выбор мог быть между искусством и литературой, ни с тем, ни с другим мне расставаться не хотелось.

Слово «выбор» следует понимать как литературный оборот, в действительности и выбора-то никакого не было. Я и тогда прекрасно понимал, что литература как специальность — дело не по мне и абсолютно исключающее возможность заниматься изоискусством. Тогда как любой вид изоискусства никогда никому не мешал писать, и в «любительщине» ни Фромантена, ни Делакура никто не обвинит. Но это всего лишь рассуждения, и существовали они подспудно.

Было нечто куда более для меня важное и решавшее категорически вопросы о литературе. Это было вето, наложенное Борисом Леонидовичем Пастернаком на мою деятельность на этом поприще. Понятно, что на самом деле никакого вето не было, просто я воспринимал это как вето, и этого было вполне достаточно, чтобы я через всю жизнь пронес любовь и чувство благодарности к этому человеку. Это был тончайший, трогательно деликатный человек, он умел за поверхностью слов слышать пульсацию, за образом или мыслью — те подземные ключи, которые их питают; поэтому так легко было при встречах с ним разговаривать и одновременно столь трудно.

Таким образом, литература была отмечена значительно раньше, чем встала проблема о том, куда себя практически пристраивать. Изоискусство всегда незыблемо оставалось моим основным интересом. Из всех видов искусства больше всего меня тянула живопись. Слово «тяга» тут не совсем правильное, дело в том, что на все: на скульптуру, архитектуру, прикладное искусство, даже просто на окружающий мир, — я смотрел с позиции цвета. Это было не только тогда, это же осталось и до сегодняшнего дня, это относится и к литературе: только уловив в ней цветовую гамму, я как бы начинаю в ней ориентироваться. Несмотря на все мои живописные неудачи, только краски и кисти способны делать из меня не пасынка, а как бы правомочного человека мира сего.

Таким образом, я вплотную подошел к живописи.

Здесь мне хочется сделать отступление, забежав на много лет вперед, для того чтобы еще раз преклониться перед понятием «судьба». Для меня судьба идентична понятию Промысла Божьего, но всякий пусть понимает это на свой лад, я написал слово «судьба» потому, что оно звучит скромнее.

Судьба грандиозна, понять ее величие не в наших возможностях, ведь она ко всему еще и необозрима. И все же нам иногда дано увидеть, как она уверенной и доброй рукой ведет нас именно туда, куда надо. В результате ряда общественных и жизненных пертурбаций я стал иллюстратором литературных произведений. Моя воля в этом не только не участвовала, а скорее наоборот, я брыкался и мешал этому. И вот получилось как-то так, что теперь я могу сказать, что оба потока моих устремлений, литературный и художественный, слились воедино.

Если бы передо мной лежал некий чистый лист и мне бы предстояло его заполнить именно так, как я хочу, содержанием своей жизни, то едва ли я по своей воле сумел бы заново, за исключением, понятно, деталей, изменить его в крупном, сделать что-то мудрее и лучше.

То, что я пошел по искусству, понятно, очень расстраивало мою маму. Она предпочитала для меня более безопасное плавание, видеть меня хотя бы доктором-

ларингологом ей было бы куда приятнее. Но она была слишком умна, чтобы думать, что слова в данном случае могут хоть что-то изменить. Чтобы смягчить для мамы эту неприятность, я говорил всем, что буду поступать на архитектурный факультет, но постепенно всем моим ближним стала понятна истина, и к ней как-то привыкли.

Папа, посмеиваясь, говорил: «Бедная мать, ничего не скажешь, не повезло ей в жизни. Выходила замуж за вполне приличного студента-юриста, а оказалась женой скульптора, а теперь еще единственный сын попер тоже по искусству».

Сам же папа к моему решению внешне относился с осторожным невмешательством. Он явно давал мне понять, что задача эта со всеми неизвестными. Именно это понимал я сам даже тогда, но относился к этому абсолютно равнодушно. «Как у тебя с этим получится, я даже и приблизительно не догадываюсь, в этом деле ничего не придумаешь. Во всяком случае, по твоему складу должно было быть что-то в этом роде».

Я же все это вплоть до интонации пропускал мимо ушей. А уж кому-кому, а мне-то следовало повнимательнее прислушаться не только к интонации, но постараться понять, что думает по этому вопросу папа. Правда, это не изменило бы моих намерений, скорее создало бы брешь в моем упрямстве, упрямстве, которое так мне пригдилося гораздо позднее, в годы моего учения, но тогда, в поздние годы моего ученичества, поддержку в «упрямстве» я имел именно от папы. Но для этого нужно было время, чтобы он смог серьезно в меня поверить. Впрочем, об этом говорилось раньше. Возвращаясь назад, скажу, что если бы я был повнимательнее, то, вероятно, понял бы, что единственным серьезным «за» была моя всепоглощающая любовь к искусству. Правда, ныне, на старости лет, сталкиваясь с людьми, которых как-то обучаю или опекаю в искусстве, я этой самой любви придаю первостепенное значение. Во времена, о которых я пишу, были, конечно, и другие «за», но были они столь маловыразительны, что говорить о них не стоит. Что касается всех «против», то они по своей природе таковы, что возникают во времени, и вот о них-то мне и приходилось забывать лоб, как об стену. Итак, на одной чаше весов — любовь и упрямство да еще всякая труха, а на другой — пропасть весомых «нет». Вот и встает вопрос: да стоит ли в подобных делах раздумывать?

К нашему великому счастью, мы в юности такие одурманенные, такие невнимательные, такие решительные, что раздумию предпочитаем действие. И именно эта особенность юности протягивает нам иногда свою благодетельную руку.

Те обстоятельства моей жизни, о которых я пишу сейчас, протекали в конце двадцатых годов, а говоря календарно, в двадцать седьмом—двадцать восьмом годах. Нельзя предвидеть, как расценят будущие историки русскую культуру двадцатых годов, но это не мое дело. Ныне, в восьмидесятых годах, я наблюдаю какую-то нелепую фетишизацию этого времени. Я в этом вопросе ничем не связан, на мои глаза, это время нельзя отделять от предыдущего. Это естественное, хотя и слегка увечное продолжение русской культуры вообще. Концом же этого десятилетия, по-моему, были твердые годы, годы слома русской культуры. В эти годы ее деятели были подобны тем тяжелобольным, которые расценивают свои страдания как некие разобщенные временные тяготы, от которых их избавят время и обстоятельства. Теперь, в обратной исторической перспективе, ясно видишь трогательно-грустный трагизм тех лет.

Люди тогда еще надеялись и твердо ждали лучшего и также, подобно тяжелобольным, были склонны хвататься за всякую надежду и невероятно раздувать именно те симптомы, которые могли им внушать надежду хоть на какое-либо выздоровление. И действительно такие симптомы как будто были, но относиться к ним серьезно не стоило.

Для окружающих меня взрослых будущее было покрыто туманом, а я был мальчиком восемнадцати лет и серьезно над ним не задумывался. Для меня искусство казалось вечным и вневременным, зависящим только от его автора.

Под искусством я в те годы подразумевал воздух, которым были пропитаны бывшие особняки Щукина и Морозова, воздух жизни и света парижских мастерских, воздух, который в консервированном виде, в виде картин и скульптур, был вывезен отсюда и доставлен в Москву. Всмотриваясь в эти картины, я дышал воздухом, в котором они когда-то были сделаны, и думал, что это мой воздух, моя жизнь.

Блестательное мироучивствие этой живописи казалось тогда не только неисчерпаемым, скорее казалось, что оно лишь в начале пути, а сам этот путь открывал захватывающие дух перспективы.

На сегодняшний день все это звучит дико. Но стоит ли оправдываться, ведь таков я был тогда не один, и грешны в этом были не только некоторые из моих сверстников, но и большинство наших учителей.

При выборе художественной школы, в которой я хотел подучиться, чтобы поступить во Вхутемас—Вхутеин, надо мной, как всегда, ничего не доводило, и я выбрал школу, находившуюся в сфере влияния Фаворского. Это была маленькая студия, руководимая Павлом Яковлевичем Паулиновым. Чем именно руководился я, сделавший этот выбор, не берусь сказать. Чем-то тогда меня очень привлекало все,

что было связано с Фаворским. Но главное было в том, что в те времена эта студия была и поярче и поинтереснее тех немногих подобных ей заведений.

Далее судьбе было угодно связать меня на целых десять лет именно со школой Фаворского. Зачем судьба не захотела освободить меня от столь чуждых для меня тенет, это ее дело. По-видимому, это была часть того искусства, который мне следовало одолевать, чтобы обрести хоть как-то самого себя...

Время, в которое протекало мое институтское обучение, было временем концлагерей, причем во всех формах и объемах. Началось оно задолго до этого и стало хоть как-то смиряться более чем через два десятилетия. Концлагерь был всюду, но самым тяжелым концлагерем для меня был мой институт.

Студийские и вхутемасовско-вхутеиновские времена вспоминались наивным и милым детством. Однако не следует забывать, что именно в их недрах создавалась «передовая» система и загнездилась школа. Мне кажется, что система — это нечто противоестественное, любая сверхпередовая система может существовать лишь весьма ограниченное время, далее она превращается в путы, в оковы. Системы, школы, художественные течения с ходом времени превращаются в ограничительные рамки, из которых искусство стремится вырваться. В условиях концлагерного режима они становятся страшным орудием в руках тюремщиков.

Мой институт проходил между тридцать вторым и тридцать восьмым годами, и говорю я лишь о себе. Как воспринимали его другие мои соклассники, я не знаю: чужая душа — потемки. Возможно, что мое восприятие института разделяли немногие, возможно, что большинство чувствовало иначе. Если даже среди взрослой, еще старой русской интеллигенции было немало таких, которые не понимали, что вся Россия уже давно концлагерь и что, следовательно, любое ее учреждение — это тот же концлагерь, но в меньшем объеме, то что же ждать понимания от двадцатилетних недорослей. Они были молоды, некоторые из них приехали сюда, в «великий центр культуры» — Москву, из своих медвежьих уголков; некоторые москвичи по жизни дорвались до великого центра — школа, которой руководили столь замечательные люди. Жизнь была ключом, они были полны надежд, и далеко не всегда безосновательных, при таких предпосылках нужны очень, очень многие годы, а может, и десятки лет, чтобы хоть что-то понять. Нужно еще нечто, что скромно называется «понятливостью».

С тех уже очень далеких институтских пор я твердо знаю, что слово «история» — одно сплошное недоразумение.

Все формы удушения, террора, концлагерей создаются отнюдь не мановением чьей-то руки, не политиками, не правительстами и уж конечно не диктаторами. Создаются они всем обществом, скопом, коллективно. В концлагерях повинны и жертвы и палачи, более того, невозможно отличить палачей от жертв.

Тем, кому кажется, что он утверждает свою волю, те, кто теряет ее, — всем им уготовано одно и то же: сидеть за колючей проволокой.

Ни бунт, ни протест, ни слюнвявая болтовня о свободе и демократии никого от концлагерей не уберегут.

Концлагеря, вернее, их составные элементы, надо изжить в себе всем людям скопом, коллективно. Изжить, как в отдельных жизнях изживаются чувства и настроения.

Десять лет я промаялся в этой своей школе. Я мало чему там научился, но я заматерел там, приобрел выносливость, окреп, возненавидел любую форму нормативизма, познал худший вариант одиночества на людях, отчасти ей я и обязан тем, что без нытья, с верой сумел прожить.

Тот день, когда мой институт вместе с Владимиром Андреевичем и его присными остался для меня позади, был таким днем в моей жизни, что и пытаться описать его невозможно.

Ранним июньским утром девятьсот тридцать восьмого года я пересекал огромное Вяземское поле. Оно цвело всем, чем были тогда еще богаты подмосковные поля. Роса на высоких стеблях трав, окаймлявших дорогу, блестела, как бусинки. Я старался в такт шагам размахивать рукой и задевать влажную поверхность высокой травы.

Была рань, синее небо было туманно, облака на нем были прозрачные, легкие, как дымок. Еле заметный туман поднимался из дали лесов. «Экая славная минута».

.....

Глава IV

В повествование о тридцатых годах я вклинил рассказ о годах своего учения, потому что они протекали именно в эти годы. Теперь же возвращаюсь к прерванному.

Еще с конца двадцатых годов миф о том, что сеть осведомителей настолько огромна, что ею все пронизано, что почти ни на кого положиться нельзя, миф этот

превратился в непоколебимую уверенность и стал уже реальным фактом жизни. На кого только в те годы не тыкали пальцем насмерть перепуганные граждане: что «вот этот (или эта), абсолютно ясно, являются осведомителями». Несмотря на то, что осведомители были повсюду и часто ими могли оказаться люди совсем неожиданные, даже и тогда казалось, что их вездесущность явно преувеличена, не так уж они были нужны для жизни Лубянки, для ее дел, Лубянка прекрасно могла обходиться без них. Так что скорее всего это был миф, созданный самодеятельностью граждан и активно поддержанный властью.

Значение и последствия этого мифа огромны, они в большей чем что-либо мере затруднили возможность общения между людьми. Откровенность даже в сравнительно невинных вопросах стала чем-то рискованна, опасна, а далее, пожалуй, и невозможна.

В те годы казалось, что целиком положиться возможно лишь на совсем немногих людей. Безусловное, не вызывающее никаких сомнений благородство человека, бескорыстие, искренность, альтруизм — все это казалось гарантиями недостаточными, требовалось еще, чтобы человек был умен, ловок, изворотлив и чувствовал ситуацию, а сочетание таких качеств в одном человеке не часто встречается.

Так разрушались последние звенья соединительной ткани человека с человеком, так умирало окончательно общество, превращаясь в говорящих, как попугаи, разобщенных обезьян.

В описываемое время я был студентом и волей-неволей должен был ежедневно общаться с относительно большим контингентом людей, правда, в те годы посадки среди студентов были, по-видимому, единичными. Однако чем больше было людей, с которыми ты приходил в соприкосновение, тем больше увеличивались и шансы быть нащупанным соответствующим заведением. Попасть же в поле зрения этого заведения можно было по-разному, прежде всего по разверстке, указательный перст мог быть ткнут совершенно случайно в твое имя, с этим, понятно, ничего поделать было нельзя. Но могло быть и иначе, тоже благодаря случайности, но такой, в которой ты все же был хоть как-то не безучастен, такой, в которой роль судьбы взяли на себя твои собеседники.

Если оставить в стороне злобность, то есть что-то типа провокации или доноса — это надо в данном случае игнорировать, так как злобность свойственна всем вообще временам, одним более, другим менее, — то здесь говорить нужно лишь о неосмотрительности, наивности, легкомыслии собеседника. В твоём присутствии могло быть рассказано нечто неподходящее, или твои слова могли быть кем-то поняты неправильно и в таком виде запомнены. И вот человек, не желающий тебе дурного, даже искренне тебе симпатизирующий, повторит их где-то там, где делать этого не следовало, и все — мышеловка могла захлопнуться. Таких вариантов могло быть бесконечное количество. Спастись от них почти невозможно, тем не менее многие стремились избегать подобных ситуаций. Иными словами, стремились представить себя глупее, чем были в действительности, стремились так разговаривать, чтобы за их словами нельзя было увидеть хоть какую-либо мысль.

Здесь, естественно, приходит на ум классический стиль мужицкого разговора, где цель обратна смыслу этого самого Божьего дара, так как состоит в том, чтобы произнести как можно больше слов и в то же время чтобы в словах этих никакого смысла не было. Для того чтобы так разговаривать, надо обладать соответствующим даром, а дар этот, к сожалению, врожденный.

Впрочем, у подобного низкопробного стиля есть и более цивилизованная форма — это форма почти уже вымершего теперь так называемого светского разговора. Это разговор лишь на общепринятые темы и в общепринятой их интерпретации при обязательном соблюдении условия скольжения по поверхности. В переводе на язык современности это изложение сегодняшней передовицы газеты «Правда». Подобный стиль — это тоже издевательство над великим даром человеческого слова, это не только бессмысленная растрата, это уничтожение этого дара.

По первому взгляду может показаться, что я говорю о чем-то совсем незначительном, однако так ли это? Ведь если мы издавна хотим узнать, как и что объединило людей, создало то, что мы понимаем под словом «общность», и, далее, то, что мы хотим называть культурой, то, уж конечно, нам должно быть важно знать и обратное: что и как разъединяет людей, что уничтожает эту самую общность — культуру.

И вот, оказывается, сумей обесценить и обесмыслить человеческую речь — и ты разрушишь мир не хуже, чем при помощи расщепленных атомов, и все надо будет начинать сначала.

В тридцатых годах заметно улучшилось материальное положение творческих работников. Для большинства их как-то урегулировался вопрос с заработком, а с середины тридцатых годов они снова стали не только полноправными членами советского общества, но в известной степени привилегированными. На этом этапе житейские интересы творческих работников уже активно и твердо защищались властью.

Это улучшение материально-бытового положения писателей, художников, артистов, ученых и прочих шло параллельно с зажимом всякого творчества, с насильственным введением его в такое русло, в котором оно переставало быть творчеством, с убиением, уничтожением его. Получалось положение, при котором власть как бы говорила: «Мы даем тебе есть, а ты уж изволь делать то, что нам нужно, да и как нужно».

Конечно, это положение очень отличалось от того, что было раньше, в двадцатых—начале тридцатых годов, когда преобладающим отношением к деятельности творческих работников было равнодушие, когда чувствовалось, что сейчас «не до них», что дело их в лучшем случае третьестепенное. Теперь культурная деятельность получила права дворянства, а жизненные условия самих деятелей стали полегче, зато под понятием «культура», «творчество», «искусство» стало пониматься нечто такое, что ни с какой культурой, творчеством и искусством не сопряжимо. Если сами деятели культуры от всего этого в житейском плане, в плане честолюбия что-то и выиграли, то культура постепенно, но неуклонно полетела в тартарары.

Большинство ничего не поняло из того, что произошло, или поняло лишь с большим запозданием.

В те годы многими считалось, что есть какая-то возможность соединить нечто терпимое для власти и подлинное искусство. Актеры считали, что образ всегда остается образом, и сыграть его можно хорошо и плохо, а это уже зависит от меня, от моего дарования. Конечно, рамки теперь очень сузились, регламентировались, но ведь были же времена, когда рамки тоже были узкими, а от этого искусство никак не страдало.

Художники думали, что форма всегда остается формой, дело лишь в том, как ты ее сделаешь, что в нее вложишь, а это тоже зависит только от тебя. Даже Владимир Андреевич Фаворский говорил некоторым ученикам: «Почему вы избегаете этих тем, форма же всегда остается формой».

Писатели думали, что жизнь во все времена остается жизнью, люди всегда рождаются, растут, любят, не любят, работают, думают, чувствуют, болеют и умирают, об этом ведь никто не запрещает писать, и всегда можно написать так, чтобы избежать рискованных ситуаций. К тому же не все, что хотела от писателя власть, было уж так безнадежно нелепо. Таким образом, даже писатели думали тогда, что путь к литературе для них отнюдь не закрыт. Что получилось из всего этого — общеизвестно, да ничего другого получиться и не могло, никакое искусство не может развиваться на почве, пропитанной ложью, на подобной почве оно может лишь чахнуть и погибать.

То, что сделано в искусстве за это и последующее десятилетие такого, что может быть причислено к искусству, до смешного количественно мало. Сделано оно крохотной горсткой людей, чудом сохранивших душу живую, сделано наперекор власти людьми, ставшими сознательно спиной к этой власти.

Политика подкармливания интеллигенции началась с первых годов революции, цель ее была сохранить от вымирания эту особь. Теперь эта политика продолжалась, рацион количественно и качественно изменился, но цель была уже откровенно иная. Состояла она в том, чтобы впрямь творческую интеллигенцию в победоносную колесницу тех, кто стоял у власти. Наряду с подкармливанием существовало также давно и специальное прикармливание некоторых особо подходящих индивидуумов, но с тридцатых годов началось в этом вопросе нечто вроде как новое. Началась уже резкая внешняя дифференциация положения интеллигенции и размещение ее на различных ступенях иерархической лестницы. Теперь создавалась некая четко отграниченная верхушка, формально и внешне как бы приближенная к власти. Говоря старинной терминологией, был создан контингент, допущенный на большие дворцовые приемы, но на жизнь двора не влияющий.

Не знаю, надо ли напоминать, что ни папа, ни Крымов, ни Нестеров даже близко к этой публике не находились; они и кое-кто еще как были, так и остались единичными, отделенными, так сказать, сами по себе.

Не помню точно, но, по-видимому, в середине тридцатых годов с высоты олимпа прозвучали слова: «Жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселее» — и сразу в государственном масштабе это отвлеченное положение стало доказываться на деле. Началась эпоха торжественных приемов, банкетов, чествований, юбилеев и прочего. Торжества эти устраивались на всех уровнях и по всяким рангам, на них на казенный счет уничтожалось несметное количество всякой жратвы и напитков.

Страна праздновала неведомо что, неведомо по какому случаю торжествовала и уж совсем непонятно кому воздавала хвалу. В это же время в застенках лубянок всех советских городов без счета уничтожали людей. В концлагерях гибли миллионы, и непрерывно по промерзлой земле черные жирные паровозы тащили эшелоны, подвозя на восток все новые и новые искалеченные человеческие жизни.

И именно теперь на торжественных правительственных приемах в свите палачей, в ее арьергарде шли грудастые актрисы, российские «витии» — сеятели доброго, вечного, ученые, киношники и разные другие. Они были трубадурами эпохи террора

их улыбающиеся физиономии говорили, что все правильно, все в порядке. В надежде попасть в трубадуры целая туча человекоблядей, молящая, просящая, скулящая, была обращена вверх. К солнцу, к власти.

Что же это давало самим трубадурам? Вернее всего, что ерунду, нечто вроде государственного признания, столь ценимого творческими натурами, весьма сомнительные надежды, что в этом заключен лишний шанс, что тебя не посадят, некоторое количество обедыков с хозяйского стола (не нужных, по существу, этой публике), а главное — это чувство своего превосходства над тем, кто не попал в эту свиту. Собственно, только последнее можно рассматривать как нечто реальное и по-своему стоящее, все остальное — фикция.

Боже, до чего противный осадок оставляли случайные встречи с этими вознесенными, и твоя собственная дурацкая радостная улыбка от встречи с близким когда-то человеком, и его поначалу ответная — все это вспоминалось потом с отвращением. Ведь ты теперь встретил совсем не то, всего лишь старую, когда-то знакомую оболочку, сундук, теперь набитый какой-то дрянью.

Понимали эти люди, сколь высокой ценой платили они за свое эфемерное положение? Едва ли, едва ли теперь они вообще что-либо понимали, они были уже и слепы и глухи. Даже подчас незначительную грань иерархического подъема выдерживали лишь совсем немногие, для большинства эта грань была началом духовного конца.

Начиналось с чего-то малого, с ерунды, с попытки найти твердую почву и опереться на нее, найти ее не внутри себя, а вовне, во внешнем мире, в узаконенности своего положения, с попытки найти свое место в государственном устройстве — словом, все начиналось с чего-то совсем невинного и вполне естественного. А дальше следовали попытки утвердиться на этой почве, страх за сохранность такого положения, а потом постепенно терялись связи с действительностью, с окружающим миром, собственная жизнь становилась вымышленной, фиктивной, абстрактной, здесь начиналось разложение, а на какой-то стадии — и духовная смерть. Это явление, мне кажется, положило предел возможности серьезного разговора о русской интеллигенции, ее как явления просто не стало. Существование ее в прошлом тоже стало казаться сомнительным. Ее историческое прошлое стало вспоминаться весьма несолидно, глуповато, слегка смешно, еще более — грустно и невероятно раздуто. От всего этого несло «овсянико-куликовским», саморекламой и прочим. В те годы, когда я уже активно вышел в жизнь, никакой русской интеллигенции и в помине-то не было.

Кое-где в глубокой тени, в щелях подполья, жили отдельные люди, их число абсолютно ничтожно, люди, сохранившие до могилы свою душу живой. Ничего другого обобщающего придумать для этих людей нельзя, их связь с русской интеллигенцией — только разве происхожденческая, паспортная, анкетная принадлежность к тем или иным бывшим сословиям.

Когда по прошествии времени целая эпоха затянется туманом забвения, из него выплывут и станут видимы лишь эти люди, их дела, их имена.

Трудно, очень трудно вспоминать эти годы, слишком было все тяжело тогда, слишком туманно, неопределенно, отрывочно. Еще труднее их изображать, слишком уж были они грандиозны, вернее всего, по-настоящему их изобразить вообще невозможно.

Пожалуй, это лучше получится у тех, кто не видел ночного Арбата, обледенелого, заснеженного, уже заснувшего, с темными дымчатыми плоскостями своих разновеликих домов, с редко рассекавшими темноту и нескромно вытарашенными глазами освещенных окон. Арбат, на котором в этот час почти уже не было прохожих, когда по самой середине этой улицы, по белой его линии пролетали упористо, мягко и с бешеной силой стайки из трех черных как вороново крыло машин. Арбат, словно вымерший, словно попятившийся от ужаса, пропускал сквозь себя через равные интервалы стайку за стайкой эти летящие машины.

Там сидел он или они, те, которые приводили в исполнение смертный приговор над народом огромной страны, а может быть, и над всем миром, приговор, вынесенный неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно за что.

Арбат ночной, заледеневший, застывший, Арбат-пустыня и летящие по его мостовой черные силы — пожалуй, лучше тебя не помнить, а может быть, лучше даже о тебе и не знать.

Публикацию подготовила С. ДОМОГАЦКАЯ.

МИХАИЛ ЛАПТЕВ

*

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* *
*

В закат, как на бойню, идя, уменьшаясь в иконе,
как горохом мешок, полня стуком копыт вечера,
долгим ржаньем прощальным оплачут печальные кони
прекрасное наше сегодня и проклятое наше вчера.

Промежуток меж словом и властью, между накаркать и сглазить,
между инеем и готовальной, между добром и злом
леденит мою душу. Рыча, на меня налетает на «КРАЗе»
Медный всадник, по русской привычке пытая меня на излом.

Отшатнусь, затеряюсь в ночи во дворах проходных,
поскользнусь в грязной луже, в темени желтой помойки:
Две «бомбы» пустые, стакан с осадком на дне
да подстилка — газета намокшая с краем статьи о перестройке.

И в домике детском уселись рядком алкаши.
Их морды загадочные доморощенных сфинксов
так нечеловечески звездны. «Отец, на меня не дыши!
Ну что ж так по-свински?»

Отец, в чем исконно-посконная правда твоя,
сермяжная истина, ради которой боролись?
Любой поклонюсь, лишь не этой, вскормленной с копья!» —
заплачу я в голос.

И буду я бить себя в грудь, захребетников клясть,
и Перовскую вспомню, и благословлю эту власть,
утвержденную крепко, навеки на толстой идее.
И по осени к Рюрику вспять я пойду и сожгу я тетрадь,
буду «страшно далеки они от народа» долдонить опять и опять...
Боже мой, мы — халдеи.

* *
*

По небу полуночи, в ватнике греясь,
сходя понемногу с ума,
впадая в кошмарную ересь,
летит теорема Ферма.

Она год назад завязала,
она не боится мышей

она из подвалов, с вокзалов
бичей изгоняет взашей.

Ребристая магия Слова —
химизм полушарий и лба.
Исаева и Иванова
в начальники даст ей судьба...

* * *

Тяжело набухло от крови —
на какой ни открывай странице,
мальчики лобастые твои
подаются сплошь в царевубийцы.

Встал голубоглазый на помост,
сам надел петлю себе на шею,

вышибли — и выпрямился в рост,
умирать-то толком не умея.

Господи, прости им, молодым,
бо не ведали, что сотворили!
С ними мы еще поговорим,
с юными питомцами Твоими.

* * *

Я — Степь. Я — великая Степь от Саян до Дуная.
Я косы лесов распустила. Мой сын — человек.
Родильные корчи толчками закат догоняют,
когда я на свет извергаю раскосый набег.

Я жарким дыханием схваток луга опаляю,
рву золото с храмов в стесняющих грудь городах.
я в муках кричу, и разносится крик над полями,
и вторит мне хан одноглазый — седая звезда.

И эхом доносятся древние, черные кличи,
и тонут в раздолье и топот, и скрежет телег.
Все скифские бабы мое повторяют обличье!
Я — Степь, я — великая Степь, и мой сын — человек.

Я орды растила, мечтая безмерные дали
дарить им, где бредит полынь и кричит козодой,
но дети росли, уходили. И травы рыдали,
и новых рожала, уча говорить со звездой.

Не месяцы зреет мой плод, а года и столетья.
И если пока еще мой не холмится живот
и стынут в спокойствии ваши давящие клетки,
скорбите, не ведая, что и когда оживет!



НИКОЛАЙ КОНОНОВ

*

В ТРЕЗВОМ УМЕ

Короткий роман

В детстве человек обязательно проходит или задевает хотя бы мимолетно фазу мизантропии.

Мизантропия, как ни удивительно, сопровождается чувством счастья. Вот маленький человеконенавистник сидит в так называемой *той* комнате на диване с ногами и представляет, как вдруг исчезло все. Ну не все, а люди путем некоего моментального вычитания, а так мир остался цел и невредим — магазины, полные дармовых игрушек, горячие, уробно урчащие тепловозы на рельсах, готовые к поездкам, намыливающиеся прокатить нашего одиночку на зеленые острова востроносые лодочки на речных пристанях, — только все как-то стерильно опустело, будто всех сдуло, вымело чистой метелкой, умножило, как уже гораздо позднее думал об этом взрослый человек, на нолик.

И маленькая персона сидит себе в *той* комнате и думает об этом, как она все это будет иметь, как она, эта маленькая персона, будет всем этим, тем и другим, беспрепятственно обладать, как вздумается ей — осязать, оставлять, опрятно бросать, когда надоест; и вот за солнечным сплетением, в самом средостении, из какого-то маленького бутона начинает разрастаться, крепчать теплая тяга.

Что это? Прообраз сердечной тоски? Мучающая потом всю взрослую жизнь тщетно гонимая тревога — железная и давящая? И это чувство, не осознанное тогда, чувство жестокой ревнивой нежности к миру, чувство неоспоримого права на все предметы, на все имена, хотя бы предметов, на неосязаемые, но желанные вещи и вообще на все мыслимые проекции бытия, вдруг вызывающее в памяти призраки и приметы *той* комнаты, самой теплой и тоскливой в старой бабушкиной квартире, сопутствовало позже совсем другим душевным состояниям.

По нему, по этому тянушему чувству, можно было догадаться о любви, например. По нему, не дающему покоя, не отпускающему, глядящему изнутри грудную клетку тяжким утюжком, невыносимому, но немислимо дорогому, можно было о ней догадаться в самый первый миг, когда человек, а в нашем случае некоторая умная интеллигентная женщина, мама мальчика Тёмы, заканчивающего среднюю школу вполне ниже среднего, когда-то была застигнута любовью на совершенно ровном, вроде бы уже лет сто обжитом месте вместе со всеми своими потрохами, душевным там материалом, неизбывностью, уснувшей три года назад совестью, тихой квартирой, где кошечка аккуратно надрезала коготками невыразимо занудные обои по всему периметру маленькой прихожей, где бог знает что происходило и проистекало, где разрушались все схемы вроде бы давно одомашненного рационализма, так тщательно выстраиваемые. И то, чем этот человек застигнут, то, что превращает его вчерашний душевный пустырь в стройплощадку, — именно любовь, именно тревога, что, в сущности, различимо лишь по проистечении времени, да и то в обратной перспективе.

Вот в пятом часу утра человек разбужен звуками — они разрастаются за окном под жарким, лучше сказать, недоуменно теплым для этого утреннего часа сквозняком. Они, эти звуки, медленно осознаются его еще спящим умом, прокручивают быстрые кинофильмы с новой, чуть тревожной скоростью, и убыстрение ощущается спящим как насильный, новый ритм дыхания, скажем; эти звуки прорастают в снах какими-то боковыми ответвлениями сюжета, потом заполняют весь сон, и эта мощная новая тема становится слухом заметна,

слишком подозрительна, ее наличие чересчур осязаемо, ощутимо подозрительно, оно, в конце концов, тревожно.

Собственно, так делают в кино: камера невыразимо медленно, как бы нехотя наезжает, даже можно сказать, эстетски-занудно, на какую-то штуку, вещь, совершенно мусорную, конечно, и это, безусловно, доказывает, что все может быть предметом искусства; но либо это делается в каком-то заявленном авторском почти балетном ритме, либо тут появляется продуманное звуковое сопровождение. И все это для формирования в зрительском сознании чувства тревоги, чтобы он, зритель, размяк, подался вперед, расслабился. Правда, вещь может быть из медицинского арсенала, тогда и без музыкального мусора тревожно: шприцы, например, или ампулы, пузырьки,— но если при этом еще добавить нечто ненавязчиво звучащее, то тогда ум, как говорил Тёма,— полные кранты.

Итак, имеется незаметно разбуженный человек, который, проснувшись, обнаружил, что тот звук, который перелопачивал его сон, вовсе не иллюзия. И вот он лежит в растрепанной постели и думает об этом птичьем свисте.

Во-первых, думается ему, отчего вчера этот шум не был слышен? Почему именно сегодня, хотя лучше было бы сказать: с сего утра этот звук, этот хаос столь мощен, почему этот шум и не шум вовсе и не хаос, так как наложен на некую — только что пробудившийся человек не может еще понять, уловить, осмыслить, на какую же именно,— доминанту. Он, этот уловленный свист, этот шум, этот все же встревоживший его зуммер, пульсирует согласно какому-то глубокому непреложно обязательному ритму, и все дело не иначе как в этом утробном — думает, отмахиваясь от этой тревожащей мысли, полупроснувшийся человек,— да-да, утробном, именно утробном ритме, благодаря которому — оживляется думающий,— которому благодаря этот внешний звук как бы опускается, делается нахохлившимся, а от нахохленности понимается как определенно живой, так вот, делается теплым в силу этого, утробным, умиротворяющим,— и вот-вот человек присядет на постели,— сыновним или дочерним, что не важно, выпестованным, вынанным и так далее,— и с постели он не отрывает даже головы.

Еще через какое-то время становится ясно, что это ритм пульсирующей крови, толчки сердца только что проснувшегося человека, который добежал до финиша своего сна чуть задохнувшись, немного притомившись, запыхавшись. И этот пульс, собственно, сделался несущей волной воробьиного вострапанного хаоса за окнами, так как заставил перекачываться всякие шуршащие побрякушки в слуховом канальце,— и вспомнился какой-то синий разрез человеческого уха из школьной анатомии,— в таком знакомом сердечном прибое.

Еще после этого, в сущности, не утомляющего объяснения на ум пришла, а лучше сказать — сонно заплыла почти не осознаваемая метафора, что в этом бьющемся воробьином свисте есть что-то от пенной, усердной, необременительной, во имя развлечения стирки, когда домовитая, скажем так, прачка крепко трет дышащий паром жгут белья о взволнованную ребристую спину стиральной доски.

На стуле рядом с постелью блокнотик с записью, сделанной вчера вечером:

«NN очень сильно постарел, он говорит:

— Я живу совершенно самостоятельно. Все делаю сам: слежу за собой, готовлю даже, знаете ли, сам; а Ксения Степановна все с такой возится.

На самом деле такса болезненно обожает NN, над Ксенией Степановной при одобрении NN нагло издевается, закатывает истерики. А картошку для NN приносит Ксения Степановна уже почищенную в кастрюльке с подсоленной водой, а то NN обязательно пересолит и будет гневно два дня бросать трубку телефона, а то даже отключит его.

Еще отчаянно боится микробов, не пускал меня на кухню, где у него висит какой-то никем не виденный Сапунов.

Что интересно, меня тоже многое начинает раздражать: звонок не вовремя, вообще все формы опозданий, пока, правда, опозданий событий, а NN — уже смерти. Он понимает, что и она, бывает, опаздывает».

Заглянув в записку, человек, а в нашем случае некая женщина, засыпает с каким-то тяжелым теплым осадком на самом дне глаз. Она думает: еще вполне можно часа полтора или же чуть больше,— думает она,— час пятьдесят... а это ну почти два часа, а два часа — это два обеденных перерыва...

И понимает каким-то образом, каким-то сегментом ума, что уже спит снова и, может быть, вовсе и не просыпалась...

Вообще-то при обсуждении или даже обдумывании этой летней темы легко впасть в резонерство, в плоский, занудный, все объясняющий рационализм и по ходу дела наткнуться на соображение, что все случившееся даже в малейшей степени необъяснимо, да и не только необъяснимо, но и попросту непредставимо. Это не то что: жил-жил, ходил-шлялся из комнаты в кухню по холодному линолеуму босиком, пил кипяченую тусклую воду из носика чайника, что-то уронил около тахты, нагнулся и обнаружил под ней заброшенное загаженное пространство — все в плотных барханах пыли, с давно потерянным и забытым на этом основании караваном мелких предметов, с какой-то старой телевизионной программкой, плоской и совершенно распрявившейся.

Так, какой-то неприятный оттенок, что жил вот с этой грязью, бытовал, так сказать, — и ничего. Невозмущенная память не осудит ни этот закатившийся безродный пластмассовый случайный шарик, ни прогнувшуюся эпилептической дугой чайную стальную ложечку, не станет возиться с ненужным скучным реестром, а просто — то, что не нужно, выкинет. вычеркнет. испепелит мгновенно и быстро.

Вот точно так же оказалось, что нельзя вспомнить разрозненные свойства того отдаленного уже дня, обескураживающе жаркую погоду, мутные небеса, бестолковые низкие фартуки пыли, лениво волочащиеся через дорогу, но рассыпающиеся в силу некоей всеобщей несобранности, бессвязности, безалаберности.

О, если бы заглянуть в график биоритмов, которые продаются теперь на каждом вокзале, то это неприятное состояние можно было бы вместить в примитивные объясняющие рамки, то есть смириться с ним, принять как должное, списать на какую-то давно ожидаемую магнитную бурю. На взвихренные потоки, незаметно дующие в спину и нарушающие все естественные связи.

Потом, уже совсем другим умом, для которого все случившееся станет обратной перевернутой перспективой, где ужасающее событие, так круто на первый взгляд для всех ее знакомых поменявшее зримые формы ее жизни, а впрочем, может быть, на самом деле и не поменявшие вовсе; так вот, когда это событие в ее сознании станет мельчать, во всяком случае перестанет заполнять все пространство жизни, то, даже уменьшившись до величины бусинки, останется таким же тяжелым и горячим, как и в первые дни отрезвления.

Потом, другим умом, может быть, как ей покажется наконец — трезвым, она создаст иные редакции и варианты случившегося, перечислит причины, так ничего, впрочем, и не выяснив, не вспомнив толком, так как все свойства мира уже стали другими, логика изменилась и нельзя в чистоте восстановить все эти доледниковые дела.

Да и были ли они вообще на самом-то деле?

Занавески, наливающиеся, разгорающиеся еще сумеречным мутным румянцем, он начинает оплавлять их, раздуть их хлипкую податливую парусину жаром, вливается через тканую эфемерную мембрану в комнату, резко засвечивая как экран кинотеатра, дальнюю стену, начиная все жаркими тенями. С ним приходит очевидная утренняя духота, которая продержится весь день, будет звенеть своим высоким фальцетом, беззастенчиво обшарит все уголки комнаты, поддержит, нагревая все нехитрые предметы обихода, оставит на них следы перенесенной горячки.

Во всем этом начинающемся действии можно уже усмотреть мотив порчи, ущерба. Платье, приготовленное с минувшего вечера к предстоящему, станет очевидно несвежим, лицо жирным и пыльным, губы будут ощущать весь день касание сухого алюминиевого жаркого шпателя. И уже представлялось, что придется, преодолевая брезгливость, пить квас из бочки, стоящей чинно на углу Чапаева и Гоголя посреди темного невысыхающего на асфальте пятна, с подозрительно быстро иссякающим маленьким негигиеничным петергофом под стеклянными павильоном опрокинутой кружки.

Все эти признаки и приметы, связанные с наступающей жарой, задавали неслышимый ритм всем действиям, ощущениям и в сумме, подчинив их себе, сводили на нет умственные усилия, которые, может быть, при иных обстоятельствах и не разгорелись бы, к досадному, унижающему нулю. И эту ситуацию нельзя было изменить. Она предстала неисправимой, оскорбительной во всех проявленных деталях утренней комнаты, во всех реалиях бедного быта. Это унижало, расстраивало. День начинался с подспудного ощущения потери. Хотя, может быть, отсутствие бодрости, приподнятости вовсе не зависело от погоды,

но психика перенимала ее приметы, слабавольно влачилась, как бы понукаемая, в ее, погоды, разогретом пыльном шлейфе.

И как будто совсем улетучилось ночное легкое впечатление от яркого, взбаламученного звездами ночного неба, от его высоко взбитой синей мерцающей пены, из которой медленно проступали еще в школе усвоенные ориентиры: Ковши, Лиры, Псы — безымянные дрожащие песчинки-крошки, и наспех брошенный, развязавшийся дымчатый тканый шарф Млечного Пути.

Напрягая зрение, можно было различить все-все сияющие звездные литеры, как на приеме у окулиста: начиная от гигантских жирных Ш и Б до мелкой насекомой нечистоплотной маеты последней строки мкбы. По этой живой таблице в жаркую ночь можно было проверять остроту зрения, стоя на узеньком балконе восьмого этажа. Но существеннее было другое — ночной свод над головой, увиденный с балкона, не пугал, как это было днем. Ведь днем это было головокружительным противостоянием, которое выдержать было невозможно, так как зрению не за что было зацепиться, не на что опереться кроме как на сам небесный свод, на его явно и строго выгнутое далекое тело, очевидно бездонное, именуемое твердь.

Днем, запрокидывая голову, можно лишь испытать одно желание — поскорее отвести взор, уткнуться во что-то достижимое, близкое. Было страшно находиться в центре этой небесной линзы, фокусировать собой, своим зрением, телом ее мрачную, оптически вмятую, мерно текущую жизнь. Ночью же пододвинувшаяся близкая тьма снимала этот экзистенциальный ненадуманый страх; мерцание, сочащееся через чудесные прорезы, вызывало теплый душевный соболезнающий отклик, насыщало, радовало, обнадеживало. Каким-то добавочным чувством угадывалось, что все звезды суть порождение, продолжение другого невидимого света, явно стоящего ослепительной переполненной волной за черным рубероидом предела небосвода, за этой черной нефтяной преградой, не выдерживающей давления, выпускающей эти мерцающие пары. Но вот утром все это улетучилось, нейтрализовалось предстоящим; на ум пришло плоское заключение, что прохлада лучше жары, так как от прохлады можно укрыться, и вызвало сухое хмурое раздражение: не надо резонерствовать! И уже, право, не помнится, как это пришло на ум: радио ли изрекло или само появилось хилой идиотской переводной картинкой — мутной и пыльной.

И вообще — думалось ей, когда она перебирала обстоятельства вчерашнего вечера, если можно так сказать, в гостях у Аллы, — какое-то небывалое глухое лето разгорается, тяжкое, давящее, как пресс. Даже вот Алка, такая крепкая, несгибаемая, не пьяневшая раньше особа, теперь съезжает в кювет с трех рюмок...

И понурые признаки скандала, которому пришлось вчера свидетельствовать, потащились друг за другом, как пункты доказательства идиотической теоремы по стереометрии, непониманию коих Тёмой тоже пришлось раздраженно свидетельствовать; да, если он с таким усердием... Ну, слава Богу, у него есть еще один год...

Вообще-то его надо освидетельствовать на предмет унылой лености, предмет которой был так скучен и знаком, как и все приметы скандала, не досмотренного ею до конца. Так, Тёмину усердие было более чем усредненное. Ну, слава Богу, у него еще один год.

Ах, годом больше, годом меньше! Тёма проходит по реестру родительского недосмотра.

И больше она о математической нецепкости сына не думала, так как не все укладывалось в схему объяснений типа «способный, но ленивый», «ленивый, но способный». Да и ладно...

Вот качества и оттенки пьяной феерии с прологом, интермедией и эпилогом куда более привлекательны, так как там она всего лишь зритель, ну не совсем пассивный, так сказать...

Как это укоряли Лякина, когда он не смог купить бутылку:

— А мы пойдем другим путем.

И он дебиловато-радостно шутил:

— Пшел ты сам не тем путем, Ульянов-старший.

Повторял, гыкая, эту фразу раз десять, топтал слова в ней, как медведь поросль малинника. Это было почти смешно.

А скандал получился в итоге, навсерное, знатный. Алка, которую за глаза называли Инферналкой, была в ударе: сидела на диване среди неприбранной

постели какой-то металлической цапкой из египетской готовальни, пила не закусывая, чадила, несла глупости, злобные гадости, гадостные мерзости, мерзостные пакости, пакостные... Что же пакостного она несла? А, пакостные inferнальности. Хм...

И какой черт занес в этот дом, где воеводит хаос, громит все, треплет в зубах, как щенок, сбрасывает с полок, как кот, заживает хомяком все мыслимые углы полуквартиры-полумастерской. Ведь у нее имеется красивая запись на сей счет, сделанная еще год назад, тоже в жару, когда эта пьяная «езда в неведомое» только начала проступать во всем динамическом блеске. У записи даже есть заглавие:

«К р а н т ы

Пьянство элементарное, бытовое, наползающее на бытие суетливым цыганским перезвоном пустых, все время норовящих повалиться бутылок, налетающее на жизнь радостным переплясом, совершаемым по поводу трудной героической покупки каждого нового пузыря.

Вроде бы никаких особо витальных внешних примет.

Вот, мол, достал, принес, пейте, дорогие сябры.

Но блеск в глазах, реплики, которые подхватываются всеми, повторяются многократно, словно это спасительный мостик между ними, теряющими человеческое, и уже не их человеческим языком, выдают, выдают, выдают с головой хаос, который ненадолго может быть организован во что-то, подобное стройному застолию, лишь бутылкой, желательно не одной, какого-то поила.

Вот и вращаются все спутники этого общего русского дела вокруг бутылок скучными пыльными планетами вместе с дикими, неухоженными предметами, которым они уже не хозяева, с вещами, которые сами от них отвернулись, как и с именами предметов и вещей, уязвленных всем этим делом, замкнувшихся в своих вещных или словарных сущностях, не поддающихся обладанию и произнесению. Это ужасающая жизнь, идущая по законам энтропии.

Вероятно, те, кто не участвует в этом кеплеровском балете вокруг алкоголя, непонятны и опасны для завязтых стахановцев-питейцев, как метеориты или, на худой конец, невнятные газовые скопления. Они, эти мало пьющие, угрожающе движутся по другим траекториям, вращаются или удаляются от иных центров, они портят обряд питания, они не секут в нем, их необходимо изъять...

А когда пройдет время и движение вокруг этой притягательной точки ускорится, то все станет разлетаться — вещи и люди, как искры с точильного камня. И все такое...»

Да, все это так, — но эти истерические наклонности Инферналки расцветают темпераментным цветом быстро-быстро, как в учебном фильме, где лепестки высовываются из губастых пухлых бутонов розовыми языками теперь лишь за один этот вечер, и эта акция цветения повторяема и ужасна, и для нее потребен все более и более ничтожный повод, чтобы все это кино прокручивалось быстрее и ужасней, и скоро ленту попросту выдернут из жужжащего самого по себе Инферналкиного мозга, и глаза ее загорятся белым опустевшим хлопковым огнем полого кинопроектора, без целлулоидной жизни.

И вот тут она вспомнила, как пригибаются люди, опаздывающие к началу сеанса, просидевшие журнал в фойе, вспомнила, как они не хотят быть засвеченными жизнью теней, проходящей сквозь пальцы, но могучей, условно-плотной, заставляющей лить мелодраматические слезы и целлулоидно ужасаться.

А вот и совсем новая, свежая заметка:

«Сумма усилий, прилагаемая к чему-то, например к осуществлению идеи отдыха, необязательно тусовки, вовсе не формирует из этого *чего-то* именно отдых как интеллектуальный факт.

Как ни странно, сила заключается в тонкости усилий повседневного и повсеместного, а авралом можно сгрести только мусор в кучу, такую же, в сущности, мусорную и бесполезную».

Но нельзя же опаздывать на службу, ведь все донесут завше. О! Опять видеть, как расплылись еле читаемые ее груди скучными, вялыми подушечками над стожком живота. И любит она даже в такую жару коричневые школьные платья, почти форменные, с пояском. И откуда взялось это слово «стожок»? Завша — бдительная выскочка, глупая зануда. И с кислым ненасыщаемым раздражением все-таки приятно обнаружить, что она, завша, все более и более похожит на пирамиду подушек (большая — меньше — еще меньше — маленькая) на

высоченной койке, такая мягкая, что к вечеру непременно оседет сантиметров на семь-восемь (только кто б померил!). Какая пробилась почвенная ниточка — «стожок», «койка», может быть, еще «копенка», «поденка»...

— Ты паразит, Тёмка, проспал уже к консультации. Я ухожу, — говорила Тёме некая женщина, его мама.

Следки, босоножки, сумка, ключи, дрожащий скрежещущий лифт с именем сына, вырезанным на обожженной поверхности пластиковой обивки глубоким неистребимым курсивом.

— Па-ра-зит... — в пространство шаткого батискафа сказала она.

И это слово прилипло на весь день, мухой зазудело в сознании, обращенное, собственно, ни к кому, знаком крайней, уже не досадующей растравы. Жизнь как жизнь, отпуск еще не использован — единственная отрада. Тёмины выпускные экзамены, потом впускные, и, наверное, можно будет совсем оплавиться, если в конце мая такое творится...

И контора, служба, где уже, конечно, все сидели, углубясь в фолианты, статьи, выписки, вырезки и прочую муру. Десять столов — семь баб и один круглячок-весельчак, и ее место у высокого окна, за которым шумит огромный вяз так сухо, пыльно, безотрадно.

— Тебя искало начальство, — сказал круглячок.

— Что оно хотело?

Оно хотело знать, готов ли каталог к выставке Уметова, уже звонили, мол, из управления культуры. Но из управления культуры звонить не могли так рано, просто завше с утра хотелось... Да ничего ей не хотелось, так как хотеть она не могла, во всяком случае среди немногих падежей ее сознания партийки-выдвиженки с педпоприща столь сложного, отвечающего за хитрые снасти *хотения* уже давно не имелось. Там (в сознании) *должно* или *надо* вертелось однообразной зубчатой шестеренкой, проростало стахановской репой, застило свет Божий. А *надо* было всех с утра расставить по назначенным местам, чтобы там и в голову не пришло, чтобы всё в рамках штатного расписания. Но это лишь эпизод, который может быть рассмотрен в одном ряду с погодой, например, обращающейся в эту пору с людьми в мрачном винительном падеже, но хорошо, что хоть без затяжного дождливого морализма, без вздохов и сетований. И если другие дни примыкали к сознанию крупнозернистой наждачной шкуркой и каждое их движение вызывало ответную реакцию — болезненную или радостную, — то эти были с самым мелким абразивным зерном, пыльным измельченным грустным антрацитом, от них можно было устать, задохнуться, заснуть, ну и так далее.

Коричневое кофейное зерно, почему-то оказавшееся между книгами на столе, где под стеклом раздражающе кривовато лежали репродукции с веденяпинских поздних акварелей и календарь, полеживало себе крупным высохшим жуком-древоточцем гладкой спинкой кверху, и, слегка нажав на эту спинку-клавиш, можно было обвести контуры рисунка — абрис трех навалившихся друг на друга лимонов, образующих пирамиду, такую складывают из ядер возле жерл музейных пушек. Любимая прежде акварель с тремя трагически соударившимися и слипшимися пупырчатými ядрами, словно переболевшими в детстве ветрянкой, сложившимися в некую тройную звезду, тайно вращающимися вокруг некоторой точки так, что на следующий рабочий день утром нельзя было припомнить точно их общую ускользающую конфигурацию. Будучи наблюдательным человеком, мама Тёмы еще в набитом раскачивающемся ковчеге троллейбуса в давке пыталась припомнить точную внешность этого тройственного союза, но зрение, вернее, его памятливы́й луч начинал вращаться вокруг некоей точки, и картинка так и оставалась неопределенно-непроясненной, хотя другие акварели Веденяпина помнились внятно и точно. Такой вот странный эффект.

Но обеда имѣнно сегодня их штрихованный нервный контур кофейным зернышком, подумалось, что все-таки союз цитрусовых слишком лапидарен, навязчиво диалектичен и по большому счету напоминает этикетку, сотни раз виденную, этикетку ситро. И если все это перенести на лист с овальными выпукло-вогнутыми краями, то точно уж выйдет навязчивый товарный знак. И от сильного нажима зернышко выдавилось пулькой из-под пальца и пыльной бляшкой угмонилось посередине прохода между ближними столами. Раза три наступал на него своими резиновыми подметками толстячок, но оно так и осталось в итоге полеживать незаметной лодочкой в прежнем фарватере, лишь Люда своей цокающей тувелькой, пройдя уже в сотни раз мимо, наступила на его притаившуюся каплю, и она рассыпалась с колким пыльным хрустом в прах

И сразу показалось, что во рту тоже гнездится молчаливая до этого мига строгая кофейная тема (без сахара). Странно как...

И передвигаемые книги на столе, и узенький длинный ящичек, полный исписанных вроде бы нужными всяческими сведениями карточек, новые журналы складывались в дежурную, в сущности, бездельную круговерть, в ветряную громоздкую мельницу, измельчающую дни со строгим эпитетом «рабочие» в липкую неотвязную кашу.

Леночка, десять лет уже в младших сотрудниках, уткнулась в гигантский фолиант переписки Седлова с Тыквиним и что-то выписывает, выписывает, выписывает, прикрывается, как отличница, прячущая свой маленький орфографический дар, чуть не подумалось «пах», за утесом ладошки. От кого? Поводит обидчивым глазком-буравчиком по сторонам, как купальщица, озирающая надежность заводи. «Да не смотрит никто и смотреть не хочется», — подумала Темина мама.

Еще два похода, точнее, спуска по маслянистого литья чугуновой лестнице в библиотеку, пустое копанье в каталожных ящиках, вроде бы нужный сборник оказался у кого-то на руках, да и Бог с ним, со сборником, понадобилась еще какая-то монография, но ящик на эту литературу был в самом низу желтой деревянной кладки, и нагибаться было лень, да и не так уж монография была нужна, и жарко, хотя все окна на первом этаже растворены, и дышать вообще нечем.

— Я еще зайду, — обратилась она к стеллажам.

— Да-да, Марочка, — звякнуло блюдо где-то в углу, подражая голосу библиотечарши, жестко и кратко.

И оставшиеся четверть часа до обеда она поднималась по той же лестнице, по ее вафельному стеариновому залоснившемуся литью, отчего-то с легким чувством страха, страха увидеть над собой ажурный восходящий марш, держащийся, в сущности, на единственном косоуре, а там, где одна ступенька переходила в другую, вернее сочленялась с другой, торчала по краям пара пустых колечек, когда-то помогавших удерживать ковровую дорожку — красную, с триумфально-зелеными краями.

За стеной в западноевропейском отделе настраивали радио — старый-старый «VEF» с обтекаемыми зализанными аэродинамическими формами, — гуляли по вечному ночному метрополитену невидимых волн, натывались на свистящие глухие стены, падали в ухающие пропасти, путались в силках, полных птичьего электрического свиста и щелка, пока не вошли наконец в сметливые поезда разговоров — твякующих арабских, пританцовывающих с Индостана и наших строгих и объясняющих. Значит, там уже кто-то сбегал за пирожками и принес целый промасленный пакет коричневатого-желтого неясных зверьков, впавших в крупную спячку, значит, уже в поллитровой банке, оставляя за собой йодистый бурный след, побежал очумевший табор чайнок, в конце концов лежащих листопадом на дно, и все такое.

Куда-то уходили из сознания все слова: точные, едкие, единственные, колкие, могущие держать весь мыслящий слой ума в искристом лабораторном электрическом напряжении; как-то просачивалась сквозь пальцы воля, удерживающая их, все превращалось в тактичное месиво — нейтральное и комфортное, как глицериновая ванна.

Отчего «я слово позабыл, что я хотел сказать»? Почему человек его позабыл? Может быть, механика поиска точности, целостности похожа на нащупывание резонансной частоты — надо наверняка попасть в этимологическую точку означаемого, но это совпадение будет слишком разрушительным для все-таки стройного, еще окончательно не разболтанного лада дневной жизни, дневных необязательных слов, сказанных человеком самому себе, ведь по поводу этих счастливых совпадений придется нервничать, волноваться, ведь захочется их удерживать в уме, не расстаться с ними, так как они обязательны, иначе — один шум, одни помехи, хаос, перемежение.

Да-да, ведь так работает настройка в радиоприемнике...

Нет-нет, это несносный физикализм, его следует избегать.

А между тем утомляемый изо дня в день человек перестает в конце концов замечать, что напрямую связан с каким-то элементарным хронометром. Он перестает замечать, как в нем пробуждается всепобеждающая сумма рефлексов,

хотя он и презирает хрестоматийных собачек с фистулой на шерстистом горле, чья слюна или там нервные токи, как и слюна или нервные токи человека, текут по законам Бернулли где быстрее, где медленнее в трубочках оскорбляюще элементарных связей внутри отрезка рабочего времени: дообеденный святой труд, обед, послеобеденная работа с лентой, уход домой.

И часто из этой цепи незаметно изымались участки с самым сильным болезненным сопротивлением — именно работой, а оставшиеся промежуточные фазы делались самыми главными, превращались в центральные акции дня — и была масса мастеров обустроивать обеды, окружать их фигурами высшего ритуального пилотажа, например по завариванию чая в норвящей лопнуть банке, по запариванию якобы полезной овсянки примерно в такой же банке, по раскладыванию пирожков, стремящихся по своей гнусной сути замаслить весь мыслимый мир с его попраным рабочим порядком, в сущности, давно нерабочим, бездельным, тупым, размеренным силой уклонения от труда и в силу этого неразменным.

Но посидев еще какое-то мелкое время над крутовертью веденяпинских лимонов, совсем превратившихся в кислый нарыв — смотреть на них далее было невозможно, — Тёмина мама вышла на улицу, благо их заведение полеживало на острове сквера, и уселась на уцелевшую лавочку. Но и тут не было покоя.

По узенькой аллейке, шаркая и пыля по припухшему асфальту, растрескавшемуся, отразившему всю подземную жизненную систему, все переплетения корней, бежали заводными неазартными придурками студенты близлежащего техникума. Не на время, без вдохновения, ради зачета, постыло отбывая это дело, шелестя по резким высохшим, упавшим под ноги пропеченным листьям. Постыло отбывая этот жаркий знобящий зачет, умертвляя саму идею бега, мерной скучной чередой без жалта и толкотни текли они, словно теплая приторная струя из горлышка только что откупоренной бутылки, обманув жаждущих, желающих освежиться: ни глазастых пузырьков, ни холодного тумана — испарины.

Перебирайте, перебирайте ножками, приземистые юные каменные степные бабы; варварски дуйте в маленькие горны сигарет, неторопливые ленивые левобережные герольды с трехзначными номерами на спине. Напоминайте что угодно — скучную кровь в жилах усталого, раздраженного человека, переживающего обеденный перерыв на неудобной покалеченной лавочке, безрадостную номенклатурную эстафету ближайшей постылой конторы, откуда он вышел: завша, главный реставратор, Альбина, Алла Спиروهета, Царь-жопа и по ранжиру дальше, не наступаая друг другу на пятки, но испепеляя взором спину бегущего впереди. Так-так-так...

Исчезните как морок, разойдитесь вдруг без видимой логики и каких-либо внешних побуждений, отмените сменяемость одного другим, когда настоящее обесмысливает минувшее, желаемое — желанное, измените этот постылый движущийся ракурс одномерных впечатлений, который никогда не делается другим — парадоксальным, удивляющим, объемным. Что же останется тогда? Сухая невостребованная сущность минувшей дневной жизни, сейчас запорошенная, засыпанная, укрытая привычным, безопасным. Остановившаяся как вкопанная испуганная душа, не испытанная и не опробованная на другом, кроме этого, жизненном материале? Что тогда увидится на первом, самом ближнем плане: недоразвитые молодые каштаны, потерявшие к концу мая почти половину листы, редкая щетина травы, не хотящей расти, не откликающейся ростом на принудительный обильный полив, так и оставшейся редким зеленым ворсом на городской кожистой почве? Спины с белыми номерами лениво расходящихся в разные стороны студентов, выслуживших свой зачет? Строгий костяк всей прошлой жизни с ее призрачным комфортным отбором...

Уйдут ли дневные растрava и горечь? Чем они заместятся?

Во всем этом есть динамика катастрофы, зияния, незаполненности, и мысль отмечала удобный, привычный оттенок сегодняшних растрavy и горечи, которые, может быть, сублимировались в скуку — привычную и податливую, заключающую в свои скобки, включающую в свое функциональное поле все душевные пугающие мотивы. И жесткая, хорошо узнаваемая скарденость выпрямляла хребет, распрямляла плечи, замыкалась вокруг торса сильным корсетом. И душа не замирала...

Единственная спайка впечатлений, взволновавшая сегодня, — эта ленивая студенческая беготня по скверу в виде очереди и их контора, где все почти дышат в затылок друг другу, хоть по-хамски и не наступают на пятки.

Вот-вот. Из этой оперы.

К прогуливающейся в одиночестве завше подошла кадрилиными шажками Леночка-отличница, аккуратно-доверительно крутит пуговку ее форменного платья (о! какая трогательная допубертатная нежная школьная сцена) и, потупив очи, что-то ей щебечет неслышное, но гнусное уж точно: брови домиком, верхняя губа скачет слишком высоким, обнажая десны, каким-то прыгающим занавесом; поглядывает в пуговицу как в фотообъектив, чуть переминается. Совсем немое кино! Завша благосклонно слушает, педнатура требует доносов, наушничества, женственных дружб, легких продуманных истерик, похвальной опрятности и аккуратности. Все! Состоялось. Завша пошла-пошла коричневой шлюпочкой, понурые ручки-весла прижаты к корме. Видно, попала в струю. Плывет расслабленно.

Отчего-то Тёмина мама записала в блокнотик следующее:

«Очередь — мерзкое, пакостное занятие, где униженный человек топчется, не приближаясь к вождленному, раздраженный, отравленный хамством своего безысходного стояния тут, оскорбленный стираемой самостью. Ведь то, что он обрящет, прождав полжизни, не стоило раздраженного отупляющего упования. Вот почему в очереди невозможно читать серьезное, думать, не быть скотом, не участвовать (даже высокомерным молчанием) в пошлых разговорах, так как все механизмы вытеснения уже уничтожены томлением, угнетены, а действуют лишь инстинкты темперамента — наглые и грубые, пугливые и подобострастные или другие, но тоже элементарные.

У спекулянтов всегда намагниченный взор.

И наша служба в конторе: достигнув вождленного, нельзя им уже эмоционально воспользоваться, ибо все эмоциональное к тому времени будет замешено грубым витальным. И случайные остатки, тени эмоций придется потратить на то, чтобы скрыть в себе зверюшку...»

Вот такая обеденная записочка. Иногда она это делала, правда, все реже и реже, но в случае возникновения записи в блокнотике появлялось ощущение, что в упущенном, убежавшем, как нитка из игольного ушка, дне есть хоть какая-то галочка, узелок, утолщение.

Из чего, из каких признаков, примет, черт внешней жизни фокусируется, собирается в световой жгут чувство тревоги, на котором, как на бельевой веревке, будут отныне шрепаться, или при безветрии анемично виснуть, пришипленные к нему прищепками вещи из другого, бытового, инертного мира?

Это чувство, ревниво удерживающее все вроде бы пустые впечатления, меняющие сущность анализа всех обыденных качеств жизни, чувство, заставляющее на все-все смотреть через призму внезапных сердцебиений, истерических придыханий, липнувших непромакиваемых испарин, это чувство, о котором человек в мгновения трезвости говорит сам себе: «Ну вот, я посадил себя на цепь своих расшатанных нервов, живу в клетке своей красивой впечатлительности, даже непростительной в некоторой степени для наших дней взбалмошности. Я приучу себя к дисциплине: я запрещаю себе без поводов волноваться, я налагаю мораторий на свои фантазии...»

Но человек не понимает, что все это так похоже на ревность, которая на то и ревность, что от нее не отделаться никакими увертками. Ревнуя, он, человек, думает, что посадил на цепь того, кого любит, и он, этот, не достоин не только любви, но и цепи, на которой так плохо и неохотно сидит. И думая об этом — засыпая, просыпаясь... и именно засыпая, когда ослабевает сумма строгостей, приличий, — человек понимает, что прикован к своей тревоге, как и к своей опостылевшей ему любви, ревностью, скрываемой, постыдной, выводящей его все время на чистую воду, неутолимой пока еще, мучительной.

Мару Юрьевну, как ей казалось, мало что теперь тревожило. Она, как ей казалось, умела быть дисциплинированной и, как ей тоже порой казалось, могущей в любой миг дать себе строгий отчет во всем, что с ней происходило. Ведь ее, как ей казалось, обуревали — это слишком сильный глагол — совсем другие чувства, другие желания, томленья, тяготенья.

Вот сегодня ей хотелось забыться.

И действительно, аргументы тревоги не срабатывали в ее сознании. Это как в кино, когда синоними мотивов подлинной, должной жизни не волнуют, не бередят, так как они попросту в силу бестактной своей условности не действуют, они слишком синонимичны, они из другого словаря, которым пользуются в

условных ложных кинообстоятельствах, а подлинные давно бессильно утеряны, а можно ли еще что-то более основательно потерять, фундаментально забыть.

Вечер в гостях, проведенный под плоской белой тарелкой светильника за круглым столом, полным закусок, солений, маринадов... Вечер, ставший с годами обязательно-обременительным, без тени радости и волнения — именины Полины Степановны, — все в той же квартире, которая казалась когда-то в детстве столь восхитительной, вожденной.

Отдельность жизни в однокомнатной квартире, своя кухня, туалет, пусть даже совмещенный с ванной, тишина складывались в образ благополучного ненарушаемого уюта, нежности, были желанны. Чудилось, что в этом жилище не могло происходить ничего дурного — в нем не зудели комары и мухи, не засорялись трубы, не перегорали пробки, не переругивались две жилицы, занятые лишь разглядыванием альбомов с открытками-репродукциями (о, альбомов — целый шкаф...), стряпаньем остроумных яств, нанизыванием крохотных бутербродиков на заостренные спички, чтением вслух румяного липкого «Огонька», в конце концов.

Полина Степановна и Тина каждое лето отправляются путешествовать по учительским путевкам со скидкой во все концы, не такие далекие, впрочем, страны: Новгород, Старая Русса, Полтава, Новороссийск.

Дозволялось позвенеть в рюмочку сувенирного валдайского колокольчика...

«Наша химичка сказала (о сослуживице), что секрет звона до сих пор не разгадан».

Они привозили отснятые восьмимиллиметровые кинофильмы — сначала черно-белые, чуть подсиненные жарким пронизывающим лучом проектора, — они поднимаются по лестнице в Горьком к памятнику Чкалову; огромные неправдоподобные сапоги Чкалова — крупно и долго, гигантские, как ангары для дирижабля, как казармы для полка Полифемов; наконец маленькое утиное заброшенное лицо: «Нам говорили, что удивительное конкретное сходство...»

Потом фильмы стали цветными, подводными — в перекисной-йодистой рыжине: не всегда удавалось достать немецкую пленку...

Потом все это куда-то улетучилось — студни на столе с искорками моркови, быстро оплывающие в жару, подрагивающие жеманными айсбергами, пресные байдарочки нарезанных огурцов, хрупкие стратостаты маринованных томатов, лобастый торт, приготовленный по рецепту из «Работницы», напоминающий вкусом залежалую сухую халву.

Все еще румяная Сарра Вениаминовна, но без прежней бодрой приподнятости, ее хилая, умная взрослая дочка в строгом платье, с ввалившимися щеками, на ножках-спичечках, преподавательница университета с редчайшей профессией — латинистка, никому, кроме Сарры Вениаминовны, не нужная, красно-речиво-разворачивающая свой смертный маленький словарик.

Студни — потому что у Тины плохие зубы. Расспросы про Тему, а он просто паразит. И насилие все это кончилось.

Какая все-таки плохая память на лица...

Тина, Сарра Вениаминовна, Тёма, наконец...

Когда она припомнила Сарру Вениаминовну, то на ум прежде всего приходила румяная апокалиптическая старческая пуговка ее хорошо артикулированной болтовни по телефону, а потом уже сама Сарра Вениаминовна — чуть крупнее волнистого попугайчика, с этаким носиком, с постоянно румяными холмиками таких завидно гладких для ее возраста щек. А может быть, не такие они гладкие? Бог весть...

А вот у Тины, кроме тяжелой улыбки, еще всегда вспоминались выбивающиеся крупные шпильки из косы, уложенной по какой-то доледниковой моде на темени, и если она где-то встречала подобное сооружение, такой стог, утыканный жердинами, то вспоминала непременно Тину, ее сдержанную улыбку. Не улыбку, а скорее некую череду анатомических приемов, которые совершала по частям ее верхняя губа, прикрывающая стоматологический лесоповал зубов. И радость, которую человек испытывает в обществе Тины, делалась совершенно непозволительной, чересчур роскошной, и хотелось как можно меньше в ее присутствии улыбаться, во всяком случае, не показывать зубы, лишь чуть округлять щеки; и во всем вечере сразу появлялась чопорность, якобы сдержанная любезность, подразумеваемая сердечность, а в общем — тоска.

И еще Мара Юрьевна подумала, что лицо чем-то родственно по логике припоминания ландшафту, который человек обживал когда-то очень давно, в

детстве,— это что-то общее, какие-то роднящие частности... Но явно, что совпадения того, что удерживалось в памяти, и того, что было на самом деле лицом или ландшафтом, оказывалось слишком мало для возбуждения, например, когда-то пережитой нежности, для восстановления внятного томления, как и того чувства, согревающего солнечное сплетение, точнее пленку средостения, маленькому мизантропу, упомянутому в самом начале всей излагаемой здесь истории.

Что же поделать, но лицо по этой логике похоже на дачный ландшафт — человек вот здесь бродил ребенком часто, а вот сюда не заглядывал никогда и взрослым; и не вспомнить, сколько, например, касаний указательного пальца может уложиться от оконечности брови через пустырь виска до растущих мягкими посадками темных Тёмных волос.

А может быть, есть особые виды памяти, куда укладываются все названия трав, все морщины, родинки, родимые пятна, прыщички?

Эта большая родинка, которую она так любила в детстве теревить на шее деда. И когда он при помощи врача в районной поликлинике извел эту сосковидную вялую родинку на нет, чтобы, может быть, доказать домашним, что вот — доблесть его не покинула, он сказал по-английски это слово — *valour*, он не боится боли и может в таком возрасте сам себя подвергнуть нештучному добровольному испытанию даже из-за такого незначительного повода, как родинка, которую постоянно теревит Мара; и когда на месте этой такой ручной податливой родинки обнаружилась глубокая ямка-оспинка, она вспомнила, какая волна удивления накрыла ее, какая незаполняемая вакансия нежности, неумиротворенного чувства, досель не пережитого, вобрала ее, удивила, неразрешимо озадачила.

Точно так же не могла она запомнить, как ни старалась, породы деревьев в этом чахлому примузейному садике, путала ясень, вяз мелколиственный, клен, лещину, боярышник, рододендрон, признаки которых оказались столь легко стираемыми из памяти, забываемыми снова при первом же спаде систематизирующих усилий, которые оказались в свою очередь столь невыраженными, не связанными с каждодневными интересами.

Только то, что запомнилось в детстве на пространстве того дачного ландшафта, осталось четко сфокусированным, подспудным, неизменным, всегда сопровождающим знанием, когда человек не спрашивает себя: что это за порода? — а каждое дерево окликает по имени.

— Мара Юрьевна, вас приглашают. Начинается закупка,— обиженно-громко говорит отличница; весь отряд трубит на сбор.

И только сейчас она заметила розовато-желтый след на тыльной стороне ладони, вздутые, какой-то памятной географической формы Калимантан и Борнео на бледном атласе кожи, поближе к запястью. Комарик, наверное, переминался длинноногим бильярдом, прицеливался кием-носиком в крохотную, лишь одному ему видимую лузу, отлетал удовлетворенным, отяжелевшим, коричневато-багровым вертолетиком, и волоски редким тростником пронеслись под ним в этот миг.. Действительно, обеденное время, обеденное безвременье истекло, и вот-вот должна была начаться закупка, и все участники сидели на своих столь многозначительных, почти вопиющих местах в традиционных позах. И если бы можно было посмотреть этаким взмывшим под потолок комариком с гигантской для него высоты на заседающих, то как на школьной иллюстративной карте военных действий, где противники заштрихованы синим и красным, можно было бы различить, скажем, Антанту и противостоящий ей Тройственный союз, мелкую рябь и сыпь партизанских болот, ничтожно-зажатые отдельно взятые нейтральные страны, всецело, всецело подпадающие в конце концов под влияние крупных противников.

Если б посыпать всю эту намагниченную до вихрей, наэлектризованную до искр компанию леском опилок (железных или пластмассовых) и в яви увидеть все силовые линии, не только столбовые дуги неприязни и ненависти, но и тайные, жеманные, так сказать, вредительски-диверсантские тропиночки, дорожки грибников, ягодников, дезертиров и перебежчиков, исчертившие ландшафт их конторы, то выяснилось бы, что управляют всеми бореями и зефирами вовсе не обреченные этой функции по должности, а совсем-совсем другие, могущие взбаламутить девственное душевное сырье завши и главного хранителя, например.

Ни признака, ни намека во внешнем тектоническом покое: мирные вершины, справедливо оснеженные, прозрачные озера разрешенной средней глуби-

ны, уместные буреломы для живости общего пейзажа, веселые березнячки и осиннички и детским паровичком некто пыхтящий, виновато отдувающийся мотается туда-сюда, туда-сюда. Милый, мирный альпийский вид, открывшийся русскому путешественнику, вообразившему, что его первое умеренно-открыточное впечатление и есть в некотором роде верное отражение эстетических иерархий этого пейзажа, обманчив в высшей степени. Но вот Тёмина мама, Мара Юрьевна, знала всю эту бутафорию логики, все эти размалеванные задники с горами и небом, она знала тайнодействующую механику, всю систему колосников — результаты не обманывали, — и было так скучно.

Вот и сегодня в этом думном сидении можно было не участвовать, так как ерзанье на неудобном стульчике в низком зале, кроме раздражения, не сулило ничего, но уклониться было невозможно, и всеобщий геологический покой, во всяком случае его привычную конфигурацию, следовало оберегать из эгоистических соображений тектонического покоя. Но тошнотной волной именно сегодня, может быть, из-за жары, придвинулось неоформившееся раздражение на то, что необходимость всего того, что воспоследует, не всплывала даже на поверхность сознания, не колола хоть какой-то ничтожный шпёнечек побудительного механизма легким острием компасной вихляющей стрелки. Так бывало всегда, когда действовать приходилось лишь из-за того, что нельзя было не действовать в силу каких-то мифических, эфемерных по большому счету посылок. Словно за руку взяли.

...Ну-ну, и эта дрянь, привезенная из Москвы от какой-то пронафталиненной старушки, вовсе не стоит таких денег, и резьба-то по кости пошлая, а не Холмогоры, как уверяет Царь-жопа. И черт с ними.

— Кто за?

Рука сама тянется вверх. И еще что-то бесстрастное, примерно такое же. А ведь интересно, что эти вещи — сухое барахло по сравнению с опредмечиванием психики, по сравнению с тем, как Царь-жопа симулирует музейный натиск и поиск, реабилитирует себя в своих же глазах, проявляя настойчивость и настырность на закупке, совершает пародийные движения без верных посылок, произносит фразы, состоящие из слов, обычных человеческих слов, но взаимоуничтожающих, рождающих самоуверенную бессмыслицу, эстетический хаос.

— Композиция крепчает, если посмотреть на предмет в перевернутом виде...

О! Крепчает, крепчает... Так же как и Царь-жопино место в конторской иерархии после начальственно-одобрительного кивка разомлевшей завши:

— Ну, Инна Геннадьевна, у вас нетривиальный подход...

От Царь-жопы исходит блаженный пар, пар блаженства, темнеет крепдешин под мышками, вот-вот вся задымится, зачадит, взмоет с гудением. Идет на свое место, не касаясь пола. Левитирует. Так-то.

И зайдет зайдет Инна Геннадьевна в завшин кабинет потом без доклада и приглашения, наверное, тихо-тихо включают они радио и затанцуют, приобнявшись, самый доверительно-инфантильный танец, октябрятскую полечку, — и-раз-и-два-и-три..

Бедная психика тучной женщины, источающая тщеславие, зависть, презрение, бессильная в изобретении прикрытий душа ее кошмарной всклокоченною Брунгильдой тяжело осматривается, вот-вот бросится воительницей и уничтожит всех, могущих помешать иметь такое трудно доставшееся, вожделенное, только что достигнутое, обретенное.

Душа-фронтоничка, видимая за версту, отбросившая защитную окраску и всю камуфлирующую нехитрую механику, начальстволюбивая, подобострастная, жуткая в своей прямизне, ставшая элементарным производным распылившегося темперамента. И не душа вовсе — слабая аналитическая машинка, вычисляющая лишь элементарные побочные осложнения поступков и побуждений, таких, которые затмили все другие истинные, положительные интересы жизни, дел, чаяний. Такой приборчик для осуществления функции приспособленчества, до отвратительного телесный, скачущий, подпрыгивающий крупно, как кадык у пьющего из запрокинутой бутылки; взметающийся и опадающий, как грудная клетка в своей элементарной одышливой последовательности. И все интеллектуальные, эфирные, тонкие предпосылки забиты, замещены, засурдинены этой глуметастазированной пульпой, способной лишь вожделеть, раздражаться, множиться.

Но когда дело дошло до главного, ради чего, собственно говоря, собрались — ради возможной покупки большой серии рисунков давно в нищете и забвении

умершего художника, чья слава уже начала разгораться, как обычно бывает, на Западе, и случай этот упускать было нельзя, так как наследница явно нуждалась и искала после долгих лет замкнутого, оберегаемого от коллекционеров хранения официальных покупателей и хотела, чтобы серии «Похороны» и «Толпа» находились в компактном виде и месте, то есть в музее, — и когда некоторые рисунки в четверть ватмана были выставлены на мольберты, Мара Юрьевна по жаркому сквознячку, пошедшему в ее сторону, ощутила, что дело не так-то просто повернется. Недаром завша распустила зоб-подбородок, как птица. Шумно заерзала пышной квашней Царь-жопа. Нет-нет, внешне все было вроде бы нормально — рисунки проходили по отделу, которым заведовала Мара Юрьевна, но странное дело: когда она стала потом вспоминать это так неожиданно повернувшееся течение дел, то не смогла припомнить, кроме одной своей реплики, ни единой чужой фразы, ни единого внятного довода против. Словом, какое-то немое кино, но не быстрое, с резко мелькающими модальными жестами участников, а какое-то заболоченное, мелковыразительное, глухонемое.

Вспоминалась то слишком прямая неудобная спинка стула, то ближняя щель между разошедшимися, порыжевшими паркетинами, куда бочком закатилась канцелярская кнопка, то протестующая мимика Пряшкина — представителя союза художников на закупке. Впрочем, он, который никогда не ходит на эти сидения, оказался там не случайно, как и какой-то тракторист-баянист из управления культуры. И суммарное ощущение от всего этого гнусного все же разыгранного действия совпало с осязанием пыли, вызванным касаньем подушечкой большого пальца, которым она безостановочно возила по ворсистой реечке-перекладине под сиденьем стула, сухой и ворсистой из-за мелкой конторской жесткой пыльцы. И теперь нет уверенности в том, что это было именно достоверное ощущение подушечки большого пальца, а не иллюзия не бывшего осязания от убивающих приобретение рисунков мусорных реплик и сорных фраз.

— Ну а вы что, Мара Юрьевна, скажете?

— А попробуйте-ка рассмотреть крепость композиции в перевернутом виде...

Дело было безнадежно и окончательно загублено. И чувство, что и вот это не удалось, окрасило в серый графитный тон всю толщу пережитого времени, мелко загубленного в этой конторе. Времени уже набралась точно целая толща, и к ранней, радостной, как теперь кажется, поре не пробиться мысленным взором. Ничего не выйдет. И взор теперь тоскливый, с трудом удивляющийся.

Особенно жаль, что ушла серия «Толпа». Она еще раз перелистала полтора десятка листов: всевозможные ракурсы человеческой икры, сжатой, тесной, без перечня страданий, без присущих мук, ужасная тем, что ее не жаль, ужасающая. Без пушка и истомы усталости струдившаяся потная казарма — сплошной перегар. И почти бессознательно, неискренне ей подумалось, что выставить это все вред ли было бы возможно... Очень уж физиологично...

И когда позже в общей комнате она садилась за свой стол, то поймала в себе мгновенную волну бешенства, что вот опять приходится с трудом втискиваться буквой «зю» в эту щель между Леночкиным столом и своим, и именно поэтому каждый раз, каждый раз с самого утра настроение заведомо испорчено, отравлено, изгажено. И криво, с дробным скрежетом она подвинула всего-то сантиметров на десять Леночкин стол, но фолианты, лежавшие на нем ликующей стопкой, уже сместившись, не образовывали столь правильные ритуальные зиккураты, бесившие своей толстостенностью, сложенной из буковок, сносок, цифирок, иллюстраций. Круглячок только хмыкнул, скосив глаз на это дело. Фухх... Вроде бы и полегчало. И в блокнотике появилась еще одна карандашная записочка:

«Не все действительно существует, но и несуществующее может раздавить и уничтожить».

Вернувшаяся Леночка увидела, что вавилонское пленение неожиданно прервано, стала обидчиво и трудолюбиво городить новую фортификацию из своих многопудовых скучных писем Тыквина бог знает кому. Камень на камень, кирпич на кирпич... Молча. Молча.

Но что делать с этой внутренней тревогой, которая не уляжется, как взыбаламученная пыль, с внутренней тревогой, с едким концентратом фраз,

взглядов, намеков, пустого ушедшего времени, отравившего даже возможную, но, впрочем, как она знала, недостижимую праздность? И дни теперь не могут легко скользнуть, а переваливаются тяжкими тушками через водораздел сна, без намека на соразмеренную логику жизни, а заведенно-маниакально, оскорбительно. Иногда эта мысль пробивалась в сознание во всей наготе и строгости, и губы складывались, стягивались в жалкую незримую улыбку в ответ. Не в улыбку, а в мгновенный разбег легкого унижающего электричества, которое слишком слабо, чтобы вызвать мышечное движение, но достаточно, чтобы породить чувство досады на эту незаполненную вакансию действия. Что же им еще оставалось? Ничего не оставалось как только возбуждать себя мнимыми импульсами, сомнительным током, отчего-то не осуществимыми, а прежде отчетливо действовавшими функциями тела. Но вот теперь эта разлитая понурость, особенно в эту жару, иногда становящаяся психически отчетливой, пугающе определенной, намекающая на то, что определенно произошел разлад, душа живет отдельно от тела — где-то, тело не откликается на импульсы воли, влачит, мучает и изнуряет душу. И из этого круга ни за что не выбраться, ни за что уже безболезненно нельзя будет привыкнуть к своей жизни, даже пробиться к ней через этот хаос и нагромождение ерунды — жалкой, но окислившей все. И похоже, что эти попытки делаются все слабее и слабее. И хорошо. И поделом.

Вот окуклившейся гусеницей лежит на подоконнике маленький тампончик ваты с йодисто-черной спинкой — уже целый месяц, а может быть, лишь неделю или же еще с зимы — рядом с заварочным круглым чайником, где уже остатки заварки покрылись высокой прибрежной порослью плесени. Самое страшное во всем этом было то, что обнажалась лишь подспудная хламная, холодная сторона этих предметов, раздражающая, но и требующая небезразличных усилий для того, чтобы все это переставить, вымыть, выкинуть, применить, упорядочить. И нельзя было порадоваться, глядя на скомканные пестрые курточки, сдернутые с милых конфет, тоже лежащие комочками с искорками фольги здесь. Собрание этого хлама выступало и ранило острой, мнимой, но до физиологичности ощущаемой кромкой, мучило чумным осязаемым звуком, царапающим все существо, заставляющим содрогнуться, как в детстве, когда дедушка утром за завтраком обязательно шершавым фарфоровым донцем чашки касался, собирая капельки чая с молоком, такой же шершавой кромки поребрика блюда, высекая уже ожидаемую невыразимо мучительную искорку звука, сопровождающую теперь ее всю жизнь.

И сегодня к концу бесполезного вредного рабочего дня казалось, что хаос, хлам отношений с этими предметами проник внутрь души, угнездился там, и для того, чтобы все исправить, необходимо приложить непомерное волевое усилие, но и воля затронута этими дезорганизующими связями, она рассыпалась в прах, в мелкие чайники, просыпанные из нарядного раскрытого цибука с серебряным нутром, — и это значит навсегда.

И не вспомнить номера телефона некоего В. Ю., друга некоей женщины, Тёминой мамы... Вот если пальцы сами попадут в симметричные гнезда телефонного диска соответственно номеру. Все симметрично цифре четыре, симметрично цифре четыре, с которой начинается номер: четыреста пятьдесят три...

— Я буду вас ждать через сорок минут, В. Ю.

При посторонних они были на вы, и орбиту отношений, сложившуюся в силу разницы в возрасте, нарушить было невозможно, слишком много более серьезных центров тяготения грозили ослабить эти детские анемичные кеплеровские силы, связывающие их. Хоть так, и слава Богу. Но оказалось со временем, что и этого призрачного двойного привычного движения иногда достаточно, чтобы вызвать цепь действий, оставшихся из прошлой семейной жизни каждого, и все раздражение и горечь разряжались при мнимых поводах, которые давала эта необязательная связь Мары Юрьевны с гораздо более молодым В. Ю., но, как ни странно, все продолжаемая и продолжаемая, длимая ими или длящаяся сама по себе. Кто знает... Впрочем, связь эта как-то сама собой выскользнула из-под возможного, но не оказываемого влияния, стала какой-то тихо-стихийной, незаметно-одичавшей, бытовым предметом, которым, как, например, кипятильником, надо пользоваться осторожно, иначе хлопот не оберешься. Но иногда, как замечаемая обычно лишь утром скудность быта, эта связь приобретала все черты и признаки невыносимого, изводящего тяжкого сожительства, каковую все же не являлась, и отказаться от нее было бы, *наверное*,

больно, и это *наверно* все и решало, точнее, не решало ничего, оставляя все на непроясненных прежних местах, причиняющих настоящие вмятины, как впоследствии выяснилось, страдания.

Эта функциональная связь, радовавшая прежде своим конструктивистским оттенком, теперь представляла строгой, отчужденно-аскетичной, бедной, мучительной, это противоречило тому, что конструктивное мыслилось Марой Юрьевной раньше наиболее свободным, чистым и демократичным. И самое главное: оказалось невозможно всегда поддерживать эту исчисленную сумму напряжений, необходимую для желанной строгости, соотносенной со свободой, так как хотелось сесть иногда кому-то на шею, скажем, молодому В. Ю., расхныкаться, разрыдаться. Хотя бы чисто теоретически... Но это было за границами выбранного и утвержденного стиля. И вся эта татлинская башня дряхлая и кривилась, посылала сигналы строгого телефонного отбоя в эфир звуковыми брусочками: ту-ту-ту...

Об этом думала некая женщина, перемолвившись с В. Ю., непримиримо глядя на телефонную трубку с какими-то набившимися жирными крошками в узеньких прорезях ее голосозаборного устья, где слова немилосердно скуричивались в узенькие бурунчики и неслись к другому симметричному аппарату. А налипшие крошки — это, наверное, сублимированная мерзость чужих конторских слов, превратившаяся в какие-то иссохшие, ископаемые крошечные объедки.

Вряд ли эта связь замышлялась участниками как реализация любви. Первый семейный опыт был у обоих не то что неудачный, а полый, обманувший, кончившийся пустотой и тихим надрывом. Во всяком случае давняя внутренняя тенденция не реализовывалась, осталась нескомпенсированной, мнимой, представляла как сумма стершихся признаков чего-то важного, не бывшего. Чего же не бывшего? Раздражения, досады, зуда?..

Но стоит отметить, что когда на первых порах их так называемой дружбы Мара Юрьевна, умная взрослая женщина, спряталась в платяной шкаф, игриво думая, что В. Ю. будет ее искать с эротическим энтузиазмом, то она грубо и обидно ошиблась. В. Ю. разделся до трусов и лег поверх одеяла, развернув газету, аккуратно перед тем вынутую из почтового ящика.

— А я думал, что ты ушла, — сказал он.

— Да нет, не ушла.

Ну и все такое. И другие подробности, видимо, не стоило приводить, — в подтверждение чего, собственно, их следовало бы приводить?.. А так, просто. И теперь все отношения содержались в строгом, если так можно сказать, гигиеническом порядке, во вмятном, деловом внешнем конструктивизме. То есть эти отношения можно было бы определить как постоянную, вернее, перманентную тенденцию к близости, во всяком случае, так представлялось ее участникам, но по мере протекания времени реализовать эту тенденцию было уже невозможно.

И дело не в отсутствии нежности, с этим можно было бы совладать разными способами. Дело не в отсутствии нежности. «В конце концов, есть такая вещь, — думала Мара Юрьевна, — как дисциплина чувств. И нельзя распускаться. Надо уметь быть благодарным за то, что есть, да-да, благодарным. А то — достойный пример: истеричка Ф. снюхалась с какой-то кодлой лесбиянок. Всюду таскает за собой маленькую дочку, и в их гадюшник. При встрече норовит поцеловать в губы».

Но в другое время ей думалось, что навигационных правил в этом деле нет и, может быть, Ф. по-своему права, и Бог с нею. Неизвестно, что было бы с ней, не будь хотя бы В. Ю. И это промелькнувшее *хотя бы* испугало ее. И эта лазейка, этот дальнейший ход мысли был прикрыт и, так сказать, уничтожен на корню резонным доводом — надо быть благодарным, надо быть благодарным человеком. И дисциплинированная Мара Юрьевна не давала себе права, сил, возможностей, чего угодно, чтоб разобратся в этой душевной дилетантской ситуации, что весьма странно, ибо в профессиональной сфере дилетантизма она не терпела. И порой представлялось, да-да, именно в тот момент, когда нога В. Ю., его нарядная туфля (а он любил красивую обувь) захрустела при переходе улицы по новогодним веселым осколкам разбитых автомобильных фар (неприятно удивила именно эта решительно неуместная ассоциация соболезнающего оттенка — авария: ну если не жертвы, так неприятности), — так вот, представлялось, что отношения с этим человеком лежат где-то вне поля цветного радостного зрения, в другом, недоступном, усеявшем сетчатку колбочками и палочками свете. И пытаться критически рассматривать их

отношения, не стоит, как, скажем, свое отражение в зеркале утром в ванной с зубной щеткой во рту, — ничего хорошего, ничего.

Уж точно ни щелочных, ни кислотных реакций тех давних страданий — все-таки страданий не хотелось повторять. Спокойствие, с таким трудом достигнутое, благородное, как инертный газ, — может быть, самое лучшее из возможного. Как это... — «свобода есть осознанная необходимость». А та давняя боль, которая не отпускала, та досада нереализации давнего чувства уже почти не помнится. Так, всплывает каким-то космым признаком, запахом, который нельзя отогнать и развеять. Но все это уже несет милый оттенок бытовой необязательности, легкой растравы, кончающейся сумятицы в преддверии внятности и порядка. И очень хорошо, что в отношениях с В. Ю. не надо делать никаких уступок. Все-таки все налажено достойно. Даже с некоторыми эротическими привычками В. Ю. можно смириться. Вполне.

Все это так, если бы некоторые предметы и черты прошлой жизни не торчали неаккуратными углами хотя бы из дорожек и газонов этого чахлого городского садика Липки, свежего в конце мая, но таящего в этой свежести все приметы сухой гибели буквально через месяц. Природа, забывшаяся в своей пыльной неопределенности. Дурная природа, релевантная белым, тысячу раз крашнным густыми белилами бюстам времен борьбы с космополитизмом. И на лавочке рядом с блестящей в сумраке сахарной головой композитора Глинки в весьма далекие времена она смеялась бессмысленности фразы, выдвинутой на цоколе, — «музыку творит народ, мы же ее только аранжируем». В этом советском Летнем саду с нравоучительными каскадами скульптур, подмигивающих друг другу в чахлых зеленях: Ленин — Горький — Пушкин — Яблочкин — Островский, — связанных смысловым жанровым зигзагом, в такую же вечеряющую жару молодой, прямо скажем, юный человек, срываая ключом зубчатый беретик, закупоривающий бутылку сидро, окатил ее, рядом сидящую и не успевшую вскочить, желтой, золотистой, теплой липкой пеной. Лизнул ее в шею, щеку и выдохнул в губы: «Теперь ты Амфитрита...» И она не стала стирать платком желтые пятна с блузки, которые так и остались, уцелели где-то, может быть, на нижней полке платяного шкафа, какой-то маниакальной неотстиранной географией.

А совсем недавно она наткнулась на объявление, написанное печатными наглыми буквами, с завившейся бахромой-бородкой телефонных номеров — ни один не был оторван, — бумажное объявление в замусоренной будке остановки висело, видимо, давно — покорибилось, стало даже на вид ломким:

«Мне тридцать девять лет, полностью взрослый, очень молодой телесно и душой — со всеми выдающимися личными и личностными качествами, большим духовным развитием. Жалаю (да-да, именно жалаю) познакомиться с молодой женщиной со следующими данными (надежность, полные губы). Среднего телосложения или склонной к полноте. Можно полненькую, не утратившую форму».

И номер телефона был его. Впрочем, может, он давно там уже не живет, поменялся, а строчит печатными детскими буквами эту чушь, вождедея и облизывая губы, какой-то домашний маньяк... Вполне, вполне...

Но все это прошло, и кислотные, жгучие и жгущиеся так долго реакции крови стали инертными и призрачными, близкими к иллюзии. Метафорическое подрумяненное свечение, холодный огонек сверчка, кровавые шарики соударяются бледными синими всплывками с раздражением и досадой. Может быть, это инстинкт жизни, перемолвший все в конце концов на своем небыстром жернове? Инстинкт жизни, добросовестно доведший человека до сочинения этих объявлений. И до дружбы с В. Ю., с другой стороны.

— Посмотри, никогда не замечала. Горький обсажен перетрумом. От блох, наверное... — обращаясь к В. Ю.

— Что? Да-да.

На пыльной, взрыхленной почве, полной осколков стекла, где эта дымчатая ленивая травка, и, классик, выкрашенный белым, может спокойно стоять столбом в полной медицинской стерильности, таким бутафорским врачом, попирая надпись «Человек — это звучит...». Ну еще бы — звучит, звучит. И самой звучной живой нотой застыла розочка воробьиного помета на лацкане белого распахнутого пальто — таким птичьим лауреатством. Хорошо, что буреветники летают совсем в других краях. Но это из старого анекдота.

И тот перетрум предательский из платяного шкафа, от насекомых. И та кофточка мертвым эквивалентом чувств валяется в скомканной эмбриональной позе в рухляди других упущенных возможностей — сношенных чулок, чиненных комбинаций, недошитых блузок. Там была еще такая сыпучая подушечка саше. Наверное, и пахнуть уже перестала. И эти обрывки воспоминаний, неправильным, обратным током ввинчиваясь в сознание, губили вечер.

— Пойдем отсюда.

— Ну как хочешь.

Но все дело, видимо, в этой пыльной липкой жаре, настроившей человека на такой ряд размышлений. В другой раз, может быть, она и посмеялась бы, например, над тем, что вот этих курсантов, даже переодетых в цивильное, удравших в самоволку, всегда можно отличить от прочих: во-первых, движения их как-то расовогласованны, вернее, все жесты, взгляды, скорость, с какой возникает улыбка или поворачивается голова в сторону мимо идущих девиц, слишком поспешны, может быть, это из-за того, что в три-четыре часа украденного времени надо уложить столь много (из-за короткой жизни и грызуны дышат часто-часто, едят скоро-скоро), а во-вторых, как-то угадывалось, уж неизвестно почему, что они, эти мальчишки, принадлежат все-таки другой жизни, с другими правилами и иначе распределенной ответственностью, а может быть, и безответственностью. Но сегодня ничего веселого в этой уличной оценке не обнаруживалось. И слава Богу, что у Тёмы есть еще один год впереди, если в этом не выйдет с вюзом. И вслух:

— Все же хорошо, что Тёму отдали в школу с шести с половиной лет.

А курсантики явно сняли девиц. Двух хохотушек-веселушек, куривших на лавочке явно в ожидании приключений.

— Только не сразу предавайтесь петтингу,— сказал В. Ю.

Не смешно, не смешно.

Низкое вечернее солнце, бьющее в глаза, напомаженные жирные тени, недвижные купы, сгрудившиеся мрачной томительной массой. Обольщающая, обольстившая древесная архитектура, живущая в зрении, полная обещаний, с которыми человеку нечего делать,— бродить и шуриться, переходя из тени на свет. Выстраивать равновесие между своими вожделениями и отяжелевшей непроходимой внешней средой. Тело, полное упований, не в силах смутить безразличную душу. И парочка шустрых щеголих, все внешнее, подчеркнутое веселье которых — как фраза, набранная курсивом, веселым быстрым наклоном на будничной чахлой страничке, делают вид, что им и дела нет до курсантов, сосредоточенно переговариваются лишь между собою. Надолго их не хватит.

Интересно, а надолго ли хватит ее?— подумалось некоей женщине, которая шла рядом с В. Ю. Надолго ли хватит сил делить свою жизнь на три сектора: работа, дом, отношения с В. Ю.,— ведь, собственно, в каждом секторе она тонет, натурально захлебывается. Но тут, как всегда, сознание останавливалось.

Вообще зацепить крючком какую-нибудь мысль-ворсинку и потянуть ее к себе совсем не просто. Она, мысль, вся покрыта наростами, на нее бог знает что только не налипло. Все ее товарки тоже хотят на волю. И те, с кем сопряжены боль, мучения — мучения, которые надо забыть. Ни одного мыслительного акта не совершить в абстрактной чистоте без волнения, прижавшегося к каждому символу и силлогизму. Даже вычислять, складывать в уме числа, не вожделея, невозможно: школьные оценки, деньги, номера телефонов, квитанции...

На какую-то безболезненную секунду вытащить ее, мысль, из родной илстой среды, чтобы заглянуть в ее круглый задыхающийся рот — и отпустить.

Так и длилось это барахтанье в трех средах, в трех секторах жизни. И смотреть ей на самое себя со стороны не хотелось.

Не хотелось смотреть и на этого городского сумасшедшего, встретившегося у выхода из садика. Ведь он, кривляющийся, шаркающий навстречу, когда-то начинал учиться вместе с нею в начальных классах, жил на одной улице, и фамилия его была какая-то безумная, такая незабвенная — Мингин. Он устраивал дикие концерты, дело шло, так сказать, по нарастающей. И однажды из-за него не учились почти целый день. Его вообще-то переводили в соответствующее заведение. Но то ли мать была алкоголичкой и ее должны были лишить родительских прав, то ли еще что, но, в общем, он устраивал ошеломительные загибонь, пока однажды в самую бурную интермедию не приехала бригада крепких мужиков в тесных несвежих халатах, не повалили его прямо в рекреации, орущего и кчающегося кота, на рыжий паркет, не вкатили ему в бедро укол из

заранее приготовленного шприца — прямо через штанину, — и он очень скоро затих. После этих событий их, детей, пугали технички: «Ну что, укола, как Мингин, захотели?»

И вот он натуральным стариком с седыми бровями и низким, словно нахлобученным ежиком волос идет, шаркает, легко кривляясь, поражая встречаемых театральной жестикуляцией, напряженным электрическим подергиванием тела и кубистической изломанной мимикой. Сетку с буханкой хлеба он перекладывает постоянно из руки в руку, видно — уже и ронял не раз, что-то безмолвно говорит-говорит быстро-быстро, сердито, не видя, впрочем, никого глазами, будто бы повернутыми внутрь, в себя. Бедный, бедный вычурный Мингин — ему хочется почесать, например, затылок, но рука вместо того, чтобы просто потянуться к требуемому месту, взлетает и падает, плещет птичкой, пока совсем не забудется в возбужденном рокайльном строе о причине движения. А впрочем, это так обыденно — между побуждением и действием жизнь воздвигает непроницаемые баррикады. Может быть, Мингин честно отдался на волю всех мелочных побудительных порывов — химерических и простодушных. Вот стоит же у обочины юноша, ловит подчеркнуто небрежно машину, а сам нервно сучит коленками — и ничего. А Мингину, видите ли, вести себя чуть круче нельзя...

— Послушай, Мара, что ты на этого кататоника уставишься? Он же онанировать начнет. Пойдем.

— Но я и не смотрю вовсе.

Сколько же времени должно было пройти, чтобы из мальчика-психопата он превратился в такое дикое существо? Вся жизнь. Или меньше? О, этот вопрос слишком риторичен, литературен, непроницаем, в конце концов. Есть в его постановке какой-то нетрезвый посыл, какая-то пленка, отделяющая человека, этот вопрос задавшего, от его собственной жизни. Он себя смеет утешить, что, мол, все так, как есть, а могло быть и хуже, хуже. Это «хуже» повторяет он, скандируя про себя, доведя слово до полной бессмыслицы, а жизненный обнажившийся смысл, его остов — неприкрытый, костистый — ранит ткани, мучит, от этой боли некуда деться. Ведь действительно прошла вся жизнь, такая, какой она была, — вся. И она постыла теперь в своих пережитых окостеневших формах плохо скрываемой постыльностью. И дело все не в том, что... не в том, что... Не хочется дальше думать об этом, разворачивать бесконечный, теперь уже беспробудный перечень холодных несчастий, таких же, как и у других, — у Тины, например.

Еще по дороге попался этот хам Вадик, который стал рассказывать скабрзную скороспелую историю; она, история, просто пузырилась у него на губах, а В. Ю. ухмылялся, так как всегда умеет поддержать любой разговор, даже разговорить молчуна, если хочет, конечно, изобразить живой интерес, товарищеское участие, мужскую корпоративность...

— ...Что ты говоришь — подцепил в «Поплавке»...

— ...В хлам пьяная...

— ...Ошпарил в ванне. Вся кожа слезла. До мяса... Второй степени. А что в больничном написали?

— ...Ну дает — просто сценарий.

— ...Да, еще мать ввалилась, а они в таком виде...

— ...Фонтан...

— ...А он...

Отчего он позволяет вести при ней этому придурку хамские разговоры? Подогревает его коротенькими репликами, доводит этого кретина до полного кипения. Как это он сказал? «Жопу обварил». Скотская кулинария.

Но, может, эта изжога раздражения — результат всей нелюбви? А опыт нелюбви — самый дурной, порочный, отравляющий. Боязнь банального одиночества — и вот примитивный результат: даже в этой элементарной связи не установить порядка, чтоб было непыльно. Но, может, при других обстоятельствах, без Вадика, она бы и посмеялась этой безусловно выдуманной дурацкой истории... Может быть... но мнимость отношений требовала системы доказательств, что таковая мнимостью не является, и это случайное хамство — откровенное, прямое — перетирало всю хрупкую, нежную возводимую конструкцию в серый порошок, в пыль — осязаемую и предметную. И для прощенья и забвения этой мелочи уже не было сил, силы предназначались другому — камуфлированию, наведению румянца и лоска на все эти дела. «О, только бы не остервенеть, — думалось тихо и трезво, — только бы не остервенеть».

Растерянный человек вдруг почувствовал холод своего сердца, рациональным испугом испугался дефиниции своих душевных сил, деления их на категории в зависимости от области приложения. И все это складывалось в картину жестокосердия — трезвого, механического. И оно уже не пугает — ни липкого пота, ни мгновенного расширения зрачков, ни забытого приступа нежности. Только память об этом давнем деле, наступающая, как череда воспоминаний, возникающих от внезапно надвинувшейся стены запаха. Только память — сумма рациональных сохраняемых дробных примет, в сущности, подруга распада — бубнила и неаккуратно подсказывала, что все должно быть по-другому, по-другому. То есть не так, как есть, но жестко равняя по искаженной, может быть, линейке. И память была именно в силу последнего мерилom во всем этом деле.

Ведь помнились притупленные оттиски живых давних реакций, которые костенели со временем, становились негибкими, телесными, а требовалась сумма совпадений, чтобы то, памятное, соединилось с данным, происходящим теперь, без зазора, наложилось, ну хоть и не без зазора, но с коэффициентом подобия. Пародия. Пародия. И вообще давно пора переключиться на что-либо безоценочное, небольшое. На эту улицу, например, где под вечер собирается теперь «весь город» и глазет на свето-музыкальный фонтан, на эпилептическое биение струй под шлягеры, да еще в помидорном багрянце подсветки. Этаким inferнальным приветом от Скрябина. Заказное декадентское письмо, наконец нашедшее адресата. «Один раз в год сады цветут» — выблевывал фонтан, наливаясь синим, опадал всем водяным телом в истоме и истошно восставал снова из водяного праха. Так поэтично!

— Слышь, Кеня, кайфово! — сказала громко какая-то девочка-травестушка Кене — хмурому, принявшему дозу дуболому.

И права была именно эта девочка, в строгом мире констатаций осуществляющая свое маленькое трезвое бытие, не вождедея сверх меры, не жадя бог знает чего, не мучаясь, как Мара Юрьевна...

Если бы она сумела затеять все снова, всю жизнь — простую, как мычание. Чтобы витальность набрала такую инерционную силу, которая все переможет — и сомнения, и ревность, и скуку, и тоску... И этот стерженеющий вектор определит весь строй отношений, уничтожит неосуществившееся, военной поступью прохрустит по яичной скорлупе неродившихся эмоций. Интересно, будет ли так больно? Можно думать черт знает о чем в этом расшатывающемся равновесии, додумаясь до ужасающих глупостей, до бреда, точнее, со страхом раскрывать в себе вакансии бредовых действий, загнанных в глубину, куда-то к средостению, и вечно греющих эту пазуху хмурым огнем.

Не получается безоценочно...

И за всем этим жарким потоком распрощался В. Ю., — ему надо посидеть над отчетом... И вот уже загорелась в позванивающей темени подъезда навигационным огоньком красная кнопка у створок лифта, и снова эта надпись, вырезанная на хлипкой пластиковой стенке, — «Тёма».

Дома никого нет. Тихо. Домашний однокомнатный воздух, не взбаламученный звуками. Звуков же на самом деле масса, но они другие, не имеющие к Маре Юрьевне отношения. Они ее ни к чему не принуждают. Не обязывают. Они обтекают ее. Они могут принудить разве что к раздражению, которое, усталое, уже сродни равнодушию, охватившему сердце. Пускай себе играют Брамса двумя этажами выше, стучат по коленным чашечкам рояля неврологическими молоточками — все равно звуки собираются в диагноз тишины, мертвящей ее собственное налившееся синевою жильем; и весь ужас, невротический кошмар какой-то перекрученной железной струны «до» существует как интеллектуальная данность, результат анализа, не мешающий ничему. Ни-че-му.

Холодные придонные щи, которые не стоит разогревать, можно съесть и так. Тяжелая старая серебряная ложка, ложающаяся черпаком на жесткую бордовую поверхность, медленно-медленно прорывает прогнувшуюся жесткую мембрану, и неостановимым потоком в нее хлынула зрительно холодная жижа с льдинками жира ярко-оранжевого спасательного цвета. Мягкий звук удара о дно, не способный поколебать норму спасенного дневного достоинства, норму сомнительной справедливости, попранного времени..

Но вот кофе — это веселее. Во-первых, потому что это дело требует обязательной суммы действий, последовательностей, собирающихся в устоявшийся неторопливый ритуал, сигнализирующий незанятому утомленному уму,

что вот он — отдых, расслабление (как говорит Тёма — полный расслабон, оттяжка...). Невозможно ведь набрать полный рот зерен и запивать, разжевывая все это, горячей водой, хотя иногда и казалось, что именно так незатейливо и надо поступать, чего уж тут суетиться. Но легкое чудное облачко запаха, явно залетевшее сюда из другой — счастливой и легкой — жизни, облачко запаха, витающее над свежепомолотым темно-коричневым загорелым ровным песочком — вот он горкой возвышается в ящичке, выдвигаемом из ручной мельницы, — волновало сознание, точнее не сознание, а какой-то центр, ответственный за запахи, и вот в нем вспыхивала нарядная лампочка, и, может быть, не одна, — и начиналась целая маленькая иллюминация, имеющая более отношение к темпераменту, чем к характеру, во всяком случае, не взирая ни на что, хотелось всё совершать, как-то пританцовывая, позабыв о дневной мрачности, изнуренности. То есть этот запах, попадая в некоторый определенный центр (как объясняла себе, двигаясь, чуть танцуя, Мара Юрьевна), подчеркивал красивыми линиями — как при разборе предложений в школе давно-давно, пуская в дело батареи цветных карандашей, — некоторые черты темперамента, а может быть, и не подчеркивал, а брал в ласковые модальные танцующие скобки легкие эмоции, теплые чувства, эфемерные настроения...

И это доморощенное объяснение, как понимала Мара Юрьевна, не мешало устроить из глупого предложения *я варю кофе на газовой плите в своей маленькой кухне* путем всевозможных подчеркиваний хоть и не красивый Новый год, но вполне волнующий долгожданный пикник на опушке хилого пролеска среди навесных шкафчиков, трех табуреток, набычившейся белой плиты и столика.

В этом была целая эстетика со строгой ценностной иерархией тихого охотничьего гудения первых пузырьков, замечаемых на волнуемой, набухающей, ожившей горячей пленке. Эстетика огромной оперной чалмы, вдруг вырастающей над только что спокойной поверхностью, и тут надо было уже экстатически вырвать кастрюльку из синей гудящей газовой оправы, устроить радостный апофеоз, успеть, опередить уже стоящее рядом разрушение, уродство, норвящее уничтожить нежную домашнюю струю запаха, подымавшегося к лицу; а Мара Юрьевна, надо заметить, неотрывно следила за растущей шапкой черноватой пены, пребывала над шевелящимися купами кустарника, почти зависнув над ними, грея лицо в этой струе синонимов домашности, уюта, легкой бестелесности.

Узкогорлый грязевой гейзер, обдавший волной запаха, чашка, вы — синонимы наступившего свободного времени, надвинувшегося еще не разрушенного отдыха, думала Мара Юрьевна. Но отчего-то эти слова, эти правильные соображения не могли сфокусироваться и представляли размытыми, рудиментарными, лишь намекающими на строгие рамки изображения этой элементарной кофейной сцены.

И эта куртуазная улыбочность была еще так похожа на другое такое знакомое, зудящее, но специально не опознаваемое некое качество ее жизни. Качество, о котором она подозревала, но обнаруживать в себе не хотела, хотя оно, все-таки подспудно обнаруживаемое, толкало ее, паскудно тискало в темных углах отупения, покалывало легким током при самых неожиданных стечениях бытовых обстоятельств.

Как когда-то, в пыльные студенческие годы, в кинотеатрике в студенистой темноте ей почти забытый теперь человек клал руку на бедро, и эта тяжесть ладони была, в сущности, желанной, но не соотносимой со скрипом сидений, мутным рыбьим фильмом, с неметеной сухой шелухой семечек под ногами, с тенью чьей-то башки, вдруг проплывшей по краю экрана. Вообще эта несоотнесенность данного и желаемого, явная и тоскливая, ощущалась ею словно дружеское прощенное, но незабвенное предательство.

Ведь действительно дружеская, как часто думала Мара Юрьевна, измена куда больней и, по сути дела, куда невыносимей, чем измена в любви; ведь когда любят, продолжала она думать, то чувству, его эротической доминанте до измены другого человека нет никакого дела, на то это и любовь, на то это и чувство. А разгромить этажерку интеллектуальных привязанностей куда проще, чем выкорчевать любовь, ведь даже очерствевшая любящая душа прощает эту несоотнесенность данного и желанного, ну хотя бы силится простить, закрыть глаза, выпятить совсем другие, второстепенные для людей со стороны мотивы.

И, по-видимому, с В. Ю. они давно друг друга предали, передали из рук в руки совсем иным качествам и чувствам: привычке к respectable, но, по сути, мнимой устойчивости, например. Но эта мысль задевала ее какой-то самой

мелкой, почти неколкой щетинкой, а вся — в наготе и неприглядности — хранилась где-то до поры до времени.

Время полного подсчета, как ей казалось, не наступило или уже очень давно прошло.

Мелькающая муть, складывающаяся в изображение долго-долго, так как телек допотопный — на лампах, и потому возникает хоть какое-то подобие кинотеатра с эстетикой чистого упования, с эстетикой тяги под сердцем, такой мающейся тихой железки, без которой совсем как-то пусто в этой квартире, где вещи замкнулись в нейтральных именованных падежах, не винят, и не ропшут, и никому не принадлежат. Но дома как-то лучше в шелухе и пухе незаметных, на время спрятавших свою хламную сущность привычных предметов. И хорошо, что В. Ю. пошел к себе, а она — к себе. И все теперь лишено положительного смысла и никуда от нее не уйдет. Пусть так. Загудели фогомом краны у соседней. Мир, равный самому себе, без обещаний, без скрытых, но ощущаемых потенциалов и все же разрушающий это скорбное равенство. Ведь однажды от этого звука, вдруг возникшего среди ночи — правда, это было в квартире В. Ю., такой же точно, как и ее квартира, — она испытала невероятный страх. «Ну нет, ты напрасно... эти трубы не зовут на Страшный суд... — сказал тогда В. Ю. и добавил: — Все путем?» Что путем? Ночное время текло путем их эротического партнерства пикообразно и без особого счастья, но все же облегчающе. Наверное, большего и нельзя было требовать от их совместных упражнений...

Право, есть сумеречные, скажем так, сферы, куда не стоило внедряться очень уж глубоко; не стоило бы разглядывать их ночные детали при помощи жужжащего фонарика «летучая мышь», при помощи этой мокрой, прохладной, подвывающей в руке мышки, которую, не к слову будет сказано, Мара Юревна все время с собой носила, чтобы чуть бодрее входить в темный обшарпанный подъезд, издавая странное, чуть угрожающее, бодрящее жужжание, или ехать в инфернально неосвещаемом лифте, или выискивать Тему на какой-нибудь поздней лавочке бульвара, но последнее делалось спонтанно и все реже и реже. Все-таки он уже взрослый и знает, что делает, а если не знает, то путем проб и ошибок узнает; в конце концов, чужой опыт — сухая мура по сравнению с отсутствием своего собственного, пусть даже и совершенно отрицательного. Но, правда, была эта оскомина от вчерашнего разговора, во время которого он выдал тираду, даже чуть позже записанную ею:

«Мать, ты эгоист небывалого для нашей лестничной клетки масштаба. Я иногда тебе нравлюсь только лишь потому, что включен в тебя каким-то казусом, я — твоё кривое отражение, и тебе это нравится даже, так как это все же часть тебя».

Да, за дословность ручаться нельзя, но слово «казус» точно было произнесено. Об этом стоило подумать на досуге, это того стоило, так как досуг, кажется, предстоял... Но это так, к слову, почти курсив...

Лучше вернуться к разматыванию спирали отношений с В. Ю., подвергнуть их дальнейшей, уже не оскорбительной дактилоскопии, так как все давно уже друг у друга в плену, и по четным числам она берет у него отпечатки пальцев, а по нечетным — он у нее.

Но это почти в кавычках. Вся мимотекущая действительность, в которой мы находимся, уже давно пребывает в кавычках.

И это соображение о завышенности их с В. Ю. все-таки в некоторой проекции общей жизни всегда казалось ей самым плоским, самым унылым местом из объяснений их отношений таким «диалектическим» способом, которым пользоваться было просто и удобно, но он, этот способ, или скисал, утомлялся сам по себе, или утомлял пользующееся им сознание. Примерно так же, как изнуряет чуть патологически плоскую стопу долгая ходьба. Требовалась как бы специальная подушечка — супинатор, чтобы придать одномерной мысли вид арочного очаровательного венецианского мостика, зависшего над узенькой водой гнутой балетной шелковой туфелькой.

Этот способ, придающий сериалу объяснений вид мнимой связности, упругости, был довольно простым и напоминал интеллигентский пересказ услышанной речи, где вместо элементарно честных *а он...*, *а она...* присутствовала разветвленная система, переводящая прямую речь в косвенную с якобы психологическим глубоким *мне послышалось в этом...*, *все-таки самое существенное из*

сказанного ею, это... Или за его словами такими-то стояло совсем иное, а именно то-то и то-то...

То есть передаваемая сущность, суть их с В. Ю. дела при всех этих вышеизложенных способах была одной и той же, и глупо было бы восторженно ждать, настойчиво требовать, например, от остывшей вермишели вкуса селедки баночного посола с добавлением горчицы.

Действительно, что вправе требовать трезвый человек, здравомыслящий человек, не склонный к истерикам, фанабериям и вообще загибонам, что вправе он требовать от всяческих упражнений — от утренней зарядки, например, бега трусцой или холодного обливания? Ну уж во всяком случае не больше чем ощущения небольшой домашней победы над своей все же досаждающей ленью. Тем более победа, случающаяся каждое утро, возведенная в систему, как казалось Маре Юрьевне, есть некая функция, тайно поддерживающая именно лень как чудное все же, если приглядеться, рудиментарное инфантильное качество, имеющее к человеку большее отношение, чем сила воли, жесткость, энергия самопринуждения, например...

Но отчего именно эротические занятия казались ей упражнениями, ответить со всей определенностью, строго и последовательно было, пожалуй, невозможно. Может быть, ей мешали безапелляционные привычки В. Ю.? Непотушенный электрический свет, незадернутые шторы на широком окне (хотя и он и она жили достаточно высоко — никто заглянуть при всем желании не мог на плацдарм разложенных полутораспальных диванов, где после краткой военной реконструкции В. Ю. неуждимо наезжал на нее, как танк на бруствер). О нет, не это, не это... Она тоже в конце концов увлеклась, не так быстро, правда, но вот слова, которые он говорил, тайные шифрованные, так сказать, их словечки, которые он говорил, которые он произносил, даже можно сказать — изрекал, внятно выдыхая все слово целиком, не желая послать его в эфир дискретной ласковой детской азбукой Морзе, ну или скрутить хотя бы в пружинку, в жгутик, чтобы в слуховом протоке оно колко и хмельно распрямилось, умилело, растрогало, побежало колким ежиком, заходило легким эротическим поршеньком, ну и так далее в этом роде...

Ну так вот, эти слова были ужасны, хотя не были ни ругательствами (а она, честно говоря, в данном случае предпочла бы, может быть, и многоэтажное потное ругательство, все же условное, в некотором смысле таинственно-уголовное, с романтикой, как ей казалось, баргузина, неизбывной там тоски или других ссыльных атрибутов), ни каким-нибудь другим персонажем из мира нарочитых оскорбительных номиналий. Нет — все слова, употребляемые им во время их маленькой войны полов со всеми цивилизованными этапами — вручением нот, разрывом пуговиц, благородным пленением, капитуляцией, унижающей контрибуцией, — были даже не шутивными, а сугубо точными — из медицинского справочника или дисциплинарного устава.

Не стоит приводить их здесь — их бледные хромированные тела можно обнаружить в любом медицинском пособии по половой гигиене. Но, собственно, не их медицинский, анатомический одномерный смысл был оскорбителен, нет, оскорбительным он быть, увы, не мог по своей этимологической абсолютно незакомплексованной сущности, хотя, как уже говорилось, Мара Юрьевна предпочла бы даже оскорбительный унижающий оттенок, а не нейтральную кубовую окраску этих слов-предметов. Так, в новой квартире, если ее заселяют нормальные люди, все переклеивается-перекрашивается, чтобы цвет отопительных труб, батарей и обоев ну не бесил бы своим государственно-коммунальным дармовым зияньем, и особенно эти пакостные алюминиевые дверные ручки (первым делом именно их она сама без участия Тёмного отца заменила на пластмассовые, которые оказались непрочными, но все же не такими удручающе чужими, необживаемыми).

И эти слова В. Ю., применяемые к ее, Мары Юрьевны, телу, к его телу, откликам и реакциям, желаньям, были совсем как те ручки, заменить которые она, увы, не могла, так как это было бы попользованием на словарь В. Ю., а их давно установленная конструктивистская демократия этого попользования не подразумевала. Но слова, не вызывающие в ней переживания стыда, переживания единственности, что ли, того черного дела, которое они творили, не ограничивая свои желанья, называя все точно и внятно по-медицински, нестыдные настырные слова, бессолёвые, спокойной комнатной температуры, цивилизованные, вымытые и вычищенные, лишённые телесного личного запаха, лишали ее желанья, этой стыдной, шемящей, самой дорогой доминанты, переводили все в

неэротическую, животную плоскость. И поделаться с этим ничего было нельзя. И впрочем, надо ли что-либо понять? — недоуменно спрашивала себя Мара Юрьевна. Ведь все же она все что надо испытывает и даже бледнотелого ярко освещенного В. Ю. может потом довести до детского инфантильного постанывания, легких судорог и вскриков. Чего же еще от всего этого требовать?

Уж, во всяком случае, не пугающего чувства счастья, например; и тем более не чувства проигранной жизни или там попранной личной свободы, которыми стоило бы поступиться во имя этого «счастливого случая». Ведь, невзирая на сие, длить эти отношения было далее нельзя, не нужно, а они длились и длились, пускали анемичные бытовые ростки вроде несвежих рубашек В. Ю., которые Мара Юрьевна делала свежими и плоскими, как игральные карты, к неудовольствию Тёмы.

Но этот итог не отравленных отношений, а просто проигранного соревнования, на выигрыш в котором никто и не рассчитывал, так как ристалище самолюбий, достоинств, гордынь, одиночеств и всего, о чем можно было подумать красиво, давно перетекло за периметр игрового поля, просочилось через раздевалку, перелилось на все пространство жизни, и вычленил чистые желания, не омраченные азартом поползновения, было уже невозможно.

«Все дело в том, что наши воли соотнесены меж собой по искаженной логике, которая искривлена тем, что соревновательный дух перенесен уже и на словарь, и из общения проистекают теперь сплошные подспудные уколы — и все это слишком скрытно, и в силу этого ревниво, и именно поэтому — ужасно, а в итоге — тягостно». Что-то вроде этого думала Мара Юрьевна. И делать для исправления этой ситуации хоть что-либо она не хотела. Точнее, она выбирала из всех возможных совсем иные резоны, чтобы *не хотеть* хотеть другой жизни.

Другой жизни не хотелось, ведь другая — это снова путешествие по ночному лабиринту с его неизвестными нормами и масштабами. Еще неизвестно, какие мотивы самопринуждения потребуются в другой жизни. Лучше пусть так. Это хотя бы нельзя потерять. Нельзя представить, что это можно потерять. Непонятно, как можно соскользнуть с этого одномерного простора. И любить все это стоило за крепость, надежность, за одномерную неисчерпаемость, которая иногда все же порождала иллюзию чувств, фантом чувствований...

— Где же шляется этот Тёма? — было сказано вслух.

— Это ведь жестоко, — было добавлено через какое-то время, но, может быть, уже про себя.

Ведь это жестоко с его стороны, а суть категории *жестокости* состоит отчасти и в том, что нельзя быть немножко жестоким, чуть-чуть, слегка. Он ведь все же определенно жесток к ней, жесток по-крупному, и что интересно — это качество в нем растет, хотя, как она только что подумала, нельзя быть *немного жестоким*, но жестокосердным, с угрожающим заметным ростом этой тенденции можно.

Откуда у него этот лишний тяжелый ген? Не от нее ведь...

А может быть, это и хорошо: будет знать в отличие от нее, что ему хотеть от этой жизни, хотя знает ли он сейчас хоть что-то вообще, ну а что значит хотеть? — хочется ведь ему все время всего...

И она понимала, что для остатка *сегодня*, для улепетывающего из ее сознания тшедушного перышка *сейчас* это слишком неподъемная тема.

«Тема Тёмы темна», — сообщила она сама себе этот привычный атомарный факт, в котором, как ей хотелось думать, нет более мелких, могущих хоть что-то объяснить мотивов.

Эта пристальность к вещам, к явлениям, к своим мыслям о вещах и явлениях, родительское внимание к именам вещей — такие сильные и неутоляющие, что иногда Мара Юрьевна казалась самой себе обезумевшим всклокоченным Хеделеевым, который уже заготовил все карточки, где пометил атомарные веса Тёмной жестокости, эгоизма В. Ю., нежности кофеварения, служебного омерзения; соразмерил силу своего трепета перед этими сущностями с их потаенной, скажем так, валентностью — то есть узнал, насколько они агрессивнo-липучи или воспитанно-инертны. И кажется, что не хватает совсем малого — какого-то естественнонаучного мокрого мышиноного сна, где мышка, жужжащая, поющая инерционным фонариком, смахивает с подоконника хвостиком всю эту картошку страданий и чайный, которым Мара Юрьевна дала строгие, трезвые, одномерные имена. Тогда все эти анемичные, плоскогрудые карточки, летя акробатическим хаосом с высоты ее подоконника, рушатся на пол карточным

домиком, хрупким архитектором, в конце концов оседают на пол строгим плацем таблицы Менделеева, где все соотнесено, выверено, предугадано; где все объединено в абсолютную ясную структуру, зная которую жить станет вольготно и хорошо (так неуч хочет поменяться телом с отличником где-то в классе первом), зная которую можно будет летать, можно будет почувствовать счастье, можно будет... наконец *быть*, можно будет *хотеть* другой жизни.

Вот она стоит у раскрытого окна.

Облупившаяся, растрескавшаяся белая краска подоконника вот-вот скоро отделится от деревянного остова, слезет с него сухой шкуркой, чулком; выжелтевшая свернутая газета — Тёма ею лупит мух. Внизу взламывают зелень своими двускатными крышами одноэтажные домики, почти одинаковые, зажатые между палисадниками и веселыми взлохмаченными вишнями. Построенные, перестраиваемые в разное время, они все же каким-то непонятным путем пригубили одинаковую меру хаоса, меру временности, каких-то быстрых сборов, вчерашних переселений; скелет раскладушки без брезентового крылышка, детские беззащитные саночки, полные бочки под водостоком с жирным вогнутым мениском... А еще беззащитные одноместные покосившиеся сортиры — как стаканы в руке на отлете, такие же летние хлипкие душевые кабинки. Но не в этом дело...

Вся итоговая физиология передвижения малого числа жильцов на каждом участке, все стороны жизни вплоть до вывернутого нутра домов в виде брошенных на траву подушек в розовых наперниках и серых ленивых опухших перин с заметными затеками ржавчины были принципиально одинаковыми, итоговыми для этого роения, они были унифицированы неудачей — неудачей построить быт, вывернуть связи между вещами, между сухим и видимым. Но вряд ли в этом гоголевском мироподобии, да-да, в гоголевском мироподобии, проговорила про себя Мара Юрьевна еще раз, может встретиться ворсинка строгости.

За шестнадцать лет, что она здесь живет, она об эту ворсинку так ни разу и не укололась... А ведь действительно здесь она живет уже шестнадцать лет — с самого Тёминого рождения. И все шестнадцать лет хочет купить бинокль, нет-нет, не театральный — настоящий, полевой, чернотелый, с лиловыми стрекозьими очами в такой цыганской туманной поволоке, почти со слезой, но, видно, не купит уже никогда. А приблизить горизонт было бы неплохо. Наверное, зимой можно было бы задеть его совсем близкую разлохмаченную ниточку, а летом, скажем, на ощупь попробовать клубы, потоки жаркого воздуха там, далеко, над крышами сараев ли, гаражей ли — без бинокля не разглядеть.

Вот если бы заболеть в эту духоту гриппом... Вот если бы по-хорошему, по-зимнему уютно загрипповать в эту жару, чтобы с тобой носились, нянчились, канителились, и она лежала бы сыпучей канителью в новогодней коробке среди ватных игрушек...

Вот если бы отдаться этому состоянию. Тогда наступает адекватность случайных поползновений и давних желаний тому главному и самому существенному качеству, в котором человек находится, то есть гриппу — новому, рождественскому; и слова, которые были так напряженно нежелательны, неточны раньше, теперь совсем не занимают ее, отдавшуюся на волю так ясно и ласково завершающейся выздоровлением болезни, и ей остается только ждать поздравлений с выздоровлением и улыбок. И уже не потребуются соотносить, выяснять и испытывать мир на принцип всеобщности, связности, тотальной нежности, тогда уж точно исчезнет эта менделеемания.

И зрение, залитое высокотемпературной слезой, легко сложит все в единое живое аквариумное вещество, где каждый фрагмент не будет больше растрепанным, вывороченным после грубого обыска ящиком со свисающими, словно потеки рвоты, жгутами трикотажа.

Но непреодолимое чувство изъятости из мира, его жутко живая экзистенция, чувство личной не востребованности, фрагментарности, осязаемо поправленной доблести (как красиво по-английски звучит это слово — *valour*), уже осязаемо доведено до телесного ощущения робкой, почти рыдающей недостаточности собственной несложившейся жизни.

Так, впрочем, и случается при болезни, когда готовят полоскание и капельку темного пахучего морского йода из какого-то сто лет родного пузырька пускают в чашку со слишком горячей водой — и йод теряет свой цвет, его как не бывало, о нем никто в такую жару не вспомнит, как и о человеке, разглядывающем из окна своей квартиры с совмещенным санузелом, задохнувшейся от тесноты кухоньки. неутешительные окрестности.

Доминошники, выложившие на дощатом хлипком столе план небольшой мелиоративной системы, пристраивающие к основному руслу частные отростки, вдруг сметающие все эти планы в черный застывший хаос. Жаль, что нельзя разглядеть без бинокля хотя бы сыпь белых крапинок на костяшках... Ну и так далее, так далее... если бы не кипы разросшихся старых кустов — акаций, сирени с неистребимыми птичками, которые к вечеру, к ночи заводили рулады. И вот в упоминаемом блокнотике появилась еще одна запись:

«Соловьиный холодный свист — птичка полощет горло ртутной капелькой.

Появляется еще какой-то голос, и начинается жонглирование сверкающими звуками — шариками, жезлами, булавами. А еще это похоже на шум маленькой слесарной мастерской, кустарной мастерской, где дело имеют с чистыми металлами: серебром, палладием. Золота с жирным блеском там нет».

И еще она подумала о том, что в ее сознание птичий свист обитает всегда, но в стертых, условных признаках некоей идеи свиста, доходящей иногда до правдоподобной галлюцинации, но вот настоящий птичий голос всегда радует и не похож на идею. Чем не похож? Может быть, тем, что в подлинных звуковых волокнах бьется напряженная жизнь, и мы чувствуем безошибочно этот способ существования как единственно жизненный.

Но к ночи это напряжение явно спадает. В набухающей синеве вместе с утешением, утомлением проступают другие связи, другого рода, другой резкости, по-своему сфокусированные и проявленные. Сети, накинутые индивидуализмом, расплываются, растворяются в сумерках, и начинается жизнь своеволий, бруновская толкотня страхов, суицидных позваний — так по меньшей мере казалась некоей женщине, матери Тёмы, подруге В. Ю.

Она приказывала себе не волноваться, и приказы помогали. Она знала, что развязка сегодняшнего дня будет благополучной, это, в конце концов, обещано всеми уступками, которые пришлось сделать своей гордости, уму, логике, воле, безволию, вожделениям. Нет, это просто так не проходит. Это вознаграждается. В конце концов, он шлся и долше, чем сегодня, у него своя жизнь. И последний довод показался самым серьезным и веским. И никакой сентиментальности. Ей нет никакого дела до того, с кем сидит он на лавочке в птичьей оцепенелости, с кем слюняво целуется в их подъезде, — это уже его дело...

Неодолимо надвинувшийся вечер со всеми реалиями стер собою, своей обволакивающей синькой все жизненные отсчеты, от которых пришлось... пришлось от которых... Что пришлось? Отказаться, тоску превозмогать, бороться с нею подручными хрупкими средствами, от которых тоже пришлось уже отказаться.

Еще на полтона ниже сместившаяся вечерняя полумгла кутала вещи, изымала их утреннюю деструктивную определенность, превращала, например, кофту на диване в обломок мраморного светло-серого одеяния, спянный намертво с диванной спинкой, как в надгробье, — придавала всему цельность, ценность в друг разрытого культурного археологического слоя с эстетикой черепков, раскатившихся мелких бусин, прочей мелочной дряни, не поднятой когда-то давно с земли. Серой молнией прогромыхавшая муха предвещала комнатный ливень.

На какое-то время, пока не зажжен под потолком обличительный свет, пока все предметы, изурнанные дневной безусловной жизнью, делают свои расплзшиеся тела в неоформившейся синеве, когда не только видны, различимы, но и слышны они хуже, и слово *кофта*, существующее в пустой, неозначенной звуковой отдельности, с трудом слично с утренним строгим и ясным предметом, готовым повторить формы человека, — человеку кажется, что эта союзная фаза будет тянуться вечно, темноватое будет перемежаться с темным, с темнеющим и предела этому перемежению не наступит. И можно будет, дичая, ждать, пока иссякнет и это время, только вроде бы начавшееся, не пройденное, не обдуманное, не чреватое ясным и нелюбимым завтра.

Собственно, человек, а в нашем случае некая женщина, не думает всего этого, она просто отдыхает, пытаясь снять с себя навалившуюся оторопь и тоску, просто пытается провести время в бесчувствии, глядя на мельтешение футболистов на экране телека (звук выключен), глядя на их бактериальную жизнь, пытаясь вызвать такие же сумерки в своем сознании, как и в комнате без света, но и этому приходит предел (как, скажем, стакану воды, вернее, вкусу воды,

когда весь объем уже поглощен, ведь после никакими силами не восстановишь ее призрачный, такой, в сущности, элементарный вкус).

Также и это время, начисто исчерпанное, звуком, шелчком выключателя отодвинутое за скобки прожитого, не останется солевым осадком в сознании, оно дистиллировано подступающей определенностью. Например, распахнутой газетой и сияющей ночной лампой, специально включенной для чтения; чреват мусором сообщений, заметок, лишенных даже дуновения смысла. Но чтение газеты, если она не оставалась на ночь у В. Ю., давно стало ритуалом, знаком окончания дня. И вот она держит в руках хлипкую мембрану, отделяющую ее от ночи, ждет, когда буквы сами побегут, заваливаясь, куда-то вбок мелкими южными муравьями, чтобы погасить свет и заснуть.

Переход ко сну, все же осуществляемый в состоянии будничной усталости и посему в таком безопасном удалении от бессонницы, как поворот за угол, начинался почти внезапно; и это самое приятное, думала она, самое надежное удовольствие за сегодня. И как славно было бы увидеть какой-нибудь сон: вот, скажем, маленькой школьницей идет она совсем легкая-легкая с непривычным радостным чувством в школу днем (так как вторая смена), сияет снег — белый-белый, и от этой белизны становится так радостно невыносимо, эта белизна заполняет все сознание, и нет уже ничего — все слилось в раскатанный ватманский лист, не оскорбленный ничьим следом. Но отчего же такая щемящая непроницаемая белизна — самых лучших в мире чистых белил — бриллиантовых — без подмешанной синевы? — уже начинает думать она. И проваливаясь в этот световой сугроб дальше, понимая каким-то неспящим сегментом ума, что так уже бывало в детстве, когда в глаза закапывали атропин и свет хлестал по сетчатке миллионом стрелок неуправляемого потока через огромную раскрытую диафрагму зрачка, дико засвечивал ум, как фотобумагу, вытравляя из ума все иные впечатления — шумы и запахи; и вот она маленькой девочкой бредет в школу с закапанными (как она там скажет тихой учительнице) глазами, и ее не спросят, да и писать в тетрадке нельзя... И она понимала, что уже спит.

Когда-то очень давно Мара Юрьевна записывала сны в общую тетрадку, пока это занятие не показалось ей подозрительной имитацией некоего важного дела, которого она не делает, отодвигает на потом, и это *потом*, обрамленное, как она догадывалась, душевной ленью, отвращением перед жизненным напряжением, в котором следует достигать предела, иссушающего, обнажающего остов, может быть, скверный и бездарный. Тогда она стала записывать — ну не мысли, нет! некие поползновения ума, и это давало ощущение власти ну хотя бы над впечатлениями, их можно было заморозить, оставить на белых вытянутых листках хилыми тенями прошедшего. Но, впрочем, стоит привести хотя бы пару давних снов, аккурратно занесенных в тетрадку. Вот один:

«Лечу над землей на высоте верхушек деревьев. Ощущаю радость. Вижу всех. Меня никто. Новые районы, серый скучный силикатный кирпич — об этом знаю, хотя ночь. Вижу кинотеатр: из дверей выходят люди. Я слежу за ними сверху. Вдруг меня замечают два хулигана. Я нервничаю и начинаю терять высоту. Большим усилием воли напрягаю все мышцы. Лечу, но очень неровно. Царапаю лицо, тело, руки о сухие ветки. То поднимаюсь, то падаю. Лёт очень тяжелый, мучительный. В меня бросают камни и огонь. Чувствую, что несдобровать. Переключаюсь».

А вот еще один:

«Церковь. Ко мне подходит священник, подносит раскрытую книгу. Я наклоняюсь, чтоб ее поцеловать. Она серебряная; гравированные пейзажи, латынь. Я наклоняюсь, чувствую сильный жар, идущий от страниц прямо в лицо. Я падаю, теряю сознание, но вижу себя со стороны и чувствую, как тяжело встать, чтобы уйти. Везде жар от книги. И голос: «Тебя оставят в дураках». Остального не слышу. Переключаюсь».

О, легкая, подвижная, сильная психика, могущая каждый сюжет, обнаживший скрываемые витальные связи, пустить после слова *переключаюсь*, произнесенного как бы вслух, по одному и тому же сухому руслу:

«Большой стол с зеленым сукном цвета тины. На столе — карандаш в мраморных переливах, на его гранях красное не смешалось с желтым и синим. И странная эйфорическая радость по этому поводу. Никогда ничто так не радовало, как этот канцелярский инструмент, радостью, посеребрившей ум, покрывшей спящее зрение немислимо чистой, сухой амальгамой. Дыхание переходило на восторженный ритм, зрение барражировало самолетиком-разведчиком над неподвижно лежащим телом карандаша, фотографировало золотую

сияющую надпись «ТМ», вдавленную в мраморный бок. И так — заходов до десяти во всех ракурсах и наклонах».

Иногда и теперь этот сон возвращался, но Мара Юрьевна не любила его, хотя все приметы эйфорического благоговения присутствовали, но сознание не отдавалось этому сну целиком, где-то на доньшке тайлась догадка о том, что карандаш точно такой же есть и на службе, и эта тень соображения, заглубленная неотвязная память ломала весь кайф. И в сон вмешивались тени отчаяния и страдания, так как этот вдруг возникший поденный мотив было уже не отогнать, и обнаруживалась жестко и жестоко вся иллюзорность отдохновения, осознавалось то, что ежедневное бытие проникло во все поры, клетки, извилины и глумится уже над тем, что ему никогда не принадлежало; вламывается в личную оберегаемую ирреальность сна, пылит там нешадно и мусорит. И каждое пробуждение начиналось с мысли, что вот опять отключиться, отдохнуть, расслабиться не удалось, и жизнь рядом с этим неумолимым магнитом вредна, но и отделаться от нее уже невозможно. Вся жизнь затянута во вращающуюся мельницу личного, ею, Марой Юрьевной, созданного все-таки зла. Обрамлена, оторочена ненавистными привычками, неискоренимым раздражением, и с этим ничего не сделать. Только предаваться этому и чувствовать свою причастность.

И инфантильное сердцебиение, откликнувшееся быстрее спящего еще сознания на миг раньше писка будильника, запрокинутая ее голова, полуоткрытый ее рот, пятно слюны на подушке — все это, увиденное, как в кино, за одно мгновение до настоящего пробуждения, — не обманули, не обманули и на этот раз.

Раздосадованный с утра человек пытается диктовать себе правила автоматизма, но его никто не слушается — ни разбежавшиеся в разные стороны шлепанцы, ни халат с вывернутым рукавом, ни исчезнувшая вмиг из крана горячая вода, ни — самое главное — он сам. Оказалось, что вчерашний день переполняет его, за ночь ничто не забылось, наоборот, все проступило своими острыми неинтеллектуальными углами, окружает его хороводом обид, обманутых ожиданий, оскорбленных поползновений. Не помнится сущностная сторона неудач, но суммарное чувство сердечной растравы не спутать ни с чем. Ни слов, ни мыслей, возникших в ответ на чужие слова, но оскорбительная давка в троллейбусе сутки назад, но прозрачные намеки завши на дисциплину, чайник с разросшейся на торфянике высохшей заварки плесенью и прочее и прочее, что невозможно отринуть... И самое главное — разбитое стекло на ее рабочем столе все в пятнах и оттиках, переполненное дактилоскопией вчерашнего, позавчерашнего, давнего, сублимировало всю жизненную мерзость и подступающее раздражение.

Мара Юрьевна тряхнула головой перед зеркалом в ванной, чтоб отогнать всю эту муть, облокотилась об умывальник и увидела, что волосы ее срочно надо подкрасить, так как пегий, с примесью седины прикорневой слой настырно заметен, выщипать брови, чистить лицо и прочее и прочее. Она, Мара Юрьевна, ощутила себя именно такой, ощутила, а не увидела. И это ощущение, полное мельтешения всех состояний души, которые наступят, ужаснуло своей иллюзорностью, так похожей на достоверность. Она застала себя в этой ванной комнате за своей неудавшейся жизнью, за растоптанными амбициями, за погранными ожиданиями. В ванной комнате с подтекающими кранами, с ржавой слезой на пожелтевшей эмали раковины, с сигнальными флажками высохших и ороговевших Тёминых носков, прогнувших веревочку, с растрепанным соломенным ковриком на керамическом полу. О, этот не исчезающий перманентный мусор, переполнивший душевную жизнь! Она застала себя в одиночестве, одинокой женщиной. И это уже итог. Итог, склонный к заизвесткованию такого положения. Но душа, не подчиненная, вырвавшаяся из детерминированности, не могла с этим смириться.

Все это мучение, занявшее, в сущности, секунды, поразило ее своим непомерным объемом. Она отшатнулась от этого люка, не стала туда смотреть.

Сделав все наскоро, она вышла. Тёма спал. Она и не заметила сквозь сон, как он пришел. Пришел, заявился, приперся. Побросав одежду, завалился на тахту, в пространство, отгороженное стеллажами в их единственной двадцатиметровке.

— Артемий, вставай, — спокойно-внятно сказала Мара Юрьевна. — Пора завтракать... Тебе надо на консультацию... Ты провалишь сочинение... Ты совершенно не готовишься... Я воздерживаюсь от каких бы то ни было оценок... Вставай... Необходимо прекратить этот бардак... У меня нет сил... Ну же... Я уйду, а ты ведь полдня проваляешься... Так нельзя.

— Что нельзя? Можно. Все можно.

- Ну как знаешь.
— Знаю. Знаю.

На маленькой кухоньке, где уже дымила перегревшаяся сковородка, куда она собиралась плюхнуть замес из молока и четырех яиц, не успев подумать, что Артемий совершенно отбил ее от рук, что и следовало ожидать, так как она его почти не видит, что их жизни совершенно разделились, — не успев всего этого подумать, она вдруг услышала хруст и несколькими мгновениями позже звон оконного стекла, бабий пронзительный визг откуда-то снизу. Она побежала в комнату, но Тёмы там не обнаружила, как не обнаружила его и в ванной, которая, нехотая будет сказано, была совмещена с туалетом.

В гладкой оконной поверхности была пробита почти ровная крупная аккуратная рана. И тошнота, внезапная, почти нахлынувшая рвота — вот последнее, что она ощутила.

Последующее добавление

То, что потом увидела Мара Юрьевна, и то, в чем ей пришлось участвовать, воспринималось как иллюзия, как полусон, но, во всяком случае, не как реальность переломившейся жизни, так как приметы: мертвые, живые, хрустящие, глухие — все приметы и подробности не вызвали чувства, которое их так любит, которое так льнет к ним, — чувства жалости, сожаления и так далее. Рвотная волна ужаса вспугнула, взбаламутила психику и привела в движение шпенечки и пружинки защитных машин, все приметы и подробности оказались переведенными в другую — иллюзорный слой.

Все происходящее совершалось в синеватом искрящемся ореоле, в тихом дымном свечении, в обеззвученном пространстве. Звуки, пробивающиеся все же к слуху, были отчуждены от источников, все слова, обращенные к ней, будто бы произносились за сомкнутыми губами — сплошные слитные носовые дифтонги. Она каким-то клочком интеллекта поняла, на что это похоже. Так смотрит с кромки обрывистого берега на воду, все подаваясь вперед, всем корпусом, испытывая как бы всю природную крепость равновесия в себе, ощущая внутренним слухом биение своей крови — как шелест гальки; доводя баланс до последней черты, за которой бессознательно фиксируется вся мера глубины, вся засасывающая бездонность, отражающая небеса, не растворенные в глухих покачивающихся сегментах тяжелой зелени воды.

Какие-то девочки поддерживали ее. Раньше она их не видела. Кто-то рыдал.

По поводу мотивов Тёминого исчезновения — а то, что он просто исчез, представлялось Маре Юрьевне все с большей и большей очевидностью — существовали две версии, то есть одна осуществлялась в ее сознании, а другая просто имела хождение.

Первая — ее личная, которой она ни с кем не делилась, самая объясняющая, снявшая в конце концов все вопросы, которые она сама себе задавала, — примирила ее со смыслом этого происшествия, а точнее, открыла неразложимость на объясняющие детали всего этого дела. Если задуматься, то оказывается, что человека в рамках жизни, в плоскости бытования удерживает целая система зацепок, ворсинок, присосок. И чем моложе человек, решившийся жить, тем слабее он связан с этой жизненной плоскостью. Вообще, чтоб решиться жить, надо круто отчаяться.

В детстве человек естествоиспытателем опробует свойства выбранной плоскости, испытывает ее повадки, осторожно прогуливается по ледку сушеного — неокрепшему и тонкому; он, естествоиспытатель, после череды открытий уже не справляется со своей задиристостью, молодым задором — смело снует из тени на свет. И вот однажды за всей этой чехардой и само его бытие забывает об аккуратности, с которой следует все же обращаться с зарвавшимся маленьким натуралистом. Оно, бытие, вспыхивает газовым протуберанцем над безопасной кухонной горелкой, оно вдруг выгибается жуткой вольтовой дугой, которая, оказывается, спала в обычных проводах, оно однажды проламывается гибельной ямкой на песчаном мелководье, а в Тёмином случае оно покосилось полом их двадцатиметровки, и он соскользнул с него будто с горки. И видит Бог — более серьезных причин для этого не было. Да и иначе нельзя было себе представить, с чего это вдруг увальень-десятиклассник, испещренный ленивыми тройками по всем основным, вдруг ласточкой метнулся в оконный проем, загороженный двумя слоями стекол, которые он пробил легко, без большого числа осколков.

Такой вот пейзаж Рене Магрита с разбитым окном.

Второй, внешний, так сказать, довод был абсолютно прагматический, подчиненный мелкому резонерству их конторской курилки, и имел хождение на службе у Мары Юрьевны и среди некоторого числа знакомых. Он сносно утолял все возникающие в этом диком внезапном случае «почему».

— Это мгновенное помрачение рассудка,— высказался в присутствии двоих куривших, Спирохеты и Леночки, круглячок,— это, может быть, даже и слава Богу. Не приведи... Потом сошел бы с ума. Алтынка там и другие психушки. Лучше уж сразу...

С ним не стали спорить. Даже не спросили, что значит это слово *потом* в данном случае. Он знал, что говорил. Вот уже четырнадцать лет на его шее — сын-идиот. И во всех оттенках этого кошмара он был кандидатом и доктором. На том и сошлись. Ведь вообще-то безумие всегда чем-то привлекательно. Оно заинтересовывает. По меньшей мере тем, что не с тобой это случилось. Каждый ведь отделен от него лишь тонкой пленкой, молочным, так сказать, стеклышком.

И вот кому-то выпало заглянуть за этот хрупкий предел, продышать льдистое окошечко.

И этот смельчак тайно вызывает самое истое почтение.

Даже целомудренное любование.

Так-то.

* * *

Пустое невозделанное время, но оно заизвестковано скорлупой сознания, где, словно в застрявшем лифте, в утомленных позах переминаются с ноги на ногу, толкутся мысли, слова, обрывки впечатлений... И непонятно, что же со всем этим делать. Как превозмочь эту смертную пустоту.



АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЕС

*

С НАДЕЖДОЙ В СЕРДЦЕ...

Главы из книги

КАРЦЕРНЫЙ БЛОК

Изверное, именно в тот момент, когда охранники приближались к нашему лагерю в болоте, в круглых башнях происходил обыск возмездия. Военные вне себя от гнева после нашего побега измывались над заключенными. Они положили мешки с песком и установили пулеметы, нацелив их на ворота круглых башен, и ворвались туда с винтовками и штыками наперевес. Десятки узников были ранены.

Серхио Браво едва исполнилось тридцать лет. Атлетического телосложения, сильный и ловкий, он главным своим предназначением считал проповедь слова Божьего.

Серхио жил на пятом этаже третьей круглой башни. Незадолго до этого, прибегая к самым невообразимым уловкам, ему удалось получить страничку за страничкой и собрать с любовью и заботой крошечную Библию, размером с пачку сигарет. В тайнике своей камеры, тщательно замаскированном в стене, он прятал эту книгу во время обысков.

Когда послышались крики охранников и удары, Серхио, отдохавший на своем убогом ложе, вскочил одним прыжком, посмотрел из своей камеры на открытые подъемные ворота, и сцена привела его в ужас: там устроили настоящее побоище. Он помчался вниз по лестницам, прыгая через три ступеньки.

Спустившись до четвертого этажа, вспомнил вдруг о Библии, оставленной под подушкой и не укрытой в тайнике. Ее наверняка изъяли бы охранники. Он знал, что за опоздание будет еще больше избит, но это его не пугало, он вернулся спрятать Библию. Святая книга была спасена, и только теперь он оценил сложность своего положения. Он вновь вышел в коридор и быстро помчался последний раз в своей жизни. Охранники уже начали стрелять, и одна из пуль раздробила ему кость под коленом.

В тот момент, когда я шел, опираясь на плечи Улиссеса и Брито, Серхио Браво ампутировали ногу. Никогда больше он не будет бегать. Позже мы узнали: ампутиацию можно было избежать, но восстановительная хирургия для сохранения ноги — для военных врачей слишком трудоемкая работа, и они просто решили ее отрезать...

Нас ввели в кабинет лейтенанта Таррау. Его самого не было.

На столе Таррау мы увидели четыре ряда наших фотографий, остальные были розданы по всему острову для нашего опознания. Нам указали на диван, и мы вчетвером сели туда. Сейчас же пришел лейтенант Панеке, тот самый, которого наш товарищ (о чем мы не знали) обвинил в том, что тот увез нас на джипе.

Нас удивила любезность этого деспота. Наверняка он подумал, что мы намереваемся объявить его сообщником побега, и его вежливое обращение объяснялось надеждой на нашу снисходительность к нему. Он знал: если мы заявим, что он нам помог, ему не избежать тюрьмы. Без этого особого обстоятельства его поведение было бы совсем другим.

В кабинет вошла толпа военных. Впереди был Уильям Гальвес, командующий округом острова Пинос, также знавший Бойтеля. Гальвес был известен своей эксцентричностью: так, он катался на роликах в полной форме по улицам города Матансас и в таком виде появился в революционном трибунале, в работе которого принимал участие в качестве прокурора.

Его очень интересовали детали побега. Авантюрист по натуре, Гальвес не мог скрыть восхищения нашим бегством. В какой-то момент он заявил: якобы им известно, что за нами была послана подводная лодка Центрального разведывательного управления.

Бойтель отрицал это. Но Гальвес не поверил ему, и они стали спорить. Бойтель продолжал отрицать, будто нас должна была подобрать какая-то подводная лодка.

— В таком случае как вы собирались выбраться с острова?

— Мы думали похитить какое-нибудь судно.

— Да что вы о себе воображаете?.. — почти закричал этот необычный команданте.

— Подумайте, команданте, разве труднее увести лодку, чем то, что мы сделали?

Уильям Гальвес замолчал. Он пристально посмотрел на Бойтеля. Отвернулся и тихим голосом произнес:

— Да, это верно.

Когда Таррау вошел в свой кабинет, воцарилось полное молчание. Он посмотрел на нас с ненавистью, сверкавшей в его глазах. Он задыхался от ярости, его ноздри поблдевели, и было заметно, что он прилагает величайшие усилия, чтобы сдержаться.

— Сейчас вы узнаете... — Угроза повисла в воздухе.

Я почувствовал, как у меня похолодела спина. Мне все это казалось сном, чем-то нереальным, так это было далеко от моего прежнего существования. Я перебирал в памяти последние дни и не верил, что на самом деле был одним из участников этих событий.

Тут же начался допрос. Единственным известным из нашей группы был Бойтель. Остальных не знали. Поэтому все обвинения были обращены к нему, на него возлагалась вся ответственность. И к нему испытывали особую ненависть, неоднократно выраженную лично Кастро. Во взгляде Таррау сквозила злоба к Бойтелю. Он не мог забыть угрозу Кастро отправить его в тюрьму, если Бойтель сбежит.

Мне казалось, что мы должны разделить ответственность за этот поступок. Поэтому я взял слово и сказал Таррау и Гальвесу, что не один Бойтель должен держать ответ: побег был совершен из моей камеры, я же перепилит прутья решетки. Брито и Улиес также подтвердили свою сопричастность к организации побега.

Бойтель удовлетворенно улыбнулся. Он мог быть уверен, что товарищи ни в коем случае его не подведут.

— Здесь всем придется понести ответственность. Вы вчетвером сгнитее в карцерах. Вы никогда не выйдете отсюда и раскаетесь в том, что мне устроили.

Таррау воспринимал как личное оскорбление, как действие, направленное непосредственно против него, нашу жажду побега, естественную для каждого узника.

От карцеров нас отделяло больше двухсот метров. Меня посадили в джип, но других повели по дороге, чтобы выставить на всеобщее обозрение: пусть вся тюрьма видит, что нас схватили. Они хотели продемонстрировать свою победу.

Когда джип остановился перед карцерным блоком, Бойтель, Улиес и Брито в окружении офицеров еще шли между круглыми башнями. Увидев это, узники начали звать и приветствовать их. Военных разозлило это проявление товарищества, они толкнули Бойтеля, который несколько раз споткнулся и едва не упал.

Когда мы уже были вместе, нас привели в первый широкий коридор, где располагались карцеры. Эту часть освободили для нас. Здесь было одиннадцать камер, построенных внутри зала, который не предназначался для этих целей. Высокие опоры старого здания позволили соорудить камеры высотой два с четвертью метра. Вместо потолка в них была стальная сетка с крупными ячейками, такая же, как и в заграждениях тюрьмы. Между этой сеткой и потолком зала было достаточно пространства, чтобы охранники могли ходить сверху и поддерживать полный контроль над отбывающими наказание.

Двери были закрыты листом железа, приваренного к брускам. Только в нижней части решетки, сбоку, вплотную к полу, оставалась узкая полоска, не закрытая листом: окошко для тарелки с едой.

В углу, в центре небольшой вогнутости, было отверстие, заменявшее отхожее место. Кусок согнутой трубы сверху был душем. Кран, подававший воду, находился снаружи под контролем часовых. Камера — два с половиной метра в длину и два в ширину — была абсолютно пустой, постелью служил гранитный пол.

Я был отправлен в первую, Бойтель в третью, Улиес в пятую и Брито в седьмую камеры, между каждым из нас была пустая камера.

Лейтенант Панекке с двумя охранниками занялся мной.

— Вы должны снять всю одежду, это приказ свыше... — Он сказал это без обычной спеси и деспотизма. Панекке не упускал возможности показаться хорошим. Это был способ выпросить отпущение грехов.

Мне не оставили даже нижнего белья. Абсолютно голый, я остался в темной камере. Было холодно, и я это чувствовал. Нога ужасно ныла и воспалилась.

Когда военные вышли и ведущая в коридор решетка закрылась, Бойтель позвал нас и спросил, в каких мы камерах. Я не мог ошибиться: моя была первой.

Я не знал точно, сколько прошло времени — пожалуй, около часа, — когда нам принесли тарелку с едой. Я никогда ее не забуду: белый рис и русское консервированное мясо с картошкой. Разумеется, эта еда была приготовлена не для круглых башен, а для них. После еды появились несколько офицеров с формой для всех нас. Нам приказали одеться, так как собирались вывести отсюда. Опираясь на Брито и на стену, прыгая на одной ноге, я пересек внутренний двор, и мы вошли в зал.

Там приготовили длинные столы с пишущими машинками. Перед нами расступились десятки военных. В этом помещении находился весь свободный от службы гарнизон и офицеры.

Перед одной из пишущих машинок сидела женщина среднего возраста. Это была судья из Нуэва-Хероны, которая предъявит нам обвинения. Непосвященному зрителю все могло бы показаться соответствующей закону процедурой. Разумеется, обвинения были предъявлены, но мы никогда не предстали перед судом. В один прекрасный день нам сообщили приговор трибунала. Нас осудили на десять лет тюрьмы дополнительно за «нарушение приговора и нанесение ущерба государственной собственности», состоявшего в перепиливании оконных решеток.

Команданте Гальвес, местный начальник политической полиции и другие офицеры в штатском, прибывшие из Гаваны, начали задавать вопросы. Люди из политической полиции пытались выяснить, каким путем мы получили форму, пилочки и все остальное. Ответ был один: толстый уголовник по прозвищу Чито был связным, обеспечившим нас всем необходимым. И мы и они знали, что такого лица не существует, но им не удалось добиться другого ответа.

Допрос начал осложняться, когда нас спросили, откуда мы вышли. Никто из них не верил в наше подробное объяснение, как мы прошли через казарму. И в самом деле все казалось столь невероятным, что этому трудно было поверить.

Нас вернули в карцер и снова раздели. Решетку не закрыли, на эту деталь я обратил внимание. Я сидел на полу. Послышались голоса: приближались несколько человек. Трое, четверо или пятеро, точно сказать не могу. Они появились перед открытой камерой. Допросы и вся бумажная волокита уже закончились, с нами собирались свести счеты, выдать сполна за попытку к бегству. Лампочка в коридоре светила им в спину, поэтому я не заметил, что они были вооружены толстыми скрученными электрическими проводами и палками.

— Вставай, мы навсегда отобьем у тебя желание бегать...

Я почувствовал, что мой желудок сжался сильнее, чем всегда, что мне не хватало воздуха и что-то сильно давило на грудь. Я хорошо знал реакцию моего организма: это был страх.

Моих товарищей уже избивали. Я слышал глухие звуки ударов о голые тела, крики и оскорбления охранников.

— Вставай, козел!.. — снова закричал охранник, поднимая руку с оружием.

Это было как внезапное головокружение. Моя голова раскачивалась из стороны в сторону. Меня били лежащим на полу. Один из них рванул меня за руку и наклонил так, что спина оказалась не защищенной от ударов проводами. Казалось, меня избивают раскаленным железом по живому мясу. Внезапно я почувствовал самую неопишущую, самую зверскую боль. Один из охранников прыгнул и всей тяжестью тела обрушился на мою сломанную и воспаленную ногу.

В эту ночь из-за перенесенных побоев я так и не смог уснуть.

ПАЛКА ХО ШИ МИНА

Утром следующего дня двери приварили к камерам. Лейтенант Крус, начальник политической полиции, объявил: это личный приказ Кастро, чтобы мы знали — в этих камерах останемся на годы.

Военный врач был коммунистом, старавшимся походить на Ленина: он носил такую же остроконечную бородку. Высокий — за метр восемьдесят, — с белым лицом и очень тучный. Звали его Ламар, он носил форму военных врачей и был садистом. Когда я обратился к нему за помощью, он посмотрел на мою ногу и сказал:

— Надеюсь, что будет недурная гангрена... Я сам ее тебе отрежу.

В наш коридор никому заходить не разрешалось. Мы были под следствием, которое проводила служба безопасности, чтобы выявить наших предполагаемых связных и сообщников. Как раз тогда привели двоих заключенных из третьей круглой башни, Орунью и Сьерру, у которых нашли радио из-за предательства другого узника. Появление Оруньи и Сьерры позволило нам узнать, что произошло после того, как обнаружили наш побег.

Я не мог стоять на ногах и передвигался сидя, скользя на ягодицах. Ситуация осложнялась тем, что караульными назначили солдат, стоявших на посту в казарме

в ночь побега. Часовые наших камер были наказанными охранниками. Ожесточение этих людей невозможно передать. Особенно выделялся высокий блондин, дежуривший у пулемета и теперь видевший в нас виновников своего несчастья. Этот охранник нашел большую посудину для мытья полов и передал ее уголовникам, чтобы те в нее мочились и испражнялись. Когда она наполнилась до половины, он добавил туда воды и взгромоздил ее на сетчатый потолок камер.

Ночью холод не давал мне спать, и в полдень, воспользовавшись потеплением, я растянулся в углу и, обессилев, отдался сну. Меня разбудило ощущение холода. Я был облит сверху донизу и сидел в светло-коричневой зловонной луже. Охранник стоял у меня над головой по ту сторону сетки, я видел огромные подметки его сапог. Он смотрел на меня с ненавистью. Он не сказал ни слова. Я тоже.

Указательным пальцем я стряхнул остатки экскрементов с плеч и ляжек и переместился к отхожему месту, чтобы открыть душ и помыться. Он был закрыт. Я окликнул охранника. Он не ответил. Тогда я позвал Бойтеля и остальных и рассказал им о случившемся. Мы начали кричать:

— Воды!.. Воды!..

В коридор вошел охранник-блондин, тот самый, что вылил мочу и экскременты, и приказал нам замолчать. Затем он сказал, что сверху отдан приказ подавать воду только для питья и во время еды.

Через некоторое время явился другой военный с гаечным ключом и изо всех сил закрутил краны, расположенные в коридоре, вне пределов нашей досягаемости. Они оставались закрытыми больше трех месяцев. За все это время нам ни разу не разрешили помыться. Только охранники одаривали нас «купанием» в моче и экскрементах, выливаемых ими с сетчатого потолка. Все это засыхало на теле и волосах.

...Бойтель кричал и спорил с охранником.

— Что случилось, Бойтель? — спросил Улиес.

Бойтель объяснил, что его укололи палкой. По правде сказать, я плохо понял, что он имел в виду, пока охранник, идя по потолку, не добрался до моей камеры. Он держал длинную деревянную палку, и я сразу же сообразил, что произошло. Бойтель спал, а охранник, потихоньку просунув эту палку, ткнул его и разбудил. С тех пор «палки Хо Ши Мина» станут нашей пыткой, доводя нас почти до сумасшествия. От них некуда было скрыться, ибо охранник сверху господствовал над всей камерой и мог колоть куда ему вздумается. Конец палки был тупой, не ранил, но причинял боль и не давал спать.

Я совсем обессилел. Недостаток сна и напряжение разрушительно действовали на меня, и я это замечал. Тогда я обращался к Богу. После моих бесед с ним я духовно креп, это давало мне новые силы. Я никогда не просил его вызвать меня отсюда. Я не считал, что Бог существует для выполнения подобного рода просьб, я хотел от Него только одного: чтобы Он позволил мне выстоять, дал веру и крепость духа, чтобы в создавшемся положении не заболеть ненавистью. Я лишь молил его быть со мной. И его присутствие, которое я чувствовал, превратило мою веру в непобедимое оружие...

Я глубоко спал, как только выдавалась такая возможность. Недосыпание продолжалось, и одним из самых больших моих желаний было спать, спать целыми днями. После того как часовой совершал обход камер по потолку, я знал, что у меня есть несколько минут или часов отдыха, и погружался в глубокий сон, разбудить меня мог только укол деревянной палкой.

Однажды, когда я крепко спал, в камеру забралась крыса. Эта тюрьма, как и все остальные, кишела голодными крысами, которые попадали в камеру через отверстие отхожего места, если оно не было забито, или через решетку. Мое неподвижное тело, видимо, внушило ей доверие. Животные чувствуют, когда можно безопасно приблизиться. Не знаю, учуяла ли она сначала мои ноги, так как они были ближе к двери, или прокралась прямо к рукам и принялась грызть мои пальцы, алчно обгладывая их. Что-то на миг спугнуло ее — возможно, я пошевелился во сне, — и она отбежала в сторону, но затем вернулась. Меня спас охранник. Часовой закричал и стукнул ногой по сетке, позвав меня. Крыса убежала, я проснулся и тогда из-за жжения заметил укусы на среднем пальце правой руки. У меня кровоточили две раны от крысиных зубов...

ДЬЯВОЛЫ И «УПРЯМЦЫ»

...Недели без мытья привели к тому, что моя кожа покрылась темным слоем жира, вызывавшего жжение под мышками, в половых органах и на голове. Все мое волосатое тело было покрыто мелкой сыпью. Начали появляться грибки. Вначале на ногах, в паху, затем на шее. Нам приносили воду в консервной банке во время обеда и ужина. Чтобы получить воду между едой или в другие часы, приходилось тысячу раз звать охранников, поднимать крик и устраивать скандал. Таким путем нам иногда удавалось раздобыть еще немного воды.

В конце коридора нашего блока был широкий зал. Военные изменили способ перевода заключенных из других тюрем в круглые башни: вначале их оставляли здесь в изоляции, чтобы запугать, избить, а через несколько месяцев отправляли в корпуса.

Появление первой группы явилось для нас целым событием. Это был первый контакт с товарищами, прибывшими с Кубы. Их перевели из тюрьмы Ла-Кабанья, и от них мы получили информацию, новости. Среди вновь прибывших находился Пако Альмойна. Мы познакомились на свободе. Он был президентом Национального института туризма, эта должность почти соответствовала положению министра.

Пако, боровшийся против диктатуры Батисты, был одним из первых, раскрывших обман Кастро. Его высокое положение в правительстве не помешало ему снова начать завоевывать свободу, которую понемногу душила победившая революция. Приговоренный к смерти, он несколько недель ожидал казни, пока высшую меру ему не заменили тридцатью годами тюрьмы.

Когда охранники выходили, узники из зала всегда толпились у решетки, чтобы поговорить с нами. Мой застенок находился на расстоянии двух метров от них.

Пако подарил мне наполовину использованный тюбик зубной пасты, которой я смазал в паху. От ее свежести утихал невыносимый зуд, вызванный грибами.

После прибытия группы в соседний зал участились посещения сотрудников тюрьмы. На переключки, проводившиеся дважды в день, являлись несколько офицеров, а также политические комиссары, так как заключенные здесь были «упрямцы», то есть отказывающиеся от политической реабилитации.

На следующий день один уголовник перерезал горелкой места сварки. Повесили замок и опорный болт, на который гаечным ключом прикручивали огромную гайку. Теперь солдаты могли врывать в наши камеры и избивать нас.

Помпонио вошел пересчитать узников в зале в сопровождении своего младшего сына, восьмилетнего мальчика. Внезапно я услышал крики, подполз к решетке и увидел визжащего Помпонио, на ходу вытиравшегося платком и отплеывавшегося.

— Гарнизон... гарнизон, сюда!

Он был в истерике, его оливково-зеленая форма и лицо были все в беловатой пыли, которую он пытался отряхнуть руками и носовым платком. В него запустили пакетом поджаренной муки, лопнувшим прямо у его лица.

Охранники во главе с Помпонио, примчавшись по боевой тревоге, ворвались в коридор словно дьяволы. Были слышны звуки ударов штыками и палками по головам и спинам заключенных, крики и проклятия. Первым, кто вышел после избияния, был Помпонио, за ним его сын, державший в руке деревянную палку. Кто вырастет через несколько лет из этого мальчишки, которому вместо бумажного змея или волчка давали в руки толстую палку для избияния людей?..

Мы продолжали оставаться раздетыми, а зима становилась суровой, близились самые холодные месяцы года. В эти дни появился новый охранник по имени Хуан Риверо, который быстро продвигался по службе благодаря своему садизму, занимая начальственные должности в концентрационных лагерях.

Улиссес был знаком с ним несколько лет назад, когда тот был охранником офицера в районе Марианао в Гаване. Возможно, поэтому Хуан Риверо хорошо обращался с нами. Во время его дежурства никогда не случалось физических притеснений.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Воспаление ноги почти прошло. Но переломанные и смещенные кости неправильно срослись, моя нога была подвернута внутрь и заметно деформирована. Мы с товарищами продолжали требовать медицинской помощи. В ней всегда отказывали.

Очаги грибков продолжали распространяться по моему телу, и я очень боялся, что они дойдут до самых глаз. Единственным временным облегчением продолжала оставаться зубная паста.

В то время у меня случилась кишечная инфекция, сопровождавшаяся очень высокой температурой. Постоянные поносы обезвоживали организм. Ограничения в потреблении воды продолжались, и мы месяцами не могли помыться. Мое тело становилось все более черным и грязным. У меня почти не было сил говорить, и мои товарищи стали требовать для меня врача. В конце концов они добились согласия отвести меня в больницу.

В то время небольшие палаты госпиталя возглавляли заключенные-медики. Если бы не они, мы бы полностью были лишены медицинской помощи.

Начальником палаты, куда я попал, был доктор Армандо Сальдивар, молодой врач, получивший образование в Испании. Верующий католик, он возвратился на Кубу с победой революции. Вскоре он понял, что страна следует по пути коммунизма, и не колеблясь оставил стетоскоп, чтобы взять в руки винтовку и сражаться против

Кастро с повстанцами в горах Эскамбрая. Будучи схвачен и приговорен к тридцати годам, он уже несколько месяцев находился на острове Пинос.

Мой вид произвел впечатление на находившихся там. Первым делом Сальдивар распорядился подстричь мою отросшую за месяцы густую шевелюру, закрывавшую мне уши и доходившую до плеч. Кроме того меня побрили. Тем временем приготовили ванну. Помню, как крышкой от консервной банки, разломанной пополам, чтобы использовать ее вместо ножа, я соскоблил коросту жирной грязи со своего тела. Она сходила свертываясь, как древесная кора или шелуха.

Для этой первой ванны и бритья понадобилось несколько пятигаллонных баков воды, после чего я стал другим человеком, а потом лег в чистую постель. Я чувствовал себя так, будто обрел свободу. Выход из карцерного блока в госпиталь или круглые башни был равноценен обретению свободы.

Сыворотки и антибиотики вылечили кишечное заболевание. Сальдивар распорядился сделать для меня маленькие деревянные костыли, чтобы опираться на них. Без этой поддержки ходить было невозможно, я не мог стать на поврежденную ногу. Пока не сделали костыли, я ходил с палкой.

Сальдивар добился, чтобы мне сделали рентген ноги. Тогда я узнал, как повредило ей падение и, наверное, охранник, прыгнувший на нее. Сломанные кости срослись вперемежку, не на своем месте. Кроме того, у меня был посттравматический артрит и артрозные изменения. Здесь уже ничего не удавалось сделать.

Тогда, чтобы задержать меня еще на несколько дней в больнице (так как начальство оказывало давление, чтобы вернуть меня в карцер), Сальдивар придумал наложить гипс на мою ногу и подвесить ее на кровати на металлических блоках. Он сам покрыл мою ногу гипсом от икры до пальцев. Затем, когда гипс затвердел, разрезал его снизу ножницами до носка ноги и снял. Этот гипсовый сапог я мог быстро снять и надеть. Когда в палату входили офицеры, чтобы пересчитать нас, они видели меня на кровати с поднятой на блоках ногой в гипсовой повязке. Когда они выходили, я снимал ее.

Репрессии против нашей палаты еще более ужесточились, и начальство приказало вернуть нас в карцер. Оставшиеся в больнице приготовили для нас пакетики с некоторыми вещами. Маловероятно было, чтобы их позволили пронести, но друзья настояли, чтобы мы предприняли попытку. Я взял немного шоколада, сухого молока, сахар, пузырек салицилового йода против грибков, маленькую консервную банку с маслом, фитиль, мыло и прочую мелочь. Я шел, шатаюсь и опираясь на деревянные костыли, помогавшие мне передвигаться.

Чтобы попасть в карцерный блок, мне требовалось только перейти улицу. В эти дни блок был переполнен, и, чтобы мы не смешались с другими заключенными, меня отправили в камеру к Бойтелю. Уголовник, стоявший в начале коридора, отнял у меня в присутствии охранника джутовый мешочек с принесенными вещами, заявив, что это запрещено. Той же ночью он возвратил мне отнятое. Если бы уголовник не опередил охранника, тот бы отобрал его у меня. Когда же мешок был у меня внутри, новые часовые полагали, что на это дано соответствующее разрешение.

Мы говорили с Бойтелем целыми часами. Его густая, отросшая за три месяца борода доходила до груди, длинные вьющиеся волосы уже закрывали уши. Обычно он поздно ложился и поздно вставал. Я делал все наоборот. Поэтому, когда на переключку приходил офицер, я всегда бодрствовал.

Вскоре меня снова перевели в одиночную камеру. Время текло медленно; заточение притупляло мои чувства. Обычно, чтобы поговорить, приходилось кричать, на что затрачивалось немало усилий. Через карцерный блок прошли уже десятки наказанных заключенных; лишь мы продолжали оставаться там неделю за неделей, месяц за месяцем.

Воспаление ноги почти полностью прошло, начал восстанавливаться ее нормальный цвет. Однако я все еще не мог на нее опираться и вынужден был передвигаться с помощью костылей.

Только у Улисеа был товарищ по камере, моряк Сантисэтебан, отбывавший здесь наказание. Похоже, осуществлялось пророчество лейтенанта Таррау, предрекавшего, что мы проведем годы в этих застенках. Мы решились объявить голодовку, добиваясь возвращения в круглые башни. Репрессии из-за нашего побега стали уже невыносимыми.

Я был назначен уполномоченным голодовки, то есть был единственным, кто общался с военными, остальные ни во что не вмешивались. Проводившего переключку офицера я уведомил о нашем решении, заявив, что мы отказываемся принимать пищу до тех пор, пока нас не выпустят отсюда.

Тогда я не имел представления о реакции организма на голодовку. Я думал, что через пять-шесть дней голодовки можно умереть. Мы пили только воду. Я не двигался, продолжая все время лежать на полу, чтобы сберечь силы. Прошел первый день, второй...

На третий день к нам явился лейтенант Крус, начальник политической полиции острова Пинос. Он вызвал Бойтеля, но тот отправил его ко мне. Крус поинтересовался, почему мы отказываемся от еды, хотя прекрасно знал причины. Тем не менее я объяснил ему их, сказав, что мера наказания была беспрецедентной и мы не собираемся здесь оставаться.

На четвертый день исчезло ощущение пустого, раздавленного желудка. Физически я чувствовал себя неплохо, но тоскливая мысль о голодной смерти наполняла меня страхом. Я думал, что могу умереть в любой момент. Если бы кто-нибудь мне сказал, что я проведу в голодовках девятнадцать, двадцать пять, тридцать шесть и больше дней, что Бойтель через десять лет продержится более пятидесяти дней без еды, а Олегарио Чарлот умрет после шестидесяти пяти дней голодовки, я просто не поверил бы этому.

То, что никто из властей не появлялся, заставляло нас думать, что их мало волнует наша возможная смерть. Мы договорились, что один из нас притворится, что он в обмороке, остальные станут кричать, и мы увидим, что произойдет дальше. Для большей достоверности «упавший в обморок» должен был удариться при падении. Поскольку ударять самого себя представлялось рискованным (могло не получиться), решили, что Улисес и Сантиэстебан, жившие вместе, бросят жребий, кто кому нанесет удар. Сантиэстебану выпал этот жребий. Он ударил Улисеса кулаком в лоб над бровью, и эту отметину тот представил как последствие своего падения на пол.

Мы начали кричать и бить тревогу. Весь корпус присоединился к оглушительному крику, требуя врача. Улисеса отвезли в больницу.

Сержант Наранхито остановился напротив моей камеры. На поясе у него висела неизменная кавалерийская сабля.

— Вальядарес, восстала четвертая круглая башня. Говорят, что они вас поддерживают и завтра объявят голодовку, и вторая башня тоже...

Через час привели Лопеса де Леона, санитаря из круглой башни, чтобы он осмотрел нас. Дирекция уступила под давлением наших товарищей из башен, требовавших сведений о нашем состоянии здоровья, но не из уст военных, а от другого узника. Подобное происходило впервые. Лопес де Леон обошел наши камеры. По его словам, начальство сообщило круглой башне, что на следующий день нас выпустят из карцерного блока.

Несложная победа в этой первой голодовке вдохновила Бойтеля на организацию всеобщей забастовки, в которой участвовали бы все политические заключенные острова Пинос, а их в то время было около 6 тысяч. Мы решили приняться за осуществление этой цели.

На следующий день очень рано в нашем корпусе появился врач Ламар, носивший ленинскую бородку. Он настаивал на разговоре с Бойтелем об условиях прекращения голодовки. Бойтель ответил ему, что единственным полномоченным для переговоров с ними являюсь я и никто другой. Приказ выпустить нас оттуда уже был отдан, мы об этом знали, но медик словно не ведал, что нам известно о принятом решении. Я категорически отказался прекратить голодовку, сказал, что мы изменим наше решение только за пределами карцера. Кроме того, я сообщил ему, что Бойтель в крайне плохом физическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи.

Через несколько часов его тоже отправили в госпиталь.

Когда пришедший за нами военный передал мне смену одежды и сказал, что меня переводят в круглую башню, я испытал едва ли не самую большую радость в своей жизни. Выйти оттуда было все равно что вырваться из самого ада.

Всех нас разместили по разным круглым башням, чтобы впредь мы никогда не задумали бежать. Улисеса определили в третью, Брито во вторую, Бойтеля в первую, а меня в четвертую, из которой мы бежали.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА

Дойдя до дороги, я ощутил легкое головокружение. По бокам от меня шли два охранника. После стольких месяцев заточения, когда я был лишен возможности смотреть вдаль, во мне что-то изменилось, мне казалось, что громады круглых башен и горы слева падали на меня, приближались, двигаясь словно волны. Я остановился, закрыл глаза и слегка встряхнул головой, чтобы увидеть, не прояснится ли она и не исчезнет ли это странное ощущение.

— Пошли, пошевелись немного! — Охранника, похоже, не волновало, что я передвигался с помощью опоры. Идти же быстрее я не мог, я так и сказал ему.

Я продолжал идти медленно, не думая о военном и его понуканиях, вовсе не обращая на него внимания. Восемьдесят или девяносто метров, отделявших меня от круглой башни, были забываемой дорогой. Я жадно глотал воздух, наполняя легкие свежим ароматом сосен, наслаждаясь возвращением к свету.

В прошлом году я прошел этот путь в военной форме, пытаюсь бежать. Обратная дорога вызвала теперь в моем мозгу множество волнующих воспоминаний того памятного дня, близкого по времени, но необъяснимо далекого в памяти.

Из здания начали кричать мои товарищи; они высовывали в окна руки и махали платками, сердечно приветствуя меня.

Мы остановились перед подъемными воротами. Сопровождавшие меня конвойные вручили часовым на посту у круглой башни бумаги о моем переводе и ушли.

Открыли замок. Заскрипел тяжелый засов и проржавевшие петли решетки.

После возвращения я узнал, что произошло здесь за время нашего отсутствия. Взрывчатка оставалась в подвале, и техники-подрывники политической полиции периодически проверяли ее. Но по крайней мере в нашей круглой башне сохранялась уверенность в том, что в решающий момент мы сможем ее обезвредить. Продолжали действовать группы наблюдения, которые в любой час заметили бы техников, входящих в здание с целью взорвать нас.

Даже среди самых покорных заключенных создавалась атмосфера все большего недовольства. Наступает момент, когда даже самые кроткие люди чувствуют, что их терпение кончилось.

Ситуация складывалась очень благоприятно для объявления всеобщей голодовки с требованием человеческого обращения, медицинской помощи, писем, нормального питания и т. д. Это я сообщил старшему башни, которым был уже не Лоренсо, и собрал друзей, чтобы объяснить им, какие выводы сделали мы с Бойтелем из успеха нашей голодовки в карцере. Коммунисты, привыкшие, что именно они всегда объявляют голодовки, еще не знали, как с ними бороться, и, пока они не среагировали, мы могли бы выиграть первое крупное сражение в истории политической тюрьмы.

После возвращения все свое время я посвятил убеждению своих товарищей в том, что сейчас самый благоприятный момент и мы не должны упустить его. Постепенно наиболее боевая группа начала сочувствовать этой идее.

Еда ухудшалась с каждым днем. Мы чувствовали слабость из-за недостатка питания. В этот полдень, когда привезли баки с обедом, стоящие на раздаче еды помещали в них, думая, что на дне что-то есть, но ничего не обнаружили: это была просто горячая вода с жирной пеной на поверхности.

Послышались крики с требованием вернуть еду. Все были уже настроены на это, и вспыхнула забастовка, но с элементами насилия, ибо некоторые узники из выходящих к подъемным воротам окон кричали, выплескивая всю сдерживавшуюся месяцами ненависть. От криков перешли к действиям и разбили стеклянную банку о крышу ворот. Один из охранников поднял автомат и выстрелил. Очередь ударила о брусья оконной решетки, и один из братьев Риверо ранен был в шею, двое других заключенных в грудь, к счастью, навывлет.

После этих выстрелов узники начали швырять бутылки в решетку. За первой очередью, выпущенной во двор, последовали другие. Горящие тряпки, которые бросали со всех этажей, завернув в них любой тяжелый предмет, уже пылали на нижнем этаже, блокируя вход.

И тогда санитар Лопес де Леон взял бутылку спирта из аптечки и запустил ее со второго этажа в один из этих костров. Пламя от взрыва достигло первого этажа.

Охранники встревожились, просто пришли в ужас, вспомнив, что в нескольких метрах от этого огня находится тринитротолуол. И покинув пост, бросились бежать, крича, что мы сошли с ума.

Через пять минут все командование тюрьмы уже было перед круглой башней. Мы очистили вход и спустили раненых, чтобы отвезти их в больницу. Офицерам заявили, что объявляем голодовку, о чем проинформируем их в письменном виде.

В этот момент в одной из круглых башен было свидание, все родственники и заключенные находились в столовой и поэтому слышали выстрелы и крики.

Я поднялся на пятый этаж в свою камеру так быстро, как только позволяла нога, ибо я все еще ходил на костылях. Там вместе с Рене, Чанито и другими мы нашли и быстро сшили четыре простыни. Оставалось еще несколько часов до конца свидания. Смесью из ртутного хрома, асептической красной жидкости, воды и пасты от шариковых ручек я написал на ткани:

«МЫ ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ!»

Надпись вывесили на веревках из окон пятого этажа. Когда начали выходить родственники, они ее увидели, и на следующий день известие разнеслось по всей Кубе...

На следующий день после того как начальство заявило, что они не пойдут на уступки, снова вызвали старших. Они встретились с Санхурхо, бывшим в то время начальником тюрем и исправительных заведений Кубы. Срочно прибыв из Гаваны, Санхурхо выслушал объяснения принятых нами мер. Однако он попытался вести переговоры, давая лишь одни обещания. Твердая позиция наших представителей заставила его понять, что мы не отступим, поэтому на уступки пришлось пойти им.

Мы победили в голодовке. Радость была безграничной. Эта победа дала нам жизнь. После стольких унижений, лишений и произвола этот триумф помог укреплению нашего боевого духа и силы сопротивления.

Питание во всех отношениях улучшилось. Кроме того, раз в неделю нам передавали корреспонденцию и разрешали отправлять письма каждые пятнадцать дней. Чаще стали давать воду. Нам выдали немного больше лекарств, увеличилось число дней свиданий — они стали происходить раз в три месяца. Добиться этого от дирекции тюрьмы и исправительных заведений было беспрецедентным успехом.

Причины, по которым власти так быстро капитулировали, имели тысячу объяснений и подоплек. Думаю, это произошло не потому, что правительство нас боялось, и не по гуманитарным соображениям (они чужды марксизму, догме, которая допускает уничтожение тех, кто не следует ее доктрине), но потому, что коммунисты не были подготовлены к тому, чтобы противостоять забастовочному движению тысяч заключенных. Правительство не знало, что в этой ситуации предпринять. Победа была одержана благодаря внезапности. Но очень скоро они подготовятся к следующему столкновению, и тогда уж это явится неожиданностью для нас.

Прошло несколько относительно спокойных месяцев, пока не наступил сентябрь. Во всех круглых башнях производили обыски. Узники были отведены в загон, где раньше проходили свидания. Во второй круглой башне, в камере Эктора Гонсалеса и Доминго Санчеса, которого друзья прозвали Топор, обнаружили перепиленные прутья.

В воротах загона появились несколько офицеров с политическим комиссаром и вызвали их. Оба вышли. Впереди следовал Топор, Эктор позади в нескольких метрах. Во время обысков узники всегда наблюдали за происходящим. Я рассеянно смотрел на них; ничего странного в том, что кого-то уводили в карцер, это была уже рутина. Но внезапно их начали избивать. Седоволосый Топор был крепким, необычайной физической силы. Оба оказали сопротивление, отвечая на удары, на них навалилась толпа охранников, избивая их палками всю дорогу до карцерного блока.

Часть заключенных уже вошла во вторую круглую башню, но одна группа отказалась. Они сделали это из солидарности с избиваемыми узниками, требуя, чтобы тех выпустили из карцера.

Гарнизону было прислано подкрепление, и они вошли в загон, чтобы силой вывести протестовавших. Солдаты зверски избивали всех подряд. Будучи бессильными, мы могли только кричать из-за решетки, пытаясь остановить их.

В этот же день в знак протеста против варварской агрессии во второй круглой башне решили вернуть еду. Сообщения были переданы в остальные башни, и протест стал всеобщим. По правде сказать, вначале думали не о голодовке, а о том, чтобы вернуть еду с целью вызвать представителя тюремного начальства и поставить вопрос об избитых в карцере, требуя их возвращения в башню. Однако на следующее утро, воодушевленные легким триумфом предшествующего движения, мы объявили голодовку.

Вместе с Самуэлем Агиларом я выкрасил простыню в цвета кубинского флага, который мы вывесили на большом окне лестницы пятого этажа. К нему был привязан кусок черного крепа.

День прошел без каких-либо новостей. Еще не рассвело, когда я проснулся оттого, что меня тряс Самуэль. Он был заметно напуган, а в руке держал свернутое знамя.

— Мы окружены!.. — сказал он и показал пальцем на окно.

Я встал с кровати и, выглянув на шоссе, поразился, увидев металлическую громаду русского танка, орудийная башня которого была нацелена на наше здание. Рядом со столовой стоял другой... А затем я увидел еще два.

— Что делать с флагом? — спросил меня Самуэль.

— Повесь его на место. Пусть они его снимут.

Когда солнце рассеяло туман, мы увидели, какие гигантские силы были развернуты за ночь. По ту сторону кордона нас окружали зенитные пулеметные установки, минометы, из грузовиков высаживали десант. Над тюрьмой летало несколько вертолетов, видимо, оттуда руководили операцией.

Каждая круглая башня была окружена кордоном охранников; они стояли так близко друг от друга, что могли взяться за руки. Через каждые восемнадцать — двадцать метров высились тренажник с пулеметом. Сновали туда-сюда патрули с овчарками. Постоянно подъезжали грузовики и джипы.

Еще не взошло солнце, но небо на востоке уже светилось, когда открыли решетку подъемных ворот. Солдаты в касках, с винтовками Р-2 с примкнутыми штыками заняли позиции у стены нижнего этажа, став вплотную друг к другу по обе стороны входной решетки. Другая группа, без легкого стрелкового оружия, но со штыками, выстроилась в ряд перед солдатами. На вышке появились еще несколько охранников с гранатами со слезоточивым газом.

Вошла группа офицеров, выкрикивая через мегафон приказы и угрозы. От нас потребовали раздеться, заложить руки за голову и спуститься на нижний этаж.

Более двенадцати часов мы провели в таком положении. Некоторые теряли сознание. Они не падали, а оставались обессиленно стоять с упавшей головой, зажатые окружающими. У многих распухли ноги.

Все наши вещи, кроме кроватей, охранники сбросили вниз. Книги, продукты, мыло, ложки, носки, нижнее белье... У ботинок отрывали каблуки. Растоптали оставшиеся в камерах очки, превратив их в осколки. Кувшины и зубные щетки постигла та же участь.

За двадцать пять лет существования кубинской политической тюрьмы подобного обыска не было, а я до 1982 года знавал худшие. Было больше избиений и убийств, мертвых и тяжелораненых, но не было такого организованного и безжалостного разрушения, как во время этого «мирного» обыска.

БРАТ ПО ВЕРЕ

В 5 часов утра надо было выстраиваться на переключку перед камерами. Через некоторое время появлялись начальники групп и говорили решеточнику, чтобы он приказывал спускаться по группам. Решеточник требовал тишины и внимания. Затем он выкрикивал номер группы и приказывал ей спускаться. Потом приходили другие начальники, и повторялся тот же вызов. Военные требовали немедленного выполнения приказов. Одновременный выход тысячи человек был невозможен, и некоторые спускались не сразу, что вывело капралов из себя.

Приносили завтрак, оставшийся неизменным. Единственное, что изменилось, температура: вода с сахаром была немного горячее, чем прежде. Если вызванная группа еще не получила свой завтрак, их пропускали без очереди. После поспешного съедания куска хлеба следовало строиться. Достаточно было нескольким заключенным задержаться на этажах, чтобы начальники круглых башен вызвали гарнизон. Внезапные вторжения гарнизона были инструментом террора, их целью было не давать нам передышки.

Однажды на рассвете, когда еще не закончилось время, данное ими самими для нашего сбора на нижнем этаже, два закрытых военных грузовика, не привлечших внимания, остановились перед подъемными воротами, и в круглую башню ворвались десятки солдат, вооруженных чем попало. Но как только из грузовика выпрыгнул первый охранник, мы подняли тревогу, и сотни узников успели спуститься на нижний этаж по лестницам. Охранники уже заняли лестницы, ведущие с нижнего этажа на второй, беспощадно избивая всех подряд.

Мохамед и Ботифоль были друзьями и одними из самых любимых в тюрьме узников. Первый попал в тюрьму, окончив учебу на медицинском факультете. Ботифоль занимался разведением скота в Камагуэе и принадлежал к партии аутентиков. Теперь оба были наверху, попав в ловушку. Они попытались спуститься по лестницам, пока гарнизон не перекрыл им дорогу, но не успели. Круглая башня заполнилась криками гнева и протеста.

Охранники устроили на лестницах настоящую мясорубку; град ударов цепями, штыками и палками обрушился на головы и руки узников. Мохамед и Ботифоль в ужасе остановились на втором этаже. Они знали, что их неминуемо ожидало. Их обужал животный страх.

Внезапно огромная толпа возбужденных, необузданных военных заметила этих двоих и устремилась к ним. Мохамед и Ботифоль не колебались, несмотря на то, что находились на втором этаже. В слепом страхе они бросились в пустоту, возможно надеясь на удачное падение. Оба сломали себе щиколотки. Им явно покровительствовал сам Бог, ибо такое падение вполне могло стать смертельным.

В ту субботу бригады в сумерках возвращались в круглые башни. Тысячи заключенных, голодные, потные и усталые, в окружении штыков и винтовок, тесными рядами в молчании шли из лагерей каторжных работ. Грязные, одни босые, другие в лохмотьях. Они шли с опущенными плечами и согбенными спинами, как будто на них лежала вся тяжесть людского горя и нищеты.

Четыре бригады 26-й группы медленно шли по шоссе параллельно нашему зданию. Все устали, были измотаны. Мы не шли, а тащились, почти не в силах оторвать ноги от земли. Охранники требовали ускорить марш и угрожали, потрясая в воздухе мачете и штыками. Заключенные сделали усилие, но конвойные хотели большего и начали раздавать удары... «Поторапливайтесь, сукины сыны!» — орала она, выплескивая свою ярость. На спины узников обрушились удары мачете и штыков. Вдруг один узник, на спину которого сыпались удары мачете плашмя, воздел руки к небу и закричал, глядя в вышину: «Прости им, Господи, ибо они не ведают, что творят!» Ни дрожи в голосе, ни гримасы боли, словно не на его спину снова и

снова обрушивалось мачете, сдирая кожу... Ясные глаза Брата по вере сверкали, руки были воздеты к синему небу, прося прощения для палачей. В этот миг он казался сверхъестественным, чудесным, невероятным человеком. С его головы слетела шляпа. У него были седые волосы. Немногие друзья знали его настоящее имя. Он служил неиссякаемым источником веры и умел передавать ее товарищам в отчаянно трудных ситуациях.

Все мы звали Херардо просто Брат по вере. Протестантский проповедник, он посвятил свою жизнь распространению слова Божьего. Самой прекрасной его проповедью был он сам. Когда он прибыл в тюрьму Ла-Кабанья, тысячи заключенных теснились на ее узких галереях. Он спал на полу, в углах, под кроватями. Каждую ночь мы проводили под страхом смерти, ибо это были ночи расстрелов. Мы никогда не знали, увидим ли снова товарища, прощавшегося перед уходом на суд. Залпы из винтовок простреливали грудь кубинцев, вставших на борьбу с поработившей их атеистической диктатурой.

Он поднимал нас с кроватей для участия в отправлении культа: «Вставай, сын льва, Господь призывает тебя!» Брату по вере невозможно было сказать «нет». Если он замечал кого-то задумчивым и опечаленным, то говорил ему: «Я хочу видеть тебя вечером на проповеди». И надо было идти. Его проповеди отличались простой красотой, он необычайно притягивал к себе. С импровизированного амвона, сооруженного из старых ящиков из-под трески, покрытых простыней, с простым крестом сверху, ежедневно звучал сильный голос Брата по вере, читавшего проповеди. Затем хором пелись гимны во славу Господа, которые он писал на обертках сигарет и раздавал присутствующим. Много раз солдаты гарнизона разгоняли нас в эти минуты молитв, но Брата по вере не удавалось запугать.

Когда его привезли в лагеря каторжных работ острова Пинос, он организовал там чтение Библии и хоровое церковное пение. Иметь Библию считалось подрывным актом. Но неизвестно, каким образом ему удавалось всегда носить с собой карманную Библию...

В 5 утра бригады начинали выходить на работу. До того мы должны были собраться в огромном центральном дворе под крышей и за решетками. Иногда на верхних этажах задерживались некоторые приподнявшиеся. Когда это случалось, врывался гарнизон, набрасывался на всех, нанося удары. И Брат по вере был там, ободряя нас. «Не искушайте дьявола, братья!..» — наставлял он опоздавших...

Моя группа неизменно оставалась в каменоломне. Остальные перемещались по всему острову, сажая и собирая цитрусовые, обрабатывая поля, вручную собирая траву на пастбищах и выполняя другие сельскохозяйственные работы.

Каменоломня была самой близкой к тюрьме рабочей зоной. Она находилась в пяти минутах ходьбы от круглых башен. Несмотря на это, нас всегда возили на грузовиках. Часто мы уже были в пути еще до восхода солнца. Но зато наша группа возвращалась раньше других.

Когда все заключенные выходили, пустая круглая башня казалась огромным колизеем. В ней оставались только больные и уборщики помещения. Это был лучший момент для того, чтобы вымыться, ибо, когда возвращались остальные, душевных не хватало. Так я и делал, если по какой-то причине оставался. Затем я поднимался в камеру и приступал к занятиям, сидя у окна, чтобы использовать естественное освещение. По вечерам я продолжал читать при свете крошечной лампочки, бензин для которой добывал из баков грузовиков, запуская в них маленький сосуд, привязанный к веревочке, когда охранники были чем-то отвлечены, кроме того, на страже всегда стояли несколько товарищей. Немного бензина сегодня, через два-три дня еще немного, так я и решал проблему освещения.

Мои друзья говорили, что я ослепну, но это меня не пугало. Я достал иллюстрированную книгу по геологии и погрузился в ее изучение, на следующий день свои знания я мог проверить на практике в каменоломне.

Скалы для меня были не просто камнями. Я знал, что в состав гранита, который я разбивал, входят полевой шпат, слюда, кварц. Меня очаровал каменный мир. Полагаю, что мне очень помогло это познавательное отношение к природе.

Однажды вечером администрация тюрьмы сообщила, что будет разрешено свидание в столовой без ненавистных проволочных сеток. И что, кроме того, родственникам позволят передать пакет с любыми продуктами питания. Свидания станут происходить примерно каждые сорок пять дней. Радость во всей круглой башне была беспредельной. Возможность увидеть наших родных после стольких лет разлуки вызвала в нас иллюзии и мечтания. Я подумал о своих родителях, о сестре и о Марте, которую наконец смогу увидеть. После нескольких лет активной нелегальной переписки мы так глубоко сроднились друг с другом, что все в нас требовало этой встречи.

Наконец настал день свидания, первого за последние два с лишним года. Приехала моя семья. Лишь отец уронил слезу. Мать и сестра, более сильные в эти моменты, выражали свою радость, обнимая и целуя меня.

К каждому узнику могло приехать не больше трех родственников. Марте удалось пройти с семьей своих друзей. Ее появление для меня стало незабываемым. С тех пор как мы увиделись впервые, прошло более трех лет. Девочка-подросток, которая произвела на меня тогда такое впечатление, превратилась в прекрасную девушку, ей было почти восемнадцать лет, она стала выше, красивее, элегантнее, женственнее. Когда она вошла, мы молча посмотрели в глаза друг другу, и она покраснела. В душе мы не разлучались с того дня 5 сентября. Мы знали, что уже навсегда будем вместе.

КОНЦЛАГЕРЯ И УБИЙСТВА

Прогнозы Министерства внутренних дел, что мы не выдержим и года, не запросив на колени политической реабилитации, не оправдались. Власти надеялись на развязанный ими террор. Провал заставил их перейти к отчаянному насилию. Но параллельно с безумством военных в нас рождалось глубокое сознание и негибкая решимость выстоять, не сдаться. Мы побеждали террор и становились тверже, уверенные в том, что служим символом сопротивления.

На острове начали строить три огромных концентрационных лагеря. Один из них в госхозе «Реформа», второй на ферме под названием «Мелья» и третий на юге, в Валье-де-лос-Индиос.

Правительство планировало эвакуировать тюрьму на острове Пинос, превратив ее в музей, потому что там несколько месяцев находился в заключении Кастро. Но он содержался не в корпусах, а в круглых башнях, даже не в камере, а в отдельной для него части госпиталя со всеми удобствами, ежедневными свиданиями, книгами, он мог целый день гулять во дворе и т. д.

Сам Фидель Кастро так писал об этом в письме от 4 апреля 1955 года:

«Я могу находиться на солнце ежедневно по несколько часов после обеда, а по вторникам, четвергам и воскресеньям также и по утрам. Большой и пустынный двор полностью закрыт галереей. Я провожу там очень приятные часы...

Я собираюсь ужинать: спагетти с кальмарами, на десерт итальянские шоколадные конфеты, только что сваренный и процеженный кофе, а потом сигара «Упманн». Ты мне не завидуешь? Обо мне заботятся, заботятся все понемногу... Когда я зажигаю в шортах по утрам и чувствую ветер с моря, мне кажется, что я на пляже, а потом иду в маленький ресторан. Меня заставят поверить, что я провожу здесь отпуск! Что сказал бы Карл Маркс о подобных революционерах?..»

Реабилитированные заключенные и несколько бригад из нашей круглой башни работали в лагере «Реформа», построенном по типовому проекту концентрационных лагерей. В центре находились бараки с кирпичными стенами и шиферными крышами. Вокруг возводились две высокие проволочные ограды с бетонными столбами, загнутыми снаружи, между которыми была протянута колючая проволока. В будках часовых имелись прожекторы и пулеметы.

9 января 1966 года начальники групп встретились в помещении тюремного руководства с директором Таррау. Собрание длилось всего несколько минут. Это был краткий анализ причин того, почему заключенные-контрреволюционеры отказывались от реабилитации. Чтобы добиться ее, решено было развернуть настоящую операцию террора. Начальники получили кровавые инструкции, получили свободу рук для убийства узников в каждой группе, чтобы террор стал всеобщим.

Мы с Роберто Лопесом находились вместе в тюрьме с 1961 года. Это был юный симпатичный веснушчатый идеалист. Он объявил голодовку. Сказал, что не будет больше работать, так как не собирается и дальше терпеть производ.

Когда его согласились забрать из круглой башни, мы думали, что Роберто отправят в госпиталь, но конвой направился к карцеру, куда его и бросили. Чтобы сделать агонию Роберто еще ужасней, ему отключили воду.

Капитан Морехон вошел в камеру и спросил, чего тот хочет. Роберто ответил, что единственное его желание, чтобы ему положили цветы после смерти. Находящиеся в соседних камерах слышали все, что происходило у Роберто.

Прошло уже несколько недель, как он объявил голодовку. Жажда ухудшала его состояние и ускорила развязку. В агонии он просил воды. Узники из соседних камер кричали охранникам, чтобы те дали ему пить, но их вывели и избили толстыми электрическими проводами. Все утро было слышно, как Роберто просил воды.

Трое охранников открыли решетку. Они вошли в камеру, где на полу лежал Роберто, и остановились, когда их сапоги уже почти коснулись мертвенно-бледного лица.

— Хочешь воды? — спросил один из охранников. — Так выпей мочи...

На следующий день Роберто умер.

...Селестино и Буриа предложили мне составить план побега. Они знали о моей предыдущей попытке и хотели попробовать еще раз. Бежать мы собирались из лагеря, где работали. Нелегкая, но не невозможная задача. В плане было одно изменение,

которое, как мы надеялись, повысит шансы на побег. Мы не станем пытаться сразу покинуть остров, это сопряжено с самым большим риском. Первоначально постараемся скрываться здесь. Когда же они ослабят бдительность, думая, что мы ускользнули, нам будет легче выехать отсюда.

Я сказал моим товарищам, что единственный способ выжить — не создавать загодя тайные запасы питания, а есть что придется: сверчков, ящериц, лягушек, других пресмыкающихся и растения, о которых мы знали, что они съедобны.

Мы продолжили уточнять подробности нашего побега. Раздобыли огромную карту, почти в три квадратных метра. Ею пользовались бригады, которые делили землю на участки для огораживания. В камере развернуть карту из-за большого размера было невозможно, и мы разделили ее на восемь частей.

СНОВА ЛА-КАБАНЬЯ

Зимой мы содрогались от холода. Теплой одежды не давали, нашим родным тоже запрещалось переправлять нам ее. Приходилось укрываться старыми джутовыми мешками, приланными со склада. Мешки разыгрывались в лотерее, доставаясь лишь счастливым. В поле мы промокали до нитки под дождем. Многие не смогли вынести суровой погоды, болот, изнурительной работы. Были случаи туберкулеза, пневмонии и т. д. Конвойные и начальники бригад прогуливались в утепленных, непромокаемых военных плащах. Мы дрожали от холода под дождем и не могли бросить работу. Грязи было по колено, нас пожарили полчища москитов.

Нас заставляли работать без рубашек, чтобы побольше искусали москиты. Для того чтобы хоть как-то защититься от них, мы прятали и приносили с собой куски невыносимо вонючего русского стирального мыла, натираясь им незаметно от бригадира. Смешиваясь с потом, мыло образовывало густую пену, довольно хорошо предохранявшую от москитов. Но иногда не спало и это.

Во второй части нашего плана бегства в качестве одной из возможностей предусматривалось перебраться с острова Пинос на ближайшие островки. Мы намеревались соорудить плот, связав проволокой два пальмовых ствола. Пальмы, росшие в этих местах, имели не очень толстый ствол и широкие веерные листья. Мы придумали быстрый и бесшумный способ спилить пальмовые стволы, когда они нам понадобятся. На одном заброшенном танковом полигоне мы обнаружили закопанные провода линии связи. Это были тысячи метров тонкой стальной проволоки, которую мы пронесли в круглую башню, обернув вокруг пояса. Из этой проволоки мы изготовили очень хороший режущий инструмент...

Когда решеточник со списком в руке потребовал тишины во всей круглой башне, я не имел ни малейшего представления о том, что произойдет. Я услышал свое имя, имена ближайших друзей — Пруна, Селестино — и тут же приказ собираться с вещами. Нас намеревались перевести.

Мы вышли, тихо попрощавшись с друзьями. Буриа не был вызван.

Снова перевод ломал наши планы побега. Нас доставили в помещение рядом с электростанцией. Там устроили обыск, после которого у нас не осталось почти ничего из того немногого, что было. Подъехали грузовики. Привезли Бойтеля из госпиталя, некоторых из карцера, среди них Исагирре, Риверо, Нерина и других.

Но нас перевезли не в концлагерь на юге острова. Наоборот, домысли о нашем перемещении носили более оптимистический характер: президент Джонсон попросил Кастро разрешить выезд политических заключенных во время исхода из Камариоки, порта на северном побережье провинции Матансас, куда из Майами прибыли кубинские эмигранты забрать своих родственников.

Грузовики выехали на шоссе, идущее параллельно проволочным заграждениям на востоке. Из окон тюрьмы нам махали платками, руками, прощаясь с радостными криками.

Подъехав к мосту через реку Лас-Касас, колонна повернула направо и въехала на пристань. Вся она была оцеплена военными, приняли чрезвычайные меры безопасности.

Нас ожидал паром. В этот момент подъехал джип, в котором находились Убер Матос и Крус, один из его старых офицеров, осужденный вместе с ним. Это уже было невероятным событием. Впервые экс-команданте Матос вышел из изоляции, увидел других заключенных. Возможность обмена стала казаться более реальной. Эта группа людей составляла самую представительную часть тюрьмы, узников, выделявшихся по тем или иным причинам. Присутствие Убера Матоса подтверждало эту идею: он был самым изолированным и самым известным заключенным кастровских тюрем.

Мы поднялись на корабль и расположились в салоне. Со своего места возле кормы я сквозь оконные стекла видел нацеленный на нас пулемет. Палубу заполняли военные и агенты политической полиции в штатском.

Двигатели парома были повреждены, буксир должен был тащить его к Батабано, порту на юге провинции Гавана. Когда мы вышли из устья реки, по левому борту судна пристроился сопровождавший нас патрульный катер.

Пруна, Луис Посо и я сидели рядом, немного позади Бойтель, которого я не видел уже больше года. Он был окружен несколькими друзьями. Когда он остался один, я приблизился к нему, и мы обсудили все самое важное, что произошло со дня нашей последней встречи. Бойтель очень похудел, но сохранял все ту же заражавшую нас энергию и энтузиазм.

Путешествие продолжалось около двенадцати часов. Мы прибыли в Батабано уже на рассвете 29 мая 1966 года. Там были приняты еще большие меры безопасности. Нас ждали английские автобусы «Лейланд». Мы стали рассаживаться. Последнее сиденье занимали охранники, вооруженные чешскими автоматами. Когда мы сели, четверо военных встали рядом с водителем, направив на нас оружие. Сиденье рядом с запасным выходом тоже занимал охранник. Эти меры предосторожности принимались для того, чтобы никто не смог совершить попытку к бегству. Шесть автобусов медленно тронулись в путь, сопровождаемые военными джипами, из которых отдавались приказы шоферам.

Когда автобусы в сопровождении многочисленных патрульных машин столичной и политической полиции выехали на шоссе Монументаль, направляясь к тюрьме Ла-Кабанья, акции версии обмена начали падать. А когда мы окончательно повернули к мрачной крепости, другие мысли и тревоги охватили каждого из нас. Тем не менее вернуться с острова Пинос в Ла-Кабанью для всех было чем-то вроде заветной мечты, когда мы выходили на каторжные работы в лагерях, не зная, останемся ли в живых.

Нас определили на 7-ю галерею, последнюю, самую маленькую, мрачную, темную, самую изолированную и худшую во всем дворе, где находилась группа приговоренных к смерти бывших военных. Туда, где в тесноте едва размещались 80 человек, набилось 225. Пирамиды из четырех и пяти железных кроватей почти задевали потолок. В центре был коридор, такой узкий, что по нему едва проходил один человек. В промежуток между двумя пирамидами кроватей удавалось протиснуться только боком.

Уже прошел час обеда, который давали в 9 утра. Завтрак был в 4 часа утра: горячая подслащенная вода и кусок хлеба. В 2 часа дня был ужин. Оставшееся время приходилось проводить с пустым желудком до следующего рассвета. Никогда раньше еда не была столь скудной и власти не использовали ее так явно в качестве инструмента репрессий, как в это время. Тогдашний голод в тюрьме Ла-Кабанья не шел в сравнение даже с тюрьмой острова Пинос. Я никогда не забуду наш ужин: три ложки риса с косточками цыплят, но без мяса. Когда я говорю «три ложки», я не преувеличиваю: их было ровно три, я посчитал. И еще кусок хлеба. Вот и все. Охранник, глядя на часы, отсчитывал две минуты. По истечении их полагалось подниматься независимо от того, закончил узник еду или нет, впрочем, для ложки риса времени хватало с излишком. Приносить хлеб на галерею запрещалось. Все было направлено на то, чтобы заставить нас почувствовать голод, иначе какая им разница, что мы съедали бы хлеб позже?

По возвращении я задумался над этой ситуацией. Многие возмутились ограничением питания. Именно эту цель преследовали охранники: вывести заключенных из себя. Я понял, что таким путем они собирались манипулировать нами, унижить, подавить с помощью голода. И я решил со следующего дня наложить на себя меру самодисциплины, чтобы испытать и укрепить свою силу воли.

Вскоре я начал осуществлять свое решение не допустить, чтобы мною манипулировали с помощью еды. Увидев против себя три ложки риса, я отделил одну, а две съел. Селестино и Пруна говорили мне, что я сошел с ума. Я сказал им, что это метод испытания силы воли и характера.

БОРЬБА ПРОТИВ СИНЕЙ ФОРМЫ

Эта вечерняя переключка была незабываемой. На выходе нас избивали солдаты гарнизона. Выходивший со мной Кандело поскользнулся при прыжке, но я успел протянуть ему руку для поддержки. И хотя мы задержались всего на несколько секунд, этого было достаточно, чтобы охранники обрушили на нас град ударов. На память об этих побоях у меня навсегда остались отметины на голове.

Гарнизон получил инструкции заставить нас бегать по двору. Так нам объявили, но мы решили не подчиняться.

Несколько офицеров и два стоявших во дворе охранника набросились на первый ряд узников, избивая их штыками и приказывая идти к подъемным воротам. Остальные вошли на галерею. Тогда лейтенант, начальник внутреннего распорядка, закрыл решетку, и снаружи осталось около 35 узников. Завязалась борьба между нами

и солдатами гарнизона. Двор заполнился десятками охранников, некоторые были босиком и без рубашек, но потрясали оружием. Возглавлял их безупречно одетый офицер политической полиции. Нас избивали в исступлении. Цепями, штыками и палками загоняли в глубь двора, туда, где он сужался, образуя угол напротив нашей галереи. Там на нас, кучку загнанных и перепуганных людей, обрушились еще более жестокие побои.

Офицер политической полиции приказал прекратить избивание и обратился к нам с длинной речью о силе и мощи революции. Затем он распорядился отправить нас в карцер.

Когда мы туда пришли, нас втолкнули всех вместе. Мы стояли так тесно, прижавшись друг к другу, что караульные едва смогли закрыть решетку. Даже сесть было невозможно. Так нас продержали всю ночь. У нас распухли ноги, особенно шиколотки. Мы не спали. Думали, что на следующий день нас посадят в соседние камеры, которые пустовали, но тюремщики не сделали этого. Нас продержали стоя два с половиной дня.

Вода в тюрьме Ла-Кабанья была строго нормирована. Приходилось стоять в очереди, чтобы получить свою квоту: литр в день на каждого. Для питья и умывания. Лишенные теплой одежды, мы дрожали от холода. Стоящая на берегу моря тюрьма Ла-Кабанья открыта частым ветрам, дующим с севера, куда обращены галереи. Температура падает до трех-четырех градусов, иногда еще ниже.

Я снова раздобыл джутовый мешок и подшил его кусками полистилена. С особой тщательностью я зашил его по краям, чтобы туда не забрались клопы, которыми кишела галерея.

Свидания в то время разрешались раз в три месяца и происходили через две проволочные сетки, как это пытались сделать на острове Пинос. У меня не было посещений, мне запретили встречи с родными на шесть месяцев, так же как и многим другим. Переписка тоже использовалась с целью манипулировать нами. Иногда узники говорили, что ему пришло два письма, от жены и от матери, и он должен выбрать одно. Когда мне выдавали письмо, я не читал его сразу же. Я клал письмо на кровать и вскрывал на следующий день, продолжая испытывать свою силу воли.

В тот день, когда мы получили известие о закрытии тюрьмы на острове Пинос, нас охватила радость. Это было в начале марта 1967 года. После того как нас перевели оттуда, власти решили, что оставшиеся теперь будут без руководства, ибо все руководители, или главари, как нас называли коммунисты, были в Ла-Кабанье.

Они перешли в последнее наступление. Чтобы сломить сопротивление героев, стойчески выносивших все, коммунисты многих убили, десятки людей были искалечены, сотни ранены. Поставив себе цель уничтожить тюрьму, власти использовали все средства в отчаянных попытках включить заключенных в план реабилитации.

Они начали осуществлять новую линию. Заключенных, переведенных с острова Пинос, разбросали по всей стране по концлагерям и тюрьмам с особой охраной. Их вывозили в отдаленные места, как можно дальше от родных. Этим стремились разрушить эмоциональную устойчивость заключенного, а на последующем этапе пытались сломить основу его сопротивления.

По прибытии на место назначения узники получали новую форму синего цвета, такую же, как у уголовников и реабилитированных. Тех, кто отказывался ее надеть, избивали специалисты по рукопашному бою из Министерства внутренних дел.

В трех концентрационных лагерях «Сандино» в Пинар-дель-Рио применялись самые жестокие методы даже по сравнению с другими тюрьмами. Отказникам надевали на голову капюшон и спускали в яму, связав веревкой под мышками; их прижигали сигарами, хватали за волосы и били головой о стену, пока те не падали на пол без сознания. Затем их одевали в форму и связывали веревками. Через два дня, проведенных без пищи и воды, их освобождали от пут, а если узники снимали форму, их снова избивали.

Тех, кто, выдержав все пытки, не надел форму, перевезли раздетыми в провинциальную тюрьму на пятом километре шоссе, ведущем в поселок Луис Ласа (провинция Пинар-дель-Рио). Там в особом корпусе, где камеры располагались по обеим сторонам, сосредоточили всех, прибывавших из различных провинциальных концлагерей: «Тако-Тако», «Сандино», «Брухо» и т. д. Поэтому тюрьму стали называть «Голой город». Ее начальником был Эдмилио Гонсалес, лейтенант с гнусавым голосом и приплюснутым носом, за что его прозвали Курносый. Этот тип снискал большую известность среди кубинских заключенных своими зверствами и садизмом.

За несколько недель в бывшей тюрьме острова Пинос не осталось политических заключенных.

Лейтенанта Таррау, начальника тюрьмы, за заслуги в руководстве насилием, пытками и убийствами сам Кастро выдвинул в члены Центрального Комитета коммунистической партии, ему присвоили звание команданте и назначили началь-

ником политического обучения в Министерстве внутренних дел. Он воплощал собой мораль и сознательность революционной элиты.

После повышения Таррау первое место самого страшного и агрессивного начальника тюрьмы в стране переходило к Курносому. Он превратил тюрьму на пятом километре в Пинар-дель-Рио в свое феодальное поместье. Как-то на одной из галерей политические заключенные вступили в бурную дискуссию с Курносом, отказываясь надеть синюю форму уголовников. Тот приказал возвести две стены полуметровой высоты перед обеими решетками. Затем притащили шланги и галерею затопили.

— Если вы сейчас не наденете форму, то я не буду больше зваться Курносом.

Так он продержал узников несколько недель: они не могли спуститься с кроватей, ибо практически жили в бассейне.

В тюрьме Ла-Кабанья смена формы прошла без применения насилия. У тех, кто отказался от формы, отняли все вещи, включая одежду, которую мы носили до сих пор — желтую форму из хлопковой ткани, — и перевели на пустые галереи. Это произошло в конце июля 1967 года.

После того как часть узников нас покинула, мы уже могли спать на полу, места было более чем достаточно. В том году холодные ветры начались раньше обычного. По галереям мели порывы ветра, казавшегося ледяным при нашем скудном одеянии. И вот настали холода. Когда у нас отобрали одежду, нас разместили на трех галереях, в то время как четыре или пять пустовали. Теперь, когда пришла зима, нас рассредоточили по этим пустым галереям, чтобы мы больше страдали от холода.

Спать было невозможно. Всю ночь дул ветер. Помню, что один друг, который принял план реабилитации и работал в медпункте, достал мне рулон туалетной бумаги. В это время я спал у стены. Мне пришлось в голову обмотаться туалетной бумагой наподобие мумии в бинтах. Невероятно, как столь незначительная вещь улучшала мое самочувствие. Мне казалось, что я оделся в шерстяные брюки. Но это продолжалось всего две ночи. Туалетную бумагу у меня обнаружили и отобрали.

Министерство внутренних дел пустило в ход все способы, добиваясь, чтобы мы оделись. По этой причине положение в концентрационных лагерях, куда переводили надевших синюю форму, заметно улучшилось. Им разрешали частые свидания. Некоторых из одевшихся выпустили на свободу, но все это служило не более чем приманкой, с помощью которой надеялись заставить одеться остальных.

Мне удалось с помощью работающих в медпункте несколько раз передать сообщение Марте, но эти контакты с нею носили случайный характер. Однако как-то утром меня вызвал начальник тюрьмы и сказал, что Марта вместе с родственниками остальных заключенных перед воротами тюрьмы произносила речи против военных из-за мер, принятых министерством по отношению к нам. Мне было предложено найти способ предупредить ее, что, если это повторится, она сама попадет в тюрьму.

Дело в том, что пообещали дать разрешение на передачу нам одеял и шерстяного нижнего белья. Зима была суровой. Родные, зная, как мы страдаем от холода, на следующий день явились с одеждой. Уведомили начальство, вышел директор, категорически отрицая, что было дано разрешение передать зимнюю одежду. Марта поспорила с ним, он угрожал ей, обвинив в том, что она главарь группы. Затем он повторил мне угрозу заключить ее в тюрьму.

Питание в то время было сведено к минимуму. На обед давали бульон из кукурузной муки и один-единственный лист салата. Один лист на человека. Было много случаев конъюнктивита и других болезней из-за нехватки витаминов.

ГОЛЫЕ

Продолжалась зима, становившаяся все более суровой. На Кубе температура может опускаться до одного-двух градусов выше нуля. Холод не давал нам спать, но не мог заставить нас сдаться и сломить наше сопротивление. Тогда тюремные власти избрали новые способы борьбы. Они начали эту практику в тюрьме на пятом километре в Пинар-дель-Рио, в феодальном поместье Курносого, ее свирепого диктатора.

Заключенные были полностью раздеты. Выходя убирать коридоры, некоторые из стыдливости сделали импровизированные набедренные повязки из кусков бумаги и ниток. Но каждые четыре-пять дней во время обыска у них отбирали даже это.

Чтобы заставить узников капитулировать, было решено поместить нас в камеры с пятью-шестью уголовниками, самыми страшными преступниками, озверевшими за годы тюрьмы в атмосфере произвола, где царил закон сильного. Эта попытка тоже провалилась. За всю историю тюрьмы был лишь один случай, когда уголовники вместе с солдатами гарнизона участвовали в избивании группы политических в тюрьме Гуанахай. Годы спустя уголовники, избившие нас, были уничтожены своими же, узявшими об этом избивании

Однажды утром вызвали нескольких из нас. Пришедший офицер политической полиции в сопровождении двух охранников сказал начальнику галереи, чтобы он не оставлял узникам обед, так как они не вернутся. Вечером увели пятерых с нашей галереи, с других тоже забрали отдельных узников.

Меня вызвали вместе с Сильвио Мартинесом. Нас вывели с галереи, и в углу двора два парикмахера сделали нам смешную прическу, остригши на голове все волосы и оставив лишь прядь на лбу. Я был раздет и от холодного ветра покрылся гусиной кожей. Мы прошли через подъемные ворота в сопровождении вооруженных охранников. Нас привели в загон, где проходили свидания. Через несколько минут нам дали знак двигаться.

Мы шли рядом, но охранник приказал нам идти друг за другом. Если бы нас сфотографировали идущих голыми между двумя охранниками, вооруженными винтовками с примкнутыми штыками, этот снимок потряс бы мир. Но в коммунистических тюрьмах фотографии сделать нелегко.

Мы уже приближались к зданиям администрации, когда открылась дверь и из нее вышел директор. Он приказал одному из солдат ввести Сильвио в комнату слева, а меня в другую, справа. Когда я вошел и окинул ее взглядом, я сразу все понял. Два стула, небольшой письменный стол с марксистскими брошюрами, а на деревянном ящике куча синей одежды. Там была также дверь, заколоченная досками поперек. Я был уверен, что оттуда за мной наблюдают. Другой перевернутый ящик и брошенная в углу одежда наводили на мысль о том, что здесь происходила борьба. Я был уверен, что они придут избить и одеть меня силой, ибо ходили подобные слухи. Но я был готов к этому.

Я услышал голоса, и дверь тотчас открылась. В комнату буквально впихнули мою мать и Марту. Мне хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Первым порывом было обнять мать, чтобы скрыть свою наготу. Марта была моей невестой. У нас были чудесные идиллические отношения, но заставить ее войти, когда я гол, со стороны военных было просто невероятной подлостью.

Сразу же вошли директор тюрьмы, им был тогда лейтенант Лемус, начальник тюрем и исправительных заведений и высокий седой капитан политической полиции по фамилии Айяла. Мне протянули синюю форму, приказав одеваться, пообещав в этом случае отпустить на сорок восемь часов домой, к семье. Тюремщики хотели сыграть на моем чувстве стыдливости и смущении из-за того, что я оказался в таком унижительном положении.

Я гневно ответил, что они аморальные шантажисты и что не собираюсь надевать синюю форму. Своей матери и Марте я велел немедленно уходить и предупредить остальных родственников, чтобы они не приезжали и не позволяли нашим тюремщикам использовать себя в подобных махинациях. Я поцеловал их, и они ушли. Моя мать и невеста находились там всего несколько коротких минут, но они показались мне вечными. Лейтенант Лемус закричал на меня, возмущенно спрашивая, каких последствий я жду, продолжая проявлять строптивость.

— Я ничего не жду, лейтенант, я просто действую так, как считаю правильным.

Меня вывели из этой комнатки и, переводя через улицу, втолкнули в другую, где был матрас для дзюдо. Там находились все узники, исчезнувшие с того момента, когда военные начали эту операцию. Они прошли через то же испытание. Но не все выдержали удар, некоторые согласились надеть синюю форму.

На следующий день нас перевели в другой зал, побольше, чтобы поместились вновь прибывающие. Задняя стена этого зала выходила в первый двор, где содержали реабилитированных.

Через два дня нас вернули во двор, а затем вызвали около 50 заключенных, в том числе и меня. Мы первым проделали путь через весь остров без одежды. Нас нельзя было рассмотреть внутри машины с решеткой. В четырех ее отсеках мы совершили утомительное путешествие, проехав около девятисот километров.

Новым местом нашего назначения явилась тюрьма Бониато в провинции Орьенте, на другом конце Кубы. Нас привели в зал для свиданий и обыскали. Отобрали ботинки и вместо них выдали грубые сапоги. Оттуда направили во второй блок, оставленный для нас. Он представлял собой коридор, с каждой стороны которого имелось по 20 камер; они были открыты, что позволяло нам перемещаться внутри блока до главной решетки. Здесь оказалось гораздо холоднее, чем в Гаване, возможно, потому, что тюрьма находилась в глубине долины. Спать приходилось на полу, кровати в камерах не было. Я разделил один из этих застенков с Бернардо Альваресом.

Тем же вечером мы узнали от уголовников, что еще одна группа политических заключенных была изолирована в небольшом госпитале. Они, как и мы, отказались от синей формы. Их было около 20, и они содержались в палатах, где размещали больных туберкулезом и другими инфекционными болезнями, а также приговоренных к смерти, оживавших расстрела. Камеры были просторными, но двери наглухо

закрыты металлическими листами, оставалось лишь одно решетчатое окно в глубине. Власти обещали им выдать по крайней мере нижнюю одежду, чтобы прикрыть наготу, и одеяла для защиты от холода. Но это осталось лишь обещанием. Уже несколько месяцев они спали на гранитном полу.

13 ноября, когда порывы холодного ветра стали проникать через решетчатое окно камеры, начальник внутреннего распорядка лейтенант Хауто появился, чтобы дать ответ на постоянные требования заключенных выдать им обещанную нижнюю одежду и одеяла:

— Если вы не хотите терпеть холод, то придется надеть синюю форму. Если же она вам не нравится, можете объявить голодовку...

На следующий день узники приняли вызов: за завтраком они вернули подслащенную воду и объявили голодовку.

Перемены в руководстве привели к тому, что тюрьму возглавил лейтенант Гарсиа, старый член коммунистической партии. Он посетил забастовщиков и пообещал им, что если те станут есть, то на следующий день получают одежду и одеяла. Прошло уже семнадцать дней. Они согласились при условии, что возобновят голодовку, если обещание не выполнят.

Но обещание выполнили. Когда к ним пришел лейтенант Гарсиа, у него спросили о тех, кого увели, требуя их возвращения, так как проблема была решена. Начальник сообщил им, что эта группа, попав в другую тюрьму, действовала более разумно, согласившись одеться.

— Мы завтра же привезем их, чтобы вы увидели, как хорошо они себя чувствуют, — добавил он. — Вы сможете с ними поговорить и убедиться, что ваше сопротивление глупо и бессмысленно. Министерство решило сменить форму, и вы должны с этим согласиться.

На следующий день их привели в дирекцию. Это были Х. Васкес, Архесирас, Павон и другие, переведенные в концлагерь «Трео Масиос». От их рассказа о том, что они пережили, волосы вставали дыбом.

В эти дни в Бониато прибыли Риверо, Гевара, Трухильо и 8 участников вторжения в Байа-де-Кочинос, а 27 февраля из Ла-Кабаньи доставили нашу группу.

Врач-уголовник Артемио Родригес громко прокомментировал прибытие этапа раздетых политических заключенных из Ла-Кабаньи. Он сделал это для того, чтобы новость могли слышать наши товарищи, находящиеся в изоляции в палатах небольшого госпиталя. Для них это означало огромную поддержку. Теперь они знали, что не одиноки, и наше присутствие укрепило их волю к сопротивлению.

Отвергнувших форму разместили в камерах под лестницей дирекции. Но в сумерках их вывели и втолкнули в машины с решетками. Машина двинулась по шоссе в городок Баямо. Проехав его, она продолжила путь на юг, по направлению к Мансанильо. В полночь прибыли в концентрационный лагерь «Сан Рамон». Машина с решеткой остановилась, из нее спустились Пенья, Альсидес, Риверо и другие. Они находились за пределами лагеря, их освещал розовый свет. 30 охранников, вооруженных винтовками, стояли с факелами в руках, пламя развевалось по ветру. Отряд возглавлял лейтенант Беси, худой негр, снискавший в этих местах известность жестоким обращением с заключенными.

Они подошли к холму, на одном из склонов которого были вырыты ниши, а в них сооружены крошечные камеры, такие низкие, что в них нельзя было встать во весь рост. Узников поставили перед земляной стеной сбоку от камер. Пламя факелов, колыхавшееся от ветра, придавало всему зловещий вид.

Лейтенант Беси и начальник внутреннего распорядка, сопровождаемые офицерами политической полиции, вызвали Ньевеса.

— Раздевайся!

Ньевес отказался.

Позвали Пенью, Альсидеса, Риверо, тоже отказавшихся снять нижнюю одежду. Тогда по приказу офицера политической полиции охранники стали избивать их кулаками и ногами, сдернули с них трусы и майки. Затем шестерых впихнули в одну из этих камер.

Лечь всем было невозможно, и некоторым пришлось остаться сидеть в полной темноте, поджав ноги. На рассвете им принесли завтрак, состоявший из куса хлеба и глотка чуть подсахаренной горячей воды.

В этой ситуации 6 политических заключенных решили объявить голодовку. Через несколько дней их вернули в прежние камеры, и тогда они прекратили голодовку. Цель была достигнута.

Однажды ночью они услышали, как толпа охранников кричала и осыпала кого-то проклятиями. Открылась дверь коридора, и в темноте можно было различить, что тащили человека. Солдаты прошли мимо них и бросили его в соседнюю камеру. Когда охранники ушли, узники позвали вновь прибывшего, но не получили ответа.

На рассвете Альсидес снова позвал неизвестного заключенного. Это был не кто иной, как Наполеонсито. Его протащили от самой машины до камеры, он был покрыт грязью, все тело было в ушибах. Он рассказал о том, что происходило в «Трео Масиос», где узников тоже сажали в подобные камеры, расположенные вне лагеря.

Избив Наполеонсито, Моралеса, Бальбузну и других, их лишили нижней одежды, как и узников «Сан Рамона». Глубокой ночью в окружении 20 охранников их привели раздетыми через заросли кустарника туда, где находились ужасные «ящики», называемые так из-за длинной и узкой формы. Это были самые страшные камеры во всей истории кубинской тюрьмы. В ширину они имели две ладони с небольшим, а в длину 1,5 метра. Имелось также обычное отверстие для испражнений.

Тяжелое состояние Моралеса, который начал мочиться кровью, заставило его объявить голодовку, и в это время из-за приступа артрита, инфекционного, как стало известно позже, у него отнялись рука и нога. Он был мертвенно бледен, страдал от ужасной боли, но, несмотря на это, требования оказать медицинскую помощь ни к чему не привели. Если он не согласен надеть форму, то не имеет никаких прав, говорили власти.

Остальные узники в «ящиках» тоже решили объявить голодовку. Их сопротивление продолжалось больше шести месяцев. Затем власти поняли, что не в состоянии сломить узников. Каждый день приходилось кормить их силой. Некоторые засовывали себе пальцы в рот, чтобы избавиться от бульона, влитого в них. Твердая решимость этой группы спасла остальных непокорных заключенных от необходимости пройти через то же самое. Если бы они дрогнули и согласились надеть синюю форму, с нами обращались бы так же.

ТЮРЬМА БОНИАТО

Тюрьма Бониато состоит из пяти длинных двухэтажных корпусов, имеющих четыре крыла. Между этими частями зданий есть внутренние дворы, закрытые высокой стеной с колючей проволокой. Здания соединены между собой длинным центральным проходом, закрытым проволочными сетками.

Когда стемнело, мы наблюдали невероятное зрелище — крыс и сов. В этих дворах появлялись сотни огромных крыс, их было так много, что невозможно было бы поверить, не видя этого вочую: около ста или ста пятидесяти в каждом дворе. Ничто не мешало бы размножению этих грызунов, если б не совы, которые уничтожали этих крыс каждую ночь. Совы бросались на крыс с радостным уханьем, поднимали их по воздуху на край крыши, чтобы там разорвать на куски.

Через несколько дней начальник тюрьмы в сопровождении охранников вошел в наше крыло и направился в самый конец, в маленький зал, раньше служивший столовой. Там он собрал нас. Когда он попытался что-то сказать, то не мог связать и двух слов:

— Ну что ж... я... — Он начал снова. Но смог выдать всего одну фразу: — Здесь много воздуха, а воздух полезен для органа!..

Мы посмотрели друг на друга, едва сдерживая смех. Мы тут же окрестили его Органом.

На следующий день нас посетил сам начальник с офицером политической полиции. Они даже не поздоровались, упиваясь своей властью, чего не могли и не хотели скрывать. Они также зашли в зальчик, осмотрели окна и остались ждать, не обратится ли к ним кто-нибудь из нас, — они часто поступали так, выказывая свое презрение. Но никто на них не смотрел и не приближался, поэтому начальник Гарсиа спросил, где ответственный секции, и, когда вышел Пердомо, политический заключенный, избранный нами для переговоров с военными, офицер политической полиции обратился к нему:

— Есть распоряжение Министерства внутренних дел, в котором говорится, что вы должны надеть синюю форму, в противном случае будете отвечать за последствия.

— Лейтенант, мы не преступники и в плане реабилитации не участвуем. В Международных соглашениях об обращении с заключенными, которые подписаны кубинским правительством, говорится, что политические заключенные не обязаны носить униформу, тем более если это форма преступников. Никто из нас не наденет эту форму.

— Вы не политические заключенные, а контрреволюционеры. В социалистических странах нет политических заключенных. Это для начала, к тому же на Кубе командуем мы и не потерпим, чтобы кто-то силой навязывал свои позиции. Либо вы оденетесь — или на вас обрушится вся неумолимость революции. Мы больше не позволим нарушать дисциплину.

— Никто не оденется, лейтенант...

— Сейчас посмотрим, оденетесь вы или нет, — сказал лейтенант политической полиции, еле сдерживая гнев.

Через полчаса коридор, соединяющий здания, заполнился несколькими взводами солдат, расположившимися недалеко от нашей секции. Они были вооружены мачете, цепями, деревянными и железными палками, штыками. К ним присоединились другие охранники с винтовками.

Как только появился первый взвод, мы подняли тревогу. Мы быстро провели общее собрание и решили, что не позволим безнаказанно избивать себя, ибо уже были сыты по горло побоями. Мы не дадим им спокойно войти сюда.

И началась битва, солдаты били нас палками и цепями, пытаясь открыть проход, чтобы прорваться внутрь и измолотить нас ударами. Решетка имела всего чуть больше метра в ширину, поэтому мы не давали им войти. Онофре, братья Байоло, Мирный, Пердомо сражались с охранниками, фехтуя швабрами, а те не понимали, что происходит, ибо привыкли безнаказанно избивать нас.

Из здания напротив, где находились уголовники, наблюдавшие неравный бой, раздались крики восхищения. Эти люди, привыкшие жить в страхе так же, как и мы, видели нечто необычное. Выражением солидарности они приветствовали наше сопротивление тюремщикам. В отместку часть гарнизона ворвалась в их секции, устроив и там побоище.

Забрав двоих из наших, гарнизон удалился, и мы остались в крайне напряженном состоянии, опасаясь, что в любой момент солдаты могут вернуться. Поочередное наблюдение продолжалось всю ночь, мы почти не спали, вскакивая при одной мысли, что сейчас они ворвутся со слезоточивым газом или дымовыми шашками. Тем временем рассвело, и нам сообщили о переводе.

Под сильной охраной нас повели к первому зданию. Наши нервы были напряжены, мы высказывали разные предположения. Обувь и ложки у нас отобрали и поместили в больших камерах, теоретически рассчитанных на 6 узников, но в каждую впихнули около 20. Я попал в первую.

Однажды вечером меня вызвал Хауго, начальник политических комиссаров, чтобы сообщить, что мой отец приговорен к двадцати годам и находится в тюрьме и что, если я надену синюю форму, он отвезет меня к нему на свидание в концлагерь в Матансасе, в провинции Лас-Вильямс. Известие привело меня в замешательство. Этого я никак не ожидал. Но ответил, что его предложение меня не интересует. Я не собирался надевать ее ни при каких обстоятельствах, ни при каких.

Через несколько лет я узнал, что случилось с моим отцом. У него был друг по имени Роберто Эррера, задержанный за участие в антигосударственном заговоре. Мой отец перевозил семью Эрреры из провинции Лас-Вильяс в Гавану, когда тот находился в тюрьме Ла-Кабанья. Он был ему больше чем другом, настоящим братом. Но Эррера принял план политической реабилитации и, сотрудничая с политической полицией, написал донос на моего отца, утверждая, что тот участвовал с ним в заговоре в 1960 году. По этой причине мой отец попал в тюрьму. Его глубоко потрясло предательство того, кого он считал своим другом.

Это было худшее известие за все годы моего заключения. Я переживал за свою мать, уже далеко не молодую и больную женщину. Но сделать я ничего не мог, оставалось только принять жестокий удар и еще больше укрепить мою веру перед новым несчастьем. Еще одно испытание, новый вызов моему сопротивлению. Тем не менее, обдумывая свое положение, я размышлял: имело ли смысл мое мятежное поведение? Достаточно было сказать, что я согласен на синюю форму, как назавтра я отправился бы в Гавану, а еще через день увидел бы свою семью. Несомненно, после ареста моего отца это как-то успокоило бы их: для матери и сестры это было бы огромным облегчением. А для Марты? Была бы способна она понять мои действия, согласиться с ними? Я был уверен, что да, внешне она приняла бы это, но поняла ли бы внутренне?

Анализируя свое поведение, я чувствовал, что если изменю его, как того хотели мои тюремщики, то подвергну опасности свои внутренние основы. Я был полон сомнений и тогда обращался к Богу, в котором никогда не усомнился, и снова нащупывал путь, мой анализ становился точным, я опять шел вперед с новой верой и надеждой.

Группы узников, отказывавшихся от синей формы, рассеяли по всем застенкам и концлагерям страны: их направили в тюрьмы в Камагуэе, Ольгине, Мансанильо, Пинар-дель-Рио, Гуанахае, Кастильо-дель-Принсипе, Ла-Кабанья и другие.

Мы договорились ни на что не соглашаться, пока всех нас не соединят в Гаване. Таким образом, Министерству внутренних дел не удастся достичь своей

цели, ослабить нас, разобшив, чтобы можно было оказывать на нас давление поодиночке.

Разоблачения о существовании на Кубе голых политических заключенных делались перед различными правительствами и международными организациями, но те не обременяли себя ответом. Международная «Амнистия» тоже хранила молчание. Ее в то время возглавлял Шон Макбрайд, получивший Ленинскую премию мира, которая, как известно, вручается Верховным Советом СССР тем, кто защищает интересы Советского Союза, его внешнюю политику и идеологические концепции. Тот же Шон Макбрайд десять лет спустя, в 1978 году, председательствовал на проходившей в Венесуэле конференции по правам человека, где разоблачались их нарушения в Латинской Америке. Он вежливо и галантно приветствовал мою жену, участвовавшую в конференции, не зная, кто она. Когда же Марта начала свое выступление и сеньор Макбрайд услышал о том, что на Кубе нарушаются права человека, он потерял всякую сдержанность, истерически закричал, прерывая ее и запрещая говорить дальше. Марта попыталась продолжить свое выступление, но Шон Макбрайд принялся громко стучать по столу и кричать в микрофон синхронным переводчикам, чтобы те не переводили ее слова, помешав ей закончить при полном замешательстве всех присутствующих.

Прошло несколько месяцев, и правительство Кастро убедилось в том, что после ухода колеблющихся наши позиции консолидировались. Правда, результат был в пользу режима. Большинство согласилось надеть синюю форму. Именно в это время нас вызвали, и мы снова отправились в тех же машинах с решетками в Гавану. Министерство издало приказ сосредоточить всех нас в тюрьме Ла-Кабанья.

За несколько минут до отъезда из тюрьмы Бониато к нам подошел один солдат, опасливо огляделся по сторонам и, убедившись, что другие охранники его не услышат, шепотом сказал, что нам вернут то, чего мы хотели: нашу старую форму.

Когда мы прибыли в Ла-Кабанью, у подъемных ворот нам выдали трусы и полотенца. Большинство уже было собрано там, не хватало только нас и группы из концлагеря «Сан Рамон». Военные были не очень агрессивны, нас радовала встреча со старыми друзьями. Нас разместили на 13-й галерее. Было объявлено о визите министра внутренних дел команданте Серхио дель Валье, одного из доверенных людей Кастро.

Едва он вошел в окружении полдюжины телохранителей, как сразу начал говорить. Он сказал, что проблемы с формой закончились и нам вернут прежнюю. Он добавил, что по отношению к тем, кто откажется от формы, не будет никаких репрессий, что у них будут те же права, что и у остальных.

Но многим его слова показались лживыми, лицемерными. Мы спрашивали себя, почему, продержав нас больше года без одежды, подвергая побоям и пыткам, власти вдруг проявили такой интерес к тому, чтобы мы согласились надеть форму, которую у нас же отобрали. Стоило проанализировать это. Кроме того, требовалось обсудить еще много других вопросов: например, режим свиданий, переписки, проблему медицинской помощи, условия жизни и т. д. Нужно было подождать, прежде чем согласиться одеться.

Бойтель был одним из тех, кто выдвинул это предложение. Но большинство оделось, и нас осталось около 250 человек. Мы хотели подождать, чтобы увидеть, что предпримут коммунисты.

Были установлены дни посещений. Было разрешено шить бермуды или шорты, а также передать нам белые пуловеры без воротника, чтобы в этой одежде мы могли приходить на свидания с родственниками.

Встреча с ними была огромной, невыразимой радостью. Моя мать, сестра и Марта рассказали обо всем, что произошло в последнее время. Эти свидания после долгих месяцев разлуки и страстное желание узнать все за несколько минут приводили в большое смятение. Я уже испытал это на себе и поэтому принес предварительно составленный список дел, интересовавших меня в первую очередь. Во время этих посещений я использовал как потайной карман двойную подкладку спортивных трусов.

Нам разрешали несколько часов загорать во дворе, гарнизон обращался с нами более мягко. Все было подчинено одной цели: добиться, чтобы раздетые убедились, что между ними и надевшими форму нет различия, и чтобы согласились надеть ее, что требовалось для начала нового плана ликвидации политической тюрьмы.

Скоро оказалось, что скептики были правы.

АРЕСТ МАРТЫ. НАША СВАДЬБА

Условия нашей жизни стали ухудшаться. Обещания о медицинской помощи не выполнялись, психических больных не переводили в соответствующий центр, не доставляли писем. Нам пришлось вернуть еду, так как не хватало 30—40 порций. Еду не раздавали по порциям, поэтому мы все остались голодными. Решили объявить голодовку, в которой собирались участвовать надевшие желтую форму и мы. Чтобы продемонстрировать властям нашу твердость, мы вынесли наружу всю еду, имевшуюся у нас на галереях: немного сахара, пшеничную муку и галеты, которые нам разрешали получать от родственников каждые девять дней. Мы пили только воду, и военным следовало об этом знать.

Несмотря на болезненные воспоминания о последней всеобщей голодовке в тюрьме на острове Пинос, мы были полны решимости победить в этой, а состояние ума — важнейший фактор во время голодовки. Все чувствовали себя обманутыми. Мы стоически выиграли битву за форму, вытерпев все надругательства. Наше сопротивление вынудило тюремщиков отступить, но большинство узников, не видя выхода из создавшегося положения, были в отчаянии, поэтому они и согласились надеть желтую форму, которую мы всегда носили. И хотя почти все мы вначале добивались именно этого, поспешность, с которой власти вернули нам форму, должна была возбудить наши подозрения, заставить подождать несколько дней, выдвинув требования улучшения жизненных условий.

Первые два дня голодовки прошли без инцидентов, но на третий реабилитированных заключенных, привозивших котлы из кухни, удалили, заменив их военными, которые перед каждой галереей поставили баки и большие кастрюли со вкусной едой, какой никогда не готовили раньше: этим надеялись поколебать наше решение.

Однажды вечером через неделю с начала голодовки во дворе появился лейтенант Лемус, начальник тюрем и исправительных заведений, с несколькими офицерами и со списками. Вызвали 25 узников, которых власти считали руководителями и подстрекателями забастовки. Это были экс-команданте революции Убер Матос, Элой Гутьеррес Менойо, Сесар Паэс, называли также Бернардо Альвареса, братьев Байоло, Лауро Бланко и других. Я тоже входил в эту группу.

Нас привели к подъемным воротам. Убер Матос и я вышли последними. Все указывало на то, что нас выведут со двора, но приказ был изменен, и мы вернулись на 18-ю галерею, самую крайнюю, пустую и полностью изолированную от других. Там мы и остались.

Со следующего дня к нам на галерею стали приходить офицеры из управления тюрем и исправительных заведений, они утверждали, что не пойдут ни на какие уступки по нашим требованиям, ибо не потерпят навязывания их с позиций силы. Мы же требовали выполнения обещанного: медицинской помощи, ежемесячных свиданий, улучшения пищи, ежедневных прогулок по двору на солнце и воздухе.

Дирекция тюрьмы, отделив нас от остальных заключенных, надеялась сломить забастовщиков: администрация считала нас руководителями голодовки и ошиблась.

Марта первой узнала о происходящем из записки, которую мне удалось ей передать, она предупредила многих родственников остальных заключенных, и через два дня те пришли к первому посту у входа в тюрьму. И ждали до тех пор, пока им не сообщили о нашем состоянии.

В середине октября наши родные, жившие в постоянном напряжении и неизвестности, решили обратиться к секретарше Кастро Селия Санчес и просить ее вступить за нас. Они направились из тюрьмы в ее бюро. Чтобы не привлекать к себе внимания, шли небольшими группами и собрались вместе на 23-й улице в районе Ведадо, а оттуда следовали по улице К на 19-ю улицу, где жила Селия Санчес. Когда они свернули с улицы К, к ним приблизился военный джип, и солдаты посоветовали им разойтись по домам, предупредив, что так они ничего не добьются. Но женщины решили продолжить путь. Внезапно из ближайших улиц появились патрульные машины с воющими сиренами и блокировали их. Из этих машин на них бросились полицейские, словно шла охота на опасных преступников. Старушек без тени сострадания тащили и заталкивали в автомобили, девушек били.

Марте удалось бежать вместе с другой женщиной, но, оглянувшись, она увидела, как ее подруга Инес, жена Рауля дель Валье, вырывается из рук полицейского, который схватил ее и потащил в патрульную машину. Из чувства товарищества Марта не могла оставить Инес одну и рванулась к ней. Ее втолкнули в ту же машину и доставили в центральное управление Национальной революционной полиции. Там их вместе с другими женщинами, схваченными во время облавы, посадили на цементные скамейки.

Явился начальник патрульных машин капитан Хусто Эрнандес, тот самый, что, будучи директором Ла-Кабаньи, угрожал Марте тюрьмой. Он кричал, что все здесь агенты ЦРУ.

Подъехали патрульные машины из политической полиции, чтобы отвезти женщин в ее главное управление на бывшую Вилья-Маристас, кубинскую Лубянку. Инес, зная о злобе, которую питал к Марте капитан Эрнандес, попыталась закрыть ее, продвинувшись вперед. Но когда Инес потащили, чтобы втолкнуть в машину, капитан увидел Марту.

— Смотрите, кто попался! Ну теперь-то ты сгниешь в тюрьме.

В управлении политической полиции у них отобрали все, что было с собой. У Марты забрали даже очки, хотя она сказала, что без них не видит.

— Здесь они тебе не понадобятся, тут не на что смотреть.

Арестованных провели в небольшое помещение, где несколько женщин-полицейских полностью раздели их. Закончив унижительный обыск, их доставили в архив, где сфотографировали и занесли в картотеку, затем развели по разным камерам.

За Мартой пришел лейтенант и привел ее в один из кабинетов этого лабиринта. Там ее ожидал сидевший за письменным столом офицер, метис лет пятидесяти, который начал допрос. Он хотел знать, кем была организована демонстрация у дома Селии Санчес. Марта ответила ему, что родные участников манифестации могут умереть в ходе голодовки, которую спровоцировали военные, отказывая нам в самом элементарном, необходимом для существования.

Тогда офицер сказал ей, что им платили из ЦРУ, что все это было спланировано из-за рубежа. Марта не смогла сдержать улыбки, и это рассердило военного. Затем он спросил ее, не предлагала ли она своему отцу и мне принять план реабилитации: это было бы идеальное решение, ибо гуманная и справедливая революция позволяла включиться в строительство социалистического общества тем, кто хотел его разрушить. Марта ответила, что ни для нас, ни для нее реабилитация не решает проблему: мы не можем отречься от Бога, каковы бы ни были последствия этого.

— Что ж, у вас будет много времени подумать над этим, — были последние слова офицера, и Марта решила, что проведет в тюрьме долгие годы.

Позже, сидя в одиночестве в своей темной камере, она с беспокойством думала об Инес и Хосефине, матери Насера. Она не знала, сколько прошло времени, когда ее вызвали. Снова коридоры и пустынные лестницы. Они оказались в зале, где находились остальные женщины. Там им пришлось выслушать длинный перечень угроз и обвинений, пока наконец им не объявили, что на этот раз их действия останутся без последствий.

Через двадцать один день наша решимость вынудила власти уступить. Открыли галереи, и немногие из нас с огромным усилием вышли во двор и радостно обнялись. Для тех, кто был в наиболее тяжелом состоянии и не мог держаться на ногах, прислали машины «скорой помощи», доставившие их в тюрьму Кастильюдель-Принсипе, где находился национальный госпиталь для заключенных. Тем, кто чувствовал себя немного лучше, поставили капельницы с сывороткой прямо на галереях, так как 10 или 12 коек в изоляторе были заняты. Врачи и санитары сновали туда-сюда.

Месяцы после голодовки были самыми спокойными за все наше время пребывания в тюрьме. Но это была всего лишь передышка, во время которой военные вырабатывали новые планы, чтобы сломить наше сопротивление, заставить опустить голову и сказать им: «Да, комиссар, я ошибался, я принимаю политическую реабилитацию, потому что коммунизм — единственная справедливая система, могущая дать счастье человечеству».

Некоторые из нас попросили у руководства министерства разрешение на вступление в брак; мы сочли момент подходящим для этого в силу примирительной политики, проводимой ими. Отец Марты и я хотели, чтобы она уехала за границу, где уже жили ее братья. Это было необходимо в целях ее безопасности, после того как ее арестовала и взяла на заметку политическая полиция.

Выслушав, как ее отец и я выдвинули тысячу аргументов, Марта изменила свое решение остаться на Кубе, согласившись уехать за границу. Ее семья была одной из немногих, оставшихся после того, как покинуть Кубу разрешили тем, кто подал прошения. Тогда, в 1965 году, десятки тысяч людей отбыли в Соединенные Штаты так называемыми рейсами свободы.

В одно прекрасное утро в кабинете военных мы подписали законные документы и стали супругами. Этот акт для нас не представлял никакой духовной ценности. Мы почувствовали бы себя супругами и стали бы ими, лишь соединившись перед Богом.

В качестве особой милости двум пожившимся парам предоставили пятнадцать минут для свидания под наблюдением часовых. Зато теперь Марта могла уехать с Кубы как моя жена. Она сторицею оправдала мои надежды.

СМЕРТЬ БОЙТЕЛЯ

В те дни, когда мы вели борьбу с властями тюрьмы Ла-Кабанья, в тюрьме Кастильо-дель-Принсипе агонизировал Педро Луис Бойтель, объявивший голодовку в знак протеста против бесчеловечного с ним обращения. Об этом узнали за границей. 7 мая, когда Бойтель голодал уже больше месяца, доктор Умберто Медрано огубликовал статью в «Диарио де лас Америкас», информируя читателей о происходящем. На следующий день организации и известные лица из числа эмигрантов отправили телеграммы в Комиссию ООН по правам человека, в Международный Красный Крест, прося их срочно вмешаться, чтобы спасти жизнь Бойтеля. ООН хранила молчание.

Бойтель всегда был слабым и худым, поэтому его физическое состояние ухудшилось очень скоро. Тем не менее он твердо решил не сообщать властям о своей голодовке, но когда он уже находился в агонии, его товарищи предупредили тюремное начальство, которому, разумеется, все было известно.

Первым к нему вошел сержант, бывший помощником лейтенанта Вальдеса, начальника политической полиции в этой тюрьме. Когда сержант приподнял простыню и увидел то, что осталось от Бойтеля, его глаза расширились от ужаса. Этот обтянутый кожей скелет, лишь изредка слабо стонавший, действительно производил страшное впечатление.

Через некоторое время появился лейтенант Вальдес. Его просили немедленно вынести Бойтеля и оказать ему медицинскую помощь, чтобы избежать смерти. Вальдес посмотрел на тех, кто просил об этом, затем перевел взгляд на лежавшего на койке Бойтеля и сказал:

— Я не могу сделать этого. Я сообщу в министерство о его состоянии, и пусть решают наверху. Но можете быть уверены: мы не уступим перед диктатом с позиций силы. Мы уже устали от этих голодовок. По мне, так пусть умрет, я думаю, что министерство того же мнения.

Шли часы, а Бойтелю не собирались оказывать медицинскую помощь. Он все время стонал. Его товарищи молчали, понимая, что присутствуют при смерти друга и не могут ничем ему помочь.

На следующий день они продолжали настаивать на оказании помощи, но только через несколько часов его вынесли. Освободили небольшое помещение здесь же в тюрьме, в глубине зала Фахардо. В дверях ожидали начальник тюрем и исправительных заведений Медардо Лемус, лейтенант Вальдес, О'Фаррил и другие офицеры. Из высоких окон другого зала сцену наблюдали несколько узников.

Когда там положили Бойтеля, перед решеткой поставили ширму, и один сержант остался стоять на посту. Все ясно слышали, как лейтенант Лемус сказал:

— Когда он перестанет дышать, сообщите. Но не раньше!

И удалился со свитой.

Всю ночь заключенные из другого зала сменяли друг друга, чтобы следить за происходящим. На рассвете они услышали голос Бойтеля, в агонии просившего воды. Видели, как сержант беспокойно дергался у решетки... Прошло несколько часов, и Бойтель перестал стонать. Он умер после пятидесяти трех дней голодовки. Это случилось 24 марта 1972 года.

Через несколько дней в доме Альфредо Меса, офицера Министерства внутренних дел, в квартале Казино Депортиво шли сборы на утиную охоту в Съенага-де-Сапата, и начальник тюрем и исправительных заведений Медардо Лемус признался, что Фидель дал приказ «ликвидировать Бойтеля, чтобы тот больше не досаждал». В это же время выяснилось: руководство Министерства внутренних дел, убедившись, что политические заключенные тюрьмы Гуанахай не присоединятся к плану реабилитации, прибегло к новым репрессивным мерам с целью унижить их и вынудить к такой реакции, которую военные могли бы использовать как предлог для их изоляции и принятия еще более суровых дисциплинарных действий.

Во время свидания в сентябре, когда родные уже ожидали снаружи, военные потребовали от узников раздеться догола в кольце охранников для обыска. До этого заключенные снимали только брюки и рубашку, оставаясь в трусах.

Обычно всех узников вместе выводили в помещение, где обыскивали, но на этот раз вызвали лишь троих. Войдя туда, они увидели вместо 4—5, обычно производивших осмотр, 25 или 30 военных. Заключенные отказались раздеться и сообщили командовавшему группой офицеру, что если это условие для встречи с родственниками, то они предпочитают отказаться от свидания. Посещение отменили, в течение дня напряжение нарастало.

Когда спустились сумерки, во двор вошли сотни охранников, вооруженных винтовками со штыками и ружьями со слезоточивым газом. Ими командовал начальник тюрем и исправительных заведений Медардо Лемус. Они окружили здания Д и Е и стали выводить заключенных небольшими группами в зал свиданий, тоже заполненный военными. Там их раздели донага, свалив на пол, избили палками и ногами, а некоторых отволокли в карцер.

События в тюрьме Гуанахай не были изолированным фактом, а являлись составной частью политики, проводимой на острове.

Представитель министерства лейтенант Рамон Абреу, ныне заведующий сектором Центральной Америки в ЦК, периодически посещал узников, производя проверку наших личных дел. Как-то он сказал мне, что просматривал мое, и спокойно признался, что, если бы мой судебный процесс проходил на два-три года позже, максимальным наказанием, грозившим мне за неприязнь к революции, был бы шестилетний срок.

— Но почему тогда меня приговорили к тридцати, лейтенант?

— Потому что в первые годы контрреволюция была очень сильна и грозила нас уничтожить. Нам пришлось защищаться, быть суровыми. Мы знаем, что произошли некоторые эксцессы, ваш случай — один из них.

— Но признавая, что вы были несправедливы и мой приговор был слишком суров, зная, что я уже тринадцать лет в заключении, почему же вы не восстановите справедливость, выпустив меня на свободу?

— Из-за вашего строптивного поведения. Если бы вы приняли план реабилитации, через несколько месяцев вас бы освободили.

Через несколько лет другие представители власти скажут мне то же самое. Они признавали, что несправедливо попирали мои права, а я должен был просить у них прощения, что моя шея попала под их сапог. Этого им никогда не дожждаться!

В это время у меня началось заболевание почек. Воспалились лицо и щиколотки, поднялась температура. Добиться осмотра врачом было трудно, у нас был только военный санитар. Мне пришлось написать десятки писем в министерство, начальнику тюрьмы, в провинциальное управление и всем прочим бюрократам, какие только существуют. Думаю, что, если неустанно долбить, как капля камень, иногда это дает результаты. Кроме того, я ничего не терял, проявляя настойчивость, ибо времени у меня было в избытке. Так я добился, что меня отвели к врачу и выписали антибиотики. Но боль успокоилась лишь на несколько дней. Требовалось обследовать почки у специалиста.

В один из вечеров на галерею вошел лейтенант Абреу. Я объяснил ему, что со мной происходит, и взял пустой пузырек от сыворотки. Повернувшись спиной, я помочился в склянку. И показал ему ее, красную от крови. Через дня два пара конвойных с автоматами сопровождала меня в госпиталь «Каликетто Гарсиа». У меня был пиелонефрит. Во время общего осмотра обнаружили также полиневропатию с отсутствием некоторых рефлексов и расстройствами двигательного аппарата, которым я не придавал значения.

30 мая 1973 года, в день моего рождения, нас наконец вывели из этой галереи и доставили во второй двор, где содержались политические заключенные. Мы попали на 12-ю галерею, где было немного больше воздуха и пространства. Нам также разрешили трижды в неделю загорать на солнце. Но нашей группе все еще запрещали свидания и передачи от родственников.

Незадолго до этого началась не известная нам во всех деталях новая политика правительства, состоявшая в том, что мятежным заключенным давали новые сроки. Для этого власти иногда устраивали судебный фарс, либо же (как в случае с Рене Рамосом и многими другими) узники просто получали на руки приговор суда, на котором они никогда не присутствовали.

Постепенно число узников, отбывших срок и не принявших условий правительства, составило несколько десятков. Каждый год им добавляли новый срок, превращавшийся, таким образом, в пожизненное заключение. Они уже не могли и мечтать о дне завершения наказания. Все узники думают об этом дне, самом важном в их жизни. Это словно мечта, очень сокровенная, отдаленная, но все-таки надежда, когда ты приговорен к двадцати годам или больше. Новая мера покончила также и с ней.

НАВЯЗАННАЯ ГОЛОДОВКА

Используя свидания, я установил нелегальное сообщение с Мартой. Так я получил ее первое письмо, написанное на листках тончайшей бумаги микроскопическими буквами, которое я поглощал с душевным волнением.

Марта уехала под моим давлением и с мыслью — в которую тогда отказывалась верить, — что она могла бы вырвать меня из тюрьмы. Она признавалась, что чувствовала себя бесполезной, что, находясь на Кубе, она по крайней мере могла быть по ту сторону этих стен и рвов, под тем же небом и солнцем, что и я... Я понимал ее, мне тоже было больно оттого, что она так далеко, но я был спокоен, зная, что она не подвергается опасности.

Еще одно мое разоблачение жестокостей тюремного режима смогло преодолеть все преграды и правительственную цензуру и было напечатано за границей.

На кусочках тонкой бумаги, передаваемых нелегально, я писал Марте несколько раз в неделю. Для того чтобы вынести их из тюрьмы, я тщательно складывал их гармошкой, так они занимали меньше места. Я заворачивал их в полиэтилен, прятал в двойной подкладке трусов-бриф и никогда не расставался с этими письмами. Я спал с ними и, даже идя мыться, брал с собой, ибо военные могли внезапно устроить обыск на галерее и обнаружить их.

Посылая Марте эти сообщения, разоблачения или инструкции, я всегда делал побольше копий, надеясь, что хоть одна попадет в ее руки, ибо, как ни трудно было обмануть бдительность во время обыска в тюрьме, гораздо труднее оказывалось вывезти корреспонденцию из страны.

В тюрьме Ла-Кабанья в нашем дворе были также сотни реабилитированных, почти все очень молодые, арестованные за политические преступления. В другом дворе, с которым мы не имели контакта (он находился в другой зоне), содержали около 800 юношей, проходивших обязательную военную службу и попавших в тюрьму за воинские преступления. В часы прогулки мы разговаривали с реабилитированными издалека, так как им запрещалось приближаться к нашей решетке. Власти считали нашу непокорность вредной и заразной.

К старым политическим заключенным они испытывали бесконечное уважение и готовы были идти на риск, чтобы помочь нам. Преданные и верные помощники, они во всем оказывали нам содействие, и благодаря им на всей территории тюрьмы у нас имелась настоящая сеть информации.

Я продолжал отсылать и получать корреспонденцию, используя посещения одетых в желтую форму и реабилитированных. Я писал как одержимый, наставляя Марту, как проинформировать о нашем положении международные организации, правительства и прессу. Пропаганда Кастро и его представителей во всем мире заглушала крики пытаемых и вопли жертв. Большинство людей за границей представляли себе Кубу чем-то вроде земного рая, созданного благодаря революции.

Все разоблачения, отправленные в международные организации, особенно в Комиссию ООН по правам человека, бойкотировались и тормозились теми, кто поддерживал Кубу, поэтому сотни докладов и документов, содержащих неопровержимые доказательства пыток, преступлений и нарушений прав человека режимом Кастро, выбрасывались в мусорные корзины.

Я смирился с мыслью, что нечего ждать от равнодушного свободного мира, который слышит возгласы возмущения и разоблачения лишь тогда, когда речь идет о пытках заключенных в странах с правыми диктатурами. Поэтому я знал, что будет нелегко создать достаточно сильное общественное мнение, чтобы сделать какие-то конкретные шаги для нашего освобождения. Но я верил в Марту, в своих друзьях за рубежом и в то, что Бог нам поможет. С ними я бы мог это сделать.

Когда открывали галереи, чтобы заключенные вышли во двор, некоторым из нас удавалось обмануть бдительность охранников и смешаться с другими узниками. Так я познакомился с Пьером Голендорфом, французским интеллектуалом-марксистом, приехавшим на Кубу и работавшим с правительством. Но Пьер убедился в лживости «достижений», которыми хвасталась революция, и понял, что остров был большой усадьбой, в которой командовал Кастро словно управляющий рабовладельческой плантацией. Он сказал об этом. И написал. В своих письмах он разоблачил всю ложь революции, не подозревая, что политическая полиция вскрывала всю его корреспонденцию. Как и всех, у кого возникли разногласия с властями, его обвинили в том, что он агент ЦРУ, и изолировали, чтобы подвергнуть допросам.

Прокурор потребовал для Голендорфа двадцать пять лет тюрьмы, но следователь-офицер сообщил ему, чтобы тот не беспокоился: срок будет меньшим, к тому же отбывать его придется не полностью. Офицер политической полиции не обманул Пьера, он отбыл лишь три года и два месяца.

Мои товарищи относились к Пьеру несколько враждебно из-за его прежних политических убеждений. Он был членом Французской коммунистической партии. Меня никогда не раздражало, если кто-то думал иначе, и было действительно интересно беседовать с ним. А за этими решетками все мы заключенные, думал я. Мы с Пьером стали большими друзьями. Когда мы не могли общаться во дворе, мы писали друг другу.

В июне 1974 года всех узников перевели во двор номер один, откуда удалили молодых новобранцев, сидящих в тюрьме за якобы совершенные воинские преступления.

Предназначенная для нас галерея была самая тесная и мрачная из всех, она кишела клопами и блохами. С потолка свисали маленькие сталактиты, выросшие потому, что в этот застенок просачивалась вода и стекала по овальному потолку. Решетки в глубине галереи представляли собой десятки перекрещенных железных брусьев. Приваренные крест-накрест, они образовывали настоящую сетку, в промежутки между ними едва можно было просунуть кончик пальца. Двери туалетов были выломаны...

До 8 часов вечера у нас не было во рту ни крошки, ни глотка воды, затем нам приказали спуститься в столовую, ознакомив нас с новыми распоряжениями и нормами дисциплины. например, теперь не разрешалось приносить еду лежачим больным и раненым, были и другие правила, особенно сложные для выполнения моей группой, ибо на нас были лишь туссы. Они думали, что в это время от усталости из-за перемещения, жажды и голода мы сдадимся, но все заключенные отказались идти в столовую.

Так прошло два дня, мы оставались без еды. На третий день солдаты гарнизона в касках, вооруженные винтовками, установили на крышах пулеметы, после чего во двор вошел начальник тюрем и исправительных заведений Лемус со своей свитой адъютантов и сопровождающих. Он прошелся из одного конца в другой и сказал, что, если на следующий день мы не выйдем на обед, он объявит во всем дворе голодовку и это решение будет выполнено, невзирая на последствия.

С нашей группой, которую тюремщики больше всех ненавидели за непокорное поведение и презрение к их дисциплине, обращались с особой жестокостью. Мы не были одеты, поэтому нам всегда приносили еду на галерею. Теперь они использовали это обстоятельство, чтобы заставить нас отказаться от наших политических позиций и втянуть в ситуацию, потерять поражение в которой означало бы принять политическую реабилитацию. Это и было их целью.

Некоторые из наших товарищей, одетые в желтую форму, хотели разделить нашу участь, но мы объяснили им, что они не должны этого делать. Гарнизон объявил нам ультиматум: мы или уступим, или нас уничтожат раз и навсегда.

Только один из нашей группы покинул нас после этой угрозы, попросив у гарнизона защиты, которая была ему тут же предложена, его отвели в медпункт, где полиция окружила его особым вниманием, в то время как его товарищи были в агонии.

На четвертый день к нам явился гарнизон, и нас перевели на другую галерею, за пределами зоны заключенных. У нас отобрали все: зубные щетки, мыло, кувшины, лекарства, даже ингаляторы против астмы. В соседней галерее находились в заточении Убер Матос, Элой, Сесар Паэс, Лауро Бланко и другие. Мы сразу же установили с ними связь, объяснив ситуацию. Тони Ламас начал сверлить каменную стену толщиной почти в два метра. Это была военная зона, поэтому здесь не привлекли особого внимания глухие удары, ослабленные обернутым вокруг железного бруса одеялом.

Они закончили на следующий день, и тогда в это отверстие просунули трубку от сыворотки, через которую нам перелили сладкую воду с сухим молоком. Но через два дня охранники обнаружили отверстие. Нас снова перевели. На этот раз никакой возможности установить контакт не было.

Пако Ареналь был назначен для переговоров с гарнизоном. Каждое утро он звал дежурного офицера.

— Пожалуйста, мы хотим завтракать.

— Вы принимаете наши условия?

— Мы хотим есть без политических условий.

Во время обеда и ужина повторялась просьба о том, чтобы нам дали поесть. Мы не прекращали это ни на один день. В других случаях мы проводили голодовку после нашего решения, сейчас ситуация была иной: военные отказывались дать нам еду.

Через две недели этого вынужденного воздержания от пищи я уже не мог ходить. Годы побоев, недоедания, вызванные им болезни, пиелонефрит, которым я страдал, ускорили истощение организма. Я знал, что могу умереть, но меня это не пугало. В моей вере это означало не конец, а начало настоящей жизни.

Через двадцать дней на галерею вошел капитан О'Фаррил, тот самый, что был причастен к смерти Бойтеля, в сопровождении Лемуса и других офицеров. Должно быть, мы производили гнетущее впечатление: лежащие где попало, грязные, бородастые, превратившиеся в скелеты.

— Почему вы объявили голодовку?

Таковыми они были всегда. Отказывая нам в пище, которую предлагали в обмен на капитуляцию, они знали, что мы хотим есть, и, однако же, с неслыханным цинизмом задавали этот вопрос.

— Мы не объявляли голодовки, и вам это известно.

— Да, вы так говорите, но мы знаем, что все это было организовано из-за границы для дискредитации революции.

Тем временем наши родные пребывали в небывалом напряжении. У входа в тюрьму толпились матери и жены, умоляя сообщить что-нибудь об их заточенных сыновьях и мужьях.

Через тридцать дней после того как нам отказали в пище, военные начали извещать родственников о якобы имевших место смертях, но не называли имен. Я не помню большей жестокости по отношению к нашим родным. Каждое сообщение о смерти еще одного голодавшего вызывало бурные сцены. Некоторые матери,

убитые горем, тоже решили объявить голодовку, говоря, что раз не едят их дети, то и они отказываются принимать пищу.

Другой попыткой сломить наше сопротивление было то, что военные настойчиво требовали от наших родных написать нам письма, прося изменить наше поведение. Матери не колебались. Речь шла о жизни их детей, и они согласились. Я получил письмо от своей матери, где она сообщала, что тоже объявила голодовку и скоро умрет, если я не откажусь от своих позиций.

Письмо матери потрясло меня. Ее организм, преждевременно состарившийся от страданий и ужасов, не смог бы долго выдержать. «А если моя мать умрет?» — спросил я себя. Некоторых моих товарищей известили, когда их матери уже агонизировали или умерли.

Два дня я не мог спать. Я думал о тяжелом состоянии своей матери. Это были мучительные дни. Мог ли я пожертвовать ею, жившей только мечтой о том дне, когда я снова буду рядом с ней? Как мне жить дальше, если я уцелею, а она умрет из-за меня? Смогу ли, буду ли я способен вынести этот страшный удар? Какой страшной пыткой были эти дни!

Достаточно было позвать политического комиссара и сказать ему, что я хочу уйти, чтобы все сразу изменилось. Но это означало безоговорочную капитуляцию. Конечно, я спас бы свою мать, себя, и все выглядело бы более отраднo. Но смог бы ли я потом избавиться от укоров совести, от своего внутреннего судьи, который всегда упрекал бы меня в том, что я действовал вопреки своим идейным убеждениям, под давлением горя и мучительной тоски? Я снова обратился к Богу и вверил себя Ему и Его бесконечной мудрости, прося Его выслушать меня. И, как всегда, Он меня услышал. Я должен был следовать по избранному пути, даже если я потеряю все силы, ибо человек может жить спокойно только тогда, когда он в ладу с самим собой. И мои сомнения рассеялись.

Визиты офицеров продолжались. К свите начальника Лемуса присоединились люди из политической полиции и военный врач по имени Торрес Прието, осматривавший всех. Тех, кого тошнило, кто находился в самом тяжелом состоянии, он запугивал, говоря об осложнениях на печень, могущих привести к смерти, и в случае капитуляции обещал медицинскую помощь.

Каждый день мы просили обеда, говоря им, что хотим есть. Нам начали отказывать в еде 24 июня, уже прошел июль и наступил август.

Они поняли, что наше решение приведет к массовым смертям. И только тогда под давлением обстоятельств решили положить конец самой безжалостной мере за все время существования кубинских политических тюрем. Во всяком случае, так думали мы, ибо все это был не более чем маневр коммунистов.

НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

Большинство из нас пришлось нести на галерею на носилках. Сразу же нас стали осматривать несколько врачей. Диагноз, который поставили мне и еще пятерым, вызывал тревогу. У меня исчезли рефлексы, и врач определил слабую параплегию из-за недостатка питания. Немошные мускулы нижних конечностей представляли собой студенистую массу, а мускулы верхних конечностей имели функциональные расстройства. Врачи сказали, что эти пятеро и я срочно должны быть направлены в госпиталь для физического восстановления. Мне влили сыворотку, что оказалось нелегким делом: кровь загустела.

Наше питание началось с небольших доз подсахаренной воды и сыворотки. На третий день нам дали холодное молоко. На четвертый — бульон. И все время продолжали вливать сыворотку.

Я думал, что через несколько дней почувствую свои ноги и смогу двигать ими, но этого не произошло. Во время предыдущих голодовок я знал многих, с которыми происходило то же самое, но знал также и других, например Лиува дель Торо и Паскасио, оказавшихся на инвалидных колясках. Одна мысль о том, что и я могу остаться инвалидом, приводила меня в ужас.

На пятый день появился весь офицерский состав управления тюрем и исправительных заведений. Они вошли на галерею и с неприязнью позвали Пако, чтобы сказать, что те, кто может ходить, должны спуститься в столовую и выполнять все распоряжения и правила дисциплины. Это было словно разорвавшаяся бомба.

— Это означает вернуться к истокам ситуации, приведшей к случившемуся. Кроме того, вы сами сказали, что не будете требовать никаких политических условий для принятия пищи. Поэтому вы и вернули нас сюда, — ответил им Пако.

— Мы этого не говорили и ничего никогда не обещали.

Они давали задний ход. Это был заранее рассчитанный грязный прием. Они прикинули, что, проведя больше полутора месяцев в агонии голодовки, мы исчерпаем все свои резервы и нас легко будет заставить делать то, что они хотят. Они думали,

что у нас не будет сил для продолжения сопротивления. Это было так, у нас не было физических сил, но было непоколебимое мужество, дух, непонятный им, не ведающим об истинной сущности человека.

На койках поднялся шепот возмущения. Но они нагло отрезали:

— Если вас это не устраивает, вы знаете, что вас ждет. Поэтому выбирайте. Тот, кто не согласен с распоряжением министерства, возвращается к голодовке. Вперед... решайте!

К их удивлению, остались только двое. Они были в ярости. Они не ожидали такой реакции на свой шантаж.

Нило Муиньо, офицер из управления тюрем и исправительных заведений, склонился надо мной и одним движением вырвал иглу с сывороткой из вены, откуда полилась струя крови. С остальными сделали то же самое.

Двое охранников бросили меня на носилки и вынесли. Начиналось перемещение. Весь двор был заполнен солдатами в касках и с ручными пулеметами.

По дороге к новому месту назначения мне встретилось несколько офицеров с доктором Торресом Прието. Последний настаивал, чтобы я изменил свое поведение, иначе, сказал он, я навсегда останусь инвалидом. Офицеры тоже пытались убедить меня пересмотреть свое решение. Я не знал, что мной уже интересовалась международная «Амнистия». Но им это было известно.

В тот вечер они вернулись и снова угрожали нам. Через пять дней они окончательно поняли, что мы не капитулируем, и на шестой, 12 августа 1974 года, через пятьдесят дней после начала отказа нам в пище, отступили от своих требований.

И началась борьба за оказание нам медицинской помощи. Привезли медицинскую комиссию из Гаванского неврологического института. Эти неврологи провели тщательный осмотр, и шести из нас был поставлен следующий диагноз: слабая параплегия от недостатка питания. Они рекомендовали поместить нас в специализированную больницу. Но политическая полиция воспротивилась этому. И я начал борьбу за медицинскую помощь, борьбу, продлившуюся несколько лет. Я писал в министерство, вождам революции, в Центральный Комитет партии и в тысячу других инстанций.

У нас не было инвалидных колясок, и мы передвигались, волоча себя на деревянных ящиках. Я был заключенным вдвойне. На кровати я брал свои ноги руками и двигал все суставы, чтобы избежать их анкилоза. Я не мог навсегда остаться инвалидом. Мне помогали друзья, делая мне массаж и пассивные движения. Но этого было недостаточно. Через неделю — 19 августа — нам сообщили, что больше не будут давать бульон и пюре, мы снова начнем есть макароны и спам¹. Этот продукт был тюремным «яством»: заключенные окрестили его собачьей блевотиной.

Тем временем доктор Умберто Медрано, председатель Комитета по распространению сведений о жестоком обращении с кубинскими политическими заключенными, благодаря Межамериканской ассоциации печати, уступившей ему свою очередь, выступил перед Комиссией ООН по правам человека в Женеве с разоблачениями страданий женщин и мужчин в кастровских тюрьмах. Он вручил секретариату подкомиссии документы, служащие доказательством ужасов кубинской политической тюрьмы. Огромные списки подвергнутых пыткам, изувеченных и убитых, нелегально вывезенные письма узников, рассказ о концлагерях с указанием их точного расположения на острове. Когда Медрано читал сообщение об убийствах в лагерях принудительных работ на острове Пинос, советский делегат Сергей Смирнов закричал, что это ложь. Доктор Медрано ответил ему, что это подтвержденные факты. Советский представитель настаивал на том, чтобы доктора Медрано лишили слова, предложив исключить его доклад даже из протоколов комиссии.

Так же как и 12 мая 1972 года, когда просили вмешательства ради спасения жизни Бойтеля, ООН хранила молчание. Комиссия, создания которой требовали, не была назначена, документация не была распространена, а через несколько недель тайно исчезла. Это случилось в августе 1974 года. Тем временем Кастро продолжал расстреливать своих противников, в тюрьмах снова пытали, при этом Куба претендовала на то, чтобы возглавить секретариат Комиссии ООН по правам человека.

В то время мы получали корреспонденцию каждые три месяца. Я так никогда и не узнал, как могло случиться, что после назначения нового военного почтальона однажды вечером появился пакет с почтовыми открытками, и все они предназначались мне. Это было беспрецедентное, небывалое событие. И все, абсолютно все поступили из международной «Амнистии». Они пришли из Швеции, Германии, Канады, Голландии. Так я узнал, что в мире есть люди, которым известно наше положение.

Все произошло из-за ошибки нового военного почтальона. Увидев в дирекции эти открытки, он счел, что их надо вручить. На следующее утро лейтенант Очоа попросил меня на минутку вернуть их, «чтобы поставить штамп разрешения». Он

¹ Консервы для животных. (Прим. перев.)

думал, что я этому поверю. Но я сказал, что роздал их всем своим товарищам на 16 галереях...

Инвалиды продолжали передвигаться волоком на деревянных ящиках с помощью наших товарищей. Это бессилие действовало угнетающе. Для того чтобы получить инвалидную коляску, приходилось вести бюрократическую переписку, которая могла длиться годами. Но мы не могли столько ждать.

Однажды вечером я поговорил с Менчакой. Он был коммунистом, но одним из тех редких людей внутри репрессивного аппарата, которые относились к заключенным с уважением. Со мной он всегда обращался корректно. Он занимал должность руководителя медицинской службы тюрьмы. Я сказал ему, что нам нужны инвалидные коляски и у меня есть друзья, которые могут прислать их из-за границы, что было им неизвестно. Я передал ему, что, если через неделю у всех нас не будет инвалидных колясок, я попрошу их у своих друзей из международной «Амнистии».

Через несколько дней нам шестерым их вручили. Это избавило нас от необходимости все время лежать на койке. Для меня начиналось огромное испытание воли, был брошен вызов моему динамичному характеру, постоянно нуждавшемуся в действии. Я был привязан к коляске, которая вскоре стала частью моего тела, его продолжением.

На 16 галереях нашего двора размещалось около 1500 заключенных. Начались перебои с водой, и ее стали привозить в грузовиках-цистернах, длинные шланги протягивались через весь двор. В течение двух дней нам не давали воды, у нас закончилась даже питьевая.

Начальником тюрьмы был лейтенант Эмилио Басто, мулат ростом метр девяносто и весом сто двадцать килограммов. Одним из его наиболее выдающихся поступков было то, что он избил ногами, свалив на землю, американца Франка Эммика, старика, ослабленного годами тюрьмы и двумя инфарктами. В ответ на нашу просьбу дать нам воды лейтенант Эмилио заявил, чтобы мы сходили на речку, если хотим напиться...

Военные в столовой снова отказались дать еду четырем или пяти заключенным из-за того, что у них не была застегнута первая пуговица рубашки, и хотели вернуть их на галерею. Но те отказались, и лейтенант Маурисио дал приказ избить их. Он первым поднял штык и обрушил его на заключенных.

Эдуардо Капоте был учителем. Он боролся против диктатуры Батисты в горах вместе с Фиделем Кастро. Но делал он это не для победы марксизма и, став его противником, оказался в тюрьме. Сейчас он стоял в конце ряда, где избивали его товарищей. Охранник по имени Боррото, схватив мачете, набросился на Капоте, который по инстинкту самосохранения попытался прикрыть голову тарелкой. Солдат ударил его не плащмя, а острием мачете и рассек ему левую руку до кости. Однако Капоте продолжал прикрываться поднятыми руками, и второй удар мачете отсек ему пальцы правой руки, упавшие на землю. Не обращая внимания на лившуюся из изувеченной руки кровь, охранник Боррото продолжал наносить ему яростные удары по голове, плечам, рукам... Мы на галерее с ужасом смотрели на это преступление и стали тясти решетки, безуспешно пытаясь вырвать их. Эта сцена вызвала у меня такой дикий страх, что в моей памяти пронеслись воспоминания о других мясорубках, которые я наблюдал в лагерях принудительных работ на острове Пинос, в замурованных камерах Бониато.

Часовые на крыше несколько раз выстрелили, и через минуту двор заполнился офицерами. Срочно вынесли истекавшего кровью Капоте. В медпункте пострадавшему помочь не сумели, не могли найти машину «скорой помощи». Наконец ее обнаружили, и его увезли. Другим раненым помощь была оказана на месте.

Через несколько дней о случившемся узнал один из родственников Капоте и, потрясенный, рассказал об этом его двоюродному брату Рене Анильо Капоте, замминистра иностранных дел в правительстве Кастро. Тот в возмущении вскочил и заявил, что это ложь, направленная на дискредитацию революции, ибо в кубинских тюрьмах хорошо обращаются с заключенными.

ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ

Юг провинции Орьенте — самое жаркое место на Кубе. А тюрьма Бониато, расположенная в глубине долины, летом просто превращается в печку. Вся тюрьма была увешана плакатами с приветствиями первому съезду коммунистической партии, который созывался в сентябре.

Был конец августа, и Лауреано уже много дней страдал от зубной боли. Почти весь зуб был разрушен кариесом, оставалась лишь тонкая стенка. Мы говорили с начальником корпуса, остальными офицерами, приходившими на перекличку, прося удалить зуб, но безрезультатно. Ему даже не дали аспирина, чтобы унять боль. В душные ночи Лауреано не мог спать. Его мозг сосредоточился на пытке болью, приводившей его в отчаяние. Послали за лейтенантом, возглавлявшим группу

политических комиссаров, чтобы объяснить ему, что происходит. Он ответил, что для удаления зуба Лауреано должен изменить свое поведение.

Шли месяцы, а за Лауреано никто не приходил, у него уже поднялась высокая температура, и он мог умереть от заражения крови.

Когда принесли обед, заключенные отказались от него. Начальник корпуса лейтенант Элио пришел выяснять, почему не хотят обедать, и тогда у него спросили, почему не оказали помощь Лауреано, находившемуся в тяжелом состоянии.

— Вам известны установленные правила. Пока он будет продолжать свою линию поведения, мы не сможем оказать ему помощь. Это приказ свыше.

В ответ заключенные прибегли к единственному имевшемуся у них средству: стали стучать по железным листам, закрывавшим двери, оцинкованными ложками, кувшинами и тарелками.

В это время у реабилитированных узников было свидание с родственниками, и директор тюрьмы отменил его, заявив, что заключенные-контрреволюционеры подняли мятеж, захватили здание и ранили несколько военных.

Они все очень тщательно подготовили. Удалив родственников реабилитированных, гарнизон по боевой тревоге направился к нашему зданию. Узники в желтой форме, находившиеся в здании напротив в незамурованных камерах, увидели, как они приближаются, и заблокировали вход в свой коридор баками с водой. Когда охранники поднялись по лестнице, собираясь войти через подъемные ворота, заключенные, забаррикадовавшись за баками, стали бросать в них стеклянными банками; солдаты ответили пулеметными очередями, после которых из баков забили струи воды. Затем выстрелили тремя дымовыми гранатами, а когда заключенные, задыхаясь, покинули свое убежище, солдаты вновь открыли стрельбу, два узника упали.

В это время солдаты вошли в помещение, где находились замурованные камеры, и стали открывать двери. Выходивших из камер заключенных ударами прикладов сгоняли в конец коридора. Оставались закрытыми всего пять или шесть камер. Узники шатались под ударами. Дождь ударов палками, штыками и цепями не прекращался ни на мгновение; но вдруг между узниками и нападавшими встал человек, похожий на скелет, с седыми волосами и сверкающими глазами, раскрыв руки как крест, словно желая защитить их, и подняв голову к невидимому небу...

— Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят...

Брат по вере не успел закончить фразу, ибо лейтенант Рауль Перес де ла Раса, как только тот встал перед солдатами, приказал тем отступить и выстрелил из своего ручного пулемета. Очередь прошла грудь Брата по вере до самой шеи, почти оторвав ее словно зверским ударом топора. Он умер мгновенно. Энрико Диас Корреа, стоявший рядом с ним, пытался поддержать его окровавленное тело, но лейтенант Рауль Перес продолжал стрелять, пока не выпустил всю обойму. Энрико был ранен девятью пулями.

Никто из узников не избежал побоев во время этой ужасной кровавой оргии. Голые, загнанные в угол, как испуганные животные, окруженные кольцом штыков, там столпились около 20 раненных пулями и холодным оружием. Наверху в камерах охранники уничтожали все подряд, даже одежду.

Прошло больше часа, прежде чем принесли носилки. Брата по вере и Энрико Корреа спустили и положили в проходе, соединяющем здания, закрытом стальной сеткой.

Ясные глаза Брата по вере кажутся сейчас сделанными из твердого темного стекла, они открыты от удивления. Рот тоже открыт. Рядом с ним Энрико издает почти неслышимый стон. Он жив, в его теле девять пуль, но его успеют спасти с помощью хирургического вмешательства.

О смерти Брата по вере очень скоро стало известно во всех тюрьмах Кубы и за границей. Перед тем как умереть, он повторил слова Христа на кресте: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят!» И все мы, когда высохла кровь, внутренне боролись со своей совестью, чтобы достичь того, что так трудно, но так прекрасно, — простить врагов своих.

Я много думал и размышлял над убийством Брата по вере, он был одним из тех, кем я больше всего восхищался в жизни. Христос произнес эти слова, ибо его палачи не знали, что они убивают Сына Божьего. Но эти знали, что они делают. И все же это не должно было перечеркнуть способность к прощению.

Мое письмо, в котором разоблачалось происшедшее в Бониато, смогло дойти до Марты. Доктор Медрано и группа эмигрантов представили его в ООН, но эта авторитетная организация даже не соизволила уведомить о получении письма, она продолжала оставаться глухой и слепой, когда речь шла о преступлениях диктатуры Кастро против кубинских политических заключенных.

Нас перевели во второй двор Ла-Кабаньи, тот самый, где мы находились раньше, определили на 16-ю галерею, где повесился Битонго в День влюбленных. Военные сказали нам, что теперь мы будем чувствовать себя значительно лучше, ибо нам

создали соответствующие условия для жизни, галерею покрасили, отремонтировали и провели дезинфекцию.

Мы вошли туда ночью. Все было в полумраке. Я был там несколько лет назад, в то время имелось десять больших лампочек, потому что это самая длинная галерея, сейчас же оставалось только две. Мы постарались устроиться поудобнее, чтобы провести ночь. Но спать было невозможно из-за клопов. На рассвете мне пришлось перебраться на инвалидную коляску и сидя ждать, когда станет светло. Раньше на этой галерее жили уголовники. За все годы заключения я никогда не видел столь отвратительного места. Стены были покрыты миллионами клопов и крупных блох, которые своим укусом переносят болезни.

Мы достали немного стирального порошка и вымыли стены и своды. Клопов и блох стало поменьше. При уборке мы собрали их столько, словно подмели рассыпанный мешок опилок.

Я продолжал писать в Министерство внутренних дел, прося медицинской помощи. В ответ на это меня привезли в госпиталь, чтобы взять пункцию. Когда я находился там, появился лейтенант Рамон Абреу, представитель тогдашнего министра внутренних дел. Он что-то сказал конвойным, и те отошли в сторону. И тогда он сказал мне, что революция знает, что я не могу работать, но что меня освободят в течение семидесяти двух часов, если я заявлю только на словах, не подписывая никакого документа, что принимаю политическую реабилитацию.

— Об этом никто не узнает, мы знаем, что существуют обязательства между товарищами, — сказал он мне.

— Об этом буду знать я, лейтенант, и этого достаточно.

Тогда меня перевезли в зал военного госпиталя, где распоряжалась политическая полиция. Здесь продолжали применять различные методы психических пыток и изоляции, так же как и в Вилья-Маристас. Больных, находящихся под следствием содержали в особых условиях, прибегая к репрессиям.

Я продолжал заниматься самолечением, двигая суставы. Сидя на стуле, проделывал ряд упражнений, помогая себе руками, состояние которых улучшалось. Эти упражнения препятствовали развитию атрофии, но для полного выздоровления их было недостаточно. Я сконструировал блок, свисавший с верхней кровати, он состоял из парусиновых лент, которые я закреплял под шиколотками. Натягивая руками веревки, я поднимал и опускал ноги.

Мышцы оставались вялыми, без тонуса. Это существование на инвалидной коляске открыло новые перспективы моей жизни, дало новые впечатления, и я начал в стихах описывать состояние своей души, бессилие перед цементной ступенькой, которую мог преодолеть любой ребенок, а я нет, и скоро у меня родился целый цикл стихов. Однажды я показал их своему другу Альфредо Исагирре, сказав, что попытаюсь передать их на свободу для публикации.

— Если ты это напечатаеть, коммунисты расстреляют тебя в спину прямо на инвалидной коляске, — прокомментировал он.

— Что ж, если они это сделают, то безразлично, в спину или в лицо.

Я приложил все усилия к тому, чтобы стихи попали за границу. Я сделал 21 рукописную копию, и только одна из них дошла до Марты через моего хорошего друга Агустина Пиньеру.

Цикл «С моей инвалидной коляски» был опубликован и переведен на несколько языков. Благодаря этой книге я стал известен во многих странах мира, и стена безразличия, существовавшая вокруг кубинских политических заключенных, начала давать трещины. Первое издание моих стихов Марте удалось выпустить с помощью друзей за границей.

Я знал, что, печатая книгу, подвергаю себя смертельной опасности, но надо было показать пример. Другие погибли при схожих обстоятельствах, не сумев оставить после себя ничего, кроме памяти о своей смерти и непокорства перед палачами. Я же хотел оставить послание, которое нельзя ни стереть, ни уничтожить; если я умру, мои стихи останутся вечным обвинением варварству и преступлениям кубинской политической тюрьмы.

Так моя поэзия стала боевым оружием. Тираны ненавидят поэтов, потому что те поднимают свой голос, разоблачая их преступления.

Однажды мне приснилось, что у моей инвалидной коляски выросли крылья, и этот сон начал становиться явью. В то время благодаря стечению целого ряда обстоятельств все сложилось в мою пользу. После тщательного исследования, которое всегда проводит международная «Амнистия», она признала меня узником совести, и нескольким группам в Западной Германии, Голландии и Швеции поручили вести работу, добываясь моего освобождения. Из моей подпольной переписки с Мартой я знал об активной деятельности членов «Амнистии», борющихся за мое освобождение. От одного из военных в тюрьме, помогавшего мне, я услышал о сотнях открыток, приходивших на мое имя. Иногда они не имели почтовых штемпелей и

были написаны на другом языке, и мне их выдавали. Могу сказать, что это сыграло огромную роль в том, что кубинские власти не уничтожили меня физически. Признание международной «Амнистией» служило своего рода защитой.

ВОСТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В январе 1977 года кубинское правительство открыло новую большую тюрьму, Восточный комплекс, и всех нас перевели туда. Она должна была вмещать до 13 500 заключенных, поэтому объявили, что старую тюрьму Ла-Кабанья закроют на реставрацию и превратят в музей. Но через два года снова стало не хватать тюрем, и ее опять превратили в застенок.

Восточный комплекс — это гигантское сооружение, включающее мастерские и фабрики, в том числе производящие готовые блоки для стен и крыш. Там есть госпиталь, который после завершения строительства посетил Кастро. Он внимательно посмотрел на него и сказал, что он должен иметь не два, а три этажа. Никто не осмелился объяснить ему, что нельзя возвести еще один этаж, ибо фундамент не выдержит этого. Немедленно стали строить третий этаж, закончив его в рекордный срок. Вскоре все заднее крыло здания осело более чем на двенадцать сантиметров, а стены дали трещины.

В этом госпитале меня вместе с двумя другими моими товарищами-инвалидами заточили в застенке в конце одной из палат. Места было так мало, что мы едва могли передвигать коляски.

Единственным утешением служил маленький коридор напротив камеры до тех пор, пока лейтенант Армандо Вальдес, офицер, бывший начальником политической полиции, не отдал приказ закрыть нам доступ туда, объясняя это соображениями безопасности.

Впервые к общению с нами допустили женщин. В госпитале были десятки медсестер, тщательно отобранных политической полицией, почти все — жены офицеров, членов коммунистической партии.

Начальником являлся доктор Доминго Кампос, мунат, скандалист, с грубыми манерами, крайне злоупотреблявший своей властью по отношению к больным. Нескольким раз я объяснял ему неразумность нашего заточения без права выходить в коридор. Тогда как все остальные наши товарищи, госпитализированные здесь, могли это делать, мы на инвалидных колясках — нет.

В то время старшей медсестрой назначили Тересу Колунгу, интернационалистку, выполнявшую революционные миссии в разных странах, но оставшуюся отзывчивым человеком. Однажды вечером, совершая обход, она дошла до той дыры, где нас держали. Потребовалось открыть три решетки, чтобы попасть туда. У меня был приступ астмы.

— Вам нужно выйти в коридор подышать воздухом, — сказала она.

Я объяснил ей ситуацию.

— Здесь я возглавляю медсестер. Выходите под мою ответственность.

На следующий день в присутствии психиатра доктора Хесуса Эдрейры лейтенант Вальдес строго отчитал Тересу, нас же снова заперли в застенке. Немного позже ее выгнали из госпиталя, обвинив в излишней гуманности к заключенным...

Однажды в апреле в 3 часа дня мне сообщили, что меня собираются осмотреть врачи, и вывели на тележке из палаты. Меня ожидали пять или шесть медиков различных специальностей. Там присутствовало все руководство. Доктор Кампос, начальник госпиталя, полагая, что это связано с моим освобождением, старался угодить мне. Обследование продолжалось два дня. Меня отвезли в один из салонов военно-морского госпиталя, чтобы сделать электромиограмму на самом современном оборудовании, существующем на Кубе в единственном экземпляре, исключительно для нужд военных.

Позже я узнал, что один из команданте, помощник министра внутренних дел, ожидал результатов этого обследования и что всем этим я обязан был Комиссии европейского парламентариев, прибывших в Гавану по приглашению кубинского правительства. Некоторые из них работали в международной «Амнистии» и, ступив на землю, первым делом поинтересовались мной. Они просили предоставить им возможность увидеть меня, интересовались состоянием моего здоровья. Впервые кубинскому правительству пришлось дать ответ на вопрос о моем положении. Парламентарии находились на Кубе, и было трудно уклониться от ответа.

Это была любопытная медицинская справка, в которой вместо информации о состоянии моего здоровья сообщалось следующее: «Был приговорен к 30 годам заключения за подготовку вместе с другими лицами планов вооруженного восстания против государства, осуществление актов саботажа, личное участие в покушениях на руководителей революции, террористических акциях...» — и тысяча других тяжких преступлений. В этой «медицинской справке» указывалось, что я «упорствовал в

своих позициях в тюрьме в течение 16 лет» и призывал остальных заключенных следовать моему дурному примеру. Далее говорилось: «Участвовал в нескольких голодовках и по этой причине страдает восстановимым парезом верхних и нижних конечностей вследствие полиневропатии из-за недостатка питания. Эта болезнь, по-видимому, полностью ограничивает движения нижних конечностей».

Признавая наличие болезни, они добавляли, что она не столь серьезна, как говорилось, ибо у них имелась информация о симулировании тяжелого состояния, а также о том, что я могу ходить. Когда этот доклад кубинского правительства был получен за границей, моя жена дала на него ответ, содержащий неопровержимые доводы и сопровождаемый фотокопиями диагнозов кубинских специалистов, которые я сумел переслать ей, чтобы при необходимости их использовать.

Эта справка, хотя и напечатанная на бланке Министерства здравоохранения, безусловно редактировалась людьми, имевшими доступ к моему личному делу в тюрьме, — сотрудниками политической полиции, которые привыкли не раздумывая принимать окончательные и авторитарные решения. Они забыли, что в медицине слова диагноза имеют определенное значение, характеризующее саму болезнь. И если говорится, что это полиневропатия из-за недостатка питания, парез, паралич и т. д., то нельзя утверждать, что страдающий ими больной прекрасно ходит. Это примерно то же, что признать немоту больного, добавив, что имеется информация о том, будто он может говорить.

Когда моя жена представила фотокопии диагнозов, политическая полиция, увидев, что ее уличили во лжи и выставили на посмешище, пришла в ярость. Ее сотрудники появились в госпитале «Каликетто Гарсиа», допросили медсестер и всех, имевших со мной контакт, и забрали из архива все медицинские анализы, папки с документами и т. д. В тюремном госпитале сделали то же самое. С тех пор моя история болезни находилась в их руках...

Строительство тюрьмы еще не закончилось, оставалось достроить несколько зданий, в том числе и гигантский карцерный блок: это сооружение находилось в глубине и имело почти сто метров в длину и тридцать в ширину. Оно должно было быть одноэтажным, без единого окна и (как и все остальные) покоилось на коротких железобетонных опорах, отделявших его от земли. Там будет 99 камер-одиночек, спланированных со всей жестокостью и бесчеловечностью.

Коммунисты нашли ему звучное имя — дисциплинарный блок, мы же окрестили его «зданием прав человека». Строительство этого корпуса затянулось дольше всего, поэтому офицеров Министерства внутренних дел призвали закончить его в короткий срок, и мы видели, как там расхаживали генерал Энрико Лейва, первый замминистра, полковники О'Фаррил и Медардо Лемус, недавно получивший повышение, и еще две дюжины майоров и капитанов.

Через неделю после окончания строительства «здания прав человека» его 99 камер были заполнены уголовниками и политическими заключенными, а также приговоренными к смерти, которых увозили оттуда во рвы Ла-Кабаньи, продолжавшей оставаться любимой бойней Кастро. Когда приезжали гости из-за рубежа, в большинстве своем из коммунистических стран, им говорили, что в этом корпусе находится склад. Так говорят и до сих пор.

В это время в госпитале появились две новые фигуры, один из них — полковник политической полиции Мануэль Бланко Фернандес, бывший служащий американской нефтяной компании, имевший свою контору в Гаване. Это был низенький толстый старик с огромным животом и красноватой физиономией с бледными пятнами. Полковник получил прозвище Маньо, он казался сатиром среди медсестер госпиталя. Другой фигурировал под именем Адриан. Этого худого метиса с раскосыми глазами мы через несколько дней прозвали капитан Ложь: он был столь же агрессивным, сколь и лживым.

Этих двоих, работавших вместе, скоро стали больше всего ненавидеть и презирать заключенные, медсестры, весь персонал госпиталя и даже кое-кто из военных. Они выгнали многих служащих, особенно медсестер, за то, что те поддерживали дружеские отношения с узниками или не отвечали на их любовные притязания. Кроме всего прочего, они пришли ко мне домой, чтобы сказать моей семье, что высшее руководство министерства дало им поручение заняться их выездом из страны.

Было несомненно, что деятельность международной «Амнистии», моя книга, вышедшая уже вторым изданием, и интерес политических деятелей и интеллектуалов во всем мире начали беспокоить кубинские власти.

В это время друг нашего дома, которой мы много помогали, Сандра Эстевес, была завербована политической полицией. Она забирала в разных местах города нелегально переданные письма для моей матери.

Как-то раз капитан Адриан, который никогда не мог удержать язык за зубами, чтобы показать свою осведомленность, сообщил мне, что, возможно, меня переведут в госпиталь для физической реабилитации, но там меня не смогут посещать, даже

Алисия, сказал он и, улыбаясь, посмотрел на меня. Имя Алисия я упоминал в шифровке последнего письма своей матери. Назвав это имя из тщеславия, капитан Ложь выдал своего осведомителя. Я сразу же предупредил свою семью о том, что Сандра работала на политическую полицию. Я объяснил им, что они должны делать, и с этого момента использовал Сандру для дезинформации ее хозяев.

Мой дом находился под наблюдением, поэтому я не мог направить туда никого из сотрудников госпиталя или родственников заключенных, ибо для них это означало тюрьму. Поэтому свою корреспонденцию я передавал одной женщине, не связанной с узниками и бывшей другом нашей семьи уже много лет, которая приносила ее ко мне домой.

Я заручился поддержкой нескольких сотрудников госпиталя, которые по своей должности могли входить и выходить во все службы. Ненависть и репрессии по отношению ко мне у многих вызвали сострадание, желание помочь. Когда я рассказывал, что нас уже семь лет держат без свиданий, не разрешая ни писать, ни получать письма, это их потрясло, а некоторые в порыве чувств тут же вызывались передать письмо семье...

В это время Марта прибыла в Каракас, начав паломничество по всему миру в поддержку борьбы за мое освобождение. Там ее ожидал доктор Тебелио Родригес, представивший ее в известной телепрограмме Карлоса и Софии Ранхель и познакомивший с депутатом Хосе Родригесом Итурбе, позже одним из главных борцов за мое освобождение. Он уже составил письмо Кастро с просьбой выпустить меня на свободу и добился, что оно было подписано большинством членов конгресса.

Бывший президент Венесуэлы дон Ромуло Бетанкур присоединился к кампании, предложив Марте свою помощь. То же сделали все демократические политические партии, пресса и другие организации Венесуэлы. Оттуда Марта приехала в Коста-Рику, продолжая бороться за мое освобождение.

С каждым днем кампания набирала силу. Кастро клялся, что не освободит меня, пока кампания будет продолжаться, о чем меня уведомяли посланцы политической полиции с обычными угрозами. Я дал на это публичный ответ в письме, адресованном Марте: «Не прекращай наступления. Пусть тебе скажут, что меня расстреляют, если ты не отступишь и не прекратишь разоблачения, не переставай делать этого ни за что»...

В нашей комнате стояла адская жара, ибо блочные стены имели внутри железную арматуру, нагреваемую солнцем в течение многих часов. До стен нельзя было дотронуться, они раскалялись словно печка.

Я сообщил за границу о том, в каких условиях нас содержали, и кубинское правительство получило сотни писем, требующих человеческого обращения со мной. Писем с просьбами было столько, что однажды вечером начальник госпиталя приказал открыть у нас решетки. Мы выиграли еще одну битву со всесильной политической полицией. Это укрепило мою уверенность в том, что широкая кампания с целью привлечь внимание мировой общественности заставит Кастро освободить меня независимо от его желания. Время показало, что я был прав.

ПЕРЕВОД В ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

В течение нескольких месяцев мы с Израэлем собирали все необходимое для того, чтобы сделать рождественскую елку. У нас хранились пустые ампулы, оставшиеся после инъекций, кусочки целлофана, а также обрывки и обломки всего цветного и блестящего, от оберток лекарств до сломанных зубных щеток или пластмассовых пробок. Все это было спрятано в разных местах. Израэль сделал кукол из ваты, а я раскрасил яичную скорлупу и пузырьки от антибиотиков.

В ночь на 24 декабря мы не спали. Инженер Конде и Анхелито сделали елку из палки от веника и проволочек, украсив ее полосками бумаги. Она получилась прелестной, в разных украшениях. Довершали рождественскую декорацию пасхальные цветы из картона, окрашенные в красный цвет асептической жидкостью.

Когда до дирекции дошел слух о нашей рождественской елке, все забежали туда-сюда. Многие приходили посмотреть на нее, пока это не запретил начальник госпиталя. Некоторые медсестры не могли сдержать слез, потому что наша елка напоминала им о празднике рождества.

Рита, одна из медсестер, воскликнула, увидев ее:

— Это самая красивая рождественская елка, какую только я видела в своей жизни!

На Кубе рождественские елки запрещены: они считаются символом мракобесия буржуазии.

Попытались отнять елку и у меня. Я отказался ее отдать, аргументируя отказ тем, что это символ моей веры. После обеда появился начальник политической полиции лейтенант Паэс в сопровождении других офицеров, нам с Израэлем пригрозили, что, если мы не уберем елку, на нас заведут уголовное дело за то, что мы использовали

государственную вату для ее украшений. Но мы не убрали елку, и тогда они осторожно отвезли ее на мотоцикле в помещение дирекции.

Несколько дней спустя организация по защите прав человека, находящаяся в Вашингтоне и сыгравшая важную роль в моем освобождении, добилась того, что 49 американских сенаторов в письме, адресованном Кастро, которое доставил ему Сайрус Вэнс, просили его о предоставлении свободы Уберу Матосу, Анхело Куадре и мне.

Однажды днем ко мне пришли и попросили инвалидную коляску, чтобы перевезти другого больного, что меня несколько не беспокоило. Но в другой раз мне дали понять, что коляска является коллективной собственностью. И я стал проводить целые часы на кровати, не имея возможности встать с нее. Кроме того, у коляски все время слетало одно колесо, были сломаны ручки. Поэтому я попросил международную «Амнистию» прислать мне другую. Голландский Красный Крест начал переговоры с руководителем кубинского Красного Креста доктором Луисом Анхелем Торресом Сантрейлло. Коляску погрузили на наш корабль в Голландии. Через неделю после того как ее получило общество Красного Креста в Гаване, я узнал об этом от одного друга. И я начал требовать коляску. Но капитан Ложь тоже проявил к ней интерес. Он с невероятной наглостью заявил мне, что эта инвалидная коляска никогда не поступала на Кубу. Тогда я подробно описал ему место, где она находилась. Моя мать неоднократно приходила в Красный Крест, чтобы получить ее, но под различными предлогами ей отказывали.

Как-то в моем доме появился один тип, который сказал моей матери, что якобы разговаривал со мной и я решил отказаться от коляски, пожертвовав ее Министерству внутренних дел, после чего протянул моей матери документ, чтобы она подписала его. Это был сообщник капитана Лжи, но моя мать, наученная мною, ничего не подписывала.

Политическая полиция уже знала, что со мной нельзя вести диалог с целью остановить международную кампанию. Тогда они снова пришли ко мне домой и предложили матери написать письмо Марте, прося ее прекратить дальнейшую борьбу за мое освобождение, обещая в таком случае, что в ближайшем декабре мы все будем находиться в Соединенных Штатах. Моя бедная старушка мать, полная надежд, стала строить иллюзии после этого обмана. Но у Марты были неукоснительные инструкции: не принимать во внимание даже мое письмо с просьбой о приостановке кампании, ибо почерк можно подделать, нельзя верить и телефонному разговору, ибо голос тоже можно имитировать. Она могла выслушать лишь меня лично.

Тюремщики опробовали уже все методы. Во время одного из своих посещений госпиталя капитан Ложь вынул из кармана анкеты, заполненные членами моей семьи, с просьбой о выезде из страны. Я спросил, откуда они у него, ибо предполагалось, что этим должен заниматься иммиграционный отдел. Он ответил, что по приказу высшего руководства государственной безопасности дело теперь в их руках. Это означало, что выезд моих родных из страны ставился в зависимость от моего поведения. Они оказывались заложниками.

Капитан Ложь обошел дома всех знакомых моей семьи с целью предупредить, что им запрещено поддерживать связь со мной и посещать мой дом. Он добавил, что службе госбезопасности известно, что они передавали мои письма, и они попадут в тюрьму, если снова сделают это.

Новое наступление политической полиции ставило целью закрыть мне все пути отправки и получения корреспонденции. Политический момент для моего заключения в одиночке был неблагоприятный. Даже родственники, друзья и соседи Марты на Кубе стали жертвами угроз. Моя семья подвергалась остракизму.

Как-то после обеда в госпиталь прибыла целая процессия начальников. Ее возглавлял генерал Энйо Лейза, первый замминистра внутренних дел. Их сопровождала группа солдат. Генерал захотел увидеть меня, и капитан Ложь пошел за мной в нашу комнату.

Генерал был заметно пьян. Его склонность к алкоголю и некоторая идеологическая слабость станут позже причиной его разжалования и отправки на сельскохозяйственные работы в провинцию Пинар-дель-Рио. Он поздоровался со мной, улыбаясь, и сказал, тыкая:

- Я думаю, что в этой твоей книге, Вальядарес, кое-что преувеличено.
- Это не моя книга, генерал, — ответил я ему, тоже улыбаясь, — это наша книга.
- Что значит наша? Не понимаю.
- Да, генерал, потому что сюжет принадлежит вам. А я всего лишь описал это. Он снова рассмеялся.
- По правде говоря, все это, — сказал он, кивнув на сопровождавших его офицеров, — просто дерьмо, потому что тебе удалось у них под носом вынести книгу, посмеявшись надо всеми обысками. Сколько времени ты без свиданий?
- Восемь лет, генерал.

— Ладно, я прикажу, чтобы тебе разрешили посещение. Видишь, мы уже хорошо с тобой обращаемся, теперь ты не можешь говорить, что тебя избивают или пытаются. Кроме того, мы отправим тебя в больницу для лечения. Почему бы тебе не написать книгу, рассказав об этом?

— Я сделаю это, генерал, когда революция напишет свою, рассказав о том, как нас избивали, пытали и убивали в лагерях принудительных работ на острове Пинос и в тюрьме Бониато.

Генерал остался невозмутимым и ответил, что это происходило много лет назад из-за недостатков политических кадров революции. Затем он сказал, сняв фуражку:

— Смотри, я на два года моложе тебя, однако ты выглядишь более юным. Значит, мы не так уж плохо с тобой обращались.

— Мой внешний вид очень зависит от внутреннего удовлетворения личности. Наверняка вы не спите с тем спокойствием духа и совести, что я.

На этом наш разговор закончился, ибо теперь генерал не улыбнулся, взглянул на меня покрасневшими глазами с неопределенным выражением, а уходя что-то спрашивал у одного из своих адъютантов-полковников.

Я оказался в госпитале «Франк Паис». В это время кубинское правительство освободило 28 политических заключенных из числа больных и инвалидов, прошедших в тюрьме двадцать лет. Это был подходящий момент, чтобы выпустить меня на свободу вместе с другими инвалидами. Тогда я стал бы одним из тысяч освобожденных и не приобрел бы такой известности, а просто пытался бы устроить свою жизнь в любом уголке мира.

В новой больнице со мной стали обращаться совсем по-другому. В моей комнате поставили столы для физиотерапии, весы и баки для водного массажа. Проводить лечение назначили одного из сотрудников, пользующегося доверием, Луиса Мануэля, члена Союза коммунистической молодежи. Меня осматривали директор больницы доктор Альварес Камбра и старшая медсестра Эсперанса Ортис, оба члены Центрального Комитета партии. Мне разрешили со всеми разговаривать, выходить в сад и загорать на солнце, а через несколько недель матери и сестре позволили навестить меня. В таких условиях я искренне поверил в то, что буду освобожден. Когда я находился в трудном положении, я писал об этом друзьям из международной «Амнистии» и остальным, то же самое я сделал и теперь, сообщая о переменах.

Однажды полковник Карлос, один из начальников, сказал мне, довольный, что мое имя уже не фигурирует в списке международной «Амнистии», что он не отрицает: кубинское правительство беспокоит мнение этой авторитетной организации.

Тем временем вышло третье издание моей книги. Снежный ком был неудержим. Мной заинтересовался французский ПЕН-клуб и избрал почетным членом своей секции.

Новый президент Венесуэлы Эррера Кампинс включает в повестку дня своих переговоров в Гаване вопрос о моем освобождении. Он дал инструкции послу на Кубе связаться с моей семьей. Перед Кастро уже ставили вопрос о моем освобождении, но тот ответил венесуэльскому депутату Хосе Родригесу Итурбе, что я не выеду с Кубы, пока снова не начну ходить, что один я не могу покинуть страну на инвалидной коляске.

Организация по защите прав человека в Вашингтоне добилась того, что десятки членов палаты представителей США подписали новое письмо, прося Кастро о моем освобождении, а в Европе созданы были комитеты, ставившие перед собой борьбу за ту же цель...

Мое выздоровление шло полным ходом. Я уже мог встать с помощью железного каркаса, не дающего сгибаться коленям, и стоять, опираясь на параллельные брусья.

После обеда я выходил в сад, всегда в сопровождении охранника, где мог разговаривать с другими больными, и там я познакомился с двумя девочками со следами полиомиелита, Алисией и Марией Луизой, придавшими моему пребыванию в этой больнице столько радости и теплоты. Я сделал для них подарок, считавшийся подрывным на Кубе, — миниатюрную рождественскую елку, вручил им ее в коробочке, чтобы они открыли ее тайком у себя в палате.

Меня положили в палату, предназначенную для иностранцев и спортсменов. Там находились выздоравливающие после операций сандинисты, ангольцы, йеменцы и т. д. Только спортсмены и иностранцы имели право получать кефир и такие продукты, как сливочное масло, в то время как в остальных палатах, где лежали простые люди, полдника вообще не было, и только у иностранцев и спортсменов имелся кондиционер.

Уже два дня я задыхался от приступа астмы. В этой больнице отсутствовал зал неотложной помощи, и меня в тяжелейшем состоянии отправили в военный госпиталь. Меня сопровождали конвойный и медсестра, которая во время всего пути помогала мне дышать, массируя грудную клетку. Меня вынесли почти задохнувшимся-

ся. Срочно подключили аппарат искусственного дыхания «Марк-8», подавая кислород под давлением, а также ввели в вену лекарства.

Когда мы вернулись в больницу «Франк Паис», медсестре объявили выговор за то, что она сопровождала меня. Напрасно та пыталась защищаться, объясняя, что сделала это из гуманных соображений, кроме того ей, дежурной медсестре, врач приказал ехать: это требовалось из-за моего тяжелого состояния. Доктор Умберте Баррера, секретарь партийной ячейки, сказал ей:

— Да если бы он и умер, невелика потеря!

Вопреки всем их расчетам, основанным на обмане собственной пропаганды в течение двадцати лет, что люди не захотят сблизиться с заключенным, те постепенно прониклись симпатией ко мне. Во избежание этой опасной ситуации меня изолировали в комнате рядом с кабинетом директора. Там я находился под полным контролем и в изоляции...

Было сказано, что моей семье разрешат выезд из страны, но когда у них уже был билет на самолет, упакованы чемоданы, разрешение на выезд отменили. Через несколько дней полковник Карлос и сменивший капитана Ложь тюремщик заявили мне, что выезд с Кубы им разрешат лишь в том случае, если я напишу письмо, отказавшись от всех моих друзей за границей, и запрещаю им и всем другим лицам, газетам и организациям писать о моем положении или публиковать мои литературные труды. Я должен также опровергнуть все, что говорилось в мою защиту: Я спокойно сообщил им, что никогда не напишу такого письма.

— Значит, вы никогда отсюда не выйдете, — заверил меня полковник...

На одном из конгрессов ученых в Париже меня избрали почетным председателем, а мой хороший друг француз Голендорф основал во Франции комитет борьбы за мое освобождение, в который вошли такие известные деятели, как Фернандо Аррабаль, Генри Леви, Эжен Ионеско, актер Ив Монтан и многие другие.

Мои венесуэльские друзья в переговорах с кубинским правительством настаивали на моем освобождении. Делегация высокого уровня из этой страны посетила мой дом. Доктор Родригес Итурбе, Леопольдо Кастильо и другие убедились в преследовании моей семьи и наблюдении за нею со стороны политической полиции. Их просьбы о встрече со мной были отвергнуты. В ходе переговоров о нормализации отношений между двумя странами венесуэльская сторона постоянно поднимала вопрос о том, чтобы меня освободили.

Тем временем я продолжал ежедневные упражнения. Лечение физиотерапией начало давать результаты. Я уже оставил длинный аппарат, перейдя на короткий, доходивший мне лишь до колен. Я передвигался между двумя параллельными брусками, делая почти все движения с помощью мускулов. Через три-четыре месяца я уже смог бы ходить без этого аппарата.

В марте 1980 года выходит моя вторая книга, «Сердце, с которым живу», представляющая собой сборник воспоминаний, рассказов, стихов и документов. Однажды ночью в мою комнату в бешенстве ворвался полковник Маньо в сопровождении шести или восьми офицеров. Один из них все фотографировал.

— Вы снова отправляетесь в тюрьму!

Он был в ярости, нижняя губа отвисла и дрожала от гнева. Я понимал его: ему хотелось меня ударить, но наверняка имелась инструкция, запрещающая это. Иначе бы он не сдержался.

Я попытался приблизиться к столику, чтобы взять свои вещи, но полковник преградил мне дорогу.

— Не трогайте здесь ничего.

— А мои вещи? — спросил я, имея в виду нижнее белье, носки и все прочее, лежавшее там.

— Это передадут вашей семье.

Мне запретили взять даже зубную щетку.

Полковник Маньо и капитан Лестер остались, чтобы произвести обыск в моей комнате и захватить ценные трофеи: лезвия бритв марки «Жиллетт», носки, нижнее белье, пуловеры (некоторые были новыми), одеколон, носовые платки, ручки и т. д. Все это Марта передала моей матери через друзей-дипломатов.

Офицеры, сопровождавшие меня назад в тюрьму, были любезны, предложили закурить, но на протяжении всего пути не проронили ни слова. Почти час по непонятной мне причине мы кружили по городу, затем они получили условный сигнал по радио и на большой скорости направились в тюрьму Восточный комплекс.

Там нас ждал фотограф, тот самый, что делал снимки в госпитале. Меня привезли в комнату в конце коридора зала С. В ней установили параллельные бруска, стол для физиотерапии и то, чего я никак не ожидал: инвалидную коляску, присланную международной «Амнистией» из Голландии. Меня сфотографировали рядом с ней. Вручить ее мне после нескольких лет тяжбы их безусловно заставили мои постоянные разоблачения.

Когда они ушли, закрыв решетку на выходе в коридор, мои товарищи по палате подошли поприветствовать меня. Мы долго разговаривали. Затем я попытался пересечь в новую коляску и обнаружил, что камеры были спущены и не было насоса, чтобы накачать их. Мне вручили коляску, сделали снимки, но я не мог ею пользоваться.

На следующий день я поговорил с начальником госпиталя лейтенантом Одицио Фернадесом, попросив его прислать мне техника, чтобы продолжать упражнения. Я был полон радости и энтузиазма оттого, что находился среди своих, к тому же со всеми приспособлениями для дальнейшего лечения, что было для меня самым главным. Поэтому я удивился, когда начальник госпиталя сообщил мне, что у него приказ полковника Бланко Фернадеса отменить физиотерапевтические процедуры. Они начали новое наступление, и фотографии всего оборудования в моей камере были сделаны для оправдания их лжи о том, что я не хочу заниматься упражнениями. Они снова перешли к репрессиям, уверенные в своей безнаказанности, которую им давала абсолютная власть.

РОБЕРТИКО

Мне снова удалось прорвать изоляцию. Друзья помогли передать Марте письмо с информацией о моем новом положении, а она переслала его в международную «Амнистию», борющуюся за мое освобождение.

Во Франции писатель Эдуард Мане включил в театральные спектакли стихи из моей первой книги об убийстве во время перестрелки в тюрьме Бониато. Это вызвало множество комментариев. Немало защитников Кастро, обманутых кубинской революцией, отказывались верить тому, что они услышали.

В это время французский ПЕН-клуб присудил мне премию «Свобода». Одновременно в Швеции секретарь ПЕН-клуба Бритт Аренандер, чья помощь для меня была очень важной, подробно рассказала обо мне в своей книге «Дело Вальядареса». После опубликования этой книги шведский ПЕН-клуб по предложению Бритт избрал меня своим почетным членом.

Полковники политической полиции снова совершили ошибку: ужесточив репрессии против меня, они тем самым оправдывали новые разоблачения.

В тюрьме царил атмосфера всеобщего насилия. Свыше двадцати дней полковник Пачеко отказывал в пище политическим заключенным, вынуждая их смириться с дисциплинарными мерами. В карцерах происходили зверские избиения.

Был там один военный по фамилии Сардиньяс, высокий и мощный негр. Он был одноглазым, и его невидящий глаз с серым пятном, закрывшим весь зрачок, придавал ему гротескный вид. Но его зверства не знали предела. 6 августа 1980 года он до смерти избил уголовника Селсо Оливераса Бланко. Когда труп понесли из камеры в пункт первой помощи, на нем видны были вдавленные ребра и множество гематом.

И как раз в эти дни в Каракасе на конгрессе, посвященном проблемам исправительных заведений, кубинские делегаты Мерчанте и Дортикос Торрадо, бывший президент Кубы, пониженный в должности до министра юстиции (позже он выстрелит себе в голову, «потому что у него болела спина», как выразился Кастро), заявляли, что обращение с преступниками в кубинских тюрьмах якобы было глубоко гуманным.

5 февраля 1981 года в мою комнату ворвалась группа офицеров, потребовавших, чтобы я спустился с ними будто бы для разговора с начальником госпиталя. Я хотел отказаться, но на меня навалился лейтенант Санабрия, скрутив мне руки за спину. Я решил пойти. Как только я покинул палату, меня стали снимать спрятавшиеся в разных местах операторы политической полиции. Я обнаружил их на обратном пути.

Через два дня, в субботу, 7-го числа, они вернулись, уже не таясь, с камерами и мощными прожекторами, которых не было раньше, из чего я сделал вывод, что предыдущая съемка не получилась из-за недостатка освещения. Меня вывели в коридор, но я попытался вернуться в комнату, потому что они тотчас нацелили на меня свои камеры. Тогда лейтенант Кальсада пошел за мной и задержал коляску за рукоятки, я хотел повернуться, чтобы убрать его руки, но он ударил меня в шею ребром ладони. Я потерял сознание. Позже мои товарищи рассказали, что пришли врачи и сказали, что из-за удара в затылок пульс у меня был сто шестьдесят ударов в минуту. В обморочном состоянии меня вместо постели вынесли в салон, одели кислородную маску и сделали укол в вену.

Один из офицеров политической полиции, увидев, что я прихожу в себя, начал трясти меня, чтобы я открыл глаза и поднял голову. Но, оглушенный ударом, я упал на бок коляски. Тогда представитель политической полиции, схватив один из прожекторов, сорвал с моей шеи полотенце и сказал:

— Поглядим, как он сейчас встрепенется! — И стал медленно приближать ко мне горящий прожектор, рассчитывая, что я не выдержу этого.

Я чувствовал обжигающий, нестерпимый жар. «Господи, помоги мне! — произнес я про себя. И попытался вообразить, что ко мне приближается не горящий прожектор, а что-то холодное, кусок льда. — Холодно... холодно...» — повторял я, делая нечеловеческое усилие, пытаясь обмануть свои чувства. Я не знаю, сколько минут это продолжалось, мне они показались веками, пока мой мучитель, полный негодования, не добившись своей цели, не ударил меня прожектором по шее. Я не пошевелился. На раскаленном металлическом ободке прожектора остался кусок моей кожи.

— Уберите этого сукина сына!

Это было последнее, что я услышал, видел же я только солдатские сапоги, ибо продолжал сидеть с опущенной головой, пока меня не отнесли в комнату, оставив одного. На следующий день начальник госпиталя, осмотрев меня, констатировал ожог первой степени.

14 марта новый начальник полковник Эдмихио Кастильо силой лишает остальных политических узников желтой формы, заставляя их принять реабилитацию. Теперь нас всех лишили одежды. Но репрессии продолжают, и у тех, кто с 1967 года оставался без формы, отбирают майки, пуловеры, простыни, оставив только трусы. Даже выдача лекарств для неотложной помощи хроническим больным запрещена, а Роберто Монтенегро избивают ногами в карцере, сломав ему нос и выбив глаз. Бывшего команданте Марио Чанеса, который участвовал с Кастро в нападении на казарму Монкада, сидел с ним в тюрьме и сопровождал во время высадки с «Гранмы», зверски избивают солдаты и бросают в карцер.

Пять дней спустя лейтенант Кастильо вывел меня из госпиталя и тоже заточил в карцер. Репрессии против меня усилились.

Меня поместили в коридор, где находились почти сплошь камеры смертников. Когда я появился, расстрела ожидали 67 человек, обвиненных в уголовных и политических преступлениях. Через несколько месяцев, когда меня оттуда забрали, их оставалось 13, скоро казнили и их.

Раздачей еды и уборкой занимались уголовники. Я постоянно разговаривал с ними, особенно с молодыми, и постепенно завоевал дружбу и уважение многих из тех, кто еще не родился, когда я попал в тюрьму. Они сразу же узнали о том, что меня отправили в карцер. Эти юноши имелись у нас в разных зданиях, на каждом этаже, с их помощью нам удавалось получать и отправлять корреспонденцию, книги, газеты и обмениваться всякого рода информацией.

Вторую ночь, как и многие потом, я провел на инвалидной коляске. Попытки спать на бетонном возвышении, заменявшем кровать, ни к чему не привели: там было крайне неудобно. У меня часто случались приступы астмы, но лекарств не было; я просил, но мне их не давали. В конце концов усталость этих дней и ночей, проведенных на инвалидной коляске с не прекращающимся кашлем, взяла вверх: мне требовалось вытануться, пусть даже на доске, утыканной гвоздями, на которую ложатся факиры.

Обычно среди узников, которых посылают работать в карцер, немало доносчиков, поэтому я не пытался устанавливать с ними контакт до тех пор, пока мне не передали записку. Связь всегда должна устанавливаться извне, и находящийся в изоляции не должен впадать в отчаяние, ибо он может довериться доносчику. Связника мне прислал Эдуардо Дельгадо, студент медицинского факультета университета, который вместе с Раулем Родригесом с математического факультета решил создать организацию для изменения политического и социального строя на Кубе. Оба родились, когда Кастро уже пришел к власти, оба воспитывались на марксистских идеалах и были членами Союза коммунистической молодежи, обоим исполнилось двадцать один год. Их приговорили к смертной казни. Они находились в том же коридоре, что и я, ожидая результатов апелляции. С их помощью я достал бумагу и карандаш, и мы начали подпольную переписку. Я слышал, что в карцере содержался швед-испанец, обвиненный в том, что он агент ЦРУ. Это был Рамон Рамудо, которому я тут же написал; он уже знал обо мне из европейской печати.

Дни походили один на другой, их монотонность нарушалась только выводом заключенных на расстрел.

В этом блоке каждый день происходили побои под руководством лейтенанта Мехиаса. Наказанных вытаскивали из камер в коридорчик у входа. Мою камеру от него отделяло всего четыре метра, и я с содроганием слышал удары штыками и мачете, яростно обрушивавшиеся на узников.

Однажды вечером я услышал жалобы в одном из соседних застенков, это был детский голосок, повторявший:

— Заберите меня отсюда... заберите меня... я хочу к маме!..

Я подумал, что нервы сыграли со мной злую шутку, ибо не мог представить себе ребенка в этих стенах.

— Выпустите меня... выпустите меня отсюда... я хочу к маме!..— жалобно повторял голосок.

Этот плач с болью отзывался в моей душе. Не было сомнений в том, что там находился ребенок. Через несколько дней я узнал историю Робертико.

Ему было двенадцать лет. Месяца три или четыре назад, идя по улице, он увидел стоявший возле тротуара автомобиль. Машина была открыта, на сиденье лежал пистолет. Он взял его и, играя, навел в небо в воображаемую цель. Пистолет был заряжен, грянул выстрел. Один из команданте Министерства внутренних дел, неосторожно оставивший оружие в открытом автомобиле, услышав выстрел, выбежал и увидел окаменевшего от страха Робертико, у которого он тотчас отобрал оружие. Влепив мальчишке пощечину, команданте сдал его в полицейский участок.

Робертико приговорили к заключению до достижения совершеннолетия и направили в тюрьму Восточный комплекс. Его определили в блок, где содержались самые опасные преступники. На Кубе классификация заключенных отсутствует, вместе содержатся узники с самыми разными приговорами. Через несколько дней преступники изнасиловали Робертико, после чего его пришлось поместить в госпиталь с тяжелыми разрывами и кровотечением. Когда его выписали, в личное дело поставили печать «гомосексуалист» и направили в блок, предназначенный именно для лиц этой категории, которая имеется во всех тюрьмах.

Каждый день, когда спускались сумерки, он пугался темноты и просил забрать его оттуда и отвести к маме. Во всем блоке в это время воцарялось молчание. Я уверен, что у мужчин, сидевших в этих камерах, ожесточившихся от насилия за годы тюрьмы, сжималось сердце, когда они думали о своих матерях и детях, которые могли угодить сюда так же, как и Робертико...

Через несколько недель лейтенант Мехиас сообщил мне о том, что был созван трибунал и состоялся судебный процесс, на котором в мое отсутствие мне вынесли приговор за стихи и рукописи, а потому я останусь в карцере на неопределенное время.

Я уже установил связь с моими товарищами через группу уголовников. Между карцерным блоком и остальной тюрьмой не было никаких контактов. Я передал инструкции с одним узником, отбывавшим наказание в изоляции. Потребовался какой-то тайник, чтобы оставлять и забирать корреспонденцию, и главную тюремную помойку мы сделали почтовым ящиком. Я мог получать почту каждый вечер, когда выносили мусорные баки...

Сардиньяс, одноглазый военный, избивал одного из узников, имевших несчастье попасть в карцер. Уже почти стемнело. Крики жертвы, просящей пощады, вызывали дрожь. Поэтому Родольфо Алонсо, которому был всего двадцать один год, приговоренный к смерти за попытку саботажа, не мог остаться равнодушным и попросил прекратить избиение. Сардиньяс пришел в ярость, вытащил и его из камеры, повалил на пол и избил ногами. Товарищем по делу Родольфо был другой юноша, Абилио Гонсалес. Их застигли при попытке поджечь автобус. Семья Абилио тоже подверглась репрессиям: жену и двоих маленьких детей выбросили на улицу.

13 июня 1981 года я услышал, что меня зовут из коридорчика у выхода. Это был Родольфо.

— Брат Вальядарес, мы уходим...

— Куда? — удивился я.

— На расстрел, за нами уже пришли.

У меня ком встал в горле. Проведя двадцать лет в тюрьмах, я думал, что мне уже никогда не придется переживать боль прощания с уходящими на смерть товарищами.

Голос Родольфо был спокойным, твердым, уверенным. Он повторил фразу из моих писем, в которых я старался помочь им подготовиться к этому моменту:

— Мы оставляем страницы жизни, чтобы вступить на страницы истории.

Он попросил меня передать привет всем, с кем познакомился за время пребывания в карцере. Я не знал, что сказать ему.

— Ну что ж, Родольфо. Да пребудет с тобой Бог, ничего не бойся, будь твердым до конца...

Связь с моими товарищами, созданная уголовниками, работала отлично. Когда Марта делала какое-нибудь заявление, его слушали по подпольному радиоприемнику и передавали мне.

Однажды тюремщики приняли беспрецедентные меры: явившись в мою камеру, они устроили обыск и отобрали у меня бумагу и карандаш. Потом привели плотника, прибывшего засов с замком на деревянную дверь коридора. Ко мне приставили специального часового, ключи на шнурке висели у него на шее.

Мне удалось скрыть при обыске лезвие бритвы и листок бумаги для медицинских рецептов. Я отколол тонкую щепку от доски сиденья инвалидной коляски, заточил ее и, порезав палец, начал по капле выдавливать кровь, что заменила мне чернила. Так я написал стихотворение собственной кровью. Несмотря на мою изоляцию и

принятые чрезвычайные меры, один человек рискнул вынести его. Стихотворение дошло до Марты, было переведено и напечатано на нескольких языках. Это было последнее, что я написал в тюрьме. Вот оно:

У меня отняли все
ручки
карандаши
чернила
потому что они не хотят
чтобы я писал
и меня заточили
в этот карцер
но даже так им не задушить мой мятежный дух.

У меня отняли все —
или почти все —
потому что у меня осталась улыбка
чувство гордости свободного человека
а в моей душе — вечно
цветущий сад.

У меня отняли все
ручки
карандаши
но у меня осталась краска жизни —
моя кровь —
и ею я еще пишу стихи.

Когда в мою камеру вошли майор Гидо, пузатый толстяк, лейтенант Мехиас и другие офицеры и сказали, чтобы я собрал свои вещи, ибо меня переводят, я подумал, что мое наказание закончилось. Но когда Гидо с явной враждебностью произнес: «Посмотрим, будешь ли ты теперь писать», я понял, что это не так. И не ошибся.

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Прибыв в госпиталь, я обратил внимание на то, что вокруг ни души. Несомненно, всех заперли, в том числе медсестер и служащих. Коридоры на первом этаже опустели. Там, где должен был находиться лифт, поставили решетку. Уже пять лет ожидали, когда через бюрократическую машину пройдет просьба об установке лифта, смету которого забыли включить в бюджет. Прооперированных больных приходилось поднимать и опускать на носилках по лестницам, делая массу пируэтов. Меня подняли на инвалидной коляске сопровождавшие военные. На втором этаже они повернули налево, к палате Ф, откуда удалили больных. Далее находилась комната площадью около четырех квадратных метров. Всю ее, стены и потолок, выкрасили в блестящий белый цвет и установили десять больших неоновых ламп каждая более метра длиной. Мебель состояла из кровати и ночного столика.

Толстяк Гидо улыбался, его глаза блестели, словно он заранее наслаждался этим изобретением репрессивных умов тюремщиков. Мне предстояло провести здесь больше года, и эти психические пытки станут худшими месяцами моего заточения. Но эта бесчеловечная кара усилила борьбу за мое освобождение.

Политическая полиция начала яростную кампанию по моей дискредитации. Стремясь подорвать мой престиж, меня выдавали за убийцу, пытавшего в тайной полиции Батисты, и скрывали тот факт, что во время ареста я был служащим революционного правительства. В печати того времени не появлялось никаких упоминаний, что я будто бы был зверским истязателем. Если бы такое случилось на самом деле, Кастро расстрелял бы меня, как и многих других, казненных на основании одних лишь подозрений.

Я был уверен, что любой клевете против меня сразу будет дан суровый и решительный отпор со стороны моих товарищей за границей. Именно так и случилось, ибо публикация включала фотографию моего удостоверения сотрудника полиции Батисты, что было грубой фальшивкой, ибо цвет моих глаз был указан как серый, в действительности же у меня черные глаза, кроме того, неточно названа дата моего рождения. Пределом халтуры было то, что мои параметры обозначались в десятичной метрической системе, в то время как до революции размеры на Кубе давались в футах и дюймах, а вес в фунтах, а не килограммах.

Политическая полиция никак не могла предвидеть реакции, которую вызовет эта клеветническая статья. В Европе началась кампания солидарности со мной. Комитет в защиту Вальядареса во Франции по инициативе Фернандо Аррабаля опубликовал манифест, подписанный Хорхе Семпруном, Ионеско, Бернардом Генри Леви, Ивом Монтаном, Пьером Голендорфом, поэтами Филиппом Соллерсом и Пьером Эммануэлем, а также многими другими известными деятелями.

После этого мадридский еженедельник «Диарио 16» в своем приложении «Диссиденты» призвал всех желающих присоединиться к кампании протеста против клеветы кубинского правительства, присылать им свои подписи. Началось движение поддержки, в которое включились сотни людей во всем мире, среди них известные писатели Октавио Пас, Камило Хосе Села, Марио Варгас Льюса, Эрнесто Сабато и многие другие, полный список всех лиц получился бы очень длинным.

Не имея возможности меня убить, ибо это вызвало бы скандал, тюремщики ожесточились и подвергли меня истязаниям, используя самые изощренные средства, имевшиеся в их распоряжении. Моя семья тоже стала жертвой их злобы.

Оставшись один в своей комнате, я и представить себе не мог, сколько здесь пробуду и какие условия жизни уготовили мне мои мучители.

Дверная решетка выходила в коридор, окна которого были наглухо заколочены досками, так что дневной свет ко мне не проникал. Палата была пустой, это лишало меня возможности всякого общения. В темнице не было ни одного окна, туалет находился здесь же. Когда я открыл кран, чтобы напиться, не вылилось ни капли; я позвал охранника, попросив его открутить вентиль: мне было известно, как функционировал госпиталь и что вода отключается по секциям. Он ответил, что ничем не может мне помочь, а только информирует офицера особой охраны. Так я узнал, что мои охранники принадлежали к особому гарнизону.

Приказом политической полиции всем военным, обычно несшим дежурство в госпитале, запрещено было вступать в контакт со мной.

Осмотрев стену, я обнаружил, что сняли выключатели. Я снова позвал военного и попросил его потушить свет, ибо я собираюсь спать.

— Его нельзя выключить,— ответил он.

Я стал настаивать, говоря, что невозможно спать с десятью лампами, зажженными над головой.

— Сожалею, но это приказ свыше, и я выключить их не могу.

Тогда я понял, что их не будут гасить никогда. Восстанавливающий силы сон может прийти лишь в темной или полутемной комнате. Известно, что при ярком свете можно спать, но нельзя отдохнуть. Они преследовали именно эту цель: не давать мне отдыха.

Первую ночь я спал урывками. Я думал, что буду спать спокойно, но мне мешал свет. Лежа на кровати, я не мог открыть глаза, ибо десять неоновых трубок жгли мне зрачки. Смотреть на стены я не мог, ибо их блестящая белизна тоже ранила мне зрение.

На следующий день мне не принесли завтрак. Я потребовал его у военного, а он объяснил, что не может покинуть палату, пока кто-нибудь не придет. Я сообщил ему, что у меня нет воды и что мне нужны предметы личной гигиены: мыло, туалетная бумага, зубная паста и щетка.

По начавшемуся в кухне шуму в тот первый день я определил, что было около 4 часов утра, ибо помнил, что именно в это время повара приходили на работу. У меня же в комнате был искусственный, бесконечный, непрекращающийся день.

Вода подавалась только во время еды. Мои просьбы о посуде для воды ни к чему не привели. С меня лил пот, как никогда во время моих прежних заточений; простыня скоро промокла, матрас тоже. Мне не давали мыла, не открывали душ, чтобы я мог вымыться.

Две недели я находился в этих унижительных условиях, после чего ко мне пришел майор Гидо. Разумеется, он знал обо всем, что происходило, но игра отчасти в том и состояла, что я должен был его об этом проинформировать, что я и сделал. Великодушным жестом он приказал часовому принести мне мыло, тюбик зубной пасты и литровый сосуд для воды и обещал дать инструкции начальнику особой охраны раз в день открывать душ.

— Вот видите, Вальядарес, любой вопрос можно решить,— сказал он мне с плохо скрываемой иронией.

— Кажется, да, майор, но мне хотелось бы знать, какова причина таких из ряда вон выходящих условий заточения, обычно они применяются к только что арестованным и подвергающимся допросам.

— Вы знаете причину, Вальядарес: мы вынуждены прибегать к жестким мерам, чтобы вы перестали посылать свои мнимые разоблачения о бесчеловечном обращении с вами за границу. Теперь вы не сможете писать. Причина в этом, вы единственный виновник того, что оказались в таком положении.

— Значит, я виноват в том, что езжу на инвалидной коляске и нахожусь здесь? — с сарказмом, которого он, кажется, не заметил, парировал я.

— Да, потому что вы отказываетесь выполнять дисциплинарные правила, существующие в любом исправительном заведении, эти правила есть не только здесь, но и в капиталистических странах, там они на самом деле антигуманны, ибо единственная их цель — наказать человека...

По правде говоря, майор Гидо излагал свои аргументы с таким воодушевлением, что любой подумал бы, что он в них верит. Любой, только не я

Через две недели началась новая политика. Однажды утром мне принесли обед всего через час после завтрака, а еще через два часа — ужин. Когда я спросил охранника, который час, он сказал, что 8 вечера. Я не знал точного времени, но был уверен: восьми еще нет. Внизу на кухне суета с баками и котлами заканчивалась около 5 часов, а шум был все еще слышен. Тогда я понял: они хотят, чтобы я потерял ощущение времени, — и стал прилагать все усилия, чтобы они не добились этого. Так, я знал, что ежедневно около 10 утра, кроме воскресенья, грузовик привозил продукты на следующий день. Он останавливался прямо напротив моего застенка с заколоченными окнами, и шофер сигналил, чтобы узники спустили мешки с продовольствием. Они не могли также заглушить громкоговорители, установленные на всех зданиях и башнях тюрьмы, передававшие сигнал отбоя в 10 часов вечера и подъем в 5 утра.

Еду для меня и часового доставлял дежурный офицер. Он отдавал ее охраннику, который снова закрывал входную решетку, затем шел в глубь палаты и приносил мне мой поднос. С первого дня у меня появилась привычка спрашивать их, который час. Получив соответствующие инструкции, они стали приходить без часов. Тем не менее я продолжал их спрашивать, но они отвечали, что не знают. Это был слишком грубый прием, и они получили указание говорить мне неверное время. Глядя на них, я понимал это, но, прикидываясь дурачком, снова спрашивал. Если они называли мне слишком поздний час, я говорил:

— Как быстро прошло время! Я думал, что еще не так поздно.

И они были уверены, что обманули меня.

Каждое утро, открыв глаза, я долго повторял день, месяц и год. Некоторые узники делают насечки на стене и другие подобные отметки. Но если их переводят в другую камеру, эти отметки теряются. Я делал их там, куда никто не мог добраться: в уме. С вечера я начинал готовиться к следующему дню, говоря себе: завтра такой-то день такого-то месяца (помня день своего прибытия в госпиталь).

В это время меня посетил доктор Роберто Пуэнте, заместитель начальника госпиталя, лейтенант Министерства внутренних дел, который весьма откровенно сообщил мне, что побывал с интернационалистской миссией в Сальвадоре. Я знал, что другие офицеры из тюремного гарнизона были посланы туда, но Пуэнте говорил об этом слишком хвастливо, и я не очень ему поверил: он любил напускать на себя важность.

Целью его визита ко мне было выяснить мое душевное состояние и эффект «лечения». Помню, что я спросил у него, какое сегодня число. Я это знал, но заметил, что он снял часы и спрятал в карман брюк, наружу торчала пряжка браслета.

— Вы не знаете, какой сегодня день?

— Нет, доктор, уже давно не знаю.

Он довольно улыбнулся и назвал мне число, прибавив четыре дня.

Затем я поговорил с ним о свете и его действии, прекрасно известном ему как врачу. Он сказал мне, что свет не причиняет никакого вреда, что он сам всегда спит при свете.

Шли недели. Политическая полиция периодически устраивала обыски, чтобы избежать появления у меня — непонятно, как бы мне это удалось, — бумаги или чего-нибудь, служащего для письма. Несмотря на то, что военных, бывших моими охранниками, тщательно отбирали, их часто меняли, чтобы не допустить установления каких-либо отношений со мной вследствие ежедневного общения. Многие прошли здесь, и у одного из них возникло сочувствие к моему положению, ему стало любопытно, почему меня содержат в таких условиях заточения, и как-то ночью он спросил меня об этом. Когда я закончил рассказывать ему свою историю, которую он слушал с интересом, я заметил на его лице смесь восхищения и боли.

— Мне сказали, что вы преступник, который собирался подкладывать динамит под детские сады и убивать детей.

— Они всегда говорят такое, чтобы никто из вас ко мне не приближался.

Он оказался добрым человеком, как и многие другие, кого я узнал за долгие годы тюрьмы, но был скован страхом. После этой ночи мы с ним провели еще немало ночей в долгих разговорах.

Тем утром, когда начались работы в палате, я слышал удары киркой и стук кирпичей. Я не мог ничего видеть, но знал, что они возводят две перегородки в палате, отделив мою и соседнюю комнату от другой стены. Через два дня работа закончилась, теперь я пребывал в такой изоляции, в какой никогда не находился ни один заключенный. Через несколько дней я услышал стук металла в соседней комнате. Там установили гимнастические снаряды, параллельные брусья, столы, аппараты для ходьбы, нагревательные лампы и все прочее, необходимое для физиотерапии.

На следующий день меня посетили майор Гидо, его помощник Бельтран и еще один офицер. Они шеголяли в новой форме политической полиции. От формы других военных ее отличала ткань высокого качества и хороший покрой.

— Ну что ж, Вальядарес, никто уже не говорит о вас, ваша жена Марта не появляется в газетах, никто не предлагает ей микрофон для заявлений,— Гидо произносил это многозначительно,— поэтому мы решили продолжить курс физиотерапии. Задержка лечения была вызвана тем, что мы не уступаем ни перед каким давлением. Революция бросила вызов империализму янки, и, грубо говоря, наша политика вышла из коротких штанишек.

— Да,— продолжил лейтенант Бельтран,— все проходит, и мы знаем, что у капиталистической прессы короткий интерес. Они уже устали использовать вас как инструмент дискредитации революции. Ваши друзья забыли вас, Вальядарес, и теперь мы пришли к вам на помощь, чтобы провести необходимое лечение.

Я знал, что это решение было отнюдь не искренним; политической полиции чужды любые человеческие чувства, это роботы, осуществляющие репрессии, и их поведение определяется единственным фактором, который может заставить коммунистов в чем-то уступить своим мятежным узникам: международным давлением. То, что Гидо и Бельтран подчеркивали, что якобы меня уже никто не вспоминает и что закончилась кампания за мое освобождение, а мои друзья меня забыли, стало самым радостным и воодушевляющим известием, с тех пор как меня закрыли в этой камере с вечным светом. Я истолковал их слова в противоположном смысле. И не ошибся. Я ничего не знал, ни одного конкретного факта, никаких подробностей, но был уверен, что моя кампания продолжала развиваться, как неуправляемо катящийся вниз снежный ком. Доказательством служило то, что они уступили в своем упрямстве и предоставили мне возможность дальнейшего физиотерапевтического лечения.

В первый день, когда меня привели на лечение, присутствовали майор Гидо, лейтенант Бельтран и доктор Пуэнте, который с этого времени стал лично руководить моими упражнениями, разработанными по плану доктора Альвареса Камбры. Этот выход превратили в настоящую церемонию. Окна комнаты, в которой находились гимнастические снаряды, были закрыты, но не заколочены. Перед окнами встал лейтенант вместе с охранником. Гидо остался рядом с Пуэнте, наблюдая за лечением.

Тепловое воздействие, массаж, движение, а затем использование аппарата, состоящего из железных опор с ремнями для ходьбы между параллельными брусками. По окончании этого первого сеанса, длившегося почти все утро, я почувствовал себя обессиленным. Но я был доволен и решил приложить все свои физические и психические силы к скорейшему выздоровлению.

Через несколько дней появился какой-то полковник и сообщил мне, что мое питание будет улучшено, ибо это тоже часть лечения. И на следующий день случилось нечто из ряда вон выходящее: мне принесли литр молока, половину цыпленка, фрукты и салат. Вечером повторилось то же чудесное меню.

Несомненно, они решили добиться моей физической реабилитации. Я подозревал, что все это было направлено на нейтрализацию кампании за оказание мне медицинской помощи, но за этим скрывалось и нечто большее. Решение меня освободить уже было принято, и все эти манипуляции имели целью уничтожить следы пыток, обречших меня на двойное заточение — в тюрьме и на инвалидной коляске.

Кастро сказал доктору Родригесу Итурбе, венесуэльскому депутату, председателю сенатской комиссии по иностранным делам, что я никогда не покину Кубу на инвалидной коляске. И сейчас меня готовили для того, чтобы оправдать эти слова.

Несмотря на улучшение питания, лампы оставались зажженными, продолжали устраивать обыски.

Мои ноги крепли с каждым днем, продолжалось интенсивное лечение, иногда его проводили даже по воскресеньям. К группе, проводившей физиотерапию, присоединился еще один врач из политической полиции, чье имя я так и не узнал. Массаж, тепловое воздействие, упражнения для поддержания равновесия, ходьба между брусками. Один спереди, а другой сзади подталкивали меня в грудь и спину. Я все больше мог управлять своими движениями.

Вскоре я снова перешел на короткий аппарат. Прошло несколько месяцев, и я уже ходил между брусками, с каждым днем все увереннее, все меньше опираясь на них.

Закончив сеанс физиотерапии, я возвращался к себе в комнату.

В ПАРИЖ

Для тренировки ума и речи я проводил беседы с воображаемой аудиторией. Воскрешая в памяти свои познания в области различных наук, читал импровизированные лекции по истории, геологии и т. д. Все это я делал вслух. Охранники часто приближались, не высовываясь из-за решетки, но шпиона за мной, наверное, думая, что я сошел с ума.

Все это время мне хотелось писать, но заняться этим было невозможно. Тогда мне пришло в голову сочинять стихи и заучивать их на память. Так я начал осваивать новый для меня опыт. Я повторял первую строку до тех пор, пока не запомнил ее, затем начинал искать вторую. Выучив две строки, я сочинял третью и так далее, пока не заканчивал строфу, а затем и все стихотворение, которое я повторял ежедневно много раз, чтобы не забыть. Когда я прочел все эти стихи Фернандо Аррабалу в его доме в Париже через несколько дней после моего приезда с Кубы, он попросил меня записать их на магнитофонную ленту, а затем на бумагу, боясь, что они сотрутся из моей памяти. Как прав был Аррабаль! Через несколько дней я уже не смог бы вспомнить их, если б не записал. Эти стихи составили книгу «Пещеры молчания», которую опубликовало издательство «Плайор».

Сегодня я могу понять сложившуюся ситуацию, анализируя причины ее возникновения. Политическая полиция знала, что я уеду, и противилась этому, от них ускользала жертва, вот они и подвергли меня всевозможным пыткам. Свет и москиты угнетали меня. Приехав в Париж, я показал Фернандо Аррабалу свою спину: вся она была искутана насекомыми и покрыта воспалившимися язвами.

Ненависть полиции обрушилась не только на меня, но и на моих родных. Мать, которой пригрозили отправить в тюрьму мою сестру, заставили написать письмо; в нем говорилось, что я враг народа, заслуживаю изоляции и что она безгранично благодарна революции за все, сделанное для меня. Прочтя письмо, врученное мне майором Гидо, я понял, что оно написано под воздействием угроз. В тексте несколько раз повторялось, каким добрым был команданте Бланко Фернандес. Они заставили мою мать написать это, чтобы насладиться тем, что в таких выражениях говорится о полковнике, руководившем репрессиями против меня. Тюремщики знали, как больно мне будет читать, что она защищает в письме одного из моих палачей.

Когда моя сестра отказалась прийти в управление политической полиции, за ней явился полковник Бланко Фернандес. Он показал ей приговор, по которому она получала двенадцать лет тюремного заключения, не присутствуя ни на каком судебном процессе. Он велел ей взять личные вещи, и ее доставили в женскую тюрьму. Там ее заставили прождать до темноты, говоря, что еще не все формальности закончены, а затем вернули домой, предупредив, что придут за ней на следующий день. Такое с нею проделывали несколько раз. В результате моя сестра оказалась в психиатрической больнице, она до сих пор вынуждена обращаться к врачам.

Мое лечение продвигалось успешно, ноги окрепли, я уже мог сгибать колени и подниматься, хотя и с помощью рук. Целыми часами я ходил меж параллельных брусьев.

Один из моих часовых, Мариано Корралес, крайний консерватор, много разговаривал со мной. Он искал этих бесед, спасаясь от одиночества, но по некоторым деталям я замечал, что он меня ненавидит.

Иногда я слышал, как в палату входили люди, а затем раздавался приглушенный шум шагов в соседней комнате. В стене под самым потолком из-за недоделок строителей было много отверстий. Через любую такую дыру за мной можно было наблюдать. Меня убедил в этом сержант Корралес, когда я как-то обратился к нему, а он стал отвечать очень яростно, громко, говоря вещи, которые рассчитаны были явно не на меня, а на других лиц, видящих и слышащих нас. Беседовавший со мной часами, сейчас он быстро, не глядя мне в лицо, сунул поднос и выскочил из комнаты, словно дьявол завладел его душой...

До выхода из тюрьмы я не знал, что Марта совершила поездку по странам Европы в поисках помощи для моего освобождения. Ее принимали политики, журналисты и интеллектуалы в Испании и во Франции, где Фернандо Аррабаль написал письмо президенту Миттерану. К нему он приложил письмо Марты с просьбой об аудиенции. В Швеции она была принята группой номер 110 международной «Амнистии». Более чем за год до этого Пер Расмуссен добился, что несоциалистическая коалиция в правительстве потребовала моего освобождения, с тем чтобы предложить мне политическое убежище и работу в этой стране.

Рамона Рамудо, испанца-шведа, освободили после того, как кубинская политическая полиция сменила первоначальное обвинение, что он является агентом ЦРУ, выдвинув другое: ему приписали контрабанду шелковых платков, за что на Кубе жестоко преследовали. Рамудо удалось вывезти в Стокгольм письма, которые я писал ему из карцера на обрывках газет. Он был последним человеком, имевшим контакт со мной, и по странному совпадению, происшедшему по воле Божьей, Марта еще находилась в шведской столице, когда Рамудо, худой, с пожелтевшей кожей, со взглядом, носившим печать пребывания в тюрьме и пыток, узнал о том, что она в Стокгольме. Их встреча и свидетельство Рамудо, переданные шведским телевидением, по которому он показал и мои письма, сыграли огромный роль.

Из Швеции Марта направляется в Норвегию, где замечательная актриса Лив Ульман вместе с группой интеллектуалов и журналистов, проникшихся сочувствием к рассказам Марты, основывает комитет борьбы за мое освобождение в Осло. Неудержимый снежный ком, катящийся из вечных льдов Северной Европы, подавит высокомерие Кастро, который, по крайней мере на этот раз, не одержит победы, ему придется уступить...

Мое лечение продолжалось. После многих месяцев ежедневных упражнений я уже мог ходить между параллельными брусками без помощи ортопедических аппаратов, садиться на корточки и бежать на месте. Мои первые успехи на пути к выздоровлению сыграли огромную роль: я снова мог держаться на ногах, преодолел еще одно препятствие! Несколько костей моей правой ноги после перелома во время бегства из тюрьмы в 1961 году сместились и неправильно срослись. Видя мои рентгеновские снимки, врачи утверждают, что с таким повреждением невозможно ходить не хромя. Но я не хромал. Я поставил перед собой задачу не хромать и, подворачивая ногу в другую сторону, тренировал свои мускулы, чтобы компенсировать этот недостаток.

Любопытно, что, хотя я мог совершать бег на месте и садиться на корточки между параллельными брусками или в ванне перед принятием ежедневного душа, ходить по комнате без опоры на что-либо я не мог. Этому мешала потеря линии хождения по прямой, та самая утрата контроля, из-за которой мы ходили зигзагами в тюрьме Бониато. Поэтому мне приходилось пользоваться инвалидной коляской.

Пытаясь пройти через комнату от кровати до туалета, я шел столь блуждающей походкой, что в первый раз не смог сохранить верное направление и оказался у противоположной стены. Завершить этот этап лечения требовалось в открытом пространстве, чтобы мозжечок восстановил перспективу расстояния, которая в четырех стенах отсутствовала. Но они до последней минуты жаждали сохранить в тайне факт моего выздоровления.

Врачи делали лечение все более интенсивным, я упражнялся утром и после обеда. Приближался час моего освобождения, о чем я даже не подозревал. Однако пытки продолжались. Эта двойственность тюрьмы была гротескной, безумной.

Как-то на рассвете в моей комнате появилась группа полковников, и мне приказали собрать вещи.

— Вас хочет видеть генерал, — сказал начальник группы.

Из тюрьмы выехал караван из трех машин. Мы приехали в Вилья-Маристас, огромный комплекс зданий. Меня оставили в камере с длинными коридорами. Через эти застенки прошли десятки тысяч кубинцев, которых подвергали страшным допросам, вырывая признание под пытками. Многие умерли, не перенеся этого. Затем политическая полиция сообщила, что они «покончили с собой».

Через несколько часов за мной пришла целая группа полковников со своими адъютантами. В роскошном кабинете с коврами и красными шторами меня ожидал человек лет сорока восьми. Этот генерал был начальником кубинской лубянки.

— Вальядарес, мы привезли вас сюда, потому что собираемся освободить... и, возможно, разрешим вам выехать из страны.

Известие не произвело на меня ожидаемого эффекта, и генерал это заметил.

— Вас не радует эта новость, Вальядарес?

— А почему вы собираетесь освободить меня, генерал? — спросил я, не слишком веря в это. За многие годы я привык не верить их словам и не строить иллюзий.

— Потому что революция намерена принять решение по всем делам, подобным вашему, несмотря на ваше враждебное поведение в тюрьме и отказ от планов политической реабилитации. — И он посмотрел на свои часы «Ролекс», подарок Кастро, ставшие на Кубе символом личного расположения диктатора. — Уже поздно, вам пора отдыхать. — Он встал и добавил: — Мы знаем, что вам нужно немного потренироваться на свежем воздухе, немного побыть на солнце, вы очень бледны. Завтра к вам придет ваш врач товарищ Альварес Камбра. Он руководил вашим лечением и в курсе вашего состояния...

В эту ночь я не мог уснуть. Известие о выходе на свободу было для меня неожиданным, я не мог в него поверить, боясь, что это новый ход в игре политической полиции, и пытался разгадать, что за махинации кроются за этим. Я не представлял себе, что мировое общественное мнение столь озабочено моей судьбой и протесты достигли такого размаха, что заставили Кастро освободить меня, несмотря на все его высокомерие и клятвы не делать этого, пока кампания будет продолжаться.

На следующий день ко мне пришел доктор Альварес Камбра, он очень любезно сказал, что меня отведут в гимнастический зал, а затем на спортивную площадку для тренировки в ходьбе.

Вначале я ходил по коридорам, поддерживаемый офицерами. Затем меня привели в гимнастический зал, где ожидал генерал. В последующие дни я спускался и

поднимался по лестницам, вначале медленно, потом быстрее. С каждым днем я чувствовал себя все увереннее. Однажды утром я вышел на спортивную площадку в сопровождении доктора Альвареса Камбры. Первые шаги все еще были неуверенными, я передвигался с помощью доктора и генерала. С другого конца площадки меня снимали.

Доктор Альварес Камбра объяснил мне, что мозжечок сразу же адаптируется, так и произошло. Через генерала я узнал о том, что меня не только выпустят на свободу, но и разрешат выехать из страны. Я ответил ему, что соглашусь с этим, только если моей семье тоже будет разрешено выехать с Кубы. Он сказал, что по этому поводу ему нужно проконсультироваться с высшим начальством.

Когда меня вывели на площадку, я начал медленно ходить по кругу, с каждым днем понемногу ускоряя темп, и скоро уже бегал трусцой.

— Когда вы сможете хорошо бегать, мы вас выпустим, — говорил мне генерал.

Я спросил его о судьбе своей семьи. По его словам, ему ответили, что ей не разрешат выехать.

— В таком случае, генерал, я не принимаю предложения. Я не уеду без своей семьи. Вы преследовали их столько лет, держали здесь в качестве заложников, заставив спуститься почти что с борта самолета, мстя за меня, и я не уеду, бросив их...

На следующий день, когда я занимался упражнениями на спортплощадке, пришел генерал в сопровождении высокого сеньора с усами и светлой кожей. Это был Пьер Шарас, временный поверенный в делах Франции. В разговоре с ним я наконец узнал о причине своего освобождения. Президент Миттеран передал просьбу об этом Кастро, и тот согласился. Мне показали копию телеграммы из канцелярии французского президента: ожидали моего прибытия в Париж в ближайшие дни, об этом уже сообщалось в мировой печати. Меня озарил Господь. Через несколько секунд я понял, что игра изменилась, но я буду твердо стоять на своих позициях. Я объяснил сеньору Пьеру Шарасу, в каком положении находится моя семья, как с ней обращались. Я попросил его передать мою благодарность президенту Франции. Но добавил:

— Я предпочитаю остаться в застенках, питаюсь кукурузной мукой, но иметь спокойную совесть, чем есть утку под апельсиновым соусом в парижском «Максиме», чувствуя себя предателем своей семьи.

Посол был очень любезен. Он попытался апеллировать к моему разуму. Он знал, что я провел в тюрьме уже двадцать два года, и мой отказ выйти на свободу и поехать с ним в Париж наверняка казался ему безумием. Я же знал, что самое главное — жить в согласии с собственной совестью, действовать так, как считаешь нужным, невзирая на последствия. Это была моя настоящая свобода, внутренняя свобода, даваемая лишь Богом. Я не мог оставить свою семью.

Однако генерал был возмущен. Когда он прислал за мной, его лицо исказилось от гнева. Он повторил мне — они говорили это уже много лет, — что они не потерпят диктата с позиций силы и что Кастро, узнав о моем условии, сказал, что я сгнию в тюрьме.

Через два дня власти привели мою семью в сопровождении сеньора Шараса. Я обнялся с матерью после долгих лет разлуки, моя сестра взволнованно целовала меня. Они были счастливы увидеть, что я хожу. Они ничего не знали о лечении, проводившемся в секрете от них, чтобы не произошла утечка информации. Когда они спрашивали обо мне несколько месяцев назад, офицеры говорили, что я отказываюсь от лечения.

Мне сообщили, что на переговорах между Кастро и французским правительством было решено рассмотреть вопрос о моей семье. Я объяснил им, что даже при всем этом не верю словам Кастро.

— Марта ждала тебя двадцать один год, ни она, ни ты не заслуживаете того, чтобы ваша встреча снова была отсрочена, — сказала мне сестра, обнимая меня, — уезжай, брат, мы, по крайней мере, на свободе, а ты столько страдал, что заслуживаешь немного счастья... Уезжай, и пусть все будет по воле Божьей...

— Не горюй, — сказала мне мать, — нашей мечтой было увидеть тебя свободным, и теперь я могу умереть спокойно.

Меня перевели в управление политической полиции. Полковники снова были любезны и улыбались.

В день отъезда меня снимали, когда я бегал на спортивной площадке.

Мне принесли костюм, пальто и чемодан.

Во время последнего разговора с генералом тот намекнул со скрытой угрозой, что моя семья остается и от меня зависит, разрешат ли им выезд, иначе говоря, если я буду делать антикубинские заявления, они никогда не выедут.

— У революции длинные руки, Вальядарес, не забывайте об этом...

Я не ответил. В мыслях я был уже далеко от этого кабинета... очень далеко, в Париже, где меня ждала Марта, моя настоящая Пенелопа. В 1979 году я написал ей стихотворение, заканчивающееся предчувствием, песнью надежде, ее мучительному ожиданию...

Я к тебе приду,
На этот раз не сомневайся:
Наша встреча предрешена
Вопреки злобе и бездне, нас разделившей.

Настал час отъезда. Процессия из нескольких машин выехала на проспект Ранчо-Бойерос и направилась к международному аэропорту Хосе Марти. Самолет вылетел в 7 часов вечера. Кроваво-красное солнце окрасило все в розовый цвет, и я в своем сердце вознес благодарственную молитву Богу, который помог мне надеяться вопреки всей надежде, прося его о помощи моей семье, которой не разрешили даже прийти проститься со мной, и моим друзьям, остававшимся позади, в вечной ночи кубинских застенков.

Машины мчались быстро, а я погрузился в воспоминания об этих двадцати двух годах, и во мне смешались грустная меланхолия и радость... Концентрационные лагеря, пытки, избиваемые в тюрьмах женщины, военный, швырявший мне в лицо экскременты, побои, которым подвергли Элоя, Исагирре, плач Робертико, звавшего свою маму... И посреди этого апокалиптического видения, среди серого порохового дыма, оргии крови, ударов, падавших под выстрелами узников — человек, худой, как скелет, голодный, с седыми волосами, блестящими голубыми глазами и полным любви сердцем, вздымающий руки к невидимому небу и просящий о милосердии к своим палачам: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят!» — в тот момент, когда пулеметная очередь прошла грудь Брата по вере...

Перевела с испанского Е. БОГУШ



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ

(1953—1990)



ПРИСТАНИЩЕ ВЕТХОЙ СВОБОДЫ

Всякая строка хорошего поэта — это его завещание. Свое последнее стихотворение Александр Сопровский — поэт, историк, философ — завершил строками, призывающими дышать так, «чтоб жизнь осталась незамутнена, как с осенью последнее свиданье». Нелегко следовать этому совету. Но если нет — как же тогда сбудутся другие его строки, о стране и мире? Десять лет назад, в глухие годы нашей родины, он писал про поэта: «И когда, обиженный, как Иов,/ Он заводит шарманку своих речей —/ Это горше меди колоколов,/ Обвинительных актов погорячей./ И зримо в метели — сколь век ни лих,/ Как ни тщится бесов поднять на щит —/ Вот, Господь рассеет советы их,/ По земле без счета их расточит...»

Александр Сопровский трагически погиб 23 декабря 1990 года. Ему едва исполнилось тридцать семь лет — роковой для поэта возраст. Он воплощал в себе одно из самых замечательных направлений русской поэзии, тянущееся от Пушкина к Ходасевичу и Георгию Иванову. Уже семь лет назад, когда несколько его публикаций появилось в «Континенте», требовательный Наум Коржавин в обширной статье радостно назвал его «первым ставшим мне известным поэтом нового поколения, который вызвал к себе серьезное отношение». Особой статьей отозвался о поэзии Александра Сопровского и парижский критик Василий Бетаки, резко отделив его от поколения «тайной свободы», справедливо усмотрев в стихах Сопровского отношение к поэзии как к пророчеству, «ветхозаветную суровость» и «доведенный до конца поэтический бунт».

Но что есть поэтический бунт? В стихах Сопровского сочетаются вполне взаимоисключающие, казалось бы, вещи — державинское неодование и тютчевская нежность, суровость Баратынского и фетовская печаль. В советском, насмерть перепуганном мире, где среднеарифметический поэт-традиционалист элегически кутается в шарф на берегу канала, вздыхая о загубленной жизни, а поэт-модернист посвящает свое дарование сочинению рифмованных ребусов средней руки (не вздыхая уже ни о чем), Сопровский жил и писал — не побоюсь этих слов — на разрыв аорты. Недаром его любимым философом был Лев Шестов — страстный проповедник веры и чувства в противовес пошлому разуму. Недаром главное слово, которое вызывают в памяти его стихи, — это вера. Вера в самые прекрасные из явленных нам на земле ликов Господа — любовь, дружбу, надежду, гармонию, красоту. Никто из его поколения, пожалуй, не сумел бы на пространстве одного лирического стихотворения уместить столько гнева и надежды: «Я из земли, где все иначе,/ Где каждый занят не собой,/ Но вместе все верны задаче —/ Разделаться с родной землей./ И город мой — его порядки,/ Народ, дома, листва, дожди —/ Так отпечатан на сетчатке,/ Будто наколот на груди.../ И впору сбывться тайной боли,/ Сердцебиениям и снам —/ Но никогда Господней воли/ Размаха не измерить нам./ И только свет Его заката/ Предгрозового вдалеке —/ И сладко так и страшно вато/ Забыться сном в Его руке...» Никто из его поколения не чувствовал в себе достаточно внутренней мощи, чтобы сказать за три года до того, как словарь русского языка обогатился словом «застой»: «Вот оно, время, другого не надо взамен./ Как мы пророчили, прежний застой торопя,/ Сдвинуться, стронуться, сделаться проще, честней —/ Так и сбывается. Время просит у Тебя:/ Вот наша

© Татьяна Сопровская-Полетаева.

© Предисловие — Бахыт Кенжеев.

© Послесловие — Яков Кротов.

родина, Господи, будь же ты с ней...» А главное — все эти «гражданские» чувства были у Сопровского накрепко сплавлены с душой человека, по праву называвшего себя и своих товарищей наследниками воли земной и умевшего в других строках, пронзительных и беззащитных, донести до читателя доступную ему с рождения истину. «Что есть душа? Не спрашивай. Пойдем/ Замершими холмистыми лугами,/ Где в густо-синем воздухе ночном/ Между белесоватыми клоками/ То тут, то там морозная звезда/ Проглянет из бездонного провала.../ Не спрашивай. И без того хрупка/ Проснувшаяся чуткость, и напрасно/ Искать ей объяснения, пока/ И без того внутри светло и ясно...»

Б. КЕНЖЕЕВ.

* * *

На Крещение выдан нам был февраль
Баснословный: ветренный, ледяной —
И мело с утра, затмевая даль
Непроглядной сумеречной пеленой.

А встряхнуться вдруг — да накрыть на стол!
А не сыщешь повода — что за труд?
Нынче дворник Виктор так чисто мел,
Как уже не часто у нас метут.

Так давай не будем судить о том,
Чего сами толком не разберем,
А нальем и выпьем за этот дом
Оттого, что нам неприятно в нем.

Киркегор не прав: у него поэт
Гонит бесов силою бесовской,
И других забот у поэта нет
Как послушно следовать за судьбой.

Да хотя расклад такой и знаком,
Но поэту стоит раскрыть окно —
И стакана звон, и судьбы закон,
И метели мгла для него одно.

И когда, обиженный, как Иов,
Он заводит шарманку своих речей —
Это горше меди колоколов,
Обвинительных актов погорячей.

И в метели зримо: сколь век ни лих,
Как ни тщится бесов поднять на щит —
Вот, Господь рассеет советы их,
По земле без счета их расточит.

А кому — ни зги в ледяной пыли,
Кому речи горькие — чересчур...
Так давайте выпьем за соль земли,
За высоколобый ее прищур.

И стоит в ушах бесприютный шум —
Даже в ласковом, так сказать, плену...
Я прибавлю: выпьем за женский ум,
За его открытость и глубину.

И, дневных забот обрывая нить,
Пошатнешься, двинешься, поплывешь...

А за круг друзей мы не станем пить,
Потому что круг наш и так хорош.

В сновиденье лапы раскинет ель,
Воцарится месяц над головой —
И со скрипом — по снегу — сквозь метель —
Понесутся сани на волчий вой.

1981.

Стихи о жертвенной роли интеллигенции в революции

Но я-то не видал, по счастью,
Тобой усвоенных с трудом
Счастливых снов советской власти
О красном веке золотом.
Там все, кто молоды и стары,
Вкушают труд или досуг.
Там розовые комиссары
Воскресли силами наук.
Там геометрию, с цветами
Сплоченную в единый хор,
Венчает шелковое знамя
На пиках покоренных гор.
Там женщины равно красивы.

Там диалектика хитра.
Последний там поэт России
Скрипит подобием пера:
«Пускай на трупах иноверцев
Следы когтей или зубов.
Мое обглоданное сердце
Удобрит почву для хлебов.
Из серого слепого света
Шагает, здравствуя в веках,
Рабочий класс Страны Советов,
Неся убитых на руках».

1974.

* *

Пристанище ветхой свободы,
Бревенчатый короб зари.
Небось к перемене погоды
Условней горят фонари.

Уйти бы в бульжные блики,
Душой перекинуться всей
За черную спину Палихи,
За зелень глазастых огней.

И за руки взявшись — с разбега
В пушистые кануть снега,
Храня на поверхности снега
Бездомный огонь очага.

При всем, что случится меж нами,
Душа, как большая страна.

Запуталась в прошлом корнями
И будущему предана.

И нет настоящей минуты,
Но сердце спасибо поет
За светлые линии утра,
За каменный синий восход.

Мы мерзли в толпе разогретой,
Смычками рвались тормоза,
И верные слуги рассвета
Нам снег заметали в глаза.

И кто-то расплатится скоро
За дни, что сбылись навсегда,
За мой несменяемый город
На страже любви и стыда.

1974.

* *

Запахло кровью резко, как известкой
Во время капитального ремонта,
Как хлороформом и нашатырем
В целительном застенке у дантиста.
Над городом стояли облака.
Прокручивалась лента у Никитских.
И человеку в плоскости экрана
Приснился черно-белый русский воздух,
Исполненный из света и дождя.
Снаружи мир был полон вобобьями.

Они клевали крошки из расщелин
 Подтаявшего мусорного снега.
 Троллейбусные провода и дуги
 Расчетливо пересекали ветер.
 И я подумал: мир документален,
 Как стенограмма сессии суда.
 И чудилось, как будто у прохожих
 От их предчувствий вздрагивали спины.

1975.

* * *

На рассвете звенят возбужденно,
 Поднимаясь, со сна, города.
 Спи сегодня без горя и стона,
 Спи по-прежнему, спи, как тогда.
 Как жилось нам единожды, помнишь?
 Небо в росчерках звездных хвостов —
 И держали раздетую полночь
 Напряженные руки мостов.

Так тепло, будто ветер на воле
 Не гуляет всюду за стеной.
 Так беспамятно — крысы в подполье
 Не спугнут нас до утра с тобой.
 Только жадно сцепляются руки
 Да безвольно бормочут уста —
 И слова, разлетаясь на звуки,
 Рвутся прочь, как птенцы из гнезда.

Несмышленная, враг мой любимый,
 Там, меж арок и кариатид,
 Нешто, все еще неумолимый,
 Резкий снег между нами летит?
 Сердце мира спешащего, злого
 Бьется в ритме столичного дня.
 Я устал от недоброго слова —
 Только ветер и держит меня.

Разве зря в ту блаженную пору
 Голоса пролагали следы
 Сквозь осеннюю звездную свору
 Над игральным неврской воды?
 Сядем рядом — и карты раскроем:
 В ускользящий нынешний час
 Эта память

да будет покоем
 От зимы, ненавидящей нас.

1976.

* * *

За ночью ночь меня всего трясло.
 Отряд берез держал границу леса.
 Начало суток, новое число
 Меня встречало лязганьем железа.
 Неслись с окраин первые шумы,
 Гудки гудели, грохотала трасса, —

И думал я: вот-вот увидим мы,
 Как от востока светится пространство,
 Как воронье срывается в полет,
 Как небеса расхристаны и сиры...
 И молодость — она не в нас живет,
 Но где-то прежде, в молодости мира.
 Меж тем поодаль шум иной возник,
 Вступала сталь каким-то новым ладом.
 Я покидал березовый тайник
 И торопился к каменным громадам.
 И город был сияньем обагрён
 Едва заметным, но неоспоримым,
 И я входил, как на заре времен,
 И шел, как мытарь Иерусалимом.
 Навстречу мне такие же, как я,
 Шли люди в озаренье красноватом,
 И мы сходились, как одна семья,
 Где всякий был родным и виноватым.
 Но мы родство таили в бездне глаз.
 Движенья были сослепу неловки.
 И притекали новые из нас
 К автобусной заветной остановке.
 Любой дышал, как будто ношу нес.
 Походки тяжки, лица воспаленны.
 И вдалеке гремел мусоровоз,
 Как будто поступь танковой колонны,
 Нечистым газом бил из-под крыла...
 Казался воздух огненосней кремня.
 Рассвет не шел. Заканчивалось время,
 Дышала вечность, за сердце брала...

1976.

* * *

В. Д.

Ветер августа, хмурый товарищ,
 Вот ты снова приходишь за мной,
 Дальнзоркие планы срываешь
 И любишься глушью земной.
 Шорох листьев под ветром невнятен,
 А надежда свежа и страшна.
 Не загадывай дольше чем на день
 И не стой по ночам у окна.
 Мокнут листья на черном асфальте,
 Летней роскоши смертная треть.
 Так давайте не думать, давайте
 Водку пить — и в окно не смотреть.

Ветер августа вечером черным
 В упоенье скандирует ложь.
 Нет надежды, — шуршит, — обреченным.
 От судьбы, — шелестит, — не уйдешь.
 Отчего же все шире и шире
 Свет осенний растет над землей?
 Нам не спится в разгневанном мире,
 Небо рушится звездной золой.
 Но пока не сорвется планета
 В неподвластные страху края, —
 Ранним утром рождается где-то
 Свет осенний, надежда моя...

1978.

* * *

За то, что я тогда... Не знаю сам, за что,
 Не знаю, что со мной и было,—
 За все, что вытоптано и пережито,
 За все, что памятно и мило,
 За то, что музыка подкрашена вином,
 За звон в ушах, родной и нестерпимый,
 За март, разбрызганный капелью за окном,
 За город, так мучительно любимый,—
 За это бедная, дурная жизнь моя
 Туда слетает безвозмездно,
 Где — вот, на волосок один от бытия
 Воздушная клубится бездна.
 За то, что дни мои в московском тупике —
 Тупая стенобитная работа,
 За то, что сны мои про волю налегке
 Полны горячечного пота,
 За то, что, Господи, судьбу свою сломить
 Дано лишь молодым и сильным,—
 Дай удержаться мне за радужную нить
 Капли звонкой полднем синим.

1981.

* * *

Липа, ясень, рябина, два тополя пирамидальных,
 Семь берез под окном.

.....
 В небесах пустырей рассыпались осенние звезды,
 Среди них и моя.

.....
 Человече жилье все мерещится мне полустанком,
 Полустанок — жильем.

Будет где погрузить. А прощаться навеки не скоро
 И до крайней беды —
 Лишь бы мне в изголовье хватило к утру «Беломора»
 Да холодной воды.

Ноябрь 1990.

О КНИГЕ ИОВА

«Небеса, твердые, как литое зеркало» (Иов. 37.18), отражали молодой мир. Расцветающую весной пустыню и ручьи, пробившиеся меж холмами. Пастушьи стоянки и шатры вождей. Там ревели верблюды и ржали боевые кони.

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла (1.1).

Десятки веков человечество не в силах позабыть Иова. Когда в V или IV веке до Р. Х. книга Иова была записана — предание о нем числило за собой уже под тысячу лет. Память о праведнике, стало быть, выстрадана опытом целой истории народа — всеми кочевьями и всей оседлостью, всеми царствами и всей анархией, от чудесного исхода до унижительного плена.

Песчаный ветер. Мощь земли. Молоко и мед родины. Не прочувствовав обстановки Иова, легко проскочить мимо главного в книге, подменить ее чуткую жизненность — умозрением. А дух книги не терпит умозрительных построений, пусть и благочестиво направленных. Мир, окружающий Иова, — не декорация, но живая почва, питающая действие книги. Как Творец откроется Иову Господь — и Творение воспето в книге, насыщая саму ткань повествования и диалога.

Не развернутыми пейзажами — но по-библейски скупо: броскими чертами, поясняющими спор метафорами, особенностями словоупотребления, — на страницах

книги утверждается природа и бытовой уклад. Повседневный опыт впечатался в те страстные речи, которыми обмениваются Иов и его собеседники. Крупицы этого опыта емки; в них, как в кристаллах, преломляются смысловые линии книги.

Отсюда ее редкие, несравненные образы. Как обращается к Господу Иов: «Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня?» (10.10). — Или сетует на друзей: «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умяляются, а во время жаров исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются» (6.15—18).

Таков же проходящий сквозь всю книгу образ шатра. О громе небесном говорится: «треск шатра Его» (36.29). — «Померкнет свет в шатре» у беззаконного, — грозит один из мудрецов, — «изгнана будет из шатра надежда его» (18.6; 14). — И другой добавляет: «зло постигнет и оставшееся в шатре его» (20.26). — Опорный образ быта, устройства среди непокорной природы — шатер одновременно предстает и образом законопослушания и надежности духовной. Ведь и скиния означает шатер, шалаш — и Ковчег Завета первоначально перемещался в шатре.

Привычное природное движение, насущные заботы по хозяйству не обрамляют «содержания» книги — но сами претворяются в ее глубокую поэтичность... Иова чтили и чтят за праведность. Однако сама его праведность — загадка. Ее видят одни в одном, другие — в другом; порой одно в прямой противоположности с другим.

Богословская традиция славит Иова многострадального, прежде всего славит его долготерпение. Правда: «Господь дал, Господь и взял» (1.21), — говорит Иов, наказанный без вины... В том же русле мыслил и Достоевский. Его старец Зосима говорит о страданиях, о терпении, о конечном воздаянии Иову. Возвратил ведь Господь Иову отнятое добро, взамен погибших родились новые дети. Все же захватило дух у русского писателя: каким образом, даже во вновь обретенном счастье, мог Иов успокоиться, простить прошлое, смириться с жестокой утратой? Отвечал Достоевский в том духе, что сама новая жизнь воскресила Иова. В неисчерпаемости живой жизни — ее тайна и величие Промысла, совершающегося в ней. Новые дети, новое счастье постепенно пробудили Иова. Ему, с его чудесным опытом, виднее, нежели нам, как такое возможно.

От Киркегора к Шестову сложился взгляд на Иова с противоположной стороны. Внимание приковано здесь уже не к долготерпению и смирению — напротив, к отчаянию, дерзанию, резким вопрошаниям Иова. Тоже правда: терпит Иов несравненно долго — но ведь не до бесконечности. Причем дерзкие вопли занимают в объеме книги долю преобладающую: по одному по этому нет никакой возможности «отделаться» от них. Дерзость Иова смутила бы робкого начетчика — Шестова, напротив, она-то и привлекает. А в трех мудрецах, утешающих Иова, Шестов увидел прообраз на века философского рационализма — с его способом мыслить, с его этикой. И ведь не одна философия — расхожее представление о благочестии также задето здесь... Шестов повторяет за Киркегором вопрос: когда велик Иов — когда говорит «Господь дал, Господь и взял» или когда воплями своими дерзко взыскует Господа?

У Достоевского много правды — но, его же словами выражаясь, не вся правда. Для чего все-таки большая часть книги заполнена дерзкими воплями Иова? В чем именно раскрывалась перед Иовом неисчерпаемость жизни? Что в этой жизни заставило его примириться с непримиримым? Избегая этой остроты, рискуешь оказаться вместе с мудрецами книги Иова. Но ведь очевидно, что для автора книги дерзкое отчаяние Иова выглядит и по-человечески честнее, и религиозно последовательнее, нежели отвлеченные утешения мудрецов. И однако в апологии бунта, какую предлагает Шестов, также «всей правды» нет. В этом воззрении теряет смысл праведность, отличавшая Иова всю его жизнь до испытания; вовсе исчезает открытая Господом Иову новая жизнь. По Киркегору, сам предел отчаяния — не основной пафос и не последнее слово книги.

Христианину легче всего разрешить эти противоречия с помощью прообразовательного подхода к ветхозаветному рассказу. Многие из вопрошаний Иова (о безвинном страдании, о смертной участи человека) подводят к христианскому кругу мыслей и разрешаются в искупительной жертве Спасителя. Апостол Павел говорит: «Нынешние времена страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Римл. 8.18). — Однако вправе ли мы ограничиваться прообразовательным подходом? Ведь это все равно что признать, будто живший во времена свои и не знавший Христа Иов никакого ответа от Господа непосредственно не получил! Из текста же книги явствует нечто противоположное. Значит, либо книга Иова никакого собственного смысла не имеет — либо же мы, что более вероятно, склонны по своему высокомерию кощунствовать.

Что автор книги Иова молчит о христианской разгадке земных тайн — удивляться не приходится. Но если мы, христиане, молчим о той разгадке, что возвещена в богодухновенной книге от лица Самого Господа, — вот это поистине удивительно.

Перечитывать таинственную книгу ради свободного исследования — ответственность немалая. Который раз в истории предпринимается подобная попытка? Возможно ли избежать как предубеждений, так и отсебятины? Все же, перечитывая, вдумываясь и в доводы самонадеянных мудрецов, и в «возвышенные речи» самого Иова, убеждаешься, что взаимоисключающих отношений между Иовом долготерпеливым и Иовом дерзающим — нет. И не в сглаживании углов, не в диалектическом трюке «снятия противоречий» — но, напротив, во всем свойственном книге напряжении этих противоречий — достигается такое убеждение. Речь Господа из бури — это речь Господа из бури, а не снятие противоречий. И в раскатах этой речи обнаруживается неожиданное, хотя несомненное что-то, мимо чего тысячелетиями соблазнительно влечет нас прочь какая-то зловеющая сила.

1

Упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня (20.3).

Бросая эти слова Иову, мудрец Софар мог бы с тем же успехом добавить: «...и я мыслю плохо, если я прибавлю что-нибудь от себя» (Гегель. ЭФН, т. 1. Наука логики. — М., 1975, с. 124). — Верно, что мышление трех мудрецов — как бы прообраз рационализма в самом широком смысле слова. Приведенные слова Софара — «гносеологическая предпосылка» всей этой «системы» мышления. «Субъект» навязываемой Иову мудрости — разум, безличный, отвлеченный, самозаконный. Иудейская риторическая фигура утверждает на тысячелетия неизменную отправную точку философской мысли.

Утешители Иова — Елифаз Феманитянин, Виллад Сахвеянин и Софар Наамитянин — мудрецы, они и пришли из трех прославленных мудростью городов. Мудрость их — не просто природный ум, обогащенный житейским опытом. Мудрецы — если не во время действия, то во время создания книги Иова — были в Иудее и в окрестных землях Ближнего Востока чем-то вроде особого сословия, в Ветхом Завете пророчество четко разграничено с «премудростью» — и пророк говорит: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собою!» (Ис. 5.21)

Соблазнительно — выстроить систематически суждения трех мудрецов, перевода, вслед за Шестовым, их речь на язык философии нового времени — и обратно. В итоге этого увлекательного труда предстал бы, в зачаточном виде, свод философских дисциплин: от гносеологии, через этику и своеобразную теодицею к социальной утопии.

В современной мысли, однако, всегда отмерена защитная дистанция между научной истиной и личной человеческой заинтересованностью. В книге же Иова речь на высочайшей ноте идет о «едином на потребу», о последних человеческих вопросах, прямо о жизни и смерти. Современная замкнутая на себе мысль тяготеет к игре, игра эта безопасна. В той игре, куда втягивает мудрецов неутолимое отчаяние Иова, ставка оплачивается человеческой жизнью, а то и выше.

Три мудреца из страны мудрецов — но и в их лица дул песчаный ветер. Семитский их темперамент, сам тон и слог их речи — не те, что у афинских философов, не говоря уж о германских ученых. Книга Иова пронизана поэзией насквозь — и если Сам Творец говорит с Иовом на одном языке, на том же языке приходится изъясняться и мудрецам. Сами доводы их — не столько аргументы, сколько зримые образы. Судьбоносный спор книги Иова — не спор между логикой и поэзией, но противоборство двух поэтических по природе своей установок.

Поэзия мудрецов жестока, сухой жар ее бесчеловечен. Но страстная искренность ее — бесспорна. «Дух разумения» говорит за них — но как он говорит?

И вот, ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне. Он стал, — но я не распознал вида его, — только облик был пред глазами моими; тихое веяние, — и я слышу голос... (4.12—16)

Так, почти в мистическом экстазе, свидетельствует Елифаз. Отношения Сократа с его ироническим демоном были много сдержанней.

Гневная страстность мудрецов возрастает по мере того, как отчаянная правота Иова загоняет их в тупик. Они обособляются, нападая. Они яростно отстаивают то,

что есть единственная доступная им правда. Поначалу же они — вместе с Иовом, ведь они его искренние друзья, они пришли вместе «сетовать с ним и утешать его» (2.11). — Все в книге Иова развивается так естественно, так жизненно — в этом особая ее прелесть.

И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико (2.13).

Сострадание и, так сказать, такт — по нашим меркам даже преувеличенные. Мудрецы вовсе не спешат превращать живые страдания друга в предмет отвлеченной дискуссии...

Но вот «открыл Иов уста свои, и проклял день свой» (3.1), и в первой «возвышенной речи» дерзко возопил о правоте своей перед Господом. Теперь утешения друзей как раз и превращаются в нравоучения мудрецов. Дерзость Иова посягает не столько на Бога и мир, заподозренные Иовом в несправедливости, сколько на представления мудрецов о Боге и мире, на их картину мира, на их символ веры. Так оно всегда и происходит, особенно с мудрецами. Все, что противоречит теории, — раздражает (отсюда знаменитое «тем хуже для фактов» Гегеля).

Логика раздражения поведет естественно к личным упрекам в адрес Иова. Но пока что упреки приглушены, приправлены лестью.

Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою, и непорочность путей твоих — упованием твоим? (4.6)

Лесть эта уже не без лицемерия, как явствует из следующего же риторического вопроса. Не отживаясь пока на личные нападки, Елифаз обращается к общей картине мира:

Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? (4.7)

Но Иов-то гибнет — так праведен ли он?.. — Праведность была славой Иова в дни благоденствия. Он потерял душевный мир, счастье, детей — все. Не зная за собой вины, он и то терпел долгие мыслимой меры. Вот он сидит на куче пепла, в разорванных одеждах, покрытый язвами. Вид его таков, что при первом взгляде на него темпераментные друзья «зарыдали и разодрал каждый одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу» (2.12). — Терпение Иова теперь иссякло, и он осмелился признаться в этом. И тотчас сострадание друзей тает, сама честь Иова берется под подозрение, упреки уже, как осы, жужжат, хотя еще не жалят. И в упрек Иову ставится справедливость миропорядка.

Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его... (4.8)

Где, когда видал?.. Легко заметить: Елифаз говорит что-то не то. «Сеявшие зло» слишком часто никакого зла в этом мире не пожинают. Цари Ура, цари Ассирии могли бы немало занятого порассказать на этот счет. Елифаз явно не настоящий миропорядок описывает, но свою собственную «этику». Когда мудрецы выдавали желаемое за действительное, подменяя своей этикой действительность, — последствия часто бывали плачевными...

Но как внушить Иову, что он счастлив, — Иову, без вины пострадавшему, без меры претерпевшему? Елифаза охватывает досада.

Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность (5.2).

Это словечко «раздражительность» очень удачно стоит в традиционном переводе. Скрытым сарказмом звучит это сниженно-житейское употребление рядом с обрушившимися на Иова небывалыми бедами.

Обвинения личные не заставят долго ждать. Ведь без них на поверку рушится вся их постройка, все представление о справедливости миропорядка. Если Иов невиновен, действительность мудрецов погибла — и другая, страшная жизнь вот-вот вступит в свои права. И Елифаз обвиняет.

Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу (15.4).

Речь идет о страхе Божьем. Казалось бы, в дни благоденствия страшившийся — перед лицом же разразившегося уже бедствия бесстрашный Иов заслуживает называться мужественным и мудрым. Не такова, однако, мудрость Елифаза — и мужество не сродни ей.

Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя (15.6).

Кто теперь назвал бы речь мудрецов «утешениями»? Это — обвинительные речи. Перед тем другой мудрец, Виллад, успел высказаться еще сильнее:

Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их (8.4).

Подозрение это безобразно в своей беспочвенности: у Виллада нет и не может быть ни малейшего повода подозревать какую-то вину погибших детей Иова. Из последней речи Елифаза, впрочем, выяснится, что доказывать обвинения мудрецы сочли вовсе неуместным излишеством. Еще бы — их мир угрожает обрушиться (что уже обрушился мир, невыводимый мир, мир их друга Иова, — они знать не хотят).

Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет конца. Верно, ты брал залого от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одежду... — как умиляет это «верно», для большей убедительности повторенное риторической анафорой! —

...Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе; а человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками (22.5—9).

Могло бы показаться, что мелочность пустого этого перечисления снижает уровень речи Елифаза. Величаво утверждая справедливость миропорядка, мудрец опускается до клеветы. Но в том-то и дело, что без клеветы этой миропорядок его рассыплется в прах.

Чтобы прояснить абсурдность клеветы, уместно тут же, забегая вперед, поместить не вызывающее сомнений свидетельство самого Иова — некогда вождя в земле Уц: ...Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. <...> Сокрушал я беззаконному челюсти и из зубов его исторгал похищенное. <...> Внимали мне, и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них. <...> Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих (29.12—25).

Друзья Иова не могли ведь не знать его прошлого. Но что им за дело до правоты канувшего в небытие царского суда. Их «система» нуждается в виновных. Иначе — откуда взяться справедливости в их понимании: неминуемой награде для добрых и каре для злых?

Таков мир мудрецов. Есть в их мире справедливость, засеяны в нем семена премудрости, так что и Сократу, и Спинозе, и Канту, и Гегелю найдется место под раскидистым деревом. Нет в этом мире пустяка — жизни, в нем нет красок, бьющих в глаза, и звуков, потрясающих слух. Неотзывчивость и глухота стеной отгородили мудрецов от мира красок и звуков — зато их собственная мозговая горячка разбухла до объема целой вселенной. Ради этого их собственного, уродливого, кастрированного мира они жертвуют Иовом, которому в их мире нет места.

Это еще далеко не все. Мир их нуждается в божестве. То и дело мудрецы призывают имя Господне. Елифаз укоряет Иова:

Но я к Богу обратился бы, предал бы мое дело Богу... (5.8).

Какому? — в этом все дело. Бог Елифаза содействует земледелию (см. 5.10), восстанавливает в правах униженных, удовлетворяет жалобщиков (5.11), защищает бедняков (5.15), разрушает замыслы коварных и «уловляет» хитрых (5.12—14) — нечто подобное сегодняшним функциям шерифа в одном из американских штатов.

Если же отбросить хитроумную диалектику того, что должно быть, и того, что есть; если вернуться к миру, каким мы его знаем и каким его знать не хотят мудрецы, — то приходится заключить: всего этого Бог не делает! Единственно отведенных Ему премудростью муниципальных функций Он и то не выполняет...

Самонадеянность мудрецов головокружильна.

Разве малость для тебя утешения Божии? И это неизвестно тебе? (15.11)

Бог пока что в утешениях Иова участия не принимал. Очевидно, Елифаз имеет в виду свои утешения. Логика на все времена: сперва мудрец представляет на место Бога собственную мудрость, а затем и попросту себя самого.

Бог мудрецов призван осуществлять куцую справедливость — то награждая, то карая. То и другое совершается с неумолимой справедливостью маятника. Непременность суда, особенно насчет кары, не просто утверждается — сладострастно воспевается мудрецами. Черты Бога награждающего и Бога карающего не могут в итоге не слиться в один образ, возвышающийся надо всею этой премудростью: образ Бога равнодушного.

Бог отгораживается от человека с его совестью, как через пару тысяч лет будет и в этике Канта.

...разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? (22.2—3)

Елифаз тут, между прочим, осторожнее, нежели в первой своей речи насчет земной справедливости. Точно так же Кант будет осторожнее Спинозы. Если праведному все же стоит похлопотать о своих интересах, то нет нужды в рискованных утверждениях, будто праведность — сама по себе награда... Однако в книге Бытия Господь радуется Творению и венцу Творения — человеку. Почему же впредь Господь лишит человека возможности доставлять Ему удовольствие или пользу? — Потому что лишь равнодушное божество может подразумеваться в отведенной ему судейской роли.

Сама потусторонность Бога для трех мудрецов не намекает на Его несоизмеримую с человеческой мощь — но как раз обосновывает Его равнодушие. Вдохновение мудрецов набирает обороты на холостом ходу. Звучат вечные вопросы торжествующего бессилия:

Неужели для тебя опустеть земле, и скале сдвинуться с места своего? (18.4)

Неужели Он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою? (22.4)

В Библии, и не только в книге Иова, есть Кому и есть что ответить на такие вопросы. Мудрецы, однако, не ждут ответа, нелепо кажется им на такие вопросы отвечать: отрицательный ответ заведомо предопределен. Более того: такое положение вещей их удовлетворяет, они преклоняются перед равнодушием Бога и, что уже вовсе непонятно, гордятся собственным бессилием. Это все общие, читанные-перечитанные места. Вот еще что здесь, однако, озадачивает: Бог лишь из боязни мог бы двинуться навстречу человеку! Лишь из боязни, уступая силе, проявляется отзывчивость. Вот какие ценности полагают мудрецы в основу своего справедливого миропорядка. Великодушию, доброй воле нет места в их мире. Делая вид, будто они открыли в мире справедливость, — мудрецы на деле исподтишка подгоняют понятие справедливости под наличное положение вещей... несправедливость которого в глубине души не вызывает у них сомнений.

Человек надежно порабощен в этом мире, в котором незыблемы «законы природы», в котором распоряжается (или «должна» распоряжаться) сомнительная справедливость наград и наказаний, которым управляет (или не управляет) бесконечно возвышенное равнодушное божество. Будто пародируя книгу Бытия, мудрецы готовы сладострастно прокричать «добро» этому своему миру, в который не вложено ни крупицы творческой мощи — и в котором нельзя жить.

Не превыше ли небес Бог? посмотри вверх на звезды, как они высоко! (22.12)

Вновь Елифаз подменяет одно другим: если Бог непознаваем — то следует ли отсюда, что нельзя искать у Него правды? Вместе с тем — уже в который раз — поражает высокая нота, горячее вдохновение, с каким проповедует мудрец. Тут же следует самый, пожалуй, жуткий образ во всей книге, поэтическая кульминация премудрости:

...— завеса Его, так что Он не видит, а ходит только по небесному кругу (22.14).

Это как бы косвенная речь: Елифаз говорит за Иова, описывая мрак, объявший Иова в наказание за грехи. Но из соседних стихов, шире же — в духе всех этих речей, ясно: Елифаз ничего против набросанной им картины не имеет! Он попросту проговаривается — и кошунственнее проговориться невозможно. Из привязанности к химере справедливого миропорядка он клеветает на ближнего, а от этой клеветы последовательно приходит и к хуле на Господа — будто в насмешку над таинственной связью между Творцом и Творением.

Бог равнодушен, ибо человек бессилен! Вот отрицательная теодицея, доказательство невмешательства Божьего в земные дела, оправдание равнодушного Бога. Господь, по Елифазу, «ходит по кругу». — Для сравнения: «по кругу блуждают нечестивые» (Бл. Августина. О Граде Божием. XII.14,— какой урок диалектикам!). И — самое жуткое — Он слеп.

Вдохновение мудрецов, однако, еще не исчерпано. Мысль их порывается спуститься обратно, с небес на землю («качественно обогатившись» на новом витке?..). Если клевета на ближнего обернулась хулой на Господа (не зря вторая заповедь подобна первой!) — то хула на Творца прямо обосновывает унижение Творения.

И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? Вот даже луна, и та несветла, и звезды нечисты пред очами Его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль (25.4—6).

«Дух разумения» подсказывает Вилладу нужные отношения. В самом деле, если Господь любовно сотворил мир — то Он и любит звезды, луной, а тем более человеком, который был наделен от Бога властью среди твари. Но если миром правит слепое равнодушное существо, отодвинутое за пределы вселенной, — то да, равнодушные его может лишь возрастать по мере отдаления... и человек «тем менее» ценен по сравнению со звездами и луной. Еще раньше Елифаз утверждал о Боге, будто Он «и в ангелах Своих усматривает недостатки» (4.18).

В мудрецах больше всего, может быть, и озадачивает эта болезненная неприязнь к миру и человеку. Неприязнь эта, коренясь, как показано, в их религиозной ограниченности, по природе своей — не столько логическое развитие философской системы, сколько, стоит лишний раз подчеркнуть, агрессивная экспансия какой-то личной, образной, поэтической установки. Что это, однако, за поэзия? Она горяча

и суха, как раскаленный песок. Она — мертворожденная, творческой потенции в ней нет, она враждебна живому творчеству, если сталкивается с ним. Перед мудрецами закрыты красота и мощь мира, его краски и звуки. Взамен развита повышенная чуткость к недобрым импульсам собственной души. «Дух разумения» творит из этого сухого жара собственную вселенную, стеной неотзывчивости и глухоты отгораживая премудрость от Божьего мира.

Мир их обделен мощью и красотой — зато в нем нет ничего слишком неожиданного, страшного, не вмещающегося в рамки скорого успокоительного понимания. Нет того, в чем люди не любят себе признаваться. Нет отчаяния, которого не измерить, положив на аршин готовых истин, но которое можно лишь пережить на свой страх и риск, испив до дна. Словом, нет в их мире того, о чем гремят в ушах мудрецов вопли Иова.

Вот и разгадка их мудрости: трусость — и проистекающее из нее бессилие. Отсюда и ненависть к мирозданию. Ведь и по-латыни, к примеру, импотенция — не просто бессилие, но и ярость, бессилие яростное; два этих состояния родственны между собой.

Мудрецы не способны ощутить жизнеутверждающую игру творческих сил в этом мире. Трагедию же этого мира, его угрозы, его неустроенность, несправедливость — они увидеть боятся, хотя в тайне души ничего, кроме несправедливости, в этом мире не знают. И вот они привносят в этот мир свою отвлеченную справедливость.

Такой настрой мысли, однако, неизбежно чреват утопией. Действительное осуществление справедливости мысленно переносится в будущее. И тут-то зло, от которого в настоящем ханжески отворачивались, отомстит за себя: оно угнездится в бессознательном — и выскочит на поверхность в этой самой мечте о будущем.

И когда к будущей справедливости обращаются Виллад и Софар — удивительное дело: вдруг куда-то проваливается ровно половина их справедливости, — награда праведным! Остается одна только, втайне милая их сердцу, кара для нечестивых. Пир жестокости: беспросветное механическое воздаяние, смакование казни.

А глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них; и надежда их исчезнет (11.20). — Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его (18.5). — ...он попадет в сеть своими ногами и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге (18.8—10)...

О Господнем участии в этом правосудии даже для виду уже не упоминается. Нет тут места Его торжеству — в отличие, скажем, от псалмов, где найдутся чисто внешние схожие отрывки. Разве искоренится зло в этом разгуле мести? Кого утешит эта жажда расправы? Подавно уж — не Иова, к утешению которого все это вроде бы говорится... Нет места Иову в мире мудрецов.

Трусость. Отсутствие творческого дара, дара любви. Яростное бессилие. Все это — не предмет научной философии, все это — свойства личности, ее состояние, за про сы души. Все это, однако, глубже философии. Как раз отсюда пробивается тот толчок, побудительный импульс, непосредственный лирический порыв, который и оказывает решающее влияние на склад ума. Здесь исток и философских тенденций. Все это, стало быть, не менее существенно, нежели чисто философские параллели. Таким образом можно и в современной мысли многое понять.

В книге Иова разворачивается таинство не об идее, но о человеческой душе.

От сотворения мира шла схватка между двумя противоположными запросами души, диктовавшими два способа жить. Время Иова предстает нам молодостью мира. Но еще прежде Иова, на самой заре истории, в языческом Уре та же глухая стена разделяла дерзкого царя Гильгамеша с тем же самым «духом разумения», которого автор поэмы «О все выдавшем» представил как целый сонм языческих божеств.

Гильгамеш весь свой век томился по невозможному. Даже изгнав из мира зло — убив Хумбабу, детище хаоса, — не был он удовлетворен. Смертный удел томил его. Какими же словами утешали его боги Энлиль, Шамаш — и Сидури, хозяйка богов?

Ты же хочешь, Гильгамеш, чего не бывало, с тех пор как мой ветер гонит воды.

Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь ты, не найдешь ты!

Боги, когда создавали человека, — смерть они определили человеку, жизнь в своих руках удержали.

Та же стена. Не по себе становится от этих недоуменных вопрошаний. Тут даже не в том дело, кто прав, кто виноват. Допустим даже, что месопотамские боги правы — как по-своему правы в своем бесцветном и беззвучном мире едомские мудрецы. Только чего стоит их правота? Чему радоваться, если правы они?..

Не Иову жалеть друзей. На их стороне сила. Самонадеянные, сами не хлебнувшие горя, сравнимого с горем Иова. — они бьют лежачего. Все же — их жаль. Эхом

какой-то тревожной тоски, затаенного большого сомнения, предчувствием недостижимого отдаются слова Елифаза:

Что знаешь ты, чего не знали бы мы? что разумеешь ты, чего не было бы и у нас? (15.9)

2

И отвечал Иов и сказал: о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей! Оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой; ужасы Божии ополчились против меня (6.1—4).

Так что же разумеет Иов, чего не разумели бы мудрецы? Он разумеет: постигшие его ужасы — Божьи. Не мудрено здесь разглядеть лишь устойчивый эпитет, отнеся его, как это ловко делал в подобных случаях еще Спиноза, на счет традиционного еврейского словоупотребления. Но в случае с Иовом от этого эпитета столь легко не отделаешься. Кстати, ведь и «дух разума» произнесено было на том же языке. Был-таки выбор у спорящих: подслушать и воспроизвести голос разума — или ощутить на себе ужасы Бога! Для Иова раз навсегда бесспорно участие Божие в его судьбе — в том будоражащая сила его слов.

В приведенном знаменитом отрывке обычно прежде всего обращает на себя внимание то, что Иов дерзает положить «на весы» свое личное страдание. Если страдание ничтожного смертного, каким видит человека мудрецы, перетянет на весах песок морей («законы природы», вообще объективную данность познания), — то налицо решительное «гносеологическое размежевание» Иова с собеседниками. Иов мыслит катастрофическим личным опытом («экзистенциально»). Да и вовсе не мысли, но «вопли» представляет он на суд Божий — и философски это слишком существенно, революционно.

Как повсюду, однако, книга Иова здесь открывает более глубокие, нежели обобщенно-философские, пласты. Книга поднимает на свет что-то, лежащее в глубине также и самой философии. Перед нами несравненная вера Иова.

Отмечается обвинение мудрецов Иову в безбожии. Когда они чуть что зывают к имени Божьему — это объяснимо их сухо-фаталистическим пафосом, тем, что Иов в их глазах заведомо виновен, и тем, что с ними самими никаких ужасов не произошло. Но когда без оглядки зывает к Господу Иов — без вины, по его страстному убеждению, казнимый Господом — это не может не вызвать изумления. У нас, именно у нас не может не вызвать изумления — даже если первоначальные читатели Библии воспринимали это естественно. Вся современная мысль, шире — культура, строится на сомнении в бытии Божьем. Даже религиозные ценности принято утверждать «от противного»: это и в схоластическом богословии, нуждавшемся в доказательствах бытия Бога, и во всей проблематике Достоевского, и у Бердяева, и т. д. Дерзость Иова будто бы чревата кощунством — наш, однако, век отвечает на все непонятое, даже на собственное неустройство, сомнением не столько даже в мудрости или справедливости Господа, сколько в самом Его существовании!

И как нашему веку подчас одна мысль о существовании Бога предстает нелепой так дика и недопустима для Иова мысль обратная.

Все тут «наоборот»! Ясно видя зло, не желая отрешенно признавать несправедливость — «высшей» справедливостью, не впадая в смирение паче гордости, Иов между тем не способен легкомысленно отвернуться от Бога, как это делаем мы.

Сам вопрос: есть ли Бог, — перед Иовом не встает. Но, сколь бы ни казалось это сегодня противоречивым, равно не встает перед ним и другой вопрос: «принять» или «не принять» незаслуженную беду. Только на второй этот вопрос Иов заведомо ответит отрицательно. Перед памятью погибших детей; перед оскорбленным религиозным чувством — ни о каком принятии не может быть и речи. Как, однако, не может быть речи и о том, чтобы усомниться в бытии Бога. Для Иова бытие Бога никак не сопряжено с приятием зла. А для нас тут тайна за семью печатями.

Иов — живой, исключительно чуткий человек. Жизнь же требует мужественного напряжения сил — не отвлеченного раскидыванья умом. Иов соответственно принимает и Господа, и себя самого — всерьез. Можно ли разорвать живого человека надвое, на Иова долготерпеливого и Иова дерзающего? Как не заметить целого, основного: Иова верующего?

Но друзья Иова неверны, как теряющиеся в пустыне ручьи:

Так и вы теперь ничто: увидели страшное, и испугались (6.21).

Испугались: иначе к чему бы страпать миф о справедливости миропорядка? Иову же страх Божий был крепостью в дни благоденствия. Богобоязненность,

как это ни ускользает от декадентского прочтения, отличала праведного Иова. Причем именно богобоязненность — не безличная самозаконная нравственность. Однако перед лицом опасности, перед уже разразившейся бурей — налицо не страх, но дерзание Иова. Страх уже неуместен, теперь он был бы уже и не «страхом Божиим», но простым жалким человеческим страхом. Вера Иова теперь выражена в дерзании, как прежде — в страхе Божиим. Душевная сила Иова сквозь череду теснящих его катастроф выстраивает его жизнь в одно.

Трусость умственная, как и всякая трусость, обнаруживается в миг опасности — в благоденствии мудрец безмятежно доволен собой. Глаза страдальца Иова жадно пьют мироздание, достигая его подошвы. «Испугались»: подсознательная трусость их не скроется от Иова. Друзей он видит насквозь, видит их души столь же отчетливо, как ручьи в пустыне, с которыми сравнивает их. Острота страдания дает это проникающее зрение Иову. И он «мыслит хорошо», если «добавляет что-нибудь от себя»! Что там жалкие тайны самонадеянных друзей — не такие глубины откроются ему теперь. Такова поэзия Иова. В ней отзывчивость, горькая свежесть восприятия противостоят чертовой одержимости мудрецов, которая сама себя сжигает.

Научите меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды! Но что доказывают обвинения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу нашему (6.24—27).

Подозрительность их, чувствует Иов, рождена тем же недоверием к жизни, страхом перед ней. Отсюда — больше неоткуда — жестокое: наказан, а значит, виновен. И простыми словами опровержения, затевая ту священную т я жбу, мотив и термин которой насквозь пронизывают речи Иова и которая дерзко распространится им на Самого Господа, — этими простыми словами отмечает умозрительную постройку утешителей Иов. Невинность его слишком выстрадана, чтоб ему сомневаться в ней. Остается вопрошать Господа.

Что такое человек, что Ты столько ценишь его? и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человек! Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? ибо, вот, я лягу во прахе; завтра поищешь меня, и меня нет (7.17—21).

Крайним отчаянием — но вместе и какой-то нездешней чистотой дыхания веет от этих слов. Поражает интимность обращения к Господу. Она даже страшна в словах о том, как Господь посещает Иова «каждое утро». Отрывок этот и знаменит, и загадочен. Так, комментатор католического издания Библии на русском языке (Брюссель, 1977; см. с. 1910) видит тут только ироническое переосмысление хвалы человеку в 5 стихе 8 псалма. Параллель и переосмысление, правда, налицо. Но несет за них ответственность не Иов, а лишь автор книги о нем. Не сообщил же автор Иову, который не был евреем и жил, предполагается, задолго до эпохи Царств, зная псалмов, приписываемых Давиду. Переосмысление — авторское; причем тут точней было бы говорить не о насмешливой иронии, но о горчайшем сарказме. С точки же зрения Иова, вложенные в его уста слова могут вообще иметь лишь одно — буквальное значение. Так и достигается ни с чем не сравнимое впечатление от этого отрывка. Какими бы смысловыми оттенками ни делился с читателем автор, тем обогащая свою притчу, — сам Иов ничего не пародирует: он вопит, и вопли его прямо обращены к Господу.

В «ужасах Божьих» Иов ощущает не отступление Господа от себя — но, напротив, повышенное к себе внимание. Вновь это должно поразить современного читателя. Мудрецы Божью справедливость усматривали в равнодушии — даже слепоте к миру и человеку. Иов же и несправедливость, какая с ним стряслась, переживает как печать Господнего вмешательства. Обостренное чувство присутствия Господа где-то здесь, поблизости — ключ ко всему поведению Иова.

Вот еще что открывается в «тягбе» Иова с Господом. «Если я согрешил, то что я сделаю Тебе»; «зачем бы не простить мне греха». — Слова эти рискуют показаться наивными, даже легкомысленными. И мудрецы, и Иов убеждены в несоизмеримости Господнего суда с человеческим. Но Бог мудрецов равнодушен, и несоизмеримость эта сказывается лишь в абсолютной неизбежности, неумолимости возмездия. По вере же Иова, сверхчеловеческая природа Божьего суда — в Его безмерном великодушии.

Праведник, по мысли мудрецов, не может доставлять пользу Богу. Грешник, по вере Иова, не может нанести Ему ущерб. Логически — противоречия между двумя суждениями как будто нет. Но в духовном смысле — пропасть непроходимая.

Предел человеческого суда — справедливость. А тут открывается возможность Господнего милосердия, где оно человеку и не снилось.

Толкуя весь отрывок как иронический, упомянутый выше комментатор лишь и может оценить этот поворот мысли как «неожиданный». И правда: с чего Иов вообще упоминает о своей вине, когда все его речи — страстное утверждение собственной невиновности? Однако все дело — в той головокружительной интимности, в той прямоте, с какой обращается к Господу Иов. Таково состояние его души, что, будь даже он виновен, он обратился бы к Господу — «через голову» утешителей, за которыми он не признал бы права на суд. Это от их суда, как от эллинских Эриний, надо прятаться. надо бежать — некуда бежать, негде спрятаться. Иов же прятаться бы не стал — он сам отчаянно зовет Господа на суд.

Бог мудрецов может лишь осуществлять закон, настичь беззаконного казнью. Иов же не то что видит дальше — он открывает новое измерение. Бог властен над самим законом: Ему возможно снять грех с беззаконного. Такое всемогущество сообщает неизведанную глубину человеческой надежде. Вопли Иова сродни новозаветному осознанию молитвенной силы.

Не в пример мудрецам, Иов честно признает мир ниже справедливости; но Господь выше справедливости — верит он. Иову неизвестен замысел Бога о нем: он ведь не читал первых глав книги Иова. Но и друзья Иова тех глав не читали. При равной неосведомленности — Иов несравненно более прозорлив. Вера его — впрочем, как и мудрость утешителей — коренится не в отвлеченных предположках, но в складе его личности, в запросах души. Как ни бьет жизнь Иова, он настолько же полон жизни, насколько бессильны перед ней мудрецы. Насколько они черствы и замкнуты — настолько чуток и отзывчив Иов. Он до конца честен и, со своей точки зрения, прав. Точку зрения надо понимать буквально: со своей мусорной кучи Иов видит то, что видит. Беды мира, будто в малой капле, отражаются в его личной беде. Нелепой и лживой ему предстает мифическая справедливость наград и кар. И в ответ на отдающее ханжеством умозрение мудрецов — раздаются дерзкие вопрошания Иова. Звучит то, что в эпоху плоского декадентского мышления получит имя «проклятых вопросов».

Невинен я; не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно; поэтому я сказал, что Он губит и непорочного и виновного. Если этого поражает Он бичом вдрут, то попытке невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же? (9.21—24)

Иов не осуждает, но вопрошает. Он тут не задается вопросами «почему» и «для чего» — требует только правдивой картины мира. Поэзия беспощадной судьбы разбивается о поэзию благородного недоумения. Иов отказывается исходить из того, что «должно быть», — и ссылается с завораживающей простотой на рассказы очевидцев.

Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомы с их наблюдениями, что в день гибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто предоставит ему пред лице путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам; и на могиле его ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь (21.29—34).

Образ б е з н а к а з а н н о г о з л а разрастается, подавляя лицемерную картину справедливого миропорядка.

В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. <...> С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего. а ночью бывает вором. <...> В темноте подкапываются под дома, которые днем они заметили для себя; не знают света. Ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. <...> А Он дает ему все для безопасности. <...> и очи Его видят пути их. <...> Если э т о не так, — кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? (24.12—25)

Смелые речи Иова не только сами поражают — поражает и за ними стоящая религиозная традиция. Какая основанная на дутом авторитете идеология позволила бы обнародовать подобной силы доводы, по видимости против нее направленные, — без немедленного прямого опровержения? Сам Господь не обвинит Иова в клевете: Он будет говорить о другом... А каково слушать эти речи мудрецам: они-то убеждены, что их понятие о справедливости есть благочестие, правдиво это понятие или нет; ничего, кроме кощунства, они в словах Иова расслышать не могут.

«Проклятыми вопросами» затрагиваются не одни лишь язвы общественного неустройства. Отчаянье Иова простирается на весь миропорядок, на неустройство мировое. За непоколебимостью «законов природы», перед которыми преклоняются и прекращают мыслить мудрецы, открывается Иову корень мирового неустройства — смерть.

Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выйдут не перестанут: если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается; отошел, и где он? (14.7—10)

Говорят, Ветхий Завет «не знает» идеи бессмертия. Христианство, исходя из этого, толкуют как «синтез» иудейского монотеизма с открытым будто бы эллинами бессмертием души. Идет это понимание от Филона Александрийского; оно по вкусу интеллектуалам; в этом духе мыслил, например, Бердяев. Глубокомыслие интеллектуальное крайне чревато религиозным легкомыслием. Да и просто человеческим: смерть ведь — дело, как бы сказать, чересчур личное; слишком она затрагивает боль каждого человека, чтобы делать ее «моментом» процессуального развития в истории культуры. Христианство же для христиан — не «синтез», но — единственное и неповторимое Откровение; его тем более из истории культуры не выведешь... Читая же книгу Иова, нельзя не задуматься: разве бессмертие не беспокоило, по крайней мере, иудеев? Эта тревога в речах Иова достигает высочайшего напряжения, заставляя вспомнить и Гефсиманскую ночь.

Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена (14.14).

И тревога эта в другом, еще более невероятном отрывке — обращается в дерзновенную жажду увидеть Бога.

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам: мои глаза, не глаза другого, увидят Его (19.25—27).

Все это — на грани между пророчеством и кощунством. Первоначальные читатели книги были проникнуты представлением о смертельной опасности, грозящей тому, кто осмелился бы воочию лицезреть Бога. Здесь гибель и бессмертие сталкиваются в рискованной близости. Бессмертие выражено уже в прямой надежде («восставит из праха... кожу мою»), не в одном только смертном томлении. Намек на будущее Откровение мерцает и в подборе слов — если верно, что Св. Иероним перевел как Искупитель еврейское слово «гоэл» (кровный мститель, избавитель, милосердный судья) потому именно, что слово это раввины-талмудисты применяли и к Мессии.

Но прежде всего Бог Иова — Творец (как, впрочем, и в первом члене нашего Символа Веры). Нелегко уязвить: как это в отчаянии Иова — больше надежды, нежели в кажущемся приятии мира мудрецами? Почему его чуть ли не кощунственные вопли дают место свежему дыханию пророчества? — Не потому ли, что, ясно различая неустройство мира, Иов, с его обостренно-чуткой душой, так же ясно различает на вещах мира печать Творца?

Как о Творце говорят о Боге и друзья Иова. Но для них это лишь формальное, так сказать, признание. Признание «одного из предикатов Божества». Иов чувствует иначе:

И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, — у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? (12.7—9)

И еще сильнее, как бы предваряя скорый ответ Самого Господа из бури:

Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключил воды в облаках Своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол Свой, распростер над ним облако Свое (26.7—9).

Богословие перемещается в план чисто зрительный — пространственный! Бог Елифаза не видит мира, ибо «облако — завеса Его»; в глазах же Иова облако осеняет Его престол, не скрывая от Него мира. Если облако Им Самим сотворено, как и весь мир, — чего ради Творцу скрывать от Себя Самого любовно сотворенное Им?

Но как ни тешат эти образы наш литературный вкус — они отталкивают наш просвещенный ум. Пронизанная подобными же образами речь Господа из бури кажется вышеупомянутому комментатору Библии построенной на «антропоморфизмах, <...> соответствующих уровню научных знаний той эпохи». — Это протестантская критика прошлого столетия приучила нас мыслить так. Может, те богословы и хотели «как лучше», хотели оживить наше отношение к Св. Писанию. Породили они, однако, лишь цепную реакцию недоверия. Это их оценки на поверку раз за разом оказывались соответствующими «уровню знаний той эпохи». Неоднократно приходилось, даже в мелочных деталях авторства и датировок, возвращаться к прежней традиции от необоснованных «критических» открытий. Библия и вообще — не о том, ее вести не зависят от уровня эпох, ее образы всю историю освещают. Да и что ненаучного, к примеру, в образе висящей «ни на чем» земли? Чем противоречат этому таинственному образу, чем проясняют его современные понятия сил и полей? Разве

эти, принятые для удобства работы с ними, современные понятия не заданы уже в изначальном образе властно повешенной «ни на чем» земли? Во всем мы кощунственно склонны «играть на понижение», нам и в речи Господа мерещится «антропоморфизм» — а не, наоборот, образ и подобие Господа в нас самих!

Иов настолько остро ощущает сотворенность сущего, что распространяет это ощущение и на духовный мир. Если мир сотворен, то и сама премудрость — сотворена. Самозаконному разуму Елифаза, Виллада, Софара не остается места во вселенной.

И если в книге Притчей Соломоновых мудрец говорит о Премудрости:

Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях; она звывает у ворот при входе в город, при входе в двери (Притч. 8.2—3), — то Иов недоумевает:

Но где премудрость обретается? и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, „не во мне она“; и море говорит: „не у меня“ (28.12—14).

Бездны не желают знать того, что знают мудрецы. Бездны отказываются свидетельствовать, будто премудрость вездесуща, а человеческая оценка окончательна.

Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли, и видит под всем небом (28.23—24).

И следует это — из самого акта Творения:

Когда Он ветру полагал вес, и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее; приготовил ее, и еще испытал ее... (28.25—27)

Не только «видел», но — приготовил, испытал, явил; потому видел, что Сам приготовил, испытал, явил. «Когда... ветру полагал вес» — явление интеллектуальное (премудрость) поставлено здесь наряду с материальными: какое оскорбление разуму...

Не то от Бога, что истинно, — но то истинно, что от Бога. В этом убеждении, которому тысячелетия будет сопротивляться просвещеннейшая часть мыслящего человечества, — в этом убеждении тверд Иов. И пусть в уста самой Премудрости вложил великий мудрец такие слова:

...кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа (Притч. 8.35), —

Иовом выстрадаю другое: на ком Господня благодать, тот и премудрость найдет. Ибо его Господь

...сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум (28.28).

Премудрость есть страх Божий и переживается человеком как личный дар, не как отвлеченная нравственность, выводимая «духом разумения» из самого себя... Все это, собственно, есть воспоминание Иова, некогда владевшего этим даром.

Теперь Иов не знает, чего хочет от него Господь. В отчаянье он выдерживает нападки все более озлобляющихся против него друзей. Ведь они хотят отобрать у него последнее, они яростно толкают его туда, где, Иов видит, нет Бога.

Сколько знаете вы, знаю и я; не ниже я вас (13.2).

Познаниями бывший вождь и судья мудрецам из земли мудрецов не уступит.

Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око мое (16.20).

Тут упарение на слове Бог.

Заступись, поручись Сам за меня перед Собою! иначе кто поручится за меня? (17.3) — Выступайте, все вы, и подойдите: не найду я мудрого между вами (17.10).

И не находя Господа, не слыша Его ответа, Иов достигает предела в своем отчаянии. С точки зрения Елифаза — если Господь равнодушен и слеп, это в порядке вещей, вопить тут нечего, тут кончается мысль и начинается мудрое успокоение. Для Иова это переносимо.

Но вот, я иду вперед — и нет Его, назад — и не нахожу Его... Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и Он не сокрыл мрака от лица моего! (23.8,17)

Отчаяние Иова сопряжено с горькими воспоминаниями о его прежнем образе — вождя и судьи.

А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить со псами стад моих (30.1).

Не только в мере нынешнего страдания — но и в мере прежнего благоденствия, и в мере праведности слышится ли равный Иову? Призадуматься бы об этом прежде, нежели декадентски славить или (все равно) ханжески осуждать «кощунство» Иова. Господь Иова — как Господь Иакова — допускает, чему не осмелились бы поверить мудрецы, состязаться с Собою. Однако не всегда и не всякого допускает.

Мудрецы, оскорбляя Творца, вслед за тем унижали и Творение, безразлично различая в нем одну нечистоту. Иов же — хоть и не находя справедливости в обращении с ним Господа — в величии Божиим видит не сравнительную мерку человеческого ничтожества, но как раз основание, обеспечение, гарантию человеческого достоинства. Залог цены.

И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи! Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми; доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не отпущу ее; не укорит меня сердце мое во все дни мои (27.1—6).

Итак, Иов со всей возможной резкостью отвергает утешения друзей — и обращается к Господу. Это стоит еще раз продумать, осознать выбор Иова во всей его отчаянности. Все-таки друзья — пусть несправедливые, пусть несмелые, пусть по ходу спора все больше озлобляющиеся — явились поддержать Иова в беде. Все-таки они здесь, рядом. И пришли они в такой миг, когда Иов остался вовсе один. Когда уже собственная жена, со свойственной оскорбленной женщине недобротой, ему присоветовала: «...похули Бога и умри» (2.9). — Да и не говорят Иову друзья чего-то слишком уж необычного, чего в подобных положениях не говорят люди, мудрецы особенно... Иов, однако, пережил такое, чего им не дано было пережить. И вот, по видимости опрометчиво отвергнув их: «А вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи» (13.4), — он безошибочно держится за свою опрометчивость, отстаивает ее.

И обращается к Тому, Кто неизвестно где, Кого нельзя видеть, Кто Сам — нашептывают Иову со всех сторон — равнодушен и слеп. Если ж и не равнодушен, то не без Его воли свалилось на Иова все то горе, от которого теперь и вопит Иов со своей кучи пепла... Присутствие Бога сгущается в атмосфере отчаяния.

Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, — стою, а Ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня, и заставил меня носиться по ветру и сокрушаешь меня (30.20—22).

Иов обращается к Господу, и смысловое ударение — ударение веры — вновь облекает его обращение... Последний вопль: невиновный Иов примет и обвинительный акт, и приговор, будь они представлены ему Творцом открыто.

Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец; объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем (31.35—37).

Тогда —

3

Господь отвечал Иову из бури и сказал (38.1).

Желание Иова удовлетворено. Господь отвечает ему. Миропорядок мудрецов рушится. Это не заключительное моралите, не постскрипtum, не эпилог. Тут рассказывается что-то существенное, новое, главное в книге, без чего она потеряла бы собственный смысл. Ведь до сих пор не сказано, чего ради попустил Господь разрушить жизнь Иова. Ведь не из похвальбы затевался открывающий книгу спор об Иове на небесах. Этот спор остается пока что таинственным. Тем более ни собеседники Иова, ни он сам не догадываются о Господнем замысле.

За Господом остается последнее слово, разрешающее всю притчу.

Еще не слыша Господа — равно как не слышали Его мудрецы, — Иов уже отстоял перед собеседниками свою правоту. Теперь он услышит Господа.

Поражение это или победа для верующего, как Иов, когда Господь — нужно это вообразить — откликнется ему из бури?

...Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне... (38.2—3)

Что спросит Господь? Уже чудо, что вызов Иова принят. Но, собственной волей — ибо прочие без суда осудили Иова — согласившись на тяжбу, что скажет Господь по существу дела? По своей мере бесконечно правый — по меркам мудрости заведомо осужденный: что услышит Иов?

...где был ты, когда Я полагал основания земли? скажи, если знаешь. <...> На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? (38.4—7)

Вот на что указывает Господь: на Творение. Вот единственно чем согласен Он оправдывать испытание Иова. Да и оправдание ли это, когда судьбы Иова Господь как будто вовсе не касается в Своей речи?

Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру и указывал ли заре место ее? (38.12)

Кроме Самого Творца — кто посмел бы этой мерой мерить разрушенную жизнь Иова? Кто еще — и где — почерпнул бы эти «доводы»? Бессильному «духу разумения» станет не по себе от таких выражений: «приказывать утру», «указывать заре место»

Воспоминание о Творении — таинственный предмет, равного которому трудно сыскать во всем Ветхом Завете.

Как Господь любит сотворенный Им мир! С упором на красоту и мощь развертывается образ мироздания — необозримый, эпически избыточный. Господь говорит о свете и тьме (38.19), о молнии (25), о ветре (24), о снеге (22), льде, инее (29), о дожде (26—28). Господь говорит о львице со льятами (39—40), о вороне с воронятами (41). Господь не забывает ни диких коз (39.1—4), ни дикого осла (5—8), ни единорога (9—12), ни страуса (13—18), ни коня:

...при трубном звуке он издает голос: „гу! гу!“ И издали чует битву, громкие слова вождей и крик (39.25).—

...ни ястреба, ни орла (26—30). — Весь мир, утренний мир человечества, мир Двуречья и Средиземноморья — предстает тут. И вся поэзия книги, разнородная и разнообразная, собирается здесь воедино, благодарно черпая из первоисточника. В лучевой сети этого рассвета пропадает, растворяется все, кроме правоты Творца.

Красота и мощь — вот чем судит Господь между Иовом и Собой, когда обращается к Творению. Правом Творца руководствуется этот суд.

Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреть голосом, как Он? (40.3—4)

В этой тяжбе Господь если и оправдывается — то лишь отсылая «истца» к Творению. Взгляд, который навязывается властно книгой Иова, который навязывается этой речью из бури, — сродни взгляду художника, одергивающего профана критика «Попробуй сам!» В обоих случаях источник права — один. Если это и теодицея, то исключительно творческая. В том же смысле вся книга Иова есть творческое доказательство бытия Бога.

И вот такой приступ к делу, такой поворот, такая теодицея кого-то не устраивает. Если уж согласился Господь тягаться с Иовом — так добро бы тяжба шла в русле почтенных умопостижимых категорий! Нет, однако: спор идет о столь нефилософских вещах, как «мышца» или способность «возгреть голосом». Это кажется философски бедным, абстрактным; чересчур поверхностные, наивные категории — красота и мощь! А потому стройная череда образов Господней речи рассыпается перед умственным взором рационалиста, предстает нагромождением «антропоморфизмов», устаревшим сводом «знаний эпохи».

Все это в духе софистического вопроса Гегеля: «кто мыслит абстрактно?» Конкретность понятия, богатство его определяется способностью к логическому развитию. Из образов же Господней речи не развить никакой логической идеи. Они, однако, именно образы (а не понятия); тут нужно переключиться в другую систему координат. С точки зрения понятия — все равно, издает ли при звуке трубы конь голос «гу! гу!» или нет, это в лучшем случае «способность одомашненного животного избирательно реагировать на внешние раздражители»... да и то для серьезной философской теодицеи чересчур несущественно. С точки зрения образа как раз существенно, какой именно голос подает конь, когда «издалека чует битву». Конкретность образа определяется как раз единственностью, неповторимостью жизни, кристаллизованной в образе, точностью восприятия, силой выражения. Никаких обобщений, никаких идей не вынести из боевого коня: их и не стоит выводить. Если выводить идею — то и получится, правда, «антропоморфизм». Однако речь из бури ценна не понятийным, не идейным — но своим собственным, образным богатством.

Сама эпическая избыточность речи вовсе не наивна. Перечислительные интонации происходят не из намерения поспешно поделиться «знаниями эпохи» в наибольшем объеме. Двух-трех примеров довольно для обобщения — но тут не ставилась цель: обобщить. Тут дало себе волю любованию Творца Творением. Человек призывается благодарно разделить это чувство, как разделяли его, ликуя, утренние звезды. Подробности — не лишни, напротив: они драгоценны, каждая из них — новая грань, которой поворачивается сотворенный мир к своему Творцу.

Теодицеи начинаются с вопроса: для чего благому Богу необходимо зло? Вопрос этот уже есть оправдание зла, которым и подменяет диалектическая хитрость

оправдание Бога В Библии нет таких вопросов (тем более — надуманных ответов на них будто зло необходимо для осуществления свободы и проч.) Книга Бытия рассказывает, откуда зло пришло в мир. А книга Иова утверждает невозможность для человека примириться со злом. Иов отчаянно ищет, как со злом покончить, а не как оправдать его. Речь же Самого Творца, передвигая судьбу Иова в горизонты вселенной, указывает на творческий и источник из которого черпаются силы призванные не оставить места злу в мире.

Каких только доказательств бытия Бога не создали богословы и философы! Однако творчество и — одной с ним природы — красота и мощь как-то все не попадают во главу угла. В книге Иова не замечают теодицеи, потому что Господь не оправдывает Себя с помощью последовательных доводов. В книге Иова не видят доказательства бытия Божия, потому что это не доказательство в строгом смысле слова, но — демонстрация силы, созидающей безмерно прекрасный и разнообразный мир. Господь не оправдывается, но подвигает человека причаститься красоте и мощи Творения.

По инерции мысли можно здесь искать «космологическое» или «телеологическое» доказательства: они ведь по видимости тоже обращены к мирозданию, к его причинно-следственным закономерностям или к его цели. Однако причина, следствие, цель на деле привносятся в мир человеческим мышлением; а сказанного о книге Иова достаточно, чтобы в ней не искать тождество мышления и бытия, — в речах мудрецов налицо даже позорное бессилие мышления перед бытием. В отличие от космологического или телеологического доказательства речь идет не о порядке и не о целесообразности мироздания, но о самом мироздании, о его красоте и мощи, творческая природа которых указывает на их личный, «заинтересованный» источник. на Творца. Порядок же и целесообразность тут как раз уязвимы, нарушимы, обратимы: хотя бы ради человека, о котором совершается в книге Иова великий спор.

Мимо таких доказательств, однако, упрямо их обтекающая, если не вставая прямо во враждебную к ним позицию, — двигалась мировая рационалистическая мысль. И вновь невольно приходят на ум «нефилософские» соображения: почему нет, гораздо точнее. кто обходил или отвергал такие доказательства? Да все того же склада люди: кто в бессильной ярости навязывает нелюбимому миру надуманный порядок, задним числом обосновывает целесообразность мира, не ощущая в душе ни причины его, ни цели. Кто втайне ничего, кроме мерзости разглядеть в этом мире не способен. Кто лишен дара любви, для кого творческие возможности закрыты — а если бы вдруг открылось их существование, то не вызвало бы ничего, кроме недоуменной обиды, чувства обойденности. Для кого красота и мощь мира — пустые слова в лучшем случае — декорация отвлеченных понятий.. Есть такие люди или есть такие состояния души, когда и речь Господа из бури не убеждает, когда и ликование утренних звезд заставляет лишь пожимать плечами. В таком случае — все это, правда, никакое не доказательство. С такими людьми — или с людьми в таком состоянии — спорить не о чем, как не о чем было спорить Гильгамешу с хозяйкой богов, как неумоготу спорить Иову с мудрецами.

Мудрецы таковы же и в Новом Завете: «книжники», в противовес которым Иисус учил как власть имеющий. Та же борьба и во всей христианской культуре. Для Гегеля звезды на небе столь же мало достойны удивления, как сыпь на теле человека или как бесчисленный рой мух. И он же произнесет как нечто само разумеющееся, будто «в христианстве менее всего (! — А. С.) надлежит нам знать Бога только (? — А. С.) как творческую деятельность, а не как дух...» (3-я лекция о доказательстве бытия Бога. Философия религии, т. 2, М., 1977, с. 355). — «Дух» же на жаргоне германских рационалистов означает познающий разум; ему-то Гегель и жертвует так решительно творчеством...

Мудрецы книги Иова, оскорбляя Творца, — тут же, по неизбежной внутренней связи, яростно чернили Творение. Теперь пора сказать — пусть несколько отступая в сторону, — мудрецы всех времен, хитроумно обходя творческое начало в Св. Писании, даже в богословии делали упор на познавательную деятельность в ущерб творчеству. И они — по столь же неизбежной внутренней связи — вытесняли творческое начало, вслед за изгнанием его из сферы божественной, уже прямо из жизнедеятельности человеческой.

Дух творчества последовательно изгонялся «духом разума» из духовной, хозяйственной, общественной жизни людей. По мере отчуждения каждой из этих областей от их единого творческого первоисточника, отдаления друг от друга и замыкания в самих себя — творческое начало в них постепенно гасло. В итоге сегодня само слово «творчество» ассоциируется едва ли не исключительно с творчеством художественным. И если одни рады здесь увидеть доказательство «несерьезности», поверхностности, ущербности самого творческого начала — то другие, напротив, разглядят пророчество о назначении художественности («красота мир спасет» Достоевского), разглядят в художественности последние укрепления творческого начала.

Так или иначе, в этой — художественной — области позиции творчества наиболее признаны и прочны, даже по сей день. Потому-то из тысячелетия в тысячелетие нарастающей клевете подвержено художественное творчество со стороны «духа разума». В особенности — поэзия, чей непосредственно-личный лирический импульс коренится во всех родах художественности — и которая потому, возможно, всего ближе первоначальной природе творчества как такового.

«Уход» Сократа от поэтов, изощренная цензура в утопии Платона, «много лгут певцы» Аристотеля — вот общеизвестная позиция древних мудрецов на этот счет. И если мудрецы новые стали как будто относиться к поэтам терпимее — то дело лишь в том, что в былой принципиальности не стало нужды. Художественное творчество, прежде всего поэзия, ко времени западноевропейского романтизма уже прочно было загнано в сферу прекрасного вымысла. В этой-то сфере философы отвели поэтам их, ныне свысока признанные, права. Не только общественное влияние поэзии было сведено на нет — но сами поэты, со свойственной художественным натурам повышенной восприимчивостью, развили в себе досадный «комплекс неполноценности» на этот счет. И готовы порой почитать отведенный им угол — каким-то правом на вымысел... жалкое право: вроде права шута говорить правду сильным мира сего. Правды же сей никто заведомо всерьез не примет.

Подозрительность в отношении к поэтам и поэзии, шире — к художественному творчеству, успела пустить корни и внутри христианства. Это от платоников переняли христиане радикальное отвращение к плоти (сплошь и рядом — и не вполне справедливо — отождествляющееся с подлинно христианским неприятием мирового зла). У платоников же было, применительно к искусству, перенято понятие об «эстетическом» как о плотском, чувственном созерцании. Вот и готов софистический силлогизм — и многие христиане страшатся «демонической» греховности, якобы содержащейся в художественности как таковой.

Художник может и грешить, и кощунствовать (как чиновник, рабочий — или философ). И, правда, прельстительная сила художественного дара сообщает художественно выраженному кощунству духовную разрушительность. Не столь давняя эпоха свидетельствует, как, например, российские поэты-декаденты своей «демонической» безответственностью не только уродовали собственную, Богом им дарованную жизнь — но и способствовали сгущению той атмосферы духовного беспорядка, в какой и пришлось тогда решаться судьбе России. Но та же недавняя эпоха со всей наглядностью показала: сам этот дух безбожия и бесчеловечности проистекает не из поэзии, не от поэтов — но от людей вовсе других профессий, не в последнюю очередь — от философов-идеологов. Равнодушие к ценностям — вот суть дела; шеголяющий же безответственностью декадент, образ которого столь пугает моралистов, лишь держит нос по ветру эпохи. Если же его дар сообщает аморализму особую притягательность — то с тем же успехом можно винить и плотническое искусство в изобретении виселицы. Природа художественного творчества тут ни при чем.

На протяжении тысячелетий делом мудрости было, прежде всего, развести по сторонам основные составляющие творчества в его первоначальном смысле — красоту и мощь, которыми дышит речь Господа из бури. Эстетика рационализма — тот его департамент, который ведает загнанным в угол художественным творчеством, как ведает Церковь особый совет в атеистическом государстве. Эта эстетика неприязненна к мощи, власти, любым «силовым» образам: она отрывает красоту от мощи. (Налицо и противоположная, идеологически роковая крайность: когда мощь отрывается от красоты, ведя к культу животной силы.) Красота в рациональной эстетике устойчиво сопряжена с созерцанием. Эстетические категории в лучшем случае — как у Канта — определяются через «незаинтересованное удовольствие». Тем подразумевается, что интерес человека может быть лишь низменно-материальным. Дух тем самым лишается какого бы то ни было собственного интереса; живой же, «заинтересованный» человек теряет свои права как духовное существо... Личность как таковая теряет суверенитет, уступая место фиктивному «Я», то есть общему для всех людей органу познания. Потому-то центральная фигура настоящего творчества — творец, автор, художественно активная личность — отодвигается в современной эстетике (и во все больше ориентированном на нее практическом искусствоведении) на задний план.

И вот обратиться к разговору о поэзии в Библии, вернуться к поэзии Библии — значит разорвать и отбросить эту хитроумно сплетающуюся тысячелетиями диалектическую цепь. Эту последовательную цепь отчуждений и расчленений, которая тянется за современным представлением о поэзии. Иначе говорить о поэзии в Библии — чревато недоразумениями. Эстет-атеист обнаружил бы в Библии «только» поэзию, и он рукоплескал бы такой поэзии. Богослов-рационалист на тех же основаниях вовсе отказался бы говорить о поэзии в Библии. Однако поэзия Библии — не «только» поэзия. Она не украшение, не иллюстрация мысли, не инсказание. В ее образах, которым отвлеченное обобщение противопоставлено, уже выражено

то, что имеют сообщить нам богодухновенные авторы. Речь идет не о вымысле, но о творчестве в противовес небытию. Речь идет о сотворении жизни, на которую в бессильной ярости и покушается «дух разумения». Речь вообще идет о мире Библии — мире, которому сам слог современной науки показался бы если не злонамеренностью, то слабоумием. Само слово «поэзия», впрочем, образовано от глагола со значением «творить, делать» в широком смысле. Так что говорить о поэзии в Библии не значит унижать библейского повествования: аллегорические и рациональные толкования его унижают. Говорить о поэзии в Библии — значит, наоборот, указывать на изначальную природу самой поэзии как на высший род деятельного бытия. И это же значит, с другой стороны, прикоснуться к собственному смыслу библейского свидетельства.

Неизбежно скользящее тут повсюду уподобление человеческого творчества Божественному Творению навлекает немалую ответственность. Сознавая эту ответственность, не стоит бояться ее — и не стоит названное уподобление загушевывать. Да, несопоставим размах, несоразмерима цена Господнего и человеческого творческого акта. Но ведь Господь создал человека по Своему образу и подобию. Уподоблять — не значит соразмерять. Хотя, подумать только, не стесняются же как раз соразмерять человеческие понятия о причинно-следственном порядке или целесообразности — с Божественными! В чем же искать те образ и подобие? В разумном мышлении? Которое сообщает «разумному» счастливую способность «доставлять пользу себе самому»? Да ведь такого ума-разума в достатке и у зверей. Так что же выделяет человека из животного царства, какой властью наделил человека Господь среди тварей земных?

Творчество дает человеку ни с чем не сравнимую в природе возможность. Человеку дано благодарить Творца за Творение — а не доставлять лишь, как скот, пользу себе самому. Возможность эта, возможность бескорыстной благодарности, прежде и прямее всего осуществляется именно в творчестве. Наделив Адама даром нарекать имена всему земному, Господь тем самым призвал его принять посильное участие в Творении. Человеческое творчество, при всей несоизмеримости, было благодарным сопровождением Божественного Творения, было соприродно ему. На каких же еще путях искать образ и подобие Бога в нас?

Человек может руководствоваться какими угодно собственными целями, чуждыми таинственным целям Господа. Сколь угодно светные мотивы могут, особенно поначалу, толкать человека на творческий путь. Но во всем том лишь дает о себе знать неисповедимость Господних путей. И сам творческий миг, беспочвенный восторг захлестывает человека, намекая на то, что черпать ему дано все из того же единого первоисточника — иначе же он бессилен что-либо создать. Бескорыстная благодарность остается сердцевинной творческого акта.

Если же порой и в благодарности обиходной, в признательности за услугу человек уступает животному; если превращается в животное «на двух ногах и неблагодарное» (определение Достоевского в «Записках из подполья»), — так это лишь одно из следствий того же распада, утраты единого творческого начала, в конечном счете — первородного греха. Адам сам предал данную ему Господом чудесную власть.

Однако и по сей день творческая мера достаёт далеко за пределы автономной эстетики. Словоупотребление — не пустяк, и в корнях слов пульсирует их древнее значение. Так вот, в обиходе и формалист-эстет назовет неудавшееся художественное произведение слабым; но и сухой моралист отзовется о дурном поступке: некрасиво. Красота и мощь остаются единым судом, и в них печать того же первородства.

Спор об Иове на небесах был затеян по праву Творца. «Творческое доказательство» заключено не в каком-то суждении или отрывке книги: вся книга Иова целиком есть такое доказательство. Поэтому вся обстановка и все «точки зрения» в книге — поэзия. Сухим жаром дышит она в «утешениях» мудрецов, а в «возвышенных речах» Иова — свежей горечью. Метафорами, в которых то страшно, то трогательно дают о себе знать заботы дня и движение природы, пестро провязаны все речи книги. Головокружительный обзор мироздания в речи Творца выдвигает эту многоярусную поэтическую постройку в пределы вселенной.

Обзор мироздания венчается самыми необычными, вовсе не на человеческую мерку скроенными образами: бегемота —

...которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол... (40.10), —

и левиафана:

Кто может отворить двери лица его? круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасаются близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у него, как ресницы зари (41.6—10).

«Знаний эпохи» в очередной раз тут искать не стоит. Не ставил себе целью библейский автор похвалиться осведомленностью насчет фауны нильской долины. Также и никакой функциональной незаменимости обоих зверей, их «необходимости» в природе — не отмечено тут. В очередной раз ничего не докажут эти образы тем, кому бегемот ли, крокодил ли — сами по себе лишь пустые случайности, лишённые какой бы то ни было идейной нагрузки. В книге Иова их образы венчают собою Творение: на каком основании? Да на том, что как раз эти-то произвольные случайности тут существенны. Существенно и как говорится о животных. Вот уж на что диковинная тварь — бегемот, а и его создал Господь, «как и тебя», наряду с человеком — и ест он себе траву, как заурядный сельскохозяйственный вол! То есть это и существенно: как раз захватывающий вид, образ делает обоих зверей достойными завершить собой обзор мироздания.

Теперь уже отвечать Иову.

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (42.5—6).

Почему «поэтому»? Иов отрекается — это ясно; от чего, однако, он отрекся? Из приведенных слов Иова явствует: от своего неведения, прежнего неведения. Никак не от честности своей в неведении, никак не от дерзания своего. Дерзание Иова, собственно, предстает удовлетворенным: он хотел Господа слышать — он Его услышал. С утешением же, какое предлагал «дух разумения», Иов так никогда и не смирился.

Далее: чего ради отрекся Иов? Поразительно ведь: о сути дела, о причине «воплей», о разрушенной жизни своей — Иов больше не говорит. А ведь об этом ему и Господь, в оправдание Свое, не сказал ни слова!

Чего же ради?.. Да все того же. Настолько захватило дух Иова перед раскрывшимся в речи Творца мирозданием с его красотой и мощью, — что множить счет обид (даже его счет пусть и справедливых обид!) Иову стало попросту «неинтересно».

Ничто в речах друзей — а речи их, можно повторить, прообраз философской мудрости на тысячелетия — не убедило Иова. Господь же вовсе не «убеждал» и не «переубеждал» его. Господь заговорил как бы вовсе «о другом». О новом. Господь только властно развернул перед Иовом картину мира — и это было единственное «оправдание», каким Он удостоил Иова. Но вот оно-то и оказалось единственным, какое Иов бы принял.

Все на свете потерял Иов — и сам же с безжалостной убедительностью пресек лицемерные попытки примирить его с утратой. А вот Божественная повесть о Творении заорожила его.

Вдуматься — так ведь это вроде как и жизненно, и «по-человечески» понятно. Кому не случалось перед лицом чего-то нового, неожиданного, под током нахлынувшего увлечения забывать потерю, за миг до того казавшуюся невозможной? Но тут велика разница в размахе, в масштабе; отречение Иова потому предстает не то чудом, не то кощунством, что само его положение на нашу мерку — не жизненно, не типично, «по-человечески» не привычно. Не стоит забывать разницы: крови детей Иова забывать не стоит.

Тут-то начинается основное «философское» затруднение.

Поскольку беда Иова чрезвычайна, исключительна, несравненна — «что с ней делать» философу?

Тут отодвигается в сторону неодолимая склонность обобщать — и, обобщая, морализировать. Налицо история, с трудом воспроизводимая, плохо поддающаяся обобщению. С кем еще стряслось такое, как с Иовом? Кому еще в беде являлся с отчетом о Творении Господь?

А тогда — что же в книге Иова за «нравственная польза»? Какой урок человечеству?

То-то и оно: сама невыводимость «уроков», неготовность к оргвыводам есть уже очень неплохой урок. Общих решений порой нет — и не всегда стоит искать их. И в решающие эпохи жизни, может статься, особенно непригодны обобщения. Друзья навязывали Иову свою мудрость как общеобязательную — а она для него оказалась совершенно бесполезной, Сам Господь подтвердил это. Точно так же, увы, как творческая мощь и красота мира, вера и чудо окажутся совершенно бесполезными для мудрецов во все времена — если только властно не одернет их голос из бури, как это рассказано в книге Иова, или не вложат они пальцев в открытую рану, как Фома.

Как коллектив не даст человеку ответов на вопросы жизни и смерти — так не даст их и философское обобщение.

Выстрадавшая личным опытом истина не всегда пригодна для кого-то другого. Однако это никак не обесценивает ее. Личное откровение не перестает быть

откровением. Более того, оно не всегда «обязано» оставаться личным и только личным. Оно способно распространяться на ближних, на единомышленников, а в напряженные времена, в прорывах истории — и на большие людские сообщества. Утверждать, будто откровение «всегда» индивидуально, «только» индивидуально, что человеческая душа «абсолютно» замкнута и автономна, что нет места на свете влияниям, взаимопониманию, традициям, — означало бы точно так же необоснованно обобщать, только с обратным знаком.

И если сегодня в московском храме, в головокружительном колебании пасхальных свечей душу неопита захлестывает восторг — то вряд ли ему стоит торопиться с утверждениями о всеобщем религиозном возрождении, хотя именно так он и переживает совершающееся с ним. Как не стоит ему и скептически рассеивать собственное чувство. Глубокое, честное, до конца переживание личного свершения наряду с трезвой оценкой совершающегося вокруг — вот что плодотворно, вот что можно вычитать из книги Иова.

Иову так и не было дано примириться с утратой. Ему было дано другое. Был открыт источник — откуда черпать силы. «Принимать» или «не принимать» — это всего только две стороны мертво-страдательного отношения к жизни, которому чужда вся иудео-христианская традиция. Искать новой жизни — другое, творческое измерение. В конечном счете — религиозно-творческое. Творческий источник открылся Иову в красоте и мощи мироздания.

И не новое счастье, не новые дети — и не «постепенно», не со временем — возродили к жизни Иова. Прямо в речи Господа из бури уже открылась Иову новая жизнь — и новое счастье, новые дети ее лишь воплотили и упрочили собой.

Когда же велик Иов? Он и прежде, и теперь велик. Его величие в его вере. Она как страх Божий выступала в дни благоденствия. И она же как взыскующее дерзание выступила перед лицом катастрофы.

Богообязанность Иова не была «нравственностью», как его дерзание не есть декадентский «бунт». Нравственность — беспочвенна, общеобязательна для всех, безлична. Бунт безбожен. Страх же Иова, как и его дерзание, есть интимное отношение к личному Богу. Дерзая, Иов не «отрицает» Господа, но перед лицом Его отстаивает свою правду.

Велик Иов и в третий раз. Когда в речи Господа из бури нашел источник новой жизни — и смело ступил на этот путь. Иов был и остался угоден Господу. Иначе как толковать:

...сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов (42.7).

И что же такого сказал о Господе Иов с его дерзкими воплями? Но и Господь — что такого открыл Иову, что тот в двух словах рассчитался с разрушенной жизнью своей? Это для трех мудрецов тайна: что за разговор состоялся у Господа с Иовом, какие же это отношения между Ним и Его рабом? Господь удаляет их.

Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов (42.8).

Трое мудрецов, можно предположить, так и поступили. Были они все-таки людьми такого склада, что у них и от собственных мрачных откровений волосы вставали дыбом...

И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние... (42.12)

Сатана не дождался от Иова хулы на Господа. Так разрешается спор об Иове на небесах, открывающий книгу. Знаменитый вопрос: искушает ли Бог? Может поспешно представиться: да, — как будто вся книга ведь об этом. Но в книге с самого начала разграничено: Господь предает Иова искушителю — искушает же человека Сатана, то есть, по смыслу этого слова, дух противоречия, прекословия, тягбы. Враг рода человеческого, Он искушает Иова роком, чередой катастроф. Но он же есть дух познания (кн. Бытия). Поэтому к искушениям судьбы добавляются искушения разума. Иова мучат мудрецы. Несправедливости мало — надо еще заставить Иова принять ее за справедливость.

Колеса тысячелетий шумели, неся миру перемены за переменами. Но мука Иова вечна — как со времен Ура вечна искушающая человека мудрость. И в наш век, когда небывалые массовые насилия не отменили неизбежности умирать в одиночку, — и в наш век читаем о редчайшем и мучительнейшем роде религиозной жизни:

«...когда человек... за свою горячность, или, вернее, предузнанный Богом, получает великую благодать, благодать совершенных» (Иеромонах Софроний. Старец Силуан. — Париж, 1952, с. 14).

Что это за «горячность», которую вернее назвать божественной предузнанностью? И почему сам Силуан, один из поздних афонских старцев, переживал дальнейшее течение своей жизни как богоотставленность и говорил: «вы не можете понять моей скорби» или «кто не познал Господа, тот не может с плачем искать Его» (там же)?.. Не сродни ли все это — совершившемуся с Иовом? Не там ли исток — под твердыми, как литое зеркало, небесами?

За то, как отстаивал Иов правду свою, ему не досталось мира, переделанного по его правде. Однако нечто большее досталось ему. Причем не в последнюю очередь как раз за то, как он отстаивал свою правду. Иову досталась причастность творческой красоте и мощи Божьего мира. В этом исток новой жизни открылся ему.

Все с лихвой возвратилось Иову, Господь отвел от него руку врага.

И умер Иов в старости, насыщенный днями (42.17).

Январь—февраль 1981;
сентябрь—октябрь 1984;
апрель 1985.

Толкование текста Библии есть разновидность спорта; это толкование не может быть состязательным. В этом предприятии невозможно быть единственным. Толкование книги Иова, предложенное Александром Сопровским, прежде всего — очередное. Более того, первые толкователи Библии — это ее герои. Сама книга Иова — это столкновение по крайней мере пяти различных толкований событий, происшедших с Иовом. Их толкует Иов, их толкуют его друзья, их толкует Бог. На протяжении веков к этим толкователям, подсаживаясь то к одному, то к другому, присоединялись бесчисленные экзегеты. Прямо скажем: обычно подсаживаются к друзьям Иова, к стороне заведомо проигравшей. Дело в том, что большая часть толкователей, по определению, — люди, которым нравится толковать и которые во всем ищут толк. Среди толкователей книги Иова были рационалисты и иррационалисты, иудеи и христиане, хасиды и старцы, гегельянцы и экзистенциалисты. Лишь один тип не был представлен — поэт.

Взгляд А. Сопровского на Библию — это взгляд поэта, поэта по самоощущению, по притязаниям, по искре Божией. Обычно поэтам просто лень — или некогда, или нет нужды — заниматься толкованием Библии. Они пишут стихи. Сопровский не упускает случая в тексте толкования скептически отозваться о «религиозном возрождении России», однако он лично, безусловно, есть факт этого именно религиозного возрождения, далеко не общепризнанного и немногочисленного, но общепризнанным подлинно религиозное явление быть в современном мире и не может.

Среди прочих толкователей книги Иова ближе всего Сопровскому толкование Гилберта Честертона. Честертон тоже не остановился на рассудочном, рациональном уровне толкования, тоже пришел к последней главе книги как решающей. И для Честертона явление Творца — единственный возможный ответ на все претензии к Творцу. Но Честертон, хоть он и писал стихи, — сомнительный поэт, а скорее рифмующий интеллект (только упаси Бог осуждать Честертона за сочинение стихов — просто все время хочется, чтобы у него было еще больше прозы): Сопровский ощущает в Божественном творчестве слияние мощи и красоты — Честертон мощи не видит, а лишь воображает ее себе. Творчество для Честертона слишком родственно возне с игрушечным, настольным театриком. Не берусь судить о Сопровском как поэте среди поэтов, но среди толкователей Библии он, безусловно, единственный поэт.

Кратко и квалифицированно Сопровский дает обзор предшествующих толкований. Главной же свой упрек предшественникам он явно не выговаривает: среди них нет поэтов. С Кьеркегором и Шестовым, с Достоевским и Бердяевым Сопровского разводит только это. Особенно странно — и особенно закономерно — отчуждение его от Бердяева, потому что с логической точки зрения этот мыслитель практически идентичен Сопровскому как апологет творчества, апологет далеко не декадентский, исполненный, казалось бы, пророческой, ветхозаветной мощи. Но все же и Бердяев не поэт, а всего лишь поэтический тоскующий философ. Его мощь остается интеллектуальной силой. Он рождает мысль, а не образ.

Сопровский рождает именно образ. Его толкование содержит в себе логические ходы, но они сугубо вторичны по отношению к защите Бога как Поэта, к восприятию вселенной и человека как поэмы Творца. Стараясь внешне выдерживать традиционный дискурсивный стиль, поэт не выговаривает главного: он воспринимает мучения Иова как мучения рождающегося образа («образа Божия», разумеется). Бунт стихотворения против своего создателя, бунт стихотворения, которое читают злобные и глупые читатели, — фантастически жуткая картина, о которой не говорится прямо, но

которая остается после прочтения. Встреча стихотворения с Поэтом вот чем оправдывается Бог.

Опыт предшествующих толкований Сопровский умещает в две концепции оолготерпения Иова или его дерзновения. Чтобы точнее оценить его собственное толкование вернее помнить о соединении в Иове, как и в каждом человеке, веры и религиозности. Эти два явления соотносятся, как гений и мастерство. Как гений и мастерство, они никогда не бывают абсолютно синхронны. Религиозность постоянно отстаёт, она ориентируется на слабейшую часть человеческого или социального организма. Вера ориентируется лишь на Бога. Трагедия Иова не столько в столкновении с любовью, недостаточно верующими и при этом слишком религиозными, сколько в столкновении внутри самого Иова вековой религиозности и очень личной, революционной веры. Иову дано Богоявление — только оно примиряет веру и религиозность. Опыт беседы с Иовом, предложенный Сопровским, тоже освещен его личной встречей с Творцом — встречей, примирившей веру и религиозность с поэтическим даром.

Яков КРОТОВ.

Ч и т а й т е в 1 9 9 2 г о д у :

НАТАЛИ САРРОТ

Дар речи

Jch sterbe. Что это? Немецкие слова. Они значат «я умираю». Но откуда это? Почему вдруг? Сейчас узнаете, потерпите немного. Они явились издалека, они пришли (как мы говорим, «мне пришло на память») из начала века из немецкого курортного городка. Но на самом деле из областей куда более далеких... Однако не будем спешить, отправимся сначала туда, куда ближе. То есть в начало века — в 1904 год, чтобы быть точными, — в гостиничный номер немецкого курорта, где приподнялся на постели умирающий. Он был русский. Вам знакомо его имя: Чехов. Антон Чехов. Он был прославленным писателем, но в данном случае это не важно — можете не сомневаться, он не имел намерения оставить нам на память знаменитое предсмертное изречение. Нет, только не он, это было совсем не в его духе. Его слава имеет для нас лишь то значение, что благодаря ей эти слова не пропали, как пропали бы, будь они произнесены каким-нибудь заурядным умирающим. Но этим и ограничивается ее значение. Есть другая важная деталь. Чехов, вы ведь знаете, был врачом. Он болел туберкулезом и приехал сюда, в этот курортный городок, лечиться, но на самом деле (как он признался друзьям с неизменной своей иронией по отношению к себе, с той беспощадной скромностью и смирением, которые, как мы знаем, были ему свойственны) — чтобы «поддохнуть». «Еду туда подышать», — сказал он им. Итак, он был врачом и в последнюю свою минуту, когда у его постели стояли по одну сторону жена, по другую врач-немец, он приподнялся, сел и сказал — не по-русски, не на своем родном языке, а на языке другого, на немецком, — сказал громко и четко: «Jch sterbe». И упал на подушки мертвый.

И вот эти слова, произнесенные на этой кровати, в этом гостиничном номере три четверти века назад, вдруг являются... каким ветром их занесло?... и опускаются здесь... маленькие угольки... черня, прожигая белую страницу...

Перевела с французского ИРИНА КУЗНЕЦОВА.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ О РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ И ХОРЕ ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО

Для Д. Д. Шостаковича, как и для многих его великих предшественников, русская песня являлась огромной духовной ценностью. Бойкая подделка, опошление истинно народного искусства оскорбляли слух и чувства композитора даже в раннем детстве. Дмитрий Дмитриевич вспоминал, как, будучи ребенком, он однажды увидел и услышал на эстраде петербургского «Аквариума» наряженных в якобы народные костюмы кривляющихся «мужиков» и «баб» и тут же с криком: «Не хочу! не надо!» — плача, бросился к отцу, словно ища у него защиты...

Принципиальным можно считать следующее суждение Шостаковича о том, какие формы обращения к музыкальному фольклору по-настоящему плодотворны. Отмечая усиливающееся влияние народной музыки на молодых композиторов, Шостакович в 1968 году говорил: «Дело здесь не в том, чтобы точно процитировать в своем произведении ту или иную народную мелодию. На основе народных мелодических интонаций (это, кстати, касается не только русской музыки, но и грузинской, украинской, казахской, эстонской и др.) надо создавать самостоятельную, «авторскую» музыку, передающую народный характер, колорит, время. К разным пластам фольклора обращаются композиторы. Шедрин, например, отдает предпочтение современному фольклору: частушке, попевке, хороводной песне и т. д. Но было бы неверным говорить, что Шедрин занимается только частушкой, а Слонимский, например, преимущественно протяжными «страдальными» или старинными «разбойными» песнями. Цель-то у них одна — поиски своего, самостоятельного музыкального языка, и в этих поисках почва для них — фольклор. И не только у них»¹.

И в собственном творчестве Шостакович придерживался провозглашенных принципов. Он создавал незабываемые мелодические образы русской народной песни, примером является знаменитый хор каторжников «Версты» из последнего акта оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Это не обработка народной песни, а авторское произведение в народно-трагедийном духе, сопоставимое с хорами Мусоргского из «Хованщины» и «Бориса Годунова».

Между тем Шостакович неоднократно сталкивался с примитивным, даже вульгаризаторским отношением к народной песне, к ее духу. Случай открыто высказаться по этому поводу представился ему на I съезде Союза композиторов РСФСР, где Дмитрий Дмитриевич резко и откровенно критиковал хор имени Пятницкого.

В. В. Хватов, один из руководителей хора, ответил на выступление Шостаковича адресованным ему открытым письмом, которое было направлено в «Правду», но не напечатано там, а переслано газетой адресату. В свою очередь композитор жестко и прямо ответил Хватову. Этот ответ, а также стенограмму своего выступления на I съезде и письмо В. В. Хватова Шостакович послал мне с просьбой помочь ему составить более «деликатный и ясный» ответ оппоненту. Я решил, что в основу этого ответа следует положить письмо Шостаковича Хватову, присовокупив к нему мысли и высказывания Шостаковича о русской народной песне, неоднократно слышанные мною из уст композитора в частных беседах. Дмитрий Дмитриевич, одоббив этот вариант, не решился, однако, его отравить, но без оснований полагая, что он станет известен могущественному аппаратному «музыковеду» — старшему инструктору отдела культуры ЦК партии Б. Ярустовскому, враждебно настроенному к Шостаковичу, и повлечет за собой немалые неприятности... Все материалы, связанные с этой историей, остались в моем личном архиве.

Цена каждую мысль Д. Д. Шостаковича и дорожка каждой принадлежащей ему строкой, я счел полезным обнародовать документы, относящиеся к этой полемике вокруг его взглядов на народное искусство.

Публикация и предисловие Л. ЛЕБЕДИНСКОГО.

¹ «Д. Шостакович о времени и о себе. 1926—1975». М. «Советский композитор». 1980, стр. 305.

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ

Выступление на I съезде Союза композиторов РСФСР (4 февраля 1960 г.)

Товарищи!

В своем приветствии Бюро ЦК Коммунистической партии по РСФСР пожелало нам больших успехов в деле создания прекрасных произведений, в деле строительства и расцвета русской советской музыкальной культуры.

Мне бы хотелось сегодня поделиться с вами некоторыми своими мыслями, которые, как мне показалось, пока недостаточно нашли отражение в выступлениях товарищей на съезде.

Это вопрос о связи с русским народным творчеством, о связи с русскими песнями, русскими танцами.

Помня великие традиции русской музыкальной классики, нельзя не сказать, как много черпали для своего вдохновения из русского народного творчества Римский-Корсаков, Глинка, Чайковский, Мусоргский, Глазунов, Лядов, Бородин и ряд других выдающихся русских классиков.

Можем ли мы поставить себя в ряд с нашими великими предшественниками в деле глубокой связи с русским народным музыкальным творчеством? Казалось бы, внешне дело вроде бы обстоит до некоторой степени благополучно: имеются ансамбли русской песни, русской пляски, имеются хоры, которые посвящают себя русской народной музыке. Но фактически пока, как мне кажется, дело обстоит не очень благополучно, и мне бы хотелось в связи с этим поделиться своими тревогами.

Я понимаю, что у нас сегодня и вчера происходит наш Первый съезд русских советских композиторов, съезд праздничный. Это открытие, наше рождение! Но все-таки я не могу на этом праздничном съезде не высказать несколько мыслей, которые меня тревожат в последнее время.

Я имел возможность прослушать новую программу Государственного русского народного хора имени Пятницкого несколько дней тому назад.

Я не являюсь почитателем этого русского народного хора, как он называет себя. Мне показалось, что в этом хоре далеко не благополучно и неправильно используется русская народная музыкальная культура.

На днях художественный руководитель хора М. В. Коваль пригласил меня посетить генеральную репетицию хора и общественный просмотр новой программы. Программа эта будет как будто дорабатываться, улучшаться. Вчера я говорил с М. В. Ковалем, который обещал, что по этой программе будет проведена большая работа. Однако сама программа, которая была названа «Русская земля», вызвала у меня следующие мысли.

Совершенно ясно, что не может получиться хороший кинофильм из плохого сценария. Это показала практика: плохой сценарий — плохой фильм. Не могут великолепные оперные певцы своим талантом вытащить плохую оперу. Не может музыкальная организация, музыкальное предприятие, будь то симфонический оркестр, хор, камерный ансамбль и т. д., иметь художественную ценность, если основание ее, то есть музыкальный материал, является неудовлетворительным. Вот такое впечатление на меня произвела последняя программа хора имени Пятницкого.

Некоторые вещи меня глубоко возмутили. Всякая народная песня, всякий народный танец — это наше общее композиторское достояние, и мы имеем право и обязаны взять их как источник вдохновения для наших композиторов. Но то, что сделал композитор Хватов с «Камаринской», меня глубоко возмутило, и надо было совсем не обладать чувством скромности, чтобы после «Камаринской» Глинки позволить себе выпустить «Камаринскую» Хватова в его аранжировке.

Очень слабыми были произведения композиторов Щекотова, Компанейца, Лаврененко. Не все удачно было в творчестве самого художественного руководителя Ковалья, кроме обработки народной песни «Эй, ухнем», которая показалась мне сделанной по-новому.

Поэтому мне кажется, что обязательно следует к работе этого высококвалифицированного коллектива, обладающего очень интересными и хорошими певцами, очень сильной танцевальной группой, привлечь высококвалифицированных композиторов. А то получается такая картина, когда превосходная танцевальная группа, превосходный хор работают впустую, потому что без настоящей, квалифицированной, очень хорошей музыкальной основы работа этого коллектива не имеет своего высокого смысла. И мне кажется, что художественному руководителю этого коллектива следует тщательно подумать об улучшении самого музыкального материала.

Я начал с того, что мы не можем стать вровень с замечательными композиторами-классиками в том, как они использовали народную песню, и поэтому наша вина, что получилась такая плохая программа такого интересного коллектива из-за того, что там не работают в настоящее время квалифицированные и талантливые русские композиторы.

Русскую музыкальную культуру мы должны обязательно двигать вперед и мы не сможем этого делать без связи с замечательной народной песней.

У меня просьба и к композиторам, своим коллегам и товарищам, и к нашим ученым-музыкантам — мало работ по фольклору. На днях мне попала находка — книжка о современных народных песнях Куйбышевской области. Там попадаются прекрасные песни, ничуть не хуже, а может быть, и лучше старых народных песен, которые до сих пор казались непревзойденными образцами русского народного творчества.

Значит, Советская Россия, как это совершенно ясно, может петь и должна петь гораздо лучше дореволюционной России. И наша обязанность и обязанность наших ученых фольклористов, этнографов сделать всеобщим достоянием народные песни Сибири, Урала, наших центральных областей Российской Федерации.

И мне кажется, что ответить на приветствие ЦК КПСС, которое мы получили, мы сможем только делом, только своим творчеством.

Если у нас не будет наведено достаточно порядка в деле наших связей, в деле розыска и публикации фольклорного русского материала нашей огромной Российской Федерации, тогда у нас ничего не получится.

Народному Артисту СССР Шостаковичу Д. Д. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемый Дмитрий Дмитриевич!

В своем выступлении на съезде композиторов Российской Федерации Вы рассказали о своих неблагоприятных впечатлениях по поводу только что прослушанной Вами на генеральной репетиции новой программы хора им. Пятницкого.

С особой силой и возмущением обрушились Вы на мое произведение-обработку народной песни «Камаринская» для русского народного оркестра.

Я с большим удовлетворением воспринял бы критику столь большого художника, каким являетесь Вы, но поскольку Ваши высказывания о моем труде ошибочны, неправильно ориентируют и участников съезда и печать, где помещены отчеты о Вашем выступлении, я позволю себе отвергнуть Вашу критику и показать ниже причины моего с ней несогласия.

Вы сказали: «То, что сделал композитор Хватов с «Камаринской» меня возмущает» Что же Вас возмущает, Дмитрий Дмитриевич?

Я написал обработку в вариационной форме на тему «Камаринская» для ансамбля владимирских рожечников в сопровождении народного оркестра.

Небольшая простая форма и структура произведения, близкая к песне доступная возможностям народных духовых инструментов, вполне отвечают требованиям и традициям коллектива хора им. Пятницкого.

Я не искажил, не опошил песню, применил при обработке ладовую строгость, полифонию народного склада и вполне закономерное варьирование основной мелодии. Если иметь в виду, что владимирский рожок имеет диатонический звукоряд всего из 7 тонов, то можно признать, что моя пьеса написана достаточно изобретательно.

До написания «Камаринской» я дал коллективу много народных песен в обработках, которые прочно держались в репертуаре оркестра, полюбили слушателям. записывались, печатались и передавались по радио.

Что порочного и плохого Вы нашли в моем произведении — остается для меня совершенно неясным.

С моей точки зрения, Ваше возмущение по поводу качества моего произведения я считаю неправомерным.

Особую мою вину и дерзость Вы видите в том, что я, «потеряв чувство скромности, после «Камаринской» Глинки выпустил «Камаринскую» Хватова».

Возмущение и в этой части я считаю результатом Вашего заблуждения. Основываясь на том, что каждый композитор имеет право обращаться к народным песенным источникам, на тему «Камаринская», до появления моей обработки, писались произведения целым рядом других композиторов, напр.:

1. «Камаринская» в обработке композитора Куликова, с успехом исполняемая Гос. орк. нар. INSTR. им. Осипова;

2. «Камаринская» в обработке для балалайки и ф-п. Б. Трояновского;

3. «Камаринская» в свободной обработке композитора В. Захарова, много лет исполнявшаяся в хоре им. Пятницкого.

4. «Камаринская» в импровизационном исполнении известного хора рожечников п/у Кондратьева и др.

Почему же и мне не дозволено написать на эту тему пьесу для народных духовых инструментов?

По-Вашему выходит так, что после гениального М. И. Глинки и его «Камаринской» никто не должен и не имеет права использовать в своем творчестве тему «Камаринская», исходя из того, что лучше Глинки не напишешь.

В чем же заключается моя ошибка или дерзость? Ведь я не ставил задачей «соревноваться» с Глинкой — гением русской музыки, а имел в виду скромную задачу: показать народную песню в исполнении на пастушьих рожках и в манере народного музицирования.

По Вашим же суждениям, Дмитрий Дмитриевич, выходит, что те народные темы, которые были использованы в своих произведениях великими русскими композиторами («Во поле березонька стояла», «Вдоль по Питерской», «Идет кузнец», «Исходила младенька» и др.), уже не могут служить творчеству других композиторов, в формах более простых и несложных, поскольку эти темы гениально претворены в произведениях Чайковского, Р.-Корсакова, Балакирева. Ведь это же неверное суждение.

Кстати, хочу сказать, что, любя народную русскую песню всем сердцем и всеми помыслами, я вижу ее величие в том, что к ней обращаются и будут обращаться многие поколения народа.

В заключение скажу, что Ваш гневный окрик, поддержанный печатью, я считаю несправедливым.

Я уверен в том, что, приняв во внимание мои разъяснения, Вы иначе взглянете на мой труд и согласитесь, что в обстановке народного коллектива и в применении небольшого ансамбля народных инструментов с владимирскими рожками моя пьеса имеет полное право на существование.

Вашиими словами с трибуны съезда огорчен не только я, но, по-видимому, и прославленный хор им. Пятницкого, которому Вами брошен упрек за невзыскательность в выборе репертуара.

Я убежден, что Вы найдете нужным снять с меня незаслуженное и несправедливое обвинение и не оставите это письмо без ответа.

6 апреля 1960 г.

В. Хватов, Народный Артист РСФСР,
Москва, ул. Чайковского, 18, кв. 140.

25.IV.1960. Жуковка.

Дорогой Лев Николаевич!

При сем прилагаю письмо Хватова. Был бы ужасно Вам благодарен за деликатный и ясный ответ этому «музыкальному деятелю». Для ознакомления посылаю Вам мое неотправленное письмо ему же. Это письмо не надо переправлять Хватову. Кроме того посылаю Вам очень интересную книгу «V съезд португальской компартии»². Горячо рекомендую для самостоятельного изучения. Вы, как марксист, несомненно высоко оцените эту книгу.

Ваш Шостакович.

16 апреля 1960 г. Москва.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Ваше открытое письмо мне переслала редакция газеты «Правда». Мне трудно Вам отвечать, т. к. все мои соображения о новой программе хора имени Пятницкого я попытался изложить в своем выступлении на съезде композиторов РСФСР. Поэтому Ваше письмо заставляет меня вторично излагать свои соображения по поводу этой программы, и в частности по поводу Вашей обработки «Камаринской».

Конечно, все композиторы могут брать народные песни в качестве источника своего вдохновения, в том числе и те, которые были уже использованы Глинкой, Чайковским, Римским-Корсаковым, Лядовым, Мясковским, Прокофьевым. Крайне важно, чтобы новая, после великих классиков, обработка тех или иных народных песен не вызывала бы такого впечатления, которое вызывает Ваша обработка «Камаринской». Конечно, трудно соревноваться с Глинкой, но быть на уровне хорошего вкуса и достаточной музыкальной культурности обязан всякий композитор. Ваша обработка «Камаринской» не отвечает этим элементарным требованиям. Она примитивна, неинтересна, груба и вульгарна. Судя по этой «обработке», Вы не обладаете композиторским дарованием и мало-мальски музыкальной культурностью. Ваша обработка не имеет ничего общего с музыкальным искусством, а имеет своим истоком так называемый клюквенный стиль русс, имевший место в дореволюционных кабаках и в зоологических садах, где развлекалась почтеннейшая публика после знакомства со зверями, птицами.

² Здесь Д. Д. Шостакович переходит на иронический тон.

рыбами. Ваша обработка «Камаринской» не имеет ничего общего с русским народным творчеством, ибо русская народная песня прежде всего обладает большой музыкальностью, большой сердечностью, большой чистотой и безупречным вкусом. Все это начисто отсутствует в Вашей «Камаринской».

В своем выступлении на съезде композиторов РСФСР я говорил, что хор имени Пятницкого мне никогда не нравился. Эту мысль я не сумел развить. Довольно подробно с «искусством» хора имени Пятницкого я познакомился лет 12 тому назад. До тех пор я принадлежал к числу тех радиослушателей, которые немедленно выключали радио, как только начинал петь этот «прославленный», как Вы выражаетесь, хор.

В 1948 году, узнав о существовании композитора Захарова и прослушав его выступления на совещании у покойного А. А. Жданова, на съезде композиторов, несколько позже ознакомившись с его биографией, написанной Ливановой, я поинтересовался его творчеством и работой в качестве художественного руководителя хора имени Пятницкого. Тогда я побывал на двух или трех концертах хора имени Пятницкого и твердо убедился в том, что работа этого ансамбля, официальное восторженное отношение к этому хору есть результат невежества, недоразумения и дурного вкуса.

Я не умею долго ругаться и поэтому не буду оценивать Вашу композиторскую работу. Считаю, однако, что то, что Вы являетесь членом Союза советских композиторов, а тем более народным артистом РСФСР, является величайшим недоразумением. Такого же рода недоразумением я считаю высокую оценку деятельности покойного Захарова, хотя он все же и сочинил две-три приличных песни. Конечно, это ужасно мало для того, чтобы считаться композитором, а тем более блюстителем русской народной песни. Следовательно, хор имени Пятницкого, обладающий хорошими певцами и хорошей танцевальной группой, тратит свое искусство на исполнение музыкальной макулатуры вроде Вашего «творчества», «творчества» Захарова, Ковалева и других, которые составляли программы концертов хора имени Пятницкого.

Какие же могут быть выводы из всего вышесказанного? Если Вам дорого русское музыкальное народное творчество, то я настоятельно рекомендую Вам изучать великих русских классиков и прежде всего учиться у них благоговению перед русским народным музыкальным творчеством и навсегда покончить с фамильярным отношением к русской песне, к русскому танцу. Затем, если Вы хотите принести пользу советской музыкальной культуре, изучайте современный советский музыкальный фольклор, и если у Вас есть композиторское дарование, это принесет Вам пользу.

Наконец, в заключение хочется пожелать Вам внимательно прислушиваться к критике по Вашему адресу и не тратить время на «опровержения», «открытые письма» и т. п. и не отнимать драгоценное время у критикующих Вас на добавления к своим критическим замечаниям. Хотя это будет и нескромно, однако я позволю себе сказать Вам, что я прислушивался к критике даже таких «музыкальных деятелей», как Захаров, и не писал «опровержений», «открытых писем» и т. п., хотя этот музыкальный деятель порой был просто груб по моему адресу. Лучше бы Вы вместо сочинений «открытых писем» сочинили бы хорошую песню хотя я понимаю, что это гораздо труднее, нежели сочинение «открытых писем».

С лучшими пожеланиями

Д. Шостакович.

16 апреля 1960 г. Москва.

Многоуважаемый Василий Васильевич!³

В выступлении на Первом съезде Союза композиторов РСФСР я поделился своими впечатлениями о прослушанной концертной программе хора им. Пятницкого. В связи с этим моим выступлением Вы написали «Открытое письмо», пересланное мне редакцией газеты «Правда». Вы пишете:

«Вашиими словами с трибуны съезда огорчен не только я, но, по-видимому, и прославленный хор им. Пятницкого, которому Вами брошен упрек за невзыскательность в выборе репертуара».

Полагаю, что «огорчение хора» может пойти ему на пользу: если мне не изменяет память, в адрес хора на протяжении последних 20—25 лет в нашей печати не появлялось ни одной строчки критики. И неудивительно: еще совсем недавно самые невинные, сделанные в рабочем порядке замечания — например, указание на ограниченность направления работы хора — приравнивались к серьезным политическим ошибкам, при этом полемизировавшие подобным образом не утруждали себя даже видимостью какой-либо аргументации. Между тем всякое живое художественное явление, будучи ограждено от критики, перестает двигаться вперед, развиваться

³ Подготовленный мною вариант ответа. — Л. Л.

и неизбежно деградирует. Это и случилось с хором им. Пятницкого. Наряду с очень многими я считаю, что художественно-музыкальное направление, приданное хору его нынешним руководством, рвет с традициями того хора, который был организован самим М. Е. Пятницким.

Каким был хор при жизни его основателя и первого руководителя? Каков был репертуар хора? Обратимся к книге «Концерты М. Е. Пятницкого», изданной в Москве в 1914 году.

В ней напечатаны исполняемые хором 20 русских народных песен, записанных на фонограф самим Пятницким непосредственно от группы крестьян — выдающихся народных музыкантов, многие из которых впоследствии вошли в его крестьянский по составу хор. Подавляющее большинство произведений, опубликованных в книге, представляют подлинную русскую народную песенную классику, в которой получили свое высокое воплощение замечательные душевные качества народа; народное содержание облечено в этих произведениях в совершенную для данного содержания форму. Укажу, к примеру, на песни «Отчего не этот вот камень зарождается», «Горы Воробьевские», «Туманушки», «Ольга в лесе была» и ряд других — перечислять все их нет надобности. Именно это серьезное отношение к записи и пропаганде русской народной песенной классики привлекло к деятельности хора внимание В. И. Ленина в 1918 году, а также обусловило в дальнейшем неуклонный художественный рост коллектива, распространение его популярности.

В первой половине 30-х гг., после прихода В. Г. Захарова к руководству хором, репертуар последнего стал постепенно меняться. Все большее место в нем стали занимать композиторские обработки русских народных песен, а также собственно композиторские произведения, при этом прежде всего и главным образом В. Г. Захарова, а затем — если говорить об обработках — то и Ваши, т. е. лиц, стоящих у руководства ансамблем. Эта новая, по сравнению с линией Пятницкого, репертуарная политика затрагивала наиболее существенные вопросы работы хора. Не может быть никаких принципиальных возражений против включения в репертуар хора некоторого количества (естественно, весьма ограниченного) композиторских обработок русских народных песен; главный вопрос тут заключается в том, что это за обработки. Конечно, это должны быть обработки очень высокого профессионального качества, не говоря уж о стороне идейно-художественной. И в этой связи небезынтересно, что, вставляя в программы хора довольно много обработок своих и Ваших, Василий Васильевич, В. Г. Захаров целиком и полностью игнорировал художественные обработки классиков. Не желая вдаваться в оценку Ваших и В. Г. Захарова обработок (исключая лишь один случай, о нем — ниже), я все же укажу на то, что ни в каком сравнении с обработками народных песен, сделанными русскими классиками, они идти не могут. А между тем хор ни разу не исполнил ни одной классической обработки, скажем, Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского (последние, кстати сказать, совершенно неизвестны широкой публике).

Теперь несколько слов о моей оценке той Вашей обработки, которой я коснулся в своем выступлении на съезде.

Я упрекаю Вас отнюдь не за то, что после Глинки Вы взяли за обработку «Камаринской», — лишь бы хорошо получилось! К сожалению, Ваша обработка находится на очень низком художественном и профессиональном уровне.

Судя по этой «обработке», Вы не обладаете композиторским дарованием и маломальской музыкальной культурой. Ваша обработка не имеет ничего общего с музыкальным искусством, а имеет своим истоком так называемый «клюквенный стиль русс», имевший место в дореволюционных кабаках и в зоологических садах, где развлекалась почтеннейшая публика после знакомства со зверьями, птицами, рыбами. Ваша обработка «Камаринской» не имеет ничего общего с русским народным творчеством, ибо русская народная песня прежде всего обладает большой музыкальностью, большой сердечностью, большой чистотой и безупречным вкусом. Все это начисто отсутствует в Вашей «Камаринской». Я отвергаю ее за примитивность и грубые приемы, совершенно не сравнивая с «Камаринской» Глинки (как это могло прийти Вам в голову!). Мысль, высказанная мной в выступлении на съезде, была такова: после Глинки нескромно браться за обработку «Камаринской», не обладая талантом, необходимыми знаниями и профессиональной школой.

Полагаю также, что вводить в программы хора им. Пятницкого композиторские обработки нужно только при крайней необходимости. В данном случае этой необходимости не было. Вы пишите, что ставили перед собой задачу «показать народную песню в исполнении на пастушьих рожках и в манере народного музицирования». Похвальное намерение, которое, однако, Вы реализовали показом не подлинного, живого народного музицирования (смотри, к примеру, сборник Б. Ф. Смирнова «Искусство владимирских рожечников», изд. «Советский композитор», М., 1959, где опубликовано несколько записей «Камаринской» непосредственно от пастухов-ро-

жечников, в том числе от народного ансамбля рожечников), а... своей обработки. Получается несколько странно: подлинно народное — не народно или недостаточно народно; обработки и композиторские произведения лиц, стоящих во главе хора, — народно! Но, может быть, в упомянутом мной сборнике приведены недостаточно интересные образцы. Вполне возможно! Однако ищите ли Вы интересные образцы так, как это делал М. Е. Пятницкий?

Вы пишете, что к народным темам, уже «использованным» в произведениях «великих русских композиторов», могут и должны обращаться также и современные композиторы, тем более те, что ставят перед собой задачу дать эти темы «в формах более простых и несложных». Конечно, обращение современных композиторов к этим темам вполне возможно, здесь нет и не может быть никаких сомнений. Однако должны ли эти композиторы сегодня, во второй половине 20-го века, т. е. почти столетие спустя после того, как появились произведения всех русских композиторов, о которых идет речь в Вашем письме, ставить перед собой столь странную задачу, о которой пишете Вы: претворение народных тем «в формах более простых и несложных»? Понимаете ли Вы, что советуете идти в направлении, противоположном классикам? Они шли от песни к более развитым, и в частности к симфоническим, формам; Вы же предлагаете идти к формам «более простым и несложным». Правильны ли эти задачи? И не призваны ли они оправдать практику создания непрофессиональных произведений, лишенных всякого творческого начала и ощущения современности, практику, получившую столь большое распространение в хоре? А ведь в обработках народных песен классиками нет и тени снижения идейных и творческих задач, более того, их обработки пронизаны также еще и духом новаторства, что в данном случае следует особенно подчеркнуть. И в этом мы тоже должны следовать классикам, развивая в новых условиях великие традиции русской композиторской школы, стремясь раскрыть то новое, что появилось в русской народной песне за истекшее столетие (и при этом как кое столетие!), в ее содержании, музыкально-выразительных средствах.

Сейчас в нашей печати широко разворачивается борьба против грубых вкусов и пошлости, процветающих в быту, в том числе против примитивных, грубо размалеванных картин, гипсовых безделушек-украшений и т. д. и т. п. Но ведь подобные вкусы и любовь к безделушкам сильны также и в так называемой обиходной музыке, почти всегда базирующейся на песне, танце и уродующей эти формы. Между прочим, здесь процветает еще и стремление к некоему «оглуплению» образа человека из народа, его духовному и нравственному обеднению, принижению. Подобная тенденция чувствуется также и в Вашей обработке. Конечно, сознательно Вы не ставили перед собой подобных задач, видимо, Вы просто поддались этой тенденции. Юмор, шутка, пляс не должны уничтожать в русской песне столь ей свойственные чистоту настроения, безупречный вкус, пластичность напева и общую музыкальность — композиторы-классики всегда и при всех условиях сохраняли в своих обработках эти замечательные свойства русской песни. Именно этому, т. е. чистому, я бы сказал, проникновенному отношению к народному искусству, прежде всего мы должны учиться у них, а не утешать себя тем, что существует немало слабых обработок русских народных песен, выполненных посредственными композиторами. Именно их Вы и перечислили в своем письме ко мне.

Перехожу к собственно композиторским произведениям, постепенно занявшим огромное место в программах хора им. Пятницкого.

Эта тенденция в хоре, призванном пропагандировать народную классику, — подменить подлинную народную песню произведениями композиторов, — говорит в данном случае сама за себя. Укажу далее на то, что после перехода руководства хором к В. Г. Захарову среди композиторских произведений, на основе которых строились программы хора, главное место заняли произведения самого Захарова. Между тем всего лишь несколько песен этого композитора были по-настоящему ярки и в них ощущалось живое претворение русской народной песенности — они и пелись народом. Подавляющее же большинство написанного им звучало только по радио и с эстрады, но никогда непосредственно самим народом не пелось так, как пелись песни, например, Соловьева-Седого, Мокроусова и других наших песенников.

Подавляющее большинство произведений Захарова — это типичный репертуар городской, театрально-хоровой эстрады: сценки из деревенской жизни, кстати сказать, перереженной и загримированной до неузнаваемости, действующие лица которой почти всегда были превращены в неких «пейзан». Да и самый элементарный музыкальный анализ песен Захарова неопровержимо устанавливает очень большое обеднение в них музыкального языка русской народной песни.

Конечно, подобная жанровая разновидность русской городской эстрады, возможно, имеет право на существование, но не нужно проводить знак равенства между песнями Захарова и русской народной песней, т. е. народным творчеством, знак равенства, настойчиво проводимый в некоторых статьях и брошюрах, посвященных Захарову и хору им. Пятницкого.

Конечно, этот знак равенства облегал руководство хора, во-первых, сведение подлинно народной песни (пропаганды, которую неумолимо организовывал Пятницкий) до минимума, а во-вторых, заполнение программ хора композиторскими произведениями, находящимися на крайне низком идейно-художественном и профессиональном уровне. Более того: руководство хора прекратило поиски и записи новых народных песен, поиски и показ в Москве подлинно народных талантливых исполнителей, которых немало живет и творит в любом крае, в любой области нашей Родины. Правильно ли это?

Считаю также необходимым обратить Ваше внимание на чрезвычайную легкость, с которой многие композиторы, в том числе, к сожалению, и Вы, подходите к русской народной песне. Прочитав Ваше письмо, я убедился, что соприкосновение с русской народной песней не ставит перед Вами какие-либо большие творческие проблемы, на этом пути все оказывается для Вас и ясно и просто. В связи с этим я советую Вам перечитать статьи и музыкальные фельетоны П. И. Чайковского. Некоторые из них специально посвящены известному в 70-х годах прошлого столетия музыкальному деятелю Славянскому, рекламировавшему себя знатоком народной музыки, фольклористом, композитором и страстным русским патриотом. Славянский пользовался большой популярностью. По свидетельству П. И. Чайковского, почти каждый день «появлялись громоносные статьи против враждебных национальному искусству музыкальных учреждений, и в статьях этих ловкий и предпримчивый тенор, сумевший своим русским костюмом пустить пыль в глаза московским патриотам, взводился в великого человека, пришедшего извлечь погибающее русское искусство от давления антипатриотических начал»⁴. Горячо полемизируя с многочисленными поклонниками Славянского, великий русский композитор начертил в одном из своих фельетонов довольно точную программу подлинно творческого отношения к народной песне. Вот она, эта программа:

«Русская песня может интересовать нас как в высшей степени красивое этнографическое явление, как оригинальный продукт творческой индивидуальности народа, — но в этом случае нужно: или слушать эту песню на месте, т. е. исполненную народом с той своеобразной манерой, которая так привлекательна для русского слуха, несмотря на свою примитивную дикость, или выписывать из глубины деревенского затишья заправских народных певцов, вроде того Остапа Вересая, который в прошедшем году обратил на себя всеобщее внимание в Петербурге, или же, наконец, обращаться к песенным сборникам, которых у нас, правда, немного, но в числе которых есть такой превосходный труд, как сборник г. Балакирева. Чтобы записать и гармонизировать народную русскую песню, не исказив ее, тщательно сохранив ее характерные особенности, нужно такое капитальное и всестороннее музыкальное развитие, такое глубокое знание истории искусства и вместе такое сильное дарование, каким обладает г. Балакирев. Кто, не будучи уже не говорю талантом, но развитием и пониманием равен этому артисту, печатно объявляет себя записывателем и перелазателем на ноты народной песни, тот не уважает ни себя, ни свое искусство, ни свой народ, ни свою публику; тот святотатственной рукою оскорбляет святыню нашего народного творчества, тот теряет всякое право на звание артиста, тот преследует цели не художественные, с искусством ничего общего не имеющие»⁵.

Какие же могут быть сделаны выводы из всего вышесказанного?

Если Вам дорого русское музыкальное народное творчество, то я настоятельно рекомендую Вам изучать великих русских классиков, и прежде всего учиться у них благоговению перед русским народным музыкальным творчеством, и навсегда покончить с фамильным отношением к русской песне, к русскому танцу.

Затем, если Вы хотите принести пользу советской музыкальной культуре, серьезно, настойчиво и углубленно изучайте советский музыкальный фольклор, и, если у Вас есть композиторское дарование, это принесет Вам пользу.

В заключение я хочу посоветовать Вам бросить писать «открытые письма» и «опровержения». Композитор на критику должен отвечать произведениями, а не «открытыми письмами». Хотя это будет и нескромно с моей стороны, однако я позволю себе сказать Вам, что я прислушивался к критике даже таких «музыкальных деятелей», как Захаров, и не писал «опровержений», хотя этот «музыкальный деятель» порой был просто груб по моему адресу. Было бы лучше, если бы Вы вместо сочинения «открытых писем» сочинили бы хорошую песню, хотя я понимаю, что это гораздо труднее, нежели сочинение «открытых писем».

⁴ «Музыкальные фельетоны и заметки Петра Ильича Чайковского. 1868—1876». М. 1898, стр. 109.

⁵ Там же, стр. 307—308.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Предварительные итоги XX века

В. ПЕРЦОВСКИЙ

*

СКВОЗЬ РЕВОЛЮЦИЮ КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Заметки о советской литературной истории

1

Странное чувство испытываем мы сегодня: словно что-то рассыпалось внутри нас и надо собрать все это вновь на других основаниях.

И ведь, кажется, не с пустыми руками пришли мы к сегодняшнему дню. Уже много лет задолго до нынешних перемен вели мы, каждый на своем участке, упорную работу по осмыслению и переосмыслению опыта советской эпохи. Для нас не было тайной и в годы застоя, что, варьируя и освежая догмы и схемы бессмертного «Краткого курса», подлинную нашу историю понять невозможно, а без нее не обрести и свое собственное лицо; оттого так страстно жаждали мы правды о нашем прошлом фактов и источников, которые раскроют нам глаза на нас самих.

Свершилось! Но когда наконец дошла очередь и до самого Солженицына — последний возможный рубеж смелости в раздумьях о прошлом, — вдруг что-то как бы опало в нашей душе. Вдруг открылась реальная опасность утраты собственного положительного исторического опыта — духовной опоры в тех колоссальной трудности общественных действиях, которые нам предстоит совершить.

Но что же делать? Думаю, что пора сказать себе: «Но видит Бог, есть музыка над нами!» — и обратить глаза в сторону тех непреложных ценностей, которые у нас остаются. Пусть мы оказались скверными государственными строителями, неудачливыми и бездарными хозяевами нашей богатейшей страны, но в области духовной работы нам удалось все же сохранить, как оказалось, свои высоты; линия большой русской литературы не обрываясь прошла сквозь все ужасы тоталитарного государства. За эти годы, познакомившись со множеством прежде запрещенных книг, мы могли убедиться, что в прошлом нашей литературы не было пустых десятилетий.

Но беда в том, что литературной истории этих десятилетий мы пока не имеем. Она оказалась буквально погребенной под обломками в одночасье рухнувшего здания «социалистического реализма». Вместе с ним обрушились или пошатнулись очень многие традиционные авторитеты; школьным и вузовским преподавателям не позавидуешь! А насквозь политизированная критика еще, кажется, не исчерпала своего разоблачительного пыла; она не без злорадства извлекает на свет все новые большие и малые низости, которых так трудно, почти невозможно было избежать писателю, впряженному в колесницу государственного служения.

Ну а как же «возвращенные» произведения, поразившие нас своей идейной и художественной силой? Уж они-то, казалось бы, должны поднять авторитет литературы и писателя периода, именуемого советским? Но в том-то и дело, что произведения, в свое время запрещенные и отложенные, к советской литературе сегодня как бы и не причисляют; напротив, их склонны прогивопоставлять литературе, разрешенной и обласканной «инстанциями» (именно так трактует эту тему В. Камянов). Но разве запрещенные произведения не создавались в одно и то же время, в одних и тех же условиях, что и «разрешенные», не вскормлены одной и той же жизнью, одним и тем же воздухом? Я убежден, что неотложной задачей критики является установление живых связей между «задержанными» произведениями и другими серьезными явлениями советской литературы.

Авторы новомирских статей, которые начали труднейшую и необходимейшую работу по переосмыслению советской литературной истории, ограничивают себя вещами, опубликованными в свой срок.

Е. Добренко в статье о литературе первого послевоенного десятилетия («Новый мир», 1990, № 2), в сущности, сводит литературную жизнь этого периода к помпезной романной колоннаде. а живые художественные ростки, пробивавшиеся и в те годы, считает исключениями, лишь подтверждающими правило. Вот с этим я никак не могу согласиться. Уж мы-то, свидетели тех лет, хорошо помним, как ненавистны нам были навязываемые лауреатские опусы, как мало и неохотно мы их читали, находя утешение в классике, жадно ловя каждое пробивающееся живое слово, и мимо нас не прошли ни Панова, ни Пришвин, ни В. Некрасов, ни стихи Пастернака и Заболоцкого — а ведь мы были самыми обыкновенными провинциальными студентами-филологами, к тому же, как правило, сталинистами по политическим убеждениям!

Закономерен вопрос: можно ли вообще рассматривать как полнокровную часть истории литературы то, что заведомо не отражает подлинной духовной жизни и вкусов эпохи. состояния личности в ней, а есть лишь результат свирепого принуждения и попугайской покорности? Не есть ли это материал скорее для истории литературных нравов? И не перевесит ли мельчайшая пылинка живого все это мертвое многопудье?

Вот мы узнали теперь, что именно в те годы, о которых пишет Е. Добренко, Б. Пастернак создал свой роман «Доктор Живаго». Стоит лишь ознакомиться с богатейшим материалом, собранным в статье В. Борисова и Е. Пастернака о творческой истории романа («Новый мир», 1988, № 6), чтобы убедиться, как тесно связана эта работа художника с эпохой нашей юности, с теми проблемами и событиями, которыми мы жили тогда. Спрашивается: что же останется в литературе эпохи для наших потомков — горы фальшивых опусов или «Доктор Живаго»? Глубоко сочувствуя энергичной работе Е. Добренко по развенчанию «партийной» лжи в литературе, нельзя не возразить ему: при всех грехах наших писателей все же советская литература никогда не стала до конца тем, чем ее хотел сделать Сталин, — послушным придатком тоталитарного государства.

Мне представляется гораздо более перспективной позиция М. Чудаковой (имею в виду статью «Сквозь звезды к терниям». — «Новый мир», 1990, № 4). Для нее главное — не похороны лжи, а раскрытие подлинного и серьезного содержания, которое, несмотря ни на что, заключает в себе советская литературная история, преломленная через наши читательские судьбы. Настоящим успехом автора является установление живых связей между звездным часом литературы 60-х — «Иваном Денисовичем» — и литературой конца 30-х. Страшные годы, когда, казалось, все замерло в абсолютной покорности и страхе, но отечественная словесность, как убедительно доказывает М. Чудакова, все же жила; она приспособлялась к тирании, но ей удалось закрепиться в скромной нише литературы для детей, где даже в те годы пульсировала живая кровь правды...

И все-таки М. Чудакова не видит в нашей истории сквозного движения сильной, органической художественной мысли, развивающейся по внутренним законам, а не голько в приспособлении к внешним обстоятельствам. Из ее обобщений вырисовывается движение от стереотипов к правде, от «этикета» к жизни, то есть в конце концов от нелитературы к литературе.

Между тем я уверен, что в нашем прошлом присутствует качественно иной духовный стержень, иная линия — не только «применительно к подлости», но действительно связующая начало нашего пути с сегодняшним и завтрашним днем. Наметки этой линии нахожу все в той же статье В. Борисова и Е. Пастернака, где приведены многочисленные свидетельства самого Б. Пастернака о кровной связи его замысла с творчеством Александра Блока, в котором автора «Доктора Живаго» более всего воодушевляла свобода обращения художника с жизнью. В этой не мною открытой связи я склонен видеть момент истины: в него-то следует взглянуться пристальнее.

2

Общепризнано, что Блок как автор «Двенадцати» был одним из главных «зачинателей» советской литературы. Но что это значит и в каком смысле это следует понимать? Вопрос не вполне освещенный даже нашим сильным блоковедением.

Речь здесь не должна идти о самом факте политического признания Октябрьской революции, тем более что Блок решительно возражал против политической трактовки своей поэмы.

Но тогда, может быть, следует обратиться к той гипотезе, которую выдвинула не так давно Н. Иванова? Она на первый план ставит отношение писателя к целям и идеалам революции, к тому, что мы именуем сейчас революционной утопией: те, кто разделял эту утопию, — советские писатели, те же, кто вскоре стал разоблачать ее в «антиутопиях», — вне их рядов...

Что ж, приход Блока к Октябрю был действительно окрашен надеждами. Знаменитая статья «Интеллигенция и революция» написана в радостном, оптимистическом тоне: «*Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью*», «...*все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна*», «...*жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна*».

В сложной полифонии, образующей групповой портрет героев поэмы «Двенадцать», ничего этого нет. Никакого «в надежде славы и добра», никакого «жизнь прекрасна». Совершенно сознательно Блок игнорирует тему коммунистической утопии, которая якобы звала этих людей вперед; внутренний голос подсказывал ему вторичность, несущественность этой темы.

Что же существенно?

Прежде всего мрачная решимость, бесповоротность выбора; чувствуешь, что все это не краткий бытовой эпизод, что тяжкий шаг в неведомое будущее, закрытое клубами метели, — это на многие годы, что у народа, вставшего на этот путь «свободы... без Христа», хватит силы и терпения надолго.

Даже ободряя друг друга, двенадцать не прибегают к посулам и мечтаниям, они ищут утешения лишь в неизбежности еще больших тягот («Потяжеле будет бремя нам, товарищ дорогой!»). Вот эта готовность к любым мукам («крестным мукам»?) и есть их нравственная доминанта, дающая автору право саму их злобу назвать святой. «И идут без имени святого все двенадцать — вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль...»

Но что же вселяет в них эту решимость и бесповоротность, эту готовность ко всему и отсутствие жалости? Что, если нет ни надежды, ни веры? Героев «Двенадцати» на их мучительном, кровавом пути поддерживает не мечта о будущем, а непрерывное ощущение врага: «Неугомонный не дремлет враг!», «Близок враг неугомонный», «Их винтовочки стальные на незримого врага...», «Вот — проснетесь лютой враг...» Кто же этот враг? Не «буржуй» — он жалок, ему мстят лишь попутно, когда подвернется под руку: «...ты леги, буржуй, воробушкой! Выпью кровушку за зазнобушку, чернобровушку». И даже не «старый мир», воплощенный в образе «паршивого пса», к нему герои Блока испытывают что-то вроде брезгливого презрения: «Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощечочу! Старый мир, как пес паршивый, провались — покочу!» Нет, в «лютом враге» явно есть нечто всеобщее, метафизическое, соизмеримое с масштабами революционного насилия: «...мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови...», «Пальнем-ка пулей в Святую Русь!..» Для двенадцати непрерывное ощущение вездесущего и могущественного врага, закрепившегося в самих устоях бытия, оправдывает их недоверчивость и вооруженность, все их отношение к жизни. То, что движет этими людьми, непрерывно требует врага и впредь будет вызывать его из небытия по мере необходимости. Вот почему к финалу поэмы тревога и страх за будущее только нарастают. Кстати, как заметил еще М. Волошин, ненависть эта полностью переносится и на невидимую героям фигуру Христа; именно к Христу обращены их слова: «Все равно, тебя добуду, лучше сдайся мне живьем!» — да и пуля, посланная в метельный мрак.

Вот это и есть главная примета «нового мира», в который, как принято было считать, вступают герои Блока: всеобщая и непрерывная вооруженность против всего и вся, готовность в любом «переулочке глухом» встретить врага и биться с ним до полного уничтожения... И никакого намека на ту «справедливую, чистую, веселую и прекрасную жизнь», которую Блок назвал естественной целью революции. В ее реальных «героях» он не видел ничего светлого и чистого, а видел вместе с мужественной решимостью злобу и ненависть без пределов и берегов. В результате — море крови и искромсанных судеб; бессмысленное убийство ни в чем не повинной Катьки — единственное реальное действие двенадцати на их «державном» пути.

Итак, если в основе блоковской статьи лежит революционная утопия, то в основе поэмы — гениально схваченные художником реальные и существенные черты только что родившегося общества — «картина такая верная и такая страшная» (Короленко).

Духовный портрет «апостолов революции» оказался столь верен и потому, что Блок шел к нему давно; главные его черты он открыл еще задолго до революционных событий, в мире собственной души, запечатлев их в «поэзии третьего тома». Задолго до героев «Двенадцати» вышел в метельную ночь петербургских улиц, отвергнув любой намек на счастье, уют и покой, движимый глубинной ненавистью к «страшному миру», ко всему готовый и ни о чем не жалеющий лирический герой Блока.

Его внутренняя жизнь — вот один из источников пророческой глубины «Двенадцати».

Гению Блока открывалась связь между всемирными катастрофами XX столетия и состоянием отдельно взятой человеческой души. Революция в понимании Блока подобна ядерному взрыву: колоссальная разрушительная сила высвобождается в результате взаимодействия многих миллионов мельчайших частиц.

«Ночь, улица, фонарь, аптека...»: на крошечном пространстве городской пейзажной зарисовки сходитя громадное — жизнь, смерть, вечность; их сводит воедино чувство поэта — безбрежная, граничащая с ледяным ужасом ненависть к миру, контуры которого так скупой и точно намечены в зарисовке. В чем вина этого мира? Да просто: в его реальном бытии, независимом от воли поэта, — бессмысленном, тусклым и холодным бытии, которое ощущается как вечность, не преодолимая даже смертью («умрешь — начнешь опять сначала»), как худшее из всего, что только можно представить. Впечатление, оставляемое этим маленьким шедевром, сопоставимо разве с мрачной фантазией Свидригайлова о бессмертии в виде прокопченной деревенской банки с пауками, которое тот придумал себе в возмездие, — с той разницей, что для Блока это не вымысел, а предельно будничная реальность.

Мыслимо ли проще, органичнее и сильнее передать силу бунта, несогласия, не имеющего пределов, отрицания бытия как такового, самих основ существования, сложившихся помимо воли и желания мыслящего индивида! Вот он, зародыш великого революционного взрыва, первообраз «любого врага», не ограниченного временем и пространством! Тут мощные внутриатомные силы сохранения жизни как бы принимают обратное направление, становясь силами разрушения и распада бытийных первоначал; недаром блоковская муза несет в себе «проклятье заветов священных» и «порувание счастья»; бунт его лирики — во многом бунт против ценностей и устоев, поддерживающих ненавистную неподвижность и неизменность жизни, бунт против счастья как цели существования личности, ее гармонического согласия с миром, добровольный отказ от счастья, стремление разрушить его основы внутри и вне себя («Ты острый нож безжалостно вонзал в открытое для счастья сердце»); а рядом чистейшие, гуманнейшие стихи о любви, о сострадании человеку, о стремлении к жизни и счастью. Но именно в бунте Блок ощущал связь между душой поэта и окружающим миром, не устывая твердить о предстоящей катастрофе: «И все, как он, оскорблены в своих сердцах, в своих певучих. И всем — священный меч войны сверкает в неизбежных тучах».

Зрелая блоковская лирика — это поистине «революция до революции», и революционная поэма «Двенадцать» — ее прямое и органичное продолжение.

Я осмелюсь утверждать, что лирика Блока и есть художественная первооснова и первооткрытие той идеи, которая реально, а не декларативно легла впоследствии в основу литературы послеоктябрьской, революционной, ибо в этой лирике действительно выразилась революция как состояние души. Нет нужды доказывать и напоминать, что в момент своего рождения тут была большая художественная идея, исполненная правды чувства и мрачной красоты.

Я хотел бы обратить внимание на один факт, имеющий, на мой взгляд, принципиальное значение для советской литературной истории, — на прямую, осознанную, не раз декларированную Блоком связь между его эстетической концепцией и приятием революции как состоянием жизни. Напомню, что блоковская концепция искусства была глубоко трагедийна, что художественное начало он ставил вне и выше критериев добра и зла, называя его в своей лирике то демоническим, то цыганским («Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда», — говорил он о своей музе). Творческая радость постоянно соединена у Блока с трагедией и болью; не знаю, есть ли в мировой поэзии более трагическая трактовка творческого акта, чем его стихотворение «Художник»: поэт улавливает и являет на свет глубочайшую тайную и прекрасную суть жизни — «птицу, хотевшую смерть унести, птицу, летевшую душу спасти». Но для чего он делает это? Для того, чтобы «понять, закрепить и убить» это начало с помощью «творческого разума», навсегда заключив когда-то живой и веселый дух в унылой золоченой клетке произведения на потеху и развлечение людям.

И не должны поэтому удивлять такие зигзаги блоковской мысли, как наложение в дневнике 1918-го на отношения искусства и жизни ленинского революционного лозунга «грабь награбленное»: «...„грабить“ у жизни, у житейского — чужое, ей не принадлежащее, ей „награбленное“». Блок привычно эстетизирует и насмешку «над верой», и поруганье заветных святынь, а пытаясь как-то определить черты таинственной «новой породы», которую должна взамен создать революция, он обращается именно к своему пониманию искусства и называет эту новую породу «человек-артист».

Но разве знаменитый финал «Двенадцати»: Христос, ненавидимый своими «апостолами» и все же незримо идущий впереди их, — не есть нравственное разрешение? Разве он не освящает и не благословляет свирепых красногвардейцев? Так, собственно, и принято было трактовать этот финал в обоих политических лагерях. Сам Блок, однако, как известно, до конца с этим не соглашался: для него тут все

было «и так, и не так». Широко известны и часто цитируются его высказывания о «Двенадцати». С одной стороны, он признавал образ Христа неустранимым и даже само собой разумеющимся в поэме (традиционная для русской литературы связь «грешника» и «святого», разбойного буйства с «вечным покоем»), с другой стороны, не раз выражал сомнения и даже страх по поводу своего Христа. Вот этот момент, кажется, остался необъясненным. Чем страшен Христос для художника, не боящегося ни крови, ни смерти?

Выскажу свое предположение. Образ Христа — нередкий гость в дооктябрьской поэзии Блока. И тут наблюдается некая закономерность; блоковский лирический герой охотно отождествляется с богом-страдальцем в его муках и смерти, но не в победе над смертью и страданиями, не в воскресении. Недаром называет он себя невоскресшим Христом, недаром признается, что ненавидит церковные праздники, а о самом большом и радостном среди них — о Воскресении Христовом — пишет гневные ямбы: «Не спят, не помнят, не торгуют...» То «разрешение» от грехов и страданий, которое несет людям Христос, Блок категорически не приемлет; оно оскорбительно для него, и он не взял бы его, как лермонтовский Демон «не взял бы забвенья», как Иван Карамазов возвращает Богу свой билет в бессмертие...

Можно предположить, что Блока в его Христе тревожила и страшила именно сила примирения, идущая от этого образа. Нота горькой иронии и сомнения звучит уже в словах о стихии большевизма и «вечном покое», который непременно придет ей на смену; именно «вечного покоя» поэт более всего не хотел и боялся. Приведу более позднюю дневниковую запись, сделанную Блоком во время работы над статьей «Катилина»: «Какой близкий, **ЗНАКОМЫЙ**, печальный мир! — И сразу — *горечь <падения>*. Как скучно, известно. Ну что ж, Христос придет. Катилина захотел нескудного, не пышного, не красивого, недостижимого. И это тоже скучно».

Все дело, видимо, в том, что Христос в поэме, незванный этот образ, грозит вновь замкнуть круг исторического бытия, ограничить желанную беспредельность революционного порыва, указывает на неизменность человеческой природы, законов, управляющих жизнью. Вновь, хоть и в неизмеримо больших масштабах, возникает та роковая замкнутость мирового пространства, та ненавистная Блоку, ничем не пробиваемая неизменность и вечность бытия, которую он с такой силой проклял в стихотворении «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Мысль Екклесиаста о вечном и неизменном круговороте бытия была глубоко враждебна Блоку — революционному максималисту. Об этом он прямо говорит в известном письме Маяковскому по поводу футуристического отрицания старой культуры. В этом письме речь идет отнюдь не о защите культуры. Блок готов даже объединиться с адресатом в ненависти к ней. Спор с футуризмом ведется с совсем иной, революционной стороны; футуризм тоже, оказывается, традиционен: «...разрушение так же старо, как строительство». Блок волнует сама ненавистная человеческая природа: «Над нами — большее проклятье — мы не можем не спать, мы не можем не есть». И он хочет, чтобы череда «времени строить» и «времени разрушать» сменилась чем-то третьим, «равно не похожим на строительство и на разрушение».

Вот масштабы радикализма Блока! Он хотел полного и абсолютного обновления всего бытия, включая даже биологическую природу человека! Конечно, это все весьма далеко от политической поддержки большевизма, которая как раз оказалась нестойкой: Блок, как известно, не принял красного террора и гражданской войны, отверг и заклеймил партийный диктат над культурой, но на собственном революционном представлении о мире настаивал до конца. Недаром в докладе «Крушение гуманизма» он говорит о «новой породе» людей, в корне противоположной человеку, воспитанному христианской моралью. Этот бунт против христианской гуманности и умиротворения так и остался с ним навсегда; лишь в одном из предсмертных писем мелькнула мысль о примирении с церковью, но она повисла в пустоте; и сама смерть не была у него, как у Пушкина, примирением с жизнью и Богом...

Вот эту-то сложность и противоречивость своего отношения к Христу Блок вносит в поэму. Ведь только для официальной критики герои поэмы — бесспорно «апостолы новой веры» и «люди будущего»; для Блока же слишком много старого и знакомого было в этих людях, чем отчасти и объясняется появление «прежнего» Христа впереди двенадцати. Вопрос так и остался «демоническим» неразрешенным: кто они — действительно носители нового, в ком сама их бесконечная злоба к миру «свята» и плодотворна, или же это только очередная вариация «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», который неминуемо должен закончиться треклятым «вечным покоем», засвидетельствованной фигурой Христа? Возможность этого — и многих других — толкований заложена в самой художественной природе поэмы, в чем тоже сказались смятение и тревога, которые несла с собой революция как состояние души.

3

Линия Блока в советской литературе есть линия не политического, а прежде всего поэтического, художественного принятия Октябрьской революции, причем не в ее лозунгах и декларациях, но в ее существе. У истоков советской литературы как культурного явления стояли не партийные боссы, не пролеткульты с наркомпросами, а честные художники, сполна ощутившие деспотизм революции и ее бесконечную жестокость, но готовые увидеть в этой жестокости правый путь к абсолютному обновлению жизни, которого действительно жаждала их душа, переполненная гневным мироотрицанием. Таково было преобладающее состояние человеческого духа в революционную эпоху, и оно породило совершенно особую художественную идею, которую есть основания определить как антигуманистическую — антинравственную, антихристианскую; при всей своей моральной «ложности» это была, однако, сильная, органическая, по-своему вдохновенная идея, давшая немало ярких страниц поэзии и прозы. Среди них поэма «Двенадцать» не стояла совсем уж особняком; напомним стихотворение О. Мандельштама «Прославим, братья, сумерки свободы», которое можно назвать своеобразной одой Октябрьской революции, и насколько близко оно по духу «Двенадцати»! Никаких иллюзий и прикрас: Октябрь — это «сумерки свободы», это «власти сумрачное время, ее невыносимый гнет». Но с ним же связано чувство великого, рокового, необратимого движения («огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля»), которое приемлется и воспевается поэтом, несмотря на вещие предчувствия бесчисленных страданий тела и духа: «Мы будем помнить и в летейской службе, что десяти небес нам стоила земля». Разве это не вариант блоковского «ко всему готовы, ничего не жаль»? И даже «мироворец» Волошин, безуспешно пытавшийся заклясть своим словом разбушевавшийся океан гражданской войны, не раз отдавал дань тому же блоковскому гибельному восторгу: «Надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия», «Жгучий ветер полярной преисподни, божий бич, приветствую тебя!»

Не может быть никакого сомнения в искренности этого пафоса; но именно поэтому он не мог не включать в себя ноты тревоги и боли за человека, ноты страдания и сострадания. Они присутствуют и в «Двенадцати» («черное, черное небо»); даже презренный буржуй — не только «как пес голодный», но и «безмолвный, как вопрос». Недаром лирическое слияние с революционным огнем часто переживалось как акт самоожожения: «И ты, огневая стихия, безумствуй, сжигая меня» (А. Белый), «...если дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя!» (М. Волошин); недаром революционная лирика порождала такие одиозные формулы, как «свирепое имя родины» (В. Луговской).

Эта двойственная природа революционной антигуманистической идеи (Блок, повторю, не зря называл такое состояние духа демоническим) отвечала трагедийной сущности эпохи. Не только поэзия, но и проза первых революционных десятилетий, несмотря на изначальный цензурный гнет, создала безжалостно правдивую картину революции и гражданской войны. Трагизм этой прозы связан не с одним лишь материалом, но и с двойственностью отношения автора к изображаемому: уязвленность человеческими страданиями соединялась с утверждением правоты жестоких законов классовой борьбы, отрицавших гуманное чувство. В те годы популярна была формула А. Неверова: «Не жалеть нельзя и жалеть нельзя»; она хорошо передает типичную для литературы тех лет разорванность нравственного чувства, которая сполна выразилась в произведениях, объединенных темой «интеллигенция и революция»: безжалостно разоблачаемый герой в то же время был предельно (вплоть до биографических деталей) близок автору. И. Эренбург писал позднее что, заставив повеситься своего Володю Сафонова, он пытался повесить самого себя; по-моему, примерно то же мог бы сказать Федин об Андрее Старцове, Бабель о Лютове, кто знает — может быть, и Фадеев о Мечике; герой осуждается за то, что мучило самого писателя: за ненависть и отвращение к крови и смерти, за стремление к чистоте и добру, в чем якобы проявилась постыдная гордыня по отношению к народу, выбравшему кровавый путь революции. Как тут не повторить восклицание Леонида Андреева, которое не раз вспоминал Блок: «Стыдно быть добрым!»

А. Белинков в своей статье имел, конечно, право на собственную трактовку «Зависти» Ю. Олеши; все же, мне кажется, он выпрямил и упростил подлинную идею повести, подчиненную общему «демоническому» закону времени: щедро наделив героя своим «святая святых» — волшебством поэтического слова, Олеша в то же время развенчивает и унижает его. Думаю, что в этот ряд подключается даже эпопея «Жизнь Клима Самгина»: герой ее, внешне разоблачаемый, на деле духовно близок самому Горькому своим стремлением уйти от насилия времени, разрушающего его мозг и душу; недаром Самгину доверено свидетельствовать о сорокалетию русской жизни.

Вместе с тем следует четко поставить вопрос и о пределах антигуманистического пафоса в советской литературе. П. Палиевский буквально ошарашил читателей своей трактовкой «Тихого Дона» как раз в антигуманистическом, антиличностном духе: мол, писатель утверждает абсолютное превосходство народного природного начала над своевольным бунтом личности, правота которой для него весьма сомнительна; даже сама смерть, по мнению Палиевского, Шолохов готов принять и приветствовать как силу, очищающую жизнь от лишнего и отжившего. Большинство критиков не согласилось с Палиевским, хотя самому автору романа такая трактовка, кажется, пришлась по душе. Думаю, здесь надо учитывать общий литературный контекст в эпоху создания романа. То, что Палиевский приписывает «Тихому Дону», в гораздо большей степени присуще другим произведениям о гражданской войне, например метельной прозе Б. Пильняка и Артема Веселого, азиатским повестям Вс. Иванова, ювелирно-граненым новеллам Бабеля, мрачным и бесстрашным повестям Л. Сейфуллиной. Это им-то как раз свойственно как бы фамильярное отношение и к жизни и к «смерти-санитарке»; можно вспомнить знаменитые фразы: «...и, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики», «Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавожена». На этом фоне «Тихий Дон» выделяется именно своим гуманизмом, могучим утверждением бесценности, неповторимости личностей, из которых состоит народ, будь то благородный Григорий Мелехов или непутевая Дарья... В то же время отчасти прав и Палиевский, ибо роману Шолохова действительно присущи и сверхличностный эпический размах, и отношение к человеку, во всяком случае, более жесткое, чем в русской классике XIX века. Поистине дух антигуманизма был растворен в воздухе эпохи; он оказывал воздействие даже на тех, кому, казалось, был прямо враждебен. Булгаков в своем шедевре явил забывшим о Христе людям облик Иешуа, рядом с которым каждый становится «добрым человеком»; но он оставил его во вневременной мистерии, не смог, как Достоевский, свести его с современностью, а обратил к современникам то, что давало выход его гневу, — лицо дьявола...

Самоочевидно, что для характеристики столь сложного явления, как антигуманистический пафос, менее всего пригоден прямолинейный морализм; это все равно что выговаривать Блоку за демоничность его поэзии. Тем не менее в нашей критике это практикуется. Всем памятно, как С. Куняев подверг яростному разному революционный максимализм, выбрав для этой цели Эдуарда Багрицкого и его учеников-ифлийцев.

Формула Э. Багрицкого, против которой ополчился не один Куняев, но и нынешняя критика в целом, действительно ужасна; поэт (накануне Большого Террора) от имени века провозгласил моральную вседозволенность: «Но если он скажет: «Солги», — солги. Но если он скажет: «Убей», — убей». Однако в этой страшной формуле нет цинического «чего изволите?», обращенного к властям; чувствуешь, что она леденит кровь самому поэту. И все же он ее произносит! Революционный романтик искренне не принимал мир будней и быта, уверовав в мужественный путь к новому через кровь и смерть, через «содружество ворона с бойцом», через грубейшее поругание первоначальных чистых своих чувств и стремлений («Февраль»). Все это прямо идет от Блока, от его «я люблю гибель».

Что касается поэтов-ифлийцев, то вся их вина в том, что они просто не успели попасть «в гуманисты в сорок пятом», как их уцелевшие товарищи и сверстники. Не погибни эти наши романтики, искренность скорее всего заставила бы их расстаться с заблуждениями. Иное дело цинизм, тоже очень рано угнездившийся в советской литературе: ведь новая власть сразу попыталась превратить «самосжигательный» пафос художников в идеологическую дисциплину, в «идейность» и «партийность». Отличить приспособленчество от искренности в иных случаях нетрудно: трагедия Блока никак не сопоставима, скажем, с перекройкой «Сестер» или «Любови Яровой».

Существуют, однако, и более сложные казусы — прежде всего Маяковский.

4

Блок и в своей революционности оставался, как подобает поэту, еретиком и вольнодумцем; он и самое революцию желал осмысливать своим разумом и выражать своим языком, а не навязанным новой властью. Представить его внутри «зрелой» советской литературы невозможно. Маяковский, пережив Блока почти на девять лет, все это время потратил на то, чтобы срастить свое творчество с тем партийно-государственным сознанием, с тем идеологическим диктатом, чьих носителей Блок успел навеки припечатать пушкинским словом «чернь». Маяковский же оставался верен этому диктату «не по службе, а по душе» вплоть до своего трагического конца. В течение более полувека у нас было принято толковать Маяковского именно в духе утверждаемых им аксиом советского строя, классовой идеологии, святости партий-

ных идей и партийной морали — короче говоря, всех принципов, демагогический, цинически-лживый характер которых теперь вполне открылся. Что ж, коль так, то, может быть, справедливо, чтобы «сто томов... партийных книжек» разделили сегодня судьбу тысяч выброшенных партбилетов? В конце концов, Маяковский в своем завещании предусматривал и этот вариант: «...умри, мой стих, умри, как рядовой».

Но что-то во мне восстает против такого вывода. Можно ли забыть, что для многих из моего поколения поэзия Маяковского, даже послеоктябрьская, не была лишь унылой цепью советских верноподданнических лозунгов? Читательская судьба сложилась так, что Маяковский оказался для нас одним из действительно крупных русских поэтов XX столетия, к которому, в отличие от большинства других, доступ был открыт с детства. Читая Маяковского, любя Маяковского, мы проходили серьезную поэтическую школу: она помогла нам впоследствии понять и полюбить Цветаеву, Мандельштама, Бродского. Видя сегодня всю ущербность той политической идеи, которой посвятил свой дар Маяковский, я в то же время не мыслю без него русской литературы.

Ситуация предельно трудная; мне кажется, о ней помнил и Ю. Карабчиевский, когда в своей книге «Воскрешение Маяковского» попытался кардинально переоценить личность и творчество когда-то любимого поэта — вплоть до радикальных выводов о якобы свойственных ему фальши и пустоте, вполне соответствующих той политической системе, которую он воспевал. Резкость нападок Карабчиевского многих возмутила; все же мне его позиция кажется гораздо плодотворнее, чем доводы его оппонентов, озабоченных не столько сутью дела, сколько нарушением приличий. Ю. Карабчиевский же взволнован именно сутью; он хочет воскресить Маяковского в кричащих противоречиях, действительно присущих этому, что бы там ни говорили, великому поэту.

Две исходные черты видит автор книги в молодом Маяковском — это, во-первых, «обида», «жалоба» на жизнь и людей, во-вторых, еще более всеохватная ненависть, злоба. Карабчиевский иронизирует по поводу простоты, даже примитивности этой основы; что ж, и примитив в искусстве может быть сильным, даже могучим, нужно только, чтобы он не был фальшивым. А выделенные Карабчиевским черты — у Маяковского подлинные. В книге достаточно подробно описаны мучительные противоречия, изначально присущие этому человеку, делавшие его существование нестерпимо тяжким для него самого и других: при щедрой одаренности (поэтический талант, голос, рост) — какая-то фатальная обделенность радостью жизни: болезненность, мнительность, ранний и неотступный страх смерти; при страстной натуре — отсутствие той власти над женщиной, которой обладали Пушкин и Блок. И все это обрекает его на вечную боль, на чувство непоправимой «отдельности» от людей; и все это становится истоком и существом его поэзии, вырывая у юноши, почти подростка, совсем не детские формулы: «...какими Голиафами я зачат — такой большой и такой ненужный?»; или: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека!» Такая боль для художника — тоже дар, как дар любви к жизни у Пушкина; и что ж удивляться тому, что голос боли у Маяковского слишком форсирован, слишком громок, раз это с абсолютной точностью соответствует его личности, его натуре. Весь этот «комплекс» побуждал Маяковского к яростному возмущению против мира и людей: к стремлению «шваркнуть» всем в лицо свою боль и ярость, навязать свою волю и жизни, и законам искусства, и языку.

Б. Пастернаку принадлежит исключительно верная мысль о духовной близости Маяковского молодым героям Достоевского (таким, как Иван Карамазов, Раскольников, Кириллов). Все эти персонажи, по натуре добрые и даже благородные люди, больны мыслью о глубочайшей несправедливости устройства мира и общества, откуда якобы вытекают их право и долг противопоставить законам этого мира и этого общества свое хотение и волю, право нарушать их по своему усмотрению. Маяковский не менее, чем Иван Карамазов, «жил бунтом» и на этом строил всю свою судьбу, не менее Раскольникова он, по крайней мере в мечте, жаждал переступить через все устои и тем обрести свободу и власть над жизнью; почти как Кириллов был одержим идеей самоубийства. Но из всех этих версий бунта против Бога и его мира ближе всего Маяковскому, на мой взгляд, вариант Ипполита («Идиот»). Злобный циник, мрачный и холодный желчевик, весь скрежещущий от распирающей его ненависти, он в то же время глубоко несчастный чахоточный юноша, почти ребенок, обреченный на скорую и неотвратимую смерть; он не может и не хочет примириться со своей участью; он бунтует против нее всеми оставшимися у него слабыми силками; но что он может? Ведь он, язвящий и оглушающий людей мятежными формулами: «Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижające меня формы», в действительности по-детски тянется к людям, хочет, втайне даже от себя, чтобы его пожалели, приласкали, поплакали вместе с ним. Посреди спровоцированного им возмущения и скандала у него под общий смех по-детски вырывается: «Вы

меня совсем не любите!» Разве за громыханиями Маяковского не чувствуется та же болезненная слабость, та же обида и уязвленность большого ребенка?

Все, что говорит Карабчиевский о детскости, подростковости Маяковского, верно и пронизательно; даже в имморализме и цинизме его поэтических деклараций есть что-то детское. Ребенок в гневе кричит: «Я маму не люблю, я папу не люблю! Я вока (волка) люблю!» На самом деле он, конечно, любит маму и папу, боится волка, но он хочет передать взрослому свое возмущение. Не сходное ли побуждение вело рукой человека, написавшего жуткую строчку: «Я люблю смотреть, как умирают дети»?

Но вовсе не детской была у Маяковского еще одна составляющая его личности, которую не выделяет, но постоянно чувствует и исследует Ю. Карабчиевский, — мощный волевой напор, оброщенный и на себя, на собственную слабость и уязвимость, и одновременно вовне, на жизнь, на людей и, что особенно важно, на поэзию. Эта черта у Маяковского сродни воле к жизни; в ней несомненно осуществляло себя чувство самосохранения, направленное против разрушительных и болезненных сил, заключенных в его натуре. Волево напряжение как способ бытия — вот что отвела судьба на долю Маяковского. Бунт против «божеских» и моральных устоев был свойствен многим художникам начала века, и у Блока, как уже отмечалось выше, этот бунт шел в чем-то даже дальше, чем у Маяковского. Но бунт Маяковского распространялся на искусство, поэзию, ее внутренние законы и задачи. Маяковский не служил поэзии, как Пушкин и Блок, он хотел, чтобы поэзия служила ему, и перестраивал ее по своему образу и подобию, желая в корне изменить ее суть, назначение и форму. Ю. Карабчиевский многократно подчеркивает возмущающее его насилие Маяковского над словом — обнаженность выпирающего приема, ощущение сделанности каждой строфы. Но он же многократно фиксирует блистательные поэтические победы Маяковского, завоевания, которые навсегда останутся в русской поэзии. И тут дело не просто в наличии у него таланта, дело в том, что сам его волевой нажим был неподдельным, выражающим собой и личность и серьезную идею. И более всего это начало выразилось в победительном ритме его стиха, тяжелом и «неправильном» («странный, принудительный ритм, выкручивающий руки фразе»), но могучем и по-своему органичном.

Думаю, нет нужды доказывать, что все эти сбои и противоречия личности Маяковского, как и его поэзии, были связаны — причем изначально — с атмосферой революционной эпохи, с ее потребностями. Поэтому, на мой взгляд, безусловно прав Ю. Карабчиевский, когда отвергает предложенное Б. Пастернаком противопоставление дооктябрьской поэзии Маяковского послеоктябрьским стихам. Это слишком облегчает дело, а ныне невольно «обслуживает» ходовое политическое объяснение литературной истории: все не связанное с революцией ценно, все, связавшее себя с ней, ложно и дурно. На самом деле революция казалась молодому Маяковскому гигантским продолжением его личного волевого усилия, направленного на насильственное изменение каждой частицы бытия, на «выкручивание» всех принципов морали и эстетики. Инстинкт подсказывал ему, что единение с этой могучей силой дает ему шанс удержаться в жизни и, быть может, добиться столь недоступного для него счастья. Я согласен с Ю. Карабчиевским, что служение революции не сократило, а продлило Маяковскому жизнь. Что касается его послеоктябрьской поэзии, то она, конечно, засорена и безмерно отягчена пропагандистской риторикой, фельетонностью и т. д., но все равно ее никак нельзя отделить от личности Маяковского, от вершин его лирики. Во-первых, даже газетные, агитационные его стихи почти всегда связаны с коренными, «бытийными» для него проблемами: как жить? для чего жить? как стать счастливым? На каждом шагу мы встречаем у него вперемешку с агитационной мелочовкой и междоусобной руганью поэтические формулы, безусловно выражающие личностное его отношение к жизни: «вырвать радость у грядущих дней», «сделать жизнь», «мы земную жизнь переделаем» и т. д. Ю. Карабчиевский много и интересно пишет о сложном отношении Маяковского к смерти, о его страстной жажде бессмертия — и поэтического, о котором он думал и заботился непрерывно, и прямого, физического, мечта о котором воплотилась в странной утопической идее воскрешения, противопоставленной Воскресению Христову и основанной на наивной вере в науку и технику, от которых поэт был так же далек, как и от религии. Но ведь и такая, уже несомненно личная, тема то и дело возникает именно в послеоктябрьских стихах — и не только в поэме «Про это», в пьесах «Клоп» и «Баня», но даже в навязшем на зубах у школьников «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».

Ю. Карабчиевский вслед за Б. Пастернаком и Ю. Тыняновым восхищается вступлением в поэму «Во весь голос», где стихи — «единицы скорее мускульной воли, чем речи». Но ведь это лишь доведенное до совершенства общее свойство поэзии Маяковского: что бы и о чем бы он ни писал, везде присутствует его могучая воля к победе над жизнью, бытием и временем.

В книге Карабчиевского нашла отражение одна из величайших драм русской поэзии, имеющая прямое отношение к общей судьбе нашей литературы, нашего народа. В сущности, эта книга является поиском ответа на старый карамазовский вопрос: «Можно ли жить бунтом?» И герой книги отвечает вместе с поколениями, отдавшими жизнь революции: да, можно вопреки всему, но это безмерно тяжело, безрадостно — и неминуемо ведет к твоему распаду и уничтожению.

5

Теперь вернемся к роману Б. Пастернака, о связи которого с Блоком упоминалось в начале статьи.

В многотрудной судьбе романа «Доктор Живаго» есть и такой штрих: роман этот был осужден не только официально — многие не приняли его совершенно искренне; в числе «недоброхотов» оказались даже люди, близкие Б. Пастернаку (например, Ариадна Эфрон), и ряд писателей, неоднократно доказавших частичную или полную независимость своих суждений (например, И. Эренбург, Вс. Иванов, Н. Берберова, Г. Грин и другие). Лишь очень немногие из первых его читателей, выбранных самим автором (О. Фрейденберг, В. Шаламов), приняли роман безоговорочно. Претензии высказывались самые разные, но главную из них повторил тридцать лет спустя Д. Урнов, когда он раздраженно отозвался на ажиотаж вокруг отечественной публикации романа: мол, сенсация эта чисто политического свойства, никакого литературного значения роман не имеет, ибо Пастернак «в безумном превышении своих сил» взялся за тему, уже исчерпанную, по мнению критика, русской и советской литературной классикой, — тему «интеллигентского индивидуализма», в которую ему якобы не удалось внести ничего, кроме банальностей. В 1988 году с Д. Урновым уже не согласился никто, но главный его тезис, по-моему, так и остался непровергнутым.

В самом деле, тематически роман «Доктор Живаго» вполне традиционен для советской литературы: он рассказывает о том же, о чем писали Блок, Горький и множество прозаиков 20—30-х годов, в их числе и возвращенные читателю после пятидесят шестого и восемьдесят пятого, — об интеллигенции в революции, о крахе тех, кто не нашел своего места в новой жизни. Авторитет ряда этих авторов был так высок, что тема действительно могла показаться исчерпанной, а отступление от традиционной трактовки, возлагающей всю вину непременно на интеллигента, — восприниматься как нарушение жизненной и художественной правды.

Но дело в том, что «Доктор Живаго» вовсе не варьировал прежней концепции — он вступал с ней в решительный спор. Это был спор русского писателя, пережившего и осмыслившего опыт Большого Террора и Великой Войны, с русскими писателями, от души принявшими Октябрь 1917 года и на этом остановившимися.

Герой романа — именно интеллигент, то есть личность, с точки зрения революции, социально подозрительная. К тому же он вовсе не стремится занять место в общественной борьбе и жертвовать собой ради блага народа; он живет и хочет жить как частное лицо; он человек, всецело поглощенный интересами своих близких и своей внутренней жизнью, то есть по исходным законам советской литературы первого десятилетия — не что иное, как мещанин, обыватель. Так вот, Юрий Живаго для его автора вовсе не «интеллигентствующий мещанин» (формула, над которой издевался покойный Ю. Трифонов), а достойный представитель русской интеллигенции, в ком устойчивая материальная и моральная независимость развила недоступные нам ныне «дворянское чувство равенства со всем живущим», благородную щедрость, достоинство и доброту. К этому присоединяется особый личный талант Юрия Андреевича, который Пастернак называет даром жизни. У Живаго нет, как у героев Блока и Маяковского, потребности бунтовать против основ мироустройства, а, напротив, есть исходная очарованность тайной жизни и смерти, наполняющая радостью и смыслом все его бытие. С этой же тайной связаны оба его занятия: медицина — познание живого, и поэзия — слово о нем. И главное свойство этого человека — готовность к счастью и осуществлению полноты своего назначения именно в самых обычных, мирных, спокойных, обывательских условиях; ему необходимы только две вещи: неразлучность с близкими людьми и любимый труд. Ни тщеславия, ни гордыни, ни жажды власти, которые переполняли людей, навязываемых нам в герои; простейшей жизнеустроенности довольно для него, чтобы быть счастливым самому и нести счастье другим. Недаром в романе герой многократно уподоблен зажженной свече — не вспыхивающему пламени, а огню, ровно горящему во тьме, освещая жизнь добрым светом.

Революции ни к чему была эта бескорыстная самодостаточность русского интеллигента: она оборвала дни героя — случайно, мимоходом, даже не расправившись с ним, как с миллионом ему подобных, а просто вытеснив его из жизни. Начало революции вошло в Юрия Живаго чувством всеобщей и необходимой перемены, с

которой оказалась связана и его страсть к женщине, принесшая ему и высшую радость и высшее страдание; но он никак не мог принять вечного принуждения думать, поступать по правилам, грубо ему навязанным. Тщетно пытается он ценой любых усилий и лишений создать для себя крошечную нишу, где он мог бы спокойно жить и работать; но как раз стремление к независимости делает героя неприемлемым для «нового общества».

Роман «Доктор Живаго» помог осознать невероятные масштабы потерь, открыто начать скорбный мартиролог, в котором оказалось невосполнимо много интеллигентов...

Все это теперь общеизвестно. Но «плачем по русской интеллигенции» при всей его выстраданности не исчерпывается содержание романа. Тут даже можно провести аналогию с поэмой Блока «Двенадцать»: возникнув в насквозь политизированное время, оба эти шедевра русской литературы были восприняты сугубо политически, но авторы их ставили перед собой цели куда более широкие и общие...

Прочитав первую часть романа. О. Фрейденберг писала автору: «Это особый вариант книги Бытия... Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выражения в искусстве или науке — и боишься этого до смерти, т. к. она должна жить вечной загадкой». Пастернак не зря восхищался письмом сестры; она разглядела главную и высшую цель художника — создать «книгу Бытия», концентрирующую в себе коренные вопросы жизни личности, на которые он хотел дать абсолютно непривычные для советского читателя ответы. Тут особенно важна цепь «взрывчатых гнезд» — раздумий Веденяпина, Юрия Живаго, Гордона, Лары, Симочки, в своем единстве составляющих то, что сам автор называл «мое понимание христианства». От них неотрывны судьбы героев романа, и в особенности поэтическая тетрадь Живаго, а в ней — стихи о Христе.

Опять напрашивается параллель с «Двенадцатью». Но если у Блока Христос, глубоко враждебный героям поэмы и в немалой степени ее творцу, призван предельно драматизировать поэтическую идею, предельно стусить трагедийную непроясненность пути, то Христос Пастернака, который не только с героями, как у Блока, но с героях, призван, напротив, все осветить, прояснить, «отпускать на волю», как сказано самим автором. Главная мысль в том, что жизнь, учение и смерть Христа — эта «мистерия личности» — раз и навсегда изменили смысл и цель вселенной, освятив все главные моменты человеческого бытия; тем самым история превратилась в цепь личностных судеб, объединенных единой и великой целью — победой над смертью, целью, тоже раз и навсегда предваренной чудом Воскресения. Эта тема, отвергнутая Блоком и «перевернутая» Маяковским, для Пастернака центральная; рисуя в романе множество смертей, он в то же время непрерывно ищет житейских, реальных аналогий евангельскому чуду. То это ошеломляющая своей простотой и неотразимостью формула: «А вы уже воскресли, когда родились», то — смерть и воскресение природы, то — погружение героя в мрак болезни и возвращение его из небытия. Но главный его довод и опора — сила, красота, нескончаемость самой жизни, которая непрерывно возобновляет себя, таинственно соединяя и продолжая одну другую человеческие судьбы; недаром в романе говорят, что бессмертие — это лишь одно из названий жизни, чуть-чуть усиленное. И сам роман и его главный герой полны религиозного преклонения перед жизнью, ее естеством, перед даруемой ею радостью и красотой. Как не похоже это на трагический мир Блока и Маяковского. И дух захватывает, когда подумаешь, сколько смертей и страданий потребовалось, чтобы одно перешло в другое... Главное обвинение, которое Пастернак и его герой предъявляют людям революции, — это их неразумная и преступная попытка изменить естественные законы жизни, в корне переделать ее, навязать ей свою волю.

Отсутствие мистики, «набожности» в трактовке христианства, подход к нему с точки зрения реальностей жизни сближают Пастернака с Толстым. Но в то же время Пастернак и расходится с ним — прежде всего в отношении к «красоте», к искусству, которые Толстой противопоставлял морали. У Пастернака же своеобразная трактовка искусства вошла в его понимание Христа и христианства. В конце романа герой определяет для себя особый смысл творчества: «...искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования». Связь с христианством как «мистерией личности» очевидна.

Но с Христом оказывается связана даже собственно эстетическая сторона искусства, не только содержание, но и форма. Христос противостоит язычеству еще и тем, что он прост, ясен, глубоко человек, уподобляется любому смертному. Это, по мысли Пастернака, находит отражение в самом стиле Евангелия, где Христос то и дело приводит примеры из быта, «поясняя истину светом повседневности». Бытовое, частное начало, к которому с презрением относились Маяковский, Блок и другие поэты-революции, здесь представлено наиболее перспективным для искусства; недаром Живаго в своем дневнике выделяет Пушкина и Чехова, которые не претендовали на

звание учителей, пророков, а прожили сугубо частную, скромную жизнь, выразив ее в своем творчестве и тем самым сделав всеобщим достоянием. «Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения».

В романе эти принципы не просто декларированы, но художественно осуществлены; его «бытийный» пафос и символика подспудны, растворены в затрапезном, повседневном, которое подается не в форме романтического гротеска, а мягко и ненарочито. Это относится и к стилю романа с его, по выражению автора, «отсутствием блеска» даже в самых патетических местах: например, плач Лары по мертвому Юрочке передан бытовой, обиходной речью. Таким образом, художественная идея романа «Доктор Живаго» развернуто и многосторонне противостоит исходной идее советской литературы. Можно сказать, что в романе Пастернака трагедийный пафос литературы первых лет революции живет как предмет преодоления и разрешения. Блок и Маяковский постоянно — тайно или даже открыто — присутствуют в романе; о них думают, говорят и спорят. В начале своей работы Пастернак даже намеревался наделить некоторыми чертами обоих поэтов главного своего героя, но это не удалось. Зато черты Маяковского, да и Блока, просматриваются у живаговского антипода — Антипова-Стрельникова, значительного и благородного человека, исходно большого самонедовольством и самонедоверием и видящего в революции возможность обновиться и подняться до бесконечно любимых им существ — жены и дочери, с которыми (все с той же маниакальной целью) он разрывает связь. Саморазрушительная воля и самоубийство Стрельникова заставляют вспомнить о Маяковском; но ведь и Блок не раз с безумной беспощадностью рвал дорожки узы, подаренные ему жизнью; и если слова Лары о муже: «Он обиделся на жизнь за то, за что не следует обижаться», легко могут быть отнесены к Маяковскому, то безоглядный самосуд Стрельникова в конце романа заставляет вспомнить лирического героя Блока.

Хотя роман был искусственно вырван из советской литературной жизни на три десятилетия, хотя политическая мысль его, как и мысль Гроссмана, значительно опередила общество, долго еще пытавшееся противопоставить революции позднейшим кровавым преступлениям, тем не менее идея романа все эти годы подспудно жила в нашем нравственном и художественном сознании. Я убежден, что художественное открытие Пастернака определяло главные достижения советской литературы этих лет вплоть до сего дня, ибо отныне она стала по преимуществу литературой о судьбе «частного лица», о его существовании в будничной повседневности, заключающей в себе и прекрасное и низменное. Я имею в виду не только нашу городскую прозу, начиная с Ю. Казакова и Ю. Трифонова и кончая В. Маканиным и Л. Петрушевской, но вообще все истинно ценное, что появилось вслед за «Доктором Живаго» в советской литературе, включая романы Александра Солженицына. В последние годы наше представление об этой личностно-христианской бытовой линии в советской прозе 60—70-х годов значительно обогатилось; назову хотя бы несравненные «Москва — Петушки» В. Ерофеева, так сильно и неожиданно отозвавшиеся на давний замысел «Пьяненьких» Достоевского. Те, кто пытается опереться на идеи качественно иные, чем основополагающая ценность личности, будь то, например, «соборность» нации или этноса, с моей точки зрения, не обещают обогатить искусство; такой импульс, по-видимому, исчерпал себя в революционном эпосе. И это предвидел Пастернак, объединив в язычестве, которому противостоит христианство, антиличностные концепции всех времен, до марксистско-ленинской и до вновь набирающего сегодня силу национализма.

Целью этих заметок было несколькими штрихами подчеркнуть органичность и противоречивую преемственность идейных связей в нашей художественной истории, выделить некоторые звенья в этой цепи, сама непрерывность которой должна вселять в нас надежду.

Новосибирск.

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО

*

ЛЕВОЙ! ЛЕВОЙ! ЛЕВОЙ!..

Метаморфозы революционной культуры

НЕ ВЗРЫВ, НО ВСХЛИП

Экспозиция выставки «Советское искусство 20—30-х годов», занимающая почти весь верхний этаж огромного выставочного комплекса на Крымском валу, потрясла. Не столько подбором полотен (почти все хрестоматийно известны), сколько полнотой создаваемой картины культурного развития в пореволюционный период.

Вначале острый спазм — разноязычные, агрессивно динамичные, яркие, беспредметные полотна и коллажи авангарда: работы А. Лентулова, В. Степановой, К. Малевича, А. Родченко, В. Кандинского, Л. Лисицкого, какие-то лубочные тарелки, посвященные новым годовщинам... Затем возникает сюжетность, но еще в динамичной манере, в маршевом ритме, без лиц, как будто опредмеченный лозунг... Не вдруг, но всплывает пейзаж, постепенно проявляются и лица — так знакомое «изображение жизни в формах самой жизни». И как-то незаметно начинает проступать соцреализм — поначалу не лишенный, впрочем, движения и жизни, а затем уже развернуто-повествовательно-статичный, сюжетно-эпический, монументально-классический: огромные полотна И. Бродского, С. Герасимова...

Прохожу раз, еще раз. И убеждаюсь в абсолютной органичности превращений.

Раскинувшаяся в десятках залов художественная выставка наполнила для меня визуальным, почти физическим ощущением знаменитые элиотовские строки:

Вот так кончится мир.
Не взрыв, но всхлип.

«Революционный взрыв» оказался именно всхлипом — долгим, протяжным...

В своем поверхностном отрицании соцреализма (у нас ведь и поныне думают, что это только «девушки с веслами» да романы — от С. Бабаевского и В. Кочетова до П. Проскурина и Ан. Иванова) современная общественная мысль исходит из праведного неприятия тоталитарности, но культурную эпоху нельзя отринуть, нельзя выскочить из нее, как из старого платья, — ее можно лишь преодолеть, поняв тот же соцреализм как один из главных языков в искусстве XX века. Язык, не умерший в современном массовом сознании.

Понятия «Революционная культура» и «тоталитарная культура», которыми сегодня часто оперируют как противоположностями, на поверку представляются одной культурной парадигмой — в той мере, в какой культура революционна, она и тоталитарна. Вот почему превращения этих «близнецов-братьев» столь органичны. Чтобы из «дыр бул щил убешщур» вырос «Кавалер Золотой Звезды», нужно только время. Может быть, в литературе это не так очевидно, как на художественной выставке, но общекультурный закон здесь един.

И хотя футуризм и соцреализм весьма отличны друг от друга, это отличия лишь двух этапов одного — революционного — процесса. Лексика «якобинской» культуры всегда остается в культуре «термидорианской», но уже не как живая речь, а как риторика, как эпизированный, освященный властью язык, ставший «фундаментальным лексиконом».

В советском шестидесятническом сознании сложился и до сих пор весьма распространен взгляд на соцреализм как на феномен, исказивший «великий проект» новой культуры. Так утвердился миф о безгрешном авангарде, ставшем первой жертвой ненасытного молоха. «Согласно этой теории, — пишет Б. Гройс, — становление социалистического реализма отражает наступление господства масс после почти полного исчезновения слоя европейски образованной интеллектуальной элиты

вследствие террора Гражданской войны, эмиграции и преследований 20—30-х годов. Социалистический реализм оказывается в этой интерпретации лишь простым отражением традиционалистского вкуса масс, что, как кажется, находит себе подтверждение в распространенном тогда лозунге „учитесь у классиков”. Очевидная непохожесть произведений социалистического реализма на классические образцы заставляет далее говорить о нем как о „неудавшемся” возвращении, о простом киче, о „впадении в варварство”, так что искусство социалистического реализма спокойно отправляется в область „неискусства”.

Да, «тут кончается искусство», но начинаются вопросы. Главный из них — о родословной. Уже хорошо знаком взгляд на пролетарскую культуру как исток советского культурного процесса. Действительно, доктрина соцреализма вобрала в себя многое из пролеткультовской и рапповской эстетики. Но сейчас становится ясно, что одна эта эстетика не могла создать той особой взвеси, из которой впоследствии возник «зрелый» соцреализм.

На Западе сложилась иная модель, которую можно выразить простой формулой Б. Гройса: «Соцреализм — авангард по-сталински». Господствующий в западной литературе взгляд на проблему нашел отражение в двух последних книгах — того же Б. Гройса и В. Паперного.

В своей «Культуре Два» В. Паперный обратился к истории советской архитектуры. Он показал пропасть, лежащую между авангардом и сталинской культурой, через систему оппозиций: растекание — затвердевание, начало — конец, движение — неподвижность, горизонтальное — вертикальное, равномерное — иррациональное, механизм — человек, понятие — имя, немота — слово, лирика — эпос, импровизация — ноты, разрушение — созидание и т. д. В основе этой культурологической концепции — мысль о том, что соцреализм (Культура Два, по терминологии В. Паперного) и авангард (Культура Один), ставший жертвой сталинской культуры, есть лишь разные стороны более широкого явления: оба они едины в своем противостоянии собственно культуре.

Да, сама соцреалистическая культура была порождена глобальным поворотом общественного сознания влево (так, В. Маяковский стал классиком одновременно обеих культур), то есть у двух этих культур одна почва. Идеология революционаризма (из которой и выросла «левая» авангардная культура) развратила народное сознание, привела к люмпенизации, к искусственной возгонке ненависти и сама стала жертвой выпущенного джинна; как старая гвардия «пламенных революционеров» стала жертвой новой сталинской кадровой гвардии, опиравшейся на развязанные ранее инстинкты толпы, так авангардная культура стала жертвой культуры соцреалистической. Революционеры не к такому обществу стремились, но к такому обществу пришли и привели страну. Так и авангард не к соцреализму ведь направлялся, объективно же только к нему и вел «левый марш». От извержения этого вулкана все ждали какого-то яркого пиротехнического эффекта, а потом ко всеобщему ужасу оказалось, что прекрасные в прошлом окрестности покрыты безобразными горами застывшей лавы и мертвого пепла.

Из этих удивительных превращений Б. Гройс делает вывод о том, что «в отношении основной задачи авангарда, а именно — выхода искусства непосредственно в жизнь, социалистический реализм оказывается одновременно и завершением и рефлексией авангардистского демиургизма». Аргументация здесь такова: «...именно в искусстве авангарда художественная воля к овладению материалом и к его организации по законам, даваемым самим художником, обнаружила свою прямую связь с волей к власти. Получается так, что именно искусство социалистического реализма (равно как, скажем, и нацистское искусство) оказывается в положении, к которому изначально стремился авангард, — вне музея, вне истории искусства, как абсолютно другое по отношению к любым социально установленным нормам культуры». Суть культуры соцреализма, по Гройсу, — «в исполнении авангардистского утопического проекта не-авангардистскими традиционалистскими, «реалистическими» средствами».

Однако, на наш взгляд, картина много сложнее.

Соцреализм наследует не только «левой» (авангардной), но и «правой» (эстетически «ретроградной») пролетарской культуре. Это результат и исход «революционной ломки культуры» как «слева», так и «справа». Не уяснив этого, мы будем обречены на повторение либо «левого» мифа о «несбывшихся прекрасных революционных идеях» и о том, что «авангард не виноват», либо «правого» — о том, что народ и его культура были изнасилованы «сторонним» авангардным утопизмом.

Соцреализм — культура мутагенная. Он изменяется вместе с реальной трансформацией революционной идеи. Проиллюстрируем постоянно существующую возможность манипулировать революционными мифами примером из послевоенного времени.

В 1949—1950 годах в «Литературной газете» прошла дискуссия на тему «Маяковский и советская поэзия». Толчком к ней послужила рецензия Ир. Пиляр на поэмы Г. Горностаева, в которых явно ощущалась опора на поэтику Маяковского. Рецензия

была направлена «против внешнего подражательства». Ответом на нее явилась статья С. Кирсанова, где утверждалось, что традиции Маяковского нужно продолжать, а между тем созданная им поэтика умирает. «Учиться, а не имитировать!» — так называлась статья А. Суркова, в свою очередь вступившего в спор с Кирсановым. В широком смысле, писал Сурков, в своем служении революционным идеям вся советская поэзия идет за Маяковским, а его особой школы быть не должно. Суркова поддержали Ан. Тарасенков и Н. Атаров («Нельзя воскресить поэтику Маяковского!»). Солидаризировался с С. Кирсановым, пожалуй, только Н. Асеев. Разумеется, в итоговой редакционной статье была утверждена «широкая» точка зрения: «поэтическое слово Маяковского — это грозное, безотказное, проверенное в деле, пристреленное оружие», поэтому его наследниками являются и Исаковский, и Тихонов (первого Кирсанов относил к линии Никитина, а второго — к школе Блока), и вообще вся советская поэзия. Сам Маяковский выводился из «вековой традиции русской национальной поэзии», а поскольку «он — правофланговый, по нему равняются наши поэты», суть его наследия подавалась максимально общо: «большевистская партийность», «связь поэта с жизнью народа», «порыв в будущее коммунистическое далеко» и т. д. Так на практике происходила культурная перекодировка: революционная риторика отнималась у авангарда и прикреплялась к соцреализму.

Тут, однако, не конец соцреалистических «превращений» Маяковского. Через полгода после дискуссии «Литературная газета» печатает в порядке обсуждения статью С. Трегуба (этот новый виток дискуссии завершился впоследствии огромным скандалом с личными обвинениями и оскорблениями в стане маяковсковедов, которые не могли поделить наследство «лучшего и талантливейшего»), где уже утверждалось, что нельзя «превращать «футуристическую муху» в «футуристического слона» и тем самым умять и истинный пафос творчества В. Маяковского». Странно, дескать, «не видеть той пропасти, которая существовала между «футуристом» Маяковским и футуристами-декадентами, не видеть разницы между тем, какой смысл вкладывал Маяковский в слово «футуризм», и тем, что собой представлял футуризм всяческих заумников и кубистов, чье «творчество» было лишь гнильцой буржуазной культуры». Замечательная метаморфоза: левое искусство объявляется буржуазным («правым»), а соцреализм — революционным («левым»). Так Маяковский вгонялся в новую культурную фазу. Заметим кстати, что соцреализм, будучи эстетикой сталинизма и языком самой власти, повторял ее политические маневры — с «правыми» против «левых», с «левыми» против «правых» и т. д.¹

Когда-то А. Луначарский строил предположения: «Если бы вместо меня нарком просвещения был назначен Мейерхольд, он бы разгромил «правый» фронт; если бы Сосновский — он разгромил бы «левый», а если сначала один, а потом второй...» Смею утверждать: было бы то, что и случилось. Имманентная логика революционной культуры мало зависит от фигуры наркома.

ПРЕДТЕЧИ

А. Богданов, который не мог простить своему бывшему другу и единомышленнику А. Луначарскому того, что тот участвует в совершаемой большевиками «сдаче социализма солдатчине», и в письме, написанном буквально через несколько недель после октябрьского переворота — 19 ноября (2 декабря) 1917 года, — писал: «...ваш политический стиль пропитался казарменной трехэтажностью, ваши редакции помещают стихи о выдавливании кишок у буржуазии...», — был тем самым А. Богдановым, что разрабатывал «азбучно-элементарные», по его собственному выражению, истины «новой культуры». Нам еще предстоит вернуться к этим не таким уж «азбучным» истинам. Однако мы не намерены соглашаться с тем, будто весь соцреализм вышел исключительно из каприйской «горьковско-луначарско-богдановской» утопии, как это считает А. Гангнус (см. «Новый мир», 1988, № 9).

Не следует забывать, что у истоков «пролетарской культуры» и соответственно соцреализма стоят «предтечи революционной поэзии». А за ними — огромный пласт народной идеологии, утопического культурного сознания, достигшего пика в творчестве Некрасова и ушедшего в конце XIX века под лед, измельчавшего под напором духовного обновления, религиозно-философской мысли рубежа веков.

Здесь, в укроме, и зародилась новая буря, которую люди этого склада неистово призывали. Здесь жила та «революционная традиция литературы», которая, пройдя все «три этапа русского освободительного движения», действительно имеет свои великие заслуги перед русской революцией.

¹ Однако, говоря «левое» и «правое», нужно видеть, что и «левизна» одних и «правизна» других лежала по левую, революционную сторону от культурной традиции (это, конечно, нелишне помнить, когда наше общество стало сегодня похоже на ту гоголевскую девочку, что путала право и лево, и сторонников рынка и частной собственности именует левыми, а приверженцев «социалистического выбора» — правыми).

Когда в школе доходили до «третьего этапа», школьники учили наизусть две горьковские песни — о Буревестнике и о Соколе. Однако стоит обратить внимание и на третью, выпавшую из романтически-поэтической триады, — «Валашскую легенду». Речь в ней идет о юноше Марко, влюбившемся в веселую фею, что весь день «ласкала» юношу, а затем углыла себе в свой Дунай. Юноша не примирился с потерей и, когда дунайские волны ответили, что не знают, куда скрылась фея, закричал им: «Вы лжете! Вы сами играете с нею!» — и бросился в реку... Фея купается и до сего дня, а «Марко уж нету... Но, все же, о Марко хоть песня осталась». Заканчивается это феерическое повествование обращением к читателю: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут: ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют!» Эта горьковская легенда — поистине гимн пустому жесту, безрассудному, в своей подоснове революционному, активизму.

За Горьким — огромный пласт революционной подкультуры, в которую выродилась «народно-демократическая поэзия» XIX века². В этой подкультуре есть свои пики: Скиталец (С. Г. Петров), выходец из крестьянской семьи, недоучившийся семинарист, друг Горького, арестовывался; Евг. Тарасов, участник революции 1905 года, арестовывался; П. Якубович-Мельшин, выходец из стародворянской семьи, получил университетское образование, арестовывался; Г. Галина (Г. А. Эйнерлинг), выслалась из Петербурга во время студенческих волнений 1901 года; Тан (В. Г. Богораз), выходец из учительской семьи, арестовывался... Это еще не пролетарская и не крестьянская поэзия. Это поэзия раскассированного маргинального социального слоя. Полная неприязни действительности, протеста, ненависти к «богачам» и «хозяевам жизни»: «Я вхожу во дворец к богачу и пропеть ему песню хочу. Я пою ему, звонко смеясь: „На душе твоей копать и грязь...“», «Вот — я змеей вползаю к вам и песней жалю вас. Я только яд и раны дам, а муки — бог вам даст. Я к вам явился возвестить: жизнь казни вашей ждет! Жизнь хочет вам нещадно мстить: она за мной идет!» (Скиталец). И, наблюдая за певчими, что хоронят «того, кто золото любил», поэт восклицает: «Противно мне идти с твоей наемной свитой и голос отдавать — не людям, не борьбе, не песням радости и битвы, — а тебе, мешок, червонцами набитый!»

Не обремененная еще точным знанием «классовых истин», поэзия эта апеллирует к простой антитезе «бедные — богатые». Отсюда неопределенность угроз: «Мы придем на заре к белоснежным дворцам, мы придем на заре за расплатой», «О сильные мира, о князи и боги, видите ль отсветы дальних огней? День гнева и страсти уже на пороге, возмездья секира коснулась корней!» (Евг. Тарасов). Отсюда неясность даже того, кто такие «мы»: «Мы не поэты, мы — предтечи пред тем, кого покамест нет». Однако поэт будущего уже просматривается на горизонте: «Он не пришел, но он меж нами. Он в шахтах уголь достает, он тямчим молотом кует, он раздувает в горне пламя...», «Из гибкой стали создаст он чуждые печали напевы воли и труда».

Эти пророчества произносятся неизменно в одиночестве, в неволе, в темнице, где «в окнах решетки сурово блестят», где «люди с оружием зорко глядят»; «...загремела тяжелая дверь — и опять я один в ненавистных стенах, как в ловушку захлопнутый зверь!»; «И в толпе, и один, я всегда одинок: я — как вырванный с корнем цветок» (П. Якубович-Мельшин); «Спит, как зверь усталый, этот мир проклятый, вечно мне враждебный... чужд я для него. В комнате унылой, тишиной обьятой, я и мои мысли — больше никого» (Скиталец).

Одновременно это поэзия надрыва, истерики, когда призыв «плачь, скорбно плачь» сменяется вдруг неистовством: «Я хочу веселья, радостного пенья, буйного разгула, смеха и острот... Я хочу рубиться, мстить с безумной страстью... И хочу любви я, и хочу я счастья...» (Скиталец). Здесь же — громкий призыв к «деянию», певцом которого был и Горький: «Зови лишь того, кто безумен в любви, кто сердцем не раб, а бестрепетный воин».

Смешение любви и ненависти у предтеч революционной поэзии уже обрело отчетливый крен в сторону ненависти, пожара и разрушения («Мы ненависть новую бережно копим, мы время торопим, мы город затопим»). «Сказочка» Евг. Тарасова как раз и повествует о том, что «были-стояли как-то хоромы, жили в хоромях бары-князья», но вот решили мужики «выжечь из сердца думы-печали, пьяный, веселый пламень зажечь». Так и сделали: «Шло пированье; рушились балки. Был именовник — красный петух. С криком метались черные галки, яро горели лица старух...» Позже «прекрасное понятие ненависть» станет основой нового гуманизма.

Порывшись в подкультурном пласте, заслоненном хрестоматийными горьковскими текстами, мы легко найдем в этих стихах параллели роману «Мать»: «В темницах заводов, средь шума приводов... дни за днями сжигаем и знаем, что каждое

² См. сборник «У истоков русской пролетарской поэзии» в большой серии «Библиотеки поэта» (1965). Чтобы представить себе масштаб явления, стоит обратиться и к вышедшему уже в 1990 году в этой же серии изданию «Д. Н. Семеновский и поэты его круга» — первому сборнику такого рода, составленному на местном (иваново-вознесенском) материале.

утро нас гневно разбудит упорно зовущий свисток, и голод нас в толпы утрюмые сгрудит, и улицей сонной к пасти бездонной тысячько ног прощуршим». Найдем проклятие родине: «Ты навела с утра зловещей тучи тень, по капле кровь из нас всю выпила до срока!.. Какая ж мать ты нам? За что любить тебя?»; проклятие «безумным векам». Борьба объявляется перманентной: «Когда отживший мир народы перестроят, — не все исчезнет зло, не замолчит тоска, и язвы новых ран заноят... И снова разбивать о душный свод тюрьмы мы будем трепетные крылья!»

Конечно, вся эта поэтическая продукция вторична в своей выпренности (любовь, «как греза эдема, прекрасна!»), монументальности, помпезности. Картины, возникающие здесь, исполнены театральной жестикюляции: «Во мраке я пою, средь непробудной ночи... Я поднял высоко протянутые руки.. Кто видит облик мой? Откликнись в этот час! Кто видит в темноте мои слепые муки...» Отсюда многое войдет прямо в пролетарскую поэзию и через нее — в соцреализм с его ориентацией на «высокий стиль» салона.

Подобная «литературность» связана с соответствующим уровнем культуры, но, с другой стороны, отчетливо видна и ориентация на некрасовскую линию в поэзии: «Горькой недолюшке к солнечной волошке негде пройти...»; или: «Тихо мелькнула звезда, и другая... Ночь надевает свой царский венец...— Мука, великая мука людская! Стихла ли ты, наконец?»

Все это больное, порушенное сознание не может не поражать своей межеумочностью. Здесь звучат религиозные мотивы (их легко найти и в «Матери» и в других горьковских произведениях, сродных эстетике предтеч), по крайней мере использована соответствующая образность (чего мы не найдем уже у пролетарских поэтов) — речь заходит то об ангеле-хранителе то о «надежде чудотворной», то вдруг поэт говорит о себе: «...голос мой звучит молитвенной хвалой» «молитвой я дышу сквозь мрак темницы черной»...

И рядом — богоборческие мотивы: «На предвечной колеснице мчится жизнь в венке из роз... Блещут огненные спицы окровавленных колес... Заглушает смех рыданье, с песней слит предсмертный крик... И над всем царит в сиянье равнодушный, вечный лик...» Но как бы то ни было, мы присутствуем при драме разрыва связей и разрушения целостности. Уже виден каркас «новой культуры» — отсутствие сознания греха и неизбежности искупления, неприятие смирения и высшей оправданности страданий, искусственная возгонка ненависти и какой-то детский имморализм (первый, но твердый шаг к аморализму культуры соцреалистической).

Нигде революционность не выступает в такой чистоте рабского сознания (по известному бердяевскому определению), как в поэзии предтеч. Здесь оно еще инфантильно-наивно, еще болезненно-уязвимо. Ущербность, разрыв с высокими духовными ценностями, разрушенное прошлое, ненавистное настоящее, неопределенно-кровавое будущее и полное погружение в пучину поработавшей ненависти к себе и миру — вот что внесло в литературу «русское освободительное движение» И это, разумеется было лишь начало: буря как сказал основоположник, — «это движение самих масс»

«МЫ САМИ СЕБЕ БОЖЕСТВО, И СУДЬЯ, И ЗАКОН»

Расколотый мир был трагически воспринят и крестьянскими поэтами, но осознан и понят ими в границах традиционных ценностей. Здесь была своя цельность, но многое было от «предтеч» И не следует думать (а мифологизация крестьянских поэтов сегодня очевидна), что этому миропониманию вовсе не нашлось места в «воздушно-каменном театре времен грядущих» (О. Мандельштам) — соцреализме. Обретя свою державность, соцреализм вобрал в себя и мотивы крестьянских поэтов (нещадно эксплуатировавшиеся темы «малой родины», «сыновней любви», эстетика «родных осин и берез»). Да, соцреализм безбожно исказил и приспособил к себе эти мотивы, выхолостил из них действительно трагическое мироощущение но точно так же исказил он все, что прибрал к рукам «по праву наследника»

Магистральным же путем была радикализация разлада с миром. Теоретики «новой культуры» пытались преодолеть подкультурность и межеумочность эстетики «буревестников», влив в нее «классовость», разрушая остатки связей со «старым миром», направляя ее в «организационное» русло. Вот в каком контексте предстает «каприйская альтернатива» Богданова и его сподвижников. Она потому и осталась альтернативой, что не была прямо завязана на политику и «конкретные задачи дня», всегда первичные для большевиков. Искренний утопист А. Богданов «не узнал» революции и резко напал на большевизм, который «усвоил всю логику казармы, все ее методы, всю ее специфическую культуру и ее идеал», писал о Ленине как о «грубом шахматисте», а о Троцком как о «самовлюбленном актере». Свершившийся большевистский переворот не принят был им из-за опоры на «люмпен и солдатню»: «В России... солдатско-коммунистическая революция есть нечто, скорее противоположное социалистической, чем ее приближающее» Идеал революции был поколеблен в его глазах сразу

Луначарского же одолели сомнения после сообщения о бомбардировке Кремля. 3(16) ноября 1917 года газета «Новая жизнь» под заголовком «Отставка А. В. Луначарского» опубликовала его заявление. Луначарский писал, что, узнав от очевидцев об обстреле Кремля, в котором собраны все главнейшие художественные сокровища Москвы и Петрограда, и о разрушении собора Василия Блаженного и Успенского собора, он признает свое бессилие перед ужасом борьбы, ожесточившейся до звериной злобы, и выходит из состава Совнаркома.

С этим связан любопытный эпизод в становлении «пролетарской поэзии». Ответом Луначарскому явилось стихотворение В. Кириллова «Мы», то самое, где находящийся «во власти мятежного, страстного хмеля» поэт угрожал: «Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы», поскольку «мы дышим иной красотой». Богданов откликнулся на это стихотворение укорами «увлекшемуся поэту», который, «отдаваясь потоку своего чувства, забыл о социальной организующей роли искусства» и дал «символ в духе солдата, а не рабочего.. Пролетарий никогда не должен забывать о сотрудничестве поколений, которое противоположно сотрудничеству классов в настоящем, — он не имеет права забывать об уважении к великим мертвецам которые проложили нам дорогу и завещали нам свою душу которые из могилы протягивают нам руку помощи в нашем стремлении к идеалу»

Таков был ответ «новой культуре» ее предтеч. Тут важно не допускать исторических aberrаций. Леворадикальная интеллигенция, включая Богданова, разумеется несет прямую ответственность за реальную этику и эстетику «пролетарской культуры». Но богдановский проект не был проповедью «солдатчины», он впитал в себя немало той «интеллигентской шаткости», к которой с презрением отнеслась новая, теми же интеллигентами разбуженная ломпенская масса.

Задачу «выработки социалистической пролетарской культуры» Богданов ставил задолго до революции. Было ли это абстрактной утопией? Отнюдь. Шло фактическое обоснование уже реальной подкультуры. И теоретик говорил как бы от ее имени, базируя свои построения на примитивно-материалистическом понимании искусства (речь возникла из трудовых криков, танец — из потребности «создавать единство настроения в коллективе... для выполнения какого-нибудь общего дела», а самое искусство — из необходимости воспитания людей и организации коллектива).

Итак, логика здесь такова: если «искусство — одна из идеологий класса, элемент его классового сознания.. организационная форма классовой жизни, способ объединения и сплочения классовых сил» если искусство есть «воспитательное средство» «орудие социальной организации людей» закрепляющее единство трудовой рати, тогда ясно, что «буржуазное искусство — реальная и огромная сила, действующая на пролетариат воспитательно в неблагоприятном направлении» Это были уже серьезные шаги к соцреалистической доктрине

Ясно, что в фундаменте пролетарской культуры, теоретиком и душой которой Богданов был на ранней ее стадии, легли многие богдановские идеи: и восторг перед «поэзией боевого коллективизма» (Богданов в своих статьях на страницах журнала «Пролетарская культура» показал себя кропотливым аналитиком и непревзойденным интерпретатором графоманских текстов «молодых пролетарских поэтов»), и вулгарный социологизм при обращении к классике («Фауст» как «гениальное произведение тайного советника В. Гёте, буржуазного аристократа», решающего некие «организационные задачи», или знаменитый анализ «Гамлета» с «коллективно-трудовой точки зрения»); и тезис о том, что «наша критика пролетарского искусства должна направляться на его содержание прежде всего», а «со стороны его формы должна преследовать одну вполне определенную и ясную задачу: полное соответствие этой формы с содержанием»; и любимая богдановская мысль: «Рабочему классу необходимо найти, выработать и провести до конца точку зрения, высшую по отношению ко всей культуре прошлого... Тогда станет возможно овладеть этой культурой, не подчиняясь ей. — сделать ее орудием строительства новой жизни и оружием борьбы против самого же старого общества» и вытекающий отсюда призыв к пролетариату учиться у своих предшественников художественной технике Все это прямо войдет в рапповскую критику и из нее перекочет в соцреализм. Не говоря уж о тех положениях, что были высказаны им в статье «Простота или утонченность?» «...простота формы наиболее естественна и нормальна для пролетарского художника, наиболее соответствует его социальной природе на современной ступени развития», «надо по-настоящему учиться, учиться широко и глубоко, а не «набивать руку» в хитрых рифмах и аллитерациях». Это уже чисто соцреалистическая проблематика (в борьбе с «эстетством» и «формалистическими выкрутасами»). Все это так.

Но было здесь и другое. То, что вытолкнуло Богданова из его же пролеткультовской постройки, — неприятие «логики и идеала казармы». Из богдановского «проекта» пути ведут не только к фашиствующему РАППу, где были правили малограмотные политиканы и невежественные доктринеры типа Л. Авербаха, С. Родова, Г. Лелевича

или В. Ермилова вкупе с вознесенными ими писателями-идеологами А. Фадеевым или Ю. Либединым. Когда Богданов говорил о «художественных сокровищах прошлого» или призывал: «Товарищи, надо помнить: мы живем не только в коллективе настоящего, мы живем в сотрудничестве поколений» — это значило, что в богдановской утопии был заложен и иной «революционный идеал», близкий таким далеким от рапповского ригоризма и сектанства и несомненно намного более культурным и образованным людям, как перевальцы (А. Воронский, А. Лежнев, Д. Горбов). Это был идеал «социализма с человеческим лицом», социализма как высшей стадии «всего лучшего, что выработало человечество», — миф, воскресший в шестидесятничестве и донесенный до сего дня.

Снова прислушаемся к тому, что писал Богданов через три недели после октябрьского переворота Луначарскому: «А идеал социализма? ясно, что тот, кто считает солдатское восстание началом его реализации, тот с рабочим социализмом объективно порвал, тот ошибочно считает себя социалистом — он идет по пути военно-потребительного коммунизма, принимает карикатуру упадочного кризиса за идеал жизни и красоты... Он отдал свою веру солдатским штыкам, — и недалек день, когда эти же штыки растерзают его веру, если не его тело. Здесь действительно трагизм». Таким — отчасти пророческим — был богдановский утопизм. Богданов критиковал большевиков за их отступничество от идеала: «Ваша безудержная демагогия — необходимое приспособление к задаче собирания солдатских масс; ваше культурное принижение — необходимый результат этого общения с солдатчиной при культурной слабости пролетариата». И действительный трагизм ситуации состоял в том, что ни он, ни все бывшее «каприйское братство» не понимали, что для большевиков ни о каком «культурном принижении» не могло быть и речи, ибо они отлично знали, в какую массу идут для захвата власти, и умело манипулировали ею, спекулируя на давних чаяниях, эксплуатируя иллюзии, невежество, психологию толпы, вовсе не беря в расчет «культуру пролетариата», — потому они и победили.

Но, может быть, высший трагизм состоял в том, что Богданов полагал, будто он своим учением о «новой культуре» работает на «повышение», тогда как в действительности исходил из ущербного сознания и сам работал на «культурное принижение». В 20-е годы такими же дон-кихотами были перевальцы³. И совершенно ясно, что революционная идея как «мифопорождающее устройство» (пользуясь лотмановским термином) будет воспроизводить этот феномен — будь то шестидесятники или сегодняшние сторонники «гуманного социализма».

И вина и беда наивных идеалистов состояла в том, что они пошли за подкультурой, идеологизировали ее и сами стали инициаторами «культурного принижения». После богдановского же признания искусства фактором организации и воспитания коллектива стало делом времени утверждение одного из идеологов Пролеткульта: «Колоссальные духовные сокровища, накопленные в ряде тысячелетий и вновь создаваемые в процессе творчества, получают такие формулировки, будут в таких тонах преобразованы, что усвоение их окажется относительно куда более легким делом, чем теперь, они не будут обременять и подавлять человеческой психики... В том же направлении преобразуется и искусство». В свою очередь этот тезис прямо соотносится с левовским «организованным упрощением культуры».

И чем же все это обернулось на практике?

В 1988 году в издательстве «Московский рабочий» вышел сборник «В Политехническом «Вечер новой поэзии». Стихи участников поэтических вечеров в Политехническом музее 1917—1923. Статьи, манифесты, воспоминания». В «Гранях» (1989, № 151) с рецензией на него выступил Ю. Кублановский. Его статья называлась «У истоков идеологической графомании». Анализируя «революционные китчи», автор говорит о «жутковатом духе иступленности», о том, что перед нами в этих стихах «полубезумное словоблудие, замешанное на жажде крови и истерической экзальтации», психология «реального человеконенавистничества», что «душевный порыв, вложенный в слово, подменился псевдопафосом идеологического пустозвонства и агрессивности». В общем, заключает Ю. Кублановский, «случай просто клинический». Но — и это мне представляется важным — «жалко ту фанатичную, зачумленную молодежь».

Здесь нет возможности подробно анализировать продукцию пролетарских поэтов. Эта поэзия, оказавшаяся на периферии современного общественного интереса, дает между тем исключительный материал для понимания превращений революционной идеи и порожденного ею менталитета. Нигде в такой концентрации не отразился весь спектр массовой психологии эпохи.

Чего тут только нет! Тут и «гнусные гады» — «шайка попов и господ», а с ними — «что с попом, что с кулаком — вся беседа — в брюхо толстое штыком мироеда!» (Демьян Бедный). Тут и прямо идущая от «предтеч» романтика («Люблю стремление к идеалу...» у Ф. Шкулева), и то же уединенное сознание в пространстве неволи («Песня

³ В своей книге «Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей» (М. 1989) Г. Белая впервые глубоко и точно раскрыла эту ситуацию.

невольника» Е. Нечаева — «если б я не был жалким, забитым рабом»), и то же неприятие «эстетского искусства» («Да, нам противен звук ненужных жемчужно-бисерных стихов, узоры вымыслов недужных и призраки могильных снов» — «„Жрецам искусства“» В. Кириллова), и тот же взгляд на прошлое как на юдоль страданий (у С. Образовича: «Вспомнилось... Сумрак. Угол. Плесень. Верстак. Паук. И сквозь угар и ругань — образ застывших мук»).

Мотивы поэзии предтеч в результате «революционной ломки», как уже говорилось, радикализуются. А религиозные мотивы сменяет активное богоборчество («О, ненавидел тебя я, черный угрюмый Спас»). Пролетарская поэзия, разрывая с традиционной культурной почвой, обретает своеобразную цельность, новое единство с миром: «Душа какою-то решимостью полна, недостижимое становится возможным, и нетерпением сладким и тревожным она взволнуется до дна!» (Е. Бражнев). Это «невозможное становится возможным», похищенное «пролетарским поэтом» у Блока, потом с неизбежностью войдет в соцреализм: чудо станет основой реальности, а реальность — чудом («Загудели-заиграли провода — мы такого не видали никогда»).

Родится и новое понимание творчества: «...во всем холодное сознание, железный, непреложный долг» (Н. Полетаев). Творчество как долг — идея эта будет пульсировать во всей революционной культуре, пока через левовскую теорию «социального заказа» не затвердеет в формулах соцреализма. Если предшественники ждали «того, кого покамест нет», то явившиеся вслед «барабанщики-поэты» (С. Родов), «поэты железа и огня» (М. Герасимов) заявили о себе: «Мы звезды в сумраке глубоком, — едва мерцаем и горим, но на посту своем высоко мы неизменно сторожим» (Самобытник). Тип «нового творца»: мы — «рабочие слова. Наша душа — завод. Сердце — живая вагранка. Мысли — шуршащий привод. Стих — наша форма иль гранка» (А. Безыменский). От этого совсем недалеко до «сердца — пламенного мотора» и стихов — «боевого оружия».

В пролетарской поэзии уже содержится все необходимое соцреализму. Вот враг. Вот герой. Вот вождь. Причем герой-пролетарий выписывается уже вполне соцреалистически. У Ф. Шкулева рабочий «смугл, могуч и плотен, из бронзы пара рук, средь красочных полотен он любит алый звук. Он с воротом открытым ваятель у станка, стальные в порох плиты дробит его рука». В этой монументально-сценической позе герой из «плана монументальной пропаганды» перекочевал прямо на сталинские высоты.

Наконец, пролетарские поэты заложили эстетические основы культа вождя. Он — «избранный», что «глядит в лицо векам» (В. Кириллов), «кормчий», «руками сжав штурвал железный, на красной вышке броневой стоит и держит путь свой звездный, мятежный, гордый рулевой» (И. Ионов). Эти адресованные Ленину стихи полны той новой образности, что в соцреализме переадресуется Сталину: «И кривды вывесок знать в именах не чаем, гордимся духа творческим лучом средь косных звезд — и нет, не замечаем, как унижением свой мудрый род сечем, что человека кличем Ильичом, а чуть звезда — Сатурном величаем». Попутно с новой эстетикой возникает и новая этика — когда нарком просвещения Луначарский в 1921 году пишет и публично читает такие вот стихи, адресованные своему непосредственному руководителю: «Смотри: в тумане маяком стоит там, тверд и неизменен, всегда живой Предсовнарком, путеводитель мира — Ленин!»

В пролетарской поэзии свершилось рождение новой, коллективистской личности, о чем мечтал Богданов. Едва ли не каждый из этих поэтов оставил стихотворение под названием «Мы»; причем «у каждого в груди пылающие домны» — при полной обезличенности не только индивида, но и самой массы («...нам не дано имен, детям станков и околиц! Имя мое — легион!») и постоянном стремлении исчезнуть в ней («Хочу позабыть свое имя и званье — на номер, на литер, на кличку сменять» — В. Луговской, «Утро республик»).

Отсюда в соцреализм перешли весьма специфические черты. Например, социализованную интимность (у Михаила Голодного: «Выйди, милая, родная, подле клуба, на крылечко... Видишь, в небе вечер поздний красных зорек радость пролил... Хорошо под шепот звездный говорить о Комсомоле. Над Юпитером, над Марсом... расскажу тебе о Марксе...») мы найдем затем в классическом производственном романе или «колхозной поэме». Но многое, прежде чем застыть в соцреалистической эстетике, прошло через рапповские доктрины. Так, массовизм пролетарской поэзии должен был переплавиться в горниле «теории живого человека», чтобы избавиться от излишней абстрактности, — один из главных идеологов РАППа, А. Безыменский, обращаясь к поэтам «Кузницы», призывает: «Пишите сонни «Поэм о собаке», но дайте одну хоть о человеке живом. Возьмите любого Федю на Рабфаке, который будет нашим завтрашним днем! Довольно неба и мудрости вещей! Давайте больше живых гвоздей. Откиньте небо! Отбросьте вещи! Давайте землю и живых людей». Эти «живые люди» явятся только в соцреализме.

При взгляде из исторического отдаления споры 20-х годов наполняются новым смыслом: низы подкультуры-поднимаются наверх, чтобы стать «высокой культурой»

в соцреализме. Трезво глядящий на происходящее О. Мандельштам в 1923 году писал в своем эссе «Армия поэтов»: «После тяжелых переходных лет количество пишущих стихи сильно увеличилось... Основное качество этих людей, бесполезных и упорных в своем подвиге, это отвращение ко всякой профессии, почти всегда отсутствие серьезного профессионального образования, отсутствие вкуса ко всякому определенному ремеслу. Как будто поэзия начинается там, где кончается всякое другое ремесло...»

«Идеологическая графомания», где бы она ни развивалась — в «Кузнице», Пролеткульте, РАППе или в комсомольской поэзии, — была не просто протуберанцем разбухшей массы. Подкрепленная организационно, она явилась мощным культурным пластом, легшим в фундамент соцреализма с его опорой на люмпенизированное сознание людей, выброшенных, по словам О. Мандельштама, из своих биографий, как шары из бильярдных луз. В борьбе группировок 20-х годов очень важно увидеть основной (в проекции на ближайшее будущее) культурный вектор. Революционная культура — безостановочный процесс становления соцреализма. По разлитому Аннушкой маслу культура съезжала прямо на соцреалистические рельсы. Гремучая смесь соцреализма никогда бы не образовалась только во исполнение политического проекта, без встречного внутрикультурного движения.

ЛЕВЫЙ МАРШ

Революционная культура вела к глубинным трансформациям в сфере массового сознания. В отчаянном пароксизме социальных превращений возникло странное тождество эгалитарного и элитарного полюсов: почти восточного коллективизма, слипания индивидов в некий всеохватный социум («Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз...») — и почти нищенского индивидуализма. В основе этого тождества был новый статус личности, который очень точно описал В. Библер: «Чем с большей силой и беспощадностью жертвенности мое Я... вбирает в себя муки, и страдания, и жажду членораздельной речи всех других одиноких людей площади, тем больше и пустее оказывается зияние вокруг меня, тем меньше мне нужны другие люди и страсти — ведь все и всё втянуто в меня, в мое отчаяние, в мои страсти, в мою обиду... Эпос (все люди) и лирика (только Я) сжимаются в предельную эгоцентрику и одновременно в предельную всеобщность... Но этот один Я, исключаяющий всякое общение и всякую речевую перекличку... не только один, он еще — одинок. Он не имеет никого рядом с собой; он сам исключил (включил в себя) всех других людей и все иные, от него отличающиеся мысли и чувства». Отсюда уединенно-романтическое сознание начинает опираться на внешнюю силу⁴, тогда как традиционная культура, укрепляющая личность, диктует иные отношения с духом времени (ср. мандельштамовское понимание века). Тут действовала, конечно, и имманентная логика развития культуры: поляризация внутри символизма, выпадение из него футуризма чем-то напоминает процесс мутационного деления клетки.

Через короткое время вчерашние властители дум не узнали свое незаконное детище. Подобно тому как Богданов после революции с недоумением спрашивал: «И это пролетарий?» — Блок, захваченный «музыкой революции» и позаимствовавший способ ее непосредственного выражения из подкультуры («...мировой пожар в крови — Господи, благослови!»), застыл в немом ужасе, когда в этом огне сгорел его дом в Шахматове, его книги, рукописи, дневники, и от призыва «слушать музыку революции» остался только застрывший в горле крик: «...снилось Шахматово — а-а-а...»; Блок также отказался расслышать эту «музыку» в футуризме, обнаружив в нем «пророка и предтечу тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции». Но футуризм был еще и карикатурным наследником символистского индивидуализма (механизм превращения которого в футуристический «коллективизм» выше описан В. Библером).

Именно символизм способствовал тому, чтобы культура двинулась в русло революционного сознания, оплодотворяя соответствующую подкультуру. Движение в одном и том же губительном направлении шло с противоположных сторон. В чем-то прав был Л. Троцкий, когда писал об Андрее Белом: «Сорванный с бытовой оси индивидуалист, Белый хочет заменить собою весь мир, все построить из себя и через себя, открыть в себе самом все заново... И оттого так несносны в последнем счете эта подобострастная возня с собою, это обожествление самых заурядных фактов собственного духовного обихода».

Футуристы оказались просто-напросто радикальнее своих предтеч — символистов. Это видно хотя бы в «Самогимне» И. Северянина: «Я — я! Значенье эготворчества — плод искушенной Красоты», «Во всей вселенной нас только двое, и эти двое — всегда одно: Я и Желанье! Живи, Живое! — Тебе бессмертье предreshено!»

⁴ См.: Анатолий Якобсон, «О романтической идеологии» («Новый мир», 1989, № 4).

Такому «я» тесно в пространстве (у В. Каменского: «Я горю неизбежным пожаром мирового строительства во славу престольности — пора владеть Земным Шаром Революционного Правительства Единой Раздолжности»), и уже подобно гостевскому пролетарию («Ноги мои еще на земле, но голова выше здания» — но с «противоположной» стороны!) «Голиафами зачатый» Маяковский в стихотворении «Себе любимому посвящает эти строки автор» говорит, что его «желаний разнузданной орде не хватит золота всех Калифорний».

Так шло своеобразное внутрикультурное коловращение: справа налево — по спирали. Оно нагнеталось и в непрекращающемся споре футуристов (и всего ЛЕФа) с Пролеткультом (и РАППом) насчет того, «кто там шагает правой?». Вопрос этот между тем уже утрачивал смысл, ибо авангардная культура наконец соединилась с пролетарской подкультурой, символом чего стала надпись, сделанная В. Маяковским на подаренной В. Кириллову своей книге: «Однополчанину по битвам с Рафаэлями».

Футуристы были левее, радикальнее пролеткультовцев в своем пафосе разрушения. Это и понятно: для пролетарской культуры традиция была чем-то внешним, футуристы же являли разрушение традиции изнутри самой культуры. Не только Рафаэля: «Забыли Растрелли вы?.. А почему не атакован Пушкин? А прочие генералы классики?» — спрашивал Маяковский, ведь «время пулям по стенке музеев тенькать». И когда на страницах той же газеты футуристов «Искусство коммуны», где были опубликованы эти стихи, в статье «Ложка противоядия» Луначарский выступил против «разрушительных наклонностей по отношению к прошлому», против «стремления, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти», он был атакован «слева». Маяковский, которому «вселенский пожар размочалил нервы», отвечал, что не то что каких-то Мурильо, Корнеля с Расином — «отца, — предложи на старье меняться, — мы и его обольем керосином и в улицы пустим — для иллюминаций. Бабушка с дедушкой. Папа да мама. Чинопочитанья проклятого тина». Этот агрессивный аморализм авангарда войдет затем в соцреализм, покрывшись лаком теории «живого человека» и преобразившись в «подвиг» Павлика Морозова.

Чисто разрушительная задача формулировалась «левой культурой» совершенно откровенно: «Футуризм является устремлением группы людей, основной точкой соприкосновения которых были даже не положительные задания, не четкое осознание своего «завтра», но ненависть к своему «вчера и сегодня» (!), ненависть неутолимая и беспощадная», «Для того, чтобы прийти к своему собственному искусству, пролетариату придется до конца вытравить фетишизированный культ художественного прошлого»... Массированное разрушение культуры шло под левый марш.

Перед мной один из последних выпусков Венского славистического альманаха. Весь этот изумительно изданный том посвящен забытому русскому авангарду начала века — здесь тщательно собраны и ротапринтно воспроизведены ставшие раритетом манифесты кубофутуристов и эгофутуристов, фуистов и центрифугистов, заумников и супрематистов, ничевоков и экспрессионистов, биокосмистов и беспредметников, акцидентистов и конструктивистов... Сквозная мысль:

«— Смерть искусству!..»

Разве не ясна была для каждого Искусства агония Настоящего, прошлого и пошлого?

Разве все не в напряжении к последнему биению пульса Его?

Искусство Дня умерло... Умер «Театр». Умерла «Живопись». Умерла «Литература»...

«Заунывно тянутся в воздухе похоронные звуки медного колокола; медленно колышется под печальный трезвон по дороге Жизни, покрытой пылью и усыпанной терниями, мрачный катафалк смерти, желтый труп поэзии в выданном по купону широкого потребления, наскоро сколоченном гробу эпох. Позади плетутся, ковыляют, молча пережевывая слезы, седые старички, ветераны и инвалиды поэзии...»

«Пред нами великие задачи... и нам, как восставшим против предрассудков, уже обязано будущее... Наш первый и последний враг — равновесие натурального порядка...»

«Время — качественное множество, и в зауми — нет места уму с его пространственным восприятием времени; это — седьмое искусство — за умом».

Нет места уму. Заумь, конечно, несла псевдоосвобождающее начало. Она обладала таким зарядом агрессивности, что оказалась близкой тоталитаризму, и именно в своем активном противостоянии традиционной культуре расчищала ему место, сметая на своем пути последние преграды культурного охранительства. Болезненная невменяемость, с какой авангардное искусство разрушало традиционную культуру, была закономерным продолжением того социального критицизма, которым заразила общество революционно настроенная интеллигенция, и когда один из «малых сих» писал, что «футуризм... это целое мировоззрение, лишь базирующееся на коммунизме, но в итоге оставляющее его как культуру позади», тут была позиция левизны левее левой власти.

Миф о «безгрешном авангарде» основан на мнимом, поверхностном противостоянии «левого искусства» и этой власти. Само оно охотно идентифицировало

себя с властью. «Нет сейчас других движений кроме коммунизма и футуризма, которые имели бы в виду будущее... шли к будущему», — писал В. Шкловский. И вся лефовская критика была буквально наводнена аналогиями между политическими и художественными процессами, ссылками на большевиков и постоянными призывами перенести их методы борьбы в искусство: футуристы призывали «громкими дозами вводить футуризм в организм страны, хотя бы даже... путем диктатуры». И наконец, футуризм видит себя «государственным искусством»: в статье «Футуризм — государственное искусство» Н. Пунин прямо заявляет: «Мы не отказались бы от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». К тому же «левое искусство» проявляло тот же болезненный интерес к вопросам «организации», какой был у Богданова (решалась эта проблема относительно просто: «Все таланты и гении будут национализированы и распределены между районами...»). «Левое искусство» дало эстетизированный вариант культуры революционного распада, вполне соотносимый с массовой подкультурой.

С другой стороны, и власть не была однородной. Одно ее («правое») крыло было связано с культурой «предтеч революционной поэзии» (от Ленина до Луначарского), другое — с леворадикальным революционаризмом. Не только «левое» искусство тянулось к власти, но и власть, по-отечески жуя авангардистов за «богемность», справедливо угадывала в них своих союзников. «Русский футуризм, — писал Л. Троцкий, — родился в обществе, которое проходило еще через свой антираспутинский приготовительный класс и готовилось к демократическому февралю. Уже это дало нашему футуризму преимущества. Он уловил смутные еще ритмы активности, действия, напора и разрушения».

Говоря о мелкобуржуазности футуризма, новая власть противопоставляла его революционной культуре «фабрик и заводов», но на практике не было сфер, где бы эти течения не сходились и не сливались. И не только в самоощущении (достаточно сравнить цитированные выше строки А. Безыменского о поэзии с «Поэтом-рабочим» В. Маяковского: «Я тоже фабрика... Сердца — такие же моторы. Душа — такой же хитрый двигатель»), но именно в рабском пафосе разрушения. И власть здесь была, конечно, рядом.

7 октября 1924 года Л. Троцкий выступил в «Известиях» со статьей «Верное и фальшивое о Ленине», где раскрыл свое и, как полагал Троцкий, присущее Ленину отношение к культуре, близкое «мысли и чувству миллионов». Речь шла о том, что, когда войска Юденича подошли к Петрограду, Троцкому пришлось беседовать с одним из рабочих, состоявших в охране Ленина, и тот якобы сказал, что если уж придется оставить город врагу, то лучше «подвести динамиту да взорвать все на воздух». А на вопрос: «А не жалко вам Петрограда?» — ответил: «Чего жалеть: вернемся, лучше построим». Эта дикая идея привела Троцкого в восхищение: «Вот это настоящая отношение к культуре! Тут псаломщицкой плаксивости нет и следа...» Чем же тогда не устраивал новую власть футуризм? В своей «Литературе и революции» Л. Троцкий дает на этот вопрос развернутый ответ, резюме которого таково: «Не в том беда, что футуризм «отрицает» священные интеллигентские традиции — наоборот! — а в том, что он не чувствует себя в революционной традиции. Мы вошли в революцию, а он обрушился в нее». Эта критика футуризма явно беззлоба — совсем иначе Л. Троцкий полемизировал с «достолюбезными псаломщиками русской культуры».

Что же касается авангарда в целом, то еще задолго до своего заката он постулировал: «Творчество сближает нас с коммунистической революцией, а не с существующей советской действительностью». Между тем революционная идея имеет свою логику и требует большей гибкости. жестоко мстя тем, кто не хочет идти с ней до конца. А в конце были «новая гвардия», «новое сознание», «новый человек» и, конечно, «новый художественный метод».

УСТАНЬТЕ НА ВЕРШИНЕ...

В 1951 году умер классик социалистического реализма, автор романа «Счастье» Петр Павленко. А через несколько лет были опубликованы его записные книжки. Они поражают цельностью авторского мировоззрения. Это как после урагана, растворившего окно, ворвавшегося в комнату, разбросавшего книги, вещи, раскидавшего мебель... И вот приходит время, появляется в комнате человек и начинает все приводить в порядок, расставляя по местам раскиданные предметы. Такъв Павленко. В его записных книжках множество определений. Он определяет очень сложные вещи (например, что такое новаторство, роман, культура...). Давать определения — этим можно заниматься только в спокойное время, когда буря прошла, когда горизонт светел.

Вот П. Павленко пишет: «Мыслить — прежде всего судить»; или: «Энергия — это сила любви к намеченной цели». Вот он формулирует: «Опыт, а не память —

основа культуры» — и через несколько лет: «Воображение — это преобразование опыта». Опыт, оказывается, первично важен. Павленко его имел — он один из тех, кто прошел большой путь: от близости с Пильняком и «Перевалом» до вершин соцреализма. И он по-своему прав, когда заключает записные книжки заметкой: «Все пути ведут к коммунизму. Это так. Все профессии, все жизненные дороги. Все. Все».

Вольно же нам сегодня иронически улыбаться: здесь ведь было свое историческое сознание. Действительно, все дороги революционной культуры вели к соцреализму. Он есть встреча культур, завершение единой культурной парадигмы. Соцреализм ничего из своей культуры не уничтожил, всему нашлось здесь место — и богдановским проектам, и горьковскому романтизму, и предтечам революционной поэзии, и пролетарским поэтам, и рапповским доктринам, и авангардному радикализму — он все собрал и вобрал в себя, синтезировал, переплавив обломки в новое эстетическое качество.

Все, что знакомо нам по классике соцреализма, возникло не вдруг, не по чьей-то личной злой воле: образовавшийся наклон сознания объективно вел под откос. Революционный активизм, пафос неприятия и разрушения прошлого «до основанья», мысль о «начале истории с нас» — это еще от предтеч вошло в пролетарскую культуру и авангард и оттуда — в соцреализм. На этом разрушенном фундаменте возник аморализм «революционной романтики», «любви», опрокинутой в ненависть. Массовизм и культ коллективности, пройдя через горнило «Кузницы», переплавился в рапповской теории «живого человека» и в «формах самой жизни» стал достойным соцреалистической доктрины. Из уединенного сознания предтеч — в пролетарскую поэзию, и из символистского индивидуализма — в авангард переключается, а в соцреализме уже оформится тип художника, для которого воспроизведению средствами искусства подлежит не жизнь, а внутренняя реальность самого творца, идентифицирующего себя с «волей партии» и эту реальность — с жизнью должной, «в ее революционном развитии». Авангардное стремление выйти из искусства в жизнь для «преобразования» ее методами «тотального эстетико-политического проекта» дает в соцреализме вместо писателя — «инженера человеческих душ», а вместо искусства — психогенную инженерию во имя сотворения «нового человека». «Не создание новых картин, стихов и повестей, а производство нового человека с использованием искусства как одного из орудий этого производства было компасом футуризма от дней его младенчества» (С. Третьяков). Конечно, один лишь соцреализм мог это осуществить.

В соцреалистической доктрине нашли место не только авангардные идеи, но и сугубо викторианские (идея «учебы у классики», неприятие «эстетства» и «усложненности», ориентация на «высокий стиль» салона). Культ «всемирного молодняка» (С. Третьяков), агрессивный волюнтаризм и титанизм («Нам нет преград ни в море, ни на суше») пришли в соцреализм из авангарда. Пути «молодой гвардии» поистине фатальны в революционной культуре: от левого «молодничества» через соцреалистическую мифологию А. Фадеева к одноименному журналу. Но самый пафос борьбы притекал в соцреализм по обоим руслам — «справа» и «слева».

В литературной борьбе 20-х годов не было ни «правых», ни «виноватых». Именно в силу своей целостности (тотальности) революционная идея стремилась к всесторонней реализации своих потенций, она осуществляла свой замысел до предела, «эпока не исполнится все», и ни один проект, останавливающийся «на полпути к вершине», не признавала в качестве конечного результата. Вот почему она в своем пределе у всех бывших союзников (от пролеткультовцев до «неистовых ревнителей» классовости — рапповцев, и левовцев, этих «веселых фашистов») вызывает горечь, ведь ни один проект «культуры будущего» не вошел в соцреализм целиком: им пришлось пожертвовать своей законченностью во имя «высшей целесообразности» — соцреализма. Этот тяжелый культурный сплав окончательно сформировался в 30-е годы⁵ и классическую форму обрел в культуре позднего сталинизма. И здесь оказался прав Л. Троцкий, который еще в начале 20-х годов писал: «Искусство революции, которое неизбежно отражает все противоречия переходной общест-венности, не нужно смешивать с социалистическим искусством, для которого еще не создана база. С другой стороны, нельзя забывать, что социалистическое искусство вырастет из искусства переходной эпохи». Можно ли с этим спорить? «Искусства революции еще нет, но есть элементы этого искусства, есть намеки, попытки и, главное, есть революционный человек, который по образу своему формирует новое поколение и которому это искусство все более нужно. Сколько времени потребуется, чтобы оно неоспоримо обнаружило себя? Тут гадать очень трудно... Но почему бы этому искусству, его первой большой волне, не прийти и вскоре, как искусству того молодого поколения, которое родилось в революции и несет ее на себе вперед?» Волна пришла вскоре — не могла не прийти.

⁵ Историко-литературные аспекты этого процесса раскрыты в книге Ханса Гюнтера «Огосударствление литературы» (Штутгарт, 1984), а также в статьях М. Чудаковой в «Новом мире» (1988, № 9; 1990, № 4).

В известном смысле соцреализм есть лишь исторический «случай» культуры масс, которая, конечно, не умрет вместе с Системой — она будет жить в китче и «нравоучительных» текстах вне зависимости от их тематики (от «Рабыни Изауры» до «Вечного зова», от псевдорелигиозных поучительных произведений «для народа» до лозунговой поэзии, безразлично — Демьяна Бедного или Куняева). Но тревожит, что специфику этой культуры отказываются различать.

Сегодня русской классической литературе предъявляется обвинение в том, что это она породила соцреализм, что именно в ней вызрел феномен литературы советской. На Западе такого рода мысли высказывались достаточно давно: «Советская литература есть именно то, за что она себя выдает, — единственная и неповторимая наследница умершей русской литературы... Советская литература не просто «учится» у классической русской литературы, выращая диковинный гибрид стилистики прошлого с передовым мировоззрением и всепобеждающим учением. Она пересаживает литературную парадигму, заданную писателями второй половины XIX века, в наш век. Она перенимает их зрение, их принципы организации повествования, их способ моделировать мир. Этот способ и есть то, что она называет реализмом. Могучий и обомшелый ствол русской литературы, постепенно истончаясь, завершился советской литературой»⁶.

На «русской почве» те же идеи сейчас развиваются с характерным и знакомым радикализмом. Впрочем, пафос «левого» отрицания традиционной культуры, воскрешенный, скажем, в статьях Вик. Ерофеева, восходит к началу XX века и повторяет как исходный посыл периодически вздымающейся авангардной волны (отрицание «учительства» и «морализаторства»), так и желанную цель («разрушим до основания...»). Революция, так сказать, продолжается, и подобные выбросы революционного сознания еще, думаю, ожидают нас и впереди.

С наибольшей последовательностью радикальный взгляд на проблему раскрыт в статье А. Агеева «Конспект о кризисе» («Литературное обозрение», 1991, № 3). Любопытно, что в этом подходе воспроизводится (только с другим знаком) логика восприятия классики самим соцреализмом. Здесь имеешь дело с диалектикой дурного свойства, когда, скажем, автор «Бесов» объявляется чуть ли не предтечей последующего бесовства. Эти суждения основываются, как мне представляется, на непроясненности фундаментальных понятий. «В разных вариантах «великой» литературы, — пишет А. Агеев, — ее иерархическую лестницу возглавляют разные ценности — Бог, Истина, Добро, Справедливость, Народ (потом очень легко было подменить — Революция, Партия, Ленин, Коммунизм, все тот же народ, и в этом смысле Толстому и Достоевскому пародийной параллелью могут служить Фадеев и Леонов), но никогда — Личность, Свобода, Право, Культура, потому что в эпическом мире «великой» литературы, где даже самые «лирические» жанры тяготеют к эпосу, отдельно взятый человек появляется лишь для того, чтобы автор привел его к познанию Бога, Добра, Справедливости и Народа». Что и говорить, подмена Бога и Добра Партией и Революцией очевидна, но противопоставить Личность и Свободу Богу и Добру можно, лишь выпав из культуры. И здесь перед нами — логика осуждаемого самим же Агеевым блоковского «человека-артиста». Когда Личность и Свобода противопоставляются Богу, мудрено ли ошибиться в метели понятий и вновь увидеть Христа, идущего впереди люмпенизированной толпы?

«Чума на оба ваши дома» (соцреализм и традиционная культура), насылаемая сегодняшней радикальной критикой, есть чистый продукт нового (но все того же) революционаризма. Тоталитарная культура, как мы видели, — производное именно революционного сознания, а значит, результат разрыва с традицией и культурой, но само это сознание — феномен чрезвычайной сложности.

Революционаризм явился мощнейшим магнитом в русской культуре XX века. Ни одна — даже самая яркая и самобытная — художественная система не могла сохранить здесь нейтралитет: либо отталкивалась, либо притягивалась. Коллизия этих отношений наполнила историю русской культуры XX века истинным трагизмом.

Что касается самой революционной культуры, которая и «устала на вершине крутых холмов» соцреализма, то долгий, с остановками и даже возвратами спуск с ее «зияющих высот» занял почти всю вторую половину XX века. И каждый раз, когда движение становится стремительным, полезно обернуться в прошлое — не только для того, чтобы знать, откуда путь, но чтобы лучше понять, куда идти и где она, верная почва.

Одесса.

⁶ Борис Хазанов, «Величие советской литературы» («Синтаксис», 1983, № 11, стр. 66–67).

Литература и искусство

НА ПОЛУПУТИ К «ЧАСТНОМУ ЛИЦУ»

Андрей Матвеев. Частное лицо. Роман. «Урал», 1991, № 10.

Долгожданное «новое в литературе» появляется не всегда там, где его ждут, и почти всегда не таким, каким ожидают. Легко представить смущение — а может, и возмущение — критики молодым нахальством свердловского прозаика Андрея Матвеева, осмелившегося поставить под названием своего нового сочинения «Частное лицо» жанровое определение романа. Критика уже не раз убеждала нас в принципиальной невозможности появления в текущей литературе полноценного романа. Так же как и в неспособности той среды, к которой подозрительно близок Матвеев. — среды так называемого андерграунда. (Художник андерграунда «в литературном процессе... присутствует эфемерно и вообще парень довольно смиренный» /А. Агеев./)

И тем не менее перед нами именно роман, роман, рожденный современной жизнью и принадлежащий перу только входящего в нашу литературу прозаика. Более того, роман этот в известной степени можно было бы назвать классическим для традиций русской литературы по серьезности обращения с действительностью. Хотя, должен оговориться, употребление слов «классический», «традиции русской литературы» в приложении к «Частному лицу» может показаться и кощунством, в романе все должно как бы оскорблять нормативный вкус и представления о литературных приличиях: перед нами странное, почти варварское смешение жестокого романса, мелодрамы с чернухой и полудоморощенной андерграундной эстетикой, смесь имен от Солженицына до Барта и Набокова — наша неофитская «игра в бисер», шокирующая раскованность языка, и все вместе на грани кича, но при том — не вопреки, а, может быть, как раз благодаря этому — никакой анемичности, живое, «работающее» сегодня сочинение, в котором присутствует современная мысль о процессах современной жизни.

...Действие романа относится к 1981 году. Это монолог-исповедь молодого литератора. (Автор не скрывает своей близости к герою, но дистанцию обозначает отчетливо и соблюдает жестко.) Повествование разбивается на два потока. Первый — рассказ героя о своей жизни в Крыму, куда он, покинутый женой, приезжает развеяться, «передрыгаться», по его выражению. Герой здесь безынициативен и полностью подчинен течению ленивой жизни отдыхающего. Единственное, что требует от него сил и напряжения, это воспоминания, и эпизоды его прошлого — история первой любви, жизнь студенческая, семейная и т.д. образуют второй поток повествования. Основной сюжет романа обозначен подчеркнутым неук-

ложней, банальной метафорой: у героя в сердце заноза, грудь проткнута иглой, кровь вытекает по игле — любовной образ иссякания жизни. Рядом с героем маячит фигура палача, тоже метафорическая. А в финальных абзацах романа — то ли метафорическое, то ли реальное, автор не уточняет, — самоубийство героя.

Такая сюжетная схема выглядит достаточно непритязательной и привычной. Подразумеваемый этой схемой образ легко вычисляем. человек, не нашедший своего места в жизни. И в известной мере образ этот соответствует тому, что дано в романе. Действительно, это роман об изгое — изгое не в социальном, а, если можно так выразиться, в экзистенциальном смысле. В финале романа герой произносит: «Если кому Господь и поможет, то он не войдет в их число. Он. Не. Войдет. В. Их. Число. Все бесполезно...»

Автор отрабатывает эту сюжетную схему почти истоиво, почти всерьез. Игла воткнулась в грудь героя уже в самом начале его вступления во взрослую жизнь. Банальная история первая любовь, Нэля, молодая опытная женщина, без каких-либо колебаний отказывается от юного возлюбленного, как только появилась возможность выйти замуж. Герой узнает, что был всего лишь мальчиком для удовольствий. Ну и что такого, говорит ему Нэля в момент решающего объяснения: «Сначала употребили меня, потом я употребила тебя, сейчас твоя очередь!.. Ты что, думаешь, в этом мире можно как-то иначе? Все только и делают, что пыгаются нагреть друг друга...». И дело тут действительно не в характере Нэли, не она этот порядок завела. Герой не может принять эту систему, этот порядок и одновременно не может выработать в себе силы для противостояния. В такой позиции он и застывает на годы.

Ну а попытки включиться в жизнь через «общественную деятельность» пресекаются уже на первых курсах института. Тоже банальная студенческая история: сначала первый звоночек — издание курсового литературного альманаха (болезнь первокурсников, наверно, всех филфаков), последующий разбор в деканате с указанием на криминал и строгим выговором. А затем в более серьезном варианте: тайный полувзвешивание в КГБ по сигналу о пьянке, на которой зачитывалась «диссида» угрозы, требования написать донос на друзей. Герой отделился сравнительно легко, не став стукачом, но подписал бумагу. Свой компромисс он переживает остро — у него нет внутреннего укрытия, внутренней опоры, чтобы перенести случившееся.

Последующая жизнь прочерчена в воспоминаниях героя пунктиром по нисходящей

пьянство, таблетки, случайная женитьба на случайной женщине, наркологическая лечебница, уход жены... Возможные скрепы с жизнью рвутся одна за другой. И вот наконец последний эпизод: неожиданная тайная, поначалу даже для самого героя, любовь в крымской знакомой Марине, но она замужем, он пригласывает и с мужем, тут же их дочка, близится отъезд этой семьи в эмиграцию в США. Последнее, что могло бы удержать его в этой жизни, не получилось. И палач, давно уже маячивший за плечом, готов к выполнению профессионального долга, герой опускает руку и нащаривает под кроватью пистолет...

Вот таким мог бы быть пересказ романа. И тем не менее при всем совпадении с «фактами» сюжета он прошел бы по касательной к его сути, к тому, на что вывело автора его художественное чутье и что делает этот роман действительно интересным.

Жестокого романа о гибели новейшего «героя нашего времени», умного, ироничного, разочарованного и т.д., романа, исполненно-го даже как бы с мелодраматической натугой, к счастью, не получилось. Стереотипность и однозначность сюжетной схемы разрушаются своеобразием облика повествователя. В самой интонации героя, традиционно горькой, ироничной, усталой, но при этом и неожиданно мужественной, свободной, сильной, возникает некое смысловое пространство, разворачивающее сюжет романа, содержание его основного образа в ином направлении. В мелодраматическую надрывность повествования оказывается вложенным сильное непосредственное чувство, пусть и прячущееся в иронию, в игру с литературными клише. Полагающаяся герою маета от нехватки, иссякания жизни начинает восприниматься как маета от избытка жизненной энергии. А сюжет, должный как бы декларировать убывание этой энергии в герое, на самом деле повествует о необыкновенно прочной прикреплённости его к жизни.

Вернемся к упоминавшейся уже истории последней любви: в обаянии Марины, женщины, погруженной в свои семейные заботы, для героя сосредоточивается вся роскошь крымского лета; он не понимает, откуда в нем столько нежности и симпатии и к ее мужу Саше, и к ее дочке, и даже к парку, по которому он идет вслед за Мариной. Чувство настолько всепоглощающее, что он не может даже осознать его. «Любви не вышло», — заключает он, хотя что же это, если не любовь, захватившая его с почти отроческой силой, с отроческим страхом оскорбить чувство неосторожным словом или жестом. Именно этот страх, эта сила чувства мешают герою в момент, когда их объяснение с Мариной было возможно, а может быть, и необходимо им обоим. Вряд ли способен на такое человек, полностью растративший свою жизненную энергию.

А в одной из лучших глав романа, описывающей застолье в лесном ресторане, способность героя ощущать полноту и силу жизни доведена автором почти до гротеска, до языческой плотоядности. Что ж он тогда мается? Откуда надрыв? Может быть, он как-то не тем боком повернулся к действительности?

Да нет. Герой легко находит общий язык со своими новыми знакомыми. Они понимают друг друга с полуслова; у героя есть свой достаточно широкий слой современников, где он как рыба в воде. И боль изгойства, выходит не от одиночества... Герой мучается так же и тем же, чем мучается и весь этот его слой.

Трудно назвать вполне добровольным решение Марины и Саши уехать из страны. Самое тяжкое на этом свете — быть русским, цитирует герой Солженицына. «Знаешь, евреем быть не легче», — отзывается Саша. Можно обозначить это национальностью, но автор отказывается от такого объяснения. Неизбежность отъезда ощущает и Марина, у нее свои причины согласиться с решением мужа-еврея: «Тебе не кажется, что здесь стало слишком душно, живешь в ощущении того, что завтра — это то, чего никогда не будет. Какое-то мафрево... За Машку страшно». Автор конкретен в описании настроений, разлитых в самом воздухе начала 80-х. Именно тогда в наш обиход начало входить слово «экология» уже не только как природоведческий термин, а как понятие более широкое. Признаки разрушения среды обитания, среды не только природной, герой ощущает повсюду. Роскошь крымских пейзажей, курортная жизнь Ялты кажутся ему порой искусной декорацией, за которой набирают силу процессы распада. «Море, солнце и небо — ...надо наслаждаться, пока еще есть время. Через несколько лет ничего этого не будет, засрут, загадят окончательно, в море спустят тысячи тонн дерьма.. В небе проковыряют озоновую дыру. Солнце из мягкого станет жестким, от жесткого до жестокого — один шаг». В беспечной жизни своей компании герой чувствует что-то уже полузапретное, ворованное. Тот же лесной ресторан с изысканной едой, чистым воздухом, раскачивающимися над головой реликтовыми ветвями крымских сосен имеет и оборотную сторону: вокруг за столиком сидят главным образом иностранцы и «деловые» со своими подругами («...еле прикрытая блондинка с холодными глазами и перламутрово накрашенным ртом... На молодой загорелой шее переливается нить крупного, ровного, очень дорогого жемчуга...»), а дичь, предлагаемая посетителям, поступает в ресторан из правительственного заказника, так сказать, отходы той жизни — «толстые дяди с партийными билетами, номера которых входят в первую сотню, стреляют из штучного нарезного оружия. Кабаны и изюбри, изюбри и косули, косули и благородные олени. Пиф-паф, ой-е-ей, умирает мой изюбрь». Не пир ли это во время чумы?

Герой романа чувствует себя как бы сдавленным, сжатым двумя разными временами. Теми, что еще стоят на дворе, но уже явно отходят в прошлое, и теми, что приближаются, еще неясными, издали — грозными. Автор показывает органическое противоречие в этом самоощущении. Герой должен был бы радоваться распаду существующего порядка, но он в большей степени страдает от этого. Более того, предощущение собственного конца питается у него ощущением конца окружающего уклада жизни. И это при том, что включен-

ность героя в отходящий уклад жизни минимальна, и он знает об этом.

Перед нами как бы промежуточное состояние нового, описанного Матвеевым типа «частного лица». Частное лицо — это лицо, принадлежащее уже гражданской, а не военной жизни. Психология борца начала в нашем обществе постепенно сменяться психологией нормального человека, то есть обывателя, или, если угодно, частного лица. (Но увы, все еще не гражданина!) На излете брежневской эпохи, когда защита официально признанной идеологии окончательно превратилась в ритуальное действие, служащее исключительно удержанию власти, — вот тогда и начало расти и созревать это сознание, подготовив нас к сравнительно легкому расставанию в более поздний период с «социалистическими идеалами». Но на уровне сознания процесс этот проходил гораздо легче, чем на уровне чувства, на уровне душевной жизни. Вышедшие из строя ощущали себя не вполне удобно в еще не снятых военных одеждах. Пока они просто вышли из строя. Свободными людьми они еще не стали.

Герой в романе Матвеева вынужден даже оправдываться: его «вынудили стать трусом, и поэтому больше всего на свете он хочет оставаться частным лицом». И развитие сюжета как бы должно подтвердить: да, частное лицо в нашей стране, в нашей действительности — жертва обстоятельств и несовершенств общественной системы. Но одновременно (здесь в авторском изображении героя противоречие, но противоречие живое и точное) в частном лице, страдающем от своей неприкрепленности к общей жизни, автор обнаруживает столько естественности и жизненной органики, что, может быть, в конечном счете этот тип — единственный человеческий тип, надежно обеспеченный будущим.

Вот, например, такая оговорка автора, на мой взгляд, принципиальная, — герой, рассказывая о той самой студенческой пьянке, за которую его таскали в КГБ, признается: в восемнадцать лет «приятно ощущать себя иначе, комыслящим». Именно так: «приятно ощущать себя...» Для компании из пяти девиц и троих парней, с двумя трехлитровыми банками портвейна, блоком сигарет, закуской и т.д. вломившейся в заколоченную дачу, чтение листов с текстами Солженицына и Сахарова по важности стоит где-то на пятом-шестом месте. Не за этим ехали — молодая кровь играет. Листки же с «диссидухой» — это просто знак отпадения от предписанного властями идеологического ритуала. Но и контекст, в котором эти листки извлекаются, не менее явственный знак равнодушия к политике вообще. «Приятно ощущать себя...» Они не борцы, они вышли из строя.

Трудно сказать, что сокрушительнее для тоталитаризма, построенного по головной схеме: организованное ли политическое сопротивление, политическое подполье, в свою очередь мобилизующее служителей системы для отпора, или так называемое болото — равнодушная и мерно подтапливающая, затягивающая ряской и травой стройные идейные принципы стихия, которую точнее было бы назвать

просто жизнью, требующей своих прав. Вот в этой оппозиции герой представляет как раз жизнь. Политика как таковая его интересует мало. Ну уйдет Брежнев, «вымрут старцы, придут новые, в расцвете сил и лет, интеллектуальные прагматики, разрешат Бродского и Солженицына, напечатают массовыми тиражами Набокова и откроют границы». Что это изменит в его личной судьбе? Да ничего. Значит, его жизнь не должна крепиться к тому, что происходит сверху. Крепиться надо к тому, что растет «из земли». Эти более надежные связи с жизнью у героя как раз есть, они-то и делают его «частным лицом».

Вот, скажем, взаимоотношения со своей профессией. По образованию герой филолог, по роду занятий — литератор. Но в его монологе нет и намека на какую-либо внутреннюю зависимость от литературно-служилого образа жизни. Он далек от стремления стать сержантом или майором в литературном строю; далек от того, чтобы с помощью литературы добывать известность, славу, влияние. Литература для него — частное дело, как, скажем, чтение Барта или Бродского. Он свободно употребляет свой дар в его прямом назначении — как способ организации мысли и чувства, способ установления связей с миром. Не больше. Но и не меньше.

Иными словами, можно было бы сказать, что перед нами чуть ли не первый тип свободного человека в нашей литературе. Можно было бы, если б не признание героем своего краха как раз на этом пути. Объяснить его самоубийство тем, что перед нами «преждевременный человек», тип, появившийся раньше, чем созрели для него условия, было бы слишком просто. Разговор о затронутых в романе проблемах подводит нас к одному из самых сложных вопросов, обсуждаемых русской литературой. Герою Матвеева действительно тяжело вне строя; оказаться полностью частным лицом — ноша для него непосильная. Можно пошутить, перефразировав известное выражение: что для немца хорошо, для русского — смерть. Но трудно отказаться от мысли, что причины этого явления коренятся в глубинах нашей национальной психологии. Об этом говорит хотя бы постоянство, с которым десятилетия (если не столетия) бродят русские писатели и философы вокруг слов «социализм», «коммунизм», «строй», «очередь», «коммуналка», «общинность», «соборность» и т.д. При всей разности значения этих слов неослабевающее внимание к ним свидетельствует о неудовлетворенной потребности в некоем варианте общинной жизни, гармонично сочетающей индивидуальное и родовое начала. Или, быть может, это свидетельство исторической молодости нашего общества, свидетельство замедленности его созревания?

Но это вопросы уже не к роману. Это вопросы из разряда вечных для нашей литературы. Матвеев же свою работу сделал — смог увидеть и художественно осмыслить новый для нашей жизни тип «частного человека».

Сергей КОСТЫРКО.

ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ

Наталья Ильина. Дороги и судьбы. М. «Московский рабочий». 1991. 656 стр.

Мемуары сегодня не пишет только безгрешный. Следовательно, сильно несовершеннолетний. Совершеннолетние соревнуются в переписке истории (и заодно — автобиографии) набело. Ан выходит почему-то сплошь да рядом — начерно. Разговор не о том, что с каждым новым «мемуаром» недавние белые пятна нашей истории наливаются кровью. Крови, хоть и меньшими дозами, хватало в мемуарах всех веков. Страшит более всего другое: чернота. Вползающая не в описываемые события, а в авторскую позицию мемуариста.

«Все утопить», — приказывает бесу Фауст у Пушкина. Так вот является подозрение, что с похожей установкой создаются многие сегодняшние мемуары Плюрализм в них если и присутствует, то особый плюрализм черноты. Когда одни чернят одно, другие — другое, в сумме же чернота затопляет все. Значит, никто не виноват, и автор — меньше всех он же вывел черноту на обозрение! Правда, не только чужую. Но это уже помимо своей воли.

Воспоминания у Натальи Иосифовны Ильиной выходили и раньше. Иные главы в ее книге лишь дописаны. Но не переписаны «под новым углом зрения» — чего нет, того нет. Нет и черного плюрализма — есть нерушимая иерархия предметов. Иерархия, так сказать, сущностная, а не идеологизированная (пусть от обратного кто еще вчера был для автора ничем, тот сегодня стал всем).

Есть в книге своя королева. Анна Андреевна Ахматова. Свой король-сумасброд, «добрый дедушка Коля» (на манер английского детского фольклора) Корней Иванович Чуковский. Свой хранитель Великого Русского Языка: Александр Александрович Реформатский. Свой менестрель Александр Николаевич Вертинский. Все между прочим, не только с именем, но и с отчеством. Что составляет приметку не просто литературного, а и человеческого стиля Н. И. Ильиной. Многие ли из нас помнят, что Вертинский был Николаевичем? Вообще много ли отчеств (даже современных литературных или артистических звезд) держим мы в уме? Н. И. Ильина держит их непременно. Это ее планка достоинства и позабытой нами «старорежимности» в общении с людьми.

Вне «плюрализма» — не только отчества, но и отчество. Никакого — уже привычного сегодня — права на выбор. Хотя Н. И. Ильиной-то это право предлагала, казалось бы, сама судьба. Дочь белого офицера и бестужевки, через Сибирь она ребенком попала в Харбин. Там и выросла. Потом работала в Шанхае. Только после второй мировой войны репатрировалась в СССР. Она ли не могла выбирать? Между Россией и не Россией. Между Европой и Азией. Между «большевистской Совдепией» и «белоэмигрантской свалкой истории» (так язвили друг друга две половинки разорванной Родины).

Но нет отчества одно — тут. Притом что там могила отца в Швейцарии. И могила

наставницы по харбинской театральной студии, бывшей мхатовки Е. И. Корнаковой, — в Лондоне. И прелестная племянница Вероника — профессор в Париже. А еще был брат одноклассницы, мальчик с круглым веснушчатым лицом, Юлька, он же впоследствии киноактер Юл Бринер в Америке. Да на полсвета разбросаны ее одноклассники, приятели, знакомцы, родичи то по одной, то по другой линии!

Настоящая европейка. Мало сказать. Европейка недосыгаемого (для тех, кто рос по сю сторону железного занавеса) уровня в своей непринужденной «космополитичности». А отчество все равно — только Россия. Или СССР. В 40-е это казалось синонимом. Позже уже не казалось: осталось — Россия. Зато она и осталась — не вне сравнений, а вне выбора... Иерархия предметов.

Благостна ли от этого книга Н. И. Ильиной? Или, может, императивна, менторски тяжело-весна? Да ни Боже мой! Из каждой страницы как из-за угла выглядывает обидчивая, застенчивая, норовистая девчонка. Столько штопаных чулок и благотворительных обедов (две котлеты на троих) пришлось ей сносить: чулки — буквально; полунищенство — в душе. А она все нарастающе общается с музыкой, с городами, с «замечательными людьми» (помните эту нашу серию биографических книг?).

А иерархия все-таки остается. Не как готовая данность, а как путь, и путь нелегкий. Почти всегда у «легкой» Н. И. Ильиной он лежит через покаяние.

Странное слово со странной судьбой... Все его нынче поминуют: обе Православные Церкви, здешняя и зарубежная, «колонки редактора» и «письма читателей», невозвращенцы и непокиданцы. Все простирают руки друг к другу и требуют: покайтесь! В. И. Не мы. И уж заведомо не я.

Иначе звучит этот мотив у Н. И. Ильиной, а звучит он постоянно, хотя слово «покаяние» — кажется, ни разу.

В книге мало откровенной политики. лишь в том случае, когда политика прямо-таки танком въезжала в личные обстоятельства дорогих автору людей. Что, впрочем, случилось, и не единожды. Например, марровский маршбросок на языкознание, едва не расплющивший научную деятельность А. А. Реформатского Или возвращение Л. Н. Гумилева, сына Ахматовой, с «каторги» (по слову самой Ахматовой, тоже, как и Н. И. Ильина, называвшей вещи старыми, подлинными именами). Вплоть до похорон К. И. Чуковского: под страхом появления на них А. И. Солженицына власти превратили похороны в воензированной операцией, с патрулями в форме и без, с радиопереговорами на кладбище (!) и прочим хорошо организованным абсурдом.

И все же повторюсь: политика как таковой в книге мало. А покаяния много. Якобы сугубо частного: за свою вечную спешку по делам, за неуместную фразу, не понятый вовремя взгляд (просивший тепла), звонок (выдававший одиночество). За все, в чем мы с вами грешны

ежеминутно, да вот не каемся почти никогда. Н. И. Ильина же превращает самый жанр воспоминаний в жанр покаянный, самосудный. «Искусство при свете совести» — такое заглавие дала одной из своих статей М. Цветаева. История при свете совести — такой подзаголовок был бы уместен для книги Н. И. Ильиной.

Ни на дольку не допуская кокетливого самоуничтожения, Н. И. Ильина трезво (а через пороги смертей, оборачиваясь к ушедшим, и горько) оценивает себя перед лицом своих персонажей. Я была ему не в рост, скажет о любящем и любимом муже, Реформатском. О других если и не скажет этого, так воочию покажет. Что не в рост была и Ахматовой, и Чуковскому, и двоюродному деду, знаменитому климатологу Александру Ивановичу Воейкову. Не в рост научного самоотречения — родному дяде своему, тоже Александру Воейкову, только Дмитриевичу. Не в рост славы — Вертинскому.

Однако подумаем: ведь кто-то же окружает «рослых», замечательных людей, творящих искусство, литературу, науку, в конечном счете — историю? Чаще всего окружают — просто люди. Отчего сами по себе, человекски несколько не умяются. Н. И. Ильина портретирует их неутомимо: няню в Харбине, всхлиplyвающих над несбыточными своими мечтами ночных герлс на венчанье Вертинского, бабушку в Петербурге-Ленинграде, преподавателей в институте, соседок за стенкой коммуналки. И каждый раз выясняется: все они, кто не растерял человеческой подлинности, тоже делают историю. Отправляя старомодно подробные письма на трех языках перемешку. Экономя на керосине, но не на любви. Путаясь подчас под рукой у «рослых», сердчая на них без оглядки на масштабы, они свой короткий прижизненный свет передают тем, кто продлевет его в «долгие дела» (В. Маяковский).

При чем тут, однако, покаяние? А вот при чем.

Идеологизированная, «овнешненная» история смущенно воздаст своим большим и великим детям посмертную славу, посмертный авторитет. (Беру удачливый вариант.) Но и слава и авторитет постепенно (а иногда и быстро) отделяются от внутренней жизни своих носителей. От их душевной и духовной биографии. Отделившись же, становятся доступными для чернухи и геростратовских ниспровержений. Именно тогда мы начинаем бить по истории наотмашь. Бить по человеку, по человеческому лицу все-таки нелегко; бить по «замечательным человекам» из биосерии

(то есть по репутациям) очень даже по-геростратовски соблазнительно.

Лишь до тех пор, пока кому-то лично больно за то, что Ахматова ходила в старых перчатках, а Реформатский давал свои статьи близким, а тем недосуд было их прочитать; пока кто-то лично видит Вертинского, согнувшегося под холодным дождем в Шанхае, или лично слышит, как хохмач Чуковский, молодой и в старости, говорит вдруг: «А ведь вы меня жалесте...» — пауза — «...Но это хорошо», — лишь до тех пор история остается для нас человеческой. И значит, не безразличной не только для нашего ума, а и для нашей совести.

Тогда внезапно понимаешь еще одно: Иерархии предметов нельзя выучиться. Ее можно только воспитать — в собственной душе и через собственную душу. Но когда есть не убитая традиция, есть явленная перед тобой культура другой души, это сделать легче.

...Из писем 30-х годов от старой петербурженки, потом ленинградки, бабушки Ольги Александровны. Той, что корреспондировала на трех языках:

о приработках (пенсии, естественно, нет): «...с уроками трудно. Надо изучать фонетический метод преподавания, а в мои годы смешно браться за новое дело. Я не императрица Елизавета Австрийская, чтобы на седьмом десятке учить греческий язык!»;

о быте: «...мыло, одеколон, перья, чернила, электрические лампочки, крючки — все низкого качества. При отсутствии конкуренции никто не заботится об улучшении продукции, все равно возьмут, выбора нет, деваться некуда!»;

о поездках в Географическое общество: «Сейчас эти поездки мне стали и с провожатым недоступны. Я лишуюсь единственного места, где еще смутно проглядывалось прошлое и где убеленные сединами сверстники еще говорили знакомые фразы знакомым языком...»;

и тогда же, тревожась за внушек в Харбине: «Какое лишение именно для растущих ныне не иметь родины, как неизбежно это приводит если не к трагедии, то к поверхностно-циничному отношению к жизни. Ведь юному существу так трудно, минуя родину, связать свою судьбу с мировым целым!»

Такая вот получилась книга. Безусловно «субъективная». Не везде «блистательная». А в глубине — светится и болит.

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАК ВРАЩАЕТСЯ «КРАСНОЕ КОЛЕСО»

Возвращение Солженицына русскому читателю — почти в полном объеме и со всем тем новым, что было написано в американском далеке, — не может не провоцировать ответную реакцию, тем более при том синтезе художнического видения и публицистической злободневности, которые сами по себе образуют отдельную струю в русском культурном сознании. Реакция не заставила себя ждать, в частности реакция раздражения и неприятия, вполне естественная и закономерная, когда речь идет о крупном и оригинальном явлении. Внутреннее качество подобной негативной реакции может быть очень разным и заслуживает особого социологического исследования. Очевидно по крайней мере, что определенная часть советского литературного истеблишмента, после многих лет испуганного молчания радостно исповедующая западнический либерализм, восприняла слово и мысль Солженицына как непосредственную угрозу. Невысокий интеллектуальный уровень вызванных этой душевной травмой ответов делает невозможной полемику, но заслуживает хотя бы беглого анализа. Показательна в этом плане статья В. Воздвиженского в «Огоньке» (№ 47, 48 за 1991 год).

Что же так непереносимо для автора в Солженицыне? Оказывается, это целый конгломерат характеристик, которым приписано внутреннее единство и которые включают христианство, недоверие к западной массовой культуре и к возможности прямого воспроизведения западных политических моделей в современных русских условиях, нравственный ригоризм, художественный метод, отношение к коллегам и т. д. В чем состоит единство этих характеристик кроме того, что все они равно не по душе автору, В. Воздвиженский внятно не объясняет, заменяя логические обоснования эмоциональным накалом своего недовольства. Видимо, в основе солженицынских прегрешений лежит христианство. У христианства В. Воздвиженский обнаруживает главную слабость, которая состоит в «идее о несовершенстве и ничтожестве человеческой природы, нуждающейся в покровительстве верховного существа». При явном богословском невежестве автор мог бы быть поскромнее в оценке христианского учения, утверждающего все же онтологическое совершенство человеческой природы (образ и подобие Божие), без чего невозможно помыслить о соединении Божественной и человеческой природы во Христе. Но отвлечемся от этих общих материй, поскольку прямого отношения к Солженицыну они не имеют.

Следующее обвинение вытекает из предыдущего. Солженицын, будучи христианином, презирает человека, его обыденную жизнь, простое человеческое счастье и т. д. Поэтому он и героев своих описывает «только в страдании, под смертным давлением обстоятельств», а жизни, «которой «просто» живут люди», изобразить не хочет. Этот недостаток, который, впрочем, как нетрудно убедиться, Солженицын делит с доброй половиной мировой литературы (с Эсхилом и Шекспиром, со Стендалем и Достоевским, с Кафкой и Генри Миллером), важен не столько сам по себе, сколько как симптом. Из этого источника и идет, дескать, неприязненное отношение Солженицына к западной цивилизации, которая стремится создать «простое» благополучие человека и тем самым от «смертного давления обстоятельств» по возможности его избавить.

Как-то во всем этом сумбурном рассуждении выпадает тот бесспорный факт, что и западная цивилизация, и парламентская демократия как ее составляющая развились именно в рамках христианской культуры и несмотря на ее «главную слабость». Упрощается до пародийной простоты и сложное отношение Солженицына к этой социальной модели, отнюдь не однозначно негативное, но лишь акцентирующее отдельные изъяны, что, как известно, свойственно делать и западным интеллектуалам. И вовсе исчезает различие между убеждением в порочности модели и сомнениями в приложимости ее к данной конкретной ситуации — в нашем случае к России в начале посткоммунистического периода. И совсем неясным оказывается, почему о социальных аспектах христианства и ущербности гуманизма нужно спорить с Солженицыным — не богословом, не философом, не историком культуры, — а не с,

например, целой плеядой русских философов — Флоренским, Карсавиным, Булгаковым, у которых есть и развернутые обоснования, и большой материал, и отсутствие не подходящей к теме публицистичности (а не нравятся русские философы, можно эти же идеи найти и у западных).

Очевидно, что со столь непродуманными тезисами полемизировать непродуктивно, и можно было бы вовсе не замечать подобных выступлений в надежде на здравый смысл читателей, если бы не один частный момент, который все же заслуживает внимания. Он заслуживает внимания как раз потому, что с интеллектуальным кругозором автора прямо не связан, а непосредственно отражает читательское восприятие. Речь идет об определении «художественного метода» Солженицына, в частности «художественного метода» «Красного Колеса». В Воздвиженский называет его социальным реализмом и отождествляет с литературным направлением К. Федина, А. Бека и ряда других второстепенных авторов. Что такое «социальный реализм», остается не вполне ясно, потому что трудно представить себе какой-то «несоциальный» реализм (что бы это могло быть? — «реализм индивидуала» в «Поминках по Финнегану» Джойса или в «Превращении» Кафки?), но восприятие литературного инструментария Солженицына как косной традиционности здесь налицо, и над этим стоит задуматься. Очевидно, что подобное восприятие не носит само по себе полемического характера. Об этом свидетельствует, в частности, статья Б. Хазанова «Сломанная стрела» («Литературная газета», 1991, № 46), написанная на совсем ином интеллектуальном уровне, но усваивающая Солженицыну тот же литературный традиционализм.

Б. Хазанов аргументирует свою точку зрения, и с этими аргументами можно спорить. Основным его доводом является характер времени в «Красном Колесе», которое он определяет как линейное механистическое время обыденного сознания, противопоставляя его внутреннему нелинейному времени литературы модернизма, прежде всего джойсовского «Улисса». С этим немодернистским временем оказывается связанной и «общая установка на правду» (то есть какая-то разновидность реализма), и монофоничность эпопеи, превращающейся в многотомную иллюстрацию исторической концепции автора. Мне представляется, что такое понимание «Красного Колеса» совершенно непропорционально и основано на привычке к экстраполяции литературного прецедента — в данном случае в первую очередь «Войны и мира» Толстого. Подчеркну сразу же, что речь не идет об оценке качества романа, о его литературных достоинствах и недостатках. Как почти в каждом большом романе, в «Красном Колесе» сильные главы, хрестоматийные по мастерству письма (скажем, молитва Самсонова), соседствуют с главами относительно неудачными — это естественно. Судьбы всех подобных грандиозных литературных предприятий обычно не очень ясны современникам, мало зависят от достоинств или недостатков отдельных фрагментов и определяются через несколько поколений, когда роман либо не входит, либо входит в общее культурное сознание, создавая в нем законченное восприятие эпохи и характере. Предугадывать эти судьбы рискованно, и этим, возможно, объясняется молчание критики, на которое сетует Б. Хазанов.

Тем не менее одна задача критике доступна и входит в ее непосредственные обязанности — осмыслить тип романа, его повествовательные структуры, систему приемов и т.д. И здесь, при первых же подступах к произведению, очевидно, что традиционности в романе не так уж много, что такое впечатление создается скорее ассоциативной зависимостью отдельных персонажей, нежели структурой в целом. Проще говоря, отдельные герои похожи на тех, к которым нас приучила литература, и это сходство затеняет особенности того литературного контекста, в который они поставлены. Конечно, время в романе историческое (впрочем, не без достаточно хитроумных скачков) и в этом смысле, если угодно, время обыденного сознания. Но возникает вопрос — какое еще время может быть в романе историческом? Или следует считать, что модернизм должен отказаться от исторического романа в любом его виде? Попытки написать модернистский исторический роман, во всяком случае, делались — например, Марком Алдановым или Эльзой Моранте («История»), — другое дело, насколько удачно, так что сама такая возможность существует. Естественно полагать, что в историческом романе останется историческое время, а его нетрадиционность будет реализовываться какими-то другими средствами.

Нетрадиционность «Красного Колеса» в жанре исторического романа бросается в глаза и вполне уясняется при его сравнении с хорошо известными традиционными образцами. Ничто не мешает традиционному историческому роману так, как история. Дюма прилагает особые усилия, чтобы читатель «Двадцати лет спустя» до поры до времени забыл, что Карлу I в 1649 году отрубили голову. Как иначе сохранить фабульное напряжение в рассказе о попытках его спасения? История мешает потому, что фабула в основных своих моментах уже доведена Богом до конца, и писатель оказывается стеснен неприятным положением имитатора. Приемы традиционного исторического романа и сосредоточены на том, чтобы эту имитативность спрятать.

Если на этом фоне взглянуть на роман Солженицына, становится совершенно ясно, что у него принципиально иная установка: общий сюжет заранее известен, и события даны в скрытой ретроспекции — если угодно, в обратной перспективе или обратном времени. Возможно, именно это и создает у Б. Хазанова ощущение навязчивого авторского стремления к «правде». Как бы то ни было, глубинная ретроспективность — это не часть обывательского восприятия времени: историческое время романа отлично от «реального эмпирического времени» (хотя, конечно, вовсе не похоже на длительность Пруста или мифологизированный хронос Джойса).

Я не думаю, впрочем, и не собираюсь доказывать, что «Красное Колесо» — модернистский роман. Это постмодернистский роман — странный, трудный для восприятия, обманывающий читателя ложными сходствами, как и вся продукция постмодернизма. Каково основное свойство этой продукции? Если формулировать очень грубо, оно состоит в установке на угадывание — цитат, реминисценций, авторских ассоциаций и приемов, связи гетерогенных частей, соотнесения разных временных динамик и т.д. Скажем, в одном из начальных эпизодов «Ады» Набокова любовная сцена — за кулисами провинциального оперного театра — содержит отсылки по крайней мере к двум культурным ориентирам: к идущей на сцене опере (читатель должен угадать, что это «Евгений Онегин» Чайковского) и к английской романной традиции (через имя Фанни Прайс — героини не самого известного романа Джейн Остин «Мэнсфилд Парк»), определяемые этими ориентирами традиции постоянно затем обгрызаются, так что разгадывание авторских кроссвордов входит в самую структуру романа. Солженицын очевидно мало напоминает Набокова, но общие структурные элементы у них имеются.

Обратим прежде всего внимание на повествовательную неоднородность романа. Из чего состоит роман? Во-первых — беллетристические главы, во-вторых — главы документально-исторические в-третьих — отдельные документы сами по себе в-четвертых — «вскользь по газетам», в-пятых — «экраны», в-шестых — пословицы. Как хотите, господа критики, но это вовсе не напоминает традиционного реалистического повествования и безусловно ставит читателя в положение постмодернистского угадывателя. Пусть угадает, например, как «вскользь по газетам» с явными элементами гротеска и кича (почему-то Хазанов их игнорирует) соотносится с историческими главами; это безусловно не только иллюстрация «исторического фона» (вообще не иллюстрация), а введение отдельного плана, композиционной составляющей, которая давит на все остальные и их трансформирует. Для каждого отдельного случая преобразование реалистических деталей документальных глав в парадийные всплески газетных отрывков — это особая загадка из-за которой торчат уши играющего с читателем автора, по-другому конечно но не в меньшей степени чем у Набокова или, скажем, Битова.

Точно так же особая роль отведена в романе пословицам, с особой наглядностью демонстрирующим сознательную смену типа речи. Нельзя же в самом деле думать, что автор пытается с их помощью «отождествить себя с народным и национальным сознанием» как пришлось бы считать, если признать вслед за Б. Хазановым традиционалистскую неискренность Солженицына. Перед нами несомненно чужое слово в своей повторяемости образующее в романе отдельный голос, подчеркнуто отличный от авторского. Скажем, после рассказа об образовании кадетской партии и Выборгском возвании в «Октябре Шестнадцатого» следует: «ТЫ ВАШЕ'Ц, Я ВАШЕ'Ц — А КТО Ж ХЛЕБОПАШЕЦ?» Это явно не мораль басни о кадетах, и не прибаутки Платона Каратаева, и тем более не резюме авторских исторических рассуждений. Только что прочерченная историческая перспектива попадает в другой ракурс, не совпадающий с точкой зрения ни автора, ни кого-либо из персонажей, а существующий отдельно, как противосложение, связь которого с основной темой и должен разгадать читатель.

Все это, однако, лишь частные моменты повествовательной разнородности романа. Кардинальное значение — для литературной формы прежде всего — имеет противопоставление документально-исторических и беллетристических глав, образующее структурную основу произведения. Для грамотного литературоведа очевидно, что ничего похожего на соотношение историко-философских и собственно беллетристических глав в «Войне и мире» в этой оппозиции нет. Как работают историко-философские фрагменты в «Войне и мире», как они создают дополнительное пространство романа и превращают его в эпопею, четко проанализировано Б.Эйхенбаумом, и говорить сейчас об этом было бы лишним. Исторические главы Солженицына создают не дополнительное пространство, а совсем отдельное, не продолжающее, а наискось пересекающее пространство беллетристических глав. Поскольку же пространства не совпадают, перед читателем возникает задача сопоставить их друг с другом, выяснить, как кривизна одного пересчитывается в кривизну другого. У Толстого Александр I исторических глав остается лишь распространением Александра, кумиром вторгшегося в жизнь Пети Ростова. У Солженицына появляются два разных Шингарева, и читателю остается только гадать кто же из них соответствует

«окончательному варианту исторической истины», претензии на которую Б. Хазанов приписывает «Красному Колесу». Можно сказать еще по-другому: какой из Шингаревых подлинник, а какой цитата, — и сам такой вопрос отчетливо показывает, что мы имеем дело с постмодернистским опусом.

Я бы хотел, чтобы увлеченный Джойсом критик показал мне, где в этом конгломерате «все та же точка зрения беллетризованного обыденного сознания». По крайней мере с самого первого взгляда очевидно, что по характеру повествования исторические главы сознательно противопоставлены беллетристическим. В исторических главах отчетливо слышен авторский голос — вовсе не голос беспристрастного и всеведущего автора, рассказывающего о том историческом фоне, на котором совершились придуманные им события (как в историческом романе прошлого века, скажем в «Виргинцах» Теккерея). Авторская интонация очень напоминает здесь авторскую интонацию в «Архипелаге ГУЛАГ» — подчеркнутой пристрастностью тона, резкой ироничностью, граничащей с сарказмом, натиском личного чувства, пронизывающего рассказ о событиях и характерах.

Беллетристические главы полифоничны. Б. Хазанов, правда, называет этот полифонизм кажущимся, поскольку, например, в глазах Андозерской Воротынцев предстает «интересным мужчиной», то есть ей навязана точка зрения самого автора. Но это плохой аргумент. Так ведь и образцовый полифонический роман (допустим, «Братья Карамазовы») окажется лжеполифоничным, потому что Алеша Карамазов одинаково симпатичен и Грушеньке и Катерине Ивановне, и ничто не мешает приписать этот взгляд Достоевскому. А Дедалуса и Блюма и подавно можно (хоть и не нужно) интерпретировать как две манифестации автора. И без труда видны разные точки зрения, друг к другу не сводимые и с авторской не отождествляемые, — например Самсонова и Воротынцева в «Августе Четырнадцатого». Полифонизм в беллетристических главах и авторский голос в исторических создают весьма сложный контрапункт в котором история, рассказанная взволнованным автором, погружается в схватку человеческих страстей и как бы вступает в спор с персонажами, от автора отделившимися. При таком построении романа ни о каком авторском всеведении и однозначном объяснении исторических судеб речь идти не может.

Детальный анализ намеченных выше моментов в кратком отклике неуместен, он требует внимательного литературоведческого исследования, а это дело долгое. Я говорил о форме, воздерживаясь от оценки достоинств и недостатков и избегая споров об идеологии. Сколь бы неразвернутыми ни были сделанные наблюдения, их можно все же связать с более общими вопросами — с проблемами идеологии, если угодно. Хоть и достаточно опосредованно и непрямо реалистической роман прошлого века (как и его эпигонские воспроизведения в веке нынешнем), поскольку он касается истории и относит ее к предметам своих забот, связан с прогрессистско-гуманистическим взглядом на исторический процесс, содержание которого представляется доступным рациональному анализу История эволюционирует аналогично тому, как эволюционируют персонажи. Историческое время романа находится поэтому в полной гармонии с линейным восприятием времени истории.

Последующее литературное развитие сплетается со сломом этого исторического сознания. История поворачивается к своим участникам провалами и разрывами, и мерная поступь времени уходит из романа, создающего собственную прерывистую динамику. Солженицын несомненно причастен этому процессу. Его «Красное Колесо» не совершает то размеренное движение, с помощью которого описывал время Аристотель, а подскакивает, скрежещет и несетя к огненной катастрофе. Историческая эволюция сметена исторической трагедией. И как во всякой трагедии, вопрос о правоте (кто прав — Лаэрт или Гамлет?) исчезает перед многократно более сложным и важным вопросом о смысле существования. Поэтому и роман об исторической трагедии получает структуру, совершенно отличную от традиционного реалистического романа. Смысл трагедии не излагается голосом стоящего за сценой автора, припасшего готовую идеологическую схему. Он вырастает из многоголосья, из нагромождения несоизмеримых пластов, проявляется иррационально и не поддается пересказу. Конструктивная постмодернистская сложность «Красного Колеса» и есть, на мой взгляд, следствие этого живого ощущения исторической трагедии. Таким, во всяком случае, представляется мне замысел романа, оценка же того, насколько адекватно он воплотился в конкретном повествовательном материале, потребует, я боюсь, нескольких поколений читателей, когда его формальная новизна перестанет приводить в смятение критиков и будет восприниматься как данность. Один момент, впрочем, ясен и сейчас: равно неправомерно и вытягивать из «Красного Колеса» какой-либо мировоззренческий конструкт, и привязывать его художественное строение к идеологическим схемам критиков.

Виктор ЖИВОВ.

ТЕМНЫЙ ЛИК В. В. РОЗАНОВА

Недавно, в № 3 «Нового мира» за 1991 год, была опубликована подготовленная мною переписка В. В. Розанова с М. О. Гершензоном. «Огненность» затрагиваемых тем не оставляла сомнения в том, что реакция на ее появление будет неоднозначной, ибо, как писал Розанов, «„спор“ евреев и русских или „дружба“ евреев и русских — вещь неоконченная и, я думаю, — бесконечная». Первое «вхождение» этой переписки в современный научный мир состоялось в глубокой и тонкой статье В. Н. Топорова с цитатным названием «„Спор“ или „дружба“?» (Acquinox. Сборник памяти о Александре Меня. М. 1991), где высокой планке философских дискуссий начала века соответствовал столь же высокий уровень их обсуждения.

Но вот — некое «письмо в номер» под названием «Вот так курьезы...», опубликованное в № 10 журнала «Слово» за 1991 год. Автор письма А. В. Ломоносов, сотрудник отдела рукописей ГБЛ (отдела, известного своеобразной «археографической» службой по части выдачи отказов на добрую половину запрашиваемых рукописей), упрекает публикатора в «отсутствии навыка чисто археографической работы».

Суть несогласия изложена А. В. Ломоносовым вполне недвусмысленно: «...публикатор встает на позицию одной из спорящих сторон — М. О. Гершензона, человека «хорошо застегнутого», «хорошо рассчитывающего»...». Встав на эту «позицию», публикатор, по словам А. В. Ломоносова, искажает текст писем Розанова, допуская «до сотни расхождений с автографами». Из «сотни» (!) автор выбирает для демонстрации своих претензий два примера: по его мнению, в одном из писем (№ 21 нашей публикации) вместо «жиды» следует читать «звезды», в другом (№ 11) вместо «горбых по отце» — «горчайших пьяниц». После этого А. В. Ломоносов предается «грустным размышлениям о судьбах отечественного рукописного наследия» и патетически восклицает: «Неужели его (наследия. — В.П.) возвращение также станет процессом бесконечным?»

Разберемся сначала с этой так называемой текстологической стороной обвинений. Во-первых, все эти обвинения носят абсолютно бездоказательный характер — не приводится ни одного палеографического объяснения того или иного прочтения. Если бы А. В. Ломоносов представил сводку таких материалов, то можно было бы с ним поспорить о характерных особенностях написания буквы «ж» у Розанова (есть такая блестящая работа у С. М. Бонди — «Буква «с» у Пушкина»), тогда бы его сомнения относительно слова «жиды», возможно, и развеялись, тем более что слово это встречается у Розанова часто. Второй случай — из разряда уж совсем одиозных: ради «подрепления» своих текстологических кунштюков А. В. Ломоносов допускает вообще противозаконный прием — публикует якобы неправильно прочитанную мною фразу с купюрой. Приведем полностью эту цитату из письма Розанова (№ 11). «Анти-семитизмом я, батюшка, не страдаю: но мне часто становится жаль русских, — как жалеют и детей маленьких, — безвольных, бесхарактерных, мило хвастливых, впечатлительных, великодушных, ленивых и „горбых по отцу“». А. В. Ломоносов предлагает читать: «...мне часто становится жаль русских как **спирот** и **детей жалеют**, — ... и „горчайших пьяниц”» (приводим его фразу точно, как в тексте его статьи). Пусть А. В. Ломоносов объяснит, каким образом среди приведенных в один ряд определений атрибутов «детскости» оказалось «горькое пьянство»? Пусть объяснит, зачем Розанов поставил в кавычки это выражение, подчеркнув тем самым появление в тексте так называемого чужого слова. Видно, незнакома ему русская поговорка, приводимая еще В. И. Далем: «Свое дитя и горбато, да мило». (Владимир Даль. Толковый словарь. М. 1955. Т. 1, стр. 377).

Действительно, для текстологической работы требуется многое — не только «навыки», но и хоть какие-то знания в этой области. Вот этого-то и не продемонстрировал А. В. Ломоносов в своей статье. Иначе ему было бы известно, что публикация текста, тем более текста, трудного для прочтения (всякий, кто видел рукописи Розанова, хорошо представляет их исключительную сложность), это всегда в той или иной степени интерпретация, разумеется, опирающаяся на сумму самых разных — не только чисто орфографических, но и исторических, эстетических и прочих — данных. В этом смысле последующие уточнения в ряде случаев неизбежны. Патетические восклицания о «бесконечном процессе» возвращения наследия бессмысленны, поскольку путь текста по крайней мере равен пути культуры. Таков, например, был путь текстов Пушкина — путь в несколько поколений текстологов, путь сотрудничества в прямом и в высоком, метафорическом смысле. Однако в данном случае ни о каком сотрудничестве нет и речи, поскольку статья А. В. Ломоносова имеет своей целью вовсе не академические штудии.

Цель статьи иная. Ради нее не грех и подтасовать цитаты: так, например, Гершензон назван А. В. Ломоносовым человеком «хорошо застегнутым», «хорошо рассчитывающим». Два заковыченных выражения даны рядом как две цитаты. На самом деле второй фразы у Розанова нет. Если первое соотносится с запиской Розанова

(«хорошо застегнутый человек» — № 1 в нашей публикации), то второе — выдумка А. В. Ломоносова, нужная ему, видимо, для дискредитации Гершензона, а заодно и публикатора, стоящего «на позиции» Гершензона. Далее, Ломоносов пытается оспорить первичность опубликованных материалов, ссылаясь на письма Гершензона, напечатанные в «Вестнике РХД» (1983, III—IV), хотя всякому текстологу очевидно, что существует принципиальная разница между публикацией отдельных писем (в данном случае, заметим, письма воспроизведены настолько неточно, словно были переписаны рукою иностранца!) и двусторонней перепиской, требующей уточнения датировок, последовательности ответов и т.д. Что же касается первичности, то отдельные публикации писем и Гершензона и Розанова не раз появлялись в нашей и зарубежной печати; в том числе ряд писем приведен мною во вступительной статье к изданию: М. О. Гершензон, «Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого». М. 1989.

«Текстологические» привязки А. В. Ломоносова носят сугубо прикладной характер. Так, он пишет: «Сложно согласиться и с толкованием взглядов В. В. Розанова на еврейство в России, предлагаемым во вступительной статье». Вот это и есть главное для моего оппонента. Ломоносов утверждает, что автор вступительной статьи сводит проблему отношений Розанова с еврейством к сексуальным комплексам и мотиву эротического соперничества и что тем самым сознательно затемняется суть «еврейского вопроса» в России. Ломоносов пытается предложить свой ответ на этот «вопрос», привлекая Розанова в качестве союзника — как увидим, совершенно напрасно. Приведем один пассаж из статьи А. В. Ломоносова: «Еще ряд причин своего охлаждения к евреям Розанов указывает в одном письме Гершензону (№ 21): «После «†» Столыпина у меня как-то все оборвалось к ним (посмел ли бы русский убить Ротшильда и вообще «великого из ихних»)». Здесь должно заметить, что «сексуальное совершенство» как-то слабо увязывается с политическим террором». А. В. Ломоносову не по вкусу, что публикатор «вслед за Гершензоном пытается примерить на Розанова стерильный халат австрийского психоаналитика», и проходит мимо главной тревоги Розанова. Ломоносову неизвестно, видимо, что психоаналитики белых «стерильных» халатов не носят. Сам Розанов возразил бы на это «протокольное» заключение автора статьи строками своего письма Гершензону от января 1913 года: «Я думаю, русские евреев, а не евреи русских, развратили политически, развратили революционно. Бакунин и Чернышевский были раньше „прихода евреев в русскую литературу”» (№ 28).

Далее А. В. Ломоносов продолжает свой «протокол» обвинений в адрес евреев. Выхватывая из контекста письма Розанова одну фразу, он делает весьма показательный вывод: «И эти тревожные ноты экспансии Капитала в России явно диссонируют с „мотивом эротического соперничества“ двух родов». Мы приведем подобным образом комментируемую фразу целиком: «[И] как правительство, так и народ принял бы это еврейство Псалтыри. [как мы приняли «яко своего» Давида и отчасти даже Соломона]. А то — адвокаты, банки и часовщики: мы задыхаемся. Задыхаемся мелкой торговой злобою» (в скобках приведены купюры, не обозначенные даже отточием в тексте Ломоносова). Степень искажения розановских мыслей доведена здесь до абсурда. Розанов в этом письме пишет о другом, о том, что не эта сфера — «адвокаты, банки и часовщики» — должна быть путем евреев в России. Их удел, по мысли Розанова, — нести «сосуд с маслом на голове», научая русских «общим и спасительным тайнам». В той утопической картине параллельного шествия двух мессианских народов — русского и еврейского — нет и тени тревоги по поводу обнаруженной А. В. Ломоносовым «экспансии». Напротив, в том же письме Розанов, говоря о «великой культуре денег» у евреев, относит ее к числу вещей «универсально нужных».

Завершая свою триаду, А. В. Ломоносов пишет: «Самым отвратительным видом горга в этом (! — В. П.) мире чистогана, как известно, Розанов признавал литературу...» Однако довольно! Политический террор, экспансия еврейского капитала, манипуляция сознанием, подрыв нравственных устоев с помощью прибранной к рукам печати — хорошо знакомая идеология. Не произвел ли А. В. Ломоносов — подсознательно, конечно, — подмену позиции «одного из гениальных писателей» на позицию человека с похожей на розановскую фамилией — Альфреда Розенберга?

В. ПРОСКУРИНА.

КОРОТКО О КНИГАХ



И. С. Н. ДУРЫЛИН. В своем углу (из старых тетрадей). Вступительная статья Г. Е. Померанцевой. Составление и примечания Е. И. Любушкиной. Публикация А. А. Виноградовой. М. «Московский рабочий». 1991. 336 стр.

«Я подобен хмелю или повилিকে: чтобы расти и жить, мне нужно вокруг кого-нибудь обвиться, хоть вокруг сухой и черной палки. И всю жизнь я обвивался вокруг того или другого. Но палки переносили на другое место, стволы, вокруг которых я вился, подрубали — и я оставался один, и в тоске искал новый ствол, новую ветку, новую тычинку, чтоб обвиться вокруг них, чтобы жить...»

В этих словах — судьба Сергея Николаевича Дурьлина, его счастье и его драма. «Ветками» и «тычинками», направлявшими его жизнь, были и атеизм, и толстовство, и символизм с неизбежным привеском теософии, и, наконец, христианское философствование. Первым значимым итогом этих не слишком оригинальных — по тому времени — исканий молодости стало принятие в 1915 году священнического сана. Через семь лет Дурьлин под угрозой высылки из страны возвращается к мирской жизни, очередными опорами становятся история литературы, живописи, театра... Публикуя педагогические размышления, исследуя мистические проповеди средневековья, рассуждая о русском германофильстве, наконец, скрупулезно комментируя Лермонтова, Дурьлин всегда был искренен и свеж, хотя чувствовалось, что основное течение его пылливой мысли лежит глубже и не торопится выходиться на поверхность.

Названия двух мемуарных книг, помещенных в сборнике, — «В родном углу» и «В своем углу» отличаются лишь одним словом, но на деле различие этих книг более существенно. Первая — неторопливое повествование о детстве и юности, в котором главное — глубоко прочувствованные исторические и семейные корни; вторая — внешне бессистемное собрание тетрадей, фиксирующее прихотливый ход не поверхностной и не скованной мысли автора. Прознательное сходство этой книги с поздними шедеврами В. В. Розанова — больше чем аналогия: как Андрею Белому казалась (и оказалась) символично-эпохальной его встреча с Владимиром Соловьевым, так и Дурьлин, едва-едва успевший познакомиться с Розановым, стал одним из немногих счастливых подражателей этого одинокого таланта. Впрочем, подражание у Дурьлина никогда не было школярски-шаблонным.

В отсутствие какой-либо биографической информации об авторе воспоминаний (вплоть

до недоступности исследователям — на сей момент — его архивных материалов) особенно важна роль вступительной статьи. Нужно отдать должное помещенному в книге предисловию: несмотря на некоторую хронологическую сбивчивость, понуждающую читателя к головокружительным перелетам из одного десятилетия в другое, статья дает живое и точное представление о творческом пути Дурьлина. Несколько хуже обстоит дело с «составлением и примечаниями». Стремление уместить в предписанный издательством объем оба мемуарных текста привело к тому, что в первой из публикуемых книг «все главы даны с некоторыми сокращениями», а во второй нашему вниманию и вовсе предложены «отрывки». Поскольку редкая страница в книге обходится без купюрных отточий, можно лишь догадываться о подлинном объеме написанного Дурьлиным — информация читателю не предлагается. Комментарий по жанру приближается к добротному именному указателю: все то, что в предисловии соотносено с личностью мемуариста, литературными и философскими кругами, в которых он вращался, представлено здесь обособленно и сухо. Впрочем, не только близкие имена, но и далекие реалии комментируются с предельной лаконичностью: вполне уместным (если не необходимым) рассуждением о значении штейнрианства в творческой эволюции Дурьлина и его окружения предпочтена выписка из «Философского энциклопедического словаря», а знаменитый символистский лозунг В. И. Иванова («*A realia ad realiora*») удаляется лишь дословного перевода, но не истолкования. Наконец, без всякого исправления оставлены неизбежные неточности мемуариста, даже те, которые исправлены в недавней публикации писем С. Н. Дурьлина Б. Л. Пастернаку, осуществленной М. А. Рашковской («Литературное обозрение», 1988, № 6).

Менее всего, однако, хотелось бы сместить акцент нашей оценки к тем или иным замечаниям, поправкам и прочим частностям. Подготовившие эту книгу к печати открыли нам, быть может, самую главную и сокровенную ипостась дурьлинского творчества.

И. Н. О. ЛОССКИЙ. История русской философии. Перевод с английского. М. «Советский писатель». 1991. 479 стр.

После того как спешные попытки советских историков философии реформировать свои труды «согласно текущему моменту» привели к неизбежной неудаче, спасение обнаружилось в работах, написанных по ту сторону

железного занавеса. Наследие русских философов-эмигрантов оказалось советскому издателю полезным во всех отношениях. Во-первых, имя запрещенного прежде автора гарантировало книге коммерческий успех. Во-вторых, взамен несговорчивых современников, склонных к азартному противоборству с редактором, издатель получил целую плеяду талантливых мыслителей, которые, не дожив до публикации своих трудов на родине, безропотно благословляли любой редакторский произвол и не требовали повышения гонорара. Последнее обстоятельство, правда, осложнялось деликатным вопросом об авторских правах. Но робкая тяга к законности в очередной раз спасовала перед размахом просветительских начинаний. Советский издатель проигнорировал международные нормы авторского права раз, другой, третий — и был вознагражден за смелость снисходительно-брезгливым молчанием западных коллег.

Свой вклад в возвращение русской философии на родину решил внести издательство «Советский писатель». Оно предложило читателю перевод «Истории русской философии» Н. О. Лосского, изданной в Нью-Йорке в 1953 году на английском языке. В издательской аннотации сообщается, что «этой книги для советского читателя вроде бы не существовало, она переиздавалась у нас лишь по спецзаказу.. Славянофилы, западники, русские материалисты 60-х годов XIX в., Вл. С. Соловьев, князя С. Н. и Е. Н. Трубецкие, отцы Павел Флоренский и отец Сергей Булгаков, Н. А. Бердяев, Л. Н. Карсавин, последователи марксизма и поэты-символисты — вот те основные пункты развития отечественной теоретической мысли, которые нашли отражение в книге».

Пытливого читателя заинтересуют здесь не только некоторые странности в наименовании отца Павла Флоренского и Льва Платоновича Карсавина, — гораздо любопытнее выглядит загадочная ссылка на книгу, изданную «по спецзаказу». Фигура умалчания расшифровывается весьма просто. Для перепечатки «Истории русской философии» был использован анонимный перевод, изданный в 1954 году Издательством иностранной литературы с грозной пометой «рассылается по особому списку». Дабы читатель, занесенный в особый список, не проявлял к монографии Лосского излишнего сочувствия, редакционное предисловие напоминало ему, что он держит в руках «образец оскудения и деградации буржуазно-теоретической мысли». В свою очередь, комментарии издательства к переводу были составлены так, чтобы никто не мог заподозрить работавших над книгой в преступном знакомстве с религиозно-философскими сочинениями. Как только речь заходила об эмигрантских или иных «сомнительных» работах того или иного философа, осторожный редактор всякий раз уточнял, что «названия этой и нижеследующих книг даны в переводе с англ. яз.».

Идеологическая невинность привела к тому, что В.И. Иванов оказался автором доселе неизвестных книг «Межи и борозды» и «Эллинская религия и страдающий бог», а издательство «ИМКА-ПРЕСС» хладнокровно именовалось не иначе как «УМКА» Кроме

мифических книг, перевод наполнился и мифическими фигурами: под именем Л. Л. Кобылинского в нем выведен известный русский критик католической ориентации Л. Л. Кобылинский, писавший под псевдонимом Эллис. Зато там, где Лосскому пришлось процитировать Ф. Энгельса, редактор проявил подчеркнутую строгость, скрупулезно сверяя английский перевод немецкого текста с «каноническим» русским переводом...

Этот трагикомический сюжет хотелось бы считать историческим экскурсом, и только. Увы... Издательство «Советский писатель» воспроизвело труд безвестного переводчика и его редактора И. И. Цыганкова с заботливой пунктуальностью, опустив лишь цитированное предисловие. Редактор новейшего издания М. Н. Ишков бережно отнесся к работе своего коллеги. Жаль, что Н. О. Лосский и 50 тысяч читателей книги никак не вписываются в эту идиллическую картину

III. МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН. Автобиографическая проза. Дневники. Составление, статья, примечания З. Д. Давыдова и В. П. Купченко. («Из литературного наследия») М. «Книга». 1991. 413 стр.

После долгих лет беспамятыства неожиданно выяснилось, что в реконструкции нуждается не только (и даже не столько) история минувших эпох, но до неузнаваемости деформированные жизнеописания XX века. Вслед за этим открытием пришло другое воссоздание прошлого, претендующее на подлинность (а не на построение новой мифологии), не может быть спонтанным — оно нуждается в организуемом знании тех, кому ведомы внутренние механизмы культуры. В отношении М. Волошина эту ответственную роль взяли на себя составители рецензируемой книги, за короткий срок представив нам многочисленные издания его стихов, критической прозы, эпистолярная, наконец, воспоминаний современников. Импровизированное собрание сочинений Волошина дошло теперь до тома автобиографических заметок.

Парижские очерки Волошина, дополняющие монументальный критический свод «Лицов творчества», переизданных тремя годами ранее, не могут не вызвать живого интереса. Однако главным открытием сборника является «История моей души» — удивительный синтез «дневника мыслей» и «дневника событий», красочно яркий, подробный и беззащитно-откровенный. В отличие от А. Белого Волошин не изнуял себя бесконечными перетолкованиями прожитого; в противоположность В. Я. Брюсову не прятал себя за сухую скупость коротких эпатажных строк — вот почему «История моей души» нужна не только современному исследователю, но и современному читателю. Зная искушенность составителей во всем, что касается Волошина, можно было, конечно, ожидать более развернутого и слитного комментария. Это, однако, не упрек, а сожаление. Говоря же об издательском осуществлении книги, сожалением не обойдешься.

Серия «Из литературного наследия» — одно из тех замечательных начинаний, которыми успело порадовать нас издательство «Книга». Начавшись с превосходного во всех отношениях репринта «Стихотворений» 1923 года А. Белого, подготовленного А. В. Лавровым, серия сама задала себе тот уровень, на котором только и мыслимы подобные издания. К сожалению, за два года коммерческого бума выпуск библиофильских шедевров превратил-

ся из гордости в обузу: фотографии в приложении воспроизведены блекло и без выдумки, а основной корпус книги обезображен бумажно-шрифтовой чересполосицей, заставляющей читателя вздрагивать через каждые десять страниц. Неужели от издательства, служившего долгие годы эталоном соразмерности и вкуса, остались одни воспоминания?

К. Постоутенко.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Читайте в следующем номере:

ДОРА ШТУРМАН

Они — ведали

В журнале «Новый мир» (1990, № 8) осуществлена знаменательная публикация: возвращено отечественному читателю исследование одного из крупнейших экономистов XX века, Бориса Бруцкуса (1874—1938), «Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта» (1920—1923). Позволю себе несколько дополнить те сведения о Б. Д. Бруцкусе, которые смог сообщить своим читателям «Новый мир». Предлагаемая статья представляет собой отклик на книгу Виктора Кагана, в прошлом ленинградца, ныне израильтянина. Физик-теоретик и публицист, В. Каган был соседом А. Солженицына по камере в Бутырках. В Архипелаге В. Каган отбыл в общей сложности одиннадцать лет.

Дора Штурман.

Иерусалим.

Читайте в 1992 году:

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН
(1905 — 1989)

Пещера

Роман

Перевела с английского *И. СУМАРОКОВА*

Крупнейшим эпическим произведением этого американского прозаика, принесшим ему мировую известность, является роман «Вся королевская рать» (1949, Пулитцеровская премия). Русский перевод книги, осуществленный В. Гольшевым, был напечатан в «Новом мире» (1968, № 7—11).

«Наиболее искусное произведение Уоррена на тему самопознания — это роман «Пещера» (1959). Жив ли еще Джаспер Хэррик, очутившийся в пещере? Его близкие, а благодаря телевизионной шумихе и вся страна, пребывают в ожидании известий. Все, к чему стремились у входа в пещеру (платонову пещеру?) скорбящие, молящиеся и предающиеся блуду, сводилось к тому, как говорит один из героев, чтобы „прорваться к тайне, заключенной в нас самих“, — пишут Уиллард Торп и Р. Э. Спиллер в «Литературной истории Соединенных Штатов Америки».

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



В. РОЗАНОВ. Черный огонь. Предисловие А. Н. Богословского. Париж. YMCA-PRESS 1991 (Rozanovana. I). 256 стр.

В последние годы, ознаменованные разрушением цензурных преград, творчество В. В. Розанова получило наконец шанс предстать перед читателем во всей своей многообразной уникальности. Поток книг, брошюр и статей, хлынувших на магазинные прилавки и журнальные страницы, сделал свое дело: основные труды мыслителя стали доступны широкому читателю. На этом фоне начала вычерчиваться и более специальная задача: обличье произведения Розанова в приличествующие им издательские рамки, озоботившись продуманной композицией и точным комментарием. В этом измерении, придающем публикации розановского наследия необходимую осмысленность, достижения отечественного книгоиздания пока что весьма скромны (выспим читательским запросам удовлетворит, пожалуй, лишь объемистый том В. В. Розанова «О себе и жизни своей», с редкой тщательностью подготовленный В. Г. Сукачем в издательстве «Московский рабочий»).

Составленное А. Н. Богословским издание — еще одна попытка систематизации розановского наследия. Несмотря на краткость предисловия и отсутствие комментариев, основополагающие принципы издания прослеживаются с достаточной отчетливостью. Сборник «Черный огонь», объединяющий статьи на революционную тематику и предназначенный Розановым к публикации в составе тридцать пятого тома его собрания сочинений, реконструирован составителем на основе материалов из архива Т. В. Розановой. Судя по серийному оформлению обложки, намерения издательства не ограничиваются данным сборником. В приложении к «Черному огню» помещен «План издания произведений В. В. Розанова» в 50 томах, составленный самим писателем незадолго до смерти. Удаться ли современному издателю осуществить грандиозный замысел семидесятилетней давности?

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ. Закат. (Посмертный сборник стихотворений) Под ред. и с комментариями В. Крейда. Orange. «Антиквариат». 1990. 56 стр.

Об авторе этой книги, прожившем долую, но не счастливую поэтическую жизнь, нам уже приходилось рассказывать. В. Крейду удалось разыскать в записных книжках поэта не только рукописи настоящего сборника, но и проект его обложки, благодаря которому нам и известно название последней поэтической

книги Кондратьева. Составитель «надеется этим сборником чарующих и гармоничных стихотворений вернуть имя Кондратьева хотя бы ограниченному кругу ценителей истинной поэзии». Кроме двух предисловий, издание снабжено текстологическим и реальным комментарием, а также краткой библиографией А. А. Кондратьева.

СИНТАКСИС. Публицистика. Критика. Полемика. № 30. Ред. М. В. Розанова. Париж. 1991. 216 стр.

Подзаголовок парижского журнала «Синтаксис» подчеркнуто необычен: три слова, поясняющие название, насыщены неуступчивостью, энергией и полемическим азартом. Подобная установка сообщает журналу удивительную слитность: даже прозаические миниатюры (Л. Петрушевская, С. Лунгин) сквозь художественную ткань дышат злободневной полемичностью. Вообще, внутренняя рубрикация журнала — прежде всего жанровая условность: так, критика историсофских и научных изысканий А. И. Солженицына содержится и в разделе «Современные проблемы» (А. Агеев) и в разделе «Литература и искусство» (В. Линецкий). В то же время рубрика «Свободу Пушкину!» включает в себя и литературоведческое эссе А. Чернова о знаменитой «Тени Баркова», нетривиально интерпретирующего научные поиски предшественников, и воспоминания М. Левина об А. Д. Сахарове, неожиданные и постановкой вопроса и сообщаемыми фактами. На последних страницах содержится сводное оглавление двадцати девяти предыдущих номеров журнала.

СИМВОЛ. № 25. Париж. 1991. 368 стр.

Двенадцатилетний послужной список журнала «Символ» — история неторопливых и вдумчивых исследований религиозного сознания минувших эпох. Проявляя неподдельный интерес к анналам христианской духовности, «Символ» предоставлял страницы исследователям Третьяковского и Тютчева, Чаадаева и Карсавина. Несмотря на расхожесть и кажущуюся простоту заявленных тем, журнал с самого начала задал непривычно высокий уровень их обсуждения. Первостепенное значение имеют публикаторские разделы журнала. Так, наиболее ярким материалом № 25 является, без сомнения, публикация ранее неизвестной работы С. Н. Булгакова «У стен Херсониса» — замечательной серии историсофских и культурологических диалогов. Кроме нее, в разделе «Из истории русской общественной и религиозной мысли» помещены статьи К. Б. Сигова («Метафизика

игры и «веселые сердца» Григория Сковороды») и А. К. Шевченко («Христианство и марксизм»). Ряд материалов (статьи А. Демустье, Ж.-М. Сантера и Ж. Фонтена, а также републикация книги Л. П. Карсавина «Монашество в средние века») объединен под рубрикой «История западного монашества». Научному уровню журнала соответствует и его полиграфическое оформление, являющееся пока недосыгаемым ориентиром для отечественных философских изданий.

И. Н. КАЧАКИ. Библиография русских беженцев в Королевстве С. Х. С. (Югославии) 1920—1945 гг. Arnhem «Protens & Hygiëra BV. Co-Productie Mondiss—Kampen». 1991. 352 стр.

Поверхностному взгляду существование русской культуры в Югославии может показаться периферийным и малозначимым. Простое перечисление некоторых имен, встречающихся на страницах библиографического

указателя И. Н. Качаки (А. В. Амфитеатров, М. Алданов, К. Д. Бальмонт, П. М. Бицилли, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцев, С. П. Мельгунов, Д. С. Мережковский, И. Северянин, П. Б. Струве), легко опровергает эту точку зрения. На фоне нескончаемых споров о количестве русских литератур в России и за ее пределами указатель демонстрирует стойкую жизнеспособность русской культуры в мало-мальски восприимчивой среде, не стесненную ни пространственными, ни идеологическими границами. Список библиотек и архивов, задействованных составителем в работе, внушительный библиографический аппарат, четкая внутренняя рубрикация указывают на то, что путеводителю И. Н. Качаки по довоенной русской литературе в Югославии суждено еще долго оставаться непревзойденным.

Составитель **К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.**

Читайте в следующем номере:

А. СОЛЖЕНИЦЫН

Наши плюралисты

Отрывок из второго тома «Очерков литературной жизни» (май 1982).

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати»

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия.

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), **А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Слано в набор 20 11 91 г Подписано к печати 3.01.92 г Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир» Формат бумаги 70 × 108/16 Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. д. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 243 000 экз. Зак 484. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия» 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия» 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

N M I V R Y

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме

A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to

A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

Tous les droits à l'abonnement et à la diffusion de la revue 'Novy Mir' dans tous les pays (excepté le territoire de l'ex-URSS) appartiennent à

A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

Alle Abonnements- und Vertriebsrechte für die Zeitschrift 'Novy Mir' in allen Ländern (außer dem Territorium der einstigen UdSSR) liegen beim

A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

Todos los derechos de la suscripción y difusión de la revista 'Novy Mir' en todos los países (excepto el territorio de la ex-URSS) pertenecen a

A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

Tutti i diritti sugli abbonamenti e la diffusione della rivista «Novy Mir» in tutti i paesi fatta eccezione per il territorio della ex-Union Sovietica appartengono a

A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag



A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany Tel: 089/26 30 76, FAX 26 30 77